

**СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ**

---

**ЦИНКОВЫЕ  
МАЛЬЧИКИ**

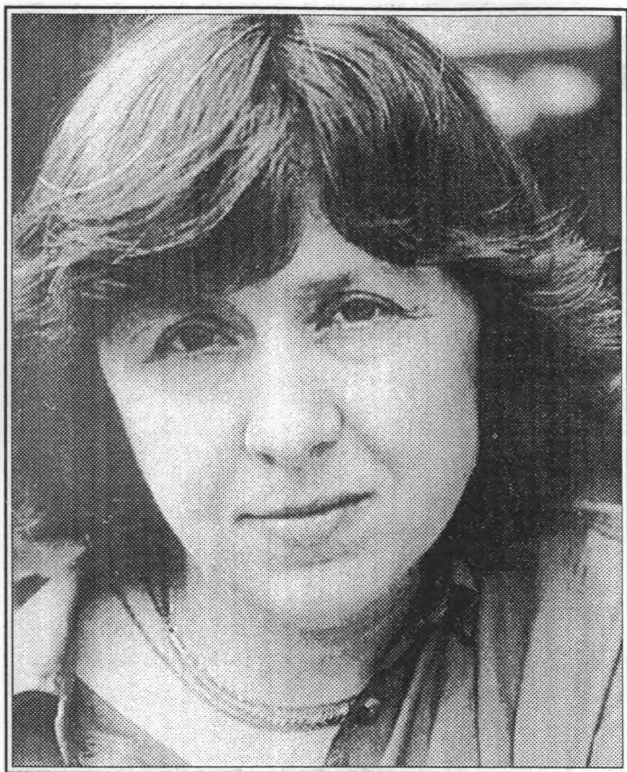


**ЗАЧАРОВАННЫЕ  
СМЕРТЬЮ**



**ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ  
МОЛИТВА**

---



*Graciela*

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

ЦИНКОВЫЕ  
МАЛЬЧИКИ



ЗАЧАРОВАННЫЕ  
СМЕРТЬЮ



ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ  
МОЛИТВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ОСТОЖЬЕ

МОСКВА 1998

LIBRARY OF T1  
UNIVERSITY OF WY  
LARAMIE 8207

В эту книгу вошли три повести: «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью» и «Чернобыльская молитва» (хроника будущего), удостоенная российской независимой премии «Триумф» и международной премии «За европейское взаимопонимание». «Цинковые мальчики» - одна из первых книг, откуда страна узнала правду о страшной и спрятанной от нее войне в Афганистане.

Перед читателем разворачивается живая летопись событий нашей недавней истории: афганская война, распад империи и исчезновение гигантского социалистического материка, чернобыльская катастрофа. Сам народ рассказывает о великом и трагическом времени, в котором распад и возрождение происходят одновременно.

ISBN 5-86095-110-8

© Автор С. Алексеевич, 1998

© Издательство «Остожье», 1998

# ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ



**ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ**

---

## ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ КНИГИ

**14 июня 1986 года**

Говорю себе: я не хочу больше писать о войне. Когда окончила «У войны – неженское лицо», долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь, убегала на даче от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из далеких глубин рыбу, меня тошнило от ее застывших, выпученных глаз. Наверное, у каждого из нас есть свой запас защиты от боли – физической и психологической. Мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленно-го дождевого червяка. Думалось не раз, что животные, птицы, рыбы, как и все живое, тоже имеют право на свою историю. Ее еще когда-нибудь напишут.

И вдруг! Если это можно назвать «вдруг». Идет седьмой год войны. «У существующей печали сто отражений» (В. Шекспир. «Ричард III»).

...По дороге в деревню подвезли девочку-школьницу. Она приехала в Минск за продуктами. Из большой сумки торчали куриные голы, в багажник втиснули сетку с хлебом.

В деревне нас встретила ее мать. Она стояла у калитки и кричала. – Мама! – подбежала к ней девочка.

– Ой, ты моя дочурка, пришло письмо. Андрей наш – в Афганистане... О-о-о!.. Привезут, як Федоринова Ивана... Малое дитя – малая

ямка... А я же вырастила не хлопца, а дуб высокий... Два метра ростом... Написал: «Гордись, мама, я – десантник...» О-о-о!! Людцы мои золотенькие...

А тот другой, прошлогодний случай.

...На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом, рядом с ним – худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулевку, копал вилкой в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсади к ним деревенские женщины, выспросили: куда, зачем, кто? Офицер сопровождал домой солдата, сошедшего с ума: «С Кабула копает. Что попадет в руки, тем и копает: лопатой, вилкой, палкой, авторучкой». Мальчишка поднял голову: «Прятаться надо... Я вырою щель... У меня быстро получается... Мы называли их братскими могилами... Большую щель для всех вас выкопаю...»

Первый раз я увидела зрачки величиной с глаз...

О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге, о геополитике, о наших державных интересах, о южных границах... Глухо ходят слухи о похоронах в панельных домах и сельских хатах с мирными геранями на окнах, о цинковых гробах, не вмещающихся в «пенальные» размеры «хрущовок». Матери, еще недавно в отчаянии бившиеся над слепыми железными ящиками, выступают в коллективах, в школах, призывая других мальчиков «выполнить долг перед Родиной». Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас заставляют верить, что «ограниченный контингент советских войск» помогает братскому народу строить дороги, развозить удобрения по кишлакам, а советские военврачи принимают роды у афганских женщин. И многие верят. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать...

С одним долго говорила. Я хотела услышать о мучительности этого выбора – стрелять или не стрелять. А для него как бы не существовало тут драмы. Что хорошо – что плохо? Хорошо «во имя социализма убить»? Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом.

У Ю.Карякина: «Ни об одной истории нельзя судить по ее самосознанию. Это самосознание трагически неадекватно». А у Кафки прокла, что человек безвозвратно потерян в самом себе.

Но я не хочу больше писать о войне...

5 – 25 сентября 1988 года

Ташкент. В аэропорту душно, пахнет дынями, не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Бесстрашно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят, афганские. Среди загоревшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты (мальчишки). На них никто не обращает внимания, уже привыкли. Они спят и едят тут же, на полу, на старых газетах и журналах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Ворошиловград, Киев, Минск... Где их искалечили? Что они там зацепили? Никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз, и пьяная нищенка подошла к одному солдатику:

– Поди сюда... Пожалую...

Он отмахнулся костылем. А она, не обидевшись, добавила еще что-то печальное и женское.

Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы. О брюшном тифе, о холере, малярии и гепатите. Как в первые годы не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было мыть посуду. А еще о том, кто что привез: кто – «видик», кто – «Шарп» или «Сони». Для одних война – мачеха, для других – мать родная. Запомнилось, какими глазами они смотрели на красивых, отдохнувших женщин в открытых платьях...

Достоевский писал о военном сословии, что это «самые незадумывающиеся люди в мире».

В накопителе запах испорченного туалета. Долго ждем самолета на Кабул. Неожиданно много женщин.

Отрывки из разговоров:

– Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Овсяницу, например, не слышу начисто. Записал ее на магнитофон и запускаю на полную мощность... Последствие контузии в голову...

– Сначала стреляешь, а потом выясняешь, что это женщина или ребенок... у каждого свой кошмар...

– Ослик во время обстрела ложится, кончится обстрел – вскакивает.

– Кто я в Союзе? Проститутка? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать. А мужики? Что мужики? Все пьют.



– Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался: «Возьмите им леденцов. Это же дети. Лучший подарок – конфеты».

– Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу, заплакал. Лицо как у девочки – румяное, белое. Я сначала боялась мертвых, особенно если без ног или без рук.. А потом привыкла..

– Берут в плен. Отрезают конечности и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют, наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их лечат.

На таможе увидели мой пустой саквояж:

– Что везешь?

– Ничего.

– Ничего??

Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут по два-три чемодана.

– Вставай. А то проспишь царство небесное... – Это уже над Кабулом.

Идем на посадку.

...Гул орудий. Патрули с автоматами и в бронжилетах требуют пропуска.

Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне.

Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в столовую, поздоровались с часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика...

Журналистов здесь называют сказочниками. Писателей тоже. В нашей писательской группе – одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю у одного:

– Зачем?

– Мне это интересно. Скажу, на Саланге был.. Постреляю..

Не могу отделаться от чувства, что война – порождение мужской природы, во многом для меня непостижимое.

### **Из рассказов:**

– Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: «Первый». После боя – раненые и убитые. Все молчат..

Мне снятся здесь трамваи. Как я на трамвае еду домой... Любимое воспоминание: мама печет пироги... В доме пахнет сладким тестом...

– Дружишь с хорошим парнем... А потом видишь, как его кишки гирляндой на камнях висят... Начинаешь мстить.

– Ждем караван. Ждем два-три дня. Лежим в горячем песке, ходим под себя. К концу третьего дня сатансешь. И с такой ненавистью выпускаешь первую очередь... После стрельбы, когда все кончилось, обнаружили: караван шел с бананами и джемом... На всю жизнь сладкого наелись...

Написать (рассказать) о самом себе всю правду есть, по замечанию Пушкина, невозможность физическая.

...На танке красной краской: «Отомстим за Малкина».

Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребенком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери.

Проезжали мимо разбитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мертвая глина недавнего человеческого жилища была страшнее темноты, из которой могли выстрелить.

В госпитале видела, как русская девушка положила плюшевого мишку на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь: обеих рук у него не было. «Твои русские стреляли, – перевели мне слова его матери. – А у тебя есть дети? Кто? Мальчик или девочка?» Я так и не поняла, чего больше в ее словах – ужаса или прощения?

Рассказывают о жестокости, с которой моджахеды расправляются с нашими пленными. Похоже на средневековье. Здесь и в самом деле другое время, календари показывают четырнадцатый век.

У Лермонтова, в «Герое нашего времени», Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав», – хотя с точки зрения русского – поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную черту русского народа – умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и «по-ихнему».

А сейчас...

### Из рассказов:

– Взяли в плен «духов»... Допытываемся: «Где военные склады?». Молчат. Подняли двоих на вертолетах: «Где? Покажи...». Молчат. Сбросили одного на скалы.

– Убили друга. Они будут смеяться? Радоваться? А его нет... Где больше людей, туда стреляю. В афганскую свадьбу стрелял... Шли молодые: жених и невеста... Мне никого не жалко... Друга нет.

У Достоевского Иван Карамазов замечает: «Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток».

Да, я подозреваю: мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом знать. Но на любой войне, кто бы ее и во имя чего ни вел – Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, – люди убивают друг друга. Это убийство, но об этом у нас не принято задумываться, даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о военно-патриотическом воспитании. Хотя почему я удивляюсь: «почему-то», все понятно – военный социализм, военная страна, военное мышление. Но мы же хотим стать другими людьми?..

Нельзя так испытывать человека. Человек не выдержит таких испытаний. В медицине это называется «острым опытом». Опытном на живом.

Кто-то сегодня процитировал Л. Толстого о том, что «человек текучий».

Вечером включили магнитофон, слушали «афганские» песни. Детские, еще не оформившиеся голоса хрипели под Высоцкого: «Солнце упало в кишлак, как огромная бомба», «Мне не надо славы. Нам бы жить – и вся награда», «Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают?», «Что ж ты меня так предала, милая Россия?», «Вот уже и лица стал я забывать», «Афганистан, ты больше, чем наш долг. Ты – наше мирозданье», «Как большие птицы, скачут одноногие у моря», «Мертвый, он уже ничей. Нет уже ненависти на его лице».

Ночью мне снился сон: наши солдаты уезжают в Союз, я – среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке, он без языка, немой. После плена. Из-под солдатского кителя торчит госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только свое имя пишет: «Ванечка. Ванечка». Так ясно различаю его имя – Ванечка... Лицом похож на паренька, с которым днем беседовала, он все повторял: «Меня мама дома ждет».

...В последний раз проезжаем по замершим улочкам Кабула, мимо знакомых плакатов в центре города: «Светлое будущее – коммунизм», «Кабул – город мира», «Народ и партия едины». Наши плака-

ты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой...

В аэропорту встречаем знакомых кинооператоров. Они снимали загрузку «черного тюльпана». Не поднимая глаз, рассказывают, что мертвых одевают в старую военную форму, еще с галифе, иногда кладут не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди... «В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет».

Кто мне поверит, если я об этом напишу?

## **15 мая 1989 года**

Опять мой путь – от человека к человеку, от документа к образу. Каждая исповедь – как портрет в живописи: никто не говорит – «документ», говорят – «образ». Говорят о фантастике реальности. Создавать мир не по законам бытового правдоподобия, а «по образу и духу своему». Мой предмет исследования все тот же – история чувств, а не история самой войны. О чем люди думали? Чего хотели? Чему радовались? Чего боялись? Что запомнили?

Но о войне, которая оказалась в два раза длиннее Великой Отечественной, мы знаем ровно столько, сколько нам неопасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какие мы есть, не испугаться. «Русских писателей всегда больше интересовала правда, а не красота», – пишет Н. Бердяев. В поисках этой правды и проходит вся наша жизнь. А сегодня особенно – и за письменным столом, и на улице, и на митинге, и даже за праздничным ужином. О чем мы без конца размышляем? Все о том же: кто мы, куда нам идти? И вот тут-то выясняется, что ни к чему, даже к человеческой жизни, мы не относимся так бережно, как к мифам о самих себе. У нас в подкорку загнано: мы – самые-самые, самые лучшие, самые справедливые, самые честные. Человека, посмеявшего хотя бы в чем-то усомниться, тут же уличают в клятвопреступлении. Самый тяжкий у нас грех!

## **Из истории:**

«Двадцатого января тысяча восемьсот первого года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц да-

ется на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Вскоре тридцать тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в Казахские степи»<sup>1</sup>.

### **Из сегодняшних газет:**

«В Термезе зацвел миндаль, но если бы природа и не преподнесла бы такого подарка, эти февральские дни все равно бы остались в памяти жителей старинного города как самые торжественные и радостные...

Грянул оркестр. Страна приветствовала возвращение родных сыновей. Наши парни возвращаются, выполнив свой интернациональный долг... За эти годы советские солдаты в Афганистане отремонтировали, восстановили и построили сотни школ, лицеев (?), училищ, три десятка больниц и столько же детских садов, около четырехсот жилых домов, тридцать пять мечетей, многие десятки колодцев, около ста пятидесяти километров арыков и каналов... они занимались охраной военных и мирных объектов в Кабуле» («Московская правда», 1989, 7 февр.).

У того же Н. Бердяева: «Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком». Не про нас это сказано. Правда, у нас все время кому-то или чему-то служат: интересам революции, диктатуры пролетариата, партии, усатому диктатору, первой или второй пятилетке, очередному съезду... «Правда... выше России» – был убежден Достоевский. В Евангелии от Матфея: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим» (24, 4, 5).

Приходило столько, что даже не перечислишь их имен...

Спрашиваю у себя. Спрашиваю у других. Ищу ответа: как происходит убийство мужества в каждом из нас? Как из обыкновенного нашего мальчика получается человек убивающий? Почему с нами можно делать все, что кому-то нужно? Но я не судья тому, что увидела и услышала. Я только хочу отразить мир человека таким, какой он есть. А сегодня правда о войне мыслится шире, чем раньше, как прав-

---

<sup>1</sup> В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. М., Мысль, 1988. с. 475.

да о жизни и смерти вообще. Человек наконец достиг того, чего в не-совершенстве своем желал, – он способен сразу убить всех.

Теперь уже не тайна, что ежегодно в Афганистане воевала стоты-сячная Советская Армия. За десять лет – один миллион. Существует и другая бухгалтерия войны: сколько выпущено пуль, снарядов, сколько сбито вертолетов, разорвано и изношено военного обмун-дирования, разбито машин. Сколько все это нам стоило?

Убито и ранено пятьдесят тысяч. Можно верить и не верить этой цифре, потому что всем известно, как мы умеем считать. Погибших в Великую Отечественную еще сегодня считаем и хороним...

### **Из рассказов:**

– Я даже по ночам крови боюсь... Боюсь своих снов... Мне теперь на жука жалко наступить...

– Кому я могу это все рассказать? Кто будет слушать? У Бориса Слуцкого: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны». Во мне сидит вся таблица Менделеева... Малярия до сих пор бьет... Недавно рвал зубы... Один выдернули, второй... И от боли, в шоке, я вдруг заговорил... А женщина-врач смотрит на меня... Почти с отвращением... «Полный рот крови, а он говорит...» Я подумал, что теперь никогда не смогу быть искренним, все о нас вот так и думают: пол-ный рот крови, а они еще говорят...

Поэтому я не называю в книге подлинных имен. Одни просили о тайне исповеди, других сама не могу оставить беззащитными перед теми, кто поспешит упрекнуть, бросить в их сторону: «Полный рот крови, а они еще говорят». Опять будем искать где-то виноватых? Способ, испытанный для собственной защиты. «Он виноват... Они виноваты...» Нет! Стоим так близко, что нет возможности никому отойти в сторону.

А в дневнике я сохранила фамилии. Может, когда-нибудь мои ге-рои захотят, чтобы их узнали:

Сергей Амирханян, капитан; Владимир Агапов, старший лейте-нант, начальник расчета; Татьяна Белозерских, служащая; Виктория Владимировна Баргашевич, мать погибшего рядового Юрия Барга-шевича; Дмитрий Бабкин, рядовой, оператор-наводчик; Майя Емель-

яновна Бабук, мать погибшей медсестры Светланы Бабук; Мария Терентьевна Бобкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова; Олимпиада Романовна Баукова, мать погибшего рядового Александра Баукова; Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша; Виктория Семеновна Валович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Валовича; Татьяна Гайсенко, медсестра; Вадим Глушков, старший лейтенант, переводчик; Геннадий Губанов, капитан, летчик; Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Галовнева; Анатолий Деветьяров, майор, пропагандист арtpолка; Денис Л., рядовой, гранатометчик; Тамара Довнар, жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнара; Екатерина Никитична П., мать погибшего майора Александра П.; Владимир Ероховец, рядовой, гранатометчик; Софья Григорьевна Журавлева, мать погибшего рядового Александра Журавлева; Наталья Жестовская, медсестра; Мария Онуфриевна Зильфигарова, мать погибшего рядового Олега Зильфигарова; Вадим Иванов, старший лейтенант, командир саперного взвода; Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко; Евгений Красник, рядовой, мотострелок; Константин М., военный советник; Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты; Александр Костиков, рядовой, связист; Александр Кувшинников, старший лейтенант, командир минометного взвода; Надежда Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова; Марина Киселева, служащая; Тарас Кецмур, рядовой; Петр Курбанов, майор, командир горнострелковой роты; Василий Кубик, прапорщик; Олег Лелюшенко, рядовой, гранатометчик; Александр Лелетко, рядовой; Сергей Лоскутов, военный хирург; Валерий Лисиченок, сержант связист; Вера Лысенко, служащая; Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона, и его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант; Лидия Ефимовна Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича; Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого; Владимир Михолап, рядовой, минометчик; Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолетов; Олег Л., вертолетчик; Наталья Орлова, служащая; Галина Павлова, медсестра; Владимир Панкратов, рядовой, разведчик; Виталий Руженцев, рядовой, водитель; Сергей Русак, рядовой, танкист; Михаил Сиротин, старший лейтенант, летчик; Александр Сухоруков, старший лейтенант, командир горнострелкового

взвода; Тимофей Смирнов, сержант, артиллерист; Валентина Кирилловна Санько, мать погибшего рядового Валентина Санько; Владимир Симанин, подполковник; Томас М., сержант, командир взвода пехоты; Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко; Владимир Уланов, капитан; Тамара Фадеева, врач-бактериолог; Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика; Галина Халиулина, служащая; Валерий Худяков, майор; Валентина Яковлева, прапорщик, начальник секретной части.



---

## ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

«...Ибо многие придут  
под именем Моим...»

*А в т о р. Еще не проснувшись утром длинный, как автоматная очередь, звонок:*

– Послушай, – начал он, не представившись, – читал твой пасквиль... Если еще хоть строчку напечатаешь...

– Кто вы?

– Один из тех, о ком ты пишешь. Ненавижу пацифистов! Ты поднималась с полной выкладкой в горы, шла на бэтээре, когда семьдесят градусов выше нуля? Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слышишь... Значит, не трогай! Это наше! ! Зачем тебе?

– Почему не назовешь себя?

– Не трогай! Лучшего друга, он мне братом был, в целлофановом мешке с рейда принес... Отдельно голова, отдельно руки, ноги... Сдернутая кожа... Разделанная туша вместо красивого, сильного парня... Он на скрипке играл, стихи сочинял... Вот он бы написал, а не ты... Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она убежала ночью на кладбище и пыталась лечь вместе с ним. Не трогай это! Мы были солдатами. Нас туда послали. Мы выполняли приказ. Военную присягу. Я знамя целовал...

– «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим». Новый завет. Евангелие от Матфея.

– Умники! Через десять лет все стали умники. Все хотят чистенькими остаться. Да поили вы все к... матери! Ты даже не зна-

*ешь, как пуля летит. Ты не стреляла в человека... Я ничего не боюсь... Плевать мне на ваши Новые заветы, на вашу правду. Я свою правду в целлофановом мешке нес... Отдельно голова, отдельно руки, но... Сдернутая кожа... Да пошли вы все к...!! – И гудок в трубке, похожий на далекий взрыв.*

*Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой, раненный в самое сердце?..*

*– Не трогай! Это наше!! – кричал он.*

*А это тогда чье?!*

«Ко мне пробивались только голоса, как я ни напрягался, голоса были без лиц. Они то уходили, то возвращались. Кажется, успел подумать: «Умираю». И открыл глаза...

Я пришел в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Голова болела от собственного шепота, громче шепота говорить не мог. Позади уже был кабульский госпиталь. В Кабуле мне вскрыли череп – там была каша, удалили мелкие кусочки костей, собрали на шурupy без суставов левую руку. Первое чувство: сожаление о том, что ничего не вернется, не увижу друзей, самое обидное – не смогу залезть на турник.

Провалился по госпиталям без пятнадцати дней два года. Восемнадцать операций. Четыре – под общим наркозом. Про меня студенты курсовые писали: что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколona, а я кричу: «Давайте другую!» Нет запаха. Я его не слышу. Вытащили все из тумбочки: колбасу, огурцы, мед, конфеты – ничего не пахнет! Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошел! Пришла весна, деревья зацвели, а я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга, и, видно, какой-то центр был удален, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас, пять лет прошло, не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. Видно, оставшаяся часть мозга взяла потерянную способность на себя.

В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш бэтэр подорвался на итальянской футасной мине. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек... Это был я..

Выписали меня, дали пособие – триста рублей. За легкое ранение положено сто пятьдесят, за тяжелое – триста. Дальше – живи как хочешь. Пенсия – гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны – война. Поседел, гипертоником стал.

На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону...

Призвали меня в восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на «гражданке» о ней знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждали мой отец, соседи. Не помню, чтобы кто-нибудь имел другое мнение. Даже женщины не плакали, все это было еще далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Еще никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью, на могильных плитах писали «умер», а не «погиб». Но никто не задавался вопросом: с чего это вдруг у нас стали умирать девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа, а может, апельсинами объелись. Плакали их близкие, а остальные жили, как жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей.

В витебской «учебке» не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать: сначала обманывал – потерял комсомольский билет, билет нашелся, придумал – девушка у него рождает. Я считал его ненормальным. Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое.

...Пуля натывается на человека, ты слышишь – его не забыть, ни с чем не перепугать – характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как лепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что ему дал... Она еще горит... Первый раз действуешь как во сне: бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь, после боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом... Как страшный сон видишь. От испуга просыпаешься, а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через

две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твоё имя. Ты – это уже не ты, а другой человек. И этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров. Этот человек не представляет, а уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности, как не выстирывается запах человеческого кала и крови... Как в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа – будто несколько асов тут не кричали, а смеялись, умирая. Ему знакомо обостренное и чужое возбуждение при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит. Вот такое превращение. Очень быстро. Почти со всеми.

Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остается живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. «Тут вы должны уметь две вещи – быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я», – говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Мог убить ребенка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, женщины, старики, дети. Идет колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель выходит, поднимает капот... Пацан, лет десяти, ему ножом – в спину... Там, где сердце. Солдат лег на двигатель... Из мальчишки решето сделали... Дай в тот миг команду, превратили бы кишлак в пыль... Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам же по восемнадцать – двадцать лет. К чужой смерти я привык, а собственной боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остается, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыплют, чтобы нужный вес был... Хотелось жить... Никогда так не хотелось жить, как там. Вернемся из боя, смеемся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот:

Попал фарцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный «дух». В восемь чеков оценен. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведет он двести пленных. Друг просит: «Продай одного. Семь чеков дам». – «Что ты, дорогой. Сам за девять купил».

Сто раз будет кто-нибудь рассказывать – сто раз будем смеяться. Хохотали до боли в животах из-за любого пустяка.

Лежит «дух» со словарем. Снайпер. Увидел три маленькие звездочки – старший лейтенант – пятьдесят тысяч афгани. Щелк! Одна большая звезда – майор – двести тысяч афгани. Щелк! Две маленькие звездочки – прапорщик. Щелк. Ночью главарь расплачивается: за старшего лейтенанта – дать афгани, за майора – дать афгани. За... Что? Прапорщик? Ты же нашего кормильца убил. Кто сгущенку, кто одеяла дает? Повесить!

О деньгах говорили много. Больше, чем о смерти. Я ничего не привез. Осколок, который из меня вытащили. И все. Брали фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры... Кто на боевых, когда ходили в кишлаки... Кто покупал, менял... Рожок патронов за косметический набор: тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали вареные... Пуля вареная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. Ставили ведра или тазы, бросали патроны и кипятили два часа. Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков. Пропадали штыки от автоматов, зеркала с машин, запчасти, медали... В дуканах брали все, даже тот мусор, что вывозился из гарнизонного городка: консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки... Мусор продавался машинами. Вот такая это была война.

Нас зовут «афганцами». Чужое имя. Как знак. Метка. Мы не такие, как все. Другие. Какие? Я не знаю, кто я: герой или дурак, на которого надо пальцем показывать? А может, преступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра будут громче. А я там кровь оставил... Свою... И чужую... Нам давали ордена, которые мы не носим... Мы еще будем их возвращать... Ордена, полученные честно на нечестной войне... Приглашают выступать в школах. А что рассказывать? О боевых действиях не будешь рассказывать. О том, как я до сих пор боюсь темноты, что-нибудь упадет – вздрагиваю? Как брали пленных, но до полка не доводили? За все полтора года я не видел ни одного душмана живого, только мертвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи. О кишлаках после артиллерийской обработки, похожих уже не на жилье, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, нам нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убива-

ли, строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний. Ухожу, убегаю от них. Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда – и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасают, ищу «Охотничьи», которые мы там курили. Мы их называли «Смерть на болоте».

Не пишете только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне нас объединял страх. Нас одинаково обманули, мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет. У нас одна проблема: пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры... Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропишну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский «видик» – и все! Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше делать нечего. Молодежь к нам не потянулась. Мы непонятны ей. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы, что ли, в роли немцев – так как мне один парень сказал. А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и подрывались на минах. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал – тот мне никто.

Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться... На работе, дома... Нас перестанут сажать в президиумы. Мы всем будем в тягость... Зачем ваша книга? Для кого? Нам, кто оттуда вернулся, все равно не понравится. Разве расскажешь все, как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, их кровь перемешалась. А больше кому это нужно? Мы всем чужие. Все, что у меня осталось, – это мой дом, жена, ребенок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не верю...»

*Рядовой, гранатометчик*

«В газетах писали: полк совершил учебный марш и провел учебную стрельбу... Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отверткой пробить, для пули она – мишень. Каждый день в нас стреляли, нас убивали. Убили рядом парня... Первого на моих глазах... Мы еще мало знали друг друга... Из миномета

стреляли... В нем сидело много осколков... Умирал долго... Нас узнавал. Но звал незнакомых нам людей...

Перед отправкой в Кабул чуть не подрался с одним, а его друг от меня его оттаскивает.

– Что ты с ним ссоришься, он завтра летит в Афган!

Там у нас никогда так не было, чтобы у каждого свой котелок, своя ложка. Один котелок – все навалимся, человек восемь. Но Афган – не увлекательная история, не детектив. Лежит убитый крестьянин – тщедушное тело и большие руки... Во время обстрела просишь (кого просишь, не знаю, Бога просишь): пусть земля расступится и спрячет меня... Пусть камень расступится... Жалобно поскуливают во сне минноорозыские собаки. Их тоже убивали, ранили. Лежали рядом: убитые овчарки и люди, забинтованные собаки и люди. Люди без ног, собаки без ног. Не разобрать, где на снегу собачья кровь, где человеческая. Сбросят в одну кучу трофейное оружие – китайское, американское, пакистанское, советское, английское, – и это все для того, чтобы тебя убить. Страх человеческого смелости, боишься, жалеешь, хотя бы самого себя... Загоняешь страх в подсознание. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и маленький, за тысячу километров от дома. Уже в космос летают люди, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем... В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали...

Вернулся в восемьдесят первом году. Все было на «ура». Выполнили интернациональный долг. Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Дождаться вечера, чтобы сутки терять, не мог. Добирался на попутках: до Можайска на электричке, до Гагарина – на рейсовом автобусе, потом до Смоленска уже на перекладных. И от Смоленска до Витебска – на грузовой машине. Всего шестьсот километров. Никто деньги не брал, когда узнавали, что из Афгана. Последние два километра – пешком.

Дома – запах тополей, звенят трамваи, девочка ест мороженое. И тополя, тополя пахнут! А там природа – это зеленая зона, откуда стреляют. Так хотелось увидеть березку и синичку нашу. Как увижу угол впереди, все внутри сжимается – а кто там за углом? Еще год боялся выйти на улицу: бронежилета нет, каски нет, автомата нет, как голый. А ночью сны... Кто-то в лоб целится... Такой калибр, что полголовы снесет... По ночам кричал... Бросался на стену... Затрещит телефон – у меня испарина на лбу: стреляют...

В газетах по-прежнему писали: вертолетчик икс совершил учебный полет... Награжден орденом Красной Звезды... Тут я окончательно «излечился». Афган излечил меня от иллюзии веры в то, что все у нас правильно, что в газетах пишут правду, что по телевизору говорят правду. «Что делать? Что делать?» – спрашивал я себя. Хотел на что-то решиться... Куда-то пойти... Выступить, сказать... Меня удержала мать: «Мы так живем всю жизнь...»

*Рядовой, мотострелок*

«Каждый день я себе там говорила: «Дура я, дура. Зачем это сделала?» Особенно ночью появлялись такие мысли, когда не работала, а днем были другие: как всем помочь? Раны страшные... Меня потрясло, зачем такие пули? Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное отверстие – маленькое, а внутри кишки, печень, селезенка – все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо еще заставить так мучиться... Они кричали всегда: «Мама!» Когда болит... Когда страшно... Других имен я не слышала...

Я ведь хотела уехать из Ленинграда, на год-два, но уехать. Умер ребенок, потом умер муж. Ничего не держало меня в этом городе, наоборот, все напоминало, гнало. Там мы с ним встречались... Здесь первый раз поцеловались... В этом роддоме я родила...

Вызвал главврач:

– Поедете в Афганистан?

– Поеду.

Мне надо было видеть, что другим хуже, чем мне. И я это увидела.

Война, нам говорили, справедливая, мы помогаем афганскому народу покончить с феодализмом и построить светлое социалистическое общество. О том, что наши ребята погибают, как-то умалчивалось, мы поняли так, что там много инфекционных заболеваний: малярия, брюшной тиф, гепатит. Восьмидесятый год... Начало... Прилетели в Кабул... Под госпиталь отдали английские конюшни. Ничего нет... Один шприц на всех... Офицеры выпьют спирт, обрабатываем раны бензином. Раны плохо заживают – мало кислорода. Помогало солнце. Яркое солнце убивает микробы. Первых раненых увидела в нижнем белье и сапогах. Без пижам. Пижамы не скоро появились. Тапочки тоже. И одеяла...



Весь март тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги, останки наших солдат, офицеров. Трупы лежали полуголые, с выколотыми глазами, с вырезанными звездами на спинах и животах... Раньше в кино о гражданской войне такое видела. Цинковых гробов еще не было. Еще не заготовили.

Тут начали понемногу задумываться: кто же мы? Наши сомнения не понравились. Тапочек, пижам не было, а уже развешивали привезенные лозунги, призывы, плакаты. На фоне лозунгов – худые, печальные лица наших ребят. Они остались в моем сознании такими навсегда...

Два раза в неделю – политическая учеба. Нас учили все время: священный долг, граница должна быть на замке. Самая неприятная вещь в армии – доносительство: начальник приказывал доносить. По каждой мелочи. На каждого раненого, больного. Это называется: знать настроение... Армия должна быть здоровой... Положено было «стучать» на всех. Жалеть нельзя было. Но мы жалели, на жалости там все держалось...

Спасать, помогать, любить. За этим мы ехали. Проходит какое-то время, и я ловлю себя на мысли, что ненавижу. Ненавижу этот мягкий и легкий песок, обжигаящий, как огонь. Ненавижу эти горы. Ненавижу эти низкорослые кишлаки, из которых в любой момент могут выстрелить. Ненавижу случайного афганца, несущего корзину с дынями или стоящего возле своего дома. Еще неизвестно, где они были этой ночью. Убили знакомого офицера, недавно лечившегося в госпитале... Вырезали две палатки солдат... В другом месте была отравлена вода... Кто-то поднял красивую зажигалку, она разорвалась в руках... Это же все наши мальчики гибли... Свои мальчики... Надо это понять... Вы не видели обожженного человека... Лица нет... Глаз нет... Тела нет... Что-то сморщенное, покрытое желтой коркой – лимфатической жидкостью... Не крик, а рык из-под этой корки...

Там жили ненавистью, выживали ненавистью. А чувство вины? Оно пришло не там, а здесь, когда я уже со стороны посмотрела на это. Там мне все казалось справедливостью, здесь я ужаснулась, вспомнив маленькую девочку, лежавшую в пыли без рук, без ног... Как сломанная кукла... А мы еще удивлялись, что они нас не любят. Они лежали в нашем госпитале... Дашь женщине лекарство, а она не поднимает на тебя глаза. Она тебе никогда не улыбнется. Это даже оби-

жало. Там обижало, здесь – нет. Здесь ты уже нормальный человек, к тебе возвратились все чувства.

Профессия у меня хорошая – спасать, она меня и спасла. Оправдала. Мы там были нужны. Не всех спасли, кого могли спасти, – вот что самое страшное. Могла спасти – не было нужного лекарства. Могла спасти – поздно привезли (кто был в медротах? – плохо обученные солдаты, научившиеся только перевязывать). Могла спасти – не добудилась пьяного хирурга. Могла спасти... Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах... От человека часто оставалось полведра мяса... А мы писали: погиб в автомобильной катастрофе, упал в пропасть, пищевое отравление. Когда их уже стали тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным. К трупам я привыкла. Но то, что это человек наш, родной, маленький, – с этим невозможно было смириться.

Привозят мальчика. Как раз я дежурила. Он открыл глаза, посмотрел на меня:

– Ну все. – И умер.

Трое суток его искали в горах. Нашли. Привезли. Он бредил: «Врача! Врача!» Увидел белый халат, подумал – спасен! А рана была несовместимая с жизнью. Я только там узнала, что это такое: ранение в черепную коробку... У каждого из нас в памяти свое кладбище...

Даже в смерти они не были равны. Почему-то тех, кто погиб в бою, жалели больше. Умерших в госпитале – меньше. А они так кричали, умирая... Помню, как умирал в реанимации майор. Военный советник. К нему пришла жена. Он умер у нее на глазах... И она начала страшно кричать... По-звериному... Хотелось закрыть все двери, чтобы никто не слышал... Потому что рядом умирали солдаты... Мальчики... И их некому было оплакивать... Умирали одни. Она была лишняя среди нас...

– Мама! Мама!

– Я здесь, сынок, – говоришь, обманываешь.

Мы стали их мамами, сестрами. И всегда хотелось оправдать это доверие.

Привезут солдаты раненого. Сдадут и не уходят:

– Девочки, нам ничего не надо. Можно только посидеть у вас?

А здесь, дома, у них свои мамы, сестры. Жены. Здесь мы им не нужны. Там они нам доверяли то о себе, что в этой жизни никому не рас-

скажешь. Ты украл у товарища конфеты и съел. Здесь это чепуха. А там – страшное разочарование в себе. Человека те обстоятельства высвечивали. Если это трус, то скоро становилось ясно – трус. Если это стукач, то сразу было видно – стукач. Если бабник, все знали – бабник. Не уверена, признается ли кто-либо здесь, а там не от одного слышала: убивать может понравиться, убивать – удовольствие. Знакомый прапорщик уезжал в Союз и не скрывал: «Как я жить теперь буду, мне же убивать хочется?» Говорили об этом спокойно. Мальчики – с восторгом! – как сожгли кишлак, растоптали все. Они же не сумасшедшие были все? Однажды в гости к нам пришел офицер, он приехал из-под Кандагара. Вечером надо пропцаться, а он закрылся в пустой комнате и застрелился. Говорили, что пьяный был, не знаю. Тяжело. Тяжело прожить каждый день. Мальчик на посту застрелился. Три часа на солнце. Мальчик домашний, не выдержал. Было много сумасшедших. Вначале они лежали в общих палатах, потом поместили их отдельно. Они стали убегать, их путали решетки. Вместе со всеми им было легче. Одного очень запомнила:

– Садись... Я спою тебе дембельскую... – Поет-поет и заснет.

Проснется:

– Домой... Домой... К маме... Мне здесь жарко...

Все время просился домой.

Многие курили. Анашу, марихуану... Кто что достанет... Становишься сильным, свободным от всего. В первую очередь от своего тела. Как будто ты на цыпочках идешь. Слышишь легкость в каждой клеточке. Чувствуешь каждый мускул. Хочется летать. Как будто летишь! Радость неудержимая. Все нравится. Смеешься над всякой ерундой. Слышишь лучше, видишь лучше. Различаешь больше запахов, больше звуков. В этом состоянии легче убивать. Ты обезболился. Жалости нет. Легко умирать. Страх уходит. Такое чувство, что на тебе бронезилет, что ты бронированный.

Обкуривались и уходили в рейд. Я два раза попробовала. В обоих случаях, когда своих, человеческих, сил не хватало. Работала в инфекционном отделении. Должно быть тридцать коек, а лежит триста человек. Брюшной тиф, малярия. Им выдавали кровати, одеяла, а они лежали на своих шинелях, на голой земле. В трусах. Наголо остриженные, а с них сыплются вши... Платяные... Головные... Такого количества вшей я никогда не увижу... Рядом в кишлаке афганцы ходи-

ли в наших больничных пижамах, с нашими одеялами на голове вместо чалмы. Да, наши мальчики все продавали. Я их не осуждаю, чаще не осуждаю. Они умирали за три рубля в месяц – наш солдат получал восемь чеков в месяц. Три рубля... Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой... У нас у всех была цинга, у меня выпали все передние зубы. Они продавали одеяла и покупали анашу. Что-нибудь сладкое. Безделушки... Там такие яркие лавки, в этих лавках так много привлекательного. У нас ничего этого нет. И они продавали оружие, патроны... Чтобы самих себя убивать...

После всего там я другими глазами увидела свою страну.

Страшно было сюда возвращаться. Как-то странно. Будто с тебя сорвали всю кожу. Я все время плакала. Никого не могла видеть, кроме тех, кто там был. С ними бы проводила день и ночь. Разговоры других казались суетой, вздором каким-то. Полгода так длилось. А теперь сама в очереди за мясом ругаюсь. Стараешься жить нормальной жизнью, как жила «до». Но этого не получается. Я стала равнодушной к себе, к своей жизни. Жизнь кончена, ничего дальше не будет. А у мужчин это переживание еще мучительнее. Женщина может зацепиться за ребенка, а им не за что зацепиться. Они возвращаются, влюбляются, у них рождаются дети, а все равно Афганистан для них выше всего. Мне самой хочется разобраться, почему так? Зачем это все было? Почему так это меня трогает? Там это загонялось внутрь, тут вылезло.

Их надо жалеть, жалеть всех, кто там был. Я – взрослый человек, мне было тридцать лет, и то какая ломка. А они – маленькие, они ничего не понимают. Их взяли из дома, дали в руки оружие. Им говорили, им обещали: идете на святое дело, Родина вас не забудет. Теперь от них отводят глаза: стараются забыть эту войну. Все! И те, кто нас туда послал. Даже сами при встречах все реже говорим о войне. Эту войну никто не любит. Хотя я до сих пор плачу, когда играют афганский гимн. Полюбила всю афганскую музыку. Это как наркотик.

Недавно в автобусе встретила солдата. Мы его лечили. Он без правой руки остался. Я его хорошо помнила, тоже ленинградец.

– Может, тебе, Сережа, чем-нибудь помочь надо?

А он зло:

– Да пошли вы все!..

Я знаю, он меня найдет, попросит прощения. А у него кто попро-

сит? У всех, кто там был? Кого сломало? Не говорю о калеках. Как надо не любить свой народ, чтобы посылать его на такое! Я теперь не только люблю войну, я мальчишеские драки ненавижу. И не говорите мне, что война эта кончилась. Летом дохнет горячей пылью, блеснет кольцо стоячей воды, резкий запах сухих цветов... Как удар в висок... И это будет преследовать нас всю жизнь...»

*Медсестра*

«Уже отдохнул от войны, отошел – как передать все, что было. Эту дрожь во всем теле, эту ярость... До армии закончил автотранспортный техникум, и меня назначили возить командира батальона. На службу не жаловался. Но стали у нас настойчиво говорить об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, ни один политчас не обходился без этой информации: наши войска надежно охраняют границы Родины, оказывают помощь дружественному народу. Мы стали волноваться, могут на войну послать. Чтобы обойти солдатский страх, наши решили, как я теперь понимаю, обмануть.

Вызывали к командиру части и спрашивали:

– Ребята, хотите работать на новеньких машинах?

Разумеется, в один голос:

– Да! Мечтаем.

Дальше следовало:

– Но сначала вы должны поехать на целину и помочь убрать хлеб.

Все согласились.

В самолете случайно услышали от летчиков, что летим в Ташкент. У меня невольно возникли сомнения: на целину ли мы летим? Сели действительно в Ташкенте. Строем отвели в огороженное проволокой место недалеко от аэродрома. Сидим. Командиры ходят какие-то возбужденные, шепчутся между собой. Подоспело время обеда, к нашей стоянке один за другим подтаскивают ящики с водкой.

– В колонну по два ста-а-ановись!

Построили и тут же объявили, что, мол, через несколько часов за нами прилетит самолет – мы направляемся в Республику Афганистан выполнять свой воинский долг, присягу.

Что тут началось! Страх, паника превратили людей в животных – одних в тихих, других в разъяренных. Кто-то плакал от обиды, кто-

то впал в оцепенение, в транс от невероятного, гнусного обмана, совершенного над нами. Вот для чего, оказывается, приготовили водку. Чтобы легче и проще с нами поладить. После водки, когда в голову ударил еще и хмель, некоторые солдаты пытались убежать, бросились драться с офицерами. Но лагерь оцепили солдаты других частей, они стали теснить всех к самолету. В самолет нас грузили, как ящики, нас забрасывали в железное пустое брюхо.

Так мы оказались в Афганистане. Через день уже видели раненых, убитых. Услышали слова: «разведка», «бой», «операция». Мне кажется, со мной случился шок от всего произошедшего, я стал приходить в себя, осознавать ясно окружающее лишь через несколько месяцев.

Когда моя жена спросила: «Как муж попал в Афганистан?», ей ответили: «Изявил добровольное желание». Такие же ответы получили все наши матери и жены. Если бы моя жизнь, моя кровь понадобились для большого дела, я сам сказал бы: «Запишите меня добровольцем!» Но меня дважды обманули: не сказали правду, какая это война, – правду я узнал через восемь лет. Лежат в могилах мои друзья и не знают, как их обманули с этой подлой войной. Я иногда им даже завидую: они никогда об этом не узнают. И их больше уже не обманут...»

*Рядовой, водитель*

«Муж служил долгое время в Германии, затем в Монголии. Очень скучала без Родины. Двадцать лет моих прошли вне Родины, которую я любила безудержной любовью. И я написала в Генеральный штаб, что всю жизнь за границей, что больше не могу. Прошу помочь вернуться домой...»

Мы уже сели в поезд, а я все не верила. Каждую минуту спрашивала у мужа:

– Мы едем в Советский Союз? Ты меня не обманываешь?

На первой станции взяла в руку кусочек родной земли, смотрю на нее и улыбаюсь – родная! Я ее ела, поверьте. Умывала ею лицо.

Юра у меня был старшенький. Нехорошо матери в этом признаваться, но я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына. Он был маленький, я спала и держала его за ножку. Не могла себе представить: как это я побегу в кино, а сына оставлю с

кем-то. Брала его, трехмесячного, несколько бутылочек молока, и мы отправлялись в кино. Могу сказать, что я всю жизнь была с ним. Воспитывала его только по книгам, по идеальным образам. Павка Корчагин, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. В первом классе знал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Учительница была в восторге:

– Кто твоя мама, Юра? Ты уже так много прочитал.

– Моя мама работает в библиотеке.

Он знал идеалы, он не знал жизнь. Я тоже, столько лет живя вдали от Родины, воображала, что жизнь состоит из идеалов. Вот случай. Мы уже вернулись в родные места, жили в Черновцах. Юра учился в военном училище. Однажды, в два часа ночи – звонок в дверь. Стоит на пороге он.

– Ты, сынок? Что так поздно? Почему в дождь? Мокрый весь...

– Мама, я приехал тебе сказать: мне трудно жить. То, чему ты учила... Ничего этого нет... Откуда ты это все взяла?.. А это только начало. Как я буду жить дальше?..

Всю ночь мы с ним просидели на кухне. О чем я могла говорить? Опять о том же: жизнь прекрасна, люди хорошие. Все правда. Он меня тихо слушал. Утром уехал в училище.

Не раз я настаивала:

– Юра, бросай училище, иди в гражданский институт. Твое место там. Я же вижу, как ты мучаешься.

Он не был доволен своим выбором, потому что военным стал случайно. Из него мог получиться хороший историк. Ученый. Жил он книгами: «Какая прекрасная страна – Древняя Греция». А в десятом классе на зимних каникулах поехал в Москву. Там у меня живет брат, полковник в отставке, Юра с ним поделился: «Хочу поступать в университет на философский факультет». Тот не одобрил:

– Ты честный парень, Юра. Быть философом в наше время тяжело. Надо обманывать себя и других. Будешь говорить правду, угодишь за решетку или в сумасшедший дом.

И весной Юра решает:

– Мама, не спрашивай меня ни о чем. Я буду военным.

Я видела в военном городке цинковые гробы. Но тогда – один сын – в седьмом классе, другой – совсем маленький. Надеялась: пока они

вырастут, война кончится. Разве война может быть такой длинной? «А она оказалась длинной в школу, тоже десять лет», – сказал кто-то на Юриных поминках.

Выпускной вечер в училище. Сын – офицер. Но я не понимала, как это Юре надо будет куда-то уезжать. Не представляла на миг своей жизни без него.

– Куда тебя могут послать?

– Попрошусь в Афганистан.

– Юра!!!

– Мама, ты меня воспитала таким, теперь не вздумай перевоспитывать. Ты правильно меня воспитала. Все те выродки, которых я встречал в жизни, – не мой народ и не моя Родина. Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для счастья только забитый мясом холодильник.

Он не один просился в Афганистан, много мальчиков подавали рапорт. Все они – из хороших семей: то отец – председатель колхоза, то учитель...

Что я могла сказать своему сыну? Что Родине это не нужно? А те, кому он хочет что-то доказать, как считали, так и будут считать, мол, в Афганистан едут только за тряпками, за чеками. За орденами, за карьерой... Для них Зоя Космодемьянская – фанатичка, а не идеал, потому что нормальный человек на такое не способен...

Не знаю, что со мной произошло: плакала, умоляла. Призналась ему в том, в чем сама себе боялась признаться, – в своем поражении или прозрении, не знаю, как это назвать.

– Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю, что ты в Афганистане, выйду на площадь, на Лобное место... Оболю себя бензином и сожгу. Тебя убьют там не за Родину... Тебя убьют неизвестно за что... Разве может Родина посылать на гибель своих лучших сыновей без великой идеи?

И он обманул меня, сказал, что поедет в Монголию. Но я знала: это же мой сын, он будет в Афганистане.

В то же время ушел в армию Гена, мой младший. Я за него была спокойна, он вырос другим. Их вечный спор с Юрой.

Юра:

– Ты, Гена, мало читаешь. Никогда не увидишь у тебя книгу на коленях. Всегда гитара...



Гена:

– Я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть, как все.

Они уехали, я перешла жить к ним в детскую. Потеряла интерес ко всему, кроме их книг; их вещей, их писем. Юра писал о Монголии, но так запутывался в географии, что я уже не сомневалась, где он. Днем и ночью перебирала свою жизнь. Резала себя на кусочки. Эту боль не передать никакими словами.

Я сама его туда отправила. Сама!

...Входят какие-то чужие люди, по их лицам сразу ловлю – они принесли мне беду. Отступаю в комнату. Остается последняя страшная надежда:

– Гена?!

Они отводят глаза. А я еще раз готова отдать им одного сына, чтобы спасти другого.

– Гена?!

Тихо-тихо кто-то из них произнес:

– Нет, Юра.

Дальше не могу... Не могу дальше... Два года я умираю... Я ничем не больна, но я умираю. Я не сожгла себя на площади... Муж не отнес и не бросил им в лицо партбилет... Мы, наверное, уже умерли... Только никто об этом не знает... Мы сами об этом не знаем».

*Мать*

«Сразу я себя убедил: «Я все забываю... Я все забываю...» У нас в семье табу на эту тему. Жена там посела в сорок лет, у дочери были длинные волосы, сейчас носит короткую стрижку. Во время ночных обстрелов Кабула не могли ее добудиться и тянули за косы. А через четыре года меня вдруг понесло, понесло... Хочу говорить... И вчера зашли случайные гости, не могу себя остановить... Принес альбом... Показал слайды: висают над кишлаком «вертушки». Кладут на носилки раненого, рядом – его оторванную ногу в кроссовке... Пленные, приговоренные к расстрелу, наивно смотрят в объектив, через десять минут их уже не будет... Аллах акбар!» Оглянулся: мужчины на балконе курят, женщины удалились на кухню. Сидят только их дети. Подростки. Этим любопытно. Не понимаю, что со мной творится? Хочу говорить. Отчего вдруг? Чтобы ничего никогда не забыть...

Как было тогда, что я чувствовал тогда – не передам. Я, может, смогу рассказать о своих чувствах через четыре года. Через десять лет все станет звучать иначе, может быть, разобьется вдребезги.

Была какая-то злость. Досада. Почему я должен ехать? Почему на мне сошлось? Но ощутил нагрузку, не сломался – это дало удовлетворение. Начинаешь готовиться с самой мелочевки: какой ножик с собой взять, какой бритвенный прибор... Собрался... И тут уже невтерпеж: скорее встретиться с неизвестным, чтобы не прошел подъем, высота чувств. Схема получается... Это вам расскажет любой и каждый... А меня озноб или пот прошибает... И еще такой момент: когда самолет приземлился, облегчение и в то же время возбуждение – сейчас все начнется, увидим, пощупаем, поживем этим.

...Стоят трое афганцев, о чем-то разговаривают, смеются. Пробежал вдоль торговых рядов грязный мальчишка, нырнул куда-то в толстые тряпки под прилавок. Уставился на меня зеленым немигающим глазом попугай. Я смотрю и не понимаю, что происходит... Они не прерывают разговора... Тот, что спиной ко мне, поворачивается... И я смотрю на дуло пистолета... Пистолет поднимается... поднимается... Вот отверстие... Я его вижу. Одновременно я слышу резкий щелчок, и одновременно меня нет... Я нахожусь в одно и то же время и по ту, и по эту сторону... Но я еще не лежу, а стою. Хочу с ними говорить, не могу: а-а-а-а...

Мир проявляется медленно, как фотография... Окно... Высокое окно... Что-то белое и что-то большое, грузное в этом белом... Очки мешают, не разглядеть лица... С него капает пот... И капли пота меня больно ударяют по лицу... Поднимаю неподъемные веки и слышу облегченный вздох:

– Ну все, товарищ подполковник, вернулся из «командировки».

Но если я подниму голову, хотя бы поверну ее, у меня куда-то провалится мозг. Опять ныряет в толстые тряпки под прилавок мальчишка... Уставился на меня немигающим зеленым глазом попугай... Стоят трое афганцев... Тот, что спиной ко мне, поворачивается... И я упираюсь взглядом в дуло пистолета... Вот отверстие... Я его вижу... Теперь я не жду знакомого щелчка... Кричу: «Я должен тебя убить! Я должен тебя убить!..»

Какого цвета крик? Какого вкуса? А какого цвета кровь? В госпитале – она красная, на сухом песке – серая, на скале – ярко-синяя к ве-

черу, уже неживая... Из тяжелораненого человека кровь вытекает быстро, как из разбитой банки... И человек тухнет... тухнет... Одни глаза до конца блестят и смотрят мимо тебя... Упорно куда-то мимо...

За все заплачено. За все нами заплачено. Сполна.

Вы смотрите на горы снизу – бесконечные, не достать, поднимитесь на самолете – внизу перевернутые сфинксы лежат. Понимаете, о чем я? О времени. О расстоянии между событиями. Тогда даже мы, участники, не знали, что это за война. Не путайте меня сегодняшнего со мной вчерашним, с тем, кто в семьдесят девятом был там. Да, я этому верил! В восемьдесят третьем приехал в Москву. Тут жили так, вели себя так, как будто нас там не было. И войны никакой не было. Я шел по Арбату и останавливал людей:

– Сколько лет идет война в Афганистане?

– Не знаю...

– Сколько лет идет война...

– Не знаю, зачем это вам?

– Сколько лет...

– Кажется, два года...

– Сколько лет...

– А что, там война? На самом деле?

Что мы все думали тогда? Что? Молчите?! Я тоже молчу. Старая китайская мудрость гласит: «Достоин всяческого презрения охотник, хвастающийся у ног сдохшего льва. И достоин всяческого уважения охотник, хвастающийся у ног поверженного льва». Кто-то может говорить об ошибках. Правда, не знаю: кто? Но я – нет. Меня спросят: «Почему вы молчали тогда? Ведь вы были не мальчик. Вам было без малого пятьдесят лет».

Понимаете еще что: я там стрелял, и в то же время я уважаю этот народ. Я даже его люблю. Мне нравятся его песни, его молитвы: спокойные и бесконечные, как его горы. Но вот я – буду говорить только о себе – искренне верил, что юрта хуже пятиэтажного дома, что без унитаза нет культуры. И мы завалим их унитазами, и построим каменные дома. И мы привезли им столы для кабинетов, графины для воды, и красные скатерти для официальных заседаний, и тысячи портретов Маркса, Энгельса, Ленина. Они висели во всех кабинетах, над головой каждого начальника. Мы привезли им черные «Волги». И наши тракторы, и наших племенных бычков. Крестьяне (дехкане)

не хотели брать землю, которую им дарили, потому что она принадлежит аллаху. Как из космоса, смотрели на нас проломленные черепица мечетей...

Мы никогда не узнаем, как муравей видит мир. Найдите об этом у Энгельса. А у востоковеда Спенсера: «Афганистан нельзя купить, его можно перекупить». Утром закуриваю сигарету: на пепельнице сидит маленькая, как майский жук, ящерица. Возвращаюсь через несколько дней: ящерица сидит на пепельнице в той же позе, даже головку еще не повернула. Понял: вот он – Восток. Я десять раз исчезну и воскресну, разобьюсь и поднимусь, а она еще не успеет своей крошечной головкой повернуть. По их календарю – тысяча триста шестьдесят первый год...

Вот сижу дома, в кресле у телевизора. Могу ли я убить человека? Да я мухи не убью! Первые дни, даже месяцы, пули срезают ветки тутовника – ощущение нереальности... Психология боя иная... Бежишь и ловишь цель... Впереди... Боковым зрением... Я не считал, сколько я убил... Но бежал... Ловил цель... Здесь... Там... Живую движущуюся цель... И сам тоже был целью... Мишенью... Нет, с войны не возвращаются героями... Оттуда нельзя вернуться героем...

За все заплачено. За все нами заплачено...

Вы представляете себе и любите солдата сорок пятого года, которого любила вся Европа. Наивный, простоватый, с широким ремнем. Ему ничего не надо. Ему нужна победа – и домой! А этот солдат, который вернулся в ваш подъезд, на вашу улицу, – другой. Этому солдату нужны были джинсы и магнитофон. Еще древние говорили: не будите спящую собаку. Не давайте человеку нечеловеческих испытаний. Он их не выдержит.

Своего любимого Достоевского там читать не мог. Мрачно. Таскал за собой фантастику. Брэдбери. Кто хочет жить вечно? Никто.

Но ведь было же. Было! Помню... В тюрьме мне показали главаря, как мы тогда называли, банды. Лежит на железной кровати и читает... Знакомый книжный переплет... Ленин: «Государство и революция»... «Жаль, – сказал, – не успею прочитать. Может, мои дети прочтут...»

Сгорела школа. Осталась одна стена. Каждое утро дети приходят на урок и пишут на ней угольками, оставшимися после пожара. После уроков стену белят известью. И она снова похожа на чистый лист белой бумаги...

Привезли из «зеленки» лейтенанта без рук и без ног. Без всего мужского. Первые слова, которые он произносит после шока: «Как там мои ребята?..»

За все заплачено. И мы заплатили больше всех. Больше вас.

Нам ничего не надо, мы все прошли. Выслушайте нас и поймите. А все привыкли к действию – дать лекарство, дать пенсию, дать квартиру... Это «дайте» оплачено дорогой валютой – кровью. Но мы к вам на исповедь пришли... Мы исповедуемся... Не забудьте о тайне исповеди...»

*Военный советник*

«Нет, все-таки хорошо, что так кончилось. Поражением. У нас глаза откроются...»

Невозможно рассказать все, как было. Это иллюзия. Было то, что было, после чего осталось то, что я увидел и запомнил, уже только часть от целого, а дальше появится то, что смогу рассказать. А ради кого? Ради Алешки, который умер у меня на руках, – восемь осколков в живот. Мы спустили его с гор восемнадцать часов. Семнадцать часов он жил, на восемнадцатом – умер. Ради Алешки вспомнить? Но это только с точки зрения религии человеку что-нибудь нужно. Я больше верю, что им не больно, не страшно и не стыдно. Тогда зачем ворошить? Хотите узнать у нас о каких-то идеалах? Вы, наверное, принимаете нас за других? Поймите, трудно в чужой стране, воюя неизвестно за что, приобрести какие-то идеалы. Там мы были одинаковыми, но не были единомышленниками. Одинаковыми нас делало то, что мы могли убить и убивали, но случаю ничего не стоило поменять местами тех, кто там был, и тех, кто там не был. Мы все разные, но мы везде одинаковые – и там, и здесь.

Помню, в шестом или седьмом классе учительница русской литературы вызвала к доске:

– Кто твой любимый герой: Чапаев или Павел Корчагин?

– Гек Финн.

– Почему Гек Финн?

– Гек Финн, когда решал, выдать беглого негра Джимма или гореть за него в аду, сказал себе: «Ну и черт с ним, буду гореть в аду», но Джимма не выдал.

– А если бы Джимм был белый, а ты красный? – спросил после уроков Алешка, мой друг.

Так всю жизнь и живем – белые и красные, кто не с нами, тот против нас.

Под Баграмом зашли в кишлак, попросили поесть. По их законам, если человек в твоём доме и голодный, ему нельзя отказать в горячей лепешке. Женщины посадили нас за стол и покормили. Когда мы уехали, этих женщин и их детей кишлак до смерти закидал камнями и палками. Они знали, что их убьют, но все равно нас не выгнали. А мы к ним со своими законами... В шапках заходили в мечеть...

Зачем заставлять меня вспоминать? Это все очень интимное: и первый мой убитый, и моя собственная кровь на легком песке, и высокая труба верблюжьей головы, качнувшаяся надо мной прежде, чем я потерял сознание. И в то же время я там был, как все. За всю жизнь я один лишь раз отказался быть, как все... В детском садике нас заставляли братья за руки и ходить парами, а я любил гулять один. Молодые воспитательницы какое-то время терпели мои выходки, но скоро одна из них вышла замуж, уехала, вместо нее к нам привели тетю Клаву.

– Бери за руку Сережу, – подвела ко мне другого мальчика тетя Клава.

– Не хочу.

– Почему ты не хочешь?

– Люблю гулять один.

– Делай, как делают все послушные мальчики и девочки.

– Не буду.

После прогулки тетя Клава раздела меня, даже трусики сняла и маечку, отвела и оставила на три часа в пустой темной комнате. Назавтра я шел с Сережей за руку, я стал, как все. В школе – класс решил, в институте – курс решил, на заводе – коллектив решил. Всюду за меня решали. Мне внушили, что один человек ничего не может. В какой-то книге наткнулся на слова «убийство мужества». Когда отправлялся туда, во мне нечего было убивать: «Добровольцы, два шага вперед». Все два шага вперед, и я – два шага вперед.

В Шинданде видел двух помешавшихся наших солдат, они все время «вели» переговоры с «духами». Они им объясняли, что такое социализм, по учебнику истории за десятый класс... «А дело в том,

что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам». Дедушка Крылов. А однажды в школу, мне лет одиннадцать было, пришла «тетя Снайпер», которая убила семьдесят восемь «дядей фрицев». Вернулся домой, заикался, ночью поднялась температура. Родители решили: грипп. Заразная болезнь. Неделю дома просидел. Любимого своего «Овода» читал.

Зачем заставлять меня вспоминать? Я свои довоенные джинсы, рубашки не смог носить, это была одежда чужого, незнакомого мне человека, хотя она сохранила мой запах, как уверяла мать. Того человека уже нет, он не существует. Этот другой, который теперь я, носит только ту же фамилию. Но не пишите его фамилию... Мне все-таки нравился тот первый человек. «Падре, – спросил Овод у Монтанелли, – теперь ваш Бог удовлетворен?» Кому мне бросить эти слова? Как гранату...»

*Рядовой, артиллерист*

«Как я сюда попала? Очень просто. Верила всему, что писали в газетах. Я себе говорила: «Раньше подвиги совершали, были способны на самопожертвование, а теперь наша молодежь никуда не годится. И я такая же. Там война, а я себе платье шью, прическу новую придумываю». Мама плакала: «Умирать буду – не прошу. Я не для того вас рожала, чтобы хоронить отдельно руки, ноги».

Из первых впечатлений? Пересылка в Кабуле – колючая проволока, солдаты с автоматами, собаки лают. Одни женщины. Сотни женщин. Приходят офицеры, выбирают, кто посимпатичнее, помоложе. Откровенно. Меня подозвал майор:

– Давай отвезу в свой батальон, если тебя не смущает моя машина.

– Какая машина?

– Из-под «груза двести»... – Я уже знала, что «груз двести» – это убитые, это гробы.

– Гробы есть?

– Сейчас выгрузят.

Обыкновенный КАМАЗ с брезентом. Гробы бросали, как ящики с патронами. Я ужаснулась. Солдаты поняли: «Новенькая». Приехала в часть. Жара шестьдесят градусов. В туалете мух столько, что могут

поднять тебя на крыльях. Душа – нет. Я – единственная женщина.

Через две недели вызвал комбат:

– Ты будешь жить со мной...

Два месяца отбивалась. Один раз чуть гранатой не бросила, в другой – за нож ухватилась. Наслушалась: «Выбираешь выше звездами... Чай с маслом захочешь – сама придешь...» Никогда раньше не материлась, а тут:

– Да вали ты отсюда...

У меня маг-перемат, огрубела. Перевели в Кабул, дежурной в гостиницу. Первое время на всех зверем кидалась. Смотрели, как на ненормальную.

– Чего ты бросаешься? Мы кусаться не собираемся.

А я по-другому не могла, привыкла защищаться. Позовет кто-нибудь:

– Зайди чаю попить.

– Ты меня зовешь на чашку чая или на палку чая?

Пока у меня не появился мой... Любовь? Таких слов здесь не говорят. Вот знакомит он меня со своими друзьями:

– Моя жена.

А я ему на ухо:

– Афганская?

Ехали на бэтээре. Я его собой прикрыла, но, к счастью, пуля – в люк. А он сидел спиной. Вернулись, написал жене обо мне. Два месяца не получает из дома писем.

Люблю пойти пострелять. Полностью весь магазин выпускаю одной очередью. Мне становится легче.

Одного «духа» сама убила. Выехали в горы, подышать, полюбоваться. Шорох за камнем, меня током назад, и я – очередь. Первая. Подошла посмотреть: сильный, красивый мужчина лежал..

– С тобой можно в разведку, – сказали ребята.

Я нос задрала. Им еще понравилось, что я не полезла к нему в сумку за вещами, я взяла только пистолет. Потом они всю дорогу меня сторожили – вдруг замутит, тошнить начнет. Ничего...

Пришла, открыла холодильник и много съела, так много, что в другой раз мне бы этого на неделю хватило. Нервное расстройство. Принесли бутылку водки. Пила, не опьянела. Жуть брала: промажь я, и моя мама получила бы «груз двести».

Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной.



Откуда бралась ненависть? Очень просто. Убили товарища, а ты с ним был рядом, сл из одного котелка. И вот он лежит весь обгоревший. Сразу все понятно. Тут будешь стрелять до сумасшествия. Мы не привыкли думать о больших вопросах: кто это затеял? Кто виноват? Любимый наш анекдот на эту тему. У армянского радио спрашивают: что такое политика? Армянское радио отвечает: вы слышали, как писает комар? Так политика – это еще тоныше. Пусть правительство политикой занимается, а тут люди видят кровь и звереют... Видят, как обгоревшая кожа сворачивается в трубочку, точно лопнувший капроновый чулок... Жуть, когда животных убивают... Расстреливали караван, он вез оружие. Людей расстреляли отдельно, ишakov – отдельно. Они одинаково молчали и ждали смерти. Раненый ишак кричал, как будто по железу тянули чем-то железным. Скрипуче так же.

У меня здесь другое лицо, другой голос. Можете представить, какие мы здесь, если мы, девчонки, сидим и говорим такое:

– Ну и дурак! Поссорился с сержантом и ушел к «духам». Стрельнул бы, и все. Списали бы на боевые потери.

Откровенный разговор. Ведь многие офицеры думали, что тут как в Союзе: можно ударить солдата, оскорбить... Таких находили убитыми... В бою в спину выстрелят... Пойди докажи.

На заставах в горах ребята никого годами не видят. Вертолет три раза в неделю. Я приехала. Подошел капитан:

– Девушка, снимите фуражку. – А у меня были длинные волосы. – Я целый год не видел женщину.

Все солдаты высыпали из траншей, смотрели.

А в бою меня закрыл собой один солдат. Сколько я буду жива, буду его помнить. Он меня не знал, он это сделал только потому, что я – женщина. Такое забудешь? И где ты в обычной жизни проверишь, сможет ли тебя закрыть собою человек? Тут лучшее еще лучше, плохое – еще хуже. Обстреливают... И солдат крикнул мне какую-то пошлость. Грязную. И его убило, отрезало половину головы, половину туловища. На моих глазах... Меня затрясло, как в малярии. Хотя я до этого видела большие целлофановые мешки с трупами... Трупы, завернутые в фольгу, как большие игрушки... Но чтобы меня трясло, такого не было... А тут я не могла успокоиться...

Не встречала, чтобы девчонки у нас носили боевые награды, даже если они у них есть. Одна надела медаль «За боевые заслуги», все сме-

ялись – «За половые заслуги»... Потому что все знают: медаль можно получить за ночь с комбатом... Почему женщины здесь? Что, без них нельзя было обойтись? Так некоторые господа офицеры с ума сойдут. Почему женщины сюда рвутся? Деньги... Купишь магнитофон, вещи. Вернешься домой – продашь. В Союзе столько не зарабатываешь, как тут, в Афгане. У нас же честный разговор... Некоторые девчонки пугались с дуканщиками за шмотки. Зайдешь в дуكان, бачата<sup>1</sup> кричат: «Ханум, джик-джик...» – и показывают на подсобку. Свои офицеры расплачиваются чеками, так и говорят: «Пойду к «чекистке»...» Все это тоже правда. Как и этот анекдот. В Кабуле на пересыльном пункте встретились: Змей Горыныч, Кащей Бессмертный и Баба Яга. Все едут защищать революцию. Через два года увидели друг друга по дороге домой: у Змея Горыныча только одна голова уцелела, остальные снесли; Кащей Бессмертный чуть живым остался, потому что бессмертный, а Баба Яга – вся в «монтане»: варенка на ней. Веселая.

– А я на третий год оформляюсь.

– Ты с ума сошла, Баба Яга!

– Это я в Союзе Баба Яга, а тут – Василиса Прекрасная.

Да, сломленные люди отсюда выходят, особенно солдаты, мальчики восемнадцати-девятнадцати лет. Много тут увидели... Много... Как женщина продается за ящик, да где там ящик, за две банки тушенки. Потом этими глазами он будет смотреть на жену. Их тут сломали. Не надо удивляться, что они себя потом как-то не так ведут в Союзе. У них другой опыт. Они привыкли все решать автоматом, силой... Дуканщик продавал арбузы, один арбуз – сто афгашек. Наши солдаты хотели дешевле. Он отказывался. Ах, так! – один взял и расстрелял из автомата все арбузы, целую гору арбузов. Попробуй такому в троллейбусе наступить на ногу или не пропустить в очереди...

Мечтала: вернусь домой, вынесу раскладушку в сад и засну под яблоней... Под яблоками... А теперь боюсь. От многих можно услышать, особенно сейчас, перед выводом наших войск: «Я боюсь возвращаться в Союз». Почему? Очень просто. Мы приедем, там все изменилось: другая мода за эти два года, другая музыка, другие улицы... Другое отношение к этой войне... Мы будем как белые вороны...»

*Служащая*

---

<sup>1</sup> Дети.

«Я настолько верил, что сейчас не могу с этим расстаться. Что бы мне ни говорили, что бы я ни читал, каждый раз оставляю себе маленькую лазейку. Срабатывает инстинкт самосохранения. Перед армией окончил институт физкультуры. Последнюю, дипломную практику проходил в «Артеке», работал вожатым. Там столько раз произносил высокие слова: «пионерское слово», «пионерское дело»... Сам в военкомате попросился: «Отправьте меня в Афганистан...» Замполит нам читал лекции о международном положении, это он сказал, что мы всего лишь на один час опередили американские «зеленые береты», они уже находились в воздухе. Обидно за свою доверчивость. Нам вдалбливали, вдалбливали и наконец вдобили, что это – «интернациональный долг». До конца дойти никогда не могу... «Сними, – говорю себе, – розовые очки». Уезжал я не в восьмидесятом и не в восемьдесят первом году, а в восемьдесят шестом. Но еще все молчали. В восемьдесят седьмом я уже был в Хосте. Мы взяли одну горку... Семь наших ребят положили... Приехали московские журналисты... Им привезли «зеленых» (Афганская народная армия), якобы это они отбили горку... Афганцы позировали, а наши солдаты в морге лежали...

В Афганистан в «учебке» отбирали самых лучших. Страшно было попасть в Тулу, в Псков или в Кировабад – грязно и душно, а в Афган просились, добивались. Майор Здобин начал нас с Сашей Кривцовым, моим другом, уговаривать, чтобы мы забрали свои рапорты:

– Пусть лучше Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас. На вас государство столько затратило.

Синицын – простой крестьянский парень, тракторист. Я уже с дипломом, Саша учился на факультете романо-германской филологии Кемеровского университета. Он исключительно пел. Играл на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре. Музыку сочинял. Рисовал хорошо. Мы жили с ним как братья. На политчасах нам о подвигах рассказывали, о геройстве. Афганистан, утверждали, та же Испания. И вдруг: «Лучше пусть Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас».

Увидеть войну было интересно с психологической точки зрения. Прежде всего изучить себя. Меня это привлекало. Спрашивал у знакомых ребят, кто там был. Один, как я теперь понимаю, лапшу нам на уши вешал. У него на груди виднелось крупное пятно, как бы от ожога, буквой «р», он специально носил открытые рубашки, показывал.

Сочинял, как они ночью с «вертушек» на горы садились, еще я запомнил, что десантник три секунды – ангел, до раскрытия парашюта, три минуты – орел, пока летит, остальное время – ломовая лошадь. Мы принимали все за чистую монету. Повстречался бы мне сейчас этот Гомер! Таких потом раскусывал с ходу: «Если бы были мозги, то была бы контузия». Другой парень, наоборот, отговаривал:

– Не нужно тебе туда ехать. Это грязь, а не романтика.

Мне не нравилось:

– Ты пробовал? Я тоже хочу попробовать.

Он учил, как остаться живым. Десять заповедей:

– Выстрелил – откатись на два метра от места, с которого стрелял. Прячь за дувал или за скалу ствол автомата, чтобы не увидели пламя, не засекли. Когда идешь, не пей, не пойдешь. В карауле – не засни, царапай себе лицо, кусай за руку. Десантник бежит сначала, сколько может, а потом, сколько надо.

Отец у меня ученый, мама – инженер. Они с детства воспитывали во мне личность. Я хотел быть личностью, меня исключили из октябрят, долго не принимали в пионеры. Дрался за честь. Повязали галстук, я его не снимал, спал с ним. На уроках литературы учительница обрывала:

– Не говори сам, а говори, как в книге.

– Я неправильно рассказываю?

– Не как в книге...

Как в сказке, где царь не любил все краски, кроме серых. И все в этом царстве-государстве было мышиного цвета.

Сейчас я призываю своих учеников:

«Учитесь думать, чтобы из вас не сделали очередных дураков. Оловянных солдатиков».

До армии меня учили жить Достоевский и Толстой, в армии – сержанты. Власть сержантов неограниченная, три сержанта на взвод.

– Слушай мою команду! Что должен иметь десантник? Повторить!

– Десантник должен иметь наглуемую морду, железный кулак и ни грамма совести.

– Совесть – это роскошь для десантника. Повторить!

– Совесть – это роскошь для десантника.

– Вы – медсанбат. Медсанбат – белая кость ВДВ (воздушно-десантных войск). Повторить!

Из солдатского письма: «Мама, купи барана и назови Сержантом, приеду домой, убью».

Сам режим забывает сознание, нет сил сопротивляться, с тобой можно сделать все.

В шесть часов утра – подъем. Три раза: подъем – отбой. Встать – лечь.

Три секунды, чтобы построиться на «взлетке» – белый линолеум, белый, чтобы чаще мыть, драить. Сто шестьдесят человек должны соскочить с кровати и за три секунды построиться. За сорок пять секунд одеться по форме номер три – полная форма, но без ремня и шапки. Как-то один не успел накрутить портянки.

– Разойтись и повторить!

Опять не успел.

– Разойтись и повторить!

Физзарядка. Рукопашный бой: сочетание каратэ, бокса, самбо и боевых приемов против ножа, палки, саперной лопатки, пистолета, автомата.

Он – с автоматом, ты – с голыми руками. Ты – с саперной лопаткой, он – с голыми руками.

Сто метров «зайчиком». Десять кирпичей сломать кулаком. Заводили на стройку: «Не уйдете, пока не научитесь». Самое трудное – преодолеть себя, не бояться бить.

Пять минут на умывание. Двенадцать краников на сто шестьдесят человек.

– Построились! Разбежались. Построились. Разбежались. Построились...

Утренний осмотр: проверка блях – они должны блестеть, как у кота одно место, – белых воротничков, наличия в шапке двух иголок с ниткой.

– Вперед, шагом марш. На исходную позицию. Вперед, шагом марш...

За весь день – полчаса свободного времени. После обеда: для письма.

– Рядовой Кривцов, почему сидите и не пишете?

– Я думаю, товарищ сержант.

– Почему тихо отвечаете?

– Я думаю, товарищ сержант.

– Почему не орете, как вас учили орать? Придется потренироваться «на очке».

Тренироваться «на очке» – орать в унитаза, отрабатывать командный голос. Сзади сержант, следит, чтобы было гулкое эхо.

Из солдатского словаря:

Отбой – я люблю тебя, жизнь. Утренний осмотр – верьте мне, люди. Вечерняя поверка – их знали в лицо. На губе – вдали от Родины. Демобилизация – свет далекой звезды. Поле для тактических занятий – поле дураков. Посудомойка – дискотека (тарелки крутятся, как диски). Замполит – Золушка (на флоте – Пассажира)..

– Медсанбат – белая кость ВДВ. Повторить!

Вечное чувство голода. Заветное место – воснторг, там можно купить кекс, конфеты, шоколад. Отстреляешься на «пятерку», получаешь разрешение сходить в магазин. Не хватает денег, продаем несколько кирпичей. Берем один кирпич, подходим – два здоровых типа – к новенькому, у которого есть деньги:

– Купи кирпич.

– А зачем он мне?

Берем в кольцо:

– Купи кирпич..

– Сколько?

– Три рубля.

Дает нам три рубля, заходит за угол и выбрасывает кирпич. А мы за три рубля наедаемся. Один кирпич равен десяти кексам.

– Совесть – это роскошь для десантника. Медсанбат – белая кость ВДВ.

Я, наверное, неплохой актер, потому что быстро научился играть отведенную мне роль. Хуже всего прослыть «чадос», от слова «чадо», что-то слабое, не мужского рода. Через три месяца попал в увольнение. Как все забылось! Еще недавно целовался с девушкой, сидел в кафе, танцевал. Как будто не три месяца прошло, а три года, и ты вернулся в цивилизацию.

Вечером:

– Обезьяны, построиться! Что главное для десантника? Главное для десантника – не пролететь мимо земли.

Перед самым отъездом праздновали Новый год. Я был Дедом Морозом, Сашка – Снегурочкой. Это напомнило школу.

Шли двенадцать суток... Хуже гор могут быть только горы... Уходили от банды... Держались на допинге...

– Санинструктор, давай свой «озверин». – А это был сиднокарб. Переели все таблетки.

Нет сил попробовать улыбнуться.

– «На что жалуетесь?» – спрашивает врач у кота Леопольда», – начинает кто-то первый.

– На мышей.

– Мышите – не мышите... Все ясно. Вы очень добрый. Вам нужно разозлиться. Вот таблетки «озверин». Принимать по одной таблетке три раза в день после еды.

– Ну и что?

– Озвереее.

На пятые сутки взял и застрелился солдат, пропустил всех вперед и приставил автомат к горлу. Нам пришлось тащить его труп, его рюкзак, его бронежилет, его каску. Жалости не было. Он знал, что у нас не бросают трупы – уносят.

Пожалели мы его первый раз, когда уже уезжали домой, демобилизовались.

– Принимать по одной таблетке три раза в день...

– Ну и что?

– Озвереее.

Подрывные ранения – самые страшные... Оторвана нога до колена... Кость торчит... От второй ноги оторвана пятка... Срезан член... Выбит глаз... Оторвано ухо... Первый раз внутри бил колотун, в горле щекотало... Сам себе приговаривал: «Не сделаешь сейчас, никогда не станешь санинструктором». Отрыв двух ног... Перетянул жгутом, остановил кровь, обезболил, усypил... Разрывная пуля в живот... Кишки вывалились... перевязал, остановил кровь, обезболил, усypил... Четыре часа держал... Умер...

Не хватало медикаментов. Зеленки обыкновенной не было. То не успели подвезти, то лимиты кончились – наша плановая экономика. Добывали трофейное, импортное. У меня всегда в сумке лежало двадцать японских разовых шприцев. Они в мягкой полиэтиленовой упаковке, снимешь чехол – делаешь укол. У наших «Рекордов» протирались бумажные прокладки, становились нестерильными. Половина не всасывалась, не качала – брак. Наши кровезаменители в бу-

тылках по пол-литра. Для оказания помощи одному тяжелораненому нужно два литра – четыре бутылки. Как на поле боя ухитриться держать около часа на вытянутой руке резиновый воздуховод? Практически невозможно. А сколько бутылок ты на себе унесешь? Что предлагают итальянцы? Полиэтиленовый пакет на один литр, ты прыгаешь на него в сапогах – не лопается. Дальше: бинт обыкновенный, советский бинт стерильный. Упаковка дубовая, весит больше, чем сам бинт. Импортные... Таиландские, австрийские... Тоньше, белее почему-то... Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный... Французский, немецкий... А наши отечественные шины?! Это же лыжи, а не медицинские приспособления. Сколько их с собой возьмешь? У меня были английские: отдельные – на предплечье, голень, бедро. На «молнии», надувные. Всунул руку, застегнул. Кость сломанная не двигается, защищена от ударов при транспортировке.

За девять лет ничего нового не поставили у нас на производство. Бинт – тот же. Шина – та же. Советский солдат – самый дешевый солдат. Самый терпеливый. Так было в сорок первом году... И через пятьдесят лет так... Почему?..

Страшно, когда в тебя дупят, а не самому стрелять. Можно выжить, если постоянно думать об этом. Я никогда не садился в первую и последнюю машины. Никогда не спускал ноги в люк, пусть лучше с брони свисают, чтобы не отрезало при подрыве. Держал в запасе немецкие таблетки для подавления чувства страха. Но никто их не пил. Наш бронежилет не поднять, американский – ни одной железной части, из какого-то пуленепробиваемого материала. Пистолет Макарова в упор его не берет, а из автомата только со ста метров пуля достает. Американские спальные мешки образца сорок девятого года. Лебяжий пух, легкие. Наш ватник килограммов семь весит, не меньше. У убитых наемников забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых пах не натирает. Все брали. Трусы брали, так как трусы – дефицит, носки, кроссовки тоже. Приобрел я маленький фонарик, ножик-кинжальчик. Стреляли диких баранов. Диким считался баран, отставший на пять метров от стада. Или меняли. Два килограмма чая на одного барана. Чай трофейный. Деньги с боевых приносили, афгани. У нас их, кто чином повыше, отнимали. Тут же на наших глазах между собой делили, не скрываясь, не прячась. В патрон забьешь, сверху порохом присыплешь пару бумажек – спасешь.



Одни хотели напиться, другие выжить, третьи мечтали о наградах. Я тоже хотел награду. В Союзе встретят:

– Ну, что у тебя? Что, старшина, каптеркой заведовал?

Обидно за свою доверчивость. Замполиты нас убеждали в том, во что сами не верили. В чем сами уже давно разобрались.

Напутствие замполита перед возвращением домой: о чем можно говорить, о чем нет. О погибших нельзя, потому что мы большая и сильная армия. О неуставных отношениях не распространяться, потому что мы большая, сильная и морально здоровая армия. Фотографии порвать. Пленки уничтожить. Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы – большая, сильная и морально здоровая армия.

...Таможня забирала подарки, которые мы везли: парфюмерию, платки, часы.

– Не положено, ребята.

Никакой описи не составлялось. Просто это был их бизнес. Но так пахло зелеными весенними листьями. Шли девушки в легких платьях... Мелькнула в памяти и исчезла Светка Афошка (фамилии не помню – Афошка и Афошка). В первый день своего приезда в Кабул она переспала с солдатом за сто ашошек, пока не разобралась. Через пару недель брала по три тысячи. Солдату не по карману. А Пашка Корчагин где? Настоящее его имя Андрей, но звали Пашкой из-за фамилии.

– Пашка, посмотри, какие девушки!!

У Пашки-Андрея была девушка, она прислала фотографию своей свадьбы. Мы дежурили возле него ночами – боялись. Однажды утром он повесил на скале фотографию – и расстрелял из пулемета. Но еще долго слышали ночами – плакал.

– Пашка, посмотри, какие девушки!

В поезде приснилось: готовимся на боевые. Сашка Кривцов спрашивает:

– Почему у тебя триста пятьдесят патронов, а не четыреста?

– Потому что у меня медикаменты.

Он помолчал и еще раз спросил:

– А ты мог бы расстрелять ту афганку?

– Какую?

– Ту, что навела нас на засаду. Помнишь, четверо погибли?

– Не знаю. Наверное, нет. В детском садике и в школе меня дразнили «бабником», девчонок защищал. А ты смог бы?

– Мне стыдно...

Он не успевает договорить, за что ему стыдно, я просыпаюсь.

Дома меня ждет телеграмма от Сашиной мамы: «Приезжай, Саша погиб».

– Сашка, – прихожу я на кладбище, – мне стыдно за то, что на выпускном экзамене по научному коммунизму я получил пятерку за критику буржуазного плюрализма... Мне стыдно, что после того, как Съезд народных депутатов сказал, что эта война – наш позор, нам вручили значки «Воинов-интернационалистов» и Грамоты Верховного Совета СССР.

Сашка, ты там, а я здесь...»

*Старшина, санинструктор разведроты*

«Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, два килограмма, рос маленький. Обниму:

– Мое ты солнышко.

Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы... Мы ему новое пальто купили... Это ему исполнилось четыре года... Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп... Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают... Он их собирает:

– Мамочка, ты не бойся. Они добрые. – И назад в карман запикивает.

– Мое ты солнышко.

Игрушки любил военные. Дари ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому.

– Я солдат... Я солдат.

– Мое ты солнышко... Поиграй во что-нибудь мирное.

– Я – солдат... Я – солдат...

Идти в первый класс, не можем нигде купить костюм, какой ни купи – он в нем тонет.

– Мое ты солнышко.

Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой

маленький. Рассказывали, что и туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: «Пришлите все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю...»

Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана: «Ты, мама, не плачь, наша броня надежная».

– Мое ты солнышко... Наша броня надежная...

Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одеда бы в могилку... Сама бы его одеда, так не разрешили гроб открыть... Поглядеть на сыночка, дотронуться... Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит?

Первым пришел капитан из военкомата:

– Крепитесь, мать...

– Где мой сын?

– Здесь, в Минске. Сейчас привезут.

Я осела на пол:

– Мое ты солнышко!!! – Поднялась и набросилась с кулаками на капитана:

– Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный... А он маленький... Ты – мужчина, а он – мальчик... Почему ты живой?!

Привезли гроб, я стучалась в гроб:

– Мое ты солнышко! Мое ты солнышко...

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:

– Мое ты солнышко!..»

*Мать*

«Положил в карман кусочек своей земли – родилось такое чувство в поезде... Были, конечно, среди нас и трусы. Один парень не прошел комиссию по зрению, выскочил радостный: «Повезло!!» За ним шел другой по очереди, и его тоже не взяли, он чуть не плакал: «Как я вернусь в свою часть? Меня две недели провожали. Хотя бы язва желудка была, а то зубы болят». В одних трусах прорвался к генералу: из-за каких-то больных зубов не берут, так пусть вырвут эти два зуба!

У меня по географии в школе было «пять». Закрываю глаза и представляю: горы, обезьяны, мы где-то загорая, едим бананы... А было

так. Нас посадили на танки: в шинелях, пулемет – вправо, пулемет – влево, задняя машина, которая замыкает, – пулемет назад, все бойницы открыты, автоматы высунуты. Железный еж какой-то. Встречаем два наших бэтэра – ребята на броне сидят, в тельняшках, в панاماх, смотрят на нас, со смеху давятся. Увидел убитого наемника, был потрясен. Как тренирован – атлет. А я попал в горы и не знал, как ступить на камень, что начинать надо с левой ноги. Десять метров по отвесной скале нес телефон... Когда взрыв, закрывал рот, а надо открывать – перепонки лопаются. Нам выдали протигазы. В первый же день мы их выбросили, химоружия у «духов» нет. Каски свои продали. Лишний груз на башке, нагреваются, как сковородки. У меня была одна проблема: негде украсть дополнительный рожок с патронами. Выдали четыре рожка, пятый купил в первую полчку у товарища, шестой подарили. В бою достает последний рожок и последний патрон – в зубы. Это для себя.

Мы приехали социализм строить, а нас оградил колючей проволокой: «Ребята, туда нельзя. За социализм агитировать не надо, для этого специальные люди есть». Обидно, конечно, что не доверяют. Говорю с дуканщиком:

– Ты неправильно жил. Мы сейчас тебя научим. Будем социализм строить.

Он улыбается:

– Я до революции торговал и сейчас торгую. Поезжай домой. Это наши горы. Сами разберемся...

Едем по Кабулу, женщины бросают в наши танки палками, камнями. Бачата ругаются матом без акцента, кричат: «Русские, уезжай домой!».

Зачем мы здесь?

...Стреляли из гранатомета. Я успел развернуть пулемет, это меня спасло. Снаряд в грудь летел, а так – одну руку прошило, в другую ушли все осколки. Помню: такое мягкое, приятное ощущение... И никакой боли... И крик где-то надо мной: «Стреляй! Стреляй!» Нажимаю, а пулемет молчит, потом смотрю – рука висит, вся обгорела, было чувство, что я пальцем нажимаю, а пальцев нет...

Сознание не потерял, выполз вместе со всеми из машины, мне наложили жгут. Надо идти, ступил два шага и упал. Потерял где-то полтора литра крови. Слышу:

– Нас окружают...

Кто-то сказал:

– Надо его бросать, а то все погибнем.

Я просил:

– Застрелите меня...

Один парень сразу отошел, второй автомат передернул, но медленно. А когда медленно, патрон может стать на перекосяк. И вот патрон стал на перекосяк, он автомат бросает:

– Не могу! На, сам...

Я подтянул автомат к себе, но одной рукой ничего не сделаешь.

Мне повезло: там был овражек маленький, я в нем за камнями лежал. Душманы ходят рядом и не видят. Мысль: как только они меня обнаружат, надо чем-то себя убить. Нашупал большой камень, подтянул к себе, примерился...

Утром меня нашли наши. Те двое, что ночью сбежали, несли меня на бушлате. Понят: боятся, чтобы я не рассказал правду. А мне уже было все равно. В госпитале положили сразу на стол. Подошел хирург: «Ампутация...» Проснулся, почувствовал, что руки у меня нет... Там разные лежали: без одной руки, без обеих рук, без ноги. Плакали втихаря. И в пьянку ударялись. Я стал учиться держать карандаш левой рукой...

Приехал домой к деду, больше никого у меня нет. Бабка в плач: внук любимый без руки остался. Дед на нее прикрикнул: «Не понимаешь политики партии». Знакомые встречают:

– Дубленку привез? Магнитофон японский привез? Ничего не привез... Разве ты был в Афганистане?

Мне бы автомат привезти!

Стал своих ребят искать. Он был там, я был там – у нас один язык. Свой язык. Мы понимаем друг друга. Вызывает меня ректор: «Мы тебя в институт с тройками приняли, стипендию дали. Не ходи к ним... Зачем вы на кладбище собираетесь? Беспорядок». Нам не разрешали собираться вместе. Нас боялись. Если мы организуемся, мы будем воевать за свои права. Нам надо давать квартиры. Мы заставили помогать матерям тех ребят, что лежат в могилах. Мы потребуем поставить памятники, ограды на этих могилах. А кому это, скажите, надо? Нас уговаривали: ребята, вы не очень распространяйтесь о том, что было, что видели. Государственная тайна! Сто тысяч солдат в чужой стране – тайна. Даже какая жара в Кабуле – тайна...

Война не делает человека лучше. Только хуже. Это однозначно. Я никогда не вернусь в тот день, когда ушел на войну. Не стану тем, кем был до войны. Как я могу стать лучше, если я видел... как за чеки покупают у медиков два стакана мочи желтушника. Выпил. Заболел. Комиссовали. Как отстреливают себе пальцы. Как уродуют себя капсюлями, затворами пулеметов. Как в одном самолете возвращаются домой цинковые гробы и чемоданы с кожухами, джинсами, женскими трусиками... Китайским чаем...

Раньше у меня дрожали губы при слове «Родина». Теперь я ни во что не верю. Боротся за что-то... За что бороться? С кем бороться? Кому все это сказать? Воевали – воевали. Ну и нормально. А может, и за дело воевали? Сейчас начнут газеты писать, что все правильно. И будет правильно. А с другой стороны, начинают писать, что мы убийцы. Кому верить? Я не знаю. Я никому не верю уже. Газеты? Я их не читаю. И даже их не выписываю. Сегодня мы одно пишем, завтра другое. А где правда? Я не знаю. Вот есть друзья. Одному, двум, трем – верю. Могу во всем положиться. А больше – никому. Я уже шесть лет здесь, я все это вижу...

Дали мне инвалидную книжечку – льгота! Подхожу к кассе для участников войны:

– Ты куда, пацан? Перепугал.

Зубы стисну, молчу. За спиной:

– Я Родину защищал, а этот...

Незнакомый кто спросит:

– Где рука?

– По пьянке под электричку попал. Отрезало...

Тогда понимают. Жалеют...

У Валентина Пикуля в романе «Честь имею (Исповедь офицера российского Генштаба)» недавно прочел:

«Сейчас (имеются в виду позорные последствия русско-японской войны 1905 года) многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешке. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить свой мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу отрезало на углу Невского и Литейного трамваем, а к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют».

Скоро о нас так напишут... Мне кажется, что теперь я могу даже Родину поменять... Уехать...»

*Рядовой, связист*

«Сам просился, мечтал попасть на эту войну. Было интересно. Ложился и представлял, как там. Хотел узнать, что это такое, когда у тебя одно яблоко и двое друзей, ты голодный и они голодные, и ты это яблоко отдаешь. Я думал, что там все дружат, что там все братья. За этим ехал.

Вышел из самолета, таращусь на горы, а дембель (в Союз уже парень летел) в бок толкает:

– Давай ремень.

– Чего?! – Ремень у меня был свой, фарцовый.

– Дурак, все равно заберут.

Забрали в первый же день. А я думал: «Афганистан – это все дружат». Идиот! Молодой солдат – это вещь. Его можно поднять ночью и бить, колотить стульями, палками, кулаками, ногами. Его можно ударить, избить в туалете днем, забрать рюкзак, вещи, тушенку, печенье (у кого есть, кто привез). Телевизора нет, радио нет, газет нет. Развлекались по закону слабого и сильного. «Постирай, чижик, мне носки», – это еще ничего, а вот другое: «А ну-ка, чижик, оближи мне носки. Оближи хорошенько, да так, чтобы все видели». Жара под семьдесят градусов, ходишь и шатаешься. С тобой можно сделать все. Но во время боевых операций «деды» шли впереди, прикрывали нас. Спасали. Это правда. Вернемся в казарму: «А ну-ка, чижик, оближи мне носки...»

А это страшнее, чем первый бой... Первый бой – интересно! Смотришь, как художественное кино. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут, а оказалось – выдумка. Не идут, а бегут, бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил, а сил тогда у человека, как у сумасшедшего, и петляешь, как бешеный заяц. Раньше любил парады на Красной площади, как идет военная техника, любил. Теперь знаю: восхищаться этим нельзя, такое чувство, что скорее бы эти танки, бронетранспортеры, автоматы поставили на место, зачехлили. Скорее бы. Еще лучше – пройти по Красной площади всем афганским «протезникам»... Таким, как я... Обе ноги выше колена отрезаны... Если б ниже колен... Удача! Я счастливый человек был бы... Я завидую тем, у кого ниже колен... После перевязок дергаешься час-полтора,

такой маленький вдруг становишься без протезов. Лежишь в плавках и в тельняшке десантника, тельняшка получается с тебя ростом. Первое время никого к себе не подпускал. Молчал. Ну хотя бы одна нога осталась, а то ни одной. Самое трудное забыть, что у тебя были две ноги... Из четырех стен можно выбрать одну, ту, где окно...

Матери поставил ультиматум: «Если будешь плакать, ехать не надо». Я и там больше всего боялся: убьют меня, привезут домой – мать будет плакать. После боя раненого жалко, а убитого нет, только маму его жалко. В госпитале хочу сказать нянечке спасибо, а не могу, даже слова забыл.

– В Афганистан опять пошел бы?

– Да.

– Почему?

– Там друг – друг, а враг – враг. А тут – постоянный вопрос: за что погиб мой друг? За этих сытых спекулянтов? Здесь все не так. Чувствуешь себя посторонним.

Учусь ходить. Сзади меня подсекут. Упал. «Спокойствие, – говорю себе. – Команда первая – поворачивайся и выжимайся на руках. Команда вторая – вставай и иди». Первые месяцы больше подходило: не иди, а ползи. Полз. Самая яркая картинка оттуда: черный мальчишка с русским лицом. Там их много. Ведь мы там с семьдесят девятого года... Семь лет... Я туда поехал бы... Обязательно! Если бы не две ноги выше колен... Если бы ниже колен...

*Рядовой, минометчик*

«Я сам себя спрашивал: «Почему поехал?». Ответов сто, но главный вот в этих стихах, не запомнил только, чьи они:

*Две вещи на свете, словно одно:  
Во-первых, женщины, во-вторых, вино.  
Но слаще женщин, вкуснее вина  
Есть для мужчины – война.*

Завидовал коллегам, побывавшим в Афганистане: у них накопился колоссальный опыт. Где в мирной жизни его приобретешь? Позади было уже десять лет работы хирургом в городской больнице большого города, но пришел первый транспорт с ранеными, и я чуть с ума не сошел. Рук нет, ног нет, лежит обрубок, который дышит. В садистских фильмах такое не



увидишь. Делал там операции, о которых в Союзе только мечтать можно. Молодые медсестры не выдерживали. То плачет так, что заикаться начинает, то хохочет. Одна стояла и все время улыбалась. Их отправляли домой.

Человек умирает совсем не так, как в кино. Попала пуля в голову – взмахнул руками и упал. А на самом деле: попала пуля в голову, мозги летят, а он за ними бежит, может полкилометра бежать, и их ловит. Это за пределом. Он бежит, пока не наступит физиологическая смерть. Легче было бы застрелить, чем смотреть и слышать, как он всхлипывает, просит смерти как избавления. Если у него остались еще какие-то силы. Другой лежит, к нему подкрадывается страх... Сердце начинает тарыхтеть... Кричит, зовет... Проверишь: пульс нормальный. Успокоишь. А мозг ждет момента, когда человек расслабится... Не успеешь отойти от кровати, а мальчишки – нет...

Эти воспоминания, они забудутся не скоро. Подрастут эти мальчишки-солдаты, они все переживут заново. Поменяются их взгляды. У меня – нет. Мой отец во вторую мировую был летчиком, но он ничего не рассказывал. Ему казалось, что это обыденно, а мне было непонятно. А сейчас достаточно слова, намек. Читаю вчера в газете: защищался до последнего патрона, последним застрелил себя. Что такое – застрелить себя? В бою вопрос ребром – ты или он? Ясно, что ты должен остаться. Но все ушли, а ты их прикрываешь, тебе приказали или ты сам решил, почти наверняка зная, что выбрал смерть. Я уверен, что психологически в ту минуту это нетрудно. В той обстановке самоубийство воспринимается как нормальное явление, на него многие способны. Их называют потом героями. Самоубийцы в обычной жизни – ненормальные люди. Когда-то их не разрешали даже на кладбище хоронить вместе со всеми... Две газетные строчки, а ночь глаз не сомкнешь, все в тебе поднимается.

Тем, кто там был, не захочется второй раз воевать. Нас не обманешь, что мясо растет на деревьях. Какими бы мы ни были – наивные, жестокие, любящие жену и детей, не любящие жену и детей, – мы все равно убивали. Я понял свое место в иностранном легионе, но ни о чем не жалею. Сейчас все заговорили о чувстве вины. У меня его нет. Виноваты те, кто нас туда послал. С удовольствием ношу афганскую форму, чувствую себя в ней мужиком. Женщины в восторге! Однажды надел и пошел в ресторан. Администратор остановила на мне свой взор, а я ждал:

– Что, одет не по форме? А ну, дорогу – обожженному сердцу..  
Пусть кто-нибудь мне скажет, что моя полевая военная форма ему не нравится, пусть пикнет. Почему-то я нищу этого человека...»

*Военврач*

«Первую я родила девочку. Перед ее рождением муж говорил, мол, все равно, кто будет, но лучше девочка, потом у нее появится братик, а она будет ему шнурочки на ботиночках завязывать. Так и получилось...»

Муж позвонил в больницу. Ответили:

– Дочка.

– Хорошо. Две девочки будут.

Тут ему сказали правду:

– Да сын у вас... Сын!

– Ну спасибо! Ну спасибо вам!

За сына стал благодарить.

Первый день... Второй... Всем приносят нянечки детей, а мне нет. Никто ничего не говорит. Стала я плакать, поднялась температура. Пришла врач. «Что вы, мамочка, расстраиваетесь? У вас настоящий богатырь. Он еще спит, не просыпается. Он еще не проголодался. Вы не волнуйтесь». Принесли, развернули его, он спит. Тогда я успокоилась.

Как назвать сына? Выбирали из трех имен: «Саша, Алеша, Миша. Все нравятся. Приходят ко мне дочка с отцом, и Танечка сообщает: «Я зебий тянула...» Что за «зебий»? Оказывается, они набросали бумажки в шапку и жребий тянули. Два раза вытянули «Сашу». Это у нас Танечка решила. Родился он тяжелый – четыре килограмма пятьсот граммов. Большой – шестьдесят сантиметров. Пошел, помню, в десять месяцев. В полтора года уже хорошо говорил, но до трех лет не ладилось у него с буквами «р» и «с». Вместо «я сам» получалось «я шам». Своего друга звал «Тиглей» вместо Сергей. Воспитательница детского сада Кира Николаевна была у него «Килой Калавной». Увидел первый раз море, закричал: «Я не родился, меня морской волной на берег выбросило...»

В пять лет я подарила ему первый альбом. Их у него четыре – детский, школьный, военный (когда он в военном училище учился) и

«афганский» (из тех фотографий, что он присылал). У дочки свои альбомы, я каждому дарила. Я любила дом, детей. Стихи им писала:

*Пробился сквозь весенний снег  
Подснежника росток.  
Когда весна взяла разбег,  
Родился мой сынок..*

В школе меня ученики раньше любили. Я была радостная...

Долго любил играть в казаки-разбойники: «Я смелый». Ему было пять лет, Танечке – девять, мы поехали на Волгу. Сошли с парохода, от пристани до дома бабушки – полкилометра. Саша встал, как гвоздик:

- Не пойду. Бери меня на руки.
- Такого большого, да на руках?!
- Не пойду, и все.

И не пошел. Это мы ему все время вспоминали.

В детском саду любил танцевать. Были у него такие красные штанишки, шаровары. Он в них сфотографировался. Фотографии эти есть. Собирал марки до восьмого класса – остались альбомы с марками. Потом стал собирать значки – осталась коробка со значками. Увлекался музыкой. Остались кассеты с его любимыми песнями...

Все детство мечтал стать музыкантом. Но, видно, вросло, впиталось в него то, что отец – военный, что жили мы всю жизнь в военном городке: он с солдатами кашу ел, машины с ними чистил. Никто не сказал ему «нет», когда он отослал документы в военное училище, наоборот: «Будешь, сынок, Родину защищать». Он хорошо учился, в школе всегда активистом был. Училище тоже закончил отлично. Нам благодарности командование присылало.

...Восемьдесят пятый год. Саша в Афганистане... Мы им гордимся – он на войне. Я рассказываю своим ученикам о Саше, о его друзьях. Ждем, когда приедет в отпуск...

До Минска мы жили в военных городках, и осталась привычка: когда дома, не закрывать дверь на ключ. Он входит без звонка и говорит: «Вы телемастера не вызывали?» Из Кабула они с друзьями прилетели в Ташкент, оттуда смогли взять билеты до Донецка, ближе не было. А из Донецка (Минск не принимал) вылетели в Вильнюс. В Вильнюсе поезд надо было ждать три часа, это им долго, когда дом рядом, каких-то двести километров. Они взяли такси.

Загорелый, худой, только зубы светятся:

– Сыночек, – плачу, – какой ты худущий!

– Мамочка, – поднял и кружит меня по комнате, – я живой! Я жив, мамочка! Понимаешь, жив!

Через два дня – Новый год. Под елку он спрятал нам подарки. Мне платок большой. Черный.

– Зачем ты, сыночек, черный выбрал?

– Мамочка, там были разные. Но пока моя очередь подошла, только черные остались. Посмотри, он тебе идет...

В этом платке я его хоронила, два года не снимала.

Он всегда любил делать подарки, называл их «сюрпризиками». Были они еще маленькие, приходим с отцом домой – нет детей. Я к соседям, я на улицу, нет детей, и никто не видел. Как я закричу, как я заплачу! Открывается коробка из-под телевизора (купили телевизор и коробку не успели выбросить), вылезают оттуда мои дети: «Ты чего плачешь, мамочка?» Они накрыли стол, заварили чай, ждали нас, а нас нет. Саша придумал «сюрпризик» – спрятаться в коробку. Спрятались и заснули там.

Был ласковый. Мальчики редко бывают такими ласковыми. Всегда поцелует, обнимет: «Мамочка... Мамулечка...» После Афганистана еще нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит. По ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: «Вспышки! Вспышки!.. Мамочка, стреляют...» Другой раз слышу ночью: кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет...

– Сыночек, что ты плачешь?

– Страшно, мамочка. – И больше ни слова. Ни отцу, ни мне.

Уезжал как обычно. Напекла ему целый чемодан орешков – печенье такое. Его любимое. Целый чемодан, чтобы на всех хватило. Они там скучали по домашнему...

Второй раз он тоже приехал на Новый год. Сначала ждали его летом. Писал: «Мамочка, заготовливай побольше компотов, вари варенье, приеду, все поем и выпью». С августа перенес отпуск на сентябрь, хотел в лес пойти, лисички собирать. Не приехал. Но Ноябрьские праздники его тоже нет. Получаем письмо, мол, как вы думаете, может, мне лучше опять приехать на Новый год: уже елка будет, у папы день рождения в декабре, а у мамы – в январе?..

Тридцатое декабря... Целый день дома, никуда не выхожу. Перед этим было письмо: «Мамочка, заказываю тебе заранее вареники с черникой, вареники с вишней и вареники с творогом». Вернулся муж с работы, решили: теперь он ждет, а я в магазин съезжу, гитару куплю. Утром как раз открытку получили, что гитары поступили в продажу. Саша просил: не надо дорогую, купите обычную, дворовую.

Вернулась из магазина, а он дома.

– Ой, сыночек, прокараулила!

Увидел гитару:

– Какая гитара красивая, – и танцует по комнате. – Я дома. Как у нас хорошо! И в нашем подъезде даже запах особенный.

Говорил, что у нас самый красивый город, самая красивая улица, самый красивый дом, самые красивые акции во дворе. Он любил этот дом. Теперь нам жить здесь тяжело – все напоминает о Саше, и уехать трудно – он тут все любил.

Приехал он на этот раз другой. Это не только мы, дома, но и все его друзья заметили. Он им говорил:

– Какие вы все счастливые! Вы даже себе не представляете, какие вы все счастливые! У вас праздник каждый день.

Я пришла с новой прической из парикмахерской. Ему понравилось:

– Мамочка, ты всегда делай такую прическу. Ты такая красивая.

– Денег, сыночек, много надо, если каждый день.

– Я привез деньги. Берите все. Деньги мне не нужны.

У друга родился сын. Помню, с каким лицом он попросил: «Дай поддержать». К концу отпуска у него разболелся зуб, а зубного врача он боялся с детства. За руку потащила в поликлинику. Сидим, ждем, когда вызовут. Смотрю – у него на лице пот от страха.

Если по телевизору шла передача об Афганистане, он уходил в другую комнату. За неделю до отъезда у него тоска в глазах появилась, она из них выплескивалась. Может, это мне сейчас так кажется? А тогда я была счастливая: сын в тридцать лет майор с орденом Красной Звезды приехал. В аэропорту смотрела на него и не верила: неужели этот красивый молодой офицер – мой сын? Я им гордилась.

Через месяц пришло письмо. Он поздравил отца с Днем Советской Армии, а меня благодарил за пироги с грибами. После этого письма со мной что-то случилось... Не могу спать... Вот лягу... Лежу... До пяти утра лежу с открытыми глазами.

Четвертого марта вижу сон. Большое поле, и по всему полю белые разрывы... Что-то вспыхивает... И тянутся длинные белые ленты... Саша мой бежит, бежит... Мечется... Негде ему спрятаться... И там вспыхнуло... И там... Я бегу за ним... Хочу его обогнать... Хочу, чтобы я впереди, а он за мной... Как когда-то в деревне попали мы в грозу... Я его прикрыла собой, он подо мной тихонько скребется, как мышонок: «Мамочка, спаси меня!» Но я его не догнала... Он такой высокий, и шаги у него длинные-длинные... Бегу из всех сил... Вот-вот сердце разорвется... А догнать его не могу...

...Стукнула входная дверь. Заходит муж. Мы с дочкой сидим на диване. Он идет к нам через всю комнату в ботинках, пальто, шапке. Такого никогда не было, он у меня аккуратный, потому что всю жизнь в армии, везде у него дисциплина. Подошел и опустился перед нами на колени:

– Девочки, у нас беда...

Тут я вижу, что в прихожей еще люди есть. Заходят медсестра, военком, учителя из моей школы, знакомые мужа...

– Сашенька! Сыночек!!!

Уже три года... А мы до сих пор не можем открыть чемодан... Там Сашины вещи... Привезли вместе с гробом... Мне кажется, что они Сашей пахнут.

Его сразу ранило пятнадцатью осколками. Он только успел сказать: «Больно, мамочка».

За что? Почему он? Такой ласковый. Добрый. Как это его нет? Медленно убивают меня эти мысли. Я знаю, что умираю, – нет больше смысла жить. Иду к людям, тащу себя к людям... Иду с Сашей. С его именем, рассказываю о нем... Выступала в политехническом институте, подходит ко мне студентка и говорит: «Меньше бы этого патриотизма в него напихали, был бы жив». Мне плохо стало после ее слов. Я там упала.

Я ради Саши ходила... Он не мог исчезнуть просто так... Теперь говорят, что роковая ошибка, что никому это не надо было: ни нам, ни афганскому народу. Раньше я ненавидела тех, кто Сашу убил... Теперь ненавижу государство, которое его туда послало. А вы не называйте имени моего сына... Он теперь только наш... Никому его не отдам... Не отдам даже его имя...»

*Мать*

«Вспышка... Фонтан света... И все... Дальше ночь... Мрак... Открыл один глаз и ползаю по стене: где я? В госпитале... Дальше проверяю: руки на месте?... На месте. Ниже... Трогаю себя руками... Что-то я скоро заканчиваюсь... Короткий какой-то... Ясно: обеих ног нет.

Истерика. Паршивенькие мысли: смерть была бы лучшим убежищем, чем эта палата. Пусть бы в брызги, в ничто... Не видел бы себя... И другие не видели... Здесь вдруг – стоп! Ничего не помню.

Я забыл все, что было раньше... Тяжелейшая контузия... Всю свою жизнь забыл... Открыл паспорт и прочитал свою фамилию... Где родился... Тридцать лет... Женат... Двое детей... Мальчики.

Теперь надо вспоминать лица... Лиц не помню.

Первой приехала мама. Говорит: «Я – твоя мама». Она рассказала про мое детство... Школу... Даже такие мелочи, какое у меня было пальто в восьмом классе. Какие оценки... Что больше всего любил гороховый суп... Я ее слушал и как будто сам себя видел со стороны... Наблюдал...

Дежурная в столовой зовет:

– Садись в коляску... Повезу... К тебе жена приехала...

Стоит возле палаты какая-то красивая женщина... Глянул: стоит, пусть себе стоит. Где жена? А это была моя жена.

Она рассказала про нашу любовь... Как познакомились... Как первые раз ее поцеловал... Свадьбу... Как мальчики родились... Я слушал и не вспоминал, а запоминал... Когда хотел что-нибудь вспомнить, начинались сильные головные боли...

Сынишек вспомнил по фотографии... Приехали другие... Мои и не мои... Беленький стал темненьким... Маленький стал большим... Глянул на себя в зеркало: похожи!

И войну забыл... Все два года... Только зиму сейчас не люблю... А мама говорила, что в детстве больше всего любил зиму... Снег... Про войну ребята рассказывают... Фильмы смотрю... «Почему, – думаю, – я там был?» Мальчишек посылали... А я офицер... Профессионал... Сам подал рапорт... Врачи говорят, что память может вернуться... Тогда у меня будет две жизни... Та, что мне рассказали... И та, что была...»

*Капитан, вертолетчик*

---

## ДЕНЬ ВТОРОЙ

*«А другой умирает  
с душою огорченную...»*

*Автор. Сегодня он снова позвонил. Теперь я зову его «мой главный герой».*

*Главный герой. Я не думал звонить... Зашел в автобус и услышал, как две женщины обсуждали: «Какие они герои? Они там детей, женщин убивали. Они же ненормальные... А их в школы приглашают... Или еще льготы...» Выскочил на первой остановке, стоял и плакал. Мы солдаты, мы выполняли приказ. За невыполнение приказа в условиях военного времени – расстрел! А мы жили тогда по условиям военного времени. Конечно, генералы не расстреливают женщин и детей, но они отдают приказы. А сейчас мы во всем виноваты... Солдаты виноваты... Нам говорят: преступный приказ выполнять – преступление. А я верил тем, кто отдавал приказы. Сколько я себя помню, меня все время учили верить. Только верить! Никто не учил меня: думай – верить или не верить, стрелять или не стрелять. Мне твердили: только крепче верь!*

*А в т о р . Это было со всеми нами.*

*Главный герой. Да, я убивал, я весь в крови... Но он лежал... Мой друг, он мне братом был... Отдельно голова, отдельно руки, ноги... Сдернутая кожа... Я попросился сразу опять в рейд... Увидел в киш-*



*лаке похороны... Было много людей... Тело несли в чем-то белом... Я хорошио в бинокль их всех видел... И я приказал: «Стрелять!»*

*Да, я убивал, потому что хотел жить. Хотел вернуться...*

*Нет, зачем? Зачем тебе это? Я только недавно перестал ночью думать о смерти. Три года каждую ночь выбирал, что лучше: пулю в рот или на галстуке повеситься?... Опять эта резкая вонь калючек... От нее можно сойти с ума... – И гудок в трубке...*

*А в т о р . Почему мне кажется, что я его знаю давно? Что я уже слышала этот голос?*

*«Как во сне... Как будто я где-то это смотрел... В каком-то фильме... Такое теперь ощущение, что никого не убивал...*

*Сам поехал. Попросился добровольно. Хотел испытать себя, на что я способен. У меня большое «Я». Учился в институте, там себя не покажешь, не узнаешь, кто ты. Хотел стать героем, искал случая стать героем. Ушел со второго курса. Говорят: мужская война... Мальчишеская война... Воевали одни мальчики... Недавние десятиклассники... Для нас это как игра. Очень важным было твое самолюбие. Твоя гордость. Смогу или не смогу. Он смог. А я? А мы этим были заняты, а не политикой. Я с детства готовил себя к каким-то испытаниям. Джек Лондон – мой любимый писатель. Настоящий мужчина должен быть сильным. Сильными становятся на войне. Моя девушка отговаривала: «Представь себе, чтобы что-нибудь подобное сказал Бунин или Мандельштам?» Из друзей никто меня не понял. Кто женился. Кто восточной философией занялся. Кто йогой. Один я – на войну.*

*...Вверху выгоревшие на солнце горы... Внизу девочка покрикивает на коз... Женщина вешает белье... Как у нас на Кавказе... Даже разочаровался... Ночью – выстрел в наш костер: поднял чайник, под чайником пуля лежит. В переходах – жажда, мучительная, унижительная. Рот сушит, нельзя собрать слюну, чтобы проглотить. Кажется, у тебя полный рот песка. Лизали росу, лизали собственный пот... Мне жить надо. Я жить хочу! Поймал черепаху. Острым камешком проткнул горло. Пил кровь черепахи. Другие не могли. Никто не мог.*

*Понял, что способен убить. В руках оружие. В первом бою видел, как у некоторых бывает шок. Теряют сознание. Некоторых рвет даже при воспоминании, как они убивали. Разрывается человеческий мозг... По человеческому лицу течет человеческий глаз... Я выдержи-*

вал! Был среди нас охотник, хвастался, что до армии убивал зайцев, валил диких кабанов. Так вот его всегда рвало. Животное убить – одно, человека – другое. В бою становишься деревянным... Холодный рассудок... Расчет... Мой автомат – моя жизнь... Автомат прирастает к телу... Как еще одна рука...

Там была партизанская война, большие бои – редкость. Всегда: ты и он. Становишься чутким, как рысенок. Пустил очередь – он сел. Ждешь. Кто теперь? Еще не услышал выстрела, а уже чувствуешь, как пролетела пуля. От камня к камню ползешь... Таишься... Гонишься за ним... Как охотник... Весь пружина... Не дышишь... Ловишь какой-то миг... Если бы сошлись, мог бы убить прикладом. Убиваешь – оцуцаешь, что ты живешь! Я снова жив! Радости убить человека нету. Убиваешь, чтобы вернуться домой.

Убитые разные. Одинаковых нет... Лежат в воде... В воде что-то происходит с мертвым лицом, какая-то улыбка у них у всех. После дождя они лежат чистые. Без воды, в пыли, смерть откровеннее. Форма на нем новенькая, а вместо головы сухой красный лист... Раздавило, расплющило, как ящерицу... Но я-то жив! Сидит у стенки... Возле дома... Рядом орехи наколоты... Видно, кушал... С открытыми глазами... Некому было закрыть... После смерти... Десять – пятнадцать минут... Можно закрыть глаза... Потом нет... Но я-то жив! Другой нагнулся... Широка расстегнута... По нужде вышел... Как жили в тот момент, так и лежат... Но я-то жив! Готов потрогать себя, удостовериться. Птицы не боятся смерти. Сидят, смотрят. Дети не боятся смерти. Тоже сидят, смотрят спокойно, с любопытством. Как птицы. В столовой ешь суп, глянешь на соседа и представляешь его мертвым. Одно время на фотографии близких не мог смотреть. Вернешься с задания – детей, женщин встречать невыносимо. Отворачиваешься. Потом проходит. Бежишь утром на физзарядку – штангой занимался. Думал о форме, каким вернусь. Не высыпался, правда. Вши, особенно зимой. Матрацы дустом обсыпали.

Страх смерти я узнал дома. Вернулся, у меня родился сын. Страх: если я умру, мой сын будет расти без меня. Семь пуль своих запомнил... Могли, как у нас говорили, отправить к «верхним людям»... Прошли мимо. Даже такое чувство, что недоиграл... Недовоевал...

Вины на мне нет, кошмаров не боюсь. Всегда выбирал честный поединок: он и я. Когда увидел, как бьют пленного... Бьют вдвоем... А

он связанный... Лежит, как тряпка... Я их разогнал, не дал бить... Таких презирал... Берет автомат и стреляет в орла... В морду одному заехал... Птицу – за что? Что она ему сделала?

Родные спрашивали:

– Как там?

– Ладно. Извините. Потом расскажу.

Окончил институт, работаю инженером. Я хочу быть просто инженером, а не ветераном афганской войны. Вспоминать не люблю. Хотя я не знаю, что будет с нами, с поколением, которое выжило. Впервые так выговорился... Как в поезде... Сошлись незнакомые люди, поговорили и вышли на разных станциях... Руки у меня дрожат... Почему-то волнуюсь... А мне казалось, что я легко вышел из игры... Будете писать, моей фамилии не называйте... Я ничего не боюсь... Но я не хочу во всей этой истории находиться...»

*Командир взвода пехоты*

«В декабре у меня намечалась свадьба, а в ноябре я уехала в Афганистан. Призналась жениху – рассмеялся: «Защищать южные рубежи нашей Родины?» А когда поверил, что не шучу: «Тебе что, здесь спать не с кем?»

Ехала сюда, думала: «Не успела на БАМ, на целину, повезло – есть Афган!» Я поверила песням, которые привозили ребята, целыми днями крутила:

*На афганской земле  
За прошедшие годы немало  
Разбросала по скалам  
Россия своих сыновей...*

Была книжная московская девочка. Мне казалось, что настоящая жизнь где-то далеко. И там мужчины все сильные, женщины красивые, много приключений. Хотелось вырваться из привычного...

Три ночи добиралась до Кабула, не спала. На таможне решили: на нюхалась. Помню, со слезами кому-то доказывала:

– Я не наркоманка. Я спать хочу.

Ташу тяжелый чемодан – мамино варенье, печенье, – и никто из мужчин не поможет. И это не просто мужчины, это молодые офице-

ры, красивые, сильные. А за мной всегда ухаживали мальчики, боготворили. Искренне удивилась:

– Помогите кто-нибудь?!

Они так на меня посмотрели...

Еще три ночи сидела на пересылке. В первый же день подошел прапорщик:

– Хочешь остаться в Кабуле, приходи ночью...

Толстенький, упитанный, по кличке, как потом девчонки шепнули, Баллон.

Взяли меня в часть машинисткой. Работаем на старых армейских машинках. В первые же недели в кровь разбила пальцы. Стучала в бинтах – ногти отделялись от пальцев.

Через пару недель стучит ночью в комнату солдат:

– Командир зовет.

– Не пойду.

– Чего ломаешься? Не знала, куда ехала?

Утром командир пригрозил сослать в Кандагар.

*Что такое Кандагар?*

*Мухи, «духи» и кошмар...*

Боялась в эти дни попасть под машину... Выстрела в спину...

По соседству в общежитии жили две девчонки: одна отвечала за электричество, прозвали ее Электричкой, вторая занималась химводоочисткой – Хлорка. На все у них объяснение:

– Это жизнь...

Как раз в это время в «Правде» напечатали очерк «Афганские мадонны». Из Союза девочки писали: так он понравился, некоторые даже пошли в военкомат проситься в Афганистан. А мы не могли спокойно пройти мимо солдат, те ржали: «Бочкаревки», вы, оказывается, героини?! Выполняете интернациональный долг в кровати!..» Что такое «бочкаревки»? В боках (такие вагончики) живут большие звезды, не ниже майора. Женщин, с которыми они..., зовут «бочкаревками». Мальчишки, кто служит здесь, так и говорят: «Если я услышу, что девчонка была в Афгане, для меня она исчезает...» Мы пережили те же болезни, у всех девонок гепатит был, малярия... Нас так же обстреливали... Но вот мы встретимся в Союзе, и я не смогу этому мальчишке броситься на шею. Мы для них все б... или чокнутые. Не спать с

женщиной – не пачкаться... «А с кем я сплю? Я сплю с автоматом...»  
Могут в упор сфотографировать. Попробуй после этого кому-нибудь улыбнись...

Моя мама с гордостью объявляет знакомым: «Моя дочь в Афганистане». Нливная моя мама! Мне хочется написать ей: «Мама, молчи, а то услышишь такое!» Может, вернусь, все осмыслю – и отойду, потеплею. А сейчас внутри сломано, смято. Чему я здесь научилась? Разве тут можно научиться добру или милосердию? Или радости?

Бачата бегут за машиной:

– Ханум покажи...

Могут и деньги совать. Значит, кто-то у них берет.

Была у меня мысль, что не доживу до дома. Сейчас я это перешагнула. Два сна у меня здесь меняются и повторяются.

Первый сон.

Заходим в богатый дукан. На стенах ковры, драгоценности... И меня наши ребята продают. Им приносят мешок с деньгами... Они считают афошки... А два «духа» накручивают себе на руки мои волосы... Звенит будильник... В испуге просыпаюсь и кричу. Всех страхов ни разу не досмотрела.

Второй сон.

Летим из Ташкента в Кабул в военном самолете ИЛ-65. Появляются в иллюминаторе горы, и яркий свет тухнет. Начинаем проваливаться в бездну какую-то, нас накрывает пластом афганской тяжелой земли. Рою ее, как крот, и не могу выбраться на свет... Задыхаюсь... И копаю, копаю...

Если я себя не остановлю, моему рассказу не будет конца. Тут каждый день случается что-то такое, что переворачивает тебя, твою душу. Вчера знакомый парень получил письмо из Союза, от своей девушки: «Я не хочу с тобой дружить, у тебя руки по локти в крови». Прибежал ко мне – я пойму.

О доме мы все думаем, но говорим мало. Из суеверия. Очень хочется вернуться. Куда мы вернемся? Об этом тоже молчим. Только травим анекдоты:

– Дети, расскажите, кто ваши папы?

Все тянут руки вверх:

– Мой папа врач...

– Мой папа сантехник...

– Мой папа... в цирке работает...

Маленький Вова молчит.

– Вова, ты не знаешь, кто твой папа?

– Раньше он был летчиком, а сейчас работает фашистом в Афганистане...

Дома я любила книжки о войне, здесь таскаю с собой Дюма. На войне не хочется видеть войну. Девочки ходили смотреть убитых... Говорили: лежат в носочках... Не хочу смотреть... не люблю выезжать в горы. Так много на улицах одноногих мужчин скачет. Не каждый может привыкнуть. Я, например, не могу. У меня была мечта стать журналистом, а теперь не знаю, мне теперь трудно во что-то верить.

Вернусь домой, никогда не поеду на юг. Не хватит сил видеть горы. Когда я вижу горы, мне кажется, что сейчас начнется обстрел. Однажды нас обстреливали, а девочка стояла на коленях, плакала и молилась... Интересно, о чем она просила небо? Мы все здесь немножко скрытные, никто до конца не раскрывается. Каждый пережил какое-то разочарование...

А я все время плачу и молюсь о той книжной московской девочке, которой больше нет...»

*Служащая*

«Летел я туда с надеждой вернуться обратно и пройти с гордо поднятой головой. А теперь думаю, что таким, каким был до этой войны, уже никогда не буду. Нет... Не буду...

Наша рота прочесывала кишлак. Идем с парнем рядом. Он открывает ногой дверь в дувал, и в него – из пулемета, расстреливают в упор... Девять пуль... Сознание заливают ненависть... Мы расстреляли всех, вплоть до домашних животных, в животное, правда, стрелять страшнее. Жалко. Я не давал расстреливать осликов... В чем же они виновны?... У них на шее висели амулеты, такие же, какие у детей... Когда подожгли пшеничное поле, мне стало не по себе, потому что я деревенский. Там вспоминалось из прежней жизни только хорошее, больше детство. Как лежал в траве среди колокольчиков и ромашек... Как жарили на костре пшеничные колоски и ели...

Жара стояла такая, что железо лопалось на крышах дуканов. Поле загорелось сразу, взорвалось огнем. Оно пахло хлебом... Огонь поднимал вверх детский запах хлеба...

Там ночь не наступает, а падает на тебя. Вот был день, и уже – ночь. Вот ты был мальчик, и уже – мужчина. Это делает война. Там идет дождь, ты его видишь, но до земли он не долетает. Строишь через спутник передачи о Союзе, удостоверяешься, что есть та, другая, жизнь, но в тебя она уже не проникает... Все это можно рассказать... Все то можно напечатать... Но что-то обидное для меня происходит... Не могу передать сути...

Иногда мне самому хочется написать все, что видел. В госпитале. Безрукий, а у него на кровати сидит безногий и пишет письмо матери. Маленькая девочка... Она взяла у советского солдата конфету. Утром ей отрубили обе руки... Написать все, как было, и никаких размышлений. Шел дождь... И только об этом – шел дождь... Никаких размышлений – хорошо или плохо, что шел дождь.

Возвращались мы с надеждой, что дома нас ждут с распростертыми объятиями. И вдруг открытие: никому неинтересно, что мы пережили. Во дворе стоят знакомые ребята: «А, прибыл? Хорошо, что прибыл». Пошел в школу. Учителя тоже ни о чем не расспрашивают. Наш разговор.

Я:

– Надо увековечить память тех, кто погиб, выполняя интернациональный долг.

Они:

– Это были двоечники, хулиганы. Как мы можем повесить на школе мемориальную табличку в их честь?

Тут к войне свое отношение. Мол, что вы такого героического совершили? Проиграли войну? А кому она нужна была, эта война, – Брежневу и военным генералам? Получилось, что мои друзья погибли зазя. И я мог погибнуть зазя. А моя мама увидела меня из окна и бежала через всю улицу, кричала от радости. «Нет, – говорил я себе, – пусть свет перевернется, но это не перевернется: герои в земле лежат. Герои!»

В институте старый преподаватель убеждал:

– Вы стали жертвой политической ошибки... Вас сделали соучастниками преступления...

– Мне было тогда восемнадцать лет. А вам сколько? Когда у нас там шкура лопалась от жары – вы молчали. Когда нас привозили в «черных тюльпанах» – вы молчали. Играли на кладбищах военные

оркестры. Когда мы там убивали – вы молчали. Теперь все разом заговорили: жертва... ошибка...

А я не хочу быть жертвой политической ошибки. И я буду за это драться! Пусть свет перевернется, но это не перевернется: герои в земле лежат. Герои!»

*Рядовой, гранатометчик*

«Мне повезло. Я возвратился домой, с руками, ногами, глазами, не обожженный и не сумасшедший. Мы уже там поняли, что война не та, на которую ехали. Решили: давай довоюем, останемся живыми, вернемся домой и там разберемся...

Мы – первая замена тем, кто входил в Афганистан. У нас не было идеи, у нас был приказ. Приказы не обсуждают, начни обсуждать – это уже не армия. Читайте Энгельса: «Солдат должен быть как патрон, в любое время готовый к выстрелу». Наизусть помню. На войну едут убивать. Моя профессия – убивать. Я этому учился. Личный страх? Другого могут убить, а меня нет. Этого убили, а меня не убьют. Сознание не воспринимает самой возможности собственного исчезновения. Я ехал туда не мальчишкой – тридцати лет.

Я там почувствовал, что такое жизнь. Те годы – одни из лучших, – так я вам скажу. Здесь наша жизнь серенькая, маленькая: служба – дом, дом – служба. Там мы все испробовали, узнали. Испытали истинную мужскую дружбу. Увидели экзотику: как клубится утренний туман в узких ущельях, будто дымовая завеса, бурубахайки – разукрашенные, с высоченными бортами афганские грузовики, красные автобусы, внутри которых едут люди вперемешку с овцами и коровами, желтые такси. Там есть места, похожие на лунный пейзаж, что-то фантастическое, космическое. Одни вечные горы, кажется, чело- века на этой земле нет, только камень живет. И этот камень в тебя стреляет. Просто чувствуешь враждебность природы, даже ей ты чужой. Мы жили между жизнью и смертью, и в наших руках тоже была чья-то жизнь и чья-то смерть. Есть ли что-нибудь сильнее этого чувства? Как там погуляли, мы нигде больше не погуляем. Как там нас любили женщины, они нигде больше так нас не будут любить. Все обострялось близостью смерти, мы все время вертелись возле смерти. Много было разных приключений, мне кажется, я знаю запах



опасности, как она пахнет, когда видишь затылок. Я все там испробовал и вышел сухим из воды. Там была мужская жизнь. Вот оттуда у нас ностальгия. Афганский синдром...

Правое было дело или неправое было дело, никто тогда не задумывался. Мы делали то, что нам приказывали. Воспитание, привычка. Теперь, конечно, все переосмыслено, взвешено временем, памятью, информацией и правдой, которую нам открыли. Но это же почти через десять лет! А тогда существовал образ врага, знакомый из книжек, из школы, из фильмов о басмачах. Кинокартину «Белое солнце пустыни» я раз пять смотрел. И вот он, враг! И тебе хватило, досталось, а то жалел, что поздно родился, не успел в сорок первом году. У нас у всех духовный опыт или войны, или революции, других примеров не внушили.

Мы заменили первых и стали весело забивать колышки будущих казарм, столовых, армейских клубов. Выдали пистолеты ТТ-44, времен войны, политруки с ними ходили. Ими только застрелиться или продать в дуكان. Ходили, как партизаны, кто в чем, большая часть в спортивных трико, кроссовках. Я был похож на храброго солдата Швейка. Пятьдесят градусов жара, а начальство требует галстук и полную форму, как положено по уставу от Камчатки до Кабула...

В морге – мешки с разрубленным человеческим мясом... Шок! Через полгода... Смотрим кино... Трассеры на экран летят... Продолжаем смотреть кино... Играем в волейбол, начинается обстрел... Глянули, куда летят мины, играем дальше... Фильмы привозили про войну, про Ленина или как жена изменяет... А всем хотелось комедий... Комедий совсем не привозили... он уехал, она с другим... Взял бы автомат и разрядил в экран! Экран – три-четыре сшитые вместе простыни под открытым небом, зрители сидят на песке. Раз в неделю банно-стаканный день. Бутылка водки – тридцать чеков. Везли из Союза... По таможенной инструкции одному человеку разрешено везти две бутылки водки и четыре вина, а пиво в неограниченном количестве. Пиво сливаешь, заливаешь бутылки водкой. Этикетка «Боржоми», попробуешь – сорок градусов. У нас собаку звали Вермут. Красный глаз, не желтеет. Пили «шпагу» – отработанный спирт с самолетов, антифриз – жидкость для машинного охлаждения. Предупреждаешь солдат:

– Пейте все, но антифриз не пейте.

Через день-два после того как они прибыли, зовут врача:

– Что?

– Новенькие антифризом отравились...

Наркотики курили. Один накурится – «шубняк» нападает... Любая пуля летит, ему кажется: в него целятся... Другой на ночь курит... Начинаются галлюцинации... Всю ночь семью видит, жену обнимает... У некоторых были цветные видения... Как кино смотрит... Первое время наркотики нам продавали в дуканах, потом давали бесплатно:

– Кури, русский! На, кури... – Бачата бегают и суют солдатам.

Из анекдотов:

– Товарищ подполковник, как пишется ваше звание – вместе или раздельно?

– Конечно, раздельно. Проверочное слово «под столом».

Друзья гибли... Зацепил растяжку каблук, услышал щелчок взрывателя и, как всегда в этом случае, не упал, не прижался к земле, а удивленно оглянулся на звук и принял на себя десятки осколков... танк разорвало, да так, что днище вскрыло, как консервную банку, повырывало катки, гусеницу. Механик-водитель пытался выбраться через люк, показали только его руки – дальше не смог, сгорел вместе с машиной. На кровать убитого в казарме никто не хотел ложиться. Появлялся новенький, по-нашему, «заменщик»...

– Спи пока здесь... На этой кровати... Ты все равно его не знал...

Вспоминали чаще тех, у кого остались дети. Сиротами будут расти... Ну а те, кто никого не оставил, ушел, как не был?..

За войну нам удивительно дешево платили: каких-то два оклада, из которых один переводился в двести семьдесят чеков, из него считывали еще взносы, подписки, налог и прочее. В то время как обычному вольнонаемному рабочему на Саланге платили по тысяче пятисот чеков. Сравните с офицерским окладом. Военные советники получали в пять–десять раз больше. Неравенство обнаруживалось на таможне... Когда везли колониальный товар... У кого магнитофон и пара джинсов, у кого видеосистема и к ней пять–семь чемоданов длиной с матрац, солдаты чуть волокут.

В Ташкенте:

– Из Афгана? Девочку хочешь... Девочка, как персик, дорогой, – зовывают в частный бардак.

– Нет, дорогой, спасибо. Домой хочу. К жене. Билет нужен.

– За билет бакшиш давай. Итальянские очки будут?

– Будут.

Пока долетел до Свердловска, заплатил сто рублей и отдал итальянские очки, японский платок с люрексом и французский косметический набор. В очереди научили:

– Чего стоишь? Сорок чеков в служебный паспорт – и через день дома.

Беру на вооружение:

– Девушка, мне до Свердловска.

– Билетов нет. Очки надень и посмотри на табло.

Сорок чеков в служебный паспорт...

– Девушка, мне до Свердловска...

– Сейчас проверю. Хорошо, что вы подошли, тут один отказался.

Приезжаешь домой. Попадаешь в совершенно другой мир – в семью. Первые дни никого не слышишь, только видишь. Трогаешь их. Как вам рассказать, что такое провести рукой по головке своего ребенка... После всего... Утром на кухне запах кофе и блинчиков... Жена зовет завтракать...

Через месяц уезжать. Куда, зачем – непонятно. Об этом не думаешь. Об этом просто нельзя думать. Знаешь одно: едешь, потому что надо. Ночью на зубах скрипит афганский песок, мягкий, как пудра или мука. Только что ты лежал в красной пыли... Это глина... Рядом рычат БМП... Опомился, вскочил – нет, ты еще дома... Уезжаешь завтра... Сегодня отец попросил заколоть поросенка... Раньше он режет поросенка, я не подойду, затыкаю уши, чтобы не слышать этот визг... Убегал из дома...

Отец:

– Давай поддержи...

– Не так делаете... В сердце ему, сюда... – Взял и проколол.

...В морге мешки с разрубленным человеческим мясом... Шок! Нельзя пролить первую кровь, потом трудно остановиться...

Каждый сам занимался своим собственным спасением. Сам!

Сидят солдаты... Внизу идут старик и ослик... Они из гранатомета: шар-р-рах! Ни старика, ни ослика...

– Ребята, вы что, с ума сошли? Шли старик и ослик... Что они вам сделали?

– Вчера тоже шли старик и ослик... Шел солдат... Старик и ослик прошли, солдат остался лежать...

– А может, это другой старик и другой ослик?

Нельзя пролить первую кровь... Все время будешь стрелять во вчерашнего старика и вчерашнего ослика...

Довоевали. Остались живыми, вернулись домой. Теперь разбираемся...»

*Капитан, артиллерист*

«Я сидела у гроба и спрашивала: «Кто там? Ты ли там, сынок?» Только это и повторяла: «Кто там? Ты ли там, сынок?» Все решили, что я сошла с ума.

Прошло время. Я хотела узнать, как погиб мой сын. Обратилась в военкомат:

– Расскажите, как погиб мой сын? Где? Я не верю, что его убили. Мне кажется, что я похоронила железный ящик, а сын где-то живой.

Военком разозлился и даже прикрикнул:

– Это разглашению не подлежит. А вы ходите и всем говорите, что у вас погиб сын. Нельзя разглашать.

...Сутки я мучилась, пока родила. Узнала – сын! – боли прошли: не зря мучилась. С первых дней боялась за него, больше никого у меня не было. Жили мы в бараке, жили так: в комнате стояла моя кровать и детская коляска, и еще два стула. Работала я на железной дороге стрелочницей, зарплата шестьдесят рублей. Вернулась из больницы – и сразу в ночную смену. С коляской на работу ездила. Возьму плитку, накормлю его, он спит, а я поезда встречаю и провожаю. Подросток, стала одного дома оставлять. Привяжу за ножку к кровати и ухожу. Он вырос у меня хороший.

Проступил в строительное училище в Петрозаводске. Я приехала его навещать, он поцеловал меня и куда-то убежал. Обиделась даже. Заходит в комнату, улыбается:

– Сейчас девочки придут.

– Какие девочки?

А это он сбегал к девочкам похвастаться, что к нему мама приехала, чтобы они пришли и посмотрели, какая у него мама.

Кто мне подарки дарил? Никто. Приезжает на Восьмое марта. Встречаю на вокзале:

– Давай, сынок, помогу.

– Сумка, мама, тяжелая. Ты возьми мою трубку чертежную. Но неси осторожно, там чертежи.

Я так и несу, а он проверяет, как я несу. Что там за чертежи?! Дома он раздевается, я быстрее на кухню: как мои пирожки? Поднимаю голову: стоит и держит в руке три красных тюльпана. Где он их взял на Севере? В тряпочку завернул и в трубку чертежную, чтобы не замерзли. А мне никто никогда цветка не дарил.

Летом поехал в стройотряд. Вернулся как раз перед моим днем рождения:

– Мама, извини, что не поздравил. Но я тебе привез... – И показывает извещенье на денежный перевод.

Читаю:

– Двенадцать рублей пятьдесят копеек.

– Ты, мама, забыла большие цифры. Тысяча двести пятьдесят рублей...

– Таких сумасшедших денег сроду в руках не держала и не знаю, как они пишутся.

Он такой довольный:

– Теперь ты отдохнешь, а я буду работать. Буду много зарабатывать. Ты помнишь, когда я был маленький, я обещал, что вырасту и буду носить тебя на руках?

Правда, такое было. И вырос он метр девяносто шесть ростом. Поднимал и носил меня, как девочку. Наверное, потому мы так любили друг друга, что у нас никого больше не было. Как бы я его же не отдала, не знаю. Не перенесла бы.

Прислали повестку идти в армию. Он хотел, чтобы его взяли в десантники:

– Мама, набирают в десантные войска. Но меня, сказали, не возьмут, потому что я своей силищей им все стропы пообрываю. А у десантников такие красивые береты...

И все-таки он попал в Витебскую десантную дивизию. Приехала к нему на присягу. Даже не узнала: выпрямился, перестал стесняться своего роста.

– Мама, почему ты у меня такая маленькая?

– Потому что я скучаю и не расту, – еще пробовала шутить.

– Мама, нас посылают в Афганистан, а меня опять не берут. Почему ты не родила еще девочку, тогда бы меня взяли.

Когда они принимали присягу, присутствовало много родителей. Слышу:

– Мама Журавлева здесь? Мама, идите поздравьте сына.

Я подошла и хочу его поздравить, а он же метр девяносто шесть, никак не дотянусь до него.

Командир приказывает:

– Рядовой Журавлев, нагнитесь, пусть мама вас поцелует.

Он нагнулся и поцеловал, и кто-то нас в эту минуту сфотографировал. Единственный военный снимок, который у меня есть.

После присяги его отпустили на несколько часов, и мы пошли в парк. Сели на траву. Снял он сапоги – ноги стерты в кровь. У них был марш-бросок на пятьдесят километров, а сапог сорок шестого размера не было, и ему дали сорок четвертый. Не жаловался, наоборот:

– Мы бежали с рюкзаками, груженными песком. Как ты думаешь, каким я прибежал?

– Наверное, последним из-за этих сапог.

– Нет, мама, я был первым. Я снял сапоги и бежал, и песок не высыпал, как другие.

Мне хотелось что-нибудь сделать для него особенное:

– Может, сынок, в ресторан пойдем? Мы никогда с тобой не были в ресторане.

– Мама, купи лучше мне килограмм леденцов. Вот это будет подарок!

Перед отбоем мы расстались. Он помахал мне вслед кулком с леденцами.

Нас, родителей, разместили на территории части в спортзале на матах. Но мы только под утро легли, всю ночь ходили вокруг казармы, где спали наши ребята. Заиграл горн, я подхватила: поведут на физзарядку, вдруг еще раз его увижу, хотя бы издалека. Бегут, все в одинаковых полосатых маечках – пропустила, не углядела. А они ходили строем в туалет, строем на физзарядку, строем в столовую. По одному им не разрешали, потому что, когда ребята узнали, что их посылают в Афганистан, один в туалете повесился, еще двое себе вены перерезали. Их караулили.

Садилась в автобус, я одна из родителей плакала. Как будто что-то мне подсказывало, что видела его в последний раз. Скоро он написал: «Мама, я видел ваш автобус, я так бежал, чтобы увидеть тебя еще

раз». Когда мы сидели с ним в парке, по радио пели: «Как родная меня мать провожала». Услышу теперь эту песню...

Второе письмо начиналось: «Привет из Кабула...», прочитала и так начала кричать, что прибежали соседи. «Где закон? Где защита? – билась головой о стол. – Он у меня единственный, даже в царское время единственных кормильцев в армию не брали. А тут на войну послали». Впервые после рождения Саши пожалела, что не вышла замуж, что некому меня защитить. Саша, бывало, дразнится:

– Мама, почему не выходишь замуж?

– Потому что ты меня ревнуешь.

Засмеется и промолчит. Мы собирались жить вместе долго-долго.

Еще несколько писем, и молчание, такое длинное молчание, что я обратилась к командиру части. И Саша тут же пишет: «Мама, не пиши больше командиру части, знаешь, как мне попало? А я не мог тебе написать, в руку оса укусила. Просить кого-нибудь не хотел, ты испугалась бы чужого почерка». Жалел меня, придумывал сказки, как будто я не смотрела каждый день телевизор и не могла сразу догадаться, что он был ранен. Теперь, если один день не было письма, у меня отказывали ноги. Он оправдывался: «Ну как могут приходиться каждый день письма, если нам даже водичку раз в десять дней возят?» Одно письмо было радостное: «Ура-ура! Сопровождали колонну в Союз. Дошли до границы, дальше не пустили, но мы хоть издалека посмотрели на свою Родину. Нигде лучше земли нет». В последнем письме: «Если я проживу лето, я вернусь».

Двадцать девятого августа я решила, что лето кончилось, купила ему костюм, туфли. Висит в шкафу...

Тридцатое августа. Перед тем как идти на работу, сняла с себя серьжки и кольцо. Почему-то не могла носить.

Тридцатого августа он погиб.

За то, что осталась жива после смерти сына, я должна благодарить своего брата. Он неделю лежал ночью возле моего дивана, как собака... Сторожил меня... А у меня в голове было одно: добежать до балкона и спрыгнуть с седьмого этажа... Помню, внесли в комнату гроб, я легла на него и меряю, меряю... Один метр, второй метр... Сын у меня двухметровый был... Руками мерила, по росту ли гроб... Как сумасшедшая говорила с гробом: «Кто там? Ты ли там, сынок?..» Привезли в закрытом гробу: вот, мать, мы тебе привезли... Я не могла его поцеловать последний раз... Погладить... Я даже не знала, во что он одет...

Сказала, что место на кладбище сама ему выберу. Сделали мне два укола, и мы пошли с братом. На главной аллее уже были «афганские» могилы.

– И моего сыночка сюда. Тут, со своими ребятами, ему будет веселее.

Кто с нами был, не помню, какой-то начальник, качает головой:

– Не разрешено их хоронить вместе. Раскладываем по всему кладбищу.

Ой, недобрая я стала. Ой, недобрая я теперь стала. «Не обозлишь, Соня. Ты только, Соня, не обозлишь», – умолял брат. А как мне доброй стать? По телевизору показывают ихний Кабул... А я бы взяла пулемет и всех перестреляла... Сяду у телевизора и «стреляю»... Это они моего Сашу убили... А потом раз показали старую женщину... Наверное, афганскую мать... Она прямо на меня смотрела... Я подумала: «А там же ее сын, может, его тоже убили?» Вот после нее я перестала «стрелять».

Может, мне из детдома мальчика взять?.. Русенького, как Саша... Нет, мальчика боюсь... Лучше девочку... Мальчика опять заберут и убьют... Будем вдвоем Сашу ждать... Я не сумасшедшая, но я его жду... Рассказывают случай... Привезли матери гроб, она его похоронила... А через год он возвращается, живой, только раненый был... У матери разрыв сердца... А я жду... Мертвым его не видела... Не целовала... Жду...»

*Мать*

«Я начну не с самого начала. Я начну с того, когда все рухнуло.

Ходили на Джелалабад... Стоит у дороги девочка, лет семи... У нее перебитая рука висит, как у разорванной тряпичной игрушки, на какой-то ниточке... Глаза-маслины неотрывно смотрят на меня... Я соскакиваю с машины, чтобы взять ее на руки и отнести к нашим медсестрам... Она в диком ужасе, как зверек, отскакивает от меня и кричит... Она бежит и кричит, ручонка болтается, вот-вот совсем отлетит... Я тоже бегу и кричу... Догоняю, прижимаю к себе, глажу... Она кусается, царапается, вся дрожит... Словно ее какое-то дикое животное схватило, а не человек... И меня, как громом, поражает мысль: она не верит, что я хочу ее спасти, она думает, я хочу ее убить...

Мимо проносят носилки: на них сидит старая афганка и улыбается.



Кто-то спрашивает:

– Куда ее ранили?

– В сердце, – говорит медсестра.

А хал там, глаза были как у всех, горели: я там кому-то нужен. Я им нужен... Как она от меня убежала... Как дрожала... Как боялась меня... Никогда не забуду...

Там сны о войне не видел. А здесь ночью воюю. Догоняю эту маленькую девочку... Глаза-маслины... Ручонка болтается, вот-вот отлетит...

– Надо мне к психиатру? – спросил у своих ребят.

– Чего?

– Воюю.

– Мы все воюем...

Не думайте, что это были супермены... С сигаретой в зубах сидели на убитых и банку тушенки открывали?.. Арбузы ели?.. Чушы! Обыкновенные ребята. На нашем месте мог оказаться любой. И тот, кто сегодня судит: «Вы там убивали...» Мне вмазать в эту морду охота! Не был там... Не испытал... Не суди! Вы никогда не сможете стать с нами рядом. И никто не имеет права нас судить. Один Сахаров... Его буду слушать... Никто не хочет понять эту войну, оставили нас с ней один на один. Сами, мол, разбирайтесь. Мы ходим виноватые, должны оправдываться... Перед кем оправдываться? Нас послали. Мы поверили. И с этим там погибали. Не надо ставить рядом тех, кто туда посылал, и тех, кто там был. У меня погиб друг... Майор Саша Кравец... Скажите его маме, что он виноват... Скажите его жене... Его детям... Вы нас туда послали... «У вас все нормально», – сказал мне врач. Какие же мы нормальные?! Мы столько в себе принесли...

Там совсем по-другому чувствовалась Родина. Звали – Союз. Дембелей провожали:

– Вы уж там поклонитесь Союзу.

Казалось: за нашей спиной что-то большое и сильное, и оно нас всегда защитит. Но помню: вышли из боя, с потерями – убитые, тяжелораненые... Вечером врубили телевизор – отвлечься: что там в Союзе? В Сибири построен новый завод-гигант... Английская королева дала обед в честь высокого гостя... В Воронеже подростки изнасиловали двух девочек-школьниц, от скуки... В Африке принца убили... Наше чувство: мы никому не нужны, страна живет своим...

Первым не выдержал Саша Кучинский:

– Выключи! Или я расстреляю сейчас телевизор.

После боя по радиации докладываешь:

– Запишите: «трехсотых» – шесть, «ноль двадцать первых» – четыре.

«Трехсотые» – раненые, «ноль двадцать первые» – убитые. Глядишь на убитого и думаешь о его матери: я вот знаю, что ее сын погиб, а она еще нет. Передалось ли ей? Еще хуже – упал в речку или в пропасть, тело не нашли. Матери сообщают: пропал без вести... Чья это была война? Война матерей, они воевали. А народ не страдал. Народ не знал. Ему говорили, что мы воюем с «бандами». Стотысячная регулярная армия девять лет не может победить разрозненные кучки «бандитов»? Армия с новейшей техникой... Не дай Бог попасть под обстрел нашей артиллерии, когда цель обрабатывают реактивные установки «Град» или «Ураган»... Телеграфные столбы летят... Готов залезть в землю, как дождевой червяк... А у «бандитов» – пулеметы «максимы», которые мы только в кино видели... «Стингеры», японские безоткатки... Это уже потом. Приведут пленных – худые, изможденные люди с большими крестьянскими руками... Какие же это бандиты! Это – народ!

Мы там поняли: им это не надо. Если им не надо, то зачем это нам? Проезжаешь мимо брошенных кишлаков... Еще дымок костра вьется, едой пахнет... Идет верблюд и кишки за собой тянет, как будто горбы свои разматывает... Надо достреливать... А сознание все-таки запрограммировано на мирную жизнь: добить не можешь... Другой возьмет и пальнет в верблюда. А просто так! С охотки, с дури. В Союзе бы за это посадили, а тут – герой: бандитам мстит. Почему восемнадцатилетние-девятнадцатилетние убивают легче, чем, например, тридцатилетние? Им не жалко. После войны я вдруг обнаружил, какие страшные детские сказки. Все время в них кто-то кого-то убивает, Баба Яга вообще в печке жарит, а детям не страшно. Они плачут очень редко.

Но хотелось остаться нормальным. Приехала к нам певица. Красивая женщина, песни у нее задушевные. А там так скучаешь по женщине, ждешь ее, как близкого человека. Она вышла на сцену:

– Когда летела к вам, мне дали пострелять из пулемета. С какой радостью я стреляла...

Залела, а к припеву просит:

– Ребята, ну хлопайте! Хлопайте, ребята!

Никто не хлопает. Молчат. И она ушла, концерт сорвался. Супердевочка приехала к супермальчикам. А у этих мальчиков в казармах каждый месяц восемь–десять пустых коек... Те, кто на них спал, уже в холодильнике... Только письма по диагонали на простынях... От мамы, от девочки: «Лети с приветом, вернись с ответом...»

Выжить на этой войне было главным. Не подорваться на mine, не сгореть в бронетранспортере, не стать мишенью для снайпера. А для некоторых – выжить и что-нибудь из вещей привезти: телевизор, дубленку... Ходила шутка, что о войне в Союзе узнают в комиссионных магазинах. Зимой едешь по нашему Смоленску – девушки в афганских шубах. Мода!

У каждого солдата на шее висел амулетик.

– Что у тебя? – спросишь.

– Молитовку мама дала.

Когда я вернулся, мама открылась:

– Толя, ты не знаешь, я тебя заговорила, потому ты живой и целый.

Уходили в рейд: одну записку кладешь в верхнюю часть одежды, другую – в нижнюю. Подорвешься – какая-нибудь часть останется: верхняя или нижняя. Или носили браслеты с гравировкой: фамилия, группа крови, резус и личный номер офицера. Никогда не говорили: «Я пойду» – «Послали». Не произносили слово «последний».

– Давай зайдём в последний раз...

– Ты что, сдурел? Нет такого слова... Крайний... ну, четвертый, пятый... А этим здесь не пользуются.

У войны подлые законы: сфотографировался перед тем как идти на боевые, – убили, побрился – убили. Первыми погибали те, кто приехал нацеленный на героизм, с голубыми глазами. Встречал такого: «Буду героем!». Погиб с ходу. Извините, на операции – тут же лежим, тут же нужду справляем. Солдатская поговорка: «Лучше топтаться в собственном дерьме, чем самому стать дерьмом на минах». Родился у нас свой жаргон: «борт» – самолет, «броник» – бронезилят, «зеленка» – кусты и заросли камыша, «вертушка» – вертолет, «глюки видел» – галлюцинации после наркотика, «подпрыгнул на mine» – подорвался, «заменщик» – кто домой уезжает. Столько сочинили, что «афганский» словарь можно составить. А погибали больше всего в первые месяцы и в последние. В первые – много любопытства, в последние – сторожевые центры от-

ключаются, наступает отупение, ночью не можешь понять: где я, что я, зачем? Со мной ли это? Заменщики не спят полтора-два месяца. У них свое исчисление: сорок третье марта или пятьдесят шестое февраля, это значит – должен был заменяться в конце марта или в конце февраля. Очень сильно ждешь. Меню в столовой: красная рыба – килька в томате, белая рыба – килька в масле – раздражают, цветочные клумбы в центре гарнизона – раздражают, анекдоты, над которыми еще недавно надрывался от хохота, – не нравятся. Странно, что еще вчера и позавчера было смешно. А что тут смешного?

Приехал офицер в Союз в командировку. Зашел в парикмахерскую. Девушка посадила его в кресло:

– Как обстановка в Афганистане?

– Нормализуется...

Через несколько минут:

– Как обстановка в Афганистане?

– Нормализуется...

Пройдет какое-то время:

– Как обстановка в Афганистане?

– Нормализуется...

Постригся, ушел. В парикмахерской недоумевают:

– Зачем мучила человека?

– Как спрошу об Афганистане, у него волосы дыбом становятся – легче стричь.

А отсюда (прошло три года) тянет обратно не на войну, а к тем людям. Ждешь-ждешь, а уезжать в последний день жалко, кажется, у всех бы взял адреса. У всех!

У Лютика. Так звали Валерку Широкова, хрупкий, изящный. Нет-нет да и напоеет кто-нибудь: «Руки словно лютики...» А характер железный, лишнего слова не скажет. Был у нас жмот, все копил, покупал, менял. Валерка стал перед ним, вытащил из своего бумажника двести чеков, показал и тут же на глазах у того одуревшего разорвал на мелкие кусочки. Молча вышел.

У Саши Рудика. Мы с ним в рейде встречали Новый год. Елка – автوماتы поставили пирамидой, игрушки – повесили гранаты. А на машине-установке «Град» зубной пастой написали: «С Новым годом!!!» Почему-то три восклицательных знака. Саша хорошо рисовал. Я привез домой простыню с его пейзажем: собака, девочка и кле-

ны. Горы он не рисовал, горы мы там разлюбили. Любого спроси: «О чем тоска?» – «В лес хочу... В реке искупаться... Молока большую кружку выпить...» В Ташкенте в ресторане подходит официантка:

– Миленькие, молоко берете?

– По два стакана обыкновенной воды. А молоко завтра будем пить. Только приехали...

Из Союза каждый вез чемодан варенья и березовый веник. Там же эвкалиптовые продаются – мечта! Нет, везли свои, березовые...

У Сашика Лащука. Парень чистый. Часто писал домой. «У меня родители старенькие. Они не знают, что я тут, я им сочиняю о Монголии». Приехал с гитарой и уехал с гитарой. Там разные люди были. Не представляйте нас одинаковыми. А то сначала о нас молчали, потом стали воображать всех героями, теперь ниспровергают, чтобы следом забыть. Там же один мог лечь рывком на мину и спасти даже незнакомых ему ребят, другой подойти к тебе и просить: «Хотите, стирать вам буду, только не посылайте на боевые».

Идут КамАЗы, и на козырьках крупными буквами: «Кострома», «Дубна», «Ленинград», «Набережные Челны»... Или «Хочу в Алма-Ату!». Ленинградец находил ленинградца, костромич – костромича... Обнимались как братья. И в Союзе мы как братья. Ну кто еще из молодых может сегодня идти по улице с костылем и новеньким орденом? Только свой. Мой брат... Наш брат... Обнимемся, другой раз только на скамейке посидим и выкурим по сигарете, а кажется, говорили весь день. У нас у всех дистрофия... Там это было несоответствие веса росту... Здесь – несоответствие чувств возможности вылиться, выплеснуться в словах, в деле...

Ехали мы уже из аэропорта в гостиницу. Первые часы дома. Молчим, притихли. В один миг у всех нервы не выдержали, и разом выдохнули водителю:

– Колея! Колея! Держи колею!..

Потом – хохот. Потом – счастье: да мы же в Союзе! Можем по обочине ехать... По колее... По всей земле... Пьянеешь от этой мысли...

Через несколько дней обнаружили:

– Ребята!! Мы все сутулые...

Не могли ходить прямо, разучились. Я себя полгода на ночь к кровати привязывал, чтобы распрямиться.

Встреча в Доме офицеров. Вопросы: «Расскажите о романтике службы в Афганистане», «Убивали ли вы лично?» Особенно девочкам нравятся

кровожадные вопросы. Жизнь вокруг серенькая, щекочут себе нервы. Но вот же ни у кого не повернется язык завести разговор о романтике Великой Отечественной войны? Там воевали сыновья, отцы и деды. А тут – одни мальчики. Слепые и восторженные. Насмотрелся, как им всего хотелось попробовать. Попробовать убить. Страх попробовать. Гашиш. Один попробует – летает, а у другого шубняка: куст становится деревом, камень – бутром, идет и в два раза выше ноги поднимает. Ему еще страшнее.

Был и такой вопрос: «А вы могли не поехать в Афганистан?» Я? Я... У нас отказался лишь один – командир батареи, майор Бондаренко: – Родину пойду защищать. В Афганистан не поеду.

Первое, что с ним сделали: суд офицерской чести – исключить за трусость! Пройти через это мужскому самолюбию? Петля на шею, пистолет – к виску. Второе – понизили в должности, как мы говорим, рассыпали звезду: из майора стал капитаном. И в стройбат. Через это пройти? Выгнали из партии. И через это? Выгнали из армии. И через это? Военная косточка, тридцать лет в армии.

– Что ты можешь? – спрашивают у офицера.

– Могу командовать ротой. Могу командовать взводом и батареей.

– Что еще можешь?

– Могу копать.

– Что еще?

– Могу не копать...

И через это пройти?

...На тамошне у меня размагнитили кассеты с концертом Розенбаума.

– Что вы, ребята, делаете?

– А у нас, – показывают мне, – есть список, что можно везти, а что нет.

Приехал в Смоленск: из окошек всех студенческих общежитий несетя Розенбаум...

А сейчас – надо рэкетиров напугать, приходит милиция:

– Давайте, ребята, помогите.

Неформалов разогнать:

– Позовем «афганцев».

Дескать, «афганцу» привычно, ему все нипочем: крепкие кулаки, слабая голова. Все боятся. Все не любят.

Когда у вас болит рука, вы не отсекаете себе руку. Вы ее нянчите, чтобы вылечить. Вы ее лечите.

Почему мы собираемся? Спасаемся вместе. Но домой возвращаться один».

*Майор, пропагандист артполка*

«Каждую ночь видишь один и тот же сон, все прокручивается заново. Все стреляют, и ты стреляешь... Все бегут, и ты бежишь... Падаешь, просыпаешься... На больничной койке... Рывком сбрасываешь себя с кровати, чтобы выйти в коридор покурить. И тут вспоминаешь: ног нет... Тут возвращаешься в действительность...

Я не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу знать! Если это ошибка, тогда верните мне мои ноги...

Вы вынимали когда-нибудь из кармана убитого письма: «Дорогая...», «Дорогие...», «Любимая...»? Вы видели солдата, простреленного одновременно кремниевой пицалью и китайским автоматом?..

Нас туда послали, мы выполняли приказ. В армии ты сначала должен выполнить приказ, а потом можешь его обжаловать. Тебе сказали: вперед! Значит, вперед. А нет – партбилет отдай. Звание отдай. Присягу давал?! Давал. Поздно пить боржом, когда почки отказали. «Мы вас не посылали туда». – «А кто посылал?»

Там у меня был друг. Я уходил в бой, он со мной прощался. Я приходил, он обнимал меня – живой! Такого друга у меня здесь не будет...

На улицу редко выхожу... Стесняюсь...

Вы когда-нибудь пристегивали наши протезы? На них ходишь и боишься шею сломать. Говорят, в других странах «протезники» на горных лыжах катаются, играют в теннис, танцуют. Купите их на валюту вместо французской косметики... Вместо кубинского сахара... Марокканских апельсинов...

Мне двадцать два года, вся жизнь впереди. Надо жену искать. Была девушка. Сказал ей: «Я тебя ненавижу», чтобы ушла... Жалела... Хочу, чтобы любила...

*Снится мне ночами дом родной  
И в рябинах тихая опушка.  
Тридцать, девяносто, сто...  
Что-то ты расщедрилась, кукушка...*

Из наших песен... Любимая... А иногда даже день неохота прожить...

Но даже сейчас мечтаю: хоть бы краешком глаза глянуть на тот кусочек земли... На тот кусочек библейской пустыни... Нас всех тянет туда... Так тянет, когда стоишь у пропасти или высоко над водой... Так тянет, что голова кружится...

Война закончилась... Теперь постараются нас забыть, запрятать куда-нибудь подальше... Так уже было в финскую... Сколько книг написано о Великой Отечественной – и ничего о финской... Наш народ быстро прощает... И я через десять лет привыкну, мне будет наплевать...

Убивал ли я там? Убивал. А вы что хотите, чтобы мы там остались ангелами? Вы ждали – ангелы возвратятся?..»

*Старший лейтенант, командир минометного взвода*

«Служил на Дальнем Востоке. В журнале дежурного телефониста прочел: «Направить старшего лейтенанта Иванова в штаб армии для рассмотрения вопроса о переводе его в Туркестанский военный округ для дальнейшего прохождения службы». Дата и время. Ожидал, что пошлют на Кубу, потому что, когда проходил медкомиссию, речь шла о стране с жарким климатом.

Спрашивали:

– Не возражаете, если мы вас пошлем в заграникомандировку?

– Нет, не возражаю.

– Поедете в Афганистан.

– Так точно.

– Вы знаете, там стреляют, убивают...

– Так точно...

В Союзе у саперов какая жизнь? Копают лопатой, долбают киркой. А хотелось использовать то, чему учили в училище. Саперы на войне всегда нужны. Я ехал учиться воевать.

Из всех, кого вызывали, отказался один. Его вызывали три раза:

– Не возражаете, если мы вас пошлем в заграникомандировку?

– Возражаю.

Ему не позавидуешь. Тут же получил выговор, его офицерское имя теперь замазано, и продвижения по службе не будет. Отказывался он из-за состояния здоровья, у него то ли гастрит был, тот ли язвенная болезнь. Но на это не смотрели: жарко не жарко, предложили – должен ехать. Уже печатались списки...



Из Хабаровска шесть дней до Москвы ехал поездом. Через всю Россию, через сибирские реки, по берегу Байкала. Через сутки у проводницы кончилась заварка, на вторые сутки – сломался титан. Родные встретили. Поплакали. Но коль надо, то надо.

...Открылся люк – синее-синее небо, у нас только над рекой бывает такое синее небо, как там. Шум, крик, но все свои. Кто встречает заменика, кто друзей, кто передачу от родных из Союза ждет. Загоревшие все, веселые. Не верилось, что где-то есть тридцать пять градусов мороза, металл замерзает и броня. Первого афганца увидел на пересылке через забор из колючей проволоки. Кроме как интереса, никаких других чувств не испытал. Обыкновенный.

Получил бумаги в Баграм на должность командира инженерно-дорожного взвода в саперном батальоне.

Вставали рано утром и отправлялись как на работу: танк с тралом, группа снайперов, собака миннорозыскная и две бэмипэшки для боевого прикрытия. Первые километры – на броне. Там хорошо видны следы: дорога пыльная, пыль лежит пудрой, как снег. Птица сядет – знак остается. Если вчера прошел танк, смотри в оба: в след от гусеницы танка могут мину закопать. Пальцами изобразят гусеницу, а следы свои заметут мешком или чалмой. Дорога крутилась мимо двух мертвых кишлаков, людей там не было, одна обгоревшая глина. Отличное укрытие! Всегда будь начеку. Остались кишлаки позади, слезаем с брони. Теперь так: впереди собака бежит, виляет туда-сюда, и за ней идут саперы со щупом. Идут и прокалывают землю. Тут уже с тобой Бог, твоя интуиция, твой опыт, чутье. Там ветка сломана, там железка какая-то лежит, вчера ее не было, там камень. Они же и для себя знаки оставляли, чтобы самим не подорваться.

Одна железка, другая... Какой-нибудь болт... Вроде в пыли валяются... А под землей батарейки... Проводок к бомбе или к ящику с тротилом... Противотанковая мина человека не слышит... Она срабатывает при нагрузке двести пятьдесят – триста килограммов... Первый подрыв... Я один остался сидеть на танке, мое место было возле дула, башня защитила, остальных снесло. Сразу обшарил себя, проверил: голова на месте? Руки, ноги на месте? На месте – поехали дальше.

Впереди еще один подрыв... Легкий бронированный тягач напоролся на мощный футас... Тягач раскололся пополам, воронка три метра длиной, а глубина в человеческий рост. Тягач вез мины, около

двухсот мин для миномета... Мины в кустах, на обочине... Веером лезут... Ехали пять солдат и старший лейтенант; мы с ним несколько вечеров вдвоем сидели, курили, разговаривали... Никого в живых не осталось.

Очень помогали собаки. Они как люди. Одаренные и неударенные, с интуицией и без интуиции. Часовой заснет, а собака нет. Я любил Арса. К нашим солдатам ластился, а на афганских лаял. У них форма была более зеленая, чем наша желтоватая. Но как он различал? Мины слышал за несколько шагов... Упрется в землю, хвост трубой: не подходи! Минные ловушки разные... Самые опасные – самодельные мины, они не повторялись, в них нельзя было уловить закономерность... Стоит ржавый чайник, в нем взрывчатка... В магнитофоне, в часах... В консервной банке... Тех, кто шел без саперов, называли «смертниками». На дороге мины, на тропе в горах мины, в доме мины... Саперы всегда идут первыми...

Топтались в окопчике... Уже подрыв в нем был, уже прогребали, уже два дня топтались все... А я прыгнул сверху – взрыв! Сознание не терял... На небо посмотрел... Небо светится... У саперов при подрыве всегда первая реакция: посмотреть на небо. Целы ли глаза? На прикладе автомата носил жгут, этим жгутом меня перевязали. Выше колен... А я уже знал: где жгут накладывают, там потом и отрезают три-пять сантиметров выше отрыва.

– Куда ты жгут кладешь? – кричу солдату.

– У вас до колена, товарищ старший лейтенант.

Пятнадцать километров меня еще везли в медсанбат. Полтора часа ушло. Там промыли, сделали новокаиновую блокаду. В первый день ногу резали, пила зажужжала, как циркулярка, – потерял сознание. На второй день глаза оперировали. При подрыве пламя ударило в лицо. Глаза, можно сказать, соштопали, двадцать два шва было. Снимали по два-три в день, чтобы глазное яблоко не рассыпалось. Подойдут, фонариком посветят слева, справа: если ли светоощущение, на месте сетчатки?

А цвет у фонарика красный.

Я мог бы написать рассказ, как офицер превращается в надомника. Собирает электропатроны, электророзетки... Сто штук в день... Шнурки заклепывает... Какие? Красные, черные, белые – не знает... Не видит... Диагноз: тотально слепой... Сетки вяжет... Коробочки клеит...

Раньше думал, что только сумасшедшие этим занимаются... Тринадцать сеток в день... Уже норму выполняет...

У саперов было мало шансов вернуться целыми или вообще вернуться, особенно из рот разминирования, спецразминирования. Или ранен, или убит. Уходим на операцию – не прощаемся за руку. В день подрыва новый командир роты пожал мою руку. Он от души, еще никто его не предупредил. И я взлетел... Хочешь верь, хочешь не верь. Существовало поверье: сам напросился в Афганистан – добром это не кончится, послали – дело служивое, может, и пронесет, вернешься домой.

Пять лет прошло. А что мне снится? Длинное минное поле... Составил формуляр: количество мин, количество рядов и ориентиры, по которым можно их найти... И этот формуляр у меня потерялся... А у нас они часто терялись. Или берешь формуляр, там ориентир – дерево, а оно сгорело... Или груда камней, а они взорвались... Никто не ходил, не проверял... Боялись... Сами подрывались на своих минах... Я вижу во сне, что возле моего минного поля бегают дети... Никто не знает, что там мины... Мне надо крикнуть: «Там мины! Не ходите!..» Мне надо опередить детей... Я бегу... У меня опять обе ноги... И я вижу, мои глаза снова видят... Но это только ночью, только во сне. Прорываюсь...»

*Старший лейтенант, сапер*

«Это, может быть, нелепо. В этом случае. С этой войной. Но я человек романтический, не люблю жизнь из мелочей, из вещей. В первый же день, как я туда прибыла, меня вызвал начальник госпиталя: «Что вас заставило сюда приехать?» Я должна была рассказать ему всю свою жизнь. Чужому, незнакомому мужчине... Военному... Как на площади... Вот это самое мучительное, самое унижительное для меня там. Ничего тайного, интимного, все вытягивается наружу. Вы смотрели фильм «Запредел»? О жизни зэков в колонии. Мы жили по тем же законам... Та же колючая проволока, тот же пяточок земли...

Мое окружение – девочки-официантки, повара. Разговоры: о рублях, о чеках, о мясе с костями и без костей, о сырокопченой колбасе, о болгарском печенье. В моем же представлении это было самопожертвование, женский долг – защищать наших мальчиков, спасти! Я

возвышенно все представляла. Люди истекают кровью, я даю свою кровь. Уже на пересылке в Ташкенте поняла: еду не туда. Сажусь в самолет – плачу, не могу остановиться. Там то же, что и здесь, от чего убегала, от чего хотела отвернуться. На пересылке водка лилась рекой. «И снится нам трава у космодрома... Зеленая-зеленая трава...» Как в космос улетала... Тут, в Союзе, у каждого свой дом, своя крепость... А там... Нас в комнате четыре человека. Та девочка, что поваром работала, приносила из столовой мясо и заталкивала его под кровать...

– Помой пол за меня.

– Я вчера мыла, сегодня твоя очередь.

– Помой, дам сто рублей...

Я молчу.

– Мяса дам.

Молчу. Она берет ведро воды и выливает на мою кровать.

– Ха-ха-ха-ха... – Все смеются.

Другая девочка. Официантка. Ругалась матом и любила Цветаеву.

После смены садится и раскладывает пасьянс:

– Будет – не будет... Будет – не будет...

– Что будет – не будет?

– Любовь, что еще.

Свадьбы там были. Настоящие. И любовь. Но редко. Любовь была до Ташкента: оттуда – он налево, она направо.

Таня Бэтээр (высокая, большая) любила сидеть и допоздна разговаривать. Спирт пила только чистый.

– Как ты можешь?

– Что вы, водка слабая, водка меня не берет.

С собой увезла пятьсот или шестьсот открыток с киноактерами. Они дорогие в дуканах, она щеголяла: «На искусство денег не жалко».

Верочку Харьковку запомнила сидящей перед зеркалом с открытым ртом и высунутым языком. Она боялась брюшного тифа. Кто-то ей сказал, что надо каждое утро смотреть в зеркало: при брюшном тифе на языке остаются следы от зубных резцов.

Они меня не признавали. Дескать, какая-то дура, носит пробирки с микробами. Я работала врачом-бактериологом в инфекционном госпитале. У меня на языке вечно было одно: брюшничок, гепатит, паратиф. Раненые не сразу попадали в госпиталь. Пять–десять часов, а то и сутки, и двое они лежали в горах, в песке. Раны осеменялись

микробами, то, что называется раневой инфекцией. Раненый в реанимации, а я у него нахожу брюшной тиф.

Умирали молча. Один только раз видела, как расплакался офицер. Молдаванин. К нему подошел хирург, тоже молдаванин, спросил у него по-молдавски:

– Батюшка, на что жалуетесь? Что болит?

И тот расплакался:

– Спасите меня. Я должен жить. У меня любимая жена и любимая дочка. Я должен вернуться...

Он умер бы молча, но расплакался, потому что услышал родную речь.

В морг не могла зайти. Там привозили человеческое мясо, перетертое с землей. И под кроватью у девочек мясо... Поставят на стол сковородки: «Руба! Руба!» – по-афгански это значит «вперед». Жара... Пот капает в сковородки... Я видела только раненых и имела дело только с микробами... Я не пойду микробы продавать... В военторге на чеки можно было купить карамельки. Моя мечта! «Афганистан, какая прелесть!» – была там такая песня. Я всего боялась, если честно признаться... Приехала туда и не различала даже звездочки на погонах, звания. Всем говорила «вы». Не помню уж кто, но кто-то дал мне на кухне в госпитале два сырых яйца. Потому что врачи ходили полуголодные. «Сидели» на картофельном клейстере, замороженном мясе, приготовленном для войны... Дровесина.. Без запаха и цвета... Я схватила эти два яйца, завернула в салфетку: ну, дома с луком поем. Весь день представляла, как буду ужинать. Тут везут на каталке парня, эвакуируют в Ташкент. Что там под простыней, не видно, одна красивая голова на подушке катается. Поднял на меня глаза:

– Кушать хочется.

Как раз это перед обедом, еще бачки не привезли, а его уносят, и когда-то это еще прилетит в Ташкент, когда накормят.

– На, – и даю ему эти два яйца. Повернулась и пошла, не спросила: руки, ноги у него есть? Я ему на подушку положила. Не разбила, не покормила. Вдруг рук нет?

Ехала два часа на машине, а рядом трупы... Четыре трупа... Они лежали в спортивных костюмах...

Домой вернулась. Не могла слушать музыку, разговаривать на улице, в троллейбусе. Закрывает дверь в комнате – чтобы телевизор и я одна. За день до отлета в Союз застрелился начмед нашего госпи-

таля Юрий Ефимович Жибков... В Афганистане у кого-то из офицеров переписала: «Иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством неба, если он выйдет оттуда здоровым, невредимым и с головой на плечах...» Француз Фурье.

Встречаю на улице молодого человека. «Это, наверное, «афганец»?» Но я его не окликаю, чтобы не показаться смешной. У меня натура мягкая, и я ловлю себя на мысли, что превратилась в агрессивное, жестокое существо. Готовим мальчишек к выписке... Они прячутся на чердаках, в подвалах госпиталя... Мы их ловим, вытаскиваем... На пересылке молодые девчонки учили меня, кому надо дать бутылку водки, чтобы попасть в хорошее место... Они учили меня... Им по восемнадцать – двадцать лет, а мне сорок пять.

На таможне, когда возвращалась, заставили снять все до бюстгальтера.

– Кто вы?

– Врач-бактериолог.

– Покажите документы. – Взяли документы. – Открывайте чемоданы. Будем шмонать...

Я тащила с собой назад старенькое пальто, одеяло, покрывало, шпильки, вилки... Все, что из дома брала. Выгрузили на стол:

– Вы что, сумасшедшая? Стихи, наверное, пишете?

Мне здесь невмоготу. Здесь страшнее, чем там. Там вернулся из Союза, кто что привез – садимся за один стол. Третий тост – молча. За тех, кто погиб. Сидим за столом, а мышки прогуливаются, в туфлях сидят. В четыре часа вой... Первый раз вскочила: «Девочки, волки». Девочки смеются: «Молитву мулла читает». Я долго-долго в четыре утра просыпалась.

Хотелось продолжения. Просилась в Никарагуа. Куда-нибудь, где война идет. Не мирится душа с этой жизнью. Не хочет. На войне даже лучше. Там оправдание есть всему. И хорошему, и страшному. Навероятно?! Но приходит эта мысль в голову...»

*Врач-бактериолог*

«Я его первая выбрала. Стоит высокий, красивый парень. «Девочки, – говорю, – мой». Подошла и пригласила на дамский вальс, девушки приглашают кавалеров... А я – судьбу.

Очень хотела сына. Договорились: если родится девочка, дам имя ей я. Будет Олечка. Родится сын, даст имя он. Будет Артем или Денис. Родилась Олечка.

– А сынишка будет?

– Будет. Пусть только Олечка подрастет.

Я родила бы ему и сына.

– Любочка, не пугайся. Молоко пропадет... – Я малытку грудью кормила. – Посылают в Афганистан...

– Почему ты? У тебя маленький ребенок.

– Не я, кому-то другому выпадет. Партия велела – комсомол ответил: есть.

Он был преданный армии человек. «Приказы, – повторял, – не обсуждаются». У них в семье у матери очень сильный характер, и он привык слушаться, подчиняться. В армии ему было легко.

Как провожали? Мужчины курили. Мать молчала. Я плакала: кому нужна эта война? Дочка спала в люльке.

Встретила на улице дурочку, юродивую, она часто появлялась в нашем военном городке, на базаре или в магазине. Говорили люди, что молодой ее изнасиловали, и с тех пор она даже мать не узнает. Остановилась возле меня:

– Вот привезут тебе мужа в ящике. – Засмеялась и убежала.

Я не знала, что случится, но я знала – что-то случится.

Ждала его, как у Симонова: «Жди меня, и я вернусь...» В день могла написать по три, по четыре письма и отправить. Мне казалось, что тем, что думаю о нем, тоскую о нем, я его берегу. А он писал, что здесь, на войне, каждый делает свою работу. Выполняет приказ. И ко- му какая судьба. Не волнуйся и жди.

Когда я бывала у его родителей, об Афганистане никто не вспоминал. Ни слова. Ни мать, ни отец. Уговора такого не было, но все боялись этого слова.

...Одела девочку, чтобы нести в детский сад. Поцеловала. Открываю дверь: стоят военные, и у одного в руках чемодан моего мужа, небольшой, коричневый, я его собирала. Со мной что-то произошло... Если я их влущу, они принесут в дом страшное... Не влущу, все останется на своих местах... Они дверь к себе – хотят войти, а я к себе – не впускаю...

– Раненый? – У меня еще эта надежда была, что раненый.

Военком вошел первым:

– Людмила Иосифовна, с глубокой скорбью должны сообщить, что ваш муж...

Слез не было. Я кричала. Увидела его друга, бросилась к нему:

– Толик, если ты скажешь, я поверю. Что ты молчишь?

Он подводит ко мне прапорщика, сопровождавшего гроб:

– Скажи ей...

А того трясет, он тоже молчит.

Подходят ко мне какие-то женщины, целуют.

– Успокойся. Давай телефоны родных.

Я села и тут же выпалила все адреса и телефоны, десятки адресов и телефонов, которые я не помнила. Проверили потом по записной книжке – все точно.

Квартира у нас маленькая, однокомнатная. Гроб поставили в клубе части. Я обнимала гроб и кричала:

– За что? Что ты кому плохого сделал?

Когда ко мне возвращалось сознание, я смотрела на этот ящик: «Привезут тебе мужа в ящике...» И опять кричала:

– Я не верю, что здесь мой муж. Докажите мне, что здесь он. Тут даже окошечка нет. Что вы привезли? Кого вы мне привезли?

Позвали его друга.

– Толик, – говорю, – поклянись, что здесь мой муж.

– Я своей дочкой клянусь, что там твой муж. Он умер сразу, не мучился. Больше ничего тебе не скажу.

Сбылось его: «Если придется умереть, то так, чтобы не мучиться».

А мы остались мучиться...

Висит на стене его большой портрет:

– Сними мне папу, – просит дочка. – Я буду с папой играть...

Окружит портрет игрушками, разговаривает с ним. Ночью укладываю ее спать:

– А куда стреляли в папу? Почему они выбрали именно папу?

Приведу ее в садик. Вечером надо забирать домой – рев.

– Не уйду из садика, пока за мной не придет папа. Где мой папа?

Я не знаю, что ей отвечать? Как объяснить? Мне самой только двадцать один год... Этим летом отвезла ее к маме в деревню. Может, там его забудет... У меня нет сил плакать каждый день... Увижу, как идут вместе муж, жена и ребенок с ними – душа кричит... Встал бы ты



хоть на одну минуту... Посмотрел, какая у тебя дочка!.. Для тебя эта непонятная война кончилась... Для меня – нет... А для нашей дочери она будет самая длинная... Ей жить после нас... Наши дети самые несчастные, они будут отвечать за все... Ты меня слышишь?

Кому это я кричу?..»

*Жена*

«Когда-то я думала: рожу сына... Сама себе рожу мужчину, которого буду любить и который меня будет любить. С мужем мы разошлись... Он ушел от меня, ушел к молодой. Я его любила, наверное, поэтому другого не было...

Сына растили с мамой, две женщины, а он – мальчишка. Встану тихонько и слежу из подъезда: с кем он, что у него за компания?

– Мама, – вернется домой, – я уже взрослый, а ты меня пасешь.

Маленький был, как девочка. Беленький, хрупкий, он у меня восьмимесячным родился, искусственник. Наше поколение не могло дать здоровых детей, росли мы в войну – бомбежки, стрельба, голод... Играл он все время с девочками, девочки его принимали, он не дрался... Любил кошек, завязывал им банты.

– Куши, мамочка, хомячка, у него шкурка тепленькая, как мокренькая.

Покупался хомячок. И аквариум. И рыбки. Пойдем на базар: «Купи мне живую курочку... Рябушку...»

И вот я думаю: неужели он там стрелял? Мой домашний мальчик... Не для войны он был... Мы его очень любили, лелеяли...

Приехала к нему в Ашхабад в учебную роту:

– Андрюша, я хочу пойти поговорить с начальником. Ты у меня один... Здесь граница близко...

– Не смей, мама. Надо мной будут смеяться, что я маменькин сынок. И так говорят: «Тонкий, звонкий и прозрачный».

– Как тебе тут?

– Лейтенант у нас хороший, он с нами как с равными. А капитан и по лицу может ударить.

– Как?! Мы тебя с бабушкой никогда не били, даже маленького.

– Здесь мужская жизнь, мама. Лучше вам с бабушкой ничего не рассказывать...

Только маленький он был мой. Отмоешь его в ванной, из луж как чертенок вылезал, завернешь в простынку, обнимешь. Казалось, никто никогда его у меня не заберет. Никому не отдам. Потом его у меня отняли...

Я сама после восьми классов уговорила его пойти в строительное училище. Думала, что с этой специальностью ему будет легче в армии. А отслужит – поступит в институт. Он хотел стать лесником. В лесу всегда радовался. Птиц узнавал по голосам, показывал, где какие цветы. Этим напоминал своего отца. Тот, сибиряк, любил природу так, что во дворе не давал косить траву. Пусть растет все! Нравился Андриюше форма лесника, фуражка: «Мама, она на военную похожа...»

И вот я думаю: неужели он там стрелял?

Из Ашхабада часто писал нам с бабушкой. Одно письмо наизусть выучила, держала его в руках тысячу раз:

«Здравствуйте, мои родные мама и бабушка. Вот уже больше трех месяцев служу в армии. Служба моя идет хорошо. Со всеми порученными мне заданиями я пока справляюсь и замечаний со стороны командования не имею. Недавно наша рота ездила в учебно-полевой центр, это восемьдесят километров от Ашхабада, он расположен в горах. Там они занимались две недели горной подготовкой, тактикой и стрельбой из стрелкового оружия. Я же и еще три человека в лагерь не ездили, остались в расположении части. Нас оставили, потому что вот уже три недели мы работаем на мебельной фабрике, строим цех. А за это нашей роте фабрика сделает столы. Мы выполняем там кирпичную кладку, штукатурные работы.

Мама, ты спрашиваешь о своем письме, я его получил. Получил также посылку и десять рублей, которые вы вложили. На эти деньги мы несколько раз ели в буфете, покупали конфеты...»

Я себя утешала надеждой: раз он занимается штукатурными работами и кирпичной кладкой, значит, нужен как строитель. Ну и пусть строит им собственные дачи, личные гаражи, только бы не послали куда дальше.

Был восемьдесят первый год... Ходили отголоски... Но что в Афганистане мясорубка, бойня, знало очень мало людей. По телевизору мы видели братание советских и афганских солдат, цветы на наших бронетранспортерах, крестьян, целующих дарованную землю... Одно меня заставило испугаться... Когда ездила к нему в Ашхабад, встре-

тила женщину... Сначала в гостинице заявили:

– Мест нет.

– Буду ночевать на полу. Я приехала издалека, к сыну-солдату... И никуда отсюда не уеду.

– Ну, ладно, пустим вас в четырехместный номер. Там уже живет одна мать, тоже сына навещает.

От этой женщины я впервые услышала, что готовится новый набор в Афганистан, и она привезла большие деньги, чтобы спасти сына. Уезжала она довольная, а со мной на прощание поделилась: «Не будь наивной идиоткой...» Когда я рассказала об этом моей маме, она заплакала:

– Почему ты не упала им в ноги?! Не просила? Сняла бы и отдала свои сережки...

Это была самая дорогая вещь в нашем доме, мои копеечные сережки. Они же не с бриллиантами! Маме, которая всю жизнь жила более чем скромно, они казались богатством. Господи! Что с нами творят? Не он, так кто-то другой был бы. У него тоже мать...

То, что он попал в десантно-штурмовой батальон и летит в Афганистан, для него самого было неожиданностью. Его распирала мальчишеская гордость. Он не скрывал.

Я женщина, сугубо штатский человек. Может быть, что-то не понимаю. Но пусть мне объяснят, почему мой сын занимался штукатурными работами и кирпичной кладкой в то время, когда ему надо было готовиться к боям? Они же знали, куда их посылают. В газетах печатались снимки моджахедов... Мужчины, по тридцать – сорок лет... На своей земле... Рядом семьи, дети... И как, скажите, за неделю до вылета из общевоинской части он оказался в десантно-штурмовом батальоне? Даже я знаю, что такое десантные войска, какие там сильные парни нужны. Их специально надо готовить. Потом мне командир учебной школы ответил, что, мол, ваш сын был отличник боевой и политической подготовки. Когда он им стал? Где? На мебельной фабрике? Кому я отдала своего сына? Кому доверила? Они даже из него солдата не сделали...

Из Афганистана было только одно письмо: «Не волнуйся, тут красиво и спокойно. Много цветов, цветут деревья, поют птицы. Много рыбы». Райские кущи, а не война. Успокаивал нас, а не то не дай Бог начнем хлопотать, чтобы его оттуда вырвать. Необстрелянные маль-

чики. Почти дети. Их бросали в огонь, а они это принимали за честь. Мы так их воспитали.

Он погиб в первый же месяц... Мой мальчик... Моя худушечка... Какой он там лежал? Никогда не узнаю.

Его привезли через десять дней. Все эти десять дней во сне я что-то теряла и не могла найти. Все эти дни завывал на кухне чайник. Поставишь кипятить чай, он поет на разные голоса. Я люблю комнатные цветы, у меня их много на подоконниках, на шкафу, на книжных полках. Каждое утро, когда я их поливала, роняла горшки. Они выскальзывали из моих рук и разбивались. В доме стоял запах сырой земли...

...Остановились возле дома машины: два военных «газика» и «скорая помощь». Мгновенно догадалась – это к нам, в мой дом. Еще сама дошла до двери, открыла:

– Не говорите! Не говорите мне ничего! Ненавижу вас! Отдайте мне только тело моего сына... Я буду его хоронить по-своему... Одна... Не надо никаких военных почестей...»

*Мать*

«Правду всю расскажет вам только отчаянный. Абсолютно отчаянный расскажет вам все. Кроме нас, многого никто не знает. Правда слишком страшная, правды не будет. Никто не захочет быть первым, никто не рискнет. Кто расскажет, как перевозили наркотики в гробах? Шубы?.. Вместо убитых... Кто вам покажет ниточку засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи... Хранили в спичечных коробочках... Они скрючивались в маленькие листочки... Не может быть? Неловко слушать о славных советских парнях? Выходит, может. Выходит, было. И это тоже правда, от которой никуда не деться, не замазать дешевой серебряной краской. А вы думали: поставим памятники, и все...

Я не ехал убивать, я был нормальный человек. Нам внушили, что воюют бандиты, а мы будем герои, нам всем скажут спасибо. Хорошо запомнил плакаты: «Воины, будем укреплять южные рубежи нашей Родины!», «Не опозорим чести соединения!», «Цвети, родина Ленина!», «Слава КПСС!». А вернулся оттуда... Там же все время было маленькое зеркало... А тут большое. Глянул – и не узнал себя... Нет,

кто-то другой смотрел на меня... С новыми глазами, с новым лицом... Не могу определить, что поменялось, но даже внешне это другой человек.

Служил я в Чехословакии. Слух: ты едешь в Афганистан.

– Почему я?

– Ты холостяк.

Собирался как в командировку. С чем ехать? Никто не знал. «Афганцев» у нас еще не было. Кто-то посоветовал взять резиновые сапоги, за два года они ни разу мне негодились, в Кабуле оставил. Из Ташкента летели на ящиках с патронами. Приземлились в Шинданде. Царандой, их милиция, с автоматами нашими времен Великой Отечественной войны, наши и их солдаты – грязные, линялые, как из окопов вылезли. Резкий контраст тому, к чему привык в Чехословакии. Грузят раненых, у одного в животе осколок. «Этот не жилец, по дороге умрет», – услышал от вертолетчиков, которые привезли их с застав. Ошеломило спокойствие, с каким говорили о смерти.

Это, может быть, самое непостижимое там – отношение к смерти. Вот опять, если всю правду... Это невозможно... То, что здесь невысказано, там буднично. Убивать страшно и неприятно. Но очень скоро начинаешь думать, что в упор убивать страшно и неприятно, а вместе, в массе – азартно, иногда, я видел, даже весело. В мирное время оружие стоит в пирамиде, каждая пирамида на отдельном замке, оружейная комната на звуковой сигнализации. А тут оружие постоянно при себе, к нему привыкаешь. Вечером с кровати стреляли из пистолета в лампочку: лень вставать, выключить свет. Одуревши в жару, разряжали автомат в воздух, хоть куда-нибудь... Окружаем караван, караван сопротивляется, сечет из пулеметов... Приказ: караван уничтожить... Переходим на уничтожение... Над землей стоит дикий рев раненых верблюдов... За это, что ли, нам вручали ордена от благодарного афганского народа?!

Война – это война, надо убивать. Нам что – боевое оружие вручили в «Зарницу» играть с братьями по классу? Тракторы, сеялки там, что ли, ремонтировать? Нас убивали, и мы убивали. Убивали, где могли. Убивали, где хотели. Но это не та война, которую мы знали по книгам, фильмам: линия фронта, нейтральная полоса, передовая... Киризная война... Киризы – подземные ходы, проделанные когда-то для орошения... Люди возникают из них днем и ночью, как призра-

ки... С китайским автоматом, с камнем в руке. Не исключено, что недавно с этим призраком торговался в дукане, а тут он уже за гранью твоего сочувствия. Только что он убил твоего друга, вместо друга лежит кусок мяса. Последние его слова: «Не пишите моей матери, заклиная вас, чтобы она ничего не узнала...» А ты, шурави, ты, советский, за гранью его духа, сочувствия. Твоя артиллерия разметала его кишкак, и он почти ничего не нашел ни от матери, ни от жены, ни от детей. Современное оружие увеличивает наши преступления. Ножом я мог бы убить одного человека, двух... Бомбой – десятки... Но я военный человек, моя профессия – убивать... Как там в сказке? Я – раб волшебной лампы Аладдина... Так я – раб Министерства обороны. Куда прикажут, туда я и буду стрелять. Моя профессия – стрелять...

Но я не ехал туда убивать, не хотел. Как это получилось? Почему афганский народ принял нас не за тех, кем мы были на самом деле? Бачата стоят в резиновых калошах на босу ногу на морозе, и наши ребята отдают им свои сухпаи. Я это видел своими глазами. Подбегает к машине оборванный мальчишка, он ничего не просит, как остальные, он только смотрит. У меня было в кармане двадцать афгани, я их ему отдал. Он как стал на колени в песок, так и не встал, пока мы не сели в бэтээр, не отъехали. А рядом другое... У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги. Что там за деньги? Копейки. Нет, я туда даже туристом не хочу. Никогда не поеду. Я же вам сказал: правда слишком страшная, правды не будет. Она никому не нужна. Ни вам, кто здесь был. Ни нам, кто там был. Вас было больше, вы молчали. Дети наши вырастут и будут скрывать, что мы там были.

Встречал самозванцев: я, мол, из Афгана, да мы там, я там...

– Где служил?

– В Кабуле...

– Какая часть?

– Да я – спецназ...

На Колыме, в бараках, где держали сумасшедших, кричали: «Я – Сталин». А теперь нормальные парни заявляют: «Я – из Афгана». В сумасшедший дом забирал бы их...

Я вспоминаю один. Выпью. Посижу. Люблю песни «афганские» послушать. Но один. Это было... Эти странички... Хотя они и замаранные... Никуда от них не уйти... Собираются вместе молодые... Они

обозленные, потому что никому здесь не нужны. Им трудно себя найти, обрести вновь какие-то моральные ценности. Один мне признался: «Если бы я знал, что мне ничего не будет, мог бы человека убить. Просто так. Ни за что. Мне не жалко». Был Афганистан, теперь его нет. Не будешь всю жизнь молиться и каяться... Я жениться хочу... Сына хочу... Чем быстрее мы замолчим, тем лучше для всех. Кому эта правда нужна? Обывателю! Чтобы он плюнул нам в душу: «Ах, сволочи, там убивали, грабили, а здесь им льготы?» И мы одни останемся виноватые. Все, что пережили, будет зря.

Зачем-то же все это было? Зачем?

В Москве на вокзале пошел в туалет. Смотрю: туалет кооперативный. Сидит парень, рассчитывает. Над головой у него вывеска: «Для детей до семи лет, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов – вход бесплатный».

Я опешил:

– Это ты сам сообразил?

Он с гордостью:

– Да, сам. Предъяви документ и проходи.

– У меня отец всю войну прошел, и я два года чужой песок глотал, чтобы у тебя помочиться бесплатно?

Такой ненависти, как к этому парню, у меня в Афгане ни к кому не было... Решил нам заплатить...»

*Старший лейтенант, начальник расчета*

«Прилетела в Союз в отпуск. Пошла в баню. Люди стонут на полках от удовольствия, мне показалось – стоны раненых.

Дома скучала по друзьям из Афганистана. А в Кабуле уже через несколько дней мечтала о доме. Родом я из Симферополя. Окончила музыкальное училище. Счастливые сюда не едут. Здесь все женщины одинокие, ущемленные. Попробуйте прожить на сто двадцать рублей в месяц – моя зарплата, когда и одеться хочется, и отдохнуть интересно во время отпуска. Говорят: за женихами, мол, приехали? Мне тридцать два года, я одна.

Тут узнала, что самая жуткая мина – «итальянка». Человека после нее в ведро собирают. Пришел ко мне парень и рассказывает, рассказывает. Я думала, он никогда не остановится. Я испугалась. Он тогда:

«Вы извините, я пошел...» Незнакомый парень... Увидел женщину, захотел рассказать... У него на глазах друг в разделанную тушу превратился... Я думала, он не остановится. К кому он пошел?..

У нас тут два женских общежития: одно прозвали «Кошкин дом» – там живут те, кто два-три года в Афганистане, другое «Ромашка», там новенькие, еще как бы чистенькие: любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. В субботу – солдатская баня, в воскресенье – женская. В офицерскую баню женщин не пускают... Женщины грязные... И эти же офицеры обращаются к нам за одним... На стенках фотографии детей, жен... Они нам их показывают...

Начинается обстрел... Эрэс летит, этот свист... Внутри что-то обрывается... Болит... Ушли на задание два солдата и собака. Собака вернулась, а их нет... Тут все воюют. Кто ранен, кто болен. Кто в душу ранен. Целых нет. Начинается обстрел... Мы бежим в щели прятаться... А афганские дети пляшут на крышах от радости. Тут нельзя целым остаться... Везут нашего убитого. Дети танцуют и поют. Мы им подарки в кишлаки привозим... Муку, матрацы, плюшевые игрушки... Мишки, зайчики... А они танцуют... Смеются... Тут нельзя живым остаться.

Первый вопрос в Союзе: замуж вышла? Какие вам льготы дадут? Единственная наша льгота (для служащих): если убьют – тысяча рублей семье. Привезут в военторг товары, мужчины впереди: «Вы кто?.. А нам женам надо подарки купить». Ночью проснутся к нам...

Тут выполняют «интернациональный долг» и делают деньги. Это нормально. Покупают в военторге конфеты, печенье, консервы и сдают в ларек. Существует ценник: банка сухого молока – пятьдесят афшек, военная шапка-фуражка – четыреста афшек... Зеркало с машины – тысяча, колесо с КамАЗа – восемнадцать–двадцать тысяч, пистолет Макарова – тридцать тысяч, автомат Калашникова – сто тысяч, машина мусора из военного городка (в зависимости от того, какой мусор, есть ли там железные банки, сколько их) – от семисот до двух тысяч афшек... Из женщин лучше всех живут те, кто спит с прапорщиками. А на заставах ребята цингой болеют... Капусту гнилую едят.

Девчонки рассказывают, что в палате безногих говорят обо всем, только не о будущем. Здесь не любят говорить о будущем. Счастливым умирать, наверное, страшно... А мне маму жалко...

Кошка между убитыми крадется... Ищет поест... Боится... Как будто ребята лежат живые...



Остановите меня сами. Я буду рассказывать и рассказывать.  
А я никого не убила...»

*Служащая*

«Иногда задумаюсь, что было бы, если бы не попал на эту войну. Я был бы счастливым. Я никогда бы не разочаровался в себе и ничего бы о себе не узнал из того, чего лучше о себе не знать. Как сказал Заратустра: не только ты заглядываешь в пропасть, но и она смотрит тебе в душу...

Учился на втором курсе радиотехнического института, но тянуло к музыке, к книгам об искусстве. Это был более близкий мне мир. Начал метаться, и вот в эту паузу – повестка в военкомат. А я человек безвольный, пытаюсь не вмешиваться в свою судьбу. Если вмешиваться, то все равно проиграешь, а так, что бы ни получилось, ты не виноват... Конечно, к армии готов не был.

В упор не говорили, но было ясно: едем в Афганистан. Я в свою судьбу не вмешивался... Выстроили на плацу, зачитали приказ, что мы воины-интернационалисты... Все воспринималось очень спокойно, не скажешь: «Я боюсь! Я не хочу!» Едем выполнять интернациональный долг, все разложено по полочкам. А на пересылке в Гардезе началось... Старослужащие отбирали все ценное: сапоги, тельняшки, береты. Все стоило денег: берет – десять чеков, набор значков, их у десантника должно быть пять – гвардейский, «Отличник Военно-Воздушных Сил», значок парашютиста, значок за классность и, мы его звали «бегунок», значок воина-спортсмена, – этот набор оценивался в двадцать пять чеков. Отнимали рубашки парадные, их меняли у афганцев на наркотики. Подойдут несколько «дедов»: «Где твой вещмешок?» Пороются, что понравится, заберут – и все. В роте сняли со всех обмундирование, в обмен дали старое. Зовут в каптерку: «Тебе зачем здесь новое? А ребята в Союз возвращаются». Домой писал: какое хорошее небо в Монголии – кормят хорошо, солнце светит. А это уже была война...

Выехали первый раз в кишлак. Командир батальона учил, как вести себя с местным населением:

– Все афганцы, независимо от возраста, бача. Поняли? Остальное покажу.

Встретили на дороге старика. Команда:

– Остановить машину. Всем смотреть!

Комбат подошел к старику, сбросил чалму, порылся в бороде:

– Ну, иди-иди, бача.

Это было неожиданно.

В кишлаке бросали детям перловую кашу в брикетах. Они убежали, думали, что кидаем гранаты.

Первый боевой выезд – сопровождение колонны. Внутри возбуждение, интерес: война рядом! В руках, на поясе – оружие, гранаты, которые раньше только на плакатах видел. На подходе к зеленой зоне... Я, как оператор-наводчик, очень внимательно смотрел в прицел... Появляется какая-то чалма...

– Серега, – кричу тому, кто сидит у пушки, – вижу чалму. Что делать?

– Стрелять.

– Так просто стрелять?

– А ты думал. – Дает выстрел.

– Еще вижу чалму... Белая чалма... Что делать?

– Стрелять!!!

Выпустили половину боекомплекта машины. Стреляли из пушки, из пулемета.

– Где ты видел белую чалму? Это сугроб.

– Серега, а твой «сугроб» бегаёт... Твой снеговик с автоматом...

Соскочили с машины, палили из автоматов.

Убить человека или не убить – так вопрос не стоял. Все время хотелось есть и спать, все время одно желание – скорее бы это кончилось. Кончить стрелять, идти... А ехать на раскаленной броне... Дышать едким поджаренным песком... Пули свистят над головой, а мы спим... Убить или не убить – это послевоенные вопросы, психология самой войны проще. Видеть друг в друге людей нам было нельзя. Не смогли бы убивать. Блокируем душманский кишлак... Стоим сутки, двое... Звереешь от жары, от усталости... И мы становились более жестокими, чем «зеленые»... Те все-таки свои, они в этих кишлаках росли... А мы, не задумываясь... Чужая жизнь, на нашу непохожая, непонятная... Нам проще было выстрелить, бросить гранату.

Один раз возвращаемся, семь ребят ранены, двое контужены. Кишлаки вдоль дороги вымерли: кто в горы ушел, кто в своем дувале сидит.

Вдруг выскакивает старая афганка, плачет, кричит, с кулаками бросается на броню... У нее убили сына... Она нас проклинает... У всех она вызвала одно чувство: чего это она кричит, кулаками машет, грозитя – надо ее убить. Мы ее не убили, а могли убить. Столкнули с дороги и поехали дальше. Везем семь раненых... Чего она кричит? Чего хочет?

Мы ничего не знали, мы были солдаты, которые воевали. Наша солдатская жизнь от афганцев отделена, им запрещалось появляться на территории части. Нам было известно, что они нас убивают. А все очень хотели жить. Я допускал, что меня могут ранить, даже желал быть легко раненым, чтобы полежать, отоспаться. Но умирать никто не хотел. Когда двое наших солдат зашли в лавку, перестреляли семью лавочника, забрали все, начался разбор. Сначала отказывались: это, мол, не мы. Нам притащили наши пули, которые извлекли из убитых. Стали искать: кто? Нашли троих: офицера, прапорщика и солдата. Но помню, когда в роту шел обыск, похищенные деньги искали, было чувство унижения: как это, из-за них, из-за каких-то убитых афганцев, обыскивают? Состоялся трибунал. Двоих приговорили к расстрелу – прапорщика и солдата. Все их жалели. Из-за глупости погибли. Называли это глупостью, а не преступлением. Убитой семьи лавочника как бы не существовало. Все разложено по полочкам... Только сейчас задумался, когда рассыпался стереотип... А ведь я никогда не мог без слез читать «Муму» Тургенева!

На войне с человеком что-то происходит, там человек тот или уже не тот. Разве нас учили: не убий? В школу, в институт приходили участники войны и рассказывали, как они убивали. У всех были приколоты к торжественным костюмам орденские планки. Я ни разу не слышал, что на войне убивать нельзя. Я знал, что судят только тех, кто убивает в мирное время. Они – убийцы, а в войну это именуется по-другому: «Сыновний долг перед Родиной», «святое мужское дело», «защита Отечества». Нам объяснили, что мы повторяем подвиг солдат Великой Отечественной. Как я мог усомниться? Нам всегда повторяли, что мы самые лучшие, если мы самые лучшие, то зачем мне самому думать, все у нас правильно. Потом я много размышлял. Друзья говорили: «Ты или сошел с ума, или хочешь сойти с ума». А я (меня воспитывала мама, человек сильный, властный) никогда не хотел вмешиваться в судьбу.

В «учебке» разведчики из спецназа рассказывали романтические истории. Тоже хотелось быть сильным, как они. Ничего не бояться.

Наверное, я живу с комплексом неполноценности: люблю музыку, книги, а тоже хотел бы ворваться в кишлак, перерезать всем горло и легко, с бравадой хвастаться после. Но я помню другое... Как испытал панический страх... Ехали... Начался обстрел... Машины остановились... Команда: «Занять оборону!» Стали спрыгивать... Я встал... А на мое место подвинулся другой... Граната прямо в него... Чувствую, что лечу с машины плашмя... Медленно опускаюсь, как в мультике... А куски чужого тела быстрее меня падают... Я лечу почему-то медленнее... Сознание все это фиксирует, вот что странно... Так, наверное, можно и свою смерть запомнить, проследить... Забавно... Упал... Как каракатица сползаю в арык... Лег и поднял вверх раненую руку... Потом выяснилось, что был ранен легко... Но я держал руку и не двигался...

Нет, сильного человека из меня не получилось... Такого, чтобы ворваться в кишлак, перерезать кому-то горло... Через год я попал в госпиталь... Из-за дистрофии... Во взводе я оказался один «молодой», десять «дедов» и я один «молодой»... Спал три часа в сутки... За всех мыл посуду, заготавливал дрова, убирал территорию... Носил воду... Метров двадцать до реки... Иду утром, чувствую: не надо идти, там мина... Но так боялся, что меня снова изобьют... Проснулся: воды нет, умыться нечем... И я пошел и подорвался... Но подорвался, слава Богу, на сигнальной мине... Ракета поднялась, осветила... Упал, посидел... Пополз дальше... Хотя бы ведро воды. Даже зубы почистить нечем... Разбираться не станут, будут бить. За год из нормального парня я превратился в дистрофика, не мог без медсестры пройти через палату, обливался потом. Вернулся в часть, снова начали бить. Так били, что повредили ногу, пришлось делать операцию. В госпитале наведалься ко мне комбат:

– Кто бил?

Били ночью, но я все равно знал, кто бил. А признаться нельзя, стану стукачом. Это был закон, который нельзя нарушать.

– Чего молчишь? Скажи, кто, под трибунал эту сволочь отправлю...

Я молчал. Власть извне была бессильна перед властью внутри солдатской жизни, именно эти внутренние законы решали мою судьбу. Те, кто пытался им противостоять, всегда терпели поражение. Я это видел... Я в свою судьбу не вмешивался... В конце службы сам пытался кого-то бить... У меня не получалось... «Дедовщина» не зависит от человека, ее диктует чувство стада. Сначала тебя бьют, потом ты должен бить. От дембелей я скрывал, что не могу бить. Меня бы презирали –

и те, кого бьют, и те, кто бьет. Приехал домой, пришел в военкомат, а к ним цинковый гроб привезли... Это был наш старший лейтенант... В похоронке написано: «Погиб при исполнении интернационального долга». А я в ту минуту вспомнил, как он напьется, идет по коридору и разбивает дневальным челюсти... Раз в неделю так развлекался... Не спрячешься, зубами плевать будешь... Человека в человеке немного – вот что я понял на войне. Нечего есть – он жестокий. Ему самому плохо – он жестокий. Так сколько же в нем человека? Один только раз сходил на кладбище... На плитах: «Геройски погиб», «проявил мужество и отвагу», «исполнил воинский долг». Были, конечно, герои, если слово «герой» брать в узком смысле, например в условиях боя: прикрыл собой друга, вынес раненого командира в безопасное место... Но я знаю, что один у нас наркотиками отравился, другого застрелил часовой, когда он лез в пищевой склад... Мы все лазили в склад... Мечта – стученка с печеньем. Но вы же об этом не напишете, обязательно вычеркнете. Никто не скажет, что там, под землей, лежит, какая правда. Живым – ордена, мертвым – легенды, – всем хорошо.

Война эта была, как здешняя жизнь, – совсем не такая, как в книжках читал. Слава Богу, у меня другой мир, он закрыл тот. Мир книг, музыки. Он меня спас. Не там, а здесь стал разбираться, где я был, что со мной было. Но думаю об этом один, не хожу в «афганские» клубы. Не представляю, чтобы я пошел в школу и рассказывал о войне, о том, как из меня, еще несформированного человека, лепили не убийцу, а что-то такое, что хотело бы только есть и спать. Я ненавижу «афганцев». Их клубы похожи на армию. Те же армейские штучки: нам металлисты не нравятся – пойдем, ребята, набьем им морду. Это тот кусок моей жизни, от которого хочу отделиться, а не слиться с ним. У нас очень жестокое общество, раньше я этого не замечал.

Однажды в госпитале мы наворовали феназепамы... Его применяют при лечении душевнобольных... По одной-две таблетки... Кто съел десять, кто – двадцать... В три часа ночи одни пошли на кухню посуду мыть... А она была чистая... Другие сидели и мрачно играли в карты... Третий нужду справлял на подушке... Полный абсурд... Медсестра в ужасе убежала... Вызвала караул...

Так эта вся война осталась у меня в памяти... Полный абсурд...»

*Рядовой, оператор-наводчик*

«Родила двойню, два мальчика, и Коля один у меня от этой двойни остался. До восемнадцати лет, до совершеннолетия, пока не пришла повестка в армию, стоял на учете в Институте охраны материнства. Разве таких солдат надо было в Афганистан посылать? Правильно меня соседка укоряла: «Не могла собрать пару тысяч и дать взятку?» Кто-то дал и спас сына. А моего вместо него отправили. А я не понимала, что деньгами надо спасать сына, я его душой спасала.

Приехала к нему на присягу. Вижу: не готов он для войны, растерян. Мы с ним всегда были откровенны:

– Ты не готов, Коля. Буду просить за тебя.

– Мама, не хлопочи и не унижайся. Ты думаешь, это кого-то тронет, что я не готов? Кто здесь на эти вещи обращает внимание?

Все-таки добилась приема у командира батальона. Стала просить:

– Сын у меня единственный... Если что-то случится, я не смогу жить... А он не готов... Вижу: не готов...

Он с участием отнесся:

– Обратитесь в свой военкомат. Если мне пришлют официальную бумагу, я его в Союзе распределю.

Самолет прилетел ночью, а в девять утра я уже прибежала в военкомат. Военком у нас товарищ Горячев. Он сидит, разговаривает по телефону. Я стою...

– Что у вас?

Рассказываю. Тут звонок. Он берет трубку, а мне:

– Никаких бумаг писать не буду.

Умоляю, на колени становлюсь. Готова руки ему целовать:

– Он же у меня единственный.

Даже из-за стола не поднялся.

Ухожу и все равно прошу:

– Запишите мою фамилию...

У меня все равно надежда: может, он подумает, может, он посмотрит дело сына, не каменный же?

Прошло четыре месяца. У них там ускоренные трехмесячные курсы, а сын пишет из Афганистана. Каких-то четыре месяца. Всего одно лето.

Утром иду на работу. Я спускаюсь по лестнице вниз, а они мне навстречу. Трое военных и женщина. Военные идут впереди, и фуражку каждый на левой руке несет. Откуда-то я знала, что это траур, ког-

да офицерские фуражки на руках лежат. Я тогда не вниз, а вверх побежала. И они, видно, поняли, что это мать. Они тоже вверх... А я тогда – в лифт и вниз... Мне надо выскочить на улицу, удрать... Спасаться... Ничего не услышать... Пока я доехала до первого этажа – лифт останавливался, заходили люди, – они уже там стоят и меня ждут. Нажимаю кнопку и вверх... На свой этаж... Слышу, как они входят... Прячусь в спальне... Они – за мной... Фуражки на руках лежат...

И один из них – военком Горячев... Пока у меня были силы, я, как кошка, на него бросалась и кричала:

– Вы весь в крови моего сына! Вы весь в крови моего сына!

Он, правда, молчал, я его даже ударить хотела. Он молчал. А потом уже ничего не помню...

К людям меня потянуло через год. А до этого одна и одна, как прокаженная. Я была не права: люди не виноваты. Но мне тогда казалось, что все они виноваты в смерти моего сына. И знакомая продавщица в булочной, и незнакомый таксист, и военком Горячев – все виновны. Тянуло меня не к этим людям, а к таким, как я. Мы на кладбище знакомились, возле могил. К вечеру, после работы одна мать с автобуса спешит, другая уже сидит возле своего камня, плачет, третья ограду красит. Разговоры у нас об одном... О детях... Только о них и говорим, будто они живые. Я эти разговоры все наизусть помню:

– Вышла на балкон: стоят два офицера и врач. Зашли в подъезд. Смотрю в глазок – куда двинутся? Остановились на нашей площадке. Поворачивают вправо... К соседям?! У них тоже сын в армии... Звонок... Открываю дверь: «Что, сын погиб?» – «Мужайся, мать...»

– А мне сразу: «Гроб, мать, у подъезда стоит. Где вам его поставить?» Мы на работу с мужем собирались... Яичница на плите жарилась... Чайник кипел...

– Забрали, постригли... И через пять месяцев гроб привезли...

– И моего через пять...

– Моего через девять...

– Спрашиваю у того, кто сопровождал гроб: «Есть там что-нибудь?» – «Я видел, как его в гроб положили. Он там». Смотрю на него, смотрю, он голову вниз опускает: «Что-то там есть...»

– А запах был? У нас был...

– И у нас был. Даже черви беленькие на пол падали...

– А у меня никакого запаха. Только свежее дерево. Сырые доски...

– Если вертолет сгорел, то их по частям собирают. Руку найдут, ногу... По часам узнают... По носкам...

– А у нас во дворе гроб час простоял. Сын два метра ростом, десантник. Привезли саркофаг – деревянный гроб и второй, цинковый... С ним в наших подъездах не развернешься... Семь мужчин еле подняли...

– Моего восемнадцать дней везли... Их насобирают целый самолет... «Черный тюльпан». Сначала на Урал доставили... Потом в Ленинград... А после в Минск...

– Ни единой вещички не вернули. Ну пусть бы какая-нибудь память... Он курил, хотя бы зажигалка осталась...

– Хорошо, что не открывают гроб... Что мы не видим, что сделали с нашими сыновьями... Он у меня всегда живой перед глазами... Целенький...

Сколько мы проживем? С такой болью в душе долго не живут. И с такими обидами.

В райисполкоме пообещали:

– Дадим вам новую квартиру. Выберите любой дом в нашем районе.

Нашла: в центре города, кирпич, а не панели, планировка новая. Называю адрес:

– Вы что, с ума сошли? То цекровский дом.

– Так кровь моего сына такая дешевая?

Секретарь парткома в нашем институте хороший человек, честный. Не знаю, как он попал в ЦК, он пошел за меня просить, мне он только сказал:

– Ты бы слышала, что они мне говорили. Мол, она горем убита, а ты что? Чуть из партии не выгнали.

Надо было самой пойти. Что бы они мне ответили?

Буду сегодня на могилке... Там сынок... Там люди все свои...

*Мать*

«Что-то с памятью... Даже думаю уйти со второго курса института... От меня куда-то убегают, исчезают человеческие лица, слова... Собственные ощущения... Остаются отрывки, осколки... Как будто со мной не было того, что было...

Из военной присяги помню:



«...Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Вооруженных Сил СССР, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами...»

Из первых дней в Афгане...

Мне показался он раем. Увидел, как растут апельсины. Что мины подвешивают на деревьях, как апельсины (зацепится антенна за ветку – взрыв), я узнал позже. Поднимается ветер – афганец, на расстоянии вытянутой руки мгла, темнота, ты слепой. Принесут кашу, в котелке половина песка из-за этого афганца. Через несколько часов – солнышко, горы. Никакой войны. Пулеметная очередь или выстрел из гранатомета, щелчок снайпера. Двоих нет. Постояли, постреляли. Двинулись дальше. Солнышко, горы. Никакой войны. Двоих нет. И блеск исчезнувшей в песках змеи. Рыбий блеск...

Даже если рядом свистят пули, что такое смерть, ты еще не представляешь. Лежит в песке человек, а ты его зовешь... Ты еще не понял. Внутренний голос подсказывает: «Вот она, смерть... Вот она какая...» Меня ранили в ногу. Не так сильно, тогда мне так казалось. Подумал: «Я, кажется, ранен». С удивлением подумал, спокойно. Нога болит, но еще не верится, что это уже и со мной произошло. Еще новенький, еще хочется пострелять. Хотел героем вернуться. Взяли нож, разрезали голенище сапога – мне вену перебило. Наложили жгут. Больно, но показать, что больно, я не мог, не уважал бы в себе мужчину, поэтому терпел. Когда бежишь от танка до танка – это открытая местность, метров сто. Там обстрел, там камни крошатся, но я не могу сказать, что я не побегу или не поползу. Я бы себя не уважал как мужчину. Перекрестился – и победил... А тут в ботинках кровь, везде кровь. Бой еще продолжался больше часа. Выехали мы в четыре утра, а бой кончился в четыре часа дня, и мы ничего за это время не ели. У меня руки были в собственной крови, меня это не смущало, ел белый хлеб этими руками. Потом мне передали, что друг мой скончался в госпитале: ему пуля попала в голову. Я был начитанным, я представлял, что раз он погиб, то через несколько дней на вечерней поверке будет так – кто-то, может быть, за него ответит: «Дашко Игорь погиб при исполнении интернационального долга». Он тихий был, Героем Советского Союза не был. Но все равно его не должны были сразу забыть, вычеркнуть из списков...

О ком я вам сейчас говорил? Об Игоре Дашко... Я смотрел на него, лежавшего в гробу... Жалость уже ушла... Я долго смотрел, вглядывался, чтобы потом вспоминать...

Из тех дней, когда домой вернулся...

Приехал в Ташкент, пришли на вокзал – билетов нет. Вечером договорились с проводниками: дали им по пятьдесят рублей, сели в поезд и поехали. Нас было четыре человека в вагоне и два проводника, каждый получил по сто рублей. Бизнес ребята делают. А нам было наплевать. Мы смеялись беспричинно, а внутри: «Живые! Живые!»

Дома открыл дверь, взял ведро и пошел за водой через двор. Счастливей!

Военную награду – медаль – вручили в институте. Потом статья в газете появилась: «Награда наша героя». Мне смешно, будто меня искали красные следопыты, будто сорок лет после войны прошло. И не говорил я, что мы поехали туда во имя того, чтобы на афганской земле загорелась заря Апрельской революции. А написали.

...До армии любил охоту. Была мечта: отслужу, уеду в Сибирь и буду там охотником. А теперь что-то во мне переменялось. Пошли с другом на охоту, он застрелил гуся, а потом мы увидели подранка. Я бежал за ним... Он стрелял... А я бежал, чтобы поймать живого... Я не хотел убивать... И уже не хочу убивать...

Что-то с памятью... Остаются отрывки, осколки... Как будто со мной не было того, что было».

*Рядовой, танкист*

«Выглядел я внешне так, что никому в голову не приходило, что у меня внутри. Только отец и мать не разрешали бесконечно думать о том, от чего не мог освободиться.

...Уехал я в Афганистан со своей собакой Чарой. Крикнешь: «Умри!» – и она падает. «Закрой глаза» – и она лапами закрывает морду и глаза. Если мне не по себе, сильно расстроен, она садилась рядом и плакала... Первые дни я немел от восторга, что я там. С детства тяжело болел, в армию меня не брали. Но как это? Парень – и не служил в армии? Стыдно. Будут смеяться. Армия – школа жизни, она делает мужчин. Попал в армию. Начал писать рапорты, чтобы послали в Афганистан.

– Ты там сдохнешь за два дня, – уговаривали меня.

– Нет, я должен быть там, – я хотел доказать, что я такой же, как и все.

От родителей скрыл, где служу. С двенадцати лет у меня воспаление лимфоузлов, они обычно выручали меня. Сообщил им только номер полевой почты, мол, секретная часть, город назвать нельзя.

Привез с собой собаку и гитару. В особом отделе спросили:

– Как ты сюда попал?

– А вот так... – рассказываю, сколько рапортов подал.

– Не может быть, чтобы сам. Ты что, сумасшедший?

Никогда не курил. Захотелось закурить.

Увидел первых убитых: ноги отрезаны по самый пах, дыра в голове. Отошел и упал. Все во мне вопило: «Хочу быть живым».

Ночью кто-то стащил автомат убитого. Нашли. Наш солдат. Продал в дуكان за восемьдесят тысяч афгани. Покупки показал: два магнитофона, джинсовые тряпки. Мы сами его убили бы, растерзали, но он был под стражей. На суде сидел, молчал. Плакал. В газетах писали о «подвигах». Мы возмущались, ходили с этими газетами в туалет. Но загадка: вернулся домой, прошло два года, я читаю газету, ищу о «подвигах» – и верю.

Там казалось: вернусь домой – это будет радость. Все переделаю в своей жизни, перемену. Многие возвращаются, разводятся, наново женятся, уезжают куда-нибудь. Кто в Сибирь, строить нефтепроводы, кто в Чернобыль, кто в пожарники. Туда, где риск. Уже нельзя удовлетвориться существованием вместо жизни. Я там видел обожженных ребят... Сначала они желтые, одни глаза блестят, а кожа слезает – они розовые... А подъем в горы? Это так: автомат – само собой, удвоенный боекомплект, – килограммов десять патронов, гранат сколько-то килограммов, плюс еще каждому человеку по мине – это еще килограммов десять, бронжилет, сухпак, – в общем, со всех сторон навешано на тебе килограммов сорок, если не больше. У меня на глазах человек становится мокрым от пота, будто его ливень исхлестал. Я видел оранжевую корку на застывшем лице убитого. Да, почему-то оранжевую. Видел дружбу, трусость... А то, что мы сделали, это было нужно. Вы, пожалуйста, никогда не трогайте этого. Много сейчас умников. Почему же никто не положил партбилет, никто пулю в лоб себе не пустил, когда мы были там? Нет, эта жертва не зря.

Приехал, мать, как маленького, раздела, всего ощупала: «Целенький, родненький». Сверху целенький, а внутри горит. Все мне плохо: яркое солнце – плохо, веселая песня – плохо, чей-то смех – плохо. В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара. А я другой... Через парк пройти не могу – оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: «Заказывайте». А я готов вскочить и убежать, не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь подонка, одна мысль: «Расстрелять его надо». На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни. А в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретенные на войне. Я стреляю отлично, прицельно метая гранаты. Кому это здесь надо?

Там нам казалось, что есть что защищать. Мы защищали нашу Родину, нашу жизнь. А тут – друг не может одолжить тройк: жена не разрешает. Разве это друг?

Я понял, что мы не нужны. Не нужно то, что мы пережили. Это лишнее, неудобное. И мы лишние, неудобные. Работал я слесарем по ремонту автомобилей, инструктором в райкоме комсомола. Ушел. Везде болото. Люди заняты заработками, дачами, машинами, копченой колбасой. До нас никому нет дела. Если бы мы сами не защищали свои права, то это была бы неизвестная война. Если бы нас не было так много, сотни тысяч, нас замолчали бы, как замолчали в свое время Вьетнам, Египет... Там мы все вместе ненавидели «духов». Кого же мне сейчас ненавидеть, чтобы у меня были друзья?

Ходил в военкомат, просился назад, в Афганистан. Не взяли, сказали: «Война скоро кончится». Вернутся такие же, как я. Нас будет еще больше.

Утром просыпаешься и рад, что не помнишь снов. Я никому свои сны не рассказываю. Но остается, существует даже то, что не мог рассказать, не захотел...

Как будто я сплю и вижу большое море людей. Все возле нашего дома. Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то я не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу, гроб деревянный. Помню это хорошо. Но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходит на дорогу, и меня выносят на дорогу. Толпы народа, у всех на лицах горе и еще какой-то восторг тайный, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал: «Дайте молоток». Тут меня

пробила мысль: я вижу сон. Опять кто-то повторяет: «Дайте молоток». Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал: «Подайте молоток». Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начал бить головой в крышку, ногами. Раз – и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят – я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: «Больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышать!» Они плачут, но мне ничего не говорят. Все как немые. И я не знаю, как мне заговорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лег назад в гроб. Лежу и думаю: «Они хотят, чтобы я умер, может, я действительно умер, и надо молчать». Кто-то опять говорит: «Дайте мне молоток».

*Рядовой, связист*

---

## ДЕНЬ ТРЕТИЙ

*«Не обращайтесь к вызывающим мертвых.  
И к волшебникам не ходите...»*

*А в т о р . «Вначале сотворил Бог небо и землю...  
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро:  
день один.*

*И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она  
воду от воды...*

*И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день вто-  
рой.*

*И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно мес-  
то и да явится суша. И стало так...*

*И произвела земля зелень: траву, сеющую семя по роду ее, и дере-  
во, приносящее плод, в котором семя его по роду его...*

*И был вечер, и было утро: день третий».*

*Что ищу в Священном писании? Вопросы или ответы? Какие во-  
просы и какие ответы? Сколько в человеке человека? Одни верят –  
много, другие утверждают – мало. Так сколько?*

*Он мог бы мне помочь, мой главный герой. С утра прислушива-  
юсь к телефону, но он молчит. И только к вечеру...*

*Г л а в н ы й г е р о й . Все глупо было? Да? Так выходит? Понима-  
ешь, что это для меня? Для нас? Я ехал туда нормальным совет-  
ским парнем. Родина нас не предаст, Родина нас не обманет... Нель-  
зя безумному запретить безумие его... Одни говорят – мы вышли из  
чистилища, другие – из помойной ямы... Чума на оба ваших дома! Я*

*жить хочу! Я любить хочу! У меня скоро родится сын... Я назову его Алейшой – имя погибшего друга. Родится девочка, все равно будет Алейка.*

*Все глупо? Да? Но мы же не струсили? Не обманули вас? Большие не позвоню... Человек с глазами на затылке идти не может. Я все забыл... забыл... забыл... Нельзя безумному запретить безумие его... Нет, я не заспелюсь... У меня будет сын Алейка. Я жить хочу! Все! Прощай!*

*А в т о р . Он положил трубку. Но я еще долго с ним разговариваю. Слушаю...*

«Многие говорят теперь, что все было зря. Хотят и нам внушить. Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря!

Мы еще там гибли, а нас уже здесь судили. Раненых привозили в Союз и разгружали на задворках аэропорта, чтобы народ не заметил. Скажете, что это было вчера? А это «вчера» было совсем недавно; в восемьдесят шестом я приехал в отпуск, и у меня спрашивали: вы там загораете, ловите рыбу, зарабатываете бешеные деньги? Откуда люди могли знать правду? Газеты молчали. Мы – оккупанты, – пишут ныне в газетах. Если мы были оккупантами, почему мы их кормили, раздавали лекарства? Входим в кишлак – они радуются... Уходим – они тоже радуются... Я так и не понял, почему они всегда радовались?..

Едет автобус... Останавливаем: проверка! Сухой пистолетный выстрел... Мой боец падает лицом в песок.. Переворачиваем его на спину: пуля в сердце попала... Я готов был их всех гранатометом сечь... Обыскали: пистолета не нашли и никакого другого оружия... Корзинки с фруктами... Медные чайники на продажу... Одни женщины в автобусе... А мой боец падает лицом в песок...

Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря!

Шли, как обычно... За несколько минут я вдруг потерял дар речи... Хотел крикнуть: «Стой!», а не мог. Я продолжал идти... Вспышка!.. На какое-то время произошла потеря сознания, а затем – вижу себя на дне воронки... Пополз... Боли не было... Не хватало только сил ползти, меня все обгоняли... Метров четыреста ползти, а потом кто-то первый сказал: «Сядем. Уже в безопасности». Я хотел сесть, как все, и...

тут только увидел, что у меня нет ног.. Рванул к себе автомат, застрелюсь!! У меня выхватили автомат.. Кто-то сказал: «Майор без ног.. Мне жалко майора...» Как я услышал слово «жалко», у меня боль пошла по всему телу.. Я услышал такую страшную боль, что стал выть...

У меня до сих пор привычка ходить только по дороге, по асфальту. По тропинке в лесу не пойду. По траве все еще боюсь ходить. Мягкая весенняя трава возле нашего дома, а мне все равно страшно. В госпитале те, у кого нет обеих ног, просились в одну палату.. Нас собралось четыре человека.. Возле каждой койки две деревянные ноги, всего восемь деревянных ног.. На двадцать третье февраля, в День Советской Армии, учительница привела к нам девочек-школьниц с цветами.. Поздравить.. Они стоят и плачут.. Два дня никто в палате не ел.. Молчали..

К одному родственничек было заявился, торгом нас угощал:

– Все было зря, ребята! Зря! Но ничего: пенсию дадут, целыми днями телевизор будете смотреть.

– Пошел ты! – Четыре костыля в него полетели.

Одного потом в туалете с петли снял.. Обкрутил шею простыней, хотел на оконной ручке повеситься.. Получил письмо от девочки: «Знаешь, «афганцы» уже не в моде...» А у него обеих ног нет..

Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря!»

*Майор, командир горнострелковой роты*

«Возвращаюсь с чувством, что долго хочу сидеть у зеркала и расчесывать волосы. Хочу ребенка родить, пеленки стирать, слышать детский плач. А врачи не разрешили: «Сердце ваше не выдержит этой нагрузки». Девочку свою я рожала тяжело. Делали кесарево сечение, потому что начался сердечный приступ. «Но никто не поймет, – пришло письмо от подруги, – что болезни наши мы получили в Афганистане. Скажут: это же не ранение...»

И никто, наверное, не поверит, что в восемьдесят втором году меня, студентку-заочницу университета (училась на третьем курсе филологического факультета) вызвали в военкомат:

– Нужны медсестры в Афганистан. Как вы к этому относитесь? Будете получать там полтора оклада. Плюс чеки.



– Но я учусь. – После окончания медицинского училища я работала медсестрой, но мечтала о другом – стать учительницей. Одни сразу находят свое призвание, а я первый раз ошиблась.

– Вы комсомолка?

– Да.

– Подумайте.

– Я хочу учиться.

– Советуем подумать. А нет, позвоним в университет, скажем, какая вы комсомолка. Родина требует...

В самолете Ташкент – Кабул моей соседкой оказалась девушка, возвращающаяся из отпуска:

– А уют ты с собой взяла? Нет? А электрическую плитку?

– Я на войну еду.

– А, понятно, еще одна романтическая дура. Книжек военных не читалась...

– Не люблю я военные книжки.

– Зачем тогда едешь?

Это проклятое «зачем» будет меня там преследовать все два года.

И правда – зачем?

То, что называлось пересылкой, представляло собой длинный ряд палаток. В палатке «Столовая» кормили дефицитной гречкой и витаминами «Ундевит».

– Ты – красивая девочка. Зачем ты здесь? – спросил пожилой офицер.

Я расплакалась.

– Кто тебя обидел?

– Вы обидели.

– Я?!

– Вы сегодня пятый, кто меня спрашивает, зачем я здесь.

Из Кабула в Кундуз – самолетом, из Кундуза в Файзабад – вертолетом. С кем ни заговорю о Файзабаде: да ты что? Там стреляют, убивают, короче – прощай! Посмотрела на Афганистан с высоты, большая красивая страна – горы, как у нас, горные реки, как у нас (я была на Кавказе), просторы, как у нас. Полюбила!

В Файзабаде я стала операционной сестрой. Мое хозяйство – палатка «Операционная». Весь медсанбат располагался в палатках. Шутили: «Спустил с раскладушки ноги – и уже на работе». Первая опе-

рация – ранение подключичной артерии у старой афганки. Где сосудистые зажимы? Зажимов не хватает. Держали пальцами. Коснулась шовного материала: берешь одну катушку с шелком, еще одну, и они тут же рассыпаются в пыль. Видно, лежали на складах еще с той войны, с сорок пятого года.

Но афганку мы спасли. Вечером заглянули с хирургом в стационар. Хотели узнать, как она себя чувствует. Она лежала с открытыми глазами, увидела нас... Зашевелила губами... Я думала: она хочет что-то сказать... А она хотела в нас плюнуть... Я тогда не могла понять, что они имеют право на ненависть. Стояла окаменевшая: мы ее спасаем, а она...

Раненых привозили на вертолете. Как услышишь гул вертолета, бежишь.

Столбик термометра застывает на отметке сорок градусов. В операционной нечем дышать. Салфеткой еле успеваю вытирать пот хирургам, они стоят над открытой раной. Через трубочку от капельницы, продетую под маску, кто-нибудь из «нестерильных» медиков дает им попить. Не хватало кровезаменителей. Вызывают солдата. Он тут же ложится на стол и дает кровь. Два хирурга... Два стола... И я одна операционная сестра... Ассистировали терапевты. Они понятия не имели о стерильности. Мотаюсь между двумя столами. Вдруг над одним столом гаснет лампочка. Кто-то берет и выкручивает ее стерильными перчатками.

– Вон отсюда!

– Ты что?

– Вон!!

На столе лежит человек... У него раскрыта грудная клетка.

– Вон!!!

Сутки за операционным столом стоим, бывало, что и двое. То с боевых раненых везут, то неожиданно начнутся самострелы – в колена себе выстрелит или пальцы на руке повредит. Море крови... Не хватало ваты...

Тех, кто решался на самострел, презирали. Даже мы, медики, их ругали. Я ругала:

– Ребята гибнут, а ты к маме захотел? Коленку он поранил... Палец зацепил... Надеюсь, в Союз отправят? Почему в висок не стрелял? Я на твоём бы месте в висок стреляла.

Клянусь, я так говорила! Мне они тогда казались презренными трусами, только сейчас я понимаю, что это, может быть, и протест был, и нежелание убивать. Но это только сейчас я начинаю понимать.

В восемьдесят четвертом вернулась домой. Знакомый парень не решительно спросил:

– Как ты считаешь: должны мы там быть?

Я негодовала:

– Если бы не мы, там были бы американцы. Мы интернационалисты.

Как будто я могла это чем-то доказать.

Удивительно, как мало мы там задумывались. Видели наших ребят, покоренных, обожженных. Видели их и учились ненавидеть. Думать не учились. Поднимались на вертолете, внизу расстилались горы, покрытые красными маками или какими-то неизвестными мне цветами, а я уже не могла любоваться этой красотой. Мне больше нравился май, обжигающий своей жарой, тогда я смотрела на пустую, сухую землю с чувством мстительного удовлетворения: так вам и надо. Из-за вас мы тут погибаем, страдаем. Ненавидела!

Раны огнестрельные... Раны минновзрывные... Вертолеты садятся и садятся... Несут на носилках... Они лежат, прикрытые простынями...

Рассказываю вам, а сама думаю: все такое страшное. Почему я только страшное вспоминаю? Была же дружба, взаимовыручка. И геройство было. Может, мне мешает та старая афганка? Мы ее спасли, а она хотела в нас плюнуть... Но я вам не до конца рассказываю... Ее привезли из кишлака, через который прошли наши спецназовцы... Никого живого не осталось, только она одна... А если с самого начала, то из этого кишлака стреляли и сбили два наших вертолета... Обгоревших вертолетчиков вилами докололи... А если до самого конца, до самого... то мы не задумывались: кто первый – кто последний? Мы лишь своих жалели...

У нас послали на боевые врача. Он первый раз вернулся, плакал:

– Меня всю жизнь учили лечить. А я сегодня убивал... За что я их убивал?

Через месяц он спокойно анализировал свои чувства:

– Стреляешь иходишь в азарт: на, получай!

...Ночью на нас падали крысы... Обтягивали кровати марлевым по-

логом. Мухи были величиной с чайную ложку. Привыкли и к мухам. Нет животного неприхотливее человека. Нет!

Девочки засушивали на память скорпионов. Толстые, большие, они «сидели» на булавках или висели на ниточках, как брошки. А я занималась «качеством». Я брала у летчиков парашютные стропы и вытягивала из них нити, которые потом стерилизовала. Этими нитями мы зашивали, штопали раны. Из отпуска везла чемодан игл, зажимов, шовного материала. Сумасшедшая! Привезла уют, чтобы не сушить на себе зимой мокрый халат. И электрическую плитку.

По ночам крутили всей палатой ватные шарики, стирали и сушили марлевые салфетки. Жили одной семьей. Мы уже предчувствовали, что, когда вернемся, будем потерянными поколением, лишними людьми. Как, например, нам ответить на вопрос, зачем столько женщин посылали на эту войну? Когда стали прибывать уборщицы, библиотекари, заведующие гостиницами, мы сначала недоумевали: для чего уборщица на два-три модуля или библиотекарь для двух десятков потрепанных книг? Для чего, как вы думаете?.. Мы сами сторонились этих женщин, хотя они ни в чем не были перед нами виноваты.

А я там любила... У меня был любимый человек... Он и сейчас живет... Но перед мужем я согрешила; обманула его: сказала, что того, кого я любила, убили...

– А встречалась ли ты с живым «духом»? – спросили у меня дома.  
– Он, конечно, с бандитской рожей и кинжалом в зубах?

– Встречала. Красивый молодой человек. Окончил Московский политехнический институт. – А моему младшему брату представлялось что-то среднее между басмачами из гражданской войны и горцами из «Хаджи-Мурата» Л. Толстого.

– А почему вы работали по двое-трое суток? Могли отработать восемь часов и идти отдыхать.

– Вы что! Не понимаете?!

Не понимают. А я знаю, нигде не буду так необходима, как там была».

*Медсестра*

«Счастливая была – родила двоих сыновей, два дорогих мальчика. Росли: один большой, второй маленький. Старший Саша в армию идет, а младший Юра в шестом классе.

– Саша, куда тебя посылают?

– Куда Родина прикажет, туда и поеду.

Говорю младшему:

– Смотри, Юра, какой у тебя брат!

Пришло солдатское письмо. Юра бежит ко мне с ним:

– Нашего Сашу на войну посылают!

– На войне убивают, сынок.

– Ты, мама, не понимаешь. Он вернется с медалью «За отвагу».

Вечером с друзьями во дворе играют – воюют с «духами»:

– Та-та... Та-та... Та-та...

Вернется домой:

– Как ты думаешь, мама, война окончится раньше, чем мне исполнится восемнадцать лет?

– Я хочу, чтобы раньше.

– Повезло нашему Саше – героем будет. Пусть бы ты меня раньше родила, а его потом.

...Принесли Сашин чемоданчик, в нем синие плавки, зубная щетка, кусок мыленного мыла и мыльница. Справка об опознании.

– Ваш сын умер в госпитале.

У меня как пластинка в голове: «Куда Родина прикажет, туда и поеду... Куда Родина прикажет, туда и поеду...»

Внесли и вынесли ящик, как будто в нем ничего не было.

Маленькие они были, зову: «Саша!» – бегут оба, зову: «Юра!» – Один и другой бежит.

Зову:

– Саша! – Ящик молчит. – Юрочка, а где ты был?

– Мама, когда ты кричишь, мне хочется убежать на конец земли. С кладбища убежал, еле нашли.

Привезли Сашины награды: три ордена и медаль «За отвагу».

– Юра, посмотри, какая медаль!

– Я, мама, вижу, а наш Саша не видит...

Три года, как сына нет, ни разу не приснился. Брючки его под подушку кладу, его маечку:

– Приснись, сынок. Приди повидаться.

Не идет. В чем я перед ним провинилась?

Из окна нашего дома видна школа и школьный двор. Юра там с друзьями играет – воюет с «духами». Только слышу:

– Та-та... Та-та... Та-та.

Лежу ночью и прошу:

– Проснись, сынок. Приди повидаться.

И снится мне гроб... Окошечко на нем большое... Наклоняюсь поцеловать... Но кто там лежит? Это не мой сын... Кто-то черненький... Какой-то афганский мальчик, но на Сашу похожий... Сначала мысль: это он убил моего сына... Потом догадка: но и он же мертвый... И его кто-то убил... Наклоняюсь и целую через окошко... В страхе просыпаюсь: что я делаю? Что со мной?»

*Мать*

«Хватит, два года... По горло... Такое не повторится... Не повторится... Никогда... Не вспоминать... Забыть этот дурной сон! Я там не был... не был...

Но все-таки я там был.

Окончив военный институт и отгуляв положенный отпуск, летом восемьдесят шестого я приехал в Москву и, как было указано в предписании, явился в штаб одного важного военного заведения. Найти его было не так-то просто. Я зашел в бюро пропусков, набрал трехзначный номер:

– Слушаю. Полковник Сазонов, – ответили на том конце провода.

– Здравия желаю, товарищ полковник! Прибыл в ваше распоряжение. Нахожусь в бюро пропусков.

– А, знаю, знаю... Вам уже известно, куда вас направляют?

– В ДРА. Город Кабул.

– Неожиданно для вас?

– Никак нет, товарищ полковник.

Пять лет нам внушали: вы все там будете. Так что, нисколько не покривив душой, я мог бы честно ответить полковнику: «Я ждал этого дня целых пять лет». Если кто представляет отъезд офицера в Афганистан как быстрые сборы по первому звонку, по-мужски скупое на чувства прощание с женой и детьми, посадку в ревущий самолет в предракетной мгле, он ошибается. Путь на войну получил необходимое «бюрократическое оформление»: помимо приказа, автомата, сухпайка, требуются справки, характеристики – «политику партии и правительства понимает правильно», служебные паспорта, ви-

зы, аттестаты и предписания, справки о прививках, таможенные декларации, посадочные талоны. И только после этого вы сядете в самолет, и оторвавшись от земли, услышите выкрик пьяного капитана: «Вперед! На мины!»

Газеты сообщали: «Военно-политическая обстановка в ДРА продолжает оставаться сложной и противоречивой». Военные утверждали, что вывод первых шести полков надо расценивать только как пропагандистский шаг. О полном выводе советских войск не может быть и речи. «На наш срок хватит», – в этом никто из летевших со мной не сомневался. «Вперед! На мины!» – кричал уже сквозь сон пьяный капитан.

Итак, я десантник. Как меня тут же просветили, армия делится на две половины: десантников и соляру. Этимологию слова «соляра» установить так и не удалось. Многие солдаты, прапорщики и часть офицеров делают себе наколки на руках. Они не отличаются большим разнообразием, чаще всего это ИЛ-76 и под ним купол парашюта. Бывают и варианты. Например, я встречал такой лирический сюжет: облака, птички, парашютист под куполом и трогательная надпись: «Любите небо». Из негласного кодекса десантников: «Десантник становится на колени лишь в двух случаях: перед трупом друга и чтобы напиться воды из ручья».

Моя война...

– Равняйся! Смирно! Приказываю совершить марш по маршруту: пункт постоянной дислокации – уездный партийный комитет Баграми – кишлак Шевани. Скорость на маршруте – по головной машине. Дистанция – в зависимости от скорости. Позывные: я «Фреза», остальные – по бортовым номерам машин. Вольно. – Обычный ритуал перед выездом нашего агитотряда. Могло последовать продолжение: «Снимать каски и бронежилеты категорически запрещаю. Автомат из рук не выпускать...».

Я запрыгиваю на свою бээрдээмку, небольшой проворный броневичок. От наших советников услышал ее кличку – «бали-бали». «Бали» в переводе с афганского «да». Когда афганцы проверяют микрофон, они, помимо нашего традиционного «раз-два, раз-два», говорят «бали-бали». Мне, как переводчику, интересно все, что связано с языком.

– «Сальто», «Сальто», я «Фреза». Пошли...

За невысоким каменным забором – одноэтажные кирпичные до-

мики, покрытые снаружи известью. Красная табличка: уездный партийный комитет. На крыльце нас встречает товарищ Лагман. Он одет в советское военное хэбэ.

– Салам алейкум, рафик Лагман.

– Салам алейкум. Четоур асти! Худ асти! Джор асти! Хайр хайрият асти? – выпаливает он традиционный набор афганских приветственных фраз, которые все означают, что собеседник интересуется вашим здоровьем. Отвечать на эти вопросы не нужно, можно просто повторить то же самое.

Командир не упускает момента, чтобы загнать свою любимую фразу.

– Четоур асти? Хуб асти? В Афгане по дур-рости.

Услышав непонятное, товарищ Лагман недоуменно смотрит на меня.

– Русская народная пословица, – поясняю я.

Нас приглашают в кабинет. Приносят на подносе чай в заварочных металлических чайниках. Чай у афганцев – неременный атрибут гостеприимства. Без чая не начнется работа, не состоится деловой разговор, отказаться от чая – все равно что не протянуть при встрече руку.

В кишлаке нас встречают старейшины и бачата, вечно неумытые (совсем маленьких не моют вообще, согласно шариату слой грязи сохраняет от злой напасти), одетые во что попало. Раз я говорю на фарси, каждый считает необходимым удостовериться в моих познаниях. Следует неизменный вопрос: сколько времени? Я отвечаю, что вызывает бурю восторга (ответил, значит, действительно знает фарси, а не притворяется).

– Ты мусульманин?

– Мусульманин, – отшучиваюсь я.

Им нужны доказательства.

– Калему знаешь?

Калема – это особая формула, произнося которую ты становишься мусульманином.

– Ла илях иляя миах ва Мухаммед расул аллах, – декламирую я. – Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его.

– Дост! Дост (друг)! – лепечут бачата, протягивая в знак признания свои худенькие руки.



Они еще не раз попросят меня повторить эти слова, будут приводить своих друзей и завороченно шептать: «Он знает калему».

Из звуковещательной установки, которую сами афганцы назвали «Аллой Пугачевой», уже разносятся афганские народные мелодии. Солдаты развешивают на машинах наглядную агитацию: флаги, плакаты, лозунги, раскручивают экран – покажем фильм. Врачи ставят столики, раскладывают коробки с медикаментами.

Открывается митинг. Вперед выходит мулла в длинной белой накидке и белой чалме. Читает суру из Корана. Закончив суру, он обращается к Аллаху с просьбой сберечь всех правоверных от зла вселенского. Согнув руки в локтях, поднимает ладони к небу. Все, и мы тоже, повторяем за ним эти движения. После муллы выступает товарищ Лагман. С очень длинной речью. Это одна из особенностей афганцев. Говорить могут и любят все. В лингвистике есть термин – «эмоциональная окрашенность». Так вот у афганцев речь не просто окрашена, а раскрашена метафорами, эпитетами, сравнениями. Афганские офицеры не раз высказывали мне свое удивление тем, что наши политработники проводят занятия по бумажкам. На партийных собраниях, заседаниях, активках афганцев я слушал наших лекторов с теми же бумажками, с той же лексикой: «В авангарде широкого коммунистического движения», «быть постоянным примером», «неустанно претворять в жизнь», «наряду с успехами имеются некоторые недоработки» и даже «некоторые товарищи не понимают». К моему приезду в Афганистан митинги, вот такие, как наши, давно стали обычной принудилкой, народ собирался, чтобы попасть на медосмотр или получить кулек муки. Исчезли овации и дружные выкрики «заидо бод» – «да здравствует!» с поднятыми вверх кулаками, которыми неизменно сопровождались все выступления в те времена, когда народ еще верил в то, в чем его пытались убедить, – в сияющие вершины Апрельской революции, в светлое будущее.

Бачата выступления не слушают, им интересно, какой будет фильм. У нас, как всегда, мультфильмы на английском и два документальных на фарси и пушту. Здесь любят индийские художественные фильмы или картины, где много драк и стреляют.

После кино – раздача подарков. Мы привезли мешки с мукой и детские игрушки. Передаем их председателю кишлака, чтобы разделили между беднейшими и семьями погибших. Поклявшись публично, что все будет, как положено, он вместе с сыном стал таскать мешки домой.

– Как ты думаешь, раздаст? – обеспокоился командир отряда.  
– Думаю, что нет. Местные подходили и предупреждали, что нечист на руку. Завтра все будет в дуканах.

Команда:

– Всем по ленточке. Приготовиться к движению.

– 112-й к движению готов, 305-й готов, 307-й готов, 308-й...

Бачата сопровождают нас градом камней. Один попадает в меня. «От благодарного афганского народа», – говорю я.

Возвращаемся в часть через Кабул. Витрины некоторых дуканов украшены надписями на русском: «Самая дешевая водка», «Любые товары по любой цене», «Магазин «Братишка» для русских друзей». Торговцы зазывают по-русски: «батник», «варенка», «сервис «седой граф» на шесть персон», «кроссовки на липучках», «люрекс в бело-голубую полосочку». На прилавках наша сгущенка, зеленый горошек, наши термосы, электрочайники, матрасы, одеяла...

Дома чаще всего мне снится Кабул. На склонах гор висят глиняные домики... В них зажигаются огни... Издали кажется, что перед тобой величественный небоскреб. Если бы я не был там, то не сразу догадался бы, что это всего лишь оптический обман...

Я вернулся оттуда и через год ушел из армии. Вы не видели, как блестит штык при лунном свете? Нет?

Я ушел из армии... Поступил на факультет журналистики... Пишу книгу... Но происходит оптический обман...

– Калему знаешь?

– Ла илях илля миах ва Мухаммед.

– Дост! Дост!

Наш офицер возле повешенного афганца... Улыбается... Я там был... Я это видел, но можно ли об этом писать? Никто об этом не пишет... Значит, нельзя. Если об этом не пишут, выходит, этого как бы не было. Так было или не было?»

*Старший лейтенант*

«А я ничего отдельного от той жизни не помню. Летело нас в самолете двести человек. Двести мужчин. Человек в группе и человек один – это разные люди. Я летел и думал о том, что должен буду там перечувствовать...

Из напутствия командира:

– Подъем в горы. Если сорвешься – не кричать. Падать молча, «живым» камнем. Только так можно спасти товарищей.

Когда смотришь с высокой скалы, то солнце так близко, кажется, можно взять руками.

До армии я прочел книгу Александра Ферсмана «Воспоминание о камне». Помню, поразили слова: жизнь камня, память камня, голос камня, тело камня, имя камня... Я не понимал, что о камне можно говорить как об одушевленном предмете. А там открыл для себя, что на камень можно смотреть долго, как на воду и огонь.

Из поучений:

– В зверя надо стрелять немножко опережая, а то он твою пулю проскочит. И в бегущего человека тоже...

Был ли страх? Был. У саперов в первые пять минут. У вертолетчиков, пока бегут к машине. У нас, в пехоте, пока кто-то первый не выстрелит.

Подъем в горы... С утра и до поздней ночи... Усталость такая, что тошнит, рвет. Сначала свинцом наливаются ноги, затем руки, руки начинают подрагивать в суставах.

Один упал:

– Застрелите меня! Не могу идти...

Вцепились в него втроем, тащим.

– Бросьте меня, ребята! Застрелите!

– Сука, мы тебя пристрелили бы... Но у тебя мама дома...

– Застрелите!!!

Мучит жажда. Уже на полпути у всех пустые фляжки. Высовывается изо рта язык, висит, его назад не засунешь. Как-то мы еще умудрились курить. Поднимаемся до снега, ищем, где талая вода – из лужи пьем, грызем лед зубами. Про хлорные таблетки все забыли. Какая там ампула с марганцовкой? Дополз и лижешь снег... Пулемет сзади строчит, а ты из лужи пьешь... Захлебываешься, а то убьют – и не напьешься. Мертвый лежит лицом в воду, кажется, пьет.

Я теперь как сторонний наблюдатель... Из сегодняшнего дня смотрю туда... Каким был там? Я не ответил вам на главный вопрос: как попал в Афганистан? Сам попросил направить меня на помощь афганскому народу. Тогда по телевизору показывали, по радио говорили, в газетах писали о революции... Что мы должны помочь... Соби-

рался на войну... Учился каратэ... Ударить первый раз в лицо – это не просто. До хруста. Надо какую-то пограничную черту в себе перешагнуть – и хрясь!

Первый убитый... Афганский мальчик, лет семи... Лежал, раскинув руки, как во сне... И рядом развернутое брюхо застывшей лошади... В чем повинны дети? В чем повинны животные?

Из «афганской» песни:

*Скажи, зачем и для кого отдали жизнь они свою?  
Зачем в атаку взвод пошел под пулеметную струю?*

Вернулся и два года во сне хоронил себя... А то просыпаюсь в страхе: застрелиться нечем!

Друзей интересовало: награды есть? Ранения есть? Стрелял? Я пытался рассказать о том, что почувствовал – интереса никакого. Стал пить... Один... Третий тост... Молча... За тех, кто погиб... За Юрку... А мог его спасти... Мы вместе лежали в кабульском госпитале... У меня царапина на плече, контузия, а у него не было ног... Много ребят лежало без ног, без рук... Курят, отпускают шуточки... Там они в порядке... Но в Союз не хотят, до последнего просят, чтобы их оставили... Возвращаться страшно... В Союзе начинается другая жизнь... Юрка в день отправки в аэропорт вскрыл себе в туалете вены...

Убеждал его (мы играли по вечерам в шахматы):

– Юрка, не падай духом. А Алексей Мересьев? Ты читал «Повесть о настоящем человеке»?

– Меня очень красивая девушка ждет...

Иногда я ненавижу всех, кого встречаю на улице, вижу из окна. Еле сдерживаю себя... Хорошо, что на таможне отбирают оружие, гранаты... Мы сделали свое дело, теперь нас можно забыть? Юрку тоже?

Ночью проснусь и не могу сообразить, то ли я здесь, то ли я там? Живу, как сторонний наблюдатель... У меня есть жена, ребенок... Я любил раньше голубей... Утро любил... Теперь как сторонний наблюдатель... Что уютно бы отдал, только бы вернуть мне радость...»

*Рядовой*

«Дочка пришла из школы и говорит:

– Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане.

– Почему?

Удивляются:

– Кто твою маму туда посылал?

А я еще не привыкла к ощущению безопасности, наслаждаюсь им. Не привыкла, что не стреляют, не обстреливают, можно открыть кран и выпить стакан воды, и от нее хлоркой не несет. Там хлеб с хлоркой, булочки с хлоркой, макароны, каша, мясо, компот с хлоркой. Не помню, как прожила два года дома. Как с дочкой встретилась, помню, а остальное не задерживается в памяти, оно такое маленькое, незаметное, ничемное по сравнению с тем, что пережито там. Ну, купили новый стол на кухню, телевизор... А что еще тут происходило? Ничего. Дочка растет... Она в Афганистан писала, командиру части: «Верните мне поскорее маму, я очень соскучилась...» Кроме дочери, мне ничего после Афганистана не интересно.

Там реки сказочно голубые. Никогда не думала, что вода может быть такого небесного цвета. Красные маки растут, как у нас ромашки, костры маков у подножия гор. Высокие непугающиеся верблюды спокойно смотрят на все, как старики. На «противопехотке» (мина) взорвался ослик, тянул на базар тележку с апельсинами.

Будь ты проклят, Афганистан!

Я не могу после него спокойно жить. Жить как все. Приехала, соседки, подружки в гости часто просились:

– Валя, мы к тебе забежим на минутку. Расскажи, какая там посуда? Какие ковры? Правда, что шмоток навалом и видео видимо-невидимо? Что ты привезла? Может, что продашь?

Гробов оттуда привезли больше, чем магнитофонов. Про них забыли...

Будь ты проклят, Афганистан!

Дочка растет. Комната у меня маленькая. Там обещали: вернетесь домой, вам за все оплатят. Обратилась в райисполком, взяли мои бумаги.

– Вы ранены?

– Нет, я целая вернулась. Сверху целая, а что внутри, не видно.

– Ну и живите, как все. Мы вас туда не посылали.

В очереди за сахаром:

– Оттуда всего навезли, а здесь права качают...

Поставили сразу шесть гробов: майор Яшенко, лейтенант и солда-

ты... Они лежат, обернутые в белые простыни... Голов не видно... Никогда не думала, что мужчины могут так кричать, рыдать... Фотографии у меня остались... На месте гибели ставили обелиски из крупных осколков бомб, выбивали фамилии на камнях. «Духи» сбрасывали их в пропасть. Расстреливали памятники, подрывали, чтобы никакого следа не осталось от нас...

Будь ты проклят, Афганистан!

Дочка выросла без меня. Два года в школе-интернате. Я приехала, учительница жалуется: у нее тройки, она уже большая.

– Мама, что вы там делали?

– Женщины там помогали мужчинам. Я знала женщину, которая сказала мужчине: «Ты будешь жить». И он жил. «Ты будешь ходить». И он ходил. Перед этим она забрала у него письмо, написанное жене: «Кому я нужен безногий?! Забудьте обо мне». Она сказала ему: «Пиши: «Здравствуйте, дорогая жена и дорогие Аленка и Алешка...»

Как я уехала? Меня вызвал командир: «Надо!» Мы воспитаны на этом слове, у нас привычка. На пересылке лежит на голом матрасе молодая девчонка и плачет:

– У меня дома все есть: четырехкомнатная квартира, жених, любящие родители.

– Зачем приехала?

– Сказали, что здесь трудно. Надо!

Я ничего оттуда не привезла, кроме памяти.

Будь ты проклят, Афганистан!

Эта война никогда не кончится, наши дети будут воевать. Дочка опять вчера сказала:

– Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане...»

*Прапорицки, начальник секретной службы*

«Не говорите при мне, что мы – жертвы, что это была ошибка. Не производите при мне этих слов. Я не разрешаю.

Мы воевали хорошо, храбро. За что вы нас? Я целовал, стоя на коленях, знамя, я дал присягу. Мы так воспитаны, что это свято, раз ты поцеловал знамя. Мы любим Родину, мы ей верим. Я люблю ее, не смотря ни на что. Я еще на этой войне, я еще не вернулся... Под окном «стрельнет» выхлопная труба – животный страх. Звон разбито-

го стекла – животный страх... В голове пусто-пусто... Звонящая пустота в голове... Звонок междугородного телефона... Как автоматная очередь... Я не разрешу все это перечеркнуть. Я не могу топтать свои бессонные ночи, свои муки. Не могу забыть холодок по спине в пятидесятиградусную жару...

...Ехали на машинах и орали песни во всю глотку. Окликали, задирали девчонок, с грузовика они все красивые. Мы ехали веселые. Попадались трусы:

– Я откажусь... Лучше тюрьма, чем война.

– На, получай! – Их били. Над ними издевались, они даже убежали из части.

Первый убитый. Его вытащили из люка. Он сказал: «Хочу жить...» – И умер. Как невыносимо после боя смотреть на красоту. На горы, на сиреневое ущелье. Хочется все расстрелять! Или тихий-тихий становишься, ласковый. Другой парень умирал долго. Лежал он, как ребенок, который только-только научился говорить, называл и повторял все, что встречал глазами: «Горы... Дерево... Птица... Небо...» Так до самого конца.

Молодой царандой, это у них милиционер:

– Я умру, Аллах заберет меня на небо. А ты куда попадешь?

Куда я попаду?!

Попал в госпиталь. Приехал ко мне в Ташкент отец:

– После ранения ты можешь остаться в Союзе.

– Как я останусь, если мои друзья там?

Он коммунист, но ходил в церковь, ставил свечку.

– Зачем ты это делаешь, отец?

– Мне надо вложить во что-то свою веру. Кого мне еще просить, чтобы ты вернулся?..

Рядом лежал парень. К нему приехала мать из Душанбе, привезла фрукты, коньяк:

– Хочу сына дома оставить. Кого просить?

– Давай, мать, лучше выпьем твой коньяк за наше здоровье.

– Хочу сына дома оставить...

Выпили мы ее коньяк. Целый ящик. В последний день услышали: у одного из наших в палате обнаружили язву желудка, кладут в медсанбат. Шкура! Мы его лицо стерли для себя из памяти.

Для меня – или черное, или белое... Серого нет... Никаких полутонов...

Нам не верилось, что где-то целый день дождь, «грибной» дождь. Наши архангельские комары над водой гудят. Выжженные шершавые горы... Поджаренный колючий песок... И на нем, как на большой простыне, наши окровавленные солдаты лежат... У них отрезано все мужское... Записка: «Ваши женщины никогда не родят от них сыновей...»

А вы говорите – забыть?!

Возвращались: кто с японским магнитофоном, кто чиркал музыкальными зажигалками, а кто в стираном-перестиранном хэбэ и с пустым «дипломатом».

Почему нет книг? Нет стихов? Нет песен об Афгане, которые бы все пели? Мы воевали хорошо, храбро. Нас наградили орденами... Говорят, что нас, «афганцев», и без орденов узнают, по глазам:

– Парень, ты из Афгана?

А я иду в советском пальто, в советских ботинках...»

*Рядовой*

«Может, она жива, моя девочка, но где-то далеко... Я все равно рада, где бы она ни была, только бы жила. Так я думаю, так этого мне хочется, очень хочется! И вот мне приснился сон... Вот она пришла домой... Взяла стул и села посреди комнаты... Волосы длинные у нее, очень красивые. Рассыпались по плечам... Она их так отбросила рукой и говорит: «Мама, ну что ты меня все зовешь и зовешь, ты ведь знаешь, что я прийти к тебе не могу. У меня муж, двое детей... У меня семья».

И я еще во сне сразу вспомнила: когда ее похоронили, прошел, наверное, месяц, мне подумалось – она не убита, а ее украли... Мы, бывало, идем с ней по улице, на нее оглядываются... Она высокая, и эти волосы льются... Но мне никто не верил... А тут я получила подтверждение, что догадка моя верная, она живет...

Я – медик, я всю жизнь считала, что это – святая профессия. Очень ее любила, поэтому и доченьку увлекла. А теперь проклинаю себя. Не будь у нее этой профессии, она осталась бы дома и жила. Теперь мы с мужем только вдвоем, у нас никого больше нет. Пусто, ужасно пусто. Вот вечером садимся, вот смотрим телевизор. Сидим, молчим, иногда слова за весь вечер не произнесем. Только когда начинают петь, я заплачу, а муж застонет – и пойдет. Вы не представля-



ете, что здесь, в груди... Утром надо идти на работу, а встать не можешь. Такая боль! Я другой раз думаю, что не встану и не пойду. Буду лежать, буду ждать, чтобы взяли меня к ней. Позвали...

У меня есть склонность к воображению, и я все время с ней, она никогда в моих мечтах не повторяется. Я даже вместе с ней читаю... Правда, теперь я читаю книги о растениях, о животных, о звездах, о людях не люблю... Думала, что природа мне поможет, весна... Поехали за город... Фиалки цветут, на деревьях листочки детские... А я начала кричать... Так красота природы, радость живого на меня подействовали... Стала бояться течения времени, оно забирает ее у меня, память о ней... Исчезают подробности... Что она говорила, как улыбалась... Собрала с костюма ее волосы, сложила в коробочку. Муж спросил:

– Что ты делаешь?

– Пусть будет. Ее уже нет.

Иногда сижу дома, думаю и вдруг слышу ясно: «Мама, не плачь». Оглянусь – нет никого. Продолжаю дальше вспоминать. Вот она лежит. Яма уже выкопана, уже земля готова ее принять. А я стою перед ней на коленях: «Доченька моя милая. Доченька моя дорогая. Как же это случилось? Где ты? Куда ты ушла?» Но она еще со мной, хотя и в гробу лежит.

...Помню тот день. Она вернулась с работы и сказала:

– Меня вызывал сегодня главврач. – И замолчала.

– И что? – Я еще ничего не услышала в ответ на свой вопрос, но мне уже нехорошо стало.

– Пришла в нашу больницу разрядка послать одного человека в Афганистан.

– И что?

– Нужна именно операционная сестра. – А она работала операционной сестрой в кардиологии.

– И что? – Я забыла все другие слова, повторяла одно и то же.

– Я согласилась.

– И что?

– Кому-то все равно надо ехать. А я хочу побыть там, где трудно.

Уже все знали, и я тоже, что идет война, льется кровь и медсестры нужны. Я заплакала, а сказать «нет» не смогла. Она бы строго посмотрела на меня:

– Мама, мы с тобой обе давали клятву Гиппократа...

Несколько месяцев она готовила документы. Принесла и показала характеристику. Там были слова: «Политику партии и правительства понимает правильно». А я еще все не верила.

Рассказываю вам... И мне легче... Как будто она у меня есть... Я завтра ее хоронить буду... В комнате гроб стоит... Она еще со мной... А может, она где-то живет? Я только бы хотела знать: какая она сейчас? Длинные ли у нее волосы? Даже какая кофточка на ней? Мне все интересно...

Если честной перед вами быть, то я людей не хочу видеть. Я люблю быть одна... Я с ней, со Светочкой своей, тогда разговариваю. Стоит кому-то зайти, все нарушается. Никого не хочу пустить в этот мир. Ко мне мама из деревни приезжает... Я даже с ней не хочу делиться... Один раз только пришла ко мне женщина... С моей работы... Вот ее я не отпускала, мы с ней до ночи сидели... Боялись, что метро закроют, она не успеет... Уже муж ее волновался... У нее вернулся из Афганистана сын... Вернулся совсем другой, чем тот, каким она его отправила туда... «Мама, я буду печь с тобой пироги... Мама, я пойду с тобой в прачечную...» Он боится мужчин, дружит с одними девочками. Она побежала к врачу. Врач сказал: «Терпите, пройдет». Мне теперь такие люди ближе, понятнее. Я могла бы с ней дружить, с этой женщиной. Но она ко мне больше не пришла, она смотрела на портрет Светочки и все время плакала...

Но я что-то другое хотела вспомнить... Что же я хотела вам рассказать? А?! Как она приехала первый раз в отпуск... Нет, еще о том, как мы ее провожали, как она уезжала... Пришли на вокзал ее школьные друзья, товарищи с ее работы. И один старый хирург наклонился и поцеловал ей руки: «Больше я таких рук не встречу».

Приехала в отпуск. Худенькая, маленькая. Три дня спала. Встанет, поест и спит. Опять встанет, поест и спит.

– Светочка, как тебе там?

– Все хорошо, мама. Все хорошо.

Сидит, молчит и тихонько сама себе улыбается.

– Светочка, что у тебя с руками? – Я не узнала ее рук, они стали такими, как будто ей пятьдесят лет.

– Там, мама, много работы. Могу ли я думать о своих руках? Ты представляешь: готовимся к операции, моем руки муравьиной кислотой. А врач подходит ко мне и говорит: «Вам что, своих почек не

жалко». Он о почках своих думает... А рядом люди умирают... Но ты не думай... Я довольна, я там нужна...

Уехала она на три дня раньше:

– Прости, мама, у нас в медсанбате остались только две медсестры. Врачей достаточно, а медсестер мало. Девочки задохнутся. Как я могу не ехать?!

Попросила бабушку, она ее очень любила, той скоро девяносто лет: «Только не умирай. Дождись меня». К бабушке мы поехали на дачу. Она стояла возле большого куста роз, и Светочка просила ее: «Только не умирай. Дождись меня». Бабушка взяла и срезала все розы, отдала ей...

Вставать надо было в пять часов утра. Я бужу ее, а она: «Мама, я так и не выспалась. Мне кажется, что теперь мне никогда не хватит сна». В такси она открыла сумочку и ахнула: «Я забыла ключ от нашей квартиры. У меня нет ключей. Я вернусь, а вдруг вас не будет дома?» Потом я ключи нашла, в старой ее юбочке... Хотела в посылке отослать, чтобы она не волновалась... Чтобы у нее были ключи от дома...

А вдруг она живая?.. Она где-то ходит, смеется... Радуется цветам... Она любила розы... Приезжаю теперь к нашей бабушке, она еще жива. Света сказала: «Только не умирай. Дождись меня»... Встаю ночью... На столе букет роз... Она их вечером срезала... Две чашки чая...

– Почему не спишь?

– Мы со Светланкой (она звала ее всегда «Светланка») пьем чай.

А я во сне увижу ее и во сне себе говорю: подойду, поцелую, если она теплая, значит, она живая. Подойду, поцелую – теплая. Значит, живая!

Вдруг она где-то живет?.. В другом месте...

На кладбище сижу у ее могилки... Идут двое военных... Один оставился:

– Ой! Света наша. Ты посмотри... – Заметил меня: – Вы – мама?

Я кинулась к нему:

– Вы знали Светочку?

А он к другу обращается:

– Ей оторвало обе ноги при обстреле. И она умерла.

Тут я сильно закричала. Он испугался:

– Вы ничего не знали? Простите меня. Простите. – И убежал.

Больше я его не видела. И не искала.

Сажу у могилки... Идет мама с детьми... Слышу:

– Что это за мать? Как она могла отпустить в наше время на войну единственную дочку (а у меня на памятнике выбито: «Единственной доченьке»)? Девочку отдать?..

Как они смеют, как они могут!! Она же клятву давала, она же медсестра, которой хирурги руки целовали. Она ехала спасать людей, их сыновей...

Люди, кричу я в душе, не отворачивайтесь от меня! Постойте со мной у могилы. Не оставляйте меня одну...»

*Мать*

«Я думал: все добрые станут... После крови... Думал, что после крови никто крови не захочет... А он берет газету, читает:

– Они вернулись из плена... – И матом.

– Ты чего?

– Да я бы их всех к стенке поставил... И сам лично расстрелял...

– Мало мы кровью умылись? Тебе не хватило?

– Предателей не жалко. Нам руки, ноги отрывало... А они Нью-Йорк разглядывали... Небоскребы...

А там он мне другом был... Раньше казалось, что нам разлучаться нельзя, я не смогу один. Сейчас хочу быть один... Мое спасение – одиночество. Мне нравится разговаривать с самим собой:

– Ненавижу этого человека. Ненавижу!

– Кого?

– Себя.

...Боюсь выйти на улицу из дома... Боюсь к женщине притронуться... Пусть бы я лучше погиб... Повесили бы на моей школе мемориальную доску... Сделали бы из меня героя... Сколько у нас говорят о героях, о героизме, только о героизме. Всем хочется быть героями. Я не хотел. Войска в Афганистан уже ввели, но я еще ничего не знал. Мне было неинтересно. У меня была в это время первая любовь... А сейчас я боюсь к женщине притронуться... Даже когда в переполненный троллейбус утром втискиваюсь... Никому не признавался... Но у меня ничего не получается с женщинами... От меня жена ушла... Это случилось... Так странно это произошло... Я сжег чайник... Он горел, а я сидел и смотрел, как он чернел... Возвращается с работы жена:

- Что ты сжег?
- Чайник.
- Этой уже третий...
- Люблю запах огня.

Она закрыла дверь на ключ и ушла... Два года назад... И я стал бояться женщин... Им нельзя открыться... Им ничего не надо о себе рассказывать... Даже если они будут вас слушать, то потом все равно осудят...

– Какое утро! Ты опять кричал. Ты опять всю ночь кого-то убивал, – так говорила моя жена.

А я еще ей не рассказал о восторге вертолетчиков, которые бомбят. О восторге людей возле смерти.

«Какое утро! Ты опять кричал...»

Она не знает, как погиб наш лейтенант. Увидели воду, остановили машины:

– Стой! Всем стоять! – крикнул лейтенант и показал на грязный сверток, который лежал возле ручья. – Мина?!

Вперед пошли саперы: подняли «мину» – она захныкала. Это был ребенок.

Что с ним делать? Оставить, взять с собой? Его никто не заставлял, лейтенант сам вызвался:

– Бросать нельзя. С голода умрет. Я отвезу его в кишлак. Рядом же. Мы ждали их час, а езды туда и назад минут двадцать было.

Они лежали... Лейтенант и водитель... Посреди кишлака... На площади... Женщины убили их мотыгами...

«Какое утро! Ты опять кричал. Ты опять всю ночь кого-то убивал».

...Лежит, раненый, наш солдат... Умирает... И зовет маму... Свою девушку... Рядом лежит раненый «дух»... Умирает... И зовет маму... Свою девушку... То афганское имя, то русское...

Иногда я не помню своей фамилии, своего адреса и всего, что делалось со мной. Приходишь в себя... И начинаешь как бы сновать жить... Но неуверенно... Вышел из дома – и сразу мысль: закрыл дверь на ключ или не закрыл, выключил газ или не выключил? Ложусь спать, встаю: завел на утро будильник или не завел? Утром иду на работу. Встречаю соседей: сказал я им «доброе утро» или не сказал?

У Киплинга:

*Запад есть Запад, Восток есть Восток, и друг  
друга им не понять.  
Лишь у Престола Божьего они сойдутся  
опять.  
Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных  
мужчин,  
Рожденных в разных концах земли, сойдутся  
один на один!*

Когда она выходила за меня замуж, она говорила: «Ты вышел из ада... Из чистилища... Я тебя спасу...» А я вылез из помойной ямы... И я боюсь теперь к женщине притронуться... Уезжал в Афганистан, они носили длинные платья, возвратился – в коротком все. Незнакомые мне. Просил ее надевать длинное... Она смеялась, потом обижалась... Затем стала ненавидеть меня...

*Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных  
мужчин,  
Рожденных в разных концах земли, сойдутся  
один на один!*

О чем я говорил? А? О длинных платьях моей жены... Они висят в шкафу, она их не забрала...

А я еще ей не рассказал».

*Сержант, разведчик*

«Всю жизнь я был военный, иную жизнь знал лишь по рассказам. У настоящих военных другая психология: справедливая война или несправедливая – неважно. Куда нас послали, там справедливая, нужная. Когда посылали, и эта война была справедливая. Мы так считали, я сам стоял среди солдат и говорил о защите южных рубежей, идейно подковывал. Два раза в неделю политические занятия. Разве я мог сказать: «Я сомневаюсь». Армия не терпит свободомыслия. Вас поставили в строй, и отныне вы действуете только по команде. С утра до вечера.

Команда:

– Встать! Подъем!

Встали.

Команда:

– На зарядку стано-о-о-овись! Налево бегом!

Сделали физзарядку.

Команда:

– Разойдись по лесу. Пять минут оправиться.

Разошлись.

Команда:

– Стано-о-овись!!

Никогда не встречал, чтобы в казарме висел портрет... Ну, например, кого? Ну, Циолковского или Льва Толстого. Ни разу не видел. Висят портреты Николая Гастелло, Александра Матросова... Героев Великой Отечественной войны... Я однажды, еще молоденьким лейтенантом был, повесил у себя в комнате портрет (из журнала какого-то вырезал) Ромена Роллана. Заходит командир части:

– Кто это?

– Ромен Роллан, французский писатель, товарищ полковник.

– Немедленно убрать этого француза! У нас своих, что ли, героев не хватает?

– Товарищ полковник...

– Кругом марш на склад и вернуться с Карлом Марксом.

– Так он же немец?

– Молчать! Двое суток ареста!

При чем тут Карл Маркс? Я сам стоял среди солдат и говорил: куда, мол, годится этот станок? Он же заграничный. Куда годится эта машина с иностранной маркой? Она развалится на наших дорогах. Лучшее в мире – это все наше: наши станки, наши машины, наши люди. И только сейчас сам задумался: почему лучший станок не может быть в Японии, лучшие капроновые чулки – во Франции, лучшие девушки – на Тайване? А мне пятьдесят лет...

...Вижу сон, что я убил человека. Он встал на колени... На четвереньки... Голову не поднимал... Лица не видно, у них у всех одно лицо... Я спокойно в него выстрелил... Спокойно увидел его кровь... Закричал я тогда, когда проснулся и вспомнил этот сон...

Здесь уже писали о политической ошибке, называли эту войну «брежневской авантюрой», «преступлением». А нам надо было воевать и умирать. И убивать. Здесь писали, а там гибли. Не судите, да не

судимы будете! Что мы защищали? Революцию? Нет, я уже так не думал, я уже внутренне разрывался. Но убеждал себя, что мы защищаем наши военные городки, наших людей.

Горят рисовые поля... Трассирующие пули зажгли... Трещит и быстро горит... Войне еще жара помогает... Дехкане бегают, с земли подгоревшее собирают... Никогда не видел, чтобы афганские дети плакали... Дети легкие, маленькие. Сколько лет – не угадать... Широкие штанишки, из-под них ножки торчат.

Все время было чувство, что кто-то хочет тебя убить... Свинец глупый... До сих пор не знаю, можно ли к этому привыкнуть?.. А арбузы, дыни там с табурет величиной. Ткнешь штыком – разваливаются. Умирать так просто... Убивать труднее... О мертвых не говорили... Такие были правила игры, если так можно сказать... Собираешься в рейд, на дно – письмо жене. Прощальное. Я писал: «Засверлить мой пистолет и передать сыну».

Начался бой, а магнитофон кричит... Забыли выключить... Голос Владимира Высоцкого:

*В желтой жаркой Африке –  
В центральной ее части,  
Как-то вдруг вне графика  
Случилось несчастье.  
Слон сказал, не разобрав:  
– Видно, быть потопу!.. –  
В общем, так: один Жираф  
Влюбился в Антилопу.*

И душманы Высоцкого крутили... Ночью из засады мы слышали у них:

*Мой друг уехал в Магадан.  
Снимите шляпу, снимите шляпу!  
Уехал сам, уехал сам,  
Не по этапу, не по этапу.*

Они смотрели в горах наши фильмы... О Котовском, о Ковпаке... Стоит в номере телевизор, магнитофон... Учились у нас воевать с нами...

Из карманов наших убитых пацанов я вытаскивал письма... Фото-



графии... Таня из Чернигова... Машенька из Пскова... Сделанные в провинциальных ателье... Все одинаковые... Наивные надписи на фото: «Жду ответа, как соловей лета», «Лети с приветом, вернись с ответом»... Лежали у меня на столе, как колода карт... Лица простых русских девочек...

Не могу вернуться в этот мир... Пробовал, ничего не получается... У меня тут поднялось давление... Недостаточная нагрузка... Бунтует адреналин в крови... Не хватает остроты ощущений, презрения к жизни... Врачи поставили диагноз: сужение сосудов... Мне нужен ритм, тот ритм, чтобы броситься в драку... Хочу и сейчас туда, но не знаю, что бы я там чувствовал... Разбитая, сгоревшая техника на до рогах... Танки, бэтээры... Неужели это все, что от нас там осталось?

Пошел на кладбище... Хотел обойти «афганские» могилы... Встретила меня чья-то мать...

– Уходи, командир. Ты с сединой... Ты – живой... А мой сынок лежит... Мой сынок еще ни разу не побрился...

Недавно умер мой друг, воевал в Эфиопии. Посадил в той жаре почки. Все, что он узнал, ушло с ним. А другой товарищ рассказывал, как попал во Вьетнам... Встречал и тех, кто в Анголе был, в Египте, в Венгрии в пятьдесят шестом, в Чехословакии в шестьдесят восьмом... Разговаривали между собой... Вместе на дачах редиску выращиваем... Рыбу удим... Я теперь пенсионер... В кабульском госпитале одно легкое удалили... А под Хмельницком есть госпиталь, там лежат те, от кого отказались родные... Кто сам не захотел вернуться домой... Мне пишет оттуда парень: «Лежу без рук, без ног... Проснусь утром и не знаю, кто я: человек или животное? Другой раз мяукать или лаять охота. Зажму зубы...»

Мне нужен ритм, тот ритм, чтобы драка была. Но я не знаю, с кем мне драться. Я уже не могу стать среди своих пацанов и агитировать: мы – самые лучшие, мы – самые справедливые. Но я утверждаю, что мы хотели такими быть. Но не получилось. Почему?..»

*Майор, командир батальона*

«Мы перед Родиной чисты. Я честно выполнил свой солдатский долг. Слышал, читал: сейчас эту войну называют «грязной». А как быть с такими чувствами, как чувство Родины, народа, долга? Родина для вас пустой звук? Мы перед Родиной чисты...

Называют нас оккупантами. Что мы там захватили? Что оттуда вывезли? «Груз двести» – гробы с нашими товарищами? Что приобрели? Болезни от гепатита до холеры, ранения, инвалидности? Мне не в чем каяться. Я помогал братскому афганскому народу. Убежден! Те, кто там со мной был, тоже искренние, честные ребята. Они верили в то, что пришли на эту землю с добром, что они не «ошибочные фронтовики» с «ошибочной войны». А кому-то хочется увидеть в нас наивных «дурачков», пушечное мясо. Зачем? С какой целью? Ищут истину? Но не забудьте библейское. Помните, что Иисус на допросе у Пилата сказал:

– Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине.

Пилат переспросил:

– Что есть истина?

Вопрос остался без ответа...

У меня своя истина. Своя правда о том, что в нашей, может быть, наивной вере мы были девственно чисты. Нам казалось: новая власть дает землю, и все должны с радостью брать ее. И вдруг... крестьянин не берет землю! Нам казалось: мы построим МТС (машинно-тракторные станции), дадим им тракторы, комбайны, косилки, и вся жизнь их повернется. И вдруг... они уничтожают МТС! Нам казалось: в век космических полетов смешно думать о Боге. Нелепо! Мы послали в космос афганского парня... Мол, глядите, он там, где ваш Аллах. И вдруг... непоколебимая цивилизацией исламская религия... Да мало ли что нам казалось. Но так было, было... И это особая часть нашей жизни... Я берегу ее в душе, не хочу разрушать. И не дам замарать одним черным цветом. Мы там закрывали в бою друг друга. Попробуйте станьте под чужую пулю! Это не забудешь. А это? Я хотел вернуться домой «сюрпризом», но страшно стало за маму. Позвонил:

– Мама, я живой, я в аэропорту. – И там, на другом конце провода, упала трубка.

Кто нам сказал, что мы проиграли эту войну? Мы проиграли ее здесь, дома. В Союзе. А как красиво мы могли победить и здесь. Вернулись опаленные. Но нам не дали... Нам не дали здесь прав, не дали здесь дела... Каждое утро на обелиске (памятника погибшим воинам «афганцам» еще в городе нет, еще будет) кто-то вывешивает плакат: «Поставьте у своего Белорусского военного округа...» Мой двоюрод-

ный брат, которому восемнадцать лет, не хочет идти в армию: «Что-то глупые или преступные приказы выполнять?»

Что есть истина?

В нашей пятиэтажке живет старуха врач. Ей семьдесят лет. После всех сегодняшних статей, разоблачений, выступлений... после всей этой правды, которая на нас сейчас обрушилась, она помешалась... Открывает окно у себя на первом этаже и кричит: «Да здравствует Сталин!», «Да здравствует коммунизм – светлое будущее человечества!» Я вижу ее каждое утро... Ее не трогают, она никому не мешает... А мне иногда страшно становится...

Но мы перед Родиной чисты...»

*Рядовой, артиллерист*

«Звонок в дверь. Я выбегаю – никого. Ахнула: не сынок ли приехал?..

Через два дня стучат в дом военные.

– Что, сына нет?

– Да, теперь нет.

Тихо-тихо стало. Опустилась в прихожей на колени перед зеркалом:

– Боже, Боже! Боженька мой!

На столе письмо лежало, которое не дописала:

«Здравствуй, сынок!

Прочла твое письмо и была рада. И в этом письме ни одной грамматической ошибки. Две синтаксические, как и в прошлый раз: «по-моему» – вводное слово, а союз «так как» – сложный. Это в предложении: «Я сделаю так, как сказал отец», – нужна запятая. И во втором предложении: «По-моему, вам за меня не будет стыдно», – тоже нужная запятая. Не обижайся на свою маму.

...В Афганистане жарко, сынок. Старайся не простудиться. Ты всегда простужаешься...»

На кладбище все молчали, было много людей, но все молчали. Я стояла с отверткой, у меня не могли ее забрать:

– Дайте сына открыть... Дайте сына открыть... – Цинковый гроб хотела отверткой открыть.

Муж пытался руки на себя наложить: «Не буду жить. Прости, мать, а жить я больше не буду». Уговаривала его:

– Надо памятник поставить, плиткой обложить.

Он не мог спать. Говорил:

– лягу спать, сын приходит. Целует, обнимает...

По старинному обычаю хранила буханку хлеба все сорок дней... После похорон... Через три недели она рассыпалась на мелкие куски. Значит, семья пропадет...

Развесила по дому все фотографии сына. Мне так легче, а мужу тяжело:

– Сними. Он на меня смотрит...

Поставили мы памятник. Хороший, из дорогого мрамора. Все деньги, что на свадьбу сыну собирали, на памятник пошли. Плиткой красной могилку обложили и цветы красные посадили. Георгины. Муж покрасил ограду:

– Все сделал. Сын обижаться не будет.

Утром проводил меня на работу. Попрощался. Прихожу со смены – он на полотенце в кухне висит, как раз напротив фотографии сына, моей любимой.

– Боже, Боже! Боженька мой!

...Вы мне скажите – герои они или нет? За что я такое горе терплю? Один раз подумаю: герои! Он не один там лежит... Рядами идут... на городском кладбище... А другой раз проклиная правительство, партию... И то, как сама учила: «Долг есть долг, сынок. Отдать его надо». Прокляну всех, а утром бегу на могилку, прощения прошу:

– Прости, сынок, что я так говорила... Прости...»

*Мать*

«Получила письмо: «Не волнуйся, если нет писем. Пиши по старому адресу». Два месяца молчания. Я не представляла, что он в Афганистане. Собирала чемодан, чтобы ехать к нему на новое место службы.

Он не писал, что на войне. Загорает, ловит рыбу. Прислал фотографию: сидит на ослике, колени на песке. Я не знала, что там убивают. Раньше он никогда не баловался с дочкой, у него не было отцовских чувств, может, потому, что она маленькая. Приехал, часами сидит и смотрит на ребенка, а в глазах такая грусть, что мне страшно. Утром встанет, отведет ее в садик. Любил посадить на плечи и нести.

Вечером заберет. Ходили мы в театр, в кино, но больше всего ему хотелось быть дома.

В любви стал жадным, ухожу я на работу или на кухне готовлю – ему и этого времени жалко: «Побудь со мной. Сегодня можно и без котлет. Попроси отпуск, пока я здесь». Пришел день улетать, он специально опоздал на самолет, чтобы нам еще два дня побыть вместе.

Последняя ночь... Было так хорошо, что я расплакалась... Я плачу, он молчит, только смотрит-смотрит. Потом говорит:

– Тамарка, если у тебя будет другой, не забывай это.

Я:

– Ты с ума сошел! Тебя никогда не убьют! Я так тебя люблю, что тебя никогда не убьют.

Засмеялся.

Детей больше не хотел:

– Вернись... Тогда родишь... Что ты с ними делать одна будешь?..

Я научилась ждать. Но если я видела похоронный автобус, мне становилось плохо, готова была кричать, плакать. Прибегу домой, висела бы икона, стала на колени и молилась бы: «Спасите мне его! Спасите!» :

В тот день я пошла в кино. Смотрю на экран и ничего не вижу. Внутри непонятное беспокойство: где-то меня ждут, надо куда-то идти, еле досидела до конца сеанса. В это время, видно, шел бой...

Неделю я еще ничего не знала. Я даже получила два его письма. Обычно радовалась, целовала их, а тут разозлилась: сколько мне тебя еще ждать?!

На девятый день в пять часов утра пришла телеграмма, мне сунули ее просто под дверь. Телеграмма была от его родителей: «Приезжай. Погиб Петя». Я сразу закричала. Разбудила ребенка. Что делать? Куда идти? Денег не было. Как раз в этот день должен был прийти его аттестат. Помню, завернула дочку в красное одеяло, вышла на дорогу – автобусы еще не ходят. Остановила такси.

– В аэропорт, – говорю таксисту.

– Еду в парк. – И закрывает дверцу.

– У меня муж погиб в Афганистане...

Молча выходит из машины, помогает сесть. Заезжаем к подруге, я одалживаю деньги. В аэропорту нет билетов до Москвы, а мне страшно вынуть из сумочки телеграмму и показать. Вдруг это неправда?

Ошибка. Если буду думать, что он жив, тогда он и будет жив. Я плакала, все на меня смотрели. Посадили до Москвы в «кукурузник». Ночью прилетела в Минск. Надо дальше, в Старые Дороги. Таксисты ехать не хотят, далеко – сто пятьдесят километров. Прошу. Умоляю. Один согласился: «Давай пятьдесят рублей, повезу».

В два часа подъезжаю к дому. Все плачут.

– Может, это неправда?

– Правда, Тамара. Правда.

Утром идем в военкомат. Ответ военный: «Когда привезут, тогда вам сообщим». Ждем еще двое суток. Звоним в Минск: «Приезжайте, сами заберите». Приезжаем, в облвоенкомате говорят: «Его по ошибке увезли в Барановичи». Это еще сто километров, у нас автобус не запрошен. В Барановичах в аэропорту никого нигде нет, рабочий день закончился. В будке сидит сторож.

– Мы приехали...

– Вон там, – показывает рукой, – какой-то ящик. Посмотрите. Если ваш – забирайте.

В поле стоял грязный ящик, на нем мелом было написано: «Старший лейтенант Довнар». Я оторвала доску в том месте, где в гробу окошечко: лицо целое, но небритый лежит, и не умыл никто, гроб маловат. Запах... Наклониться, поцеловать нельзя... Так мне вернули мужа...

Я стала на колени перед тем, что было когда-то самым дорогим.

Это был первый гроб в деревне Языль Стародорожского района Минской области. У людей, помню, одно – ужас в глазах. Никто не понимал, что происходит. Опустили его в могилу. Не успели рушники, на которых опускали, вытащить, как вдруг – страшный гром и град, помню, град, как белый гравий на цветущей сирени, хрустит под ногами. Сама природа была против. Я долго не могла уехать из его дома, потому что здесь была его душа, отец, мать... Мы мало говорили. Мне казалось, что мать меня ненавидит: я живу, а его нет, я выйду замуж, а ее сына не будет. Теперь она говорит: «Тамара, выходи замуж». А тогда я боялась встречаться с ней глазами. Отец чуть с ума не сошел: «Такого парня угробили! Убили!» Мы с матерью его убеждали, что Петю орденом наградили, что Афганистан нам нужен, защита южных рубежей... Он не слушал: «Сволочи!..»

Самое страшное было потом. Самое страшное... – привыкнуть к мысли, что мне не надо ждать, мне некого ждать. Утром просыпалась

мокрая от ужаса: «Петя придет, а мы с Олесьюкой живем по другому адресу». Мне надо было понять, что теперь одна и буду одна. Я три раза в день заглядывала в почтовый ящик... Ко мне возвращались только мои письма, которые он не успел получить, со штампом «Адресат выбыл». Я разлюбила праздники. Перестала ходить в гости. У меня остались только воспоминания. Вспоминалось лучшее.

Первый день мы с ним танцевали. Второй – гуляли в парке. На третий день нашего знакомства он предложил выйти за него замуж. У меня был жених. Заявление лежало в загсе. Я сказала ему об этом. Уехал и писал письма большими буквами на всю страницу: а-а-а-а-а!! В январе обещал: приеду, и поженимся. А я в январе замуж не хочу. Я хочу свадьбу весной! Во Дворце бракосочетаний. С музыкой, цветами.

Была свадьба зимой, в моей деревне. Смешно и наспех. На Крещение, когда гадают, мне приснился сон. Маме утром рассказываю:

– Мама, я видела красивого парня. Он стоял на мосту и звал меня. На нем военная форма. Но когда я подошла к нему, он начал удаляться, удаляться и совсем исчез.

– Не выходи замуж за военного, одна останешься, – сказала мама. Он приехал на два дня.

– Пойдем в загс, – с порога.

В сельсовете посмотрели на нас:

– Зачем вам два месяца ждать? Идите за коньяком.

Через час мы были мужем и женой. Метель на улице.

– На каком такси ты повезешь молодую жену?

– Сейчас! – Поднимает руку и останавливает трактор «Беларусь».

Годами я видела сны, как мы встречаемся. Едем на тракторе. Восемь лет, как нет его... Снится часто. Во сне я все время его умоляю: «Женись на мне еще раз». Он меня отталкивает: «Нет! Нет!» Я его жалю не потому, что это был мой муж. А какой мужик! Большое сильное тело. Жалею, что не родила от него сына. В последний раз приехал в отпуск, а квартира закрыта. Телеграмму не дал. Я не знала. У подруги день рождения, я там. Он открыл дверь: громкая музыка, смех... Сел на табуретку и заплакал. Каждый день встречал меня: «Иду к тебе на работу, коленки дрожат. Как на свидание». Вспоминаю, как купались. Сидели на берегу и жгли костер:

– Ты знаешь, как не хочется погибать за чужую родину.

А ночью:

– Тамарка, не выходи больше замуж.

– Почему так говоришь?

– Потому что я тебя очень люблю. И не представляю, что ты будешь с кем-то...

Иногда мне кажется, что я живу долго-долго, хотя воспоминания одни и те же.

Дочка была маленькая, приходит из садика:

– Сегодня мы рассказывали про своих пап. Я сказала, что мой папа военный.

– Почему?

– Они же не спросили: есть он или нет? Они спрашивали, кто он? Подросла. Когда я за что-нибудь на нее злюсь, советует:

– Выходи-ка ты, мамка, замуж...

– Какого бы ты хотела папу?

– Я хотела бы своего папу...

– А не своего какого?

– Похожего...

Мне было двадцать четыре года, когда я осталась вдовой. В первые месяцы подожди ко мне любой мужчина, тут же бы вышла замуж. С ума сходила! Не знала, как спастись. Вокруг прежняя жизнь: кто дачу строит, кто машину покупает, у кого-то квартира новая – нужен ковер, красная плитка для кухни... Чужая нормальная жизнь доказывала, что у меня не такая. Мебель я только сейчас стала покупать. У меня не поднимались руки печь пироги. Разве в моем доме может быть праздник? В ту войну у всех было горе, у всей страны. Каждый кого-то потерял. Знал, за что потерял. Бабы хором голосили. В кулинарном училище, где я работаю, коллектив сто человек. Я одна, у кого муж сегодня погиб на войне, о которой другие только в газетах читали. Когда в первый раз услышала по телевизору, что Афганистан – наш позор, хотела разбить экран. В тот день я второй раз мужа похоронила...»

*Жена*

«Привезли нас в Самарканд. Стоят две палатки, в одной – мы сбрасываем с себя все штатское, кто поумнее, успел по дороге куртку, сви-



тер продать, купить вина напоследок, в другой – выдавали солдатское бэу (бывшее в употреблении) – гимнастерки сорок пятого года, «кирзачи», портянки. Покажи эти «кирзачи» привыкшему к жаре негру – в обморок упадет. В слабо развитых африканских странах у солдат легкие штiblеты, куртки, штаны, кепи, а мы строим, с песней, по жаре в сорок градусов – ноги варятся. Первую неделю на заводе холодильников разгружали стеклотару. На торговой базе таскали ящики с лимонадом. Посылали к офицерам домой, у одного я дом кирпичом обкладывал. Недели две крышу на свинарнике крыл: три листа шифера забьешь, два сплaviшь за бутылку. Доски загоняли по цене: один метр – один рубль. Перед присягой два раза сводили на полигон, в первый раз дали девять патронов, в другой – мы бросили по гранате.

Построили на плацу и зачитали приказ: направляетесь в ДРА для исполнения интернационального долга. Кто не желает – два шага вперед. Три человека вышли. Командир части вернул их в строй коленкой под зад, мол, проверяли ваше боевое настроение. Сухпак на двое суток, кожаный ремень – и в путь. Все ехали, все молчали. Показалось, долго. Увидел в иллюминаторе горы: красивые! Раньше никогда гор не видел, мы – псковские, у нас поляны и лесок. Высадились в Шинданде. Помню число, месяц – девятнадцатого декабря тысяча девятьсот восьмидесятого года...

Глянули на меня:

– Метр восемьдесят.. В разведроту.. Там такие нужны..

Из Шинданда – в Герат. И там стройка. Строили полигон. Рыли землю, таскали камни под фундамент. Я крыл крышу шифером, плотничал. Некоторые даже не стреляли до первого боя. Есть хотелось все время. На кухне два пятидесятилитровых бачка: один для первого – капуста с водой, мяса не слышишь, второй для второго – клейстер (сушеная картошка) или перловка без масла. На четверых ставили банку скумбрии с этикеткой: год изготовления тысяча девятьсот пятьдесят шестой, срок хранения один год и шесть месяцев. За полтора года я один раз перестал хотеть есть, когда меня ранили. А так все время ходишь и думаешь: где бы что достать, своровать, чтобы поесть? В сады к афганцам лазили, они стреляли. На мину можно напороться. Но так хотелось яблок, груш, каких-нибудь фруктов. Просили у родителей лимонную кислоту, они присылали в письмах. Растворяли ее в воде и пили. Кисленькая. Жгли себе желудки.

...Перед первым боем включили Гимн Советского Союза. Говорил замполит. Я запомнил, что мы на один час опередили американцев и дома нас ждут как героев.

Как я буду убивать, я себе не представлял. До армии занимался велоспортом, мускулы себе накачал такие, то меня боялись, не трогал никто. Я даже драки не видел, чтобы с ножом, кровью. Тут мы ехали на бэтэерах. До этого из Шиндаида в Герат нас везли автобусом, еще один раз выезжал из гарнизона на ЗИЛе. На броне, с оружием, рукава закатаны по локти... Было новое чувство, незнакомое. Чувство власти, силы и собственной безопасности. Кишлаки сразу стали низкими, арыки мелкими, деревья редкими. Через полчаса так успокоился, что почувствовал себя туристом. Разглядывал чужую страну – экзотика! Какие деревья, какие птицы, какие цветы. Колючку первый раз увидел. И про войну забыл.

Проехали через арык, через глиняный мостик, который, к моему удивлению, выдержал несколько тонн металла. Вдруг взрыв – в передний бэтээр ударили в упор из гранатомета. Вот уже несут на руках знакомых ребят... Без головы... Картонные мишени... Руки болтаются... Сознание не могло сразу включиться в эту новую и страшную жизнь... Приказ: развернуть минометы, «васильки» мы их звали – сто двадцать выстрелов в минуту. Все мины – в кишлак, оттуда стреляли, в каждый двор по несколько мин. Своих после боя по кускам складывали, соскребали с брони. Смертных медальонов не было, расстелили брезент – братская могила... Найди, где чья нога, чей кусок черепа... Медальона не выдавали... Вдруг в чужие руки попадут... Имя, фамилия, адрес... Как в песне... «Наш адрес – не дом и не улица, наш адрес – Советский Союз...» А война необъявленная. Мы были на войне, которой не было...

Возвращались молча. Как из другого мира. Поели. Почистили оружие. Тогда стали говорить.

– Косячок забьешь? – предлагали «деды».

– Не хочу.

Я не хотел курить, боялся, что не брошу. К наркотикам привыкаешь, нужна сильная воля, чтобы бросить. Потом все курили, иначе не выдержишь. Было бы наркомовских сто граммов, как в ту войну... Не полагалось... сухой закон... Надо снять напряжение, чем-то компенсировать затраты... Забыться... В плов сыпали, в кашу... Глаза – по полтиннику... Ночью видишь, как кошка. Легкий, как летучая мышь.

Разведчики убивают не в бою, а вблизи. Не автоматом, а финкой, штыком, чтобы тихо, неслышно. Я быстро научился это делать, втянулся. Первый убитый? Кого близко убил? Помню... Подошли к кишлаку, в бинокли ночного видения заметили: возле дерева светит маленький фонарь, стоит винтовка, и он что-то откапывает. Я отдал товарищу автомат, сам приблизился на расстояние прыжка и прыгнул, сбил его с ног. Чтобы не кричал, затолкал в рот чалму. Нож с собой не взяли, тяжело нести. Был у меня перочинный ножик, которым консервные банки открывали. Обыкновенный перочинный ножик. Он уже лежал... Оттянул за бороду и перерезал горло.

Был я на должности старшего разведчика. Выходили обычно ночью. С ножом сидишь за деревом... Они идут... Впереди – дозорный, дозорного надо снять. Снимали по очереди... Моя очередь... Дозорный поравнялся с тобой, чуть пропустишь и прыгаешь сзади, главное, схватить левой рукой за голову и горло вверх, чтобы не крикнул. Правой рукой – нож в спину... Под печень... И проткнуть насквозь... У меня потом был трофей... Японский нож, длина тридцать один сантиметр. Этот легко в человека входит. Поерзает и упадет, не вскрикнет. Привыкаешь. Психологически не так было трудно, как технически. Чтобы попасть в верхнюю косточку позвоночника... В сердце... В печень... Каратэ учились. Скрутить, связать... Найти болевые точки – нос, уши, над веком, – точно ударить. Ткнуть ножом надо знать, куда...

Один раз что-то внутри сдало, щелкнуло. Стало жутко. Прочесывали кишлак. Обычно открываешь дверь и, раньше чем войти, бросаешь гранату, чтобы на автоматную очередь не наскочить. Зачем рисковать, с гранатой вернее. Бросил гранату и захожу: лежат женщины, двое мальчиков побольше и один ребенок грудной. В какой-то коробочке... Вместо коляски...

Чтобы не сойти сейчас с ума, надо себя оправдывать. А если это правда, что души убитых смотрят на нас сверху?

Я вернулся домой, я хотел быть хорошим. Но иногда у меня появляется желание перегрызть горло. Я вернулся слепой. Пуля снесла сетчатку с обоих глаз. Вошла в левый висок, в правый вышла. Различаю только свет и тени. Но тех, кому надо перегрызть горло, я знаю... Кому жалко камня на могилы для наших ребят... Кому не хочется давать нам квартиры: «Я вас в Афганистан не посылал...» Кому нет до

нас дела... Во мне все кипит, то, что было. Если бы у меня забрали прошлое? Нет, не отдам. Я только этим живу.

Научился ходить, не видя. Езжу по городу сам, сам в метро, сам на переходах. Сам готовлю, жена удивляется: готовлю вкуснее ее. Я никогда не видел свою жену, но знаю, какая она. Какой у нее цвет волос, какой нос, какие губы... Я слышу руками, телом... Мое тело видит. Я знаю, какой у меня сын... Пеленал его маленького, обстирывал... Сейчас пошу на плечах... Иногда мне кажется, что глаза не нужны. Вы ведь закрываете глаза, когда самое главное происходит. Когда вам хорошо. Глаза нужны художнику, потому что это его профессия. А я научился жить без глаз. Я ощущаю мир... Я его слышу... Для меня слово значит больше, чем для вас, у кого есть глаза.

Для многих я человек, у которого все позади: мол, отвоевался парень. Как Юрий Гагарин после полета. Нет, самое главное у меня – впереди. Я это знаю. Телу не надо придавать большее значение, чем велосипеду, а я в прошлом велосипедист, в гонках участвовал. Тело – тот инструмент, станок, на котором мы работаем, не более. Я могу быть счастливым, свободным... Без глаз... Это я понял... Сколько зрячих не видят. С глазами я был больше слепой, чем сейчас. Хочется от всего очиститься. От всей этой грязи, в которую нас втянули. Только матери сейчас нас понимают и защищают. Вы не знаете, как страшно бывает ночью? Когда снова, в который раз, прыгаешь с ножом на человека... И только во сне я бываю ребенком... Ребенку кровь не страшна, он ее не боится, потому что ему неизвестно, что это такое. Красная водичка... Дети – естествоиспытатели, им охота все разобрать, понять, как и что устроено. Я теперь и во сне крови боюсь».

*Рядовой, разведчик*

«...На кладбище летишь, как на встречу. Будто сына увижу. Первые дни ночевала там. И не страшно. Я теперь полет птиц очень понимаю, и как трава колышется. Весной жду, когда цветок ко мне из земли вырвется. Подснежники посадила... Чтобы скорее дожждаться привета от сына... Они оттуда ко мне поднимаются... От него...

Сиж у него до вечера. До ночи. Иногда как закричу, и сама не услышу, пока птицы не поднимутся. Шквал вороний. Кружат, хлопают надо мной, я и опомнюсь... Перестану кричать... Все четыре года каж-

дый день прихожу. Или утром, или вечером. Одиннадцать дней не была, когда с микроинфарктом лежала, не разрешали вставать. А встала, тихонько до туалета дошла... Значит, и до сына добегу, а упаду, так на могилку... В больничном халате убежала...

Перед этим сон видела. Появляется Валера:

– Мамочка, не приходи завтра на кладбище. Не надо.

Прибежала: тихо, ну вот так тихо, словно его там нет. Вот чувствую сердцем – его там нет. Вороны сидят на памятнике, на ограде, и не улетают, не прячутся от меня, как обычно. Поднимаюсь со скамейки, а они мне наперед залетают, успокаивают. Не пускают уйти. Что такое? О чем они хотят предупредить? Вдруг птицы успокоились, поднялись на деревья. И меня потянуло к могилке, и так спокойно на душе, тревога прошла. Это дух его вернулся. «Спасибо, мои птички, что подсказали, не дали уйти. Вот и дождалась сыночка...» Среди людей мне плохо, одиноко. Хожу неприкаянная. Что-то со мной говорят, тормозят, мешают. А там мне хорошо. Мне хорошо только у сына. Меня или на работе, или там можно найти. Там, на могилке... там мой сын вроде как живет... Я высчитала, где лежит его голова... Сажусь рядышком и все ему рассказываю... Какое у меня было утро, какой день... Вспоминаем с ним... Смотрю на портрет... Глубоко смотрю, долго... Он или немножко улыбнется, или, чем-то недовольный, нахмурится. Вот так с ним и живем. Если я покупаю новое платье, то только чтобы к сыну прийти, чтобы он меня в нем увидел... Раньше он передо мной на колени становился, теперь я перед ним... Всегда: открою калиточку и стану на колени:

– Доброе утро, сынок... Добрый вечер, сынок...

Всегда с ним. Хотела мальчика из детдома взять... Чтобы на Валеру похожий. Да сердце больное. Как в темный туннель, загоняя себя на работу. Если у меня будет время сесть на кухне и посмотреть в окно, я сойду с ума. Спасти меня могут лишь мучения. Я ни разу за эти четыре года не была в кино. Продала цветной телевизор, и деньги эти пошли на памятник. Я радио ни разу не включила. Как сыночек погиб, у меня все изменилось: лицо, глаза, даже руки.

Я по такой любви вышла замуж. Выскочила! Он летчик, высокий, красивый. В кожаной куртке, унтах. Медведь. Это он будет моим мужем?! Девчонки ахнут. Зайду в магазин, ну почему наша промышленность не выпускает домашние тапочки на каблуках?! Я против него

такая маленькая. Как я ждала, чтобы он заболел, чтобы закашлял, чтобы у него был насморк. Тогда на целый день останется дома, я буду ухаживать за ним. Безумно хотела сына. И сын, чтобы как он. Такие глаза, такие уши, такой нос. Как будто кто-то подслушал на небе – сын весь в него, капелька в капельку. Я не могла поверить, что эти двое замечательных мужчин мои. Не могла поверить! Любила дом. Любила стирать, гладить. Так любила все, что на паучка не наступлю, муху, божью коровку поймаю в доме, в окошко выпущу. Пусть все живет, любит друг друга – я такая счастливая! Звоню в дверь, включаю в коридоре свет, чтобы сын меня увидел радостной:

– Лерунька (звала его в детстве Лерунька), это я. Соску-у-чилась!!  
– Из магазина или с работы бегу.

Я безумно любила сына, я и сейчас его люблю. Принесли фотографии с похорон... Не взяла... Еще не верила... Я – верный пес, я из тех собак, что умирают на могиле. И в дружбе всегда была верная. Молоко из груди течет, а мы с подружкой договорились встретиться, я должна ей отдать книгу. Полтора часа стою на морозе, жду, ее нет. Человек не может просто так не прийти, раз обещал, что-то случилось. Бегу к ней домой, а она спит. Она не могла понять, почему я плачу. Я ее тоже любила, я ей платъе подарила самое любимое – голубое. Такая я. В жизнь медленно входила, робко. Некоторые смелее. Не верила, что меня можно любить. Говорили: красивая, – не верила. Я шла в жизни с отставанием. Но если я что-то запоминала, заучивала, то это на всю жизнь. И все с радостью. Полетел в космос Юрий Гагарин, мы с Лерунькой выскочили на улицу... Мне хотелось всех любить в эту минуту... Всех обнять... Мы кричали от радости...

Я безумно любила сына. Безумно. И он меня безумно любил. Могла меня так тянет, как будто он меня зовет...

У него спрашивали:

– Девушка у тебя есть?

Он отвечал:

– Есть. – И показывал мой студенческий билет, где у меня еще кося длинные-длинные.

Он любил танцевать вальс. Пригласил меня на первый свой вальс в школе на выпускном вечере. А я не знала, что он умеет танцевать, научился. Мы с ним кружились.

Вяжу у окна вечером, жду его. Шаги... Нет, не он. Шаги... Мои шаги, сына моего... Ни разу не ошиблась. Садимся друг против друга и до четырех утра говорим. О чем говорим? Ну о чем говорят люди, если им хорошо? Обо всем. О серьезном и о пустяках. Хохочем. Он мне напоеет, сыграет на пианино.

Гляну на часы:

– Валера, спать.

– Давай, матушка, еще посидим.

Он звал меня: матушка моя, матушка моя золотая.

– Ну, матушка моя золотая, твой сын поступил в Смоленское высшее военное училище. Рада?!

Сел за пианино:

*Господа офицеры – голубые князья!*

*Я, наверно, не первый,*

*И последний не я...*

Мой отец – кадровый офицер, погиб, защищая Ленинград. Дед был офицером. Сына сама природа слепила военным человеком: рост, сила, манеры... Ему бы в гусары... Белые перчатки... Карты, преферанс... «Моя военная косточка», – веселилась я. Хотя бы на нас что-нибудь капнуло с небес господних...

Все ему подражали. Я, мама, подражала ему. Садилась, как он, у пианино. Иногда начинала ходить, как он. После его смерти особенно. Я так хочу, чтобы он всегда присутствовал во мне...

– Ну, матушка моя золотая, твой сын уезжает.

– Куда?

Молчит. Сажу в слезах:

– Сыночек, куда ты едешь, дорогой?

– Что «куда»? Уже известно, куда. Матушка моя, за работу. Будем начинать с кухни... Друзья придут...

Мгновенно догадываюсь:

– В Афганистан?

– Туда. – И такое сделал лицо, не подступиться, железный занавес опустил.

Ворвался в дом Колька Романов, его друг. Как колокольчик, все рассказал: они еще с третьего курса подавали рапорт с просьбой отправить их в Афганистан.

Первый тост: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Весь вечер Валера пел мои любимые романсы и:

*Господа офицеры – голубые князя!  
Я, наверно, не первый,  
И последний не я..*

Четыре недели оставалось. Утром перед работой захожу в его комнату, сижу и слушаю, как он спит. Спал он тоже красиво.

Как природа нам стучала в дверь, как подсказывала. Вижу сон: я на черном кресте в черном длинном платье... И ангел меня на кресте носит... Я еле-еле вишу... Решила глянуть, куда же я упаду... В море или на сушу?.. Вижу – внизу котлован, залитый солнцем.

Ждала его в отпуск. Он долго не писал. Звонок на работу:

– Матушка моя золотая, я прибыл. Не задерживайся. Суп готов.

Я закричала:

– Сыночек, сыночек! Ты не из Ташкента? Ты дома! В холодильнике кастрюля твоего любимого борща!!

– Ох ты! Кастрюлю видел, но крышку не поднимал.

– А у тебя что за суп?

– Суп – мечта идиота. Выезжай. Иду встречать к автобусу.

Приехал весь седой. Не признался, что не в отпуске, а отпросился из госпиталя: «Матушку повидать на два дня». Дочка видела, как катался по ковру, рычал от боли. Гепатит, малярия – все вместе привязалось к нему. Предупредил сестру:

– То, что сейчас было, это не для мамы. Иди, читай книгу..

Опять я заходила перед работой в его комнату, смотрела, как он спит. Открыл глаза:

– Что, матушка моя?

– Почему не спишь? Еще рано.

– Сон я видел плохой.

– Сыночек, если плохой, надо перевернуться. Будет хороший. И не надо рассказывать плохих снов, тогда они не сбываются.

Провожали его до Москвы. Стояли солнечные майские дни. Калужница цвела...

– Как там, сынок?

– Афганистан, матушка моя, это то, что нам делать нельзя.



Только на меня смотрел, больше ни на кого. Протянул руки, лбом потерялся:

– Я не хочу ехать в эту яму! Не хочу!! – Пошел. Оглянулся. – Вот и все, мама.

Никогда не говорил «мама», всегда «матушка моя». Солнечный прекрасный день. Калужница цвела... Дежурная в аэропорту смотрела на нас и плакала...

Седьмого июля просыпаюсь без слез... Стеклянными глазами уставилась в потолок... Он меня разбудил... Как бы пришел попрощаться... Восемь часов... Надо собираться на работу... Мечусь с платьем из ванной в комнату, из одной комнаты в другую... Не могу надеть почему-то светлое платье... Меня кружило... Никого не видела... Все плыло... А к обеду успокоилась, к середине дня...

Седьмое июля... Семь сигарет в кармане и семь спичек... Семь снятых кадров в фотоаппарате... Семь писем ко мне... И семь писем невесте... Книга, раскрытая на седьмой странице... Коба Абэ, «Контейнеры смерти»...

Секунды три-четыре у него было, чтобы спастись... Они летели с машиной в пропасть.

– Ребята, спасайтесь! А мне – концы. – Он не мог прыгнуть первым. Оставить друга. Он этого не мог.

«... Пишет вам заместитель командира полка по политической части майор Синельников С.Р.

Я, выполняя свой солдатский долг, считаю необходимым сообщить вам, что старший лейтенант Волович Валерий Геннадьевич погиб сегодня в десять часов сорок пять минут...»

Уже весь город знает... В Доме офицеров черный креп висит и его фотография... Уже самолет с гробом вот-вот приземлится... Мне ничего не говорят... Никто не решается... На работе моей все ходят заплаканные...

– Что случилось?

Отвлекают под разными предлогами. Заглянула в дверь приятельница. Потом наш врач в белом халате. Я как просыпаюсь:

– Люди! Что вы, с ума сошли? Такие не гибнут. – Стала стучать по столу. Подбежала к окну, стучала в стекло.

Сделали укол.

– Люди! Вы что, с ума сошли? Спятели?..

Еще укол. Меня никак не брали уколы. Говорят, я кричала:

– Я хочу его видеть. Ведите меня к сыну.

– Ведите, иначе она не выдержит.

Длинный гроб, необтесанный... И желтой краской большими буквами: «Волович». Я подняла гроб. Хотела с собой забрать. У меня лопнул мочевой пузырь...

Нужно место на кладбище... Место сухое... Сухонькое... Нужно пятьдесят рублей? Я дам, дам. Только хорошее место... Сухонькое... Я понимаю там, внутри, что это ужас, а сказать не могу... Место сухонькое... Первые ночи не уходила... Там оставалась... Меня домой отведут, я назад... Скосили сено... В городе и на кладбище сеном пахло...

Утром встречаю солдата:

– Здравствуйте, мама. Ваш сын был у меня командиром. Я готов вам все рассказать.

– Ой, сынок, подожди.

Пришли домой. Он сел в кресло сына. Начал и раздумал:

– Не могу, мама...

Когда захожу к нему – поклонюсь, и когда ухожу – поклонюсь. Дома я только тогда, когда гости. Мне у сына хорошо. Я и в мороз там не замерзаю. Там письма пишу. Возвращаюсь ночью: горят фонари, едут машины с включенными фарами. Возвращаюсь пешком. У меня внутри такая сила, что ничего не боюсь: ни зверя, ни человека.

Стоят в ушах слова сына: «Я не хочу ехать в эту яму! Не хочу!» Кто за это ответит? Должен за это кто-то отвечать? Я хочу долго прожить, очень стараюсь для этого. Самое незащитное у человека – это его могилка. Его имя. Я всегда защищу своего сына... К нему приходят товарищи... Друг ползал перед ним на коленках: «Валера, я весь в крови... Вот этими руками я убивал... Из боев не вылезал... Я весь в крови... Валера, я теперь не знаю, что лучше было: погибнуть или жить? Я теперь не знаю». Хочу понять, кто ответит? Почему не называют их имена?

Как он пел:

*Господа офицеры – голубые князья!*

*Я, наверно, не первый,*

*И последний не я...*

Ходила в церковь, с батюшкой беседовала.

– У меня сын погиб. Необыкновенный, любимый. Как мне теперь себя вести с ним? Какие наши русские обычаи? Мы их забыли. Хочу их знать.

– Он крещеный?

– Батюшка, мне очень хочется сказать, что он крещеный, но нельзя. Я была женой молодого офицера. Мы жили на Камчатке. Под вечным снегом... В снежных землянках... Здесь у нас снег белый, а там голубой и зеленый, перламутровый. Он не блестит и не режет глаза. Чистое пространство... Звук идет долго... Вы меня понимаете, батюшка?

– Матушка Виктория, плохо, что некрещеный. Наши молитвы к нему не дойдут.

У меня вырвалось:

– Так я окрещу его сейчас! Своей любовью, своими муками. Через муки я его окрещу...

Батюшка взял мою руку. Она дрожала:

– Нельзя так волноваться, матушка Виктория. Как часто ходишь к сыну?

– Каждый день хожу. А как же? Если бы он жил, мы каждый день с ним бы виделись.

– Матушка, нельзя его беспокоить после пяти вечера. Они уходят на покой.

– Я на службе до пяти, а после службы подрабатываю. Памятник новый ему поставила... Две с половиной тысячи... Долги надо отдать.

– Слушай меня, матушка Виктория, в выходной день приходи обязательно и каждый день к обедне – к двенадцати часам. Тогда он тебя слышит.

Дайте мне муки, самые печальные, самые страшные, пусть только доходят до него мои молитвы, моя любовь».

*Мать*

---

## Из дневниковых записей ПОСЛЕ КНИГИ

**19 января 1990 года**

Я слышу мир через человеческие голоса. Они всегда гипнотизируют меня, оглушают и очаровывают. У меня большое доверие к самой жизни. Наверное, это мое видение мира. Вначале мне казалось, что опыт первых двух книг в этом жанре – «жанре голосов» (так зову его про себя) будет помехой в работе, всюду придется наткаться на самое себя. Напрасный страх. Совершенно другая война, другое оружие – более мощное и беспощадное; взять, к примеру, пулемет и ракетную установку «Град», способную распылить скалу; другая человеческая психология – мальчишек вырвали из обыкновенной жизни: училище, школа, музыка, танцплощадка – и бросили в ад, в грязь. Восемнадцатилетних мальчиков, десятиклассников, которым можно было внушить все. Это потом к ним придет: «Я ехал на Великую Отечественную войну, а попал на другую», «Хотел стать героем, а теперь не знаю, кого из меня сделали». Прозрение придет, но придет не скоро и не ко всем.

«Два условия требуются для того, чтобы страна увлеклась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране и во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью...» (Э. Хемингуэй. «Смерть после полудня»).

Сразу же после первых публикаций отрывков из книги в нескольких газетах и белорусских журналах на меня обрушился шквал мнений, оценок, убеждений и предубеждений, вопросов и даже окриков (без которых мы все еще не мыслим духовную жизнь общества). Писали, звонили, приходили. Меня не покидало все время чувство, что книга еще пишется...

### **Из писем:**

«Невозможно читать... Хочется плакать, кричать... Может, только сейчас понял, что это была за война... Бедные мальчики, как мы перед ними виноваты! Что мы знали об этой войне? Каждого бы обнял, у каждого попросил прощения... Я не ездил на эту войну, но я был на этой войне.

Теперь вспоминаю, как это было со мной. С нами...

Читал у Ларисы Рейснер, что Афганистан – полудикие племена, приплясывая, напевают: «Слава русским большевикам, которые помогли нам победить англичан».

Апрельская революция. Удовлетворение: еще в одной стране победил социализм. А сосед в поезде шепотом: «Новые нахлебники на нашу шею».

Смерть Тараки. На семинаре в горкоме на вопрос, почему позволили Памину убить Тараки, лектор из Москвы отрезал: «Слабые должны уступить место сильным». Впечатление было неприятным.

Наш десант в Кабуле. Объяснение: «Американцы собирались бросить свой десант, мы опередили их всего на один час». Одновременно слухи: нашим там плохо, нечего есть, нет теплой одежды. Сразу вспомнились события на Даманском и жалобные крики наших солдат: «Нет патронов!!»

Потом появились афганские дубленки. Выглядели они на наших улицах шикарно. Другие женщины завидовали тем женщинам, у которых мужья были в Афганистане. В газетах писали: наши солдаты сажают там деревья, ремонтируют мосты, дороги.

Ехал из Москвы. В купе молодая женщина и ее муж заговорили об Афганистане. Я сказал что-то газетное, они усмехнулись. Они уже два года врачами в Кабуле. Сразу начали оправдывать военных, которые привозят оттуда товар... Там все дорого, а платят мало. В Смолен-

ске помог им высадиться. Много больших картонных коробок с импортными наклейками...

У себя дома рассказ жены: в соседнем доме у одинокой женщины единственного сына отправляли на эту войну. Куда-то ездил, ползала на коленях, целовала сапоги. Вернулась довольная: «Выпросила!» И в то же время спокойно о том, что «начальство своих выкупает».

Вернулся из школы сын. «Выступали «Голубые береты». – С восторгом: – Какие у них у всех японские часы!»

У одного «афганца» спросил, сколько стоят такие часы и сколько им платили. После заминки открылся: «Украла машину овощей, продали...» Признался, что все завидовали солдатам на топливозаправщиках: «Миллионеры!»

Из последних событий запомнилась травля академика Сахарова, с которым я согласен в одном: для нас всегда лучше мертвые герои, чем живые люди, может, в чем-то оступившиеся. И еще: недавно услышал, что в Загорске в духовном учебном заведении учатся «афганцы» – рядовые и два офицера. Что двигало ими: раскаяние, желание спрятаться от этой жестокой жизни или желание обрести хоть какую-то духовность? Не все ведь могут, получив ветеранские коричневые корочки, закормить душу льготным мясом, переодеть ее в импортное барахло и закопать на привилегированном садовом участке под яблонькой, чтобы ничего не видеть и молчать...»

*Н. Гончаров, г. Орша*

«Я из тех, кто там был. Хотя мне с каждым годом все труднее отвечать на вопрос: «Ты не солдат, зачем туда поехала?». Что женщине было там делать? Чем больше проклятий в адрес этой войны, тем хуже к нам, вернувшимся оттуда, относятся. Нас все больше не понимают.

Это была спрятанная война, как ее сейчас назвали. Люди вокруг удивлялись: «Едешь в Афганистан? Зачем? Там убивают?» А мы – жертвы слепой веры. Нам говорили об идеалах Апрельской революции. Мы поверили, потому что мы все привыкли верить, со школьной скамьи. Я убеждаю вас, что это было именно так. Со всеми! Вернулись мы другими. Было желание пойти и рассказать кому-то правду. Я ждала, что кто-то первый начнет, что это все равно когда-то произойдет...

Если бы передо мной снова встал этот выбор, сейчас бы я в Афганистан не поехала. «Убери! Сотри из памяти, чтобы никто не знал, что ты там была», – пишет мне подруга. Нет, стирать не буду, а разобраться хочу. Время, которое там осталось... Эти годы... Они могли пройти по-другому, в другом месте... Нет, если быть глубоко честной, то я не жалею. Осталось чувство, что ты разделила эту тяжесть, что там нам удалось испытать большие порывы. Там мы поняли, что нас обманули. Там задумались: почему мы так легко обманулись? Почему нас так просто обманывать? Помню, как у меня расширились глаза, когда я увидела, как много женщин едет на эту войну. Не представляла ничего подобного. Ехала и думала, что я одна такая идиотка, в душе все-таки считала себя ненормальной. А таких, оказалось, тысячи. Конечно, у каждой присутствовал и практический интерес – хотелось заработать, может, и личную судьбу устроить, но наверху, в душе, все-таки жила вера. Мы ехали, чтобы стать нужными, чтобы помочь. Я считала, что женщина должна быть на любой войне. Может, я не могла представить себе другую войну, не такую, как Великая Отечественная. Разве может военный госпиталь обойтись без женщин? Лежат обожженные... Лежат истерзанные... Даже просто руку положить, передать какой-то заряд. Это же милосердие! Это же для женского сердца работа. Встречала там мальчиков, которые сами напрашивались в опасные операции. Они проявляли героизм, не задумываясь. Они погибали.

Простите, что так сбивчиво высказываю свои мысли. Очень волнуюсь. О многом хочется сказать...

Несмотря ни на что, мы оставались романтиками. Верили! Самое страшное произошло потом: уезжали мы из государства, которому эта война была нужна, вернулись в государство, которому эта война не нужна. Обидно не за то, что нам что-то не дали, недодали, нет. Нас вычеркнули. Еще недавно это называлось «интернациональным долгом», сейчас – глупостью. Когда эту грань перешагнули? Самый большой вопрос. Ищу сравнение... Альпинист поднялся в горы, очень высоко был... И упал, сломал ногу... Его все время тянет в горы... Его всю жизнь будет тянуть в горы... В нас живет ностальгия... Особенно у мужчин. Они рисковали жизнью, они убивали. И они считают, что они какие-то особенные, раз они убивали. Их коснулось что-то, что не коснулось других. Может, это болезнь какая-то в нас сидит... Или мы еще не вернулись?..»

*Г. Халиуллина, слушающая*

Когда началась война в Афганистане, мой сын только окончил школу и поступил в военное училище. Все эти десять лет, пока другие сыновья находились в чужой стране с оружием в руках, сердце мое было не на месте. И мой мальчик мог оказаться там. И неправда, что народ ничего не знал. Привозили в дома цинковые гробы, возвращались к ошеломленным родителям искалеченные дети – это же видели все. Конечно, по радио и телевизору об этом не говорили, вы в своей газете об этом не писали (недавно осмелели!), но ведь это на глазах у всех происходило. У всех! А что же тогда делало наше «гуманное» общество, и мы с вами в том числе? А наше общество вручало «великим» старцам очередные Звезды, выполняло и перевыполняло очередные пятилетки (правда, в наших магазинах как было, так и оставалось пусто), строило дачи, развлекалось. А восемнадцатилетние–двадцатилетние мальчики в это время шли под пули, падали лицом в чужой песок и погибали. Кто же мы такие? По какому праву мы можем спросить у наших детей за то, что они там творили? Разве мы, которые оставались здесь, чище их? И хотя их страдания и муки очистили от грехов, а вот нам уже никогда не очиститься. Расстрелянные и стертые с лица земли кишлаки, разоренная чужая земля не на их совести, а на нашей с вами. Убивали мы, а не наши мальчики. Это мы – убийцы и своих детей, и чужих.

А мальчики эти – герои! И не за «ошибку» они там воевали. Они воевали, потому что они нам верили. Нам всем надо стоять на коленях перед ними. От одного сравнения, что делали мы тут, с тем, что выпало им, можно сойти с ума...»

*А. Голубичная, инженер-строитель, г. Киев*

«Конечно, сегодня Афганистан – тема выгодная и даже модная. И вы, т. Алексиевич, можете уже сейчас радоваться. Вашу книгу будут читать взахлеб. Нынче у нас в стране развелось немало людей, которых интересует все, чем можно измазать стены собственного Отечества. Будут среди них и некоторые «афганцы». Ибо они (не все, не все!) получают в руки так нужное им оружие защиты: посмотрите, что с нами сделали! Подлые люди всегда нуждаются в чьей-то защите. Порядочным это не нужно только потому, что в любой ситуации они остаются порядочными. Среди «афганцев» таких вполне достаточно, но вы, кажется, искали не их.



Я не был в Афганистане, но прошел всю Великую Отечественную войну. И отлично знаю, что грязь была и там. Но я не хочу о ней вспоминать и никому другому не позволю. Дело не только в том, что та война была иная. Глупость! Всем известно, человек, для того чтобы жить, обязан питаться, а употребление пищи требует, извините, и отхожих мест. Но мы же об этом вслух не говорим. Почему же об этом стали забывать пишущие об «афганской», да и об Отечественной войне? Если сами «афганцы» протестуют против подобных «откровений», надо прислушаться, изучить этот феномен. Мне, например, понятно, отчего они так яростно восстают. Существует нормальное человеческое чувство – стыд. Им стыдно. А вы заметили их стыд, но почему-то решили, что этого мало. И решили вынести его на всеобщее судилище. Там они расстреливали верблюдов, там погибали от их пуль мирные жители... Вы хотите доказать ненужность и ущербность этой войны, не понимая, что тем самым оскорбляете ее участников, ни в чем не повинных мальчишек...»

*Н. Дружинин, г. Тула*

### **Из звонков:**

– Ладно, мы не герои, а сейчас получается, что мы – убийцы. Убивали женщин, детей, домашних животных. Может, через тридцать лет я сам скажу сыну: «Сын, не все было так героически, как написано в книгах, была и грязь». Я сам скажу, но через тридцать лет... А сейчас это еще живая рана, только-только начала заживать, затягиваться пленочкой. Не сдирайте! Больно... Очень больно...

– Как вы могли! Как смели облить грязью могилы наших мальчиков! Они до конца выполнили свой долг перед Родиной. Вы хотите, чтобы их забыли... По всей стране созданы сотни школьных музеев, уголков. Я тоже отнесла в школу шинель сына, его ученические тетрадки. Они служат примером. Зачем нам ваша страшная правда? Я не хочу ее знать! Мечтаете славу нажить на крови наших сыновей. Они – герои! Герои!!! О них красивые книги надо писать, а не делать из них пушечное мясо.

– На могильной плите сына выбила: «Помните, люди: он погиб ради жизни живым». Теперь я знаю, что это неправда, не ради жизни живых он погиб. Сначала обманули меня, потом я помогла обмануть его. Мы все так умели верить. Я твердила ему: «Люби Родину, сынок, она тебя никогда не предаст, не разлюбит». Теперь я хочу другие слова написать на его могиле: «За что?!»

– Мне принесли газету соседи: «Прости. Это та война, о которой ты нам рассказывала». Я не верила. Я не верила, что это можно написать, напечатать. Мы ведь давно привыкли жить в двух измерениях: в газетах и книгах – одно, а в жизни – совсем другое. И если газеты похожи на жизнь, мы скорее испытываем внутренний дискомфорт, чем удовлетворение. Все было так, как вы пишете, даже было еще страшнее и безвыходнее. Хочу вас видеть, хочу рассказать...

– Я каждое утро вижу затылок сына, но до сих пор не верю, что он дома. Когда он был там, я себе говорила, если привезут гроб, то у меня два пути: на улицу на митинг или в церковь. Приглашали в школу, где он учился: «Расскажите о сыне, у него два ордена Красной Звезды». Нет, я не пошла в школу. Мне сорок пять лет. Свое поколение я называю «поколением исполнителей». Афганская война – пик нашей трагедии. Вы попали в самый нерв, потому что спросили нас и наших детей: кто мы? Почему с нами можно делать все?

– На работе у себя услышала: «Ах, какие они страшные!» Об «афганцах». Да мы все сейчас такие. Они такими отсюда уехали, а не вернулись оттуда такими. Я иногда даже думаю, что война была для них более чистым временем, чем наша действительность. Вот почему они тоскуют.

– Сколько можно нас превращать в душевнобольных, насильников, наркоманов? Нам там кричали другое: прорабы перестройки, встряхните дома стоячее болото! Мы вернулись, чтобы навести порядок... А нас не пускают... Нам твердят: «Учитесь, ребята... Семьи заводите...» Для меня это было потрясением: кругом спекуляция, мафия, равнодушие – а нас к серьезному делу не подпускают... Я был в растерянности, пока мне один умный человек не объяснил: «А что вы умеете? Только стрелять... А что вы знаете? Что Родину только с

пистолетом защищают? Что справедливость только автоматом восстанавливают?» Только тогда я задумался... Сказал себе: будь проклят мой автомат... Он действительно все еще висит у меня за спиной.

– Читала и плакала. Но перечитывать вашу книгу не буду. Из-за элементарного чувства самосохранения. Не уверена, надо ли нам узнавать о себе такое? Слишком страшно. Остается в душе пустота. Не веришь человеку. Боишься человека.

– Послушайте, как вы все надоели! Почему, если и пишете о девочках, которые были в Афгане, то обязательно выставив их в роли проституток? Я не отрицаю, было и такое, но не со всеми. Прямо душа рвется на крик. Зачем нас всех под одну гребенку? Загляните в наши души, что там творится.

Первые полгода после возвращения я не могла уснуть ночью. А когда засыпала, неизменно снились трупы, обстрелы. В ужасе вскакивала. Закрою глаза, все повторяется снова. Не выдержала, пошла к невропатологу. Не просила больничный лист, хотя бы таблетки, совет, а услышала: «Вы что, так много трупов видели?» Ох, как мне хотелось заехать по его молодой роже. Конечно, ни к какому врачу я больше не пошла. С каждым днем я все больше и больше не хочу жить. Никого не хочу видеть и слышать. А спрятаться нигде – проклятый жилищный вопрос! Я ничего ни у кого не прошу, мне уже ничего не надо. Но помогите тем, кто еще ждет от вас помощи. С тем, с кем я переписываюсь, творится то же самое, и с остальными тоже. Но я вам не верю. Хотите убедить всех, что мы – жестокие. А догадываетесь ли, какие жестокие вы?

Имени своего не называю. Считайте, что меня уже нет.

– Вы хотите меня убедить, что вернулось большое поколение, а я утверждаю, что вернулось найденное поколение. Мы хотя бы посмотрели, какие наши парни – в настоящей жизни! Да, гибли мальчишки. А сколько их гибнет в пьяной драке, в поножовщине? Где-то читал (но жаль, не запомнил цифру), что в автомобильных катастрофах за один год гибнет людей больше, чем мы потеряли за все десять лет этой войны. Наша армия давно не воевала. Тут мы проверяли себя, современное оружие... Эти мальчишки все – герои! А из-за таких, как вы, мы сегодня сдаем свои позиции во всем мире... Польшу потеря-

ли... Германию потеряли... Чехословакию... Скажите мне, где наша великая держава? А я за нее до Берлина в сорок пятом дошел...

– Мы требуем к себе справедливости... И только сейчас я спросил себя: но сами мы пришли с войны, где не было справедливости... Откуда у нас такое обнаженное чувство справедливости? Право на нее... Прошу мою фамилию не называть... Не хочу косых взглядов...

– Зачем об ошибках?.. Думаете, эти разоблачительные публикации в газетах... Думаете, они помогают? Мы лишаем молодежь нашей героической истории. Люди там гибли, а вы об ошибках пишете... Получается, что герои не те, кого в инвалидных колясках матери возят, у кого под джинсами протезы, а те, кто ноги себе на мотоциклах ломал, чтобы в армию не попасть, кто в плен сдавался?

– На юге у моря я видела, как несколько молодых парней ползли на руках по песку к морю... Ног у них было меньше, чем их самих, вместе взятых... И я не пошла больше на пляж, я не могла там загорать, я могла там только плакать. Они еще смеялись, хотели ухаживать за девочками, а все от них бежали, как я. Я хочу, чтобы у этих ребят все было хорошо. Чтобы они знали: они нужны нам такие, какие они есть. Им надо жить! Я люблю их за то, что они живы.

– У меня там погиб единственный сын. Я утешался тем, что воспитал героя, а если верить вам – не героя, а убийцу и захватчика. Что же получается? Мужество и отвага наших сыновей, когда они, смертельно раненные, взрывали гранату у себя на груди, чтобы не уронить чести советского солдата, или ложились на гранату, чтобы спасти от гибели своих боевых товарищей, – обман?!

Зачем? С какой целью вы поднимаете темное, а не светлое, высокое в человеке? Забыли Горького: «Человек – это звучит гордо!»?

– Как я понимаю, ваш идеал – «Рэмбо из Тамбова»? А нас воспитывали на Павке Корчагине...

– Да, были там преступники, наркоманы, мародеры. А что, в нашей мирной жизни таких нет? Воевавшие в Афгане – жертвы, на та-

кой оценке я настаиваю. И все они нуждаются в психологической реабилитации.

Я где-то читал исповедь американского солдата, ветерана войны во Вьетнаме, он говорил страшную вещь: «У нас в Америке спустя восемь лет после окончания войны количество самоубийц – бывших солдат и офицеров – сравнялось с количеством боевых потерь». Нам надо думать о душах наших «афганцев»...

– Миллион (или пусть даже сотни тысяч) жизней, погубленных на «той стороне», – это люди, которые боролись за свои интересы и свою свободу. И посягательство на их человеческие права не есть геройство, под каким бы «соусом» оно нам сегодня ни подавалось. Хотя там и погибнуть можно было, и проявить порочную удачу. Главный критерий – во имя чего все это? Довольно геройствовать, «афганцы»! Мы вам сочувствуем. Парадокс!.. Да, угнетенные, безнравственные люди могли быть вынуждены участвовать в войне. Но они, и сами погибая, несли разрушения и смерть другому народу. И это уже не подвиг, а преступление, если хотите. Покаяние должно принести вам облегчение, участники бесславной эпопеи.

Опубликуйте мое мнение. Я хочу знать, какую грязь выльют на меня «герои нашего времени».

– Я не знаю, что мой сын делал в Афганистане и почему он там был. Еще шла война, я об этом говорил. Меня чуть из партии не исключили. Исключили бы, если бы как раз в это время сына не привезли в цинковом гробу... Я не смог его даже похоронить по русскому обычаю... Как в старину говорили: под образами и на полотенцах...

– Мне до сих пор мучительно вспоминать... Мы ехали в поезде... И в купе одна из женщин сказала, что она мать офицера, погибшего в Афганистане... Я понимаю... Она – мать. Она плачет... Но я сказала: «Ваш сын погиб не неправой войне... Душман защищал свою родину...»

– Забрали детей... Уничтожили... За что? Они что – Родину защищали? Южные границы... А ты сиди сейчас одна в двух комнатах, плачь... Три года уже... Каждый день на кладбище... Там мы свадьбы играем, внуков своих бабуляем...

– Звонят из воскомата по телефону: «Приходите, мамаша, орден за сына получить». Дали орден Красной Звезды... «Скажите, мамаша, слово». – «Посмотрите, – показываю орден, – это кровь моего дитенка». Вот мое слово...

– Нас еще позовут, нам еще дадут в руки оружие, чтобы мы навели в стране порядок. Думаем, что очень скоро кое-кому придется ответить за все! Только печатайте больше фамилий и не скрывайтесь за псевдонимами.

– Обыватель сейчас во всем обвинит этих восемнадцатилетних мальчиков... Вот что вы сделали... Эту войну надо от них отделить... Война была преступная, ее уже осудили, а мальчиков надо защищать.

– Я – учитель русской литературы. Много лет повторял своим ученикам слова Карла Маркса: «Смерть героев подобна закату солнца, а не смерти лягушки, лопнувшей от натуги». Чему учит ваша книга?

– Из потерянных людей нас хотят превратить в надежных защитников системы (мы уже проверены на верность ей). И сегодня снова посылают в Чернобыль, в Тбилиси, в Баку, на разорвавшийся газопровод...

– Я не хочу рожать детей... Боюсь... Что они скажут, когда вырастут? Обо мне... Я была там... Об этой войне... Война была грязная, так надо и называть ее грязной... Мы промолчим... Дети скажут.

– Стыдно признаться... Вернулся оттуда, жалел, что у меня нет ордена... Даже медальки нет... А теперь рад, что никого не убил...

– У нас человек много загоняет в подполье... Мы ничего не знаем о себе... Что, например, нам известно о жестокости подростков? Какая у нас литература, наука об этом? А зачем она нам была до недавнего времени: советские подростки – самые лучшие в мире. У нас нет наркомании, нет насилия, грабежей. Оказалось, что все есть, в полном наборе. А там этим подросткам еще дали в руки оружие... И внушили – вот он, враг: душманская банда, душманская братия, душ-

манское отребье, бандформирования душманов, бандитские группировки... Они возвращаются и рассказывают, как стреляли, как забрасывали дувал гранатами... Как убитые лежали... И для них это была норма... Прости им, Господи, ибо не ведали, что творили...

У кого спросить, вслед за Артуром Кестлером: «Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит как ложь?.. Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами?»

Расстреливая притихшие кишлаки, бомбя дороги в горах, мы расстреливали и бомбили свои идеалы. Эту жестокую правду надо признать. Пережить. Даже наши дети научились играть в «духов» и в «ограниченный контингент». Теперь давайте все-таки наберемся мужества узнать о себе правду. Невыносимо. Нестерпимо. Знаю. На себе проверила. До сих пор стоит в ушах крик двадцатилетнего мальчишки: «Не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу!!! Если это ошибка, верните мне мои ноги... Две мои ноги...» Тот, что на соседней койке, говорил спокойно, тихо: «Назвали четыре имени... Четырех мертвых... И больше нет виноватых... Нас будете судить!! Да, убивали! Да, стреляли... Вы оружие нам вручили в «Зарницу» играть с братьями по классу?.. Вы думали, ангелы возвратятся?!»

Два пути: познание истины или спасение от истины. Опять спрячемся?

У Ремарка в «Черном обелиске»: «Странная перемена, начавшаяся вскоре после перемирия, продолжается. Война, которую почти все солдаты в 1918 году ненавидели, для тех, кто благополучно уцелел, постепенно превратилась в величайшее событие их жизни. Они вернулись к повседневному существованию, которое казалось им, когда они еще лежали в окопах и проклинали войну, каким-то раем. Теперь опять наступили будни с их заботами и неприятностями, а война воспринимается как что-то смутное, далекое, отжитое. И поэтому, помимо их воли и почти без их участия, она выглядит совсем иначе, она подкрашена и подменена. Массовое убийство представляло как приключение, из которого удалось выйти невредимым. Бедствия забыты, горе просветлело, и смерть, которая тебя пощадила, стала такой, какой она почти всегда бывает в жиз-

ни – чем-то отвлеченным, уже нереальным. Она – реальность, только когда поражает кого-то рядом или тянется к нам самим. Союз ветеранов был в 1918 году пацифистским: сейчас у него уже резко выраженная националистическая окраска. Воспоминания о войне и чувство боевого товарищества, жившее почти в каждом из его членов, Волкенштейн ловко подменил гордостью за войну. Тот, кто лишен национального чувства, чернит память павших героев, этих бедных обманутых павших героев, которые охотно бы еще пожили на свете».

Когда вижу, как надевают «афганскую» форму, прикалывают медаль «От благодарного афганского народа» и идут к ребятам в школу – не понимаю! Когда заставляют мать десять–двадцать раз рассказывать о погибшем сыне, после чего она еле добирается до дома, – не понимаю.

У нас было много богов, одни теперь на свалке, другие в музее. Сделаем же богом Истину. И будем отвечать перед ней каждый за свое, а не, как нас учили, всем классом, всем курсом, всем коллективом... Всем народом... Будем милосердны к тем, кто заплатил за прозренье больше нас. Помните: «Я своего друга... Я свою правду в целлофановом мешке с боевых нес... Отдельно голова... Отдельно руки, ноги... Сдернутая кожа...»

Лев Толстой окончил «Войну и мир» на границах Отечества. Русский солдат пошел дальше, а великий писатель за ним не пошел...

Всю жизнь теперь на нашей земле эти могильные красные камни с памятью о душах, которых уже нет, с памятью о нашей наивной доверчивой вере:

**ТАТАРЧЕНКО  
ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ  
(1961 – 1981)**

Выполняя боевое задание, верный  
воинской присяге, проявив стойкость  
и мужество, погиб в Афганистане.

Любимый Игорек,  
ты ушел из жизни, не познав ее

Мама, папа.



ЛАДУТЬКО  
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ  
(1964 – 1984)

Погиб при исполнении  
интернационального долга.  
Ты честно выполнил свой воинский  
долг. Себя уберечь, мой сыночек,  
не смог. На афганской земле ты погиб,  
как герой, чтоб мирное небо было  
над страной.

Дорогому сыночку от мамы.

БАРТАШЕВИЧ  
ЮРИЙ ФРАНЦЕВИЧ  
(1967 – 1986)

Геройски погиб при исполнении  
интернационального долга.  
Помним, любим, скорбим.

Память родных.

БОБКОВ  
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ  
(1964 – 1984)

Погиб при исполнении  
интернационального долга.  
Зашла луна, погасло солнышко, дорогой  
сыночек, без тебя.

Мама, папа.

ЗИЛФИГАРОВ  
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ  
(1964 – 1984)

Погиб верный воинской присяге.  
Не сбылись желанья, не сбылись мечты,  
рано закрылись глазки твои, Олежек,  
сыночек, братишка родной, не высказать  
боль расставанья с тобой.

Мама, папа, братики и сестрички.

КОЗЛОВ  
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ  
(1961 – 1982)

Погиб в Афганистане.  
Единственному сыночку.

Мама.

БОГУШ  
ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ  
(1960 – 1980)

Погиб при защите Родины.  
Опустела без тебя земля...

---

## ЕЩЕ ОДИН РАССКАЗ ВМЕСТО ЭПИЛОГА, ОН ЖЕ ПРОЛОГ

Кто-то из писателей сказал: «Душа ведь женщина». У души голос женщины, подумала я, когда ко мне пришла еще одна мать и я услышала еще один рассказ. Он стал эпилогом к уже написанной книге, а может, прологом к другой книге, которая еще будет...

«...Он убил человека моим кухонным топориком, я им мясо разделяю... Принес и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила... Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп... По кускам... Звонит мне подруга:

– Читала? Профессиональное убийство... Афганский почерк...

Валик был дома, лежал на диване, книжку читал. Я еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него... С ужасом!..

Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинают об этом говорить, слышу собачий лай. Там, в тюрьме, где он сейчас сидит, большие черные овчарки... И люди все в черном, только в

черном... Вернусь в Минск, иду по улице, из хлебного магазина иду, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай... Оглушающий лай... Я от него слепну... Один раз чуть под машину не попала...

Я готова ходить к могильному холмику своего сына... Готова рядом там с ним лежать... Иногда завидую матерям, которые сидят у могил... Но я не знаю, как вот с этим жить... Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал... Вы не слышите лай собак? Нет?!

Сейчас я не знаю, какой он, мой сын? Какого я его получу через пятнадцать лет? Ему пятнадцать лет дали... Каким я его сделала? Он увлекался бальными танцами... Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили... Это Афганистан отнял у меня сына...

...Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолет такой-то... Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: «Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!», и потеряла сознание. В аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зеленая. Он не верил, что вернулся... Но радости у него на лице не было...

Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил ее к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали детей. Это я потом поняла...

На границе таможенники срезали у него плавки американские, так что он приехал без белья. Вез для меня халат, мне в тот год исполнилось сорок лет, халат у него забрали. Вез бабушке платок – тоже забрали. Он приехал только с цветами, с гладиолусами... Но радости у него на лице не было...

Утром встает еще нормальный: «Мамка! Мамка!» К вечеру лицо темнеет, глаза тяжелые... Не объяснить... Если бы он пил, а то ни капли... Сидит и в стенку смотрит... Сорвется с дивана, за куртку...

Стану в дверях:

– Ты куда, Валюшка?

Он на меня глянет, как в пространство... Пошел...

Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну голос друзей не узнает, но мой, тем более «Валюшка», только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стала примерять, смотрю: у него руки в порезах.

– Что это?

– Мелочь, мамка.

Потом уже узнала... После суда... Он вскрывал себе вены... В «учебке» на показательном учении он, как радист, не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета пятьдесят ведер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание... В госпитале поставили диагноз: легкое нервное потрясение... Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены... Второй раз в Афганистане... Перед тем как идти в рейд, пропали дефицитные детали... Кто-то вытащил... Рация не работала... Командир обвинил его в трусости, что это он детали спрятал... А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики...

По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели...

– Мама, – спрашивал он меня, – а ты знаешь, что такое наркотики?

– Нет, – сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не принимает ли он наркотики.

Нет, никаких следов не было. Но там они наркотики употребляли – это я знаю.

– Расскажи мне про Афганистан, – попросила однажды.

– Молчи, мамка!

Когда его не было дома, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит... Мне вернули другого человека... Это был не мой сын... А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка... Я хотела, чтобы он стал мужественным. Уверяла,

что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой... Сделала на прощание сладкий стол... Он друзей своих позвал, девочек... Помню, десять тортов купила...

Один только раз он заговорил об Афганистане... Под вечер... Заходит на кухню, я кролика готовлю... Миска в крови... Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее... И сам себе говорит:

– Привозят друга с перебитым животом... Он просит, чтобы я его пристрелил... И я его пристрелил...

Пальцы в крови... От кроличьего мяса... Оно свежее... Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон... Больше со мной в этот вечер ни слова...

Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите! Все рассказала... Проверяли они его, смотрели... Кроме радикулита, у него ничего не нашли...

Прихожу раз домой: за столом – четверо незнакомых ребят.

– Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашел. Им ночевать негде.

– Я вам сладкий пирог сейчас испеку, – почему-то обрадовалась я.

Они жили у нас неделю. Не считала, но, думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома уже пять незнакомых людей... Пятым был мой сын... Я не хотела слушать их разговоры, пугалась... Но в одном доме... Нечаянно подслушала... Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее... Но это все в тайне хранится... Как убивали ножом... Каким оружием лучше убивать... С какого расстояния. Об убийстве животных и людей говорилось с одинаковым чувством... Потом я это вспомнила... Когда случилось... Я стала думать, лихорадочно вспоминать... А до того был только страх: «Ой, – говорила я себе, – они все какие-то сумасшедшие, все ненормальные».

Ночью... Перед тем днем, когда случилось, когда он убил... Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет... И вот его мне приводят... Приводят те четыре «афганца»... И бросают на грязный цементный пол... Вы понимаете, в доме цементный пол... У нас на кухне... Мы остаемся вдвоем...

Он уже поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливым был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается... Пойдет учиться... Женится... Когда они уехали, к нему опять все вернулось... Си-

дит и весь вечер в стенку смотрит. Заснет в кресле... Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать... А теперь мне снится сын: он маленький и просит кушать... Он все время голодный... Руки тянет... Всегда во сне вижу его маленьким и униженным... А в жизни?! Раз в два месяца свидание... (Четыре часа разговора через стекло...)

В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить... И этот лай собак... Мне снится этот лай собак... Он гонит меня отовсюду...

За мной стал ухаживать один мужчина... Цветы принес... Когда он принес мне цветы, я их увидела: «Отойдите от меня, – стала кричать, – я мать убийцы». Первое время я боялась даже в дом зайти, в ванной закрыться, ждала, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: «Помните, тот жуткий случай... это ее сын убил... Четвертовал человека... Афганский почерк...»

Шло следствие... Оно шло несколько месяцев... Он молчал... Я поехала в Москву... в военный госпиталь Бурденко... Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он... Открылась им...

– Ребята, за что мой сын мог убить человека?

– Значит, было за что.

Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать. Убить. Долго их выспрашивала и поняла: мог. Разговор о смерти, убийстве не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие он обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили об Афганистане как о работе, где надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане, и, когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало, я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти? Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Оторванные... Расплющенные... Черепа, кости... Похороненные под землей целые школы... Классы... Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю. А они вспоминали и рассказывали о другом... Какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили... Шутили: пусть бы еще где-нибудь тряхануло... Но чтобы в теплом месте, где виноград растет... Они что – здоровые? У них нормальная психика?

«Я его мертвого ненавижу». Это он мне недавно написал. Уже пять лет прошло... Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот па-

рень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал...

На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых – не преступник, а больной... Его надо лечить... Но тогда, это семь лет назад, тогда правды об Афганистане еще не было... Их всех называли героями... Воинами-интернационалистами... А мой сын был убийца... Потому что он сделал здесь то, что они делали там... Почему же его одного судили?..

Он убил человека моим кухонным топориком... А утром принес и положил его в шкафчик... Как обыкновенную ложку или вилку...

Вы слышите лай собак? Почему его никто не слышит? Одна я слышу...

Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног... Пусть он ненавидит всех... Пусть бросается на нее, как зверь... Пусть она покупает ему проститутку, чтобы он успокоился... Пусть он хочет ее убить за то, что она его родила... Пусть...»

Когда кончают стрелять, война начинается еще раз. Ее надо обдумать, пережить. И тогда страшнее...

1990 г.



---

# Суд над «цинковыми мальчиками»

(ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ)

## ХРОНИКА СУДА

Недавно группа матерей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, подала в суд на писательницу Светлану Алексиевич. Их исковое заявление будет рассматриваться в народном суде Центрального района Минска.

Поводом для обращения в суд стал спектакль «Цинковые мальчики», поставленный на сцене Белорусского театра имени Янки Купалы. Затем он был записан республиканским телевидением и продемонстрирован жителям Беларуси. Матерей, несущих в себе все эти годы свое неизбывное горе, оскорбило, что их мальчики показаны исключительно как бездушные роботы-убийцы, мародеры, наркоманы и насильники, не ведающие пощады ни старому, ни малому.

*Л. Григорьев*

*«Вечерний Минск», 12 июня 1992 г.*

«За «Цинковые мальчики» – в суд» – так называлась заметка, напечатанная 22 июня в газете «На страже Октября» и в некоторых других изданиях. «Писательнице Светлане Алексиевич, – говорилось в замет-

ке, – после выхода ее книги объявили настоящую войну – автора обвиняют в искажении и фальсификации рассказов «афганцев» и их матерей. И вот очередное наступление после появления на сцене Белорусского театра имени Я. Купалы и на экранах телевидения одноименного спектакля. Судьям Центрального района надо будет рассмотреть исковое заявление группы матерей погибших воинов-интернационалистов. Дата суда еще не назначена. Спектакль снят со сцены...»

Мы позвонили в суд Центрального района столицы с просьбой прокомментировать это сообщение, но там оно вызвало удивление. Секретарь С. Кульган сказала нам, что такое исковое заявление в суд не поступало...

Как пояснил нам автор заметки в газете «На страже Октября» В. Стрельский, информация была взята им из московской газеты «Красная звезда»...

*«Чырвоная змена», 14 июля 1992 г.*

В народном суде Центрального района Минска сегодня начнется судебный процесс по делу известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Судебный иск подали несколько матерей погибших воинов-интернационалистов. Алексиевич перед написанием своей нашумевшей книги «Цинковые мальчики» брала интервью у матерей погибших «афганцев», после чего, по их мнению, сильно искажила в своем произведении сообщенные ей факты.

*«Вечерний Минск», 19 января 1993 г.*

20 января газета «Советская Белоруссия» сообщила: «В народном суде Центрального района Минска начался судебный процесс по делу писательницы Светланы Алексиевич...»

А за день до этого, 19 января, газета «Вечерний Минск» опубликовала заметку на эту же тему под заголовком «Суд над литераторами». Я специально указываю конкретные даты публикаций. Дело в следующем...

Посетив суд Центрального района столицы Беларуси, я узнал, что дело ведет судья Городничева.

Включить диктофон она не разрешила. От каких-либо пояснений

категорически отказалась, сославшись на то, что «не нужно нагнетать атмосферу». Но Городничева таки продемонстрировала папку по делу Алексиевич, которая была заведена... 20 января. То есть очевидно: материалы для печати о том, что суд идет (!), были готовы еще до того, как сама судья завела дело...

*Леонид Свиридов*  
*«Собеседник», № 6, 1993 г.*

В народный суд Центрального района Минска поступило два исковых заявления. Бывший «афганец», ныне инвалид, утверждает, что С. Алексиевич написала о той войне и о нем лично неправду, оклеветала. Посему должна публично извиниться, а поруганную солдатскую честь компенсировать суммой в 50 тысяч рублей. Мать погибшего офицера разошлась с писательницей в оценках советского патриотизма и его роли в воспитании молодого поколения.

С обоими истцами Светлана Алексиевич встречалась несколько лет назад в процессе работы над известной книгой «Цинковые мальчики». Оба ныне заявляют, что говорили тогда «не так», а если и говорили «так», как зафиксировано в книге, то сейчас передумали.

Небезынтересные нюансы. Солдат-истец, обвиняя писательницу в искажении фактов, в оскорблении его достоинства, ссылается на газетную публикацию 1989 года. Хотя в ней фигурирует не его, а совсем иная солдатская фамилия. Мать-истца уводит суд в лабиринты политики и психологии, откуда не вызволит и рота научных экспертов. Тем не менее оба иска приняты нарсудьей к производству. Судебные заседания еще не начались, но вовсю идет досудебный допрос писательницы...

*Анатолий Козлович*  
*«Литературная газета», 10 февраля 1993 г.*

Под судом известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, напомнившая в свое время о том, что «У войны не женское лицо». Оказалось, что пепел Афганистана еще стучит в сердца некоторых возмущенных читателей, не простивших С. Алексиевич «Цинковых мальчиков», документальную повесть о неизвестной афганской

войне. Писательницу обвиняют в передержках, выборочном использовании представленных ей участниками войны, вдовами и матерями погибших солдат материалов. И вообще в клевете, антипатриотизме и очернительстве. Пока не ясно, будет ли дан делу «законный ход» или все-таки авторы искового заявления, потребовав некоей моральной компенсации, до суда (открытого суда) не доведут. Но сигнал характерный. Прямо встала тень майора Червонописсного, поучавшего на съезде союзных депутатов академика Андрея Сахарова, как тому следует оценивать афганскую войну.

*Федор Михайлов  
«Куранты», 3 февраля 1993 г.*

### **Из судебного иска Ляшенко Олега Сергеевича, бывшего рядового, гранатометчика**

6 октября 1989 года в статье «Мы возвращаемся оттуда...», опубликованной в газете «Літатура і мастацтва», были напечатаны отрывки из документальной книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Один из монологов подписан моим именем (фамилия указана неправильно).

В монологе отражен мой рассказ об афганской войне и моем пребывании в Афганистане, отношениях между людьми на войне, после войны и т.д.

Алексиевич полностью искажила мой рассказ, дописала то, что я не говорил, а если говорил, то понимал это по-другому, сделала самостоятельные выводы, которые я не делал.

Часть высказываний, которые написала С. Алексиевич от моего имени, унижают и оскорбляют мою честь и достоинство.

Это следующие фразы:

1. «В Витебской «учебке» не было секретом, что нас готовят в Афганистан.

Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать...

Я считал его ненормальным.

Мы ехали делать революцию».

2. «Через две-три недели от тебя ничего прежнего не остается, только твое имя. Ты – это уже не ты, а другой человек. И этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как буд-дуть его стаскивать со скалы или тянуть по жаре несколько километров.

...Ему знакомо собственное и чужое возбуждение при виде убитого: не меня! Вот такое превращение... Почти со всеми».

3. «Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалея никого. Мог убить ребенка... Каждый хотел вернуться домой. Каждый старался выжить. Думать было некогда... К чужой смерти я привык, а собственной боялся».

4. «Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне нас объединял страх. Нас одинаково обману-ли... Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет. У нас одни про-блемы: пенсии, квартиры, лекарства... мебельные гарнитуры. Решим их, и наши клубы распадутся.

Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холо-дильник, стиральную машину, японский «видик» – и все! Молодежь к нам не потянулась. Мы непонятны ей. Вроде приравнены к участни-кам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы, что ли, в роли немцев – так мне один парень сказал.

А мы на них злы. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал – тот мне никто».

Все эти высказывания глубоко оскорбляют мое человеческое до-стоинство, так как такое не говорил, так не думаю и считаю, что эти сведения порочат мою честь как мужчины, человека, солдата...

*Без личной подписи*

*20 января 1993 года*

## **Из стенограммы досудебного собеседования**

Присутствовали: судья Т. Городничева, адвокаты Т. Власова, В. Луш-кинов, истец О. Ляшенко, ответчица С. Алексиевич.

Судья Т. Городничева:

– Истец, вы утверждаете, что писательница искажила сообщенные вами факты?

О. Ляшенко:

– Да.

Судья Т. Городничева:

– Ответчица, прошу пояснить вас по существу данного вопроса.

С. Алексиевич:

– Олег, я хотела бы тебе напомнить, как ты рассказывал и плакал, когда мы встретились, и не верил, что твою правду можно будет когда-нибудь напечатать. Ты просил, чтобы я это сделала... Я написала. И что теперь? Тебя опять обманывают и используют... Во второй раз... Но ты же тогда говорил, что уже никогда не дашь себя обмануть?

О. Ляшенко:

– Побывали бы вы на моем месте: нищая пенсия, работы у меня нет, двое маленьких детей... Жену недавно тоже сократили. Как жить? На что жить? А у вас гонорары... Печатаются за границей... А мы, получаемся, убийцы, насильники...

Адвокат Т. Власова:

– Я протестую. На моего подзащитного оказывается психологическое давление. У меня отец был летчик, генерал, он тоже погиб в Афганистане... Там все было святое... Это – святыне смерти... Они выполняли присягу... Родину защищали...

Судья Т. Городничева:

– На чем настаивает истец?

О. Ляшенко:

– Чтобы писательница передо мной публично извинилась и мне был возмещен моральный ущерб...

Судья Т. Городничева:

– Вы настаиваете только на опровержении опубликованных фактов?

О. Ляшенко:

– За мою поруганную солдатскую честь я требую, чтобы С. Алексиевич заплатила мне 56 тысяч рублей.

С. Алексиевич:

– Олег, я не верю, что это твои слова. Это ты говоришь с чужих слов... Я помню тебя другого... И ты слишком дешево оценил свое обожженное лицо, потерянный глаз, сломанную руку. Только не меня надо звать в суд. Ты перепутал меня с Министерством обороны и Политбюро КПСС...

Адвокат Т. Власова:

– Я протестую! Это – психологическое давление...

С. Алексиевич:

– Когда мы с тобой встречались, Олег, это пять лет назад, ты был честен, я боялась за тебя. Я боялась, что у тебя могут быть неприятности с КГБ, ведь вас всех заставляли подписывать бумагу о неразглашении военной тайны. И я изменила твою фамилию. Я изменила ее, чтобы защитить тебя, а теперь должна этим же от тебя сама защищаться. Поскольку там не твоя фамилия, то это – собирательный образ... И твои претензии безосновательны...

О. Ляшенко:

– Нет, это мои слова. Это я говорил... Там и то, как меня ранило... И... Там все мое...

### **Из судебного иска Екатерины Никитичны Платициной, матери погибшего майора Александра Платицина**

6 октября 1989 года в статье «Мы возвращаемся оттуда...» в газете «Літаратура і мастацтва» были опубликованы отрывки из документальной книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Один из монологов, как матери погибшего в Афганистане майора А. Платицина, подписан моим именем.

Полностью этот монолог включен в книгу С. Алексиевич «Цинковые мальчики».

В монологе, напечатанном в газете и книге, искажен мой рассказ о сыне. С. Алексиевич, несмотря на то, что книга документальная, некоторые факты добавила от себя, многое из моих рассказов опустила, сделала самостоятельные выводы и подписала монолог моим именем.

Статья оскорбляет и унижает мои честь и достоинство...

*Без личной подписи*

*Без даты*

## **Из стенограммы досудебного собеседования**

Присутствовали: судья Т. Городничева, адвокаты Т. Власова, В. Лушкинов, истица Е. Платицина, ответчица С. Алексиевич.

Судья Т. Городничева:

– Мы слушаем вас, Екатерина Никитична...

Е. Платицина:

– Образ сына, запечатленный в моем сознании, полностью не соответствует образу, выведенному в книге.

Судья Т. Городничева:

– Вы могли бы пояснить свою мысль: где, в каком месте и как ижжены факты?

Е. Платицина (берет в руки книгу):

– Там все не так, как я говорила. Мой сын был не такой. Он любил свою Родину. (Плачет.)

Судья Т. Городничева:

– Я прошу вас успокоиться и назвать нам факты.

Е. Платицина (зачитывает из книги):

– «После Афганистана (это когда он приехал в отпуск) еще нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит, по ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: «Вспышки! Вспышки!..» Другой раз слышу ночью: кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет...»

Он был офицер. Боевой офицер. А тут он показан как плакса. Разве об этом надо было писать?



Судья Т. Городничева:

– Я сама готова заплакать. И не раз плакала, когда читала эту книгу, ваш рассказ. Но что здесь оскорбляет вашу честь и достоинство?

Е. Платицина:

– Понимаете, он был боевой офицер. Он не мог заплакать. Или вот еще: «Через два дня был Новый год. Под елку спрятал нам подарки. Мне платок большой. Черный. «Зачем ты, сыночек, черный выбрал?» – «Мамочка, там были разные. Но пока моя очередь подошла, только черные остались. Посмотри, он тебе идет...»

Получается, что мой сын стоял в очередях, он терпеть не мог магазины и очереди. А тут он на войне стоит в очереди... Мне, за платком... Зачем было об этом писать? Он был боевой офицер. Он погиб...

Светлана Александровна, зачем вы такое понаписали?

С. Алексиевич:

– Когда я писала ваш рассказ, я тоже плакала. И ненавидела тех, кто послал вашего сына зря погибнуть в чужой стране. И мы были тогда с вами вместе, заодно.

Е. Платицина:

– Вы говорите, что я должна ненавидеть государство, партию... А я горжусь своим сыном! Он погиб, как боевой офицер. Его все товарищи любили. Я люблю то государство, в котором мы жили, СССР, потому что за него погиб мой сын. А вас ненавижу! Мне не нужна ваша страшная правда. Она нам не нужна!! Слышите?!

С. Алексиевич:

– Я, наверное, могла бы вас понять. Мы могли бы поговорить. Но почему мы должны говорить об этом в суде? Вот это я не могу понять...

...По кондовому советскому сценарию, Светлана Алексиевич организовано проклинается как агент ЦРУ, прислужница мирового империализма, клеветщица на свою великую Родину и ее героических сыновей якобы за два «Мерседеса» и долларовые подачки...

Первый суд так ничем и не закончился, так как истцы – бывший рядовой О. Ляшенко и мать погибшего офицера Е.Н. Платицина – не явились на судебное разбирательство. Но через полгода было пода-

но два новых иска: от И.С. Галовневой, матери погибшего старшего лейтенанта Ю. Галовнева, председателя Белорусского клуба матерей погибших воинов-интернационалистов, и Тараса Кецмура, бывшего рядового, ныне председателя Минского клуба воинов-интернационалистов...

*Газета «Права человека», № 3, 1993 г.*

14 сентября в Минске состоялся суд, где ответчиком выступала писательница Светлана Алексиевич.

И тут началось самое интересное. «Исковое заявление от матери погибшего «афганца» И.С. Галовневой поступило в суд без даты, – сказал адвокат Алексиевич Василий Лушкинов. – Нам же его копию представили вообще без подписи и, естественно, без даты. Однако это не помешало судье Татьяне Городничевой возбудить дело по 7-й статье Гражданского кодекса. Вызывает удивление и то, что само дело было процессуально не оформлено к моменту суда, то есть в книге регистраций номер его уже существовал, хотя еще не было вынесено определение о возбуждении гражданского дела».

Однако суд состоялся... На нем председательствовал человек, дело увидевший, собственно, на самом суде. О том, что судья Т. Городничева заменена на судью И. Ждановича, Светлана Алексиевич и ее адвокат узнали только за десять минут до начала заседания.

«Это, скорее, вопрос морали, нежели юридический вопрос», – отреагировал Василий Лушкинов.

Может быть, и так. Но за столом истцов внезапно появился еще один герой книги Светланы Алексиевич – Тарас Кецмур, а перед судьей И. Ждановичем легло его исковое заявление без подписи и, разумеется, без возбужденного по этому поводу дела...

Адвокат ответчицы обратил внимание суда на этот нонсенс и заявил протест. Судебное заседание было перенесено...

*Олег Блоцкий*

*«Литературная газета», 6 октября 1993 г.*

## Из стенограммы судебного заседания 29 ноября 1993 г.

Состав суда: судья И.Н. Жданович,  
народные заседатели Т.В. Борисевич, Т.С. Сороко.  
Истцы: И.С. Галовнева, Т.М. Кецмур.  
Ответчица: С. А. Алексиевич.

### Из судебного иска Инны Сергеевны Галовневой, матери погибшего старшего лейтенанта Ю. Галовнева

В газете «Комсомольская правда» от 15.02.90 г. опубликованы отрывки из документальной повести С. Алексиевич «Цинковые мальчики» – «Монологи тех, кто прошел Афганистан».

В опубликованном за мою фамилию монологе имеются неточности и искажения фактов, сообщаемых мной С. Алексиевич, а также явная ложь, вымыслы, т.е. изложение с моих якобы слов обстоятельств, о которых я не сообщала и не могла сообщить. Вольная интерпретация моих высказываний, а также явные домыслы, изложенные от моего имени, порочат мою честь и достоинство, тем более что повесть документальная. Как я полагаю, автор-документалист обязан в точности излагать полученную информацию, иметь записи бесед, согласовывать тексты с интервьюируемым.

Так, Алексиевич указывает в статье: «Нехорошо матери в этом признаваться... но я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына...» (Речь идет о моем погибшем сыне Юре.) Приведенная цитата выдуманная (не соответствует изложенному). Указание о различной якобы степени любви к членам семьи повлекло конфликты в семье и, полагаю, порочат мое достоинство.

Далее: «В первом классе он знал, читал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из книги «Как закалялась сталь» Н. Островского». Из приведенной фразы следует, что сын воспитывался в семье каких-то фанатиков. Я же Алексиевич рассказывала, что Юра уже в 7 – 8 лет читал серьезные книги, в том числе «Как закалялась сталь».

Алексиевич искажила и мой якобы рассказ об обстоятельствах отправки сына в Афганистан. Она указывает на его якобы слова: «Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для счастья только забитый мясом холодильник».

Ничего подобного не было. Утверждения Алексиевич порочат меня и моего сына. Ничего и никому он не доказывал. Как нормальный человек, патриот, романтик, он добровольно просился в Афганистан.

Не говорила я Алексиевич и таких фраз, когда заподозрила о намерении сына попроситься в Афганистан: «Тебя убьют там не за Родину... Тебя убьют неизвестно за что... Разве может Родина посылать на гибель...» Я сама отправила его туда. Сама!..»

Данная цитата порочит мою честь и достоинство, представляя меня двуличным человеком с двойной моралью.

Неверно описан спор между сыновьями. У Алексиевич написано так: «Ты, Гена, мало читаешь. Никогда не увидишь книгу у тебя на коленях. Всегда гитара...»

Спор между сыновьями был лишь в одном: в выборе профессии младшего сына. Питары у них не было.

Эта фраза Алексиевич оскорбляет меня тем, что она подчеркивает мою нелюбовь к младшему сыну. Я ей такие слова не говорила.

Считаю, что Алексиевич, решив представить события, связанные с войной в Афганистане, не только как политическую ошибку, а и как вину всего народа, тенденциозно, а зачастую и просто домысливала обстоятельства, якобы имевшие место в интервью. Цель ее – преподнести наш народ – солдат, побывавших в Афганистане, их родственников – как людей беспринципных, жестоких, безразличных к чужим страданиям.

Для облегчения работы Алексиевич я представила ей дневник сына, однако это не помогло ей изложить обстоятельства действительно документально.

Прошу извинения Алексиевич за искажение подлинного моего материала и за опорочивание моей чести и достоинства в газете «Комсомольская правда».

*Без личной подписи*

*Без даты*

## **Из судебного иска Тараса Кецура, бывшего рядового**

В изложенном тексте моего первого искового заявления о защите чести и достоинства не указаны конкретные претензии к С. Алексиевич за ее публикацию в «Комсомольской правде» (15. 02. 90 г.).

Настоящим дополняю и подтверждаю его: все, что изложено С. Алексиевич в газетной статье и в книге «Цинковые мальчики», – вымысел и не имело места в действительности, так как я с ней не встречался и ничего ей не говорил.

С выходом статьи 15 февраля 1990 в «Комсомольской правде» я прочел следующее:

«Уехал в Афганистан со своей собакой Чарой, крикнешь «Умри!», и она падает. Если не по себе, сильно расстроен, она садилась рядом и плакала. Первые дни я немел от восторга, что там...»

«Вы, пожалуйста, никогда не трогайте этого, много сейчас умников здесь, почему же никто не положил партбилет, никто пулю себе в лоб не пустил, когда мы были там...»

«Я там видел, как выкапывают на полях железо и человеческие кости... я видел оранжевую, ледовую корку на застывшем лице убитого, да, почему-то оранжевую...»

«В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я другой. Через парк не могу пройти, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: «Заказывайте», а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь гада, одна мысль – расстрелять его надо».

«На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни, а в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретенные на войне».

«Я стреляю отлично, прицельно метая гранаты, зачем мне это. Ходил в военкомат, просился назад, не взяли. Война скоро кончится, вернутся такие же, как и я. Нас будет больше».

Практически этот же текст я прочитал и в книге «Цинковые мальчики» с небольшими литературными поправками, где фигурирует та же собака, те же мысли вслух.

Еще раз подтверждаю, что это чистый вымысел, приписанный к моему имени...

В связи с вышеизложенным прошу высокий суд защитить опороченную честь солдата и гражданина.

*Без личной подписи*

*Без даты*

## Из выступления И.С. Галовневой

Мы долго жили за границей, муж там служил. Мы вернулись на Родину осенью восемьдесят шестого. Я была счастлива, что мы, наконец, дома. Но вместе с радостью в дом пришло горе – погиб сын.

Месяц я лежала пластом. Не хотела никого слышать. Все было выключено в моем доме. Я никому не открывала дверей. Алексиевич была первая, кто вошел в мой дом. Она сказала, что хочет написать правду о войне в Афганистане. Я ей поверила. Сегодня она пришла, а завтра меня должны были положить в больницу, и я не знала: вернусь я оттуда или нет? Я не хотела жить, без сына я не хотела жить. Когда Алексиевич пришла, она сказала, что пишет документальную книгу. Что такое – документальная книга? Это должны быть дневники, письма тех, кто там был. Она мне так сказала. Я ей отдала дневник своего сына, который он там вел: «Вы хотите написать правду, – сказала я, – вот она в дневнике моего сына».

Потом мы с ней говорили. Я ей рассказала свою жизнь, потому что мне было тяжело, я ползала на коленках в четырех стенах. Я не хотела жить. У нее был с собой диктофон, она все записывала. Но она не говорила, что будет это печатать. Я ей рассказывала просто так, а напечатать она должна была дневник моего сына. Повесть же документальная. Я отдала ей дневник, муж специально для нее перепечатал.

Она еще сказала, что собирается в Афганистан. Она там была в командировке, а мой сын там погиб. Что она знает о войне?

Но я ей верила, я ждала книгу. Я ждала правду: за что убили моего сына? Я писала письмо Горбачеву: ответьте мне, за что погиб мой сын в чужой стране? Все молчали...

Вот что Юра писал в дневнике: «1 января 1986 года. Уже отсчитана половина пути, и впереди осталось так мало. И снова пламя, и снова забвение, и новый долгий путь – и так вечно, прежде чем свершится воля предназначенного. И память, бьющая плетью пережитого, кошмарными снами врывающаяся в жизнь, и призраки иного мира, иных времен и столетий, влекущие своей похожестью, но иные, не знающие истекших дней. И не остановиться, не передохнуть, не изменить однажды предрешенного – пустота и мрак развернется перед отступившимся, ибо, присев отдохнуть, уже не подняться с

Земли. И устав, в отчаянии и боли вопиешь к пустым небесам: что там, когда сомкнут круг и путь окончен, и новый мир воссиял в своем величии? Почему мы в ответе за них? Им не дано подняться до блистательных высот, и как бы ни был долг путь, все же дни их уже сочтены. А мы ломаем свои жизни, не зная покоя и счастья, бредем усталые и разбитые, всемогущие и бесправные, демоны и ангелы этого мира...»

Алексиевич это не напечатала, правду моего сына. Другой правды быть не может, правда у тех, кто там был. Она зачем-то описала мою жизнь. Простым, детским языком. Какая это литература? Гадкая маленькая книжонка...

Товарищи, я растила своих детей честно и справедливо. Она пишет, что мой сын любил книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Тогда эту книгу в школе проходили, как и Фадеева «Молодую гвардию». Все эти книги читали, они были в школьных программах. А она подчеркивает, что он их читал, знал отрывки наизусть. Для чего ей нужно об этом писать? Она хочет показать его ненормальным. Фанатичным. Или она пишет: он жалел, что стал военным. Сын мой вырос на полигонах, он пошел по стопам отца. У нас деды, все братья отца, двоюродные братья – все в армии. Военная династия. И в Афганистан он поехал, потому что он был честный человек. Он дал военную присягу. Раз нужно, он поехал. Я воспитала прекрасных сыновей. Ему приказали, он поехал, он был офицер. А Алексиевич хочет доказать, что я мать-убийца. И мой сын там убивал. Что выходит? Я его туда послала? И дала ему в руки оружие? Мы, матери, виноваты, что там была война? Что там убивали, грабили, курили наркотики?

И эта книга опубликована за границей. В Германии, во Франции. По какому праву Алексиевич торгует нашими погибшими сыновьями? Добывает себе славу и доллары? Кто она такая? Если это мое, я рассказала, пережила, при чем здесь Алексиевич? Поговорила, записала наши рассказы, мы ей проплакали свое горе...

Имя мое она написала неправильно: Я Инна, а у нее Нина Галовнева. У моего сына звание старший лейтенант, а она написала – младший. Это документальная литература, я дала ей дневник, она должна его опубликовать, и все. Я понимаю, что документальная литература – это письма, дневники. Пусть признает, что это вымысел, клевета... Написанная простым, грубым языком. Кто так пишет кни-

ги? Мы детей потеряли, а у нее слава... Пусть бы она родила сына и отправила на эту войну...

### **Из ответов на вопросы**

Адвокат С. Алексиевич – В. Лушкинов:

– Скажите, Инна Сергеевна, Алексиевич записывала ваш рассказ на диктофон?

И. Галовнева:

– Она попросила разрешения включить диктофон. Я ей разрешила.

В. Лушкинов:

– А вы просили ее показать потом то, что она снимет с пленки и использует в книге?

И. Галовнева:

– Я думала, что она напечатает дневник моего сына. Я уже говорила, что я понимаю, что документальная литература – это дневники и письма. А если мой рассказ, то слово в слово, как я говорила.

В. Лушкинов:

Почему вы не подали в суд на Алексиевич сразу, когда вышла «Комсомольская правда» с отрывком из книги? А решились на это через три с половиной года?

И. Галовнева:

– Я не знала, что она эту книгу будет печатать за границей. Распространять клевету... Я честно воспитала своих детей для Родины. Мы жили всю жизнь в палатках и бараках, у меня было два сына и два чемодана. Я в политику не вмешивалась... А она пишет, что наши дети – убийцы... Я поехала в Министерство обороны, я отдала им орден сына... Я не хочу быть матерью убийцы... Я отдала его орден государству...

Общественный защитник С. Алексиевич – Е. Новиков, председатель Белорусской Лиги прав человека:



– Я хочу заявить протест. Прошу внести в протокол. Из зала постоянно оскорбляют Светлану Алексиевич. Грозят убить... Даже обещают резать по кусочкам... *(Поворачивается к матерям, сидящим в зале с большими портретами своих сыновей, на которых наколоты их ордена и медали.)* Поверьте, я уважаю ваше горе...

Судья И. Жданович:

– Я ничего не слышал. Никаких оскорблений.

Е. Новиков:

– Все слышали, кроме суда...

### **Голоса из зала**

– Мы – матери. Мы хотим сказать. Мы все будем говорить. Погубили наших детей... Потом деньги себе на этом зарабатывают... А наши дети в могилках. Мы отомстим за наших детей, чтобы они могли спокойно в земле лежать...

– Будь ты проклят! Путь тебя белая горячка возьмет. Сделали из наших детей убийц.

– А сам ты служил в армии? Не служил... На институтской скамейке отсиживался, пока наши дети гибли.

– Не надо у матерей спрашивать: убивал ее сын или не убивал? Она помнит об одном – ее сына убили...

– Будь ты проклят! Будьте прокляты вы все!

Судья И. Жданович:

– Прекратите шум! Прекратите базар! Это – суд, а не базар... *(Зал неистовствует.)* Объявляется перерыв на пятнадцать минут...

После перерыва в зале суда дежурит милиция.

### **Из выступления Т.М. Кецура**

Я не готовился выступать, я буду говорить не по бумажке, нормальным языком. Как я познакомился со знаменитейшей писательницей мирового уровня? Нас познакомила фронтовичка Валентина Чудаева. Она мне сказала, что эта писательница написала книгу «У

войны не женское лицо», которую читают во всем мире. Потом я на одной из встреч с фронтовиками разговаривал с другими женщинами-ветеранами, они мне сказали, что Алексиевич сумела из их жизни сколотить себе состояние и славу, теперь взялась за «афганцев». Я волнуюсь... Прошу прощения...

Она пришла к нам в клуб «Память» с диктофоном. Хотела написать о многих ребятах, не только обо мне. Почему она после войны написала свою книгу? Почему эта писательница с громким именем, мировым, молчала десять лет? Ни разу не крикнула?

Меня туда никто не посылал. Я сам просился в Афганистан, писал рапорты. Придумал, что у меня там погиб близкий родственник. Я немножко поясню ситуацию... Я сам могу написать книгу... Когда мы встретились, я с ней отказался разговаривать, я так ей и сказал, что мы сами, кто там был, напишем книгу. Напишем лучше ее, потому что она там не была. Что она может написать? Только причинит нам боль.

Алексиевич теперь пишет книгу о Чернобыле. Это будет не меньшая грязь, чем та, что вылита на нас. Она лишила моральной жизни все наше афганское поколение. Получается, что я – робот.. Компьютер.. Наемный убийца.. И мне место в Новинках под Минском, в сумасшедшем доме..

Мои друзья звонят и обещают набить морду, что я такой герой.. Я взволнован... Прошу прощения... Она написала, что я служил в Афганистане с собакой... Собака по дороге умерла...

Я сам в Афганистан просился... Понимаете, сам! Я не робот.. Не компьютер... Я взволнован... Прошу прощения...

## **Из ответов на вопросы**

С. Алексиевич:

– В исковом заявлении, Тарас, ты написал, что никогда со мной не встречался. А сейчас говоришь, что встречался, но отказался разговаривать. Значит, ты не сам писал свое исковое заявление?

Т. Кецмур:

– Я сам написал... Мы встречались... Но я вам ничего не рассказывал...

С. Алексиевич:

– Если ты мне ничего не рассказывал, откуда я могла знать, что ты

родился на Украине, болел в детстве... Поехал в Афганистан с собакой (хотя, как ты сейчас говоришь, она по дороге умерла), и звали ее Чарой...

(Молчание.)

Е. Новиков:

– Вы говорили, что сами попросились в Афганистан, добровольцем. Я не понял, как вы сегодня к этому относитесь? Ненавидите эту войну или гордитесь, что там были?

Т. Кетмур:

– Я не дам вам сбить меня... Почему я должен ненавидеть эту войну? Я исполнил свой долг...

### **Голоса из зала**

– Дайте нам сказать... Матерям...

– Я больше знаю, чем все вы... Мне сына в цинковом гробу привезли...

### **Из разговоров в зале суда**

– Мы защищаем честь своих погибших детей. Верните им честь! Верните им Родину! Развалили страну. Самую сильную в мире!

– Это вы сделали наших детей убийцами. Это вы написали эту жуткую книгу... Теперь не хотят делать в школах музеи памяти наших детей, сняли их фотографии. А они там такие молодые, такие красивые. Разве у убийц бывают такие лица? Мы учили своих детей любить Родину... Зачем она написала, что они там убивали? За доллары написала... А мы – нищие... Цветов на могилу сыновьям не на что купить... На лекарства не хватает...

– Оставьте нас в покое. И почему вы бросаетесь из одной крайности в другую, – сначала изображали всех героями, а сейчас все сразу стали убийцами? У нас ничего не было, кроме Афгана. Только там мы чувствовали себя настоящими мужчинами. Никто из нас не жалеет, что там был...

– Это такая страшная правда, что она звучит, как неправда. Отупляет. Ее не хочется знать. От нее хочется защищаться.

– Для большинства эта война – нужное дело, и только для меньшинства – ужас. До сих пор. Было бы по-другому, не было бы этого суда.

– Ссылаются на приказ: мне, мол, приказали – я исполнял. На это ответили международные трибуналы: выполнять преступный приказ – преступление. И срока давности нет.

– В девяносто первом году такого суда не могло быть. Коммунисты отступили, ушли в тень. А сейчас почувствовали силу... Опять заговорили о «великих идеалах», о «социалистических ценностях»... А кто против, на тех – в суд! Как бы скоро к стенке не начали ставить... И не собрали нас в одну ночь на стадионе за проволокой...

– Человек, выросший на войне, это совсем другой человек.

– Я присягал... Я был военный человек...

– С войны мальчиками не возвращаются...

– Мы их воспитали в любви к Родине...

– Вы без конца клянетесь в любви к Родине, потому что хотели бы, чтобы она за все ответила. Родина чтобы ответила, а сами вы отвечать не хотите...

### **Из почты суда**

Узнав подробности судебного дела, затеянного в Минске против Светланы Алексиевич, расцениваем его как преследование писательницы за демократические убеждения и покушение на свободу творчества. Светлана Алексиевич завоевала своими подлинно гуманистическими произведениями, своим талантом, своим мужеством широкую популярность, уважение в России и других странах мира.

Не хотим пятна на добром имени близкой нам Беларуси!

Пусть восторжествует справедливость!

*Содружество Союзов писателей*

*Союз Российских писателей*

*Союз писателей Москвы*

Можно ли посягать на право писателя говорить правду, какой бы трагической и жестокой она ни была? Можно ли ставить ему в вину неопровержимые свидетельства о преступлениях прошлого и, в ча-

стности, о преступлениях, связанных с позорной афганской авантюрой, которая стоила столько жертв, исковеркала столько судеб.

Казалось бы, в наше время, когда печатное слово стало, наконец, свободным, когда нет больше идеологического прессы, руководящих указаний, косных установок на «единственно возможное изображение жизни в духе коммунистических идеалов», задавать такие вопросы нет никакого резона.

Увы, он есть. И красноречивое свидетельство тому – готовящийся в эти дни суд над писательницей Светланой Алексиевич, той самой, которая написала замечательную книгу «У войны не женское лицо» (о судьбе женщин – участниц Великой Отечественной), книгу «Последние свидетели» – о детях той же Великой Отечественной, – над Светланой Алексиевич, которая вопреки стараниям официальной пропаганды и противодействию литераторов типа небезызвестного А. Проханова, заслужившего в годы афганской войны титул «неумолимого соловья генерального штаба», создала книгу «Цинковые мальчики», сумев и посмев сказать в ней страшную, переворачивающую душу правду о войне в Афганистане.

Уважая личное мужество солдат и офицеров, посланных брежневским руководством КПСС сражаться в чужую, до этого дружественную, страну, искренне разделяя скорбь матерей, чьи сыновья погибли в афганских горах, писательница вместе с тем бескомпромиссно разоблачает в этой книге все попытки героизировать позорную афганскую войну, попытки романтизировать ее, развенчивает лживую патетику и трескучий пафос.

Видимо, это пришлось не по душе тем, кто и поныне убежден, что афганская и другие авантюры канувшего в прошлое режима, оплаченные кровью наших солдат, были исполнением «священного интернационального долга», кто хотел бы обелить черные дела политиков и честолюбцев-военачальников, кто хотел бы поставить знак равенства между участием в Великой Отечественной войне и в несправедливой, по сути, колониальной, афганской.

Эти люди не вступают в полемику с писательницей. Не оспаривают приводимых ею потрясающих фактов. И вообще не показывают своего лица. Руками других, все еще заблуждающихся или введенных в заблуждение, они возбуждают (спустя годы после газетных публикаций) и выхода в свет книги «Цинковые мальчики»!

судебное дело об «оскорблении чести и достоинства» воинов-«афганцев», тех мальчиков, о которых с таким пониманием, состраданием и сочувствием, с такой сердечной болью написала Светлана Алексиевич.

Да, она не изображала их романтическими героями. Но лишь потому, что твердо следовала толстовскому завету: «Герой... которого я люблю всеми силами души... был, есть и будет, – правда».

Так можно ли оскорбляться за правду? Можно ли ее судить?

*Писатели – участники Великой Отечественной войны:  
Микола Аврамчик, Янка Брыль, Василь Быков,  
Александр Дракохруст, Наум Кислик, Валентин Тарас*

Мы, белорусские писатели Польши, решительно протестуем против судебного преследования в Беларуси писательницы Светланы Алексиевич.

Судебный процесс над писательницей – это позор для всей цивилизованной Европы!

*Ян Чиквин, Сократ Янович,  
Виктор Швед, Надежда Артымович*

...В нашем театре уже два года идет спектакль по повести Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». Я хочу сказать, что зрительный зал всегда заполнен, а после окончания спектакля люди встают и молчат. И долго не расходятся. Поэтому, когда мы узнали, что против Светланы Алексиевич затеяли судебный процесс, все были поражены: сколько же зла и лжи посеяно в человеческих душах за советские годы! Думали: чем мы можем помочь? В нашем театре – это любимый спектакль, потому что он не столько о войне, сколько о том, кто мы, какие?

Решили отослать в суд выписку из книги отзывов на спектакль. Просим зачитать на процессе эти слова, эти чувства:

Спасибо за правду, которую мы не знали. Пусть нас простят погибшие мальчики.

*Цыганова*

Дай Бог, мальчикам никогда не быть на войне, никогда никого не убивать...

*Ученицы 11-А класса СШ 73*

У меня на той войне погиб друг Виктор Киян, и я очень благодарна за спектакль в память о наших женихах...

*Е. Шаламова*

Я это видел там, своими глазами. Спасибо за правду. И за то, что благодаря вам ее услышали и увидели здесь...

*А. Левадин*

Отзывов десятки. Мы выбрали только несколько, но, если нужно защитить Светлану Алексиевич и ее книгу, пришлем целую тетрадку...

*К. Добрунов, главный режиссер  
народного театра «Юность»,  
г. Горловка Донецкой области*

...И мой муж два года (с 1985 по 1987) был в Афганистане, в провинции Кунар, это возле самой границы с Пакистаном. Он стыдится называться «воином-интернационалистом». Мы с ним часто обсуждаем эту большую тему: надо ли было нам, советским, быть там, в Афганистане? И кто мы были там – оккупанты или друзья, «воины-интернационалисты»? Ответы приходят одни и те же: никто нас туда не звал и не нужна была наша «помощь» афганскому народу. И как ни тяжело в том признаться – мы там были оккупанты. И, на мою мысль, нам сейчас не о памятниках «афганцам» надо спорить (где их поставили, а где еще нет), а о покаянии думать. Нам всем надо покаяться за мальчиков, что обманутыми погибли в этой бессмысленной войне, покаяться за их матерей, тоже обманутых властью, покаяться за тех, кто вернулся с покалеченными душами и телами. Покаяться надо перед народом Афга-

нистана, его детьми, матерями, стариками – за то, что столько горя принесли их земле...

*А. Масюта,  
мать двоих сыновей, жена бывшего воина-  
интернационалиста, дочь ветерана Великой  
Отечественной войны*

Правда об агрессии СССР в Афганистане, подтвержденная собранными в книге Алексиевич документальными свидетельствами ее участников и жертв, является не «поруганием чести и достоинства», а позорным фактом недавней истории советского коммунистического тоталитаризма, однозначно и громогласно осужденным мировым сообществом.

Практика судебного преследования писателя за его творчество также является не менее хорошо известным и не менее позорным способом функционирования того же режима.

Происходящее сегодня в Беларуси – массированная организованная кампания против Светланы Алексиевич, травля писательницы и постоянная угроза в ее адрес, судебный процесс, попытки запретить ее книгу – свидетельствует о том, что отрывки тоталитаризма являются не прошлым, а настоящим Беларуси.

Такая реальность не позволяет воспринимать Республику Беларусь посткоммунистическим, свободным и независимым государством.

Преследование Светланы Алексиевич, чьи книги широко известны во Франции, Великобритании, Германии и других странах мира, не принесут Республике Беларусь ничего иного, кроме приобретения репутации коммунистического заповедника в посткоммунистическом мире, и не придадут ей никакой другой роли, кроме как завидной роли европейской Кампучии.

Требую немедленного прекращения всякого рода преследования Светланы Алексиевич и судебного процесса над ней и ее книгой.

*Владимир Буковский, Игорь Геращенко,  
Ирина Ратушинская, Инна Рогачий,  
Михаил Рогачий*



...Уже долгое время продолжаются попытки дискредитировать, в том числе судебными исками, писательницу Светлану Алексиевич, всеми своими книгами восставшую против безумия насилия и войны. В своих книгах Светлана Алексиевич доказывает, что человек – главная ценность в этой жизни, но его преступно превращают в винтик политической машины и преступно используют как пушечное мясо в войнах, развязываемых амбициозными государственными лидерами. Ничем нельзя оправдать гибель наших парней на чужой земле Афганистана.

Каждая страница «Цинковых мальчиков» вызывает: люди, не допустите этого кровавого кошмара еще раз!

*Совет Объединенной демократической партии Беларуси*

Из Минска к нам поступают сведения о судебном преследовании белорусской писательницы, члена Международного ПЭНа Светланы Алексиевич, «виновной» лишь в том, что она выполнила основную и непреложную обязанность литератора: искренне поделилась с читателем тем, что ее тревожит. Книга «Цинковые мальчики», посвященная афганской трагедии, обошла весь мир и заслужила всеобщее признание. Имя Светланы Алексиевич, ее мужественный и честный талант вызывают наше уважение. Нет никакого сомнения, что, манипулируя так называемым «общественным мнением», реваншистские силы пытаются лишить писателей их важнейшего права, закрепленного Хартией международного ПЭНа: права на свободное самовыражение.

Русский ПЭН-центр заявляет о полной солидарности со Светланой Алексиевич, с Белорусским ПЭН-центром, со всеми демократическими силами независимой страны и призывает органы правосудия оставаться верными международным законам, под которыми стоит и подпись Беларуси, прежде всего – Всеобщей Декларации прав человека, гарантирующей свободу слова и свободу печати.

*Русский ПЭН-центр*

Белорусская Лига прав человека считает, что непрекращающиеся попытки расправиться с писателем Светланой Алексиевич путем су-

дебных процессов являются политическим актом, направленным властями на подавление инакомыслия, свободы творчества и свободы слова.

Мы располагаем данными, что в 1992 – 1993 годах различными судебными инстанциями Республики Беларусь рассмотрено около десятка политических дел, искусственно переведенных в область гражданского права, но по сути направленных против демократически настроенных депутатов, писателей, журналистов, печатных изданий, активистов общественно-политических организаций.

Мы требуем прекратить травлю писателя Светланы Алексиевич и призываем пересмотреть подобные этому судебные дела, решения по которым стали политической расправой...

*Белорусская Лига прав человека*

...Мы десятилетиями вгоняли новые и новые миллионы и миллиарды в свою оборону, находя для нее все новые рубежи в странах Азии и Африки, да и заодно новых вождей, пожелавших строить у себя «светлое будущее». Мой бывший однокашник по учебе в академии Фрунзе, майор, а потом маршал Вася Петров, лично гнал в атаку сомалийцев, за что получил Золотую Звезду... А сколько было еще таких!

Но вот начал трещать по швам стянутый оковами Варшавского Договора и державшийся на штыках Групп советских войск так называемый «социалистический лагерь». Для оказания «братской помощи в борьбе с контрреволюцией» в эти страны стали посылать наших сыновей: в Будапешт, потом в Прагу, потом...

В сорок четвертом я шел с нашими войсками по территории освобожденных от фашизма стран – Венгрии и Чехословакии. То была уже чужая земля, но казалось, что мы дома: те же приветствия, те же радостные лица, то же скромное угощение, но от души...

Четверть века спустя наших сыновей на той же земле встретили уже не хлебом-солью, а плакатами: «Отцы – освободители, сыновья – оккупанты!» Сыновья носили ту же военную форму и звание наследников, а мы – молча свой позор перед всем миром.

Дальше – больше. В декабре 1979-го сыновья ветеранов Отечественной и ученики (мой, в частности, Боря Громов, впоследствии

главнокомандующий 40-й армией, которого я учил тактике в военном училище) вторглись в Афганистан. На протяжении ряда лет более чем сто стран – членов ООН осуждали это преступление, начав которое, мы, подобно Саддаму Хусейну сегодня, противопоставили себя тогда мировому сообществу. Теперь мы знаем, что в той грязной войне ни за что наши солдаты погубили более миллиона афганцев и потеряли свыше пятнадцать тысяч своих...

С целью умышленного сокрытия смысла и истинных масштабов постыдной агрессии, ее зачинщики официально ввели в употребление термин «ограниченный контингент» – классический пример фарисейства и словоблудия. С не меньшим лицемерием зазвучало и «воины-интернационалисты», как бы новое название воинской специальности, эвфемизм, призванный исказить смысл происходящего в Афганистане, сыграть на созвучии с интербригадами, сражавшимися с фашистами в Испании.

Инициаторы вторжения в Афганистан, верховоды из Политбюро не только проявили свою разбойничью сущность, но и сделали своих подручных соучастниками преступления, всех, у кого не хватило мужества воспротивиться приказу убивать. Убийство не может быть оправданным никаким «интернациональным долгом». Какой, мать вашу, долг!!

Безмерно жалко их матерей, осиротевших детей.. Сами же они получили не награды за кровь безвинных афганцев – цинковые гробы..

Писательница в своей книге отделяет их от пославших убивать, она испытывает к ним жалость, в отличие от меня. Не понимаю, за что хотят ее судить? За правду?

*Григорий Брашовский,  
инвалид Великой Отечественной, г. Санкт-Петербург*

...Кровь афганской войны на многое открыла глаза ныне живущим. Дорогой ценой. Прозреть бы раньше. Но кого обвинишь? Разве вина слепого в том, что он незрячий? Кровью отмыты глаза наши...

Я попал в Афганистан в 1980 году (Джелалабад, Баграм). Военным положено выполнять приказ.

Тогда, в 83-м, в Кабуле, я впервые услышал: «Надо поднять в воздух всю нашу стратегическую авиацию и стереть эти горы с лица земли. Сколько уже наших похоронили – и все без толку!» Это говорил один из моих друзей. У него, как и у всех, – мать, жена, дети. Значит, мы, пусть мысленно, но все же лишаем права тех матерей, детей и мужей жить на собственной земле, потому что «взгляды» не те.

А знает ли мать погибшего «афганца», что такое «объемная» бомба? Командный пункт нашей армии в Кабуле имел прямую правительственную связь с Москвой. Оттуда получали «добро» на применение этого оружия. В момент срабатывания взрывателя первый заряд разрывал газонаполненную оболочку. Вытекал газ, заполняющий все щели. Это «облако» взрывалось через временной интервал. Ничего живого не оставалось на этой площади. У человека лопались внутренности, выскакивали глаза. В 1980 году впервые нашей авиацией были применены реактивные снаряды, начиненные миллионами мелких иголок. Так называемые «игольчатые РС». От таких иголок не укроешься нигде – человек превращается в мелкое сито...

Мне хочется спросить у наших матерей – хоть одна из них поставила себя рядом с матерью-афганкой? Или она ту мать считает существом более низшего порядка?

Ужасает только одно: сколько же еще людей передвигается у нас на ощупь, впотьмах, уповая на свои чувства, не пытаясь думать и сопоставлять!

Проснувшиеся ли мы до конца люди, да и люди ли мы с вами, если до сих пор учимся пинать разум, открывающий нам глаза?

*А. Сокалов, майор, военный летчик*

...А некоторые из высокопоставленных лжецов не теряют надежду использовать ту же ложь для возврата прежних милых для них времен. Так, в газете «День» генерал В. Филатов в своем обращении к воинам-афганцам изрекает: «Афганцы! В час Маузера сработаем как в Афганистане... Там вы сражались за Родину на южном направлении... Теперь за Родину надо сражаться, как в 1941 году; на своей территории» («Литературная газета» от 23.09.1992 г.).

Этот час Маузера дал о себе знать ... – 4 октября в Москве у стен Белого дома. Но кто знает, не будет ли попытки реванша? Да, спра-

ведливость требует Суда. Суда чести над инициаторами и вдохновителями афганского преступления – над мертвыми и живыми. Он нужен не для разжигания страстей, а как урок на будущее для всех, кто придумает новые авантюры от имени народа. Как моральное осуждение совершенных злодеяний. Он нужен, чтобы развеять лживую версию о виновности за афганские преступления только верхней пятерки: Брежнев, Громыко, Пономарева, Устинова, Андропова. Потому что были заседания Политбюро, секретариатов, пленум ЦК КПСС, закрытые письма для всех членов КПСС. Но не было среди этих участников и слушателей ни одного возражающего...

Суд нужен, чтобы пробудить наконец совесть у тех, кто получал награды, офицерские и генеральские чины и звания, гонорары и почет за кровь невинных миллионов людей, за ложь, к которой так или иначе мы все оказались причастны...

*А. Саломенов, доктор технических наук, профессор, г. Минск*

Говоря словами Солженицына, мир – это не просто отсутствие войны, но прежде всего отсутствие насилия над человеком. Не случайно, что именно сейчас, когда наше посттоталитарное общество захвачено безумием политического, религиозного, национального, в том числе вооруженного, насилия, писателю предъявлен счет за правду о войне в Афганистане.

Думается, что скандал, разжигаемый вокруг «Цинковых мальчиков», – это попытка восстановить в сознании людей коммунистические «мифы о самих себе». За спинами истцов видятся другие фигуры: те, кто на Первом съезде народных депутатов СССР не давал А.Д. Сахарову говорить о бесчеловечности этой войны, те, кто все еще рассчитывает вернуть ускользающую из рук власть и держать ее силой...

Эта книга ставит вопрос о праве жертвовать человеческими жизнями, прикрываясь речами о суверенности и великодержавности. За какие идеи гибнут простые люди в Азербайджане, Армении, Таджикистане, Осетии?

Между тем по мере роста лжепатриотических идей, основанных на насилии, мы становимся свидетелями нового возрождения духа милитаризма, возбуждения инстинктов агрессии, преступной тор-

говли оружием под сладкие речи о демократической реформе в армии, о военном долге, о национальном достоинстве. Трескучие фразы ряда политиков в защиту революционного и военного насилия, близкие идеям итальянского фашизма, немецкого национал-социализма и советского коммунизма, порождают идейную сумятицу в умах, готовят почву для роста нетерпимости и враждебности в обществе.

Ушедшие с политической арены духовные отцы таких политиков умели манипулировать человеческими страстями и вовлекали своих сограждан в братоубийственные распри. Конечно, их последователям очень хочется устроить процесс над идеями ненасилия и сострадания. Следует вспомнить, что в свое время Лев Толстой, проповедовавший отказ от службы в армии, не был привлечен к суду за антивоенную деятельность. Нас же опять хотят вернуть в эпоху, когда губили все самое честное.

В судебном процессе над С. Алексиевич можно усмотреть спланированное наступление антидемократических сил, которые под видом отстаивания чести армии борются за сохранение отталкивающей идеологии, привычной лжи... Идея ненасильственной альтернативы, которую защищают книги Светланы Алексиевич, живет в сознании людей, хотя официально эта идея не признана, а понятие «непротивление злу насилием» до сих пор осмеивается. Но, повторяем: нравственные перемены в жизни общества связаны прежде всего с формированием самосознания, основанного на принципе «Мир без насилия». Те, кто хочет суда над Светланой Алексиевич, толкают общество во враждебность, в хаос самоистребления.

*Члены Российского общества мира:*

*Р. Илюхина, доктор исторических наук,  
зав. группой «Идеи мира в истории»*

*Института Всеобщей истории Российской академии наук  
А. Мухин, председатель Инициативной группы  
содействия альтернативной службе*

*О. Постникова, литератор, член Движения «Апрель»*

*Н. Шелудякова, председатель организации  
«Движение против насилия»*

Литератору нельзя быть судьей и палачом – таковых на Руси и без того было в достатке... Это выражение Чехова невольно вспомнилось в связи с окололитературным скандалом вокруг книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и одновременно развернутой против «афганцев», их родителей кампании в республиканской и московской прессе и даже забугорных радиостанциях...

Да, война есть война. Она всегда жестока и несправедлива в отношении человеческих жизней. В Афганистане подавляющая часть солдат и командиров, верных присяге, исполняла свой долг. Потому что приказ был отдан законным правительством от имени народа. К сожалению, к стыду нашему, были отдельные командиры и солдаты, которые совершали преступления, были и те, кто убивал и грабил афганцев, кто (таких единицы – но были) убивал своих товарищей и с оружием уходил на сторону душманов, воевал в их рядах.

Могу привести целый ряд других преступлений, совершенных нашими людьми, но когда некоторые писатели и журналисты сравнивают «афганцев» с фашистами, тут же возникает целый ряд вопросов. Может, эти господа могут продемонстрировать миру приказы правительства о строительстве нашей армией в Афганистане концлагерей, об уничтожении целого народа, сожжении в газовых печах миллионов людей, как это делали немцы? Или у вас, господа, есть документы, свидетельствующие, что за одного убитого советского солдата уничтожались сотни мирных людей, как это делали гитлеровцы в Белоруссии? Или можете доказать, что наши врачи забирали у афганских детей всю кровь для своих раненых, как это делалось немецкими оккупантами?

Кстати, у меня есть списки тех советских солдат и офицеров, которые были осуждены за преступления, совершенные против афганских граждан. Может, вы, господа, предъявите такие списки на немец или назовете хотя бы одного-двух, кто был осужден во время оккупации нашей страны за то, что совершил преступление в отношении мирного населения?

Слов нет, решение тогдашнего советского правительства о вводе войск в Афганистан было преступным в первую очередь в отношении своего народа. Но, говоря о наших военнослужащих, которых при молчаливом согласии народа, и вашем тоже, господа, направили в пекло выполнять воинский долг, надо быть корректным. Клей-

мать стоит тех, кто принимал решения, кто, имея вес в обществе, молчал...

Унижая матерей погибших солдат, защитники Алексиевич кивают на Америку – страну великой демократии! Там, дескать, нашлись силы выступить против войны во Вьетнаме.

Но ведь любой читающий газеты человек знает, как поступила Америка. Ни американский конгресс, ни американский сенат не принимали резолюций, осуждающих войну во Вьетнаме. Никто в Америке не позволил и не позволит бросить бранное слово в адрес президентов Кеннеди, Джонсона, Форда, Рейгана, посылавших американских солдат на бойню.

Через Вьетнам прошло около трех миллионов американцев... Вьетнамские ветераны входят в высшие круги политической и военной элиты страны... Любой американский школьник может купить знаки отличия воинских частей, воевавших во Вьетнаме...

Интересно, что произошло бы с радио «Свобода», которое защищает Алексиевич, если бы его сотрудники не белорусских граждан, а своих – президентов, участников войны во Вьетнаме – называли преступниками и убийцами? Чужих, естественно, можно, тем более когда есть доброхоты, которые за доллары и марки готовы и отца родного...

*Н. Чергинец,  
генерал-майор милиции, бывший военный  
советник в Афганистане, председатель  
Белорусского союза ветеранов  
войны в Афганистане  
«Советская Белоруссия», 16 мая 1993 г.*

...То, что знаем мы, бывшие там, не знает никто, разве только наши начальники, чьи приказы мы выполняли. Теперь они молчат. Молчат о том, как нас учили убивать и «шмонать» убитых. Молчат о том, как уже перехваченный караван делился между вертолетчиками и начальством. Как каждый труп душмана (так мы тогда их называли) минируется, чтобы тот, кто придет хоронить (старик, женщина, ребенок), тоже нашел свою смерть рядом с близким, на своей родной земле. И о многом другом они молчат. Мне довелось служить в воздушно-десантном батальоне специального назначения. У нас бы-



ла узкая специализация: караваны, караваны и еще раз караваны. В большинстве своем караваны шли не с оружием, а с товарами и наркотиками, чаще всего ночью. Наша группа – двадцать четыре человека, а их иногда за сотню переваливает. Где уж думать, кто там мирный караванщик, торговец, закупивший в Пакистане товар и мечтающий его выгодно продать, кто переодетый душман. Я каждый бой помню, каждого «своего» убитого помню – и старика, и взрослого мужчину, и мальчишку, корчащегося в предсмертной агонии... и того в белой чалме, с исступленным воплем «Аллах акбар» спрыгнувшего с пятиметровой скалы, перед этим смертельно ранившего моего друга... На моей тельняшке остались его кишки, а на прикладе моего АКМСа – его мозги... По полгруппы нашей оставляли мы на скалах... Не всех имели возможность выгнать из расщелин... Их находили только дикие звери... А мы сочиняли их родителям якобы совершенные ими «подвиги». Это восемьдесят четвертый год...

Да, нас нужно судить за содеянное, но вместе с пославшими нас туда, заставившими с именем Родины и согласно присяге выполнять работу, за которую в сорок пятом судили всем миром фашизм...

*Без подписи*

...Но вот проходят годы, и вдруг выясняется, что людям, всему человеческому сообществу мало того, что им оставляет история. Та история, к которой мы привыкли, где именно есть имена, даты, события, где есть факты и их оценка, но где не остается места для человека. Для того самого конкретного человека, который был не просто участником этих событий, некоей статистической единицей, а представлял определенную личность, был наполнен эмоциями и впечатлениями, историей, как правило, не фиксируемыми...

Я не помню, когда вышла книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» – лет пятнадцать прошло уже, наверное, но я и сейчас зримо представляю потрясший меня эпизод. На марше женский батальон, жара, пыль, а в пыли – то здесь, то там пятна крови, – для женского организма нет перерывов даже на войне.

Какой историк оставит нам такой факт? И сколько рассказчиков должен пропустить через себя писатель, чтобы выудить его из неслетного числа фактов, впечатлений?

Или еще. После маршевого броска женский батальон оказывается на берегу реки. Возможность обмыться – одно из счастливых мгновений для женщин на войне. Весь батальон бросается в воду, но тут неожиданно появляются немецкие самолеты... Никто из женщин не вылез из воды, не бросился прятаться за деревьями... То, что было бы абсолютно нормальным для мужчин. После бомбежки – десятки раненых и убитых девушек. Для них быть чистой, красивой, чувство стыда из-за неудобств мужского быта войны оказались сильнее страха смерти.

И мне этот факт рассказывает больше о психологии женщин на войне, чем целый исторический военный том.

...И как бы близко от нас ни были события – афганской войны, чернобыльской трагедии, московских путчей, таджикских погромов, – но вдруг выясняется, что все они уже стали достоянием истории, и уже новые катаклизмы приходят им на смену, и к ним, новым, уже приковано внимание общества. И уходят свидетельства, потому что человеческая память, оберегая нас, старается затушевать те эмоции и воспоминания, которые мешают человеку жить, лишают его сна и покоя. А потом уходят и сами свидетели...

Ах, как не хочется многим «удельным князьям» канувшего в Лету режима признать, что и над ними есть суд – и суд людей, и суд истории! Ах, как не хочется им верить, что наступили времена, когда лобой «щелкопер и бумагомаратель» может позволить себе поднять руку на «светлое прошлое», «очернить и унижить» его, подвергнуть сомнению «великие идеалы»! Ах, как мешают им книги, наполненные показаниями последних свидетелей!

Можно дезавуировать генерала КГБ Олега Калугина: генералами КГБ просто так не становятся. Но невозможно дезавуировать показания сотен простых смертных – «афганцев», чернобыльцев, жертв межэтнических конфликтов, беженцев из «горячих точек»... Зато можно «прижучить», «поставить на место», «заткнуть рот» журналисту, писателю, психологу, собравшему эти свидетельские показания...

Нам, конечно, не привыкать. Судили уже Синявского с Даниэлем, подвергали анафеме Бориса Пастернака, смешивали с грязью Солженицына и Дудинцева.

Ну, замолчит и Светлана Алексиевич. Ну, перестанут появляться свидетельства жертв нашего преступного века. А что же останется

нашим потомкам? Слащавое сюсюканье любителей победных реляций? Барабанный бой попеременно с бравурными маршами? Так ведь это уже все было. Через это мы уже прошли...

*Я. Басин, врач  
Газета «Добрый вечер», 1 декабря 1993 г.*

С этими словами я хотел выступить в суде. Я причислял себя к тем, кто не принял книгу Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики». На суде я должен был стать защитником Тараса Кецура...

Исповедь бывшего врага, – так можно теперь это назвать...

Я внимательно слушал все, что два дня говорилось в зале суда, в кулуарах и подумал, что мы совершаем святотатство. За что мы терзаем друг друга? Во имя Бога? Нет! Мы разрываем его сердце. Во имя страны? Она там не воевала...

В сконцентрированном виде Светлана Алексиевич описала афганскую «чернуху», и любой матери невозможно поверить, что на подобное был способен ее сын. Но я скажу больше: описанное в книге, лишь цветочки по сравнению с тем, что бывает на войне, и каждый, кто действительно воевал в Афганистане, положив руку на сердце, сможет подтвердить это. Сейчас мы находимся перед жестокой реальностью: ведь мертвые сраму не имут, и, если этот срам был на самом деле, его должны принять на себя живые. Но живые – это мы! И тогда оказывается, что мы были крайними на войне, то есть, кто выполнял приказы, оказываются крайними теперь, когда приходится отвечать за все последствия войны! Поэтому было бы справедливее, если бы книга такой силы и таланта появилась не о мальчиках, а о маршалах и кабинетных начальниках, посылавших ребят на войну.

Я спрашиваю себя: должна ли была Светлана Алексиевич написать об ужасах войны? Да! А должна ли мать вступить за своего сына? Да! И должны ли «афганцы» вступить за своих товарищей? И опять – да!

Конечно, солдат всегда грешен, на любой войне. Но на Страшном суде Господь первым простит солдата...

Правовой выход из этого конфликта найдет суд. Но должен быть и человеческий выход, который заключается в том, что: матери всегда правы в любви к сыновьям; писатели правы, когда говорят прав-

ду; солдаты правы, когда живые защищают мертвых.

Вот что столкнулось на самом деле на этом гражданском процессе.

Режиссеров и дирижеров, политиков и маршалов, организовавших эту войну, в зале суда нет. Здесь одни пострадавшие стороны: любовь, которая не приемлет горькую правду о войне; правда, которая должна быть высказана, несмотря ни на какую любовь; честь, не приемлющая ни любви, ни правды, потому что помните: «Жизнь я могу отдать Родине, но честь – никому» (кодекс русских офицеров).

Боже сердце вмещает все: и любовь, и правду, и честь, но мы не боги, и этот гражданский процесс хорош только тем, что способен людям вернуть полноту жизни.

Единственное, в чем я могу упрекнуть Светлану Алексиевич – это не в том, что она исказила правду, а в том, что в книге практически нет любви к юности, брошенной на заклятие дураками, организовавшими афганскую войну. И удивительно для меня самого, как «афганцы», смотревшие в глаза смерти, сами боятся своей правды об афганской войне. Должен же найтись хоть один «афганец», который скажет, что мы давно не серая, однородная масса, и слова Тараса Кецмура, когда он говорил, что не осуждает войну – это не наши слова, он не говорит это за всех нас...

Я не осуждаю Светлану за то, что книга помогла обывателю узнать афганскую «чернуху». Я не осуждаю ее даже за то, что после прочитанного к нам относятся гораздо хуже. Мы должны пройти через переосмысление нашей роли в войне как орудия убийства, и если есть в чем каяться, то покаяние должно прийти к каждому человеку.

Суд, вероятно, будет продолжаться долго и мучительно. Но в моей душе он завершен.

*Павел Шетько,  
бывший «афганец»*

## ХРОНИКА СУДА

### Из стенограммы заключительного судебного заседания 8 декабря 1993 г.

Состав суда: судья И.Н. Жданович,  
народные заседатели Т.В. Борисевич, Т.С. Сорока.  
Истцы: И.С. Галовнева, Т.М. Кецмур.  
Ответчица: С.А. Алексиевич.

### Из выступления С. Алексиевич, автора «Цинковых мальчиков» (Из того, что было сказано и что не дали сказать)

Я до конца не верила, что этот суд состоится, как не верила до последнего мгновения, что у Белого дома начнут стрелять...

Уже физически не могу видеть ожесточенные яростные лица. И я б не пришла в этот суд, если бы здесь не сидели матери, хотя я знаю: это не они со мной судятся, а судится со мной бывший режим. Сознание – не партбилет, его не сдашь в архив. Поменялись наши улицы, вывески на магазинах и названия газет, а мы – те же. Из соцлагеря. С прежним лагерным мышлением...

Но я пришла поговорить с матерями. У меня все тот же вопрос, что и в моей книге: кто же – мы? Почему с нами можно делать все, что угодно? Вернуть матери цинковый гроб, а потом убедить ее подать в суд на писателя, который написал, как не могла она своего сына даже поцеловать в последний раз и обмывала в травах, гладила цинковый гроб... Кто же мы?

Нам внушили, с детства заложили в генах любовь к человеку с ружьем. Мы выросли словно бы на войне, даже те, кто родился через несколько десятилетий после нее. И наше зрение устроено так, что до сих пор, даже после преступлений революционных чрезвычай, сталинских заградотрядов и лагерей, после недавнего Вильнюса, Баку, Тбилиси, после Кабула и Кандагара, человека с ружьем мы представляем солдатом 45-го, солдатом Победы. Так много написано книг о войне, так много изготовлено человеческими же руками и

умом оружия, что мысль об убийстве стала нормальной. Лучшие умы с детской настойчивостью задумываются над тем, имеет ли право человек убивать животных, а мы, мало сомневаясь или наскоро соорудив политический идеал, способны оправдать войну. Включите вечером телевизор, и вы увидите, с каким тайным восторгом несем мы героев на кладбище. В Грузии, Абхазии, в Таджикистане... И снова ставим на их могилах памятники, а не часовни...

Невозможно у мужчин безнаказанно забрать эту самую любимую... самую дорогую игрушку – войну. Этот миф... Этот древний инстинкт...

Но я ненавижу войну и саму мысль о том, что один человек имеет право на жизнь другого человека.

Недавно мне один священник рассказал, как бывший фронтовик, уже старый человек, принес в церковь свои награды. «Да, – сказал он, – я убивал фашистов. Защищал Родину. Но перед смертью я все равно хочу покаяться за то, что убивал». И оставил свои награды в церкви, а не в музее. Мы же воспитаны в военных музеях...

Война – тяжелая работа и убийство, но по прошествии лет вспоминается тяжелая работа, а мысль об убийстве отодвигается. Разве можно это придумать: эти подробности, чувства. Их страшное разнообразие в моей книге.

Все чаще думаю: после Чернобыля, Афгана, после событий у Белого дома... – что мы не равны тому, что с нами происходит. Может быть, поэтому оно с нами и происходит?

Когда-то, несколько лет назад, а точнее, четыре года назад, мы думали одинаково: я, многие матери, присутствующие сейчас в этом зале, солдаты, вернувшиеся с чужой афганской земли. В моей книге «Цинковые мальчики» материнские рассказы-молитвы – самые печальные страницы. Матери молятся о своих погибших сыновьях...

Почему же сейчас мы сидим в суде друг против друга? Что же произошло за это время?

За это время исчезла с карты мира, из истории страна, коммунистическая империя, которая их туда послала убивать и умирать. Ее нет. Войну сначала робко называли политической ошибкой, а затем преступлением. Все хотят забыть Афганистан. Забыть этих матерей, забыть калек... Забвение – это тоже форма лжи. Матери остались один на один с могилами своих мальчиков. У них даже нет утешения,

что смерть их детей не бессмысленна. Какие бы оскорбления и ругательства я сегодня ни слышала, я говорила и повторяю, что преклоняюсь перед матерями. Преклоняюсь и за то, что, когда Родина бросила в бесчестье имена их сыновей, они стали их защитниками. Сегодня только матери защищают погибших мальчиков... Другой вопрос – от кого они их защищают?

И их горе – превысит любую правду. Говорят, что молитва матери и со дна моря достает. В моей книге она достает их из небытия. Они – жертвы на алтаре нашего тяжелого прозрения. Они – не герои, они мученики. Никто не смеет бросить в них камень. О том, что были мы все повинны, мы все причастны к той лжи, – об этом моя книга. Чем опасен любой тоталитаризм? Он всех делает соучастниками своих преступлений. Добрых и злых, наивных и прагматичных... Молиться надо за этих мальчиков, а не за идею, жертвами которой они стали. Я хочу матерям сказать: не мальчиков своих вы здесь защищаете. Вы защищаете страшную идею. Идею-убийцу. Это я хочу сказать и бывшим солдатам-«афганцам», которые пришли сегодня в суд.

За спинами матерей я вижу генеральские погоны. Генералы возвращались с войны со Звездами Героев и с большими чемоданами. Одна из матерей, сидящая здесь в зале, рассказывала мне, как ей вернули цинковый гроб и маленький черный саквояж, где лежали зубная щетка и плавки сына. Все, что ей осталось. Все, что он привез с войны. Так от кого вы должны были бы защищать своих сыновей? От правды? Правда в том, как умирали ваши мальчики от ран, потому что не было спирта и лекарств, их продавали в дуканы, как кормили мальчишек ржавыми консервами пятидесятых годов, как даже хоронили их в старом, времен Отечественной, обмундировании. Даже на этом сэкономили. Я не хотела бы это вам говорить у могил... Но происходит...

Вы слышите: везде стреляют, снова кровь. Какое же оправдание крови вы ищете? Или помогаете искать?

Тогда, пять лет назад, когда еще правила компартия, КГБ, – я, чтобы уберечь героев своей книги от расправы, иногда меняла имена, фамилии. Я защищала их от режима. А сегодня должна защищаться от тех, кого недавно защищала.

Что я должна отстаивать? Свое писательское право видеть мир таким, как я его вижу. И то, что я ненавижу войну. Или я должна дока-

зывать, что есть правда и правдоподобие, что документ в искусстве – это не справка из военкомата и не трамвайный билет. Те книги, которые я пишу, – это своего рода проза. Это – документ и в то же время мой образ времени. Я собираю подробности, чувства не только из отдельной человеческой жизни, но и из всего воздуха времени, его пространства, его голосов. Я не выдумываю, не домысливаю, а организовываю материал в самой действительности. Документ – это и те, кто мне рассказывает, документ – это и я как человек со своим мировоззрением, ощущением.

Я пишу, записываю современную, текущую историю. Живые голоса, живые судьбы. Прежде чем стать историей, они еще чья-то боль, чей-то крик, чья-то жертва или преступление. Бессчетное количество раз я задаю себе вопрос: как пройти среди зла, не увеличивая в мире зла, особенно сейчас, когда зло принимает какие-то космические размеры? Перед каждой новой книгой я спрашиваю себя об этом. Это уж – моя ноша. И моя судьба.

Писательство – судьба и профессия, в нашей несчастной стране это даже больше судьба, чем профессия. Почему суд два раза отклоняет ходатайство о литературной экспертизе? Потому что сразу бы стало ясно – тут нет предмета суда. Судят книгу, судят литературу, предполагая, что раз это документальная литература, то ее можно каждый раз переписать заново, ублажая сиюминутные потребности. Не дай Бог, если бы документальные книги правили пристрастные современники. Нам бы остались лишь отзвуки политических борений и предрассудков вместо живой истории. Вне законов литературы, вне законов жанра творится примитивная политическая расправа, низведенная уже на бытовую, я бы даже сказала, коммунальный уровень. И, слушая этот зад, я часто ловила себя на мысли: кто же решается нынче звать толпу на улицу, толпу, которая не верит уже никому – ни священникам, ни писателям, ни политикам? Она хочет только расправы и крови... И подвластна лишь человеку с ружьем... Человек с пером, вернее, с авторучкой, а не с автоматом Калашникова, ее раздражает. Меня учили здесь, как надо писать книги. Толпа у нас всеильна...

Те, кто позвал меня в суд, отказываются от того, что говорили несколько лет назад: те же слова, те же знаки, но поменялся в их сознании шифровой ключ, и они уже читают прежний текст иначе или



вообще его не узнают. Почему? Да потому, что им не нужна свобода... Они не знают, что с ней делать...

Я очень жалею, что стерла кассеты, обычно храню их только два-три года, это же двести – триста кассет. Там была та реальность. И те люди...

А это уже другие люди: не те, какими они были пять-шесть лет назад. Я хорошо помню, какой была Инна Сергеевна Галовнева, я просто полюбила ее. А сейчас – это уже политик, официальное лицо, председатель клуба матерей погибших солдат. Это уже другой человек, от прежнего – у него только собственное имя и имя погибшего сына, которого она второй раз принесла в жертву. Обрядовое жертвоприношение. Мы – просто рабы, мы – романтики рабства.

У нас свои представления о героях и мучениках. Если бы здесь речь шла о чести и достоинстве, то мы встали бы и молчали перед памятью почти двух миллионов погибших афганцев... Погибших там, на своей земле...

Сколько можно задавать этот вечный наш вопрос: кто виноват? Мы виноваты – ты, я, они. Проблема в другом – в выборе, который есть у каждого из нас: стрелять или не стрелять, молчать или не молчать, идти или не идти... Спрашивать надо у себя... Каждый пусть спросит у себя... Но нет этого опыта войти в себя, вовнутрь себя... Привычнее бежать на улицу под знакомые красные знамена... Просто жить, нормально жить не умеем... Без ненависти и борьбы...

Я хочу просить прощения у матерей за то, что вольно или невольно мы всегда причиняем друг другу боль... Все люди... Слишком несовершенен тот мир, который мы создали...

Но лучше бы нам встретиться не в суде... Мы спросили бы себя: чем жить сейчас – памятью или верой? Я бы задала себе вопрос, который сейчас неотступен: есть ли пределы, до которых можно идти в правде? Нет ли там где-то роковой черты...

Тарас Кецмур, не тот, что сидит сейчас в зале, а тот, каким он вернулся с войны, так об этом сказал... Сказал тогда... Я прочитаю вам из книги:

«Как будто я сплю и вижу большое море людей. Все возле нашего дома. Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу, гроб деревянный. Помню это хорошо. Но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходят на дорогу и меня выносят на дорогу. Толпы народа, у всех

на лице горе и еще какой-то восторг тайный, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал: «Дайте молоток». Тут меня пробил мысль – я вижу сон. Опять кто-то повторяет: «Дайте молоток». Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал: «Подайте молоток». Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начал бить головой в крышку, ногами. Раз – и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят – я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышать. Они плачут, они мне ничего не говорят. Все как немые. И я не знаю, как мне заговорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лег в гроб. Лежу и думаю: они хотят, чтобы я умер, может, я действительно умер и надо молчать. Кто-то опять говорит: «Дайте мне молоток».

И это он не опроверг... И это защитит его честь и достоинство на главном Суде... И меня тоже...

### Из разговоров в зале суда

– Вы говорите, что это коммунисты. Да они, эти люди, – никто, обозленные, нищие. Обманутые и желающие обманываться. Кто-то виноват, а не они. Психология жертвы. А жертве всегда нужен тот, кого бы она могла обвинять. У нас еще не стреляют, но у всех раздуваются ноздри, как от запаха крови. И не коммунизм, не «святая идея» стучит в их сердца, а «жажда равенства»: если нищие, то чтобы все, если несчастные, то тоже все.

– У нее миллионы, два «Мерседеса», по границам разъезжает...

– Писатель пишет книгу два-три года, а получает за нее сегодня столько, сколько мальчишка, водитель троллейбуса, за два месяца. Откуда вы взяли эти «Мерседесы»?

– По границам ездит...

– А где твой личный грех? Ты мог стрелять и мог не стрелять. Что? Молчишь...

– Народ унижен, нищ. А совсем недавно мы были великой державой. Может, мы такими и не были, но сами считали себя великой державой по количеству ракет и танков, атомных бомб и верили, что живем в самой лучшей, самой справедливой стране. А вы нам гово-

рите, что мы жили в другой стране – страшной и кровавой. Кто вам это простит? Вы наступили на самое больное... На самое глубинное...

– Мы все были к этой лжи причастны... Все...

– Вы делали то же, что и фашисты! А хотите героями зваться... Да в придачу холодильник и мебельный гарнитур без очереди получить... По льготной цене...

– Они – муравьи, они не знают, что есть пчелы и птицы. И они хотят всех сделать муравьями. Разный уровень сознания...

– А что вы хотите после всего?

– После чего?

– После крови... Я имею в виду напуганную историю. После крови люди могут ценить только хлеб... Все остальное для них не имеет цены... Сознание разрушено...

– Молиться надо. Молиться за палачей своих... За мучителей...

– Ей доллары заплатили... И она льет на нас грязь... На наших детей...

## **Из решения суда**

### **РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Народный суд Центрального района г. Минска в составе председательствующего Ждановича И.Н., народных заседателей Борисевич Т.В., Сорока Т.С., при секретаре Лобынич И.Б. рассмотрел в открытом заседании 8 декабря 1993 года дело по иску Кецура Тараса Михайловича и Галовневой Инны Сергеевны к Алексиевич Светлане Александровне и редакции газеты «Комсомольская правда» о защите чести и достоинства.

...Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые заявления подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 7 ГК Республики Беларусь гражданин или организация вправе требовать опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространявший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Судом установлено, что в газете «Комсомольская правда» от 15 февраля 1990 г. № 39 были опубликованы отрывки из документаль-

ной книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики» – «Монологи тех, кто прошел Афганистан». В публикации имеется монолог, подписанный фамилией истицы Галовневой И.С.

В связи с тем, что ответчики по настоящему делу – Алексиевич С.А. и редакция газеты «Комсомольская правда» не представили доказательств соответствия действительности сведений, изложенных в указанной публикации, суд считает их не соответствующими действительности.

Однако суд считает, что изложенные сведения не являются позорящими, так как не умаляют честь и достоинства Галовневой И.С. и ее погибшего сына в общественном мнении и мнении граждан с точки зрения соблюдения законов и моральных принципов общества, в них не содержится сведений о недостойном поведении ее сына в обществе...

Поскольку ответчиками не представлено доказательств соответствия действительности рассказа Кецмура Т.М., суд считает не соответствующими действительности сведения, изложенные в монологе, подписанном фамилией и именем Кецмура Т.М.

По указанным выше обстоятельствам суд считает не соответствующими действительности и позорящими честь и достоинство истца Кецмура Т.М. следующие сведения, изложенные в фразах: «Я там видел, как выкапывают в рисовых полях железо и человеческие кости, я видел оранжевую ледовую корку на застывшем лице убитого, да, почему-то оранжевую» и «В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я – другой. Через парк пройти не могу, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: «Заказывайте», а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь гада, одна мысль: расстрелять его надо». Эти сведения суд считает позорящими, так как они дают основания читателям сомневаться в его психической полноценности, адекватности восприятия окружающего, рисуют его человеком озлобленным, ставят под сомнения его моральные качества, создают о нем впечатление как о человеке, который может правдивую и действительную информацию передать как ложную и не соответствующую действительности...

В остальной части иска Кецмуру Т.М. отказать...

Ответчица Алексиевич С. А. иск не признала. Она показала, что в 1987 г. встречалась с Головневой И. С. – матерью погибшего в Афганис-

тане офицера, и беседу с ней записала на магнитофонную ленту. Это было почти сразу после похорон ее сына. Истица рассказала ей все то, что указано в монологе, подписанном ее фамилией в газете «Комсомольская правда». Для того чтобы Галовневу не преследовали органы КГБ, она в одностороннем порядке изменила ее имя на «Нина» и воинское звание ее сына со старшего на младшего лейтенанта, хотя речь шла именно о ней.

С Кецмуром Т.М. она встречалась именно шесть лет назад. Наедине она записала его рассказ на магнитофонную ленту. В опубликованном монологе сказанное им изложено в соответствии с этой записью, поэтому соответствует действительности и является правдивым...

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 ГПК Республики Беларусь, суд решил:

Обязать редакцию газеты «Комсомольская правда» в двухмесячный срок опубликовать опровержение указанных сведений.

Галовневой Инне Сергеевне в иске о защите чести и достоинства к Алексиевич Светлане Александровне и редакции газеты «Комсомольская правда» отказать.

Взыскать с Алексиевич Светланы Александровны в пользу Кецмура Тараса Михайловича расходы по госпошлине в размене 1320 (одна тысяча триста двадцать) руб. и госпошлину в доход государства в размере 2680 (две тысячи шестьсот восемьдесят) руб.

Взыскать с Галовневой Инны Сергеевны в доход государства 3100 (три тысячи сто) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Мингорсуд через нарсуд Центрального района г. Минска в течение 10 дней со дня его оглашения.

## **Из ходатайства о независимой литературной экспертизе**

Директору Института литературы  
имени Янки Купалы Академии наук  
Республики Беларусь  
Коваленко В. А.

*Уважаемый Виктор Антонович!*

Как вам известно, судебный процесс против писательницы Светланы Алексиевич в связи с публикацией отрывка из ее документальной повести «Цинковые мальчишки» в «Комсомольской правде» от 15.02.90 г.

завершен в первой инстанции. Фактически С. Алексиевич обвинили в том, что она будто бы оскорбила честь и достоинство одного из источников (одного из героев ее книги), не передав его слова буквально. Дважды суд отклонил ходатайство о проведении литературной экспертизы.

Белорусский ПЭН-центр просит Вас сделать независимую литературную экспертизу, которая бы дала ответ на следующие вопросы:

1. Как научно обозначается жанр документальной повести с учетом того, что «документальная» понимается как «на основе фактов (свидетельств)», а «повесть» – как «художественное произведение»?

2. Чем отличается документальная повесть от газетно-журнальной публикации, в частности, от интервью, текст которого обычно визируется автором у интервьюируемого?

3. Имеет ли право автор документальной повести на художественность, концепцию произведения, отбор материала, литературную обработку устных свидетельств, на собственное мировоззрение, на обобщение фактов во имя художественной правды?

4. Кто владеет авторскими правами: автор или герои описываемых ею событий, чьи исповеди-свидетельства она записывала во время сбора материалов?

5. Как определить границы, в которых автор свободен от буквальности, механичности передачи записанных текстов?

6. Соответствует ли книга С. Алексиевич «Цинковые мальчики» жанру документальной повести (в связи с первым вопросом)?

7. Имеет ли право автор документальной повести на изменение имен и фамилий своих героев?

8. И, как следствие всех этих вопросов, самый главный из них: можно ли судить писателя за отрывок из художественного произведения, даже тогда, когда этот отрывок не нравится тем, кто давал устный материал для книги? С. Алексиевич опубликовала не интервью с истцами, а именно отрывок из книги в жанре документальной повести.

Независимая литературная экспертиза нужна Белорусскому ПЭН-центру для защиты писательницы Светланы Алексиевич.

*С уважением  
Вице-президент  
Белорусского ПЭН-центра  
Карлос Шерман*

28 декабря 1993г.

*Уважаемый Карлос Григорьевич!*

Выполняем Вашу просьбу – сделать независимую литературную экспертизу документальной повести Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики» и даем ответ на Ваши вопросы по пунктам:

1. По тому определению понятия «документальная литература», которое дает «Литературный энциклопедический словарь» (М., «Советская энциклопедия», 1987, с. 98 – 99) и которое считается среди ученых-специалистов наиболее выверенным и точным, вытекает, что документальная литература, в том числе и документальная повесть, по своему содержанию, методам и способам исследования, форме изложения относится к жанру художественной прозы и в связи с этим активно использует художественный отбор и эстетическую оценку документального материала. «Документальная литература, – отмечает автор соответствующей статьи, – художественная проза, исследующая исторические события и явления общественной жизни путем анализа документальных материалов, которые возобновляются целиком, частично или в изложении».

2. В той же энциклопедической статье утверждается, что «качество отбора и эстетической оценки показанных фактов, взятых в исторической перспективе, расширяют информационный характер документальной литературы и выводят ее как из ряда газетно-журнальной документалистики (очерк, записи, хроника, репортаж) и публицистики, так и из исторической прозы». Таким образом, отрывок из «Цинковых мальчиков» С. Алексиевич, опубликованный в «Комсомольской правде» (от 15.02. 90 г.), нельзя отнести к жанру интервью, репортажа, очерка или любой другой разновидности журналистской деятельности, он является своеобразной рекламой книги, которая вскоре должна была появиться в печати.

... Что касается права автора документального произведения на художественность как специфическое средство обобщения фактов, на собственную концепцию исторического события, на сознательный отбор материала, на литературную обработку устных рассказов свидетелей этого события, на собственные выводы сопоставления фак-

тов, то в уже названном выше энциклопедическом словаре сказано буквально следующее: «Сводя к минимуму художественный вымысел, документальная литература своеобразно использует художественный синтез, отбирая реальные факты, которые сами по себе обладают значительными социально-бытовыми свойствами». Несомненно, что документальная литература строго ориентирована на достоверность и правдивость. Но, однако, возможен ли полный реализм, абсолютная правда вообще? По словам писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю, полная правда была бы возможна только тогда, когда бы перед человеком поставили киноаппарат, и он бы записал всю его жизнь от рождения до смерти. Но напелся бы в таком случае другой человек, согласившийся бы пожертвовать своей жизнью ради бесконечного просмотра этой удивительной киноленты? И сумел бы он за внешними событиями увидеть внутренние причины поведения «героя»? Легко представить ситуацию, что было бы, если бы автор «Цинковых мальчиков» сознательно отказалась от творческого отношения к собранным фактам и примирилась с ролью пассивного собирателя. Ей пришлось бы в таком случае записать на бумаге буквально все, что наговорили в своих многочасовых рассказах-исповедях герои-«афганцы», и в итоге получился бы (найдишь издатель) пухлый том сырого, необработанного, не доведенного до существующего уровня эстетических требований материала, который просто бы не имел читателя. Больше того, если бы таким путем пошли предшественники С. Алексиевич в этом документальном жанре, то мировая литература не имела бы сегодня таких шедевров, как «Брестская крепость» С. Смирнова, «Нюрнбергский процесс» А. Полторака, «Обычное убийство» Т. Капотэ, «Я из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника, «Блокадной книги» А.Адамовича и Д. Гранина.

4. Авторское право – это сумма правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и изданием литературных произведений, и они начинаются с момента создания книги и состоят из конкретных, определенных законодательством правомочий (лично имущественных и неимущественных). Среди них в первую очередь выделяются права на авторство, на публикацию, переиздание и распространение произведения, на неприкосновенность текста (только автор имеет право вносить в свое произведение какие-либо изменения или дает разрешение сделать это другим). Процесс сбора



материала в соответствии с жанром документальной литературы требует активной роли автора, определяющего проблемно-тематическую суть произведения. Нарушение авторского права наказывается в судебном порядке.

5. Буквально точь-в-точь воспроизведение рассказов героев, как мы уже доказывали в ответе на третий вопрос, в документальном произведении невозможно. Но тут, конечно, появляется проблема воли автора, с которым герои в момент откровения поделились воспоминаниями и как бы передали ему часть своих прав на это свидетельство, надеясь на точную передачу их слов в первоначальном виде, на профессиональное мастерство автора, его умение выделить главное и опустить мелочи, которые не углубляют мысль, сопоставить факты и увидеть их в едином целом. В конце концов все решает художественный талант автора и его моральная позиция, его способность соединять документальность с художественным изображением. Мэру правдивости, глубину проникновения в событие в этом случае может почувствовать и определить только сам читатель и литературная критика, которая владеет инструментарием эстетического анализа. Эту меру правдивости по-своему оценивают и герои произведения, они самые пристрастные и внимательные его читатели: соприкасаясь с феноменом превращения устного слова в письменное, а тем более напечатанное, они подчас становятся жертвами неадекватной реакции на собственный рассказ. Так человек, впервые услышавший свой собственный голос на магнитофонной ленте, не узнает самого себя и считает, что произошла грубая подмена. Внезапный эффект возникает еще и в результате того, что рассказ одного свидетеля сопоставляется, стыкуется в книге с другими подобными рассказами, перекликается или отличается от них, или даже спорит, конфликтует с рассказами других героев-свидетелей: тогда заметно меняется отношение и к собственным словам.

6. Книга С. Алексиевич «Цинковые мальчики» целиком отвечает уже названному выше жанру документальной литературы. Достоверность и художественность присутствуют в ней в пропорциях, позволяющих отнести названное произведение к художественной прозе, а не к журналистике. И, к слову сказать, предшествующие книги этого автора («У войны не женское лицо», «Последние свидетели») исследователи относят к документальной литературе.

7. В литературе, современной автору, очерчены определенные границы этики, если достоверная передача рассказа героя, его правдивое свидетельство о событиях, оценка которых еще не получила надлежащего признания в обществе, могут обернуться нежелательными результатами не только для автора, но и для героя. В таком случае автор, несомненно, имеет право на изменение фамилий и имен героев. И даже тогда, когда герою ничего не угрожает и политическая конъюнктура складывается в пользу книги, авторы нередко пользуются этим приемом. В фамилии главного героя «Повести о настоящем человеке» Мересьев писатель Б. Полевой заменил всего только одну букву, но сразу же возник эффект художественности: читатель уже понимал, что речь идет не об одном конкретном человеке, а о типичном явлении в советском обществе. Таких примеров сознательного изменения имени и фамилии героев в истории литературы множество.

8. Судебные процессы, подобные тому, который идет над С. Алексиевич, автором книги «Цинковые мальчики», имеют еще, к сожалению, место в мире. Судебному преследованию в послевоенной Англии подвергнулся Дж. Оруэлл, автор знаменитой «антиутопии» под названием «1984», которого обвинили в клевете на государственное устройство. Сегодня известно, что темой этой книги был тоталитаризм в том варианте, что возник в 20-м столетии. Смертный приговор в наши дни вынесен в Иране писателю С. Рушди за книгу, в которой якобы в издевательском тоне говорится об исламе: прогрессивная мировая общественность оценила этот акт как нарушение права на свободу творчества и как проявление нецивилизованности. В клевете на Советскую Армию еще недавно упрекали писателя В. Быкова: многие опубликованные в печати письма от ветеранов-псевдопатриотов звучали как суровый общественный приговор писателю, который первым осмелился сказать вслух правду о прошлом. И, увы, история повторяется. Наше общество, провозгласившее строительство правового государства, пока что осваивает лишь азы самых главных прав человека, подменяя часто дух закона его буквой, забывая о моральной стороне всякого судебного дела. Право на защиту собственного достоинства, которое, по мнению истцов, была нарушено С. Алексиевич газетной публикацией отрывка из книги, не должно пониматься как право сегодня говорить автору книги одно, а завтра, в соответствии с

изменением настроения или политической конъюнктуры, что-то совсем обратное. Появляется вопрос. Когда был искренен «герой» книги: тогда, когда дал согласие поделиться с С. Алексиевич своими воспоминаниями о войне в Афганистане, или тогда, когда под нажимом товарищей по оружию решил отстаивать корпоративные интересы определенной группы людей? И имеет ли он в таком случае моральное право на судебное преследование писательницы, которой в свое время доверился, зная, что его исповедь будет опубликована? Факты, сообщенные истцом автору или опубликованные в газете, не выглядят одиночными и случайными, они подтверждаются в книге другими аналогичными фактами, ставшими известными автору из рассказов других свидетелей тех же событий. Разве это не дает оснований думать, что «герой» был искренен в тот момент, когда записывался устный рассказ, а не тогда, когда он отказывался от своих слов? И еще важный аспект: если нет свидетелей разговора автора с «героем» и когда отсутствуют другие доказательства правоты одной или второй стороны судебного процесса, возникает необходимость в перепроверке всех подобных фактов, приводимых автором в своей книге, что можно было бы сделать на своеобразном «нюрнбергском процессе», в котором бы приняли участие десятки и тысячи свидетелей войны в Афганистане. В противном случае существует опасность утонуть в бесконечных судебных разбирательствах, где пришлось бы доказывать чуть ли не каждое сказанное героями книги слово, а это уже абсурд. Поэтому обращение Белорусского ПЭН-центра в Институт литературы АНБ с просьбой сделать независимую литературную экспертизу опубликованного в «Комсомольской правде» отрывка из документальной книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики» представляется в данной ситуации естественным и, может, даже единственно возможным способом разрешить конфликт.

*Директор Института имени Я. Купалы  
Академии наук Беларуси,  
член-корреспондент АНБ Коваленко В.А.  
Старший научный сотрудник  
Института литературы,  
кандидат филологических наук Тычина М.А.*

*27 января 1994 г.*

---

## И ЕЩЕ ОДИН ЭПИЛОГ, ОН ЖЕ ПРОЛОГ

...Тягостно мне писать о нас – о тех, кто сидел в зале суда. В последней своей книге «Зачарованные смертью» Светлана Алексиевич пишет: «А кто – мы? Мы – люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне. Мы никогда не жили иначе».

Мы воевали... Вот словно специально рассевишиеся за спиной писательницы женщины тихо, чтобы не слышал судья, но внятно для Светланы Алексиевич состязаются в оскорблениях ее. Матери! Эпитеты таковы, что повторить их не могу... Вот И. Галовнева в перерыве подходит к пришедшему вступить за писательницу отцу Василию Радомысльскому: «Не стыдно вам, батюшка, – продались за деньги!» «Тьма! Дьявол!» – раздается из публики, и уже тянутся негодующие руки, чтобы сорвать с его груди крест. «Это вы – мне? Мне, который отпевал ваших сыновей по ночам, потому что вы говорили, что иначе не получите триста рублей обещанной помощи», – потрясенно вопрошает священник. «Зачем пришел? Дьявола защищать?» – «Молились за себя и за детей своих. Нет покаяния, нет утешения». – «Мы ни в чем не виноваты... Мы ничего не знали...» – «Вы были слепы. А когда открыли глаза свои, то увидели только труп своего сына. Кайтесь...» – «Что нам до афганских матерей... Мы своих детей потеряли...»

Впрочем, не осталась в долгу и другая сторона. «Ваши сыновья убивали в Афганистане невинных! Они – преступники! Ну и что, что

приказ?» – кричит матерям какой-то мужчина. «Вы предаете детей своих во второй раз...» – неистовствует другой.

А ты? А мы – не выполняли приказ? Приказ – молчать? Мы не тянули на собраниях вверх «одобряющие» руки? Я спрашиваю: нам всем нужен суд? Не тот суд – другой, о котором говорил на суде председатель Белорусской Лиги прав человека Е. Новиков; когда мы все – мы, молчавшие, матери наших погибших солдат, ветераны этой войны и матери погибших афганцев – сядем вместе и просто посмотрим друг другу в глаза?

*А. Александрович  
«Фемида», 27 декабря 1993 г.*

Закончился гражданский процесс о защите чести и достоинства по иску Галовневой – Кецмура к писательнице Светлане Алексиевич. Последний день процесса собрал много журналистов, и в некоторых изданиях уже промелькнули сообщения о решении суда: иск Галовневой отклонить, иск Кецмура удовлетворить частично. Я не стану дословно цитировать заключительное постановление, скажу только, что оно носит, на мой взгляд, довольно примиренческий характер. Но примирило ли оно стороны в действительности?

Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Галовнева, по-прежнему на «тропе войны» – она собирается подавать кассационную жалобу и судиться с писательницей дальше и дальше. Что движет этой женщиной? Что движет этой матерью? Безутешное горе. Безутешное в том смысле, что чем дальше уходит в историю афганская война, чем отчетливее осознает общество, насколько авантюрной была эта затея, тем бессмысленней выглядит гибель наших ребят на чужой земле... Поэтому и не принимает Инна Сергеевна книгу «Цинковые мальчишки». Поэтому для нее она – оскорбление: для матери слишком непосильная ноша – обнаженная правда об афганской войне.

Тарас Кецмур – бывший водитель-«афганец» – второй истец этого гражданского процесса. Его иск частично удовлетворен судом; два глубоко психологических, глубоко драматических эпизода в монологе под его фамилией, свидетельствующие, на мой взгляд, лишь о том, что война никого не отпускает живым, даже если целы руки-но-

ги, признаны по требованию Кецмура «оскорбляющими честь и достоинство». Впрочем, я даже готова понять Тараса. Помните, есть такой афоризм: «Бойтесь первых порывов души, они могут быть искренними»? Так вот его монолог в «Цинковых мальчиках» – это, на мой взгляд, именно первый искренний порыв души после Афгана. Прошло четыре года. Изменился Тарас. И мир вокруг него. И ему, наверное, хотелось бы многое изменить также и в памяти о прошлом, если уж не удастся эту память вычеркнуть вовсе из души... А тут «Цинковые мальчики» – написано пером, не вырубишь топором.

Светлана Алексиевич покинула заседание суда до окончания процесса – после очередного отказа суда о ходатайстве писательницы на литературную экспертизу. Алексиевич резонно спрашивала: как можно судить документальную повесть, не зная основ жанра, не владея азами литературного труда и не желая вдобавок знать мнение профессионалов? Но суд был непреклонен. После второго отказа в литэкспертизе Светлана Алексиевич покинула зал заседания. При этом она сказала:

– Как человек я прошу прощения за то, что причинила боль, за этот несовершенный мир, в котором часто невозможно даже пройти по улице, чтобы не задеть другого человека... Но как писатель я не могу, не имею права просить прощения за книгу, за правду!

Гражданский процесс над С. Алексиевич и ее книгой «Цинковые мальчики» – это наше второе поражение в «афганской» войне...

*Елена Малочко*

*«Народная газета», 23 декабря 1993 г.*

В декабре 1993 года судебный марафон по обвинению писательницы Светланы Алексиевич и ее книги «Цинковые мальчики» наконец завершился. Решение суда: писательница должна извиниться перед «афганцем» Тарасом Кецмуром, честь и достоинство которого суд признал «оскорбленным частично». Газете «Комсомольская правда» белорусский суд ничтоже сумняшеся присудил напечатать опровержение, а также письменные извинения писательницы и редакции.

Второй истине – матери погибшего в Афганистане офицера Инне Сергеевне Галовневой – в иске отказано, хоть суд признал «часть сведений, приписываемых авторству Галовневой, не соответствующими

действительности». Иск Галовневой суду пришлось отклонить, поскольку в ходе слушаний была представлена кассета с магнитофонной записью выступления Галовневой несколько лет назад на одном из митингов, где она полностью поддерживает книгу Алексиевич.

У Светланы Алексиевич на этом суде, в этом судопроизводстве и в этой системе шансов на защиту своего человеческого и профессионального достоинства не было...

Испугавшись всемирного возмущения политическим процессом над художественным произведением и его создателем, режиссеры белорусского трагифарса громогласно формулировали: «Это ни в коем случае не суд над книгой, не процесс против писателя и его творчества! Это всего лишь гражданский иск о защите чести и достоинства, адресованный газете «Комсомольская правда» по поводу публикации 1990 года».

«А как же быть с презумпцией невиновности?» – поинтересовались после завершения процесса у судьи Ждановича председатель Белорусской Лиги прав человека Евгений Новиков и глава Белорусской Ассоциации свободных средств массовой информации Алесь Николайченко.

Согласно Ждановичу, «презумпция невиновности действует только в уголовных делах». Вот если бы Галовнева и Кецмур обвинили С. Алексиевич в клевете, то в этом случае презумпция невиновности действовала бы, поскольку сам термин «клевета» и является термином уголовного кодекса, и тогда истцы должны были бы представить в суд вещественные доказательства...

В случае же гражданского иска по защите чести и достоинства презумпция невиновности в Белоруссии не существует...

Возможно, из гражданского процесс плавно перетечет в уголовный – истца Галовнева пообещала и говорила об этом как о своей цели.

К белорусским прокоммунистическим газетам, которые травят писательницу, присоединилась «Комсомольская правда» – статья-послесловие от 30 декабря 1990 года, подписанная Виктором Пономаревым.

Светлане Алексиевич «показалось, что за спинами матерей «генеральские погоны», а у них за спинами – по крайней мере точно – сыновние могилы. Они, а не писательница, орденосеи, лауреат, нуждаются в защите. Если и происходит здесь акт гражданской казни, то

никак не над писательницей», – суетливо и демагогически торопится «Комсомолка» отстраниться от Светланы Алексиевич.

Это пролог к официальному извинению, как проба перекованного голоса – с нового на старый. Владимиру Вольфовичу должно понравиться. Как и название: «Мальчики цинковые. Писатели – все железнее». А журналисты и редакторы «Комсомольской правды» – все гуттаперчивее?

Правда всегда стоила дорого произносящему. Отказ от правды всегда ввергал малодушных в бедствия. Но, кажется, не было в современной истории более безнадежного и всеобъемлющего несчастья, чем добровольное саморазрушение человеческой природы подданными коммунизма, когда от людей остаются «только дымящие дыры», по выражению Михаила Булгакова.

Дымящие дыры на советском пепелище.

*Инна Рогачий*

*«Русская мысль», 20 – 26 января 1994 г.*

...За десять лет афганской авантюры через нее были пропущены многие миллионы людей, повязанных в итоге не одним лишь чувством любви к советской родине, но и кое-чем еще, гораздо более существенным. Часть их погибла, и мы по-христиански скорбим об их безвременной смерти, чтим боль физических и душевных ран, нанесенных их родным и близким. Но вряд ли возможно нынче уйти от понимания того, что они – не герои с их бесспорным правом на всенародное поклонение, а всего лишь вызывающие жалость жертвы. Сознают ли это сами «афганцы»? По всей вероятности, однако, большинству из них это пока не под силу. Схожие с ними военной судьбой американские «герои Вьетнама», поняв истинную сущность своего героизма, бросили президенту полученные от него медали, наши же, похоже, способны лишь гордиться афганскими наградами. Кто из них задумался: за что на самом деле они получены? Добро бы эти награды служили нынче лишь в качестве предлога для получения льгот и привилегий, погоней за которыми охвачено все наше нищающее общество. Но претензии у их обладателей шире. Недавно в Минске на одном из афганских митингов была открыто заявлена далеко идущая претензия на власть в Беларуси. Что ж, ныне подобная заявка небес-



почвенна. Пользуясь царящей в обществе моральной невнятицей (Афган – грязная война, но ее участники – герои-интернационалисты), можно достичь чего угодно. В этих условиях матери погибших – благодатный материал в руках бывших и настоящих красных и коричневых, повсеместно обретающих второе, обновленное дыхание. И матерей используют – всюду эксплуатируют их праведный гнев, их святую печаль. Как эксплуатировали в свое время коммунистическую идейность и патриотизм их погибших детей. В общем, расчет беспроегрышен: кто бросит камнем в скорбящую мать? Но за спинами скорбящих матерей зловеще маячат знакомые широкоплечие фигуры, и напрасно автор «Комсомольской правды» притворяется, что никого там не видит. Что «не в генералах за их спинами дело»...

Зловещее дыхание имперской политики, не до конца реализованной в Афганистане, все явственнее ощущается в Беларуси. Суд над Светланой Алексиевич – лишь составной эпизод в длинной цепи скрытых и явных проявлений такого рода. Тоской по великой державе и теплым морям исходит не только партия Жириновского, сторонников которой немало и в Беларуси. «Встряхнуть» посттоталитарное общество, «сплотить» его новой кровью – вот средство для достижения все той же цели – поправанного идеала вчерашнего дня...

*Василь Быков*

*«Литературная газета», 26 января 1994 г.*

...Нет, не о правде войны была эта жесткая борьба с судебным разбирательством. Борьба шла за живую, человеческую душу, за ее право на существование в нашем холодном и неудобном мире, которая только и может стать преградой на пути войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока она бушует в наших растерянных умах. Ведь она – только неизбежное следствие скопившихся в душах злобы и зла...

В этом смысле слова погибшего офицера становятся символическими и пророческими: «Я, конечно, вернусь, я всегда возвращался...» (Из дневника старшего лейтенанта Юрия Галовнева.)

*Петр Ткаченко*

*«Во славу Родины», 15 – 22 марта 1994 г.*

# ЗАЧАРОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ



**ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ**

---

## ОТ АВТОРА, ИЛИ О БЕССИЛИИ СЛОВА И О ТОЙ ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЛАСЬ СОЦИАЛИЗМОМ

Я пишу это предисловие, когда на столе уже лежит готовая рукопись. Кричит, вопит, плачет... Я различаю голоса... Не хор, как это было раньше, а одинокий человеческий голос... Они все звучат по-разному... У каждого – своя тайна...

Я ее боюсь. Да, я боюсь своей книги. Я не хотела бы знать обо всех нас того, что в ней собралось воедино и обнаружилось. Говорят, что точный диагноз – уже половина лечения, но не всегда есть мужество его услышать, обманываться все же легче. Мне теперь часто кажется, гораздо чаще, чем прежде, что среди нас больше тех, кто не хочет знать точный диагноз. И сама смерть порой не так неумолима, как правда. Но я не врач и тем более не судья.

Был ли у меня выбор? Я спрашивала себя, не раз в течение двух лет, когда писала книгу, я задавала себе этот вопрос: зачем снова о смерти?

Когда человек всю жизнь сидит в тюрьме и говорит только о тюрьме, никто не удивляется: почему он не подберет другой темы для разговора? О чем я? Да все о том же. О своих сомнениях: надо ли было писать эту книгу? Страшную и беззащитную...

Что есть наша история? Оглянемся – и попадем в знакомое царство смерти. Торжественный и мрачный пантеон.

Кто же мы? А мы – люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне. Мы никогда не жили иначе.

У меня не было выбора.

Но у Варлама Шаламова вдруг встречаю такую мысль, что лагерный опыт никому не нужен. Лагерный опыт нужен только в лагере.

И все же...

Если жизнь становится понятной, когда получает завершение, – после смерти, – то, наверно, так и с идеями. Живой миф не поддается анатомированию, он постоянно где-то прорастает. Мертвый миф – застывшая фотография родивших его поколений. Первые, наиболее простые, доступные стадии – отречения и надругательства над мифом социализма – мы прошли. Настало время его пока еще пристрастного (слишком рядом!), но уже – исследования. Каждый задает себе этот вопрос, спрашиваем друг у друга: что же с нами было? И разве об этом мечтали все утописты мира?

У коммунизма был безумный план – переделать нас. Переделать человеческую природу, изменить «старого» человека, ветхого Адама. «Гомо советикус» – человек, которого вывели в лаборатории марксизма-ленинизма, на одной шестой части суши. Признаемся – это мы. Слово «русский» привычно соединяли со словом «советский». Хотя это не всегда было так. Но советскими были украинцы и грузины, армяне и таджики, белорусы и туркмены... Что-то нас объединяло, несмотря на разницу культур и религий. В общем-то все мы были опытным полем для коммунистической идеи. Теперь нам известно, что мы принадлежали к особому типу человеческой генерации, единожды возможному, неповторимому. Но этот тип скоро исчезнет, растворится в мировой цивилизации, в которую мы возвращаемся. Одни утверждают, что это трагический и прекрасный человек, другие с холодным отчуждением нарекли его «совком». Как будто к неизвестным незнакомцам, а не к себе приглядываемся. Кто же мы на самом деле в свете истории и в свете не такой уж длинной человеческой жизни, однажды дарованной? Кто?! Дети великой иллюзии или жертвы массового психического заболевания?

Там, где еще совсем недавно в металле, в бронзе и бетоне возвышались полувоенные, полурелигиозные памятники большевистским богам, – битый камень, матерщина на вздыбленных постаментах. Иначе не умеем. У ежедневных газет военный запах даже тогда, ког-

да они пишут о мире: ошалевшая толпа у винного отдела растоптала милиционера; безногий фронтовик, кавалер орденов Славы, расстрелял из обрезка мирно обедавших в частном кафе; старая большевичка вскрыла вены: рухнул мир ее нерушимых представлений; бывший воин-«афганец» пытался сжечь себя на площади – протест против надвигающейся другой жизни, с другой социальной иерархией и другой системой ценностей... Одни выходят на улицы с красными знаменами, другие кричат им в спину проклятия... Красный цвет обречен быть кровавым... Симптомы социальной истерии, или, на языке медиков, «проникающий невроз». Музыка распадается...

И я услышала их, именно их, разочаровавшихся и бессильных приспособиться. Что у них было? Лишь вера в светлое будущее, а сейчас и ее нет. Они все способны отдать, они уже привыкли к тому, что у них все время что-то забирают. Но вот же трепетная загадка: последний кусок хлеба отдадут, жизнь отдадут – а веру им верни! Они снова готовы вернуться в иллюзию, но в реальность возвращаться не хотят. Соблазн утопии... Черная непостижимая магия великих обманов...

Как бы нам защититься от нее? Кто знает, каких чудовищ способен еще породить человеческий разум, гонимый мечтой о земном рае?

Мы мало думали о социализме, мы в нем просто жили. И меня он интересует, обыкновенный социализм, внутренний, домашний. Какой он был на улице и дома, в театре и на площади, в школе и на фронте, в родильном доме и на кладбище. В крике и в шепоте. В искреннем доносе и стихах. Я торопилась запечатлеть, казалось бы, знакомые лица: какими они были – поколения революций, репрессий, оттепелей, застоев. «Лицом к лицу лица не увидать», – писал поэт. Но в историческом отдалении есть свои опасности: исчезнут подробности, детали, портреты, в которые уже нынче, когда все еще рядом, невозможно поверить, так они невероятны. И кто поручится, что через десять–двадцать лет мы не начнем придумывать, ретушировать, забывать прошлое, устыдившись себя сегодняшних. Автопортреты всегда версии, а не фотографии...

Почему в этой книге собраны рассказы самоубийц? А не рассказы обыкновенных советских людей с обыкновенной советской биографией? В конце концов, кончают с собой и просто от любви, одиночества. Но все равно во всем присутствует время... Тем более что мы – соборные люди, до сих пор мы никогда не жили каждый со своим

одиночеством. Мы жили с идеей, с государством, со временем. Государство было нашей вселенной, космосом, религией. Оно делало нас соучастниками всего, что с ним было, – и страшного, и великого.

Теперь нам надо самим добывать смысл своей жизни. И мы учимся одиночеству, порой вот такой невыносимой ценой...

«Самоубийство, как явление индивидуальное, – писал в эссе «О самоубийстве», изданном в 1931 году в Париже, Н. Бердяев, – существовало во все времена, но иногда оно становилось явлением социальным». Добавим – политическим. Это и был предмет моего исследования – люди идеи, выросшие в этом воздухе, в этой культуре, и не перенесшие ее крушения.

На глазах тех, кто его обустроивал и заселял, исчезает гигантский социалистический материк. Остаются мертвые, застывшие кратеры, бестелесная зола охлажденных страстей и предрассудков. Все это вместились в одну человеческую жизнь. И тот, укрываемый дымкой путь, не просто пятьдесят–семьдесят лет, а чья-то молодость и «усыпанный товарищами берег». Они остались там: кто на гражданской в 22-м, кто в ГУЛАГе – в 37-м, кто под Смоленском – в 41-м.

Идеям не бывает больно. Жаль людей.

Но мы слишком сплелись, соединились со своими мифами. Так слитно, что не отодрать.

Если мифы чего-нибудь боятся, то только не времени. Время действует на них, как вода на цемент, оно придает им даже некий исторический аромат, самые страшные из них делает и привлекательными. Мифы боятся одного – живых человеческих голосов. Свидетельств. Даже самых робких...

Если сейчас не хватает мужества их выслушать, то хотя бы соберем в запасники. Чтобы не исчезло, не выпало из истории наше звено...

Потому что мы, люди из социализма, похожи и не похожи на всех остальных. У нас свой язык, свои представления о добре и зле, о грехах и мучениках. Мы похожи и не похожи на людей вообще, точно так же, как человек, выпущенный из тюрьмы, но просидевший там много лет, похож и не похож на остальных в толпе. В тюрьме у него имелася кровать, всегда был обед, пускай перловая каша с килькой, но обед был, и детали, которые он точил, или доски и столярный инструмент. Он знал, что в положенный срок ему выдадут новую фуфайку, новую шапку, новую рубашку и новые трусы. Принесут зуб-

ную щетку, ложку... Все до самых интимных мелочей, до абсурда было продумано, отлажено без его участия. А на свободе надо думать и отвечать за все самому. Неуютно. Растерянно. Это состояние Э. Фромм определил как «бегство от свободы».

Мне кажется, что я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я вместе с ним живу, бок о бок. В тех же домах, очередях, на концертах. Он – это я. Мы вместе. Мы все – свидетели. Свидетели и участники, палачи и жертвы в одном лице – на обломках того, что еще недавно слыло гигантской социалистической империей, называлось социализмом, социалистическим выбором. И это еще была просто жизнь, которой мы жили. Это еще было и нашим временем. И будем искренни. Попытаемся. Хотя это и дается нам труднее всего. Мы хотим сейчас казаться или лучше, чем мы есть, или хуже, чем мы есть на самом деле. Мы боимся быть самими собой. Или не умеем. Нам почему-то то страшно, то стыдно, то неловко. Каждый кричит о своем, и никто не слышит друг друга. Даже прошлое мы не признаем неприкосновенной, неизменной реальностью. Посвягаем и на него. То нам кажется, что нас обмануло будущее, то нам кажется, что нас обмануло прошлое. Потеряли и никак себя не найдем, наивно шарим в потемках истории.

И надо признать, хотя страшно, зачеркивается верование нескольких поколений, что долго, слишком долго нами владела идея, которую иначе, как танатологией, наукой о смерти, не назовешь. Нас учили умирать. Мы хорошо научились умирать. Гораздо лучше, чем жить. И разучились отличать войну от мира, быт от бытия, жизнь от смерти. Боль от крика. Свободу от рабства.

Это слова, а слова нынче бессильны. Пусть говорят судьбы...

Я безнадежно влюблена в реальность. Но это самое страшное – сойтись с духом и броситься в проласть бесконечного страдания другого человека. Я не успеваю набрасывать портреты. Слишком быстро они меняются, слишком подвижны и неустойчивы черты нашей новой истории. Я делаю простые снимки. Моментальные снимки. И всегда помню, что в одной фотографии отражается всего лишь одна сотая секунды. Тороплюсь. Но все-таки надеюсь, что это не только фотографии и документы, но и образ моего времени, каким я его вижу.

Вы не задумывались, почему так волнуют бесхитростные семейные альбомы? Они невинно просты и бессмертны. Наверное, впаду

в грех, но все-таки осмелюсь: искусство мне напоминает, свидетельствует о Боге, а семейные альбомы рассказывают о маленькой бесконечной человеческой жизни... Взглянуть бы сейчас на обычную фотографию обычной девочки, например Древней Греции или Рима... Вот она – с бабушкой... Или – вот она – невеста... О чем и какими словами признавались ей в любви? О чем болтала с подружками? Воскресло бы время. Живое время, когда простое становится великим.

И чем больше слушаю и записываю, тем больше убеждаюсь, что искусство о многом в человеке и не подозревает. Не все говорят слова, не все могут краски, не все дано звукам, не все спрятано в молитвах...

Зачем-то каждому из нас дана своя жизнь. И свой путь.

Уходит время... Время великих обманов... Послушаем его свидетелей. Честных свидетелей. Пристрастных. Они убивали себя, чтобы жили призраки...

Дьяволу надо показывать зеркало. Чтобы он не думал, что невидим...

Вот и ответ на вопрос: зачем эта книга. Все дело в призраках. Если мы не уьем их, они убьют нас...

.



---

## ИСТОРИЯ С ОБМОТКАМИ, КРАСНЫМИ ЗВЕЗДОЧКАМИ И ЧЕТВЕРТЫМ СНОМ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

*Василий Петрович Н.,  
член коммунистической партии  
с 1920 года, 87 лет*

«Я подумал: хороший день для смерти. Чисто. Снег. Кто-то начнет все сначала. Жизнь – театр, у каждого – своя роль. Мой театр исчез. Люди, которые были когда-то моими друзьями, с которыми у меня была одна память, одно время, уже обратились в воспоминания, в туман. Я не могу их отличить от сна. От ночного бреда. Одно время заканчивается, начинается другое. Мне далеко за восемьдесят. Я ужасно старый. Впасть бы в старческий маразм – вот где спасение. Становишься свободным, как ребенок, нет памяти ни о чем... Нет, вижу все отчетливо, как на рассвете...

Эти ужасные боли в суставах... Но они помогают, они примиряют со смертью, потому что делают равнодушным. Остается одно желание: скорее бы все кончилось, особенно после бессонницы, после мучительной и хладнокровной пытки бессонницей..

Я пыгался уйти... Сам... Ремень на шею... Завязываешь, как галстук... Правда, я уже давно не носил галстук. Он мне ни к чему дома, на кухне. Среди людей я бываю редко, а теперь и совсем не хочется, я никого не знаю ни в своем доме, ни на своей улице. Последний знакомый старик из соседнего подъезда умер лет пять назад. Я потерял

столько близких, что у меня там их больше, чем здесь. Смотрю на улицу, на жизнь из окна, наблюдаю. У меня – третий этаж, даже лица могу разглядеть, прически. Что я заметил: женщины снова стали носить длинные волосы и кожаные куртки. Женщин с длинными волосами я встречал только в детстве и в кино. Моя первая и моя вторая жена носили короткие стрижки, тогда все носили короткие стрижки. Их уже давно нет. Где они? Да, к старости я стал ненадежным атеистом. Я хотел... Тогда мне не дали уйти... Открыл глаза и понял, что опять живу, моя грудная клетка поднималась, как испорченный насос, но я дышал. Возле меня стояли врачи. Что они могут сказать человеку, когда возвращают его оттуда? Будто они знают, откуда они его возвращают. Они могут поставить капельницу, нащупать пульс. И ты слышишь, как в тебя вливается жизнь, в то время как ты хочешь умереть. Но я живой только среди мертвых... Среди живых у меня странное ощущение, будто я уже не с ними, а смотрю на них и на себя откуда-то из другого измерения... Удивительно, что вы меня о чем-то спрашиваете, словно я живой, а не мумия. Как будто одними и теми же словами пользуемся, а смысл из них извлекаем разный. Как через стенку, из одной в другую камеру переговариваемся... Вот как мне вам объяснить, что я всю жизнь любил партию?! Да, партию, самое дорогое для меня. Это была моя страсть, моя любовь. С такой страстью я смог полюбить только мысль о смерти. Одиноко умирать от болезни, от ужасной боли в суставах, от бессонницы, когда разговариваешь с собой. Или с мертвыми. Они отличные собеседники, потому что всегда молчат, только слушают. Среди живых у меня почти не осталось знакомых. Мысль о смерти опять присоединила меня к чему-то высшему, как раньше к партии. Я семьдесят лет в партии. Зачем? Кому это сегодня интересно?

Я хочу удержать мысль, очень важно, чтобы вы поняли. Для этого мне надо идти прямо, не сворачивать и не возвращаться. Идти прямо к той точке... Когда я накинул на себя ремень...

Сын у меня родился в двадцать седьмом году. Назвали Октябрем. В честь десятой годовщины Великого Октября. Ведь какие идеалы были? Чистейшие идеалы! Светлые. И люди были светлые. Таких людей больше никогда не будет. Я недавно прочитал в одной газете, что мы, мое поколение, выпали из истории, нас как бы не было. Дыра во времени. А мы были! Были! Были! Почему-то вдруг вспомнил, как на

свадьбу жена сшила белос платье из марли... Я был ранен и тоже перевязан весь марлей, бинтами. Вокруг – голод, эпидемии, тиф. Возвратный тиф, головной тиф... Идешь по улице – лежит мертвая мать, возле нее сидит маленький ребенок и просит: «Мамка, дай поесть...» Город Орск Оренбургской области... Двадцать первый год... А мы все равно счастливые: живем в великое время, служим революции! Это не выкачать из моего сердца, из моего мозга.

Шла гражданская война... Я даже помню, какие обмотки нам выдали, красные звездочки для шапок. Шапок не было, но красные звездочки нам вручили. Что за Красная Армия без красных звездочек? Дали винтовки. И мы себя чувствовали защитниками революции. Помню наших убитых товарищей... На лбу и на груди у каждого вырезаны звезды... Две красные звезды... Это же наша вера, это же наша библия! Тридцать лет назад, двадцать лет назад, десять лет назад. Пять лет назад, еще год тому назад... Я бы вам этого не рассказал. Мне кажется, что я этого не помнил... Необъяснимая вещь: я это действительно не помнил... Как лежал белый офицер... Мальчишка... Гольий... Живот распорот, а из него погоны торчат... Живот набит погонами... Но я бы вам раньше этого не рассказал... Что-то и с моей памятью произошло... Щелкает там, щелкает... Как в фотоаппарате... Я уже перед уходом... Когда смотришь прощальным взглядом, обмануться уже нельзя... Некогда...

Нет! Наша жизнь – это был полет. Первые годы революции... Мои лучшие годы, мои хорошие, красивые годы. Еще живой Ленин. Ленина я никому не отдам, с Лениным в сердце умру. Все верили в скорую мировую революцию, любимая песня: «И на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем». Конечно, было много наивного, смешного. Танцы, например, мы считали мещанством, устраивали суды над танцами, наказывали тех комсомольцев, что ходили на вечеринки, вальсировали. Я одно время даже председателем суда был... над танцами... Из-за этого своего марксистского убеждения не научился танцевать, потом очень каялся. Никогда не мог потанцевать с красивой женщиной. О чем мы спорили? О коммунистическом будущем, каким оно будет и как скоро. Через сто лет точно, но нам это казалось далеко, слишком далеко. Хотелось побыстрее. И о любви спорили, особенно о книге Александры Коллонтай «Любовь пчел трудовых». Автор защищала свободную любовь, то есть любовь без любви, без пушкин-

ского «Я помню чудное мгновенье...». Мы тоже отрицали любовь как буржуазный предрассудок, биологический инстинкт, который настоящий революционер должен победить в себе. Любить можно было только революцию. Я помню (через столько лет!), что взгляды делились: одни – за свободную любовь, но с «черемухой», то есть с чувством, другие – без всякой «черемухи». Я был за то, чтобы с «черемухой», чтобы целовать. До чего же смешно, черт возьми, сегодня об этом вспоминать...

Вот вы говорите, что мы служили утопии. Но мы искренне верили в эту утопию, мы были ею загипнотизированы, как молнией, как северным сиянием... Не могу найти равновеликого сравнения... Жаль, что так стар... Взглядом отсюда, с конца, все не так, как тогда, и слова как будто незнакомые: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем...» Разрушим! Сейчас вдруг вспоминаю, вижу: из разбитой помещичьей усадьбы кто-то выбросил пианино... Деревенские пацаны пасут кров и играют палками на этом пианино... Горит усадьба... Белый высокий дом... Старики крестятся, а мы смеемся... С церкви желтый купол упал, его стащили веревками, капится... Мы смеемся... «Мы свой, мы новый мир построим...» Полутрамотные, полуголдные. Молодые! Из нас легко получались идеалисты, мечтатели. Мы мечтали среди крови – своей и чужой. Любимые стихи: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», «... дело прочно, когда под ним струится кровь...» Каким-то непостижимым образом кровь и мечта уживались. Человека просто не было – был капиталист, кулак, бедняк, пролетарий, империалист, буржуй. Убитого жалели, если он пролетарий, но как-то мимоходом жалели, на ходу, на марше. Как писал поэт: «... отряд не заметил потери бойца и «Яблочко»-песню допел до конца». Ни капли, ни грамма сострадания, если – кулак, буржуй. Необъяснимая вещь! У Эсхилла или Эврипида недавно нашел: «Люди не могли бы жить, если бы боги не дали им дара забвения». Меня этот дар покинул. Вдруг задаю себе вопрос (а ведь раньше никогда не задавал): почему я не жалел того мальчишку с распоротым животом, набитым золочеными погонами? Ну, беляк, ну, буржуйский сынок... И все-таки такой же, как ты... Мальчишка... Нет, по законам логики, по законам науки нас судить нельзя. Нас можно судить только по законам религии. А я неверующий...

Я еще вчера хотел спросить: неужели вам на самом деле интересен этот сумасшедший старик, которому даже хлеб уже не пахнет? Всегда волновал запах свежего хлеба, а теперь и он без запаха. Как вода. Я всех пережил... Я пережил своего сына... Меня мучает бессонница... И щелкает, щелкает в мозгу... Но я должен идти прямо к той точке... Не сворачивать, не возвращаться...

Немного раньше, когда я еще выходил на улицу. Год назад... Выбрался, конечно, с палочкой. Когда-то это было так близко, всего два квартала, а тут час тащился. В трамвай залезть побоялся, там люди, много людей, а здесь я один, чуть что – к стенке дома можно прислониться, будто ты задумался, постоять, отдохнуть. Не люблю, когда мне напоминают о моей старости. А я ужасно старый. Я хотел убедиться, что Ленин стоит там, на площади, где он стоял всегда. Увидел его еще издали, сначала – поднятую руку, потом – всю фигуру. Трибуны рядом уже не было, а раньше она стояла сразу за памятником, в праздники сюда приносили цветы, развешивали красные банты. Возле Ленина цветы лежали всегда. Цветов я не нашел, даже засохших. Если бы у меня имелось побольше сил, я принес бы Ленину цветы. Но я не знаю, где сейчас находятся цветочные магазины, мне непременно понадобились бы красные гвоздики. Сегодня так не любят красный цвет, все красное, что я не уверен: выращивают ли красные гвоздики?

У меня ничего, кроме Ленина, нет. Если вы отнимете у меня веру в Ленина, что у меня останется? Что останется от моей жизни, от моей юности? Все мое богатство – железная эта кровать, которую я лет сорок тому назад купил, по-моему, сразу после войны, письменный стол и книги. Посмотрите: они так же изношены, как и я. Я не копил вещей, мне ничего подобного в голову не приходило. Сначала воевал за светлое будущее, потом его строил. Кто обзаводится лишними вещами в военной землянке или на строительной площадке? То была совсем другая жизнь. Наша жизнь. Я понимаю, что у меня нет никаких доказательств, кроме воспоминаний. Но они нематериальны... Они из области заклинаний...

...Мы все полуголодные, полураздетые. Но субботники у нас – круглый год, и зимой тоже, в двадцатиградусный мороз. На моей же не осеннее пальтишко. Мы грузим уголь, таскаем тачками, мешками на себе. Она – беременная. Незнакомая девушка, которая вместе с нами работала, спрашивает у жены:

– У тебя такое пальтишко легкое. А потеплее нет?

– Нет.

– Знаешь что, а у меня два. Было еще хорошее пальто, и от Красного Креста получила новое. Ты скажи мне свой адрес, я вечером од-но принесу.

И вечером она принесла нам пальто, не старое, а новое. Она нас не знала, она первый раз нас видела. Достаточно было: мы – члены партии, и она – член партии. Мы были как братья и сестры. В нашем доме жила слепая девушка, с детства слепая, и она плакала, если мы не брали ее на субботник. Все умерли... Большевицкое поколение лежит под мраморными плитами... И на плитах выбито: член партии большевиков с такого-то года... Пойдите на старое кладбище у нас в Ленинграде (для меня мой город останется городом Ленина, а не царя Петра), в Москве... С какого ты года в партии? Это было очень важно даже после смерти: какой ты веры?

Анекдот вдруг вспомнил. Тех лет анекдот... Железнодорожный вокзал. Толпы людей. Человек в кожаной куртке отчаянно ищет ко-го-то. Нашел! Подходит к другому человеку в кожаной куртке:

– Товариш, ты партийный или беспартийный?

– Партийный.

Шепотом:

– Тогда скажи: где здесь сортир?

Кажется, я сошел с ума... Что я рассказываю? Я устал... *(Долго молчит.)*

...Первого большевика я услышал в своей деревне. Молодой сту-дент в солдатской шинели. Он выступал возле церкви, на площади:

– Сейчас одни ходят в сапогах, другие – в лаптях, а когда будет со-ветская власть, все будут одинаковые.

– А что такое советская власть? – кричат мужики.

– А это будет такое прекрасное время, когда ваши жены будут но-сить шелковые платья и туфельки на каблуках. Не будет богатых и бедных. Все будут одинаковые. Всем будет хорошо.

Моя мама наденет шелковое платье... Моя сестра будет ходить в туфельках на каблуках... Разве можно не полюбить эту мечту? За большевиками пошли бедные люди, неимущие. Их было больше.

Вам это интересно? Тогда слушайте дальше.

Первого красноармейца увидел через год. В восемнадцатом. В на-шу деревню приехал продотряд, забирать хлеб у кулаков. Кулаки

хлеб не отдавали, прятали и жгли. Я уже был комсомольцем. Мне сказали: Красная Армия голодает, советская власть голодает, Ленин голодает, ты должен помочь. Мне пятнадцать лет. Я уверовал! Ночью мы следили за теми, кто побогаче, сторожили. Ну, и я выследил, что наш сосед, дядька Семен, сжег хлеб в лесу. Утром нашли то место, еще земля теплая... Зерном жареным пахнет... Привели дядьку Семена... Командир говорит:

– Под трибунал!

Никто не знал этого слова. Объяснили: скорый суд. Продовольственный трибунал – суд за злостное укрывательство хлеба в тяжелое для советской власти время. Приговор один – расстрел. Вечером дядьку Семена привезли на телеге в лес и расстреляли. На том самом месте, где еще хлебом пахло.

Мне было страшно. До этого я не видел, как расстреливают людей... Но Красная Армия голодает, Ленин голодает... Я был мальчишка...

Отряд уехал, и отец выгнал меня из дома:

– Уходи! Чтобы я тебя никогда не видел. Уходи из своей деревни. А то убьют! И нас всех из-за тебя убьют.

Я уходил из деревни мимо кладбища, где лежал дядька Семен... Свою первую жертву, которую я принес во имя революции, я оплакивал детскими слезами. Но моя мама наденет шелковое платье... Моя сестра будет ходить в туфельках на каблуках... Не только они, все будут счастливы...

Щелкает... Щелкает... Иногда мне кажется, что мой мозг взрывается. Или там лента порвалась. Вдруг ничего не помню. Или начинаю вспоминать то, что никогда не вспоминал. Не помнил. Тогда кадры крутятся-крутятся, как на старой пленке. Немой кинематограф. Без голоса. Одни человеческие глаза и лица. Чаще всего кони скачут... Так скачут, что вот-вот лопнет сердце... Пока глаза не открою... Когда умерла моя вторая жена, я понял, что у меня никого не осталось, кроме меня самого. Я сам себе друг, я сам себе судья, я сам себе враг.

Ну, верил я! Верил! Уверовал! Мы были фанатиками революции – мое поколение. Мое восхитительное поколение! Только вот бессонница по ночам... Нет, я восхищен своим поколением, восхищен его фанатизмом. Кто может умереть? Только тот, кто готов умереть. И не будь нашего фанатизма, выдержали бы мы? Стоп! Иногда я ловлю себя на мысли, что не разговариваю с самим собой, а все время перед

кем-то выступаю, тогда тихо себе шепчу: «А ну-ка, слезь с трибуны!» Наверное, сейчас мне тоже надо слезть с трибуны? Да?!

Не требуйте от меня логики. Я любил революцию. Какая красивая идея: все будут братья, все будут равны. Будем вместе работать, все поровну поделим. Вечная идея! Бессмертная! Лучшего ничего в мире не придумано с того времени, как человек вылез из шкуры. То, что сейчас ругают как социализм, никакого отношения к социалистической идее не имеет. Но люди к ней не готовы, они еще не совершенны. А мы были идеалистами. Моя бессонница... Заснул под утро... Сон... Ребенок уже большой, тяжелый... Я несу его на руках... И мне хорошо... Смотрю ему в лицо близко-близко, как богоматери смотрят на иконах в глаза своим младенцам: я дядьку Семена несу... Кажется, закричал... Во сне всегда кричишь без звука, как в бою... Перед боем... Сам себя не слышишь... Я еще шашкой воевал, у казака мертвого забрал. А сегодня – космический век, о «звездных войнах» пишут. И вы хотите меня понять? Когда-то Лев Николаевич Толстой задумал написать роман об эпохе Петра I. Но бросил. И объяснил это тем, что души людей того времени ему непонятны.

Может быть, моя жизнь получит смысл после смерти? Когда портрет будет завершен?!

Вы думаете, что я так сразу – ремень на шею... В петлю... Нет, я пробова́л жить. Я уходил в Дом ветеранов партии, как говорится, бежал в свое время. Там и вправду время остановилось, там все живут прошлым, другого ничего ни у кого нет. У меня выросли внуки, а у многих там их нет. Особенно там много женщин. Меня женить хотели... (*Смеется*) Если бы в доме снова запахло пирогами, кто-то сидел бы у телевизора и вязал, я мог бы жениться. Но там (*это грустно*) нет ни одной женщины, которая любила бы печь пироги. Они служили революции, стране, им некогда было рожать детей, варить борщ, печь пироги. Почему мне смешно? Я и сам такой. Мне трудно в старости, я ничего не люблю, ничем не увлекаюсь. Сходил пару раз на рыбалку – бросил. Шахматы с юности любил, потому что Ленин любил играть в шахматы. Мне не с кем играть в шахматы. Может, надо было остаться там, там все играли в шахматы. Я бежал... Хотел умереть дома... Могу я себе позволить за всю жизнь одну-единственную роскошь – умереть дома?!

Сначала я был ленинец, потом сталинец. До тридцать седьмого я был сталинец. Я Сталину верил, верил всему, что говорил и делал



Сталин. Да, величайший, гениальный... Вождь всех времен и народов... Сейчас и сам не понимаю – почему я в это верил? Сталин – необъяснимая вещь, еще никто его не понял. Ни вы, ни мы. Сталин приказал бы: иди, стреляй! И я пошел бы. Сказал: иди, арестовывай! И я пошел бы. Тогда, в то время, я сделал бы все, что бы он ни сказал. Пытал, убивал, доносил... Это необъяснимая вещь – Сталин. Шаман! Колдун! Я и сам сейчас в недоумении: неужели бы арестовывал, доносил?! Выходит, что палачи и жертвы получались из одних и тех же людей. Кто-то нас выбирал, тасовал... Где-то там, наверху...

Я перестал верить Сталину, когда врагами народа объявили Тухачевского и Бухарина. Я видел этих людей. Я запомнил их лица. У врагов такие лица не могли быть. Так я тогда думал. Это были лица людей, которых не требовалось сортировать, улучшать, от которых не надо было освобождаться, чтобы остался чистый человеческий материал, как отборное зерно для невероятно прекрасного будущего. Ночью, когда мы оставались одни, моя жена, она была инженер, говорила:

– Что-то непонятное творится. У нас на заводе не осталось никого из старых спецов. Всех посадили. Это какая-то измена.

– Вот мы с тобой не виноваты, и нас не берут, – отвечал я.

Потом арестовали мою жену. Ушла в театр и домой не вернулась. Прихожу: сын вместе с котом спят на коврике в прихожей. Ждал-ждал маму и уснул...

Через несколько дней арестовали меня. Три месяца просидел в одиночке, такой каменный мешок – два шага в длину и полтора в ширину. Ворона к своему окошку приучил, перловкой из похлебки кормил. С тех пор ворон – моя любимая птица. На войне, помню, бой окончен... Другой птицы нет, а ворон летает... Не верьте, если вам говорят, что можно было выдержать пытки. Ножку венского стула в задний проход?! Любулю бумажку принесут, и вы ее подпишете. Ножку венского стула в задний проход или шилом в мошонку... Никого не судите... Николай Верховцев, я его встретил там, мой друг с гражданской, член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Умница! Образованнейший человек, до революции в университете учился. И вот – все знакомые. В близком кругу... Кто-то читал вслух газету, и там сообщение, что на Бюро ЦК решался вопрос об оплодотворении кобылиц. Он возьми и пошути: мол, у ЦК дел других нет,

как оплодотворением кобылиц заниматься... Днем он это сказал, а вечером его уже взяли. Он возвращался с допросов с искалеченными руками. Пальцы загоняли в проем между дверей и двери закрывали. Все пальцы ему, как карандаши, сломали. Меня били головой о стенку...

Через полгода – новый следователь. Мое дело отдали на переосмотр. И меня отпускают. Как в лотерее: сто проиграли, один выиграл, и все дальше играют. Но я тогда думал иначе: вот я же невиновен, и меня освободили...

– А я отсюда не выйду, – простался со мной Николай Верховцев, – даже если меня оправдают. Кто меня выпустит такого? Без пальцев... Как я свои руки спрячу?

Его оправдали и расстреляли. Будто по ошибке.

Сына я нашел у чужих людей, он заикался, боялся темноты. Мы стали жить вдвоем. Я пытался узнать что-нибудь о жене и добивался восстановления в партии. То, что со мной случилось, я считал ошибкой. И то, что с Верховцевым случилось, я считал ошибкой, и с моей женой. Партия в этом не виновата. Это же наша вера, это же наша библия! Бог не может быть виноват. Бог мудр. Я искал смысл в происходящем, в этом море крови. У верующего умирает ребенок... Он ищет смысл своего страдания... И находит... Он же не клянет Бога?..

Началась война... В действующую армию меня поначалу не брали, потому что жена враг народа, где-то в лагере. Я не имел права защищать Родину, мне не доверяли. Это унижение тоже надо было пережить. Но я добился – уехал на фронт. Честь мне вернули в сорок пятом, когда я вернулся с войны, дойдя до Берлина. С орденами, раненый. Меня вызвали в райком партии и вручили мой партбилет со словами:

– К сожалению, жену мы вам вернуть не можем. Жена погибла. Но честь мы вам возвращаем...

И представьте: я был счастлив! Наверное, сегодня нельзя в этом признаваться, но это были самые счастливые минуты в моей жизни. Партия для нас была выше всего – выше нашей любви, наших жизней. Считалось счастьем – принести себя в жертву, каждый был к ней готов. Будущее, которое должно стать прекрасным, всегда жило под знаком смерти, жертвы, которая от любого из нас могла потребовать в любую минуту. Вокруг все время погибали люди, много людей. Мы к этому привыкли. Погибла моя жена. Я мог погибнуть...

Да, моя жена... Она тоже была членом партии... Мог бы я жениться не на большевичке? Догадываюсь, почему вы об этом спрашиваете. Должен вас разочаровать: я любил свою жену, моя первая жена была красивая. Но если бы она верила в Бога, не вступила в комсомол? Конечно, я не мог бы ее полюбить. Как я мог быть счастлив, когда она погибла? Не надо извиняться, меня не обижают ваши вопросы. Она лишь еще одно доказательство тому, что я из другой жизни, с другой планеты, если хотите, ее уже нет. Там правила свои законы. То, что вы считаете ненормальным, там было нормальным. А то, что для вас нормально, тогда мог сказать и даже подумать только сумасшедший.

Когда я недавно уходил... Нет, я не трус, я просто устал... Я рвал старые фотографии... Только фотографии своей первой жены порвать не смог... Мы там вдвоем – молодые, смеемся... Я вспомнил солнце... Какая-то лесная поляна, моя голова лежит на коленях у жены... у нее на руках... Я вспомнил солнце.

Партию предали, идею предали. Исчезло все, чему я отдал себя, свою жизнь. На площади правит новая религия – рынок «Деньги! Деньги! Деньги!» Ну, станете богаты, сыто жить, но как бы не позабыли – для чего? Неужели человеку жизнь дана ради самой жизни, как дереву, как рыбе? Нет, она дается для чего-то большего, чем просто жизнь. Сосиски и «Мерседес» никогда не станут высшей целью, сияющей с неба мечтой. Наверное, поэтому мы любили смерть. Да, мы ее любили! Я это недавно понял. В одну из бессонных ночей...

Что же вы молчите? Примите мой вызов... *(Молчим долго вдвоем.)*

...Где моя жизнь? Неужели она осталась лишь в моей слабеющей голове? Какой ужас! Моя голова – единственный склад моих воспоминаний... Музей! Но я никогда не жил один... Я всю жизнь вместе со всеми строил, воевал. Сидел в тюрьме. У меня не было никакой специальности, кроме веры. Моя специальность – верить самому и учить вере других. Мне не хватало времени учиться – три класса приходской школы и партшколы... И я руководил большими заводами... У меня всегда – одна-две рубашки, пара носков, брюки, а остальное – зачем? Я жил от плана к плану, от пятилетки к пятилетке. Вот первый корпус завода возведем... Второй... Первую линию пустим... Вторую... Это десятки лет... Они летели, сгорали... Лето, зима, осень... Как сады цветут... Я это только в старости увидел... Мне кажется, что я больше полувека не уходил со строительной площадки... Помните,

у Маяковского: «Мне наплевать на бронзы многопудье. Мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм...»? Это же наша вера, это же наша библия!

У меня остались только эти ценности, ценности пережитого. Их отняли...

Когда-то у меня был сын. Он давно умер, мой сын Октябрь. У нас с ним был любимый фильм «Чапаев». «Эх, Петька, – вздыхал Чапаев, – счастливый ты человек. Вот я скоро умру, а вы с Анкой при коммунизме жить будете. Умирать не надо». Сына нет. Внуки, правнуки... Другие люди... Родные, но незнакомые... Они меня не замечают, как старую вещь, совсем старую, непригодную к употреблению. Мне некуда уйти. Я стар. Мне нечем защититься. Мое время кончилось. Время – судьба, как говорили древние греки...

..Дома из стекла и металла, великолепие дворцов. Лимонные и апельсиновые сады посреди городов. Стариков почти нет, люди очень поздно стареют, потому что жизнь прекрасна. Все делают машины, люди только ездят и управляют машинами. Нивы густые и изобильные. Цветы как деревья. Все счастливые. Радостные. Ходят в красивых одеждах – мужчины и женщины. Ведут вольную жизнь труда и наслаждения. Неужели это мы? Неужели это наша земля? И все так будут жить?..

Четвертый сон Веры Павловны из «Что делать?» Николая Чернышевского. Учебник революции... Мы наизусть учили в кружках поллиттрамоты. Как стихи. Нашей религией было будущее, которое никогда не наступит. Я остался его заложником...

Десятки лет не видел. Не помнил. Как их гонят прикладами, палками. Гонят в холодные эшелоны. Зима. Мороз. Открывают на станции вагон: в углу висит на ремне мужчина. Мать качает на руках маленького. Тот, что побольше, сидит и ест свое дерьмо... Как кашу...

– Закрывай! – кричит командир. – Кулаков на Колыму везут. Место очищают. Они для будущего не годятся. Закрывай!

Будто сон... Будто знакомая станция... Помнил! Помнил, как называется... Забыл...

Под утро стало совсем немого... Эти ужасные боли в суставах... Не мог вспомнить, как все-таки называлась та станция... Это продолжалось бы бесконечно. Как же все-таки она называлась? Я не мог пе-

рестать об этом думать. Мне надо было освободиться... Представлю, как это выглядело: дедушка болтается на ремне в одежном шкафу... Это уже обо мне... Нехорошо, что ребенок это видел... Он спас меня... Закричал... Но он это видел... Теперь я приготовлю пачку снотворного, чтобы умереть во сне. Очень похоже на инфаркт. Правда, преследует мысль о грехе самоубийства, но я пусть теперь и сомневающийся, но все-таки атеист. Я мечтал о рае – о небе на земле, забыв, что есть ад. Но если Бог существует, он меня простит. Я был искренен... Я мучился...

Не надо моего имени... Я не могу вынести, что он меня там видел... В шкафу... На ремне... Новый маленький мальчик из моего рода... Из моего семени... Но я хочу умереть... Он меня любит, пока маленький. Когда вырастет, будет ненавидеть. Когда я висел в шкафу, я был страшный, а так буду смешной. Я не хочу болтаться смешным и нелепым в этой жизни. Пусть останется то, что обо мне в энциклопедии написано. Моя душа никому здесь уже не понятна...»

### **От автора**

Из записки, оставленной перед второй попыткой самоубийства, которая закончилась, как он того хотел, небытием:

«...Я был солдатом, я не раз убивал. Я убивал, как я верил, ради будущего. Никогда не думал, что мне придется защищать прошлое. Я закрываю его своим старым сердцем...»

---

# ИСТОРИЯ С МАЛЬЧИКОМ, КОТОРЫЙ ПИСАЛ СТИХИ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СНА ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

*Игорь Поглазов,  
ученик восьмого класса, 14 лет*

## **Из рассказа мамы Веры Борисовны Поглазовой**

«Меня не покидает страх, что я хочу об этом рассказать, буду пытаться передать словами – неназываемое. Слышу слова, выбираю их, а то, что силюсь произнести, – дальше слов, в другом измерении. Нужны какие-то неведомые звуки. Какие? Я их не знаю. Помню: на рынке стояла женщина, не старая, покупала яблоки и рассказывала, как она сына похоронила... Тогда я себе поклялась: «Со мной этого никогда не случится...»

Я расскажу вам о своей первой жизни – о нашей жизни с Игорем. Потому что у меня было их две – с Игорем и после него. В той жизни... С Игорем... Я была счастливая, я была любимая... За неделю до того воскресенья я стояла перед зеркалом, расчесывала волосы. Он подошел ко мне, обнял за плечи: мы стояли вдвоем, смотрели в зеркало и улыбались.

– Игорьек, – прижалась я к нему, – какой ты у меня красивый. А красивый ты потому, что я любимая. Когда-нибудь я расскажу тебе о себе, но рассказывать буду так, чтобы ты думал, что все, о чем я говорю, было не со мной, а с другой женщиной.

Он еще сильнее обнял меня:

– Мама, ты, как всегда, неподражаема.

Как радостно мы смеялись.

А через неделю моей этой жизни уже не было...

Как током, бьет догадка: когда мы стояли у зеркала, он уже носил в себе эту мысль о смерти! До сих пор беспокойство, внутренний озноб, что можно побежать за ним, остановить...

...Мы с мужем познакомились в десятом классе. Мальчишки из соседней школы пришли к нам на танцы. Наш первый вечер я не помню, потому что Вадика, так зовут моего мужа, я не видела, а он меня заметил, но не подошел. Он даже моего лица не увидел, только слышит... И что-то ему подсказало, голос откуда-то: «Это твоя будущая жена». Так он мне потом признавался. Вот это чудо, оно всегда было с нами, оно носило меня по земле. Я была веселая, по-сумасшедшему веселая, неудержимая. Я любила своего мужа, и мне нравилось кокетничать с другими мужчинами, это как игра: ты идешь, а на тебя смотрят, и тебе нравится, что смотрят, и пусть чуть-чуть влюбленно. «И зачем так много мне одной?» – часто напевала я вслед за своей любимой Майей Кристалинской.

Я мчалась по жизни и не все запомнила, теперь выкапываю из памяти, собираю осколки...

...Игорьку три-четыре года. Я его выкупала, он лег, пижамка на нем:

– Мама, я люблю тебя, как царевну прекрасную.

Работы было много. Сначала преподавала литературу в школе, затем – в институте. Обычная домашняя картина: я – за книгами, он – в кухонном шкафчике... Пока выгребает из него кастрюли, сковородки, ложки, вилки, я и подготавлиюсь к завтрашним занятиям.

Тут я должна остановиться на одном моменте... На моем отношении к литературе, к поэзии. Что бы кто ни сказал, из меня тут же выскакивала готовая строка, строфа или целое стихотворение. Как у актрисы, которая и дома разговаривает чужими репликами, готовым текстом сыгранных пьес. Я хотела, чтобы он рос мужественным, сильным, и подбирала ему стихи о героях, о войне, о Родине. И однажды мне моя мама говорит:

– Вера, прекрати ему читать военные стихи. Он играет только «в войну».

– Все мальчишки любят играть «в войну».

– Да, но Игорь любит, чтобы в него стреляли, а он падал. Умирал! Он с таким желанием, упоением падает, что мне бывает страшно. Всегда кричит другим мальчикам: «Вы стреляете, а я падаю». Никогда – наоборот.

Послушала ли я маму?

И снова, как током... Этот немой вопрос... Как же он переступил через нашу любовь к нему? Через свою любовь к нам? Куда ушел? К кому?

...После работы с двумя сумками еле добираюсь домой. Вхожу. Оба на диване: один – с газетой, другой – с книжкой. В квартире кавардак, черт те что! Гора немытой посуды! Меня встречают с восторгом! Я – за веник. Баррикадируются стульями.

– Выходите!

– Никогда!

– Бросьте на пальцах – кто. Мне все равно, кому заспать!

– Мамочка-девочка, не сердись, – вылезает первым Игорек, он уже ростом с отца.

«Мамочка-девочка» – мое второе домашнее имя. «Мамочка-девочка» – кажется, слышу его голос... То ласково, то сердито меня зовет...

Летом мы обычно ездили на юг, «к пальмам, которые живут ближе всех к солнцу». Наши слова ко мне возвращаются, а я думала, что забыла... Грели его гайморитный нос. До марта потом не вылезали из долгов, экономили: на первое – пельмени, на второе – пельмени и к чаю – пельмени.

Вспоминается какая-то яркая афиша... Раскаленный Гурзуф...

Один раз поехали без него. Вернулись с полдороги.

– Игорек! – врываемся в дом. – Ты едешь с нами. Мы без тебя не можем!

С криком «Ур-ра!!!» он повисает у меня на шее.

Кто его позвал? Кто мог дать ему большую любовь, чем я!

Его уже не было... Я долго находилась в состоянии столбняка. Сердце замерло, душа замерла.

– Вера, – зовет муж. Я не слышу. – Вера, – подходит он ближе.

А звук ко мне не пробивается... И вдруг истерика! Я как заорала, как затопала ногами – на свою маму, мою любимую маму:

– Ты уродина, уродина-толстовка! Таких же уродов, себе подобных, ты и народила! Твои дети всю жизнь были уродами и вырожденка-



ми, потому что ты не учила нас жить для себя, для своей жизни. И Игорька я воспитала таким же. Чему ты нас учила? Отдай! Всю, всю себя Родине, великой идее! Уроды! Ты же видишь, что делается вокруг! Ты же не слепая. Это ты виновата во всем! Ты!..

Мама съежилась и стала вдруг – маленькая-премаленькая. У меня закололо сердце. Впервые за много дней я почувствовала боль. До этого в троллейбусе поставили на ноги тяжелый чемодан, а я ничего не слышала. Ночью распухли все пальцы, и только тогда я вспомнила о чемодане.

Тут надо еще раз остановиться и рассказать о моей маме.

Моя мама из того поколения наших людей, у которых блестели слезы на глазах, когда играли «Интернационал». Они пережили войну и всегда помнили, что они победили. Если речь заходила о каких-то трудностях, мама всех убеждала: «Мы такую войну пережили!» Стоило на что-то пожаловаться, мы опять слышали: «Наша страна такую войну выиграла!» Через десять–двадцать лет она продолжала жить с теми же мерками и понятиями, какими жила тогда: локоть к локтю, как в одном окопе, в одной землянке. Льва Толстого она любила за «Войну и мир», а еще за то, что граф хотел все раздать бедным, чтобы спасти душу. Такой была не только моя мама, но и ее друзья, послереволюционные интеллигенты, выросшие на Чернышевском, Добролюбове, Некрасове...

А вдруг?.. Вдруг у него не было уверенности, что смерть – это конец? прекращение? Я, еще работая в школе, заметила, что в юности очень тревожит, возбуждает мысль о смерти. Девочки не любят разговоров о ней, но у мальчиков смерть вызывает любопытство, притягивает. Это я все потом анализировала, когда пришла в себя...

В центре города у нас – старое «военное» кладбище. Туда ходят, как в сквер, чаще всего молодые, смеются, целуются.

Играют на гитарах, магнитофон включают.

Возвращается он как-то поздно:

– Где был?

– Гулял... Зашел на кладбище...

– С чего это ты забрел на кладбище?

– Там красиво...

В другой раз, открываю дверь в его комнату и – как только не закричала от ужаса – тихо-тихо закрываю ее. Во весь рост он стоял на

карнизе окна, карниз у нас непрочный, неровный. Шестой этаж! Замерла. Невозможно крикнуть, как в детстве, когда он залезал на самую тонкую верхушку дерева или на высокую старую стену разрушенной церкви: «Если почувствуешь, что не удержишься, рассчитывай свое падение на меня». Заталкиваю в себя крик, чтобы не испугался. Через несколько минут открываю дверь – он уже в комнате. Тут я набросилась: и целовала, и колотила, и трясла:

– Зачем? Скажи мне, зачем?

– Не знаю... Так...

Ничего не боялся. Его тянул край, чтобы пройти у самой кромки... Над обрывом...

Мне нравится вспоминать его детство. Словно я ему рассказываю, он же любил. Уткнется в колени:

– Мама, верни мне мое детство...

И я начинаю... Как, когда он был маленький, перепутывал жизнь и сказку: ждал Деда Мороза, спрашивал, на каком автобусе можно поехать в тридевятое царство, в тридешатое государство, увидел в деревне русскую печь, всю ночь ждал, когда она пойдет-поедет...

Первый класс... Иду за ним, чтобы забрать после школы. Слышу крик:

– Обезьяна, шимпанзе! Настоящая обезьяна!

Сердце упало: Игорь. Да, это он, прыгнул со школьного крыльца и с разбега вскарабкался на дерево. Я молчала, слушала, как учительница отчитывала нас обоих, а про себя думала: «Не обезьяна, а белочка».

Пятый класс... Начало зимы. Уже вечер на дворе. Прибегает:

– Мама! Я сегодня целовался!

– Целовался?!

– Да. У меня сегодня было свидание. Девочка мне прислала записку, пригласила на свидание.

– И ты мне ничего не сказал?

– Не успел. Сказал Димке и Андрею, и мы отправились втроем.

– Разве на свидание ходят втроем?

– Ай, я один как-то не решился.

– Ну, и как вы втроем были на свидании?

– Очень хорошо. Мы с ней ходили вокруг горки под ручку и целовались. А Димка и Андрей стояли на страже.

О Боже! Еще недавно он у меня выпытывал:

– Мама, а может второклассник жениться на девятикласснице?  
Когда вырастет, конечно.

..Любимый наш месяц – август. Едем в лес: я бегу между деревьев и ныряю в паутину, она закутывает мою голову невесомой чалмой. Потом я найду себя в его стихах... Как девочка летит, качается на паутине... Мамочка-девочка...

Как он мог полюбить смерть? За что он ее полюбил? Бегу по нашим следам...

*Лишь на веточке обиарпанной  
Капли звездные на капаны...*

Жарю-парю на кухне. Окно открыто, слышу, как они с отцом разговаривают.

Игорь:

– Папа, ты только послушай... Жили были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил, бил – не разбил. Баба била, била – не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба...

Отец:

– С точки зрения логики – абсолютный абсурд. Били, били – не разбили, а потом вдруг – в плач! Но сколько лет, да что там лет, столетий сказку эту дети слушают, как стихи.

Игорь:

– Я сначала думал, что это можно решить, как задачу. А тут чудо тайное...

На столе, в его карманах, под диваном я находила листочки со стихами. Он их терял, бросал, забывал. Я даже не всегда верила, что они его:

– Неужели это ты написал?

– А что там?

*Ходят в гости друг к другу люди,  
Ходят в гости друг к другу звери...*

– Ну, это старое. Я уже забыл.

– А эти строки?

– Какие?

*Кто-то умер. Мне музыка слышится.*

*Под окном не меня ли несут?*

*Не моя ль голова колышется*

*По дороге на Страшный суд?*

Молчит.

– Сынок, ты такой радостный, такой красивый. Почему ты о смерти пишешь?

Пожимает плечами. Он сам не мог объяснить, откуда у него эти слова. Эта тоска.

Потом нашла у Пастернака... Как он предостерегал молодого поэта, что надо избегать писать о своей смерти. Каждая написанная строка впоследствии реализуется...

*Я не ваш, облака серебристые,*

*Я не ваш, голубые снега...*

Но я ничего не подозревала, я, которая всю жизнь преподавала литературу, не слышала никакой опасности. Стихи в нашем доме звучали постоянно, как речь: Есенин, Пастернак, Лорка, Манделштам... Вы никогда не замечали, что искусство любит смерть? Я тоже этого раньше не обнаруживала... Искусство любит смерть, но существует французская комедия. Верно? Почему же у нас почти нет комедий? Потому что нам неинтересно, скучно просто жить, радоваться жизни. Мы любим боль, любим зреть смерть. Со сладострастием, с какой-то генетической готовностью мы идем на жертвы, на лишения. Смерть героя, мученика – вот наш идеал. Христианский, русский, советский... Нам внушали, что гитара с бантом на стене – мешанство, если огонь, то не у камина, а у костра – пионерского или в чистом поле, где «я знаю, город будет, я знаю, саду цвести». Смерть в бою, в полете... Смерть, которая всегда выше жизни...

И вот однажды... Начинается мистика, но все было так. Поздний вечер, я уже в постели, перечитываю роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (моя любимая книга). Дохожу до последних страниц... Помните, Маргарита просит отпустить Мастера, а Воланд, дух Сатаны, говорит: «Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него,

Маргарита, потому что за него уже просил тот, с кем он так стремился разговаривать...»

Какая-то непонятная сила бросила меня к дивану, где спал сын. Я стала на колени и шептала, как молитву:

– Игорек, не надо. Миленький мой, не надо. – Начала делать то, что мне уже было запрещено, как только он вырос: целовать его руки, ноги. Он открыл глаза:

– Мама, ты чего?

Совершенно спокойным голосом я ему ответила:

– С тебя сползло одеяло. Я поправила.

Он тут же заснул. Я ушла в другую комнату и тоже заснула, рано утром надо было бежать в институт. Что произошло со мной, я просто не поняла. Веселый, он дразнил меня «огневушка-поскакушка». Как легко я бежала по жизни... С каким легким сердцем...

*Мы с тобой повенчаны*

*Голубой водою...*

Откуда он это знал? В четырнадцать лет... Приближался его день рождения и Новый год. Я пообещала купить бутылку шампанского...

Нет, я не хочу кончать свой рассказ так быстро. У нас было целых четырнадцать лет счастья... Четырнадцать лет без десяти дней...

А вот еще. Тоже оттуда, из той первой моей жизни. Когда я была с ним. Как-то чистила антресоли и нашла там папку с письмами. Когда я лежала в роддоме, ждала Игорька (ну, тогда мы еще не знали – мальчик или девочка родится), мы с мужем каждый день писали друг другу письма, записочки, а то и несколько раз на день. Читала, смеялась, а Игорь слушал и был невпопад серьезен. Как это его не было, а мы с отцом были? То есть он как бы был, мы в письмах говорили о нем: вот он повернулся, вот он меня толкнул, вот он шевелится... И он и не он... Раз он только улыбнулся, когда я в сценах показывала, как мы «сорились» – я настаивала на имени «Глеб», а имя «Игорь» – это фантазия отца.

– Конечно, Глеб – лучше, – сказал он сердито.

– Но ты у меня не женишься ни на первой любви, ни на продавщице! – грозила я.

У меня два страшных сна... Один, как мы с ним тонем... Он ведь хо-рошо плавал, однажды я рискнула поплыть вместе с ним далеко в мо-

ре. Повернула обратно, чувствую, сил не хватает – ухватилась за него, да мертвой хваткой. Он кричит: «Отпусти!» Я кричу: «Не могу!» Вцепилась, на дно его тяну. Он все-таки оторвался и стал меня подталкивать к берегу... Поддерживает и подталкивает... Так мы с ним выплыли.

А во сне я его не отпускаю... Мы и не тонем, и не выплываем... Идет такая схватка в воде...

Второй сон... Начинает идти дождь, но я чувствую, что это не дождь, а земля сыплется. Песок. Начинает идти снег, но я уже по шороху слышу, что это не снег, а земля... Песок. Лопата стучит, как сердце, шох-шох, шох-шох...

Опять меня к концу тянет... К краю. Не хочу! не хочу!

*О, мне со дна дано увидеть большие,  
Чем с высоты. Я вижу звезды днем.  
И запах трав слышней на дне колодца,  
И звуки все куда нежнее в нем.*

Я много думаю о смерти, но я не хочу себя убить. А как он там? Что там?

Он любил море, речку, колодцы. Он любил все, где жила вода, она его завораживала: «Смотришь в воду, а там темнота». Или: «Только тихая звезда побелела, как вода. Темнота». Еще: «И вода течет одна... Тишина».

И здесь я подхожу к самому страшному месту... Как только я на него наталкиваюсь – быстро отхожу, отбегаю в сторону или иду-иду, а перед этим моментом останавливаюсь как вкопанная. Нет, я не права, а может быть, и права. Нет, конечно, я не права. Это самая страшная мысль, которая у меня была. Все-таки осмелюсь... Произнесу... Впервые произношу ее вслух, вдруг я от нее таким образом освобожусь. У меня нет другого способа выкинуть ее из души, кроме как решиться вымолвить... Вытащить из себя...

Каждый год я писала новый реферат, который потом должна была защищать на кафедре в институте. Как всегда, дома обсуждали его вместе. Я читала за ужином свои выписки, стихи, полкубившиеся цитаты. «Поэты, жизнь отдавшие народу, в народе остаются навсегда», – так обозначалась моя тема. Кто есть поэт? Какая у него неизбежная судьба в России! Судьба умереть... В связи с этим мы много дома говорили о смерти, о Родине. Из меня, как из рождественского мешка,

сыпалось, сыпалось... Цитаты о нищей дорогой Родине, о том, что мать-нищенка дороже всего... Мой любимый эпиграф ко всему в нашей истории: «Люблю Отчизну я, но странною любовью...» Повторяла, как Блок в письме матери после приезда из-за границы писал, что родина сразу показала ему и свиное, и божественное лицо. Упор, конечно, делался на божественное.

Что еще происходило в этот последний год? Игорь ездил в Москву на могилу Высоцкого. Влюбился в девочку Наташу, после что-то у них разломилось, он перестал говорить о ней стихами. Взял и постригся наголо, стал очень похож на Маяковского.

Последнее лето... Загорелый. Большой, сильный. Ему давали на вид восемнадцать лет. Поехали на каникулах с ним в Таллинн. Он был там второй раз, водил меня всюду, по разным закоулкам. За три дня мы жажнули кучу денег. Ночевали в каком-то общежитии. Возвращаемся с ночного похода по городу – он обнял меня за плечи, смеется, открываем дверь. Подошли к вахтерше, она не пускает:

– Женщина, после одиннадцати входить с мужчиной нельзя.

И тут я Игорю на ухо:

– Поднимайся, я – сейчас.

Он пошел, а я шепотом:

– Как вы можете! Как вам не стыдно! Это же мой сын!

*..И не дано вам видеть..  
Как я скрываюсь в белой пелене,  
И одеваюсь в сумерки скуные,  
И исчезаю в темно-синем сне.*

Я хотела, чтобы он стал врачом... Еще ничего не случилось, никакого намека, а на меня внезапно накатывали приступы немого отчаяния: «Не хочу, чтобы он был поэтом! Не хочу!» А он писал и писал стихи...

*И ночь зеленая таинственно отходит,  
И место сада занимает день.*

Последний месяц... У меня умер брат. Если бы можно было повернуть время назад, я не брала бы в эти дни с собой сына. Но у нас в роду мало мужчин, и он мне помогал, поневоле выходило, что общался со смертью. Смотрел на нее, привыкал. В поэзии, в кино –

смерть красивая: на ходу, на лету... Труса нет, труп мы не видим... Как его моют, одевают... Как на второй день уже появляется запах... Ничего этого в искусстве нет. После того как уже было поздно бояться, у меня возник страх, что он подглядывал за смертью, слишком долго возле нее находился: «Игорь, переставь цветы... Принеси стулья... Сходи за хлебом...» Вот эта обыкновенность происходящих рядом со смертью вещей могла подействовать на него неожиданным образом. Тут все могло сомкнуться: и желание пережить то, о чем хотел написать, и непосильно безумные для его лет вопросы – зачем, куда?

Приехал автобус. Все родственники сели, моего сына нет.

– Игорь, где ты? Иди сюда.

Он входит, все места заняты.

То ли от толчка, то ли... Автобус тронулся, и брат на мгновение открыл глаза. Плохая примета – в семье еще будет одна смерть. Я думала: моя мама, боялась за ее сердце... Стали опускать гроб в яму, что-то упало туда, я прыгаю в глину, достаю. Никто в яму не прыгает... Плохая примета... На поминках все сели, всем стульев хватило, и снова за этим столом Игорю места нет...

Если бы можно было повернуть назад... Я не дала бы ему смотреть на смерть... Вглядываться...

...А теперь по часам... Четырнадцатого декабря... Утром... Я умываюсь, чувствую: стоит в проеме дверей, держась обеими руками за дверной косяк, и пристальным взглядом обводит ванную, потом мои руки, лицо...

– Что с тобой? Садись за уроки. Я скоро вернусь.

Молча повернулся и ушел в свою комнату.

Я встретилась с подругой. Она связала для него модный пуловер. Мне хотелось сделать ему красивый подарок на день рождения. Принесла домой, муж поругал:

– Неужели ты не понимаешь, что пока нельзя, чтобы он носил такие дорогие вещи.

На обед подала его любимые пельмени. Обычно тарелку с добавкой просит, а тут поклевал и оставил.

– Что-нибудь в школе случилось?

Молчит. Здесь я заплакала, у меня что-то градом покатились слезы. Сама испугалась, я плакала так громко впервые за много лет. На похоронах брата со мной такого не было. И он испугался насколько, что я даже начала его утешать.



– Померяй полувер.

Надел.

– Нравится?

– Очень.

Заглянула через некоторое время к нему в комнату: он читал Пушкина. В другой комнате отец печатал на машинке. У меня болела голова, и я уснула. Когда пожар, люди спят крепче обычного... Когда беда... Я оставила его за столом... Тимка, наша собачка, лежала в прихожей. Не залаяла, не заскулила...

Не помню, сколько времени прошло, открываю глаза: возле меня сидит муж.

– А Игорь где?

– В туалете. Заперся. Наверное, стихи, бормочет, уже около часа.

Дикий, немой страх подбросил меня вверх. Подбегаю, стучу, колочу дверь. Бью руками, ногами. Тишина. Зову, кричу, умоляю. Тишина. Муж ищет молоток, топор. Взламывает дверь... В стареньких брюках, свитере, домашних тапочках... На каком-то ремне... Схватила, понесла... Мягкий, теплый... Стали делать искусственное дыхание... Вызвали «скорую помощь»...

Как же я спала? Почему Тимка не почувствовал? Собаки такие чувские... Я сидела и смотрела в одну точку... Как сумасшедшая... Мне сделали укол, и я куда-то провалилась... Утром разбудили:

– Вера, вставай. Потом себе не простишь.

«Ну, сейчас я тебе всыплю, ты у меня получишь», – подумала я, и тут до меня доходит, что всыпать некому.

Он лежал... На нем тот пуловер, который я ему к дню рождения приготовила... Все знакомое, родное – лицо, губы, руки... Я дотрагиваюсь до него... И он касается меня... Еще один день мы были вместе...

*Я прощаю тебя, поле,  
Я прощаю тебя, озеро,  
Я прощаю тебя, Родина...*

Не удержать... Не остановить... Не подтолкнуть к берегу... Может, я его слишком сильно любила? Как нельзя любить?..

Я не знала, куда мне бежать. В церкви молилась, но боялась признаться, что он покончил самоубийством. Ходишь и на небо смотришь... На небо... На небо... На небо... Кричать начала не сразу, через

несколько месяцев. Но слез не было. Кричать кричала, а не плакала. И только когда один раз выпила стакан водки – заплакала. Стала пить, чтобы плакать... Стала цепляться за людей. У одних наших друзей мы просидели, не выходя из квартиры, два дня. Теперь понимаю, как им было тяжело, как мы их мучили. Мы убежали из своего дома... Когда оставались, я открывала дверь в туалет, стояла и смотрела: на ту трубу от вытяжки, на те стены... Пока муж не оттащит... Два раза хотели поменять квартиру, уже документы подготовим, людей обнадеем, упакуем вещи... И не могу из квартиры выйти, что-нибудь вынести... Не для меня этот выход – начать новую жизнь... Я бродила по магазинам, подбирала ему вещи: вот этот свитер – его цвет, и эта рубашка...

Какая-то по счету весна... Какая – не помню. Прихожу домой, говорю мужу:

– Знаешь, сегодня я понравилась одному мужчине. Он хотел назначить мне свидание.

И мой муж отвечает:

– Как я рад за тебя, Верочка. Ты возвращаешься...

Безмерно я была ему благодарна за эти слова.

Тут я хочу рассказать о своем муже. Он – физик, сошлись вода и пламень (*Памалчав*). Нет, о любви, как и о смерти, невозможно рассказать. Я любила... Почему, любила, а не люблю? Потому что той меня нет... А себя новую, выжившую, я не знаю... Не понимаю...

Ночью лежу с открытыми глазами. Звонок. Ясно слышу звонок в дверь.

Утром рассказываю мужу. Он:

– А я ничего не слышал.

Последний раз – звонок. Я не сплю, поворачиваю глаза на мужа: он тоже проснулся.

– Ты слышал?

– Слышал.

И Тимка кругами возле кровати бегаёт, кругами, как по следу за кем-то... Я куда-то падаю, в какое-то тепло... И вижу такой сон...

Непонятно где, выходит ко мне Игорь в той одежде, в какой мы его похоронили.

– Мама, ты меня зовешь и не понимаешь, как мне тяжело к тебе прийти. Перестань плакать.

Дотрагиваюсь до него, он мягкий.

– Тебе было хорошо дома?

– Очень.

– А там?

Он не успевает ответить, исчезает.

С той ночи я прекратила плакать, стала говорить ему только ласковые слова: «Ты – самый хороший. Самый красивый. Самый добрый».

И он стал сниться мне маленьким, только маленьким. А я жду его большого, чтобы поговорить с ним, понять его...

Это был не сон... Я только закрыла глаза... Дверь в комнату распахнулась... Взрослым, каким я его никогда не видела, он вошел на мгновение... У него было такое лицо, что я поняла: ему уже безразлично все, что здесь происходит. Наши разговоры о нем, воспоминания. Он уже совсем далеко от нас...

Тогда я захотела родить... Сильно болела, я не должна была родить, но родила. Девочку... Мы к ней относимся, как будто она не наша девочка, а дочка Игоря... Я боюсь ее так любить, как любила его, я не могу ее так любить... Хочу уйти из института... Во мне нет света и радости... Я читаю стихи, и мне кажется, что все они о смерти...

У Беллы Ахмадулиной есть такие строки:

*Как все хотела, и пошла медом,*

*Пошла медом, а вспошла ядам...*

А может, он только хотел заглянуть за край? Не верил, что не вернется?

«Закрываю двери, которые не открыл...» – так потом назвали книгу его стихов.

Есть у меня еще одна страшная мысль: а вдруг бы он сам рассказывал совсем другую историю?..»

---

## История

### О ТОМ, КАК НЕВОЗМОЖНО РАЗЛЮБИТЬ МАРШИ, СТАЛИНА И КУБИНСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

*Маргарита Пагребницкая,  
врач, 52 года*

«Мне кажется, я знала, что вы придете. Все время кого-то ждала, кто бы меня выслушал. С чего начать? Я немного растерялась... Но это хорошо, что вы моложе меня, иначе что бы я могла вам рассказать...

...Недавно мы с мужем поехали в Москву и первый раз не пошли на Красную площадь. Такого раньше никогда не случалось. Пусть у нас был только один день и мы с ног валились от усталости, но, хотя бы ночью или на рассвете, перед самым поездом, мы должны побывать на Красной площади. А сейчас не пошли. Не хотелось.

Я всегда ждала эти первые минуты, когда поезд подходил к Белорусскому вокзалу, звучал марш, и сердце прыгало от слов:

– Товарищи пассажиры, наш поезд прибыл в столицу нашей Родины город-герой – Москву!

*Кипучая, могучая, никем непобедимая,  
Москва моя, страна моя, ты самая любимая...*

Где это? Куда исчезла жизнь, которой мы жили раньше? Нас встретил чужой, незнакомый город... На Арбате, моем любимом Арбате продавали разукрашенные матрешки, самовары, старые иконы и тут

же – комсомольские билеты. Вы представляете? Фронтовые награды – от ордена Славы до медали «За Победу»! Красные знамена с Лениным, советскую военную форму – от прапорщика до маршала... Цены в долларах... Муж чуть в драку не полез:

– Это же бандиты!

Я позвала милиционера, и он нам, провинциалам, скороговоркой, видно, не впервые, разъяснил:

– Предметы эпохи тоталитаризма... Разрешено торговать... Привлекаем к ответственности только за наркотики и порнографию...

А партбилет за пять долларов – не порнография?! Невозможно было отделаться от чувства, что это какие-то декорации, кино снимают... Жуткий фантастический фильм... Как и этот второй фильм – что я здесь, в больнице. Вот эта женщина, что сейчас мимо нас прошла в столовую (скоро обед), вешалась. Инженер. Тридцать лет жила в общежитии, потому что одиночка, и наконец получила однокомнатную квартиру. Пол вымыла. Окна отскоблила от краски. А потом на каком-то шпагате... Хорошо, что двери не закрыла на ключ по привычке, как в общежитии... Тут у каждого своя история...

Мне кажется, что я проснусь – и пойму, что меня просто разыграли. Я лягу спать, встану, и все будет, как прежде.

...Впервые я увидела Москву в семьдесят третьем году. Я уже была замужем, родила дочь. Помню, что шел дождь, холодный, осенний дождь. У меня не оказалось с собой зонтика, но я выстояла шестичасовую очередь к Мавзолею. Я шла к Ленину, как идут в храм. Полумрак, цветы... Шепот:

– Проходите. Не задерживайтесь. Осторожно – ступени...

Это был бог. Я плакала, за слезами ничего не разглядела. Единственное место, куда меня тянет сейчас, – церковь. Но я хотела бы пойти в церковь без людей, и стать на колени, и говорить, не знаю, с кем...

О чем? О том, как мы были потрясающе счастливы! Сейчас я в этом абсолютно убеждена. Мы росли нищие, ничего не имели и никому не завидовали. Летом наденешь парусиновые тапочки, начистишь их зубным порошком. Красиво! Зимой – в резиновых ботиках, мороз – подошвы жжет. Весело! Хорошо вспоминать! Верили, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем вчера. Любили, безгранично любили Родину – самую великую, самую лучшую!

Первый советский автомобиль – ура! Неграмотный рабочий изобрел секрет советской нержавеющей стали – победа! А то, что этот секрет уже давно известен всему миру, мы потом узнали. А тогда: мы первыми полетим через полюс в Америку! Научимся управлять северным сиянием, повернем вспять гигантские реки, построим в непроходимых лесах самую длинную железную дорогу... Вера! Вера! Вера!

Без конца работало на улице радио. Утром играли гимн, затем марши, песни Дунаевского, Лебедева-Кумача. Я и Родина – это было одно и то же, неразделимо. Мне пятьдесят два года, а я и сейчас могу запеть. Хотите? (Поэт.)

*Отцы о свободе и счастье мечтали.  
За это сражались не раз.  
В борьбе создавали и Ленин, и Сталин  
Отечество наше для нас.*

Мама рассказывала, что на следующий день, как меня приняли в пионеры, утром заиграл гимн, я вскочила и стояла на кровати, пока гимн не кончится. Дома был праздник, пахло пирогами в мою честь. Я не расставалась с красным галстуком, он у меня до сих пор хранится. Мечтала подарить его дочери... Комсомольский билет берегу... Для кого?

Раньше откроешь окно – льется музыка, и такая музыка, что встанешь и шагаешь по квартире, как в строю. Пусть это была тюрьма, как теперь считают, но нам было теплее в этой тюрьме. Мы чувствовали единение и привыкли быть в толпе, вместе. Вы посмотрите, как мы стоим в очередях, друг на друге, тесно – это все, что осталось у нас от той жизни.

Вспомнила еще:

*Сталин – наша слава боевая,  
Сталин – нашей юности полет.  
С песнями, борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идет.*

Когда шла колонна солдат, сердце замирало. После войны – солдат был необыкновенный человек, герой. В первом классе я прочла «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Самая большая мечта – умереть! Отдать

жизнь за Родину. Моя комсомольская клятва, я ее до сих пор помню: «Готова отдать свою жизнь, если она понадобится, моему народу». И это были не слова, нас так воспитали на самом деле. Вступая в партию, я повторила, своей рукой написала: «С Программой и Уставом ознакомлена и признаю. Готова отдать все силы, а если потребуется, и жизнь своей Родине». Сохранился мой школьный дневник, я его от всех прячу, потому что он сегодня наивный, глупый. С моей любовью к Сталину, с нестерпимым желанием умереть только за то, чтобы его увидеть. Боюсь сама его открыть... И книги любимые боюсь перечитывать... Сегодня мне страшно прикасаться к прошлому, буд-то к чему-то мертвому дотрагиваешься...

Вы хотите знать, как это сочеталось: наше счастье и то, что за кем-то приходили ночью, кого-то забирали? Как легкая тень пробегала... Кто-то исчезал, кто-то рыдал за дверью... Не запомнилось... Осталось в памяти другое: деревянные тротуары, пахнущие теплом, ослепительные парады физкультурников и слова, сплетенные из живых человеческих тел и цветов, – «Ленин», «Сталин»... На стадионах, на площадях... Были же Берия, подвалы Лубянки... А я помню, как цвела сирень... Массовые гуляния... И то, как хотелось всем выразить свои чувства, свою любовь... Сталин – это было что-то радостное, что-то счастливое. Потом стали говорить, что он рыжий, маленький. Развенчали. Выбросили из Мавзолея. А я продолжала его любить. Я перестала любить Сталина три-четыре года назад, когда прочла документы...

– Мама, – выпытывала у меня дочь, – неужели ты и вправду верила, что Павлик Морозов, который донес на своего отца, – герой?

– Да! Тогда была другая мораль.

– Как ты можешь это произнести?! – У нее испуг в глазах.

Зачем мне врать? Клянусь, если бы я убедилась, что мой отец враг, а бы пошла в НКВД. Это правда. Я была сталинская девочка. После смерти Сталина родились совсем другие люди, у нас границы поколений сдвинуты: мы делимся на людей, которые жили при Сталине, и на тех, кто родился после его смерти. Если вы сидели, прижавшись ухом к репродуктору, и слушали, как каждый час передавали бюллетень о здоровье товарища Сталина, а в день его похорон бежали, сливаясь с безумной толпой, на площадь имени Сталина, чтобы застичь тот момент, когда раздадутся траурные гудки, вы – один человек. Когда всего этого с вами не было, вы этого не знали, не чувствовали, вы

– другой человек. Я очень гордилась нашим соседом, дядей Ваней, он вернулся с войны без обеих ног, ездил на деревянной самодельной коляске. Звал меня «Маргаритка», чинил всем валенки, сапоги:

– Ну что, Маргаритка, сдох этот...

Это он о моем Сталине? Я выхватила у него потертые валенки.

– Как вы смеете! Вы – герой... У вас орден...

Два дня серьезно размышляла: пойти мне в НКВД и рассказать о дяде Ване или не пойти? На второй день возвращаюсь домой: дядя Ваня свалился со своей коляски и не может встать. Подняться. Пьяненький. Мне стало его жалко. Не случись с ним такого, может, из меня тоже получился бы Павлик Морозов...

Нет, вы меня выслушайте... Уверяю вас – это личная история, очень личная...

Моя мама – дворянка, из богатой семьи. Перед самой революцией, в семнадцатом году, она вышла замуж за офицера, впоследствии он воевал в белой гвардии. В Одессе они расстались... Он эмигрировал с остатками разбитых деникинских частей, а она не могла бросить парализованную мать. Ее взяли в ЧК как жену белогвардейца, но не расстреляли. Следователь, который ее допрашивал, заставил выйти за него замуж. Мама у меня очень красивая. Она только один раз проговорила, что он был матрос, возвращался домой из ЧК пьяный и бил ее револьвером по голове... Потом куда-то исчез...

И вот эта моя мама, красавица, балерина, обожавшая музыку, столько пережившая, до беспмятства любила Сталина. Она грозила моему мужу, когда он высказывал недовольство чем-нибудь:

– Я пойду в райком и скажу, какие вы коммунисты.

Мой отец (мама потом вышла замуж еще раз) участвовал в революции, в тридцать седьмом был репрессирован. Через несколько лет его освободили, но в партии не восстановили. Это был удар, который он не пережил. Так вот, он работал агрономом, если видел непорядки, писал письма товарищу Сталину. А в тюрьме ему выбили все зубы, проломили голову...

Как это объяснить? Они что, все были глупы или безумны?! Мама знала несколько языков, читала Шекспира и Гете в подлиннике. Отец окончил Тимирязевскую академию. Ну, а Блок, Есенин, Маяковский? Александра Коллонтай, Иннеса Арманд? Мои кумиры, мои идеалы – я росла с ними. Я им верила. Справедливость – вот был смысл нашей



жизни. (Пауза.) А сейчас снова – богатые, бедные. Кто-то уже купил магазин, а кому-то на молоко и хлеб не хватает. Я никогда такого не приму, не впишусь в эту жизнь... Вы посмотрите, кто торгует в коммерческих магазинах, на биржах? Мальчишки... Какие-то новые, совершенно незнакомые мне люди. Иногда мне кажется, что я живу среди сумасшедших... Все сошли с ума...

Я – врач, я шла лечить людей, а в сумочке у меня лежали приготовленные для себя таблетки... Два месяца изо дня в день я носила свою смерть... Что меня удерживало? Неожиданно пугает мысль, что смерть безобразна. Начинаешь представлять, как будешь лежать, как изуродует твоё тело, лицо сведет судорога... Будешь разлагаться... Я видела повесившихся... В последние минуты у них наступает оргазм... Или они все в моче, в кале... Одна эта мысль для женщины ужасна. Я очень профессионально все представляла. У меня, как у врача, не могло оставаться никаких иллюзий о красивой смерти. Смерть не бывает прекрасной, труп героя и труп труса пахнут одинаково...

Вы хотели бы понять причину? Как это произошло? Никто не верит... Здесь со мной беседовал психиатр, профессор:

- Муж пьёт?
- Что вы!
- Разлюбил? Бросил?
- Нет.
- Конфликт с детьми?
- У меня дочь и сын, двое внуков. Мы ладим.
- С работы увольняют?
- Нет.
- Так как же вы себя до такого довели?

Я молчала. Потому что, начни я ему рассказывать, он решил бы, что это я сошла с ума, а не все вокруг. Прошлое могло стать моим диагнозом...

Чего мне жалко в той жизни? Как вы говорите, этой бедности? Этого страха? Мне жалко своей веры и того большого, сильного государства, в котором мы больше не живем. Моя жизнь потеряла смысл... Я не умею жить только для себя... Я никогда так не жила...

Где все то, что мы любили?

...Полетел Гагарин... Люди вышли на улицы, смеялись, обнимались, плакали... Рабочие в спецовках прямо с заводов... Медики в белых ша-

почках... Швыряли их в небо: «Мы – первые! Наш человек в космосе!» Это нельзя забыть!

Кубинская революция! Молодой Кастро! Как мы за них переживали. Я кричала: «Мама, папа! Они победили!» Любимая наша песня: «Гренада». Помню, как еще в школу приходили ветераны боев в Испании, это называлось интернациональным долгом. Мы им завидовали. Дома над своей кроватью я повесила вырезанную из журнала фотографию Долорес Ибаррури. Потом все мальчики мечтали о Кубе. Через несколько десятков лет другие мальчики точно так же бредили Афганистаном. Нас легко было обмануть...

Помню, как уходил на целину весь наш десятый класс. Они шли по улице колонной, с рюкзаками, с развевающимся знаменем... «Вот это – герой!» – думала я. Многие из них потом вернулись больными: на целину они не попали, строили в тайге железную дорогу, таскали на себе рельсы по поясу в ледяной воде. Не хватало техники... Ели гнилую картошку, у всех цинга... Но они были, эти ребята! И была девочка, провожавшая их с восторгом. Это – я!

Эту память я никому не отдам: ни коммунистам, ни демократам, ни брокерам... Она – моя! Только моя! Я могу прожить без денег, без мяса, без печенья и конфет, и мне не так много надо. Но верните мне радость жизни, веру! Когда-то мы с мужем объездили весь Кавказ, Крым, Россию. Наши родители нам не оставили богатства – ни дачи, ни квартиры, ни денег. У меня была раскладушка и две табуретки, муж принес одеяло, – с этого мы начинали. Залезли в долги (пять лет отдавали), чтобы купить машину и путешествовать. Сегодня – везде границы... Война... А родина там, где больше платят... Как в кошмарном сне... Никак не проснуться, а проснуться надо...

И все-таки, как это случилось? Тот момент... Последний... Я знаю, что чаще это делают ночью... В одиночестве... В тишине... Вечерний человек ближе к темноте, в которую погружаешься... Сон очень похож на смерть... Мне тоже всегда казалось, что утренний человек больше любит жизнь, чем вечерний, ночной... Но я это сделала утром...

Позвонила Карина, сестра мужа, беженка из Баку (муж у меня армянин). Они недавно приехали к нам в Минск, когда там все началось... Купили дом в пригороде.

– У нас в Баку уже цветет миндаль, – и я услышала, как Карина заплакала. – А здесь еще снег в апрельских лужах. В прошлом году я ни

один свой сарафан не надела. По привычке сшила три – розовый, с цветами и белый, но все лето шел дождь.

– Карица, здесь падает снег, а у вас стреляют... Теперь ты будешь жить здесь... Родишь еще одного сынишку...

– Я себе это тоже каждый день говорю. Но мне пахнет миндаль...

У Карины в Баку погиб сын Андроник. Десятилетнего мальчика на ходу выбросили из автобуса... А тете Рузане, она была на шестом месяце беременности, вспороли ножом живот... Это происходит сейчас, в наше время: в Баку убивают армян, а в Ереване – азербайджанцев, когда вы радуется весеннему солнцу, подснежникам, покупаете торт к ужину. Одно дело – видеть это по телевизору: стреляют, жгут, хоронят... Плачут, крестятся... И совсем другое, когда это твоя кровь пролита, твоих близких. Ты с ними смеялась, писала им письма, сидела вместе за праздничным столом, пела одни песни. Задыхался от ужаса... Цепенеешь... Не кричишь, а воешь в душе, внутри. Заталкиваешь, заталкиваешь в себе этот крик... Но однажды не выдержишь... Как я в то утро... Берешь горсть таблеток... Чтобы ничего не знать, не слышать... Уснуть... И не думать о том, кого родит женщина, которая видела, как пещерным способом четвертуют людей в городе, где пахнет миндаль... Как на дверях хлебного магазина повесили старую армянку. И в ногах у нее стояла сумка с хлебом...

Я думала, что своей смертью их остановлю... Задержу, спасу... Мужа спасу... Сына... Они хотят поехать туда... Мстить... Убивать... Как мне их удержать? Чем?

Чужая страна... Чужой город... Чужие люди... Я ничего не понимаю и не узнаю... Узнаю только животных. Птиц. Может, поэтому люди стали так часто заводить щенков? На выставках собак очереди длиннее, чем в Мавзолей и в музей. Я вырвусь из больницы, уеду на дачу. Буду копать землю, смотреть на деревья, на траву... Я не хочу видеть людей...

В чем моя вина? Почему я должна каяться? Я никого не расстреливала, не предавала... А они кричат на площади, что всех коммунистов надо судить, сажать в тюрьмы. За что? Меня – за что? Моего мужа – за что? Мы верили, любили... Никому сейчас не верю! Никому!!!

Я всех боюсь... Я боюсь, потому что не могу разлюбить то, что со мной было...»

---

**История,  
РАССКАЗАННАЯ МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ,  
КОТОРЫЙ ПОНЯЛ, ЧТО ЖИЗНЬ  
БОЛЬШЕ ФЕЛЛИНИ, ЧЕМ БЕРГМАН**

*Александр Ласкович,  
солдат, 21 год*

«Выбирал не я, выбирал кто-то другой: либо умру, либо не буду знать, что живу. До сих пор в этом не уверен... Я не был в Америке, но мне часто кажется: я там жил... Смотрю на чужие картинки как на что-то знакомое... Я не знаю: кто сейчас сидит с вами за столом, разговаривает? Может быть, это я? А может, и нет? Иногда я все о себе забываю... Потом вдруг наткнешься: вроде бы это я? Мне никогда не нравилось быть мальчиком... Все выбрали без меня: имя, место, время... Нос, форму ушей, цвет волос... Мама мечтала о девочке, папа, как всегда, хотел аборт. Там, еще в утробе матери, я чувствовал, это впитывалось в мою подкорку, что я никому не нужен, могу не обнаруживаться, не появляться...

Первый раз я хотел повеситься в семь лет. Из-за китайского тазика... Мама сварила варенье в китайском тазике и поставила на табуретку, а мы с братом ловили нашу кошку Муську. Наша Муська тенью пролетела над тазиком, а мы нет... Мама молодая, папа на военных учениях... На полу лужа варенья... Мама проклинает судьбу офицерской жены, которой надо жить у черта на куличках, на Сахалине, где зимой снега насыпает до двенадцати метров, а летом – лопухи одного роста с ней. Она хватает отцовский ремень и выгоняет нас на улицу.

– Мама, на дворе дождь, а в сарае муравьи кусаются...

– Пошли! Пошли! Вон!!

Вечером брат побежал к соседям, а я совершенно серьезно решил повеситься. Залез в сарай, нашарил в корзине веревку. Придут утром, а я вишу... Вот, суки, вам! Тут в дверь втискивается Муська, ее зеленые глаза вспыхнули в темноте, как бенгальские огни... Мяу-мяу... Милая Муська! Ты пришла меня пожалеть... Я обнял ее, и так мы с ней просидели до утра...

Что такое был папа? Папа – замполит авиаполка. Мы перемещались из одного военного городка в другой, все они пахли гуталином и дешевым одеколоном «Шипр». Так всегда пахло и от моего папы. Мне – восемь лет, брату – девять, папа возвращается со службы. Скрипит портупея, скрипят хромовые сапоги. В эту минуту нам с братом превратиться бы в невидимок, исчезнуть с его глаз! Папа берет с этажерки «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, в нашем доме – это «Отче наш».

– Что было дальше? – начинает он с брата.

– Ну, самолет упал. А Алексей Мересьев пополз... Раненый... Съел ежа... Завалился в канаву...

– Какую еще канаву?

– В воронку от пятитонной бомбы, – подсказываю я.

– Что? Это было вчера. – Мы оба вздрагиваем от командирского голоса папы. – Сегодня, значит, не читали?

Вращаемся вокруг стола, как три Чаплина – один большой, два маленьких: мы со спущенными штанами, папа – с ремнем. Все-таки у нас у всех киношное воспитание, да? Не из книг, а из фильмов мы выросли... Книжки, которые приносил в дом папа, у меня до сих пор вызывают аллергию. У меня температура поднимается, когда я вижу у кого-нибудь на полке «Повесть о настоящем человеке». О! Папа мечтал бросить нас под танк... Он хотел, чтобы я попросился в Афганистан... А если бы мне там отсекали ноги, как Алексею Мересьеву, вот тогда его жизнь не зря. Он был бы счастлив! Он мог бы меня расстрелять, случись война и нарушь я присягу. Комплекс Тараса Бульбы... Папа принадлежал идее, он не человек. Но меня никак не удавалось запрограммировать на войну... Или на щенячью готовность заткнуть собой дырку в плотине, лечь пузом на мину... Я давил божьих коровок, на Сахалине летом божьих коровок как песка. Давил их, как все,

пока однажды не испугался: чего это я столько маленьких красных трупиков наделал? Муська родила недоношенных котят... Я их поил, выхаживал. Появилась мама: «Они что – мертвые?» И они умерли после ее слов. Папа дарил мне военные фуражки... Но я никогда не хотел быть мальчиком... Детский страх: мальчики все становятся военными, и их убивают... О! Как я хотел молочными зубами вгрызться в папины хромовые сапоги, биться и кусаться. За что он меня – по голлой заднице перед соседским Витькой?!

Я не рожден для танца смерти... У меня классический ахилл, мне бы танцевать в балете. Но папа служил великой идее, он был часть этой идеи. Как будто трепанация черепа произошла... Все без штанов, но с винтовкой... Пора сменить жанр... Там, где играли оптимистическую трагедию, сейчас разыграют комедию и боевик. Ползет-ползет, шишки грызет... Угадайте, кто это? – Алексей Мересьев... Все, что осталось от папиной идеи, которая в страшной крови. Не люди убивали друг друга, идея убивала. Идея-убийца... А папа? Он беспомощный человек, совсем не готовый к старости, потому что в старости надо просто жить. А он себя без той великой идеи не представляет... Ну, пусть бы кактусы выращивал или спичечные коробки собирал. Сидит у телевизора: заседание парламента – левые, правые, митинги, демонстрации... Папе нужен враг, притаенный, замаскированный, нужна борьба, иначе жизнь утрачивает смысл, бесцельна. Безжертвенна! Такая жизнь папе неизвестна и непонятна. Вот мы смотрим с ним вдвоем телевизор: японский робот ощупывает старый карьер, вынимает из песка ржавую мину, увозит взрывать. Папа в бесконечном удивлении: – Гробить технику? У нас что, личного состава не хватает?

У него свои отношения со смертью. Она для него всегда чему-то равна: спасенному самолету, выхваченному из пламени колхозному трактору, досрочному выполнению задания партии и правительства... Отдельно от этого жизнь и смерть для него не существуют...

На Сахалине мы жили возле кладбища. Почти каждый день я слышал похоронную музыку: желтый гроб – умер кто-то в поселке, обитый красным кумачом – летчик погиб. Красных гробов было больше. После каждого красного гроба папа приносил в дом магнитофонную кассету... Приходили летчики... На столе дымились пожеванные папиросные «бычки», блестели запотевшие стаканы с водкой... Крутилась кассета:

- Я – борт такой-то... Движок стал...
- Идите на втором.
- И этот отказал...
- Попытайтесь запустить левый двигатель.
- Не запускается...
- Правый...
- Молчит...
- Катапультируйтесь!

– Фонарь кабины не сбрасывается!.. Твою мать!!! Э-э-э... Ы-ы-ы...

Я долго представлял смерть как падение... С немислимой высоты... Без слов... Э-э-э... Ы-ы-ы... На языке ветра... Стихии... Материи...

Кто-то из молодых летчиков один раз спросил у меня:

– Что ты, малыш, знаешь о смерти?

Я удивился. Мне казалось, что я это знал всегда. Притяжение. Страх и любопытство. Хоронили мальчика из нашего класса – нарыл в песке окопов патроны и бросил в костер... Вместо глаз – два пятка... Я это знал всегда, я родился уже с этим знанием. Может, я уже когда-то умирал... Или мама, когда еще помещался в ней, сидела у окна и смотрела, как везли на кладбище: красный гроб, желтый гроб... Я загипнотизирован проблемой смерти, в течение дня я думаю о ней десятки раз. Наверное, потому, что я в детстве жил возле кладбища. Смерть пахла папиросными «бычками», недоеденными шпротами и водкой. Это не обязательно беззубая старуха с косой, а может, это красивая девушка? И я ее увижу...

...Восемнадцать лет. Всего хочется: женщин, вина, путешествовать... Загадок, тайн... Я придумывал себе разную жизнь, представлял. И в этот момент тебя подлавливают... Мне до сих пор хочется раствориться, исчезнуть, чтобы ничего обо мне не знали, не оставить никаких следов. Уйти лесником, беспаспортным бомжем... Постоянно наваливается один и тот же сон: меня опять забирают в армию... Перепутали документы, и снова надо идти служить. Кричу, отбиваюсь:

– Я уже служил, скоты! Отпустите меня!

Схожу с ума! Жуткий сон... А моему другу, он воевал в Афганистане, снится, что автомат не стреляет...

Я не хотел быть мальчиком... Я не хотел быть военным... Папа сказал:

– Ты должен стать мужчиной. А то девочки подумают, что импотент.

В армии меня будут убивать... Это я знал... Или меня убьют, или я убью. Брат вернулся после службы сломленным человеком. Каждое утро его били ногой в лицо... Он лежал на нижних нарах, старослужащий – наверху... Когда тебя целый год пяткой в морду!.. Попробуй остаться тем, кем ты был. Есть тип людей, которые не могут быть мясом, а есть другой тип, готовый быть только мясом. Человеческие лепешки... Я учился бить... В лицо, между ног... Как позвоночник переломить... Хатха-йога, каратэ...

Расскажу анекдот... Сменим жанр...

Гуляет по лесу дракон. Встретил медведя:

– Медведь, – говорит дракон, – у меня в восемь часов ужин. Приходи – я тебя съем.

Идет дальше. Бежит лиса:

– Лиса, – говорит дракон, – у меня в семь утра завтрак. Приходи – я тебя съем.

Идет дальше. Скачет заяц.

– Стой, заяц, – говорит дракон, – у меня в два часа обед. Приходи – я тебя съем.

– У меня вопрос, – поднял заяц лапу.

– Давай.

– Можно не приходиться?

– Можно. Я тебя вычеркиваю из списка.

...Нас везут по перрону... Девчонки машут... Мама плачут...

В памяти остаются только голоса:

– Сорок таблеток... Попытка суицида... Белый билет. В армию не берут... Надо быть дураком, чтобы остаться умным... Бей меня! Бей! Ну и пусть я говно, мне наплевать. Зато я – дома, трахаюсь с девчонками, а ты – с винтовкой пошел играть в войну...

Человека можно запрограммировать. Он сам этого хочет. Ать-два! Ать-два! В ногу!!! Что такое вор в законе? Человек, у которого нет романа со смертью, он решил свои отношения со смертью. Зацепи – вилку в глотку воткнет! Жизнь прожита, сожжена дотла. Такой прыгнет, укусит. А сотня молодых мужчин вместе? Зверье! В тюрьме и в армии живут по одним законам. Беспредел. Заповедь первая: никогда не помогай слабому, слабого бей сапогами по голове. Ночью кто



хрюкает, кто квакает, кто маму зовет, кто воздух портит... Но слабого бей сапогом по голове!

Чехов писал, что надо каждый день выдавливать из себя по капле раба. Но иногда человеку хочется быть рабом, ему это нравится.

Подъем. Команда:

– Лечь! Встать!

Все встали, один лежит.

– Лечь! Встать!

Лежит.

Сержант стал желтый, затем фиолетовый:

– Ты что?

– Суета сует...

– Ты что?

– Суета...

Сержант – к командиру роты, тот – к гэбэшнику. Подняли дело: баптист. Как он в армию попал?! Его оградили от всех, потом куда-то увезли. Он фантастически опасен! Не хочет играть в войну...

Покончить с собой я хотел пять раз. На пятый... решился... Сначала думал повеситься... Нормально. Все возле этого когда-то проходили... Командир просил:

– Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны.

В человеке есть война, война возбуждает. Мне бы сказали – строить этот дом, в котором я живу, – долго. Скучно. А разрушить – в два дня. Какой восторг! Бить, крушить! Нам это нравится. Системы взврата нет... Я боюсь замкнутых пространств... Ненавижу социальную жизнь... Встать-лечь! Лечь-встать! Почистили нас, помыли. Вынесли красное знамя: «И если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара...» Ночью во сне я убежал от отца, он целился в меня, целился...

Первое письмо от девушки... Руки затряслись... Но жизнь больше Фелини, чем Бергман. Письма хранить нельзя.

Проверка тумбочек:

– Бабы ваши, будут наши. А вам еще служить, как медным чайникам. Неси свою макулатуру в унитаз...

Положен набор: бритва, авторучка, блокнот... Сидишь на «очке» и читаешь последний раз письмо: «Люблю... Целую...»

Полярная ночь. Бесконечная. Стоим вдвоем в карауле. В руках –

оружие. Мне пришла мысль, что это совсем просто: секунда-две, и ты свободен... Я могу назвать не причину, а повод. Если искать причину, то надо начинать оттуда, когда мама хотела девочку, а папа хотел аборт. Где-то в подсознании у меня это закодировано... И папины заклипания: «Герой! Герой!» Героев я представлял без рук, без ног. С кровавыми звездами на спине... Я никогда не хотел быть героем. Я ненавижу героев! Я их презираю! Миражи! Мифы! Иллюзия! Подмена! В детстве мы играли в самураев. Самурай должен был красиво умереть: не имел права упасть лицом вниз, закричать. Я всегда кричал... Меня не любили брать в эту игру...

А повод? Повод мог быть ерундой... Сержант сказал, что ты меншок с говном, или колбасы в обед не досталось. Чай без сахара... Столкнуть могла чепуха...

Но жизнь больше Феллини, чем Бергман.

Стоим в карауле. Шепот (парень деревенский, с Украины):

– Ты знаешь, что такое оргазм? Пробовал?

Это мы – с ракетами и ядерными головками, которые могут тысячи людей убить? И я, который хочет себя убить?..

...Смерть похожа на любовь. И последнее мгновение – страшные и некрасивые судороги. Мы не способны вернуться из смерти, но из любви мы возвращаемся. И можем вспоминать, как было... Вы тонули когда-нибудь, вас затыгивал вир? Я тонул... Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись – и дойди до дна. Там уже твой выбор: или ты хочешь умереть, или ты хочешь жить. Хочешь жить – пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна...

Я дошел и понял: хочу жить! Просто жить! Я никого не убил, единственный человек, в которого я стрелял, я – сам... Только ранил...

Но жизнь больше Феллини, чем Бергман...

Там? Там никакого света в конце тоннеля... И ангелов я не видел... Сидел отец у красного гроба... Гроб пустой...

Сон... Жизнь... Эта жизнь? Или та? Как у Мережковского: «Лишь тенью тени мы живем»...»

---

# ИСТОРИЯ КОММУНИСТА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОБАЯНИИ КРАСНОГО ИДЕАЛА

*Игнатий Валерьянович С.,  
заведующий отделом обкома партии, 54 года*

Из разговора с бывшим помощником первого секретаря обкома партии.

«Зачем вам эта история? Не хочу говорить! Зачем? Все свалили на коммунистов.. Натравили на нас народ.. Семнадцатый год.. По знакомому сценарию.. Еще один семнадцатый год.. У нас директора керамического завода рабочие на тачке вывезли за ворота. Горлопанили. Били стекла. Забыли, что дальше в этом сценарии, в следующем действии: брат пойдет на брата, сын на отца.. История повторяется.. Те же действующие лица..

Сажусь в такси.

– Скоро коммунистов бить будем? – спрашивает у меня водитель.

– Так это же снова кровь?

– А без крови у нас ничего не получится. Я сначала бы всех коммунистов перестрелял. А потом брокеров и спекулянтов. И сжег бы эти ларьки!!

Музыка играет. Хорошие сигареты. И ведь стрелял бы! Стрелял!

Вот она – родина Пугачева и Стеньки Разина.. Нравится кровь пустить.. За справедливость! Только, когда дым рассеется, увидят, что брат убивал брата. А вы говорите – народ. Народ сам о себе сказал, что из него – и дубина, и икона.

Не хочу отвечать на ваши вопросы! Не буду! Зачем вам эта история? Он, как и я, из тех, кого вы собираетесь судить... Устроить Нюрнберг... Кричат на улицах: «Довели страну! Разорили! Преступная партия! Кровью залили...» Хотят судить живых и мертвых... В столице бьют, сваливают памятники днем, принародно, а у нас, в провинции, тайком, ночью. Памятники Марксу, Ленину... Рассказывают, рабочие стащили Ленина на железном тросе вниз и кукишей ему надавали. Ночью велят... Как воры... Зачем? Проститесь с большевизмом честно. Наука принесла человечеству куда более неисчислимые бедствия. Давайте тогда истребим ученых! Предадим анафеме «отцов» атомной бомбы... Марксизм, как любая великая идея, дал своих мучеников и своих негодяев. В этом «красная религия» похожа на все другие религии.

Кто я сейчас? Обыкновенный школьный учитель. Преподаю историю. По старым учебникам... Новые еще не написаны... Уходит одна мифология, приходит другая. Никаких идеалов... Я уже не говорю об идеалах... Никаких идей...

Зачем вам эта история? Эта нелепая смерть... Необъяснимая...

Вы думаете, что сегодня не опасно быть искренним? Что изменилось? Во всем обвинили коммунистов. Их нет у власти. И что изменилось? Пришли демократы – и скорее к той же кормушке, к рогу изобилия... Теперь вы поняли, что не в коммунистах дело? А в кормушке... А там все строго по рангу... Как еще и при Сталине... Об этом ходило немало партийных легенд... Например, как при Сталине заведующим секторами ЦК разносили чай с бутербродами, а лекторам – только чай. Но потом ввели должности заместителя заведующего сектором. И вот в управлении делами долго думали: как быть? Кончилось тем, что заму стали подавать чай без бутерброда, но на белой салфетке. Идеальная вечная схема: сначала пью простой чай и мечтаю о чае на белой салфетке, получив чай на белой салфетке, хочу чай с бутербродом. Кто вам сказал, что Сталин умер? Вы что – человека измените? Винят идею... При чем здесь идея? Великая идея... Человек виноват... Он ничуть не изменился со времен старого Рима и древнего Иерусалима. Человек историей не живет... Идеей не живет: родился, влюбился, женился, машину купил, дом построил. Кого-то ревнует, кому-то завидует, чего-то все время хочет. Мы об идее говорим, об этом принято у нас говорить, но мы ею не живем. Вот у меня болеет дочь... У нее лучевая болезнь... У девочки... Я этим живу... Ко-

го-то жена бросила... Никто идей не живет, только сумасшедшие. Наивные. Я встречал таких, но среди партийных профессионалов их не было. Я боюсь быть искренним... Я боюсь за свою семью, за детей. К моей дочке, она учится в пятом классе, подошли на перемене одноклассники:

– Мы с тобой не будем дружить. Твой папа в обкоме партии работал.

– Мой папа хороший.

– Хороший папа не мог там работать. Мы вчера на митинге были.

Я прошу родителей: никогда не берите детей на митинги! Или вы хотите новых Гаврошей и Павликов Морозовых? Только по другую сторону баррикад...

У коммунистов моего поколения оставалось мало общего с Павкой Корчагиным. Я так думаю, что у нас было три поколения коммунистов: первое – профессиональные революционеры, с портфелями и револьверами, эти хотели развести определенный тип людей, а от остальных избавиться, второе – самые искренние, честные, они выросли после Октября, когда идея еще была молодая, сильная, и они верили в коммунизм, их в тридцать седьмом в лагерях уничтожили; и третье, последнее, – это мы, служащие партии, клерки. Мы просто работали. Это была хорошая работа. Никто об идее никогда не говорил, относились к ней как к обряду. Существовал такой обряд – светлое будущее. Без него нельзя было выйти на трибуну, подняться на сцену, вынести красное знамя. Мы понимали, что человек идеей не живет, но она должна существовать, светить с высоты. Идея оставляет человека в истории. А у нас была великая идея! Без идеи мы – кто? Говорящая глина?

Как, скажите, без светлого будущего мне приходиться каждый день в школу? В класс...

Я не узнаю лица людей на улице... Они поменялись... Они поменялись очень быстро, стремительно. И они мне не нравятся... Мне не нравятся разговоры моих учеников о курсе доллара и немецкой марки...

И ваши вопросы мне не нравятся... Зачем вам эта история?»

Через несколько часов он сам разыскал меня в гостинице.

«И все-таки, зачем вам эта история? Хотите порадовать обывателя? Не каждый день коммунисты кончают самоубийством... Тем более работник обкома партии... Обыватель будет в восторге! История по-

вторяется... Советую перечитать «Окаянные дни» Ивана Бунина. Многие места из этой книги я наизусть знаю. Совпадает! Все совпадает! Мы вернулись на семьдесят лет назад... Вот, например, это место: «Помню старика-рабочего у ворот дома, где были прежде «Одесские новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криком «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злобства: «Мало! Мало!»

Узнаете?! Как будто на наших сегодняшних улицах подслушано и записано...

Вы за этим приехали? Написать, как коммунисты сегодня выбрасываются с восьмого этажа? (*Малчит.*) Простите... (*Порывается уйти, но остается.*) Это была простая и необъяснимая смерть... Понятная и непонятная... Я близко знал его и чувствую свою ответственность за версию, с которой вы отсюда уедете. Одни, я догадываюсь, отмолчатся, открестившись от своего «коммунистического прошлого», – таких нынче большинство, другие расскажут понаслышке, придуманное. Это сейчас, через семьдесят лет, мы читаем воспоминания о Колчаке, Деникине и пытаемся их понять... А тогда – проклятия и свист над могилами... Улюлюканье... Я – историк, я об этом думаю... Мы обречены на возвращение. Прокляв чужие могилы, умираем, чтобы то же самое повторили над нашими... Вы же помните, как уходил из своего президентского кабинета Горбачев? Его толкали в плечи. Барабанили! Как все радовались, когда покончил с собой Пуго! Самое страшное, что с нами произошло, – мы перестали бояться смерти. Мне когда-то старый священник, которого я, с новеньким университетским дипломом, убеждал, что Бога нет, тянул Бога за бороду на землю, мне этот священник рассказал анекдот.

Революция... В одном углу церкви пьют, гуляют красноармейцы, а в другом – их кони жуют овес и мочатся. Дьячок бежит к настоятелю:

– Батюшка, что они творят в святом храме?

– Это не страшно. Эти постоят и уйдут. Страшно будет, когда их внуки вырастут...

У великой идеи две жизни: чистая – в уме, в книгах, и вторая, земная жизнь, жизнь в реальности. В Кремле сидели кремлевские мечтатели и о мировой революции думали, а в церкви красноармейцы пи-

ли, гуляли и их кони мочились. Идея прекрасная! Но что вы с человеком сделаете? Человек не изменился со времен старого Рима...

Зачем вам эта история? Разве кто-нибудь может понять смерть? Мы с ним в последние дни много разговаривали. Но ведь самое главное произошло потом, после него...

Ну, для начала я вам скажу, что это был типичный партработник. Система отбора партийных кадров жестко регламентировалась. Доходило до смешного. Ветеринар, например, мог стать вторым секретарем райкома партии, а врач-терапевт – нет, потому что в аппарат брали только производителей, техническую интеллигенцию. Гуманитарии не ценились, им не доверяли, они всегда были как бы на подозрении. Это сейчас драматурги и переводчики, младшие научные сотрудники могут править страной, а в те времена это было дело партийных профессионалов. Секретарем по идеологии обычно была женщина. Ее сажали во все президиумы, в центре. Но почему – женщина? Сугубо для украшения... Как на плакате... Я вам уже говорил, что существовал обряд... Обряд светлого будущего... Обряд власти... Но технократизм, конечно, накладывал отпечаток. Мысль, что народ может выйти на улицы, казалась невероятной. Может ли бунтовать тюрьма? Может ли бунтовать армия? Мне сейчас тоже непонятно, чем питалась эта наша уверенность.

Да, так вот, он был типичный партработник, ему больше всего нравилось брежневское время. Он мог вынести вопрос на бюро обкома, на секретариат... Написать постановление... Засекретить документ... Положить под сукно... Выполнить любую команду... Но в его голове не могла родиться ни одна идея, потому что он – по своей природе – только исполнитель, как был когда-то инженером на заводе, так им и остался. Прикажут – сделает, доложит. А началась перестройка... По телевизору выступал Горбачев и обещал народу демократию... Народ выходил на центральную площадь города и требовал то хлеба, то свободы, то мяса, то курева... Такого народа никто из нас не знал... Мы привыкли к организованным майским колоннам...

Он отвечал в обкоме партии за науку и культуру... И вот этот человек приходил ко мне в кабинет и спрашивал: надо ли ему читать «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова? И что отвечать, если на встрече в техникуме или в институте у него спросят о Солженицыне? Какая на это счет поступила команда сверху? Грянули такие дни, когда для не-

го ничего не было страшнее, чем выехать куда-нибудь с докладом, встретиться с людьми. Он приходил с утра на работу и сидел, не выходил из своего кабинета. Он боялся телефонных звонков... Они требовали мгновенных решений, его вмешательства: в школе забастовали учителя, в театре молодой режиссер репетирует запрещенную пьесу... Вышли на митинг старики – жертвы сталинских репрессий... По-моему, военные – это были единственные люди, которых он еще как-то понимал. Система координат тут совпадала...

О чем мы беседовали? Я был намного моложе, но даже не это, а то, что я находился как бы вблизи власти, его ко мне притягивало. И то, что я был молодой, значит, я был ближе к тому, что происходило на улице, я только что из той жизни пришел сюда. Меня взяли на работу в обком из областной газеты. «Вот вы – молодые», – начинал он. Молодые, значит, ответственные за то, что происходит, переворачивается. Он говорил о твердой руке, о порядке, о том, что все разваливается. Других вопросов он себе не задавал. Он никогда не читал Маркса, впрочем, как и я. В вузах мы когда-то все это пролистали перед экзаменами. Маркса и Ленина я стал читать сейчас, когда сносят памятники им, тащат на свалку...

Я его видел в тот день... За несколько минут, как он выпрыгнул... Выхожу в коридор: он ходит без пиджака, открыта дверь в туалет, а там окна – настежь... Виновато как-то улыбнулся мне... Пиджак висит на дверной ручке... Мелькнуло: почему он здесь, на восьмом этаже, вроде его никто не вызывал? На восьмом этаже находился кабинет первого секретаря обкома партии, сюда или вызывали, или приглашали. Представить, чтобы кто-то просто так поднялся туда и гулял, невозможно. Никто даже из своих работников не заходил, кроме меня, его помощника, и секретаря-машинистки. Мы находились рядом, наши кабинеты. Существовал этикет, который не нарушался. Краем сознания пробежала мысль: вроде никто его не вызывал... Я забрал в приемной отпечатанные странички (как раз писал доклад первому секретарю) и вернулся к себе. Через несколько минут слышу крики в коридоре...

Недавно я где-то прочел, что раб вспоминает не только плети и цепи, которыми он был прикован к галерам, но и красоту моря, и соленый ветер в лицо... К чему это я? Это уже о другом... Или нет? О том же. В университете я думал о себе, что я независим. В армии словил



себя на мысли, что счастлив стоять в строю по стойке «смирно», и появилось желание стрелять... Это уже о другом... Это уже чувства, эмоции... А вам нужны факты...

Он пришел в тот день на работу в старом костюме... В старых ботинках... Я после думал, что он уже шел и представлял, как будет это делать... Вот эту последовательность: где, как, когда? Открыть, подняться, ступить... Кто бы мог подумать, что он окажется на это способным? Послушник по своей природе... Он нарушил все правила игры...

Заведующий отделом обкома партии – номенклатура ЦК. И вдруг он бросается с восьмого этажа, разбивается насмерть... Это все равно что идти на марше и ухитриться повеситься. Был переполох. Недоумение. Приезжали комиссии...

Я могу пересказать вам текст наших объяснительных записок, даже с сохранением стиля партийных документов, я их немало в свое время написал. Что-то вроде того, что нескольким работникам обкома партии было предложено подыскать другую работу в связи с тем реформированием партии, которое происходит в стране. В числе их был и Игнатий С. Имелись варианты: должность директора кинотеатра или начальника «Союзпечати», преподавательская работа в сельхозакадемии. И так далее. В служебной бумаге излагалась служебная правда... В ней не было наших разговоров о его растерянности, непонимания того, что совершается вокруг. Он служит партии, как он считал, верой и правдой, ни разу не ослушался, всегда находился под рукой, наготове, и вдруг она его изгоняет. Она его предаст. Иначе как предательство он это оценить не мог. Он же был такой, каким партия хотела, каким она его слепила и укротила, он стал ее атомом, ее живой клеткой. Ему нравилась эта большая, беспощадная машина. Однажды он мне признался, что мечтал быть военным, но не прошел по конкурсу в военное училище.

Как этот человек взбунтовался? Этот послушник. Я до сих пор понять не могу. Он всегда делал то, что ему прикажут...

У него была красивая жена. Бухгалтер в стройтресте. Двое сыночек. Он получил для каждого квартиру. Купил им машины. Да, это все было, и он это все умел – взять, получить, позвонить, попросить, нажать, выбить. Казенная дача... Продуктовые заказы в обкомовском буфете... Но не из-за этого со стометровой высоты – на камень! Не из-за широкопеченой колбасы и икры...

Его изгнали, его предали... Он не мог с этим примириться...

Было еще одно обстоятельство. Домашнее. Интимное. Я не уверен, что имею право приоткрывать его. Но если без имени... Инкогнито... Когда жена узнала, что он уходит из обкома, пригрозила: «Забери свою старую мать! Вези назад в деревню! Мне надоело из-под нее горшки таскать...» Мать тяжело болела... Он попросил в обкоме машину, и шофер рассказывал, как они отвозили в деревню его больную мать. Проедут десять километров:

– Стой! Поворачивай назад.

Выйдет. Покурит.

– Едем дальше.

Оставил он мать в старой, холодной хате. На чужих людей. Плакал. Просил. Это он, к кому вся деревня приезжала за справедливостью?! Это он, кто был – власть.

Человек сломался. Я думаю, он окончательно сломался там, в машине, когда он сидел в кабине, а полупарализованная мать лежала в кузове, в кабину она не вошла. Все в жизни перемешано: сырокопченая колбаса, икра, власть и смерть. Я не пытаюсь вызвать у вас сочувствие. Это наша сумасшедшая, безумная наша жизнь... По Библии человек живет не при капитализме, не при социализме, а на земле. Я должен объяснить эту жизнь своим ученикам...

Театр абсурда! Самое главное случилось потом, после него... Через несколько месяцев мы все искали другую работу. Партия, которая к моменту ее закрытия насчитывала тринадцать миллионов членов, перестала существовать в один день. Мне позвонили утром: «Обком закрывают. У нас два часа, чтобы забрать свои вещи». Взвившаяся толпа у здания обкома... Крики и оскорбления... Заставили открыть портфель... Вывернуть карманы и снять пальто... Кабинеты опечатывала комиссия: какой-то слесарь, неудачливый журналист, мать пятерых детей... Ее я запомнил по митингам, она всегда выступала и рассказывала, что живет в многосемейном бараке, с пятью маленькими детьми, требовала квартиру... В моем кабинете все перевернули, исчезли пепельница и зажигалка... К слову сказать, через год я встретил ту женщину, спросил: «Получили ли вы квартиру?» Она погрозила кулаком в сторону здания бывшего обкома партии: «И эти подлецы меня обманули!» Первый секретарь обкома сейчас – замдиректора совхоза, он хороший инженер. Второй секретарь – директор кинотеат-

ра... Я – учитель... Никто не чувствует себя палачом... Все чувствуют себя жертвами... И внизу и наверху... Всех предали... Кто? Одни говорят, что идея нас предала... Другие – что мы ее предали...

Все идет по знакомому сценарию... Вы человека не измените... И без усилий системы человек хочет исчезнуть в массе. Кажется, это слова Оруэлла. Когда человек в массе, он невидим, но он бессмертен. Социализм заставлял человека жить в истории, творить историю... Он сплывал, соединял одним действием, одним направлением движения. Великая идея подчинила хаос... Она светила с высоты, пусть недостижимая, и даже лучше, что недостижимая. Народ чувствовал себя в истории, что он совершает историческое действие, что он при чем-то великом присутствует... Подобное чувство он испытывал еще только в войну... А что вы ему дадите? Сытую жизнь? Благополучие? Они никогда не будут для нас конечной целью. Другой замес. Нам нужен трагический идеал. Был обряд – светлое будущее... И был этот трагический идеал... Вы его не растопчете. Не отберете. Он будет жить. Ну что ж, пишите. Сейчас все можно писать, и все пишут, а где литература? Где что-нибудь равное тому, что с нами происходит? Хотя бы вот одна его смерть... Эта смерть...»

---

# ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЛЕТЕЛ, КАК ПТИЦА

*Иван Машовец,  
аспирант философского факультета, .... года*

## **Из рассказа друга, аспиранта философского факультета Владимира Станюкевича**

«...Он, конечно, хотел уйти незамеченным. Был вечер. Сумерки. Но несколько студентов из соседнего общежития видели, как он прыгнул. Он открыл окно в своей комнате настежь, стал на подоконник и долго смотрел вниз. Потом повернулся спиной, очень сильно оттолкнулся и полетел... Он летел с двенадцатого этажа...

Шла мимо женщина с маленьким мальчиком. Малыш поднял вверх голову:

– Мама, посмотри: дядя, как птица, летит...

Он летел пять секунд...

Все это мне рассказал участковый милиционер, когда я вернулся в общежитие; я оказался единственным, кого в какой-то степени можно было назвать его другом. На следующий день в вечерней газете я увидел снимок: он лежал на асфальте лицом вниз... В позе летящего человека...

Конечно, я могу попробовать что-то передать... Хотя все ускользает... Мы с вами не выберемся из этого лабиринта... Это будет объяснение

отчасти, объяснение физическое, а не духовное. Существует, например, служба доверия. Человек звонит туда и делится: «Я хочу покончить жизнь самоубийством». За пятнадцать минут они его разубеждают. Они узнают причину. Но это не причина, а спусковой крючок...

За день до этого он встретил меня в коридоре:

– Зайди обязательно. Надо поговорить.

Вечером несколько раз я стучал к нему, он не открывал. Через стенку (наши комнаты рядом) я слышал: он там. Ходит. Взад-вперед. Мечтается. «Ну, – думаю, – зайду завтра». Завтра я разговаривал с милиционером.

– Что это? – Милиционер показал мне как будто знакомую папку. Я нагнул над столом:

– Это его диссертация... Вот титульный лист: «Марксизм и религия».

Все страницы были перечеркнуты. И красным карандашом – по диагонали, наотмашь: «Ерунда!! Бред!! Ложь!!» Его почерк... Я узнал...

Он все время боялся воды... Еще со студенчества я помню, что он боялся воды. Но никогда не говорил, что боится высоты...

Не получилась диссертация, ну и черт с ней! Надо признать себя пленником утопии... Из-за этого, что ли, прыгать с двенадцатого этажа? Сколько людей сегодня переписывают свои кандидатские, докторские, а сколько боятся признаться вслух, как они у них назывались. Стыдно, неудобно... Может, он решил: я сброшу и эти одежды, и эту физическую оболочку...

Логика поведения не вела к этому, а действие совершилось... Есть такое понятие, как судьба. Тебе дана программа... Ты взошел... Человек либо восходит, либо опускается... Я думаю, он верил, что есть другая жизнь... В тонком слое... Был ли он верующий? Тут начинается вопрошение... Если была у него вера, то без посредников, без культовых учреждений, без самого обряда. Но для верующего самоубийство невозможно, он не решается нарушить план Бога... Прервать нить... У атеистов пусковой механизм срабатывает проще. Он не верит в другую жизнь, не страшится. Что такое семьдесят или сто лет? Какой-то миг, песчинка. Молекула времени...

Однажды мы с ним говорили о том, что социализм не решает проблему смерти или хотя бы старости. Проходит мимо...

Я был свидетелем, как в букинистическом магазине он познакомился с каким-то сумасшедшим. Тот тоже рылся в старых книгах о марксизме, как и мы. Потом мне передал:

– Послушай, что он сказал: «Это я – нормальный, а ты – страдающий». Ты знаешь, он прав.

Я думаю, он был искренним марксистом и принимал марксизм как гуманитарную идею, для которой «мы» – гораздо больше, чем «я». Как некую единую планетарную цивилизацию в будущем... Зайдешь к нему в комнату, он лежит, обложившись книгами: Плеханов, Маркс, биографии Гитлера, Сталина, сказки Андерсена, Бунин, Библия, Коран. Все это читает сразу. В памяти остались отрывки его мыслей, но лишь отрывки. Я восстановил их уже после... Ищу смысл его смерти... Не повод, не причину... Смысл! В его словах...

– В чем разница между ученым и священником? Священник то, что не познано, через веру познает. А ученый пытается проникнуть в Нечто через факт, через знание. Знание рационально. Но возьмем, к примеру, смерть. Просто смерть. Смерть дальше мысли...

Мы, марксисты, взяли на себя роль служителей церкви. Мы сказали, что знаем ответ на вопрос: как сделать всех счастливыми? Как?! Любимая книга моего детства – «Человек-амфибия» А. Беляева. Я недавно ее перечитал. Это же ответ всем утопистам мира... Отец творит из сына человека-амфибию. Он хочет подарить ему мировой океан, осчастливить, изменив человеческую природу. Гениальный инженер... Ему мерещится, что он проник в тайну... Что он – Бог! Но он сделал сына самым несчастным среди людей... Природа не открывается человеческому разуму... Она его только заманивает...

Или вот еще несколько его монологов. Как я их запомнил...

– Феномен Гитлера еще долго будет волновать умы. Возбуждать. Все-таки как запускается механизм массового психоза? Матери на протянутых руках несли детей: «На, фюрер, возьми!!»

Мы – потребители марксизма. Кто может сказать, что он знает марксизм? Знает Ленина, Маркса? Есть ранний Маркс... И Маркс в конце жизни... Эти полутона, оттенки, вся эта цветущая сложность нам неведома. Никто приращения знаний не дает. Мы все – интерпретаторы...

Нынче мы завязли в прошлом, как раньше в будущем. Мне тоже казалось, что я это всю жизнь ненавидел, а выходит, любил. Люблю?.. Неужели можно любить эту лужу крови? Это кладбище? Из какой грязи, из какого кошмара... На какой крови все замешено... Люблю!

Предложил нашему профессору новую тему для своей диссертации: «Социализм как интеллектуальная ошибка». А он ответил:

«Бред». Мол, с таким же успехом я могу заняться расшифровкой Библии или Апокалипсиса. Что же, бред – тоже творчество... Старик растерян. Ты же знаешь: он не из долдонщиков, но то, что произошло, для него личная трагедия. Мне надо переписать диссертацию, а как ему переписать жизнь? Сейчас каждый из нас должен реабилитировать себя. В психиатрии есть такая болезнь – раздвоение-растрояние личности. Больные ею забывают свою фамилию, социальное положение, своих знакомых и даже детей, свою жизнь. Растроение личности... Это когда человек не может соединить свою личную точку зрения, официальный взгляд или государственную веру и свои сомнения, насколько верно то, что он думает, и то, что он говорит... Личность двоится, троеится... В психбольницах полно учителей истории, преподавателей вузов... Чем лучше они внушали, тем больше развращали... По меньшей мере три поколения... и еще несколько заражено... Но как таинственно все ускользает от определения... Соблазн утопии...

Как у Джека Лондона... Помнишь его рассказ о том, что жить можно и в смиренной рубашке? Надо лишь ужаться, вдавиться и привыкнуть... И даже будешь видеть сны...

Теперь я анализирую... Прослеживаю ход его мыслей... И я улавливаю, что он готовился к уходу...

Пьем чай, он неожиданно говорит:

– Я знаю свой срок...

– Ванечка, ты что! – воскликнула моя жена. – Мы тебя только женить собрались.

– Я пошутил. А вот животные никогда не кончают жизнь самоубийством. Не нарушают хода...

Назавтра после этого разговора кастелянша нашла в мусорном бачке его почти новый костюм, и паспорт лежал в кармане. Прибежала к нему. Он смутился, пробормотал что-то вроде того, что был пьян. Да в рот не брал! Паспорт оставил себе, а костюм ей подарил: «Он мне уже не нужен».

Решил сбросить эти одежды, эту физическую оболочку. Он тоньше и подробнее нас знал, что ожидает его там. Но ему нравился возраст Христа...

Можно представить, что он свихнулся. Но за несколько недель до этого я слушал его реферат... Железная логика... Блестящая защита!

Надо ли человеку знать свой срок? Я был знаком с одним человеком, который его знал. Друг моего отца. Когда он уходил на фронт, цыганка ему нагадала: пусть он не боится пуль, потому что на войне не погибнет, а умрет в пятьдесят восемь лет дома в кресле. Он прошел всю войну, лез под пули, прослыл отчаянным парнем, его посылали на самые лихие дела. Вернулся без царапины. До пятидесяти семи лет пил, курил, так как знал, что умрет в пятьдесят восемь лет, а до этого срока может все. Последний год он прожил ужасно... Он все время боялся смерти... Ждал ее... И умер в пятьдесят восемь лет дома... В кресле у телевизора...

Лучше ли человеку, когда круг очерчен? Эта граница между здесь и там? Тут начинается вопрошение...

Однажды я ему посоветовал покопаться в детских воспоминаниях, желаниях, о которых мечтал, а потом забыл. Их можно сейчас выполнить... Он никогда не говорил со мной о своем детстве. Вдруг разоткровенничался. С трех месяцев он жил в деревне с бабушкой. Когда подрос, становился на пенек и ждал маму... Мама вернулась, когда он окончил школу, с тремя братиками и сестричками – каждый ребенок от другого мужчины. Учился в университете, оставлял себе десять рублей, остальную стипендию отсылал домой. Маме...

– Я не помню, чтобы она мне что-нибудь постирала, хотя бы один носовой платок. Но летом я опять поеду в деревню: переклею обои, почию забор. И если она скажет мне ласковое слово, я буду счастлив...

У него никогда не было девушки...

...Приехал за ним из деревни его брат. Он лежал в морге... Стали искать женщину, чтобы помыла, одела. Есть такие женщины, которые этим занимаются. Она пришла пьяная. Я сам одел его...

В деревне сидел с ним ночью один. Среди стариков и старух. Брат не утаил правду, хотя я просил его не говорить ничего, хотя бы матери. Но спяну он проболтался. Два дня лил дождь. На кладбище машину с гробом тащил трактор. Старухи испуганно и усердно крестились: – Сбожеволил человек...

Поп не давал хоронить на кладбище: грех непрощаемый... А председатель сельсовета приехал на «газике» и разрешил...

Возвращались в сумерках. Мокро. Разрушенно. Пьяно. Подумалось, что праведники и мечтатели почему-то всегда выбирают такие места. Они только тут и рождаются. Всплыли в памяти наши разго-



воры о марксизме как единой планетарной цивилизации. О том, что первым социалистом был Христос. И о том, что тайна марксистской религии нам до конца непонятна, хотя и стоим по колено в крови.

Сели за стол. Мне сразу налили стакан самогона. Я выпил...

Через год мы с женой снова приехали на кладбище...

– Его там нет, – сказала жена. – Раньше мы приезжали к нему, а сейчас к памятнику. Помнишь, как он раньше улыбался на фотографии...

Значит, он уже ушел дальше. Женщина – более тонкий аппарат, чем мужчина, она это почувствовала.

Пейзаж был тот же. Мокро. Разрушенно. Пьяно. Его мать насыпала нам в дорогу яблок. Подвыпивший тракторист подвез к автобусу...»

---

# ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ ОСТАЛИСЬ ДВЕ КОМНАТЫ В БАРАКЕ, ОДНА ГРЯДКА И МЕДАЛЬ «ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ»

*Александр Порфирьевич Шарпило,  
пенсионер, 60 лет*

## **Из рассказа соседки Марии Тихоновны Исайчик**

«Ходят люди, чужие люди... Что вам надо? Горел человек на своей грядке с огурцами... Облил голову ацетоном и зажег спичкой... Под вишенкой... Лежал, голова желтая... Чужие люди, что вам надо? Всем на смерть посмотреть охота. У нас в деревне, когда я еще молодая была, жил старик, он любил смотреть, как умирали дети... Не сумасшедший, нормальный, жена и свои дети у него были, в церковь ходил. Долго жил...

Где счастливые люди живут? Обещали, что они после войны будут... Всю жизнь ждала счастья, лучшей жизни: маленькая ждала, в девках, старая. Подожди – потерпи, да подожди – потерпи. Восемьдесят лет живу, уже сорок лет одна, никого у меня на всем белом свете. Иконка в углу и песика держу, чтобы было с кем разговаривать, слова не забыть. Бог дал человеку и собаку, и кошку... И дерево, и цветы... Чтобы человек радовался, чтобы ему жизнь длинной не показалась. А мне все надоело, даже как пшеница желтеет... Наголодалась за

свою жизнь так, что больше всего любила глядеть, как хлеб сеют. Подожди – потерпи, да подожди – потерпи... Жизнь прождали... Терпел-терпел человек, да не вытерпел... Во как! Унесли на кладбище, и что осталось? Две комнаты в бараке, одна грядка, красные грамоты и медаль «Победитель социалистического соревнования». И у меня такая медалька лежит... Нас тут пять семей в этом бараке, после войны его поставили, селились молодые на год-два, а всю жизнь прожили. У каждого – две комнатки, сарайчик и грядка... Во заработали! Разбогатели! В две смены, без выходных... Молодая была, сильная. И молотила, и пахала, и косила. И лес валила, и шпалы на себе тягала. О-о-о!

Барак старый, дерево сухое... Все сгорели бы, до камня... Пожалел, подумал о соседях... Записку написал, положил на видное место: «Воспитывайте внуков. Прощайте». И пошел в огород, подальше от дома... На свою грядку... Никогда о смерти не говорил. На лавочке сидит, молчит. На поезда смотрит. Составы день и ночь стучат-стучат...

«Скорая» приехала, на носилки его кладут, он сгоряча встает, хочет сам идти.

– Ты что, Саша, сотворил? – до машины с ним шла, провожала.

– Устал жить. Сыну позвони. Пускай в больницу придет.

Он еще разговаривал. Пиджак обгоревший, черный, а плечо белое, чистое. Костюм новый надел, похоронить потом не было в чем. Купи сейчас костюм... Пять тысяч! Со сберкнижки снял, положил на стол деньги... Всю жизнь собирал, копил... На ботинки ему хватило и на венки... Во как!

Под вечер он это надумал... После ужина... Я чай попила... И слышу крик... Кто кричал? Не скажу. Подбежала, он не кричал, а тот парень, который его тушил, кричал, хватал с веревки мокрые мои тряпки (я днем постирала) и бросал на него. Чужой парень, шел мимо и видит: человек горит... Сидит на грядке, сгорбился и горит... Молчит... Так потом нам и рассказывал: «Молчит и горит».

Под утро он в больнице умер... Привезли, и тогда я увидела, что голова сожженная, и руки... Руки у него золотые! Как он еще со мной тогда разговаривал, когда его на носилках несли? До последней минуты не хотел жить... Не старался... Так потом нам и передали... Милиция приезжала... Но что я им скажу, как и вам? Тоска в человеке жила, печаль... Слышите? Поезд гудит... Московский... Брест – Москва... Мне и часов не надо... Встаю, когда варшавский крикнет, – шесть утра. А

там минский, первый московский... Утром и ночью они разными голосами кричат...

Я его утешала:

– Саша, найди хорошую женщину. Женись.

– Лизка вернется...

Я семь лет ее не видела, как она от него ушла. Билась о гроб головой:

– Это я Сашке жизнь поломала.

Хоронили без оркестра, без музыки. Одна она и плакала...

Мне страшнее огня ничего нету, я его с войны боюсь. Как горела наша деревня... Мы стоим под пулеметами, а хаты наши трещат, горят. Коты горят и куры, которых немцы не половили, кричат человеческими голосами, детскими... Мне страшнее огня ничего нету... Хожу по двору, кажется, он за спиной стоит. Оглянусь – никого. Я его еще раз спросила бы: «Ты что, Саша, сотворил?» Такую муку выбрал! Ну, может, только одно: на земле горел, так на небе не будет? Отмучился. За Бога решил. Что Бог ему там скажет? Калек по земле ползют, парализованные лежат, немые живут... Бог же их держит...

Работу любил: доску свежую, рубанок. У всех тут его стулья, полки, буфеты. Сорок лет на мебельной фабрике. Бригадиром. Ни разу отсюда не уезжал. Я вышла замуж, завербовались с мужем в Сибирь, на заработки. Комары, мошки... В чистом поле жили... Сына там родила, дифтерит хоп, и задавил. Сюда не привезла... Ни сына, ни могилки... Так и живу... Где та смерть? Хоть ты ее зови... Всю жизнь по казармам, по общежитиям, по баракам...

На свадьбе его гуляла... Когда он Лизку взял... Не бил он ее, не пил... Оставила, когда детей вырастили, сына и дочку. Плакал:

– Что я без Лизки? У детей своя жизнь. Сын днем на заводе, а вечером магнитофоны, угоги чинит. Двое детей. Надо жить. А дочка далеко...

Я ему советовала:

– Саша, найди хорошую женщину. Сопьешься.

– Стаканчик налью... Фигурное катание погляжу и спать лягу.

Пил, но не запивал, как другие, и одеколон «Гвоздика», и стеклоочиститель. Теперь бутылка водки стоит, как раньше пальто. Пейте свободу! Кушайте свободу! Развалили такую страну! Державу! При Горбачеве, при Ельцине. А я и лес валила, и шпалы на себе тягала... Вчера три часа стояла в очереди за молоком – и не хватило. Немецкую посылку с подарками принесли, а мне ее не надо. Немцы с ов-

чарками идут, а мы – в болоте, в воде... Бабы, дети... И коровы наши стоят с нами... Молчат...

Не хочу я немецкого печенья и немецких конфет! Не возьму!

Во! Так мы с ним сядем на лавочке... Он газеты почитает, мне расскажет. Развалили такую страну! Разворовали... Ходят слухи... Люди видят... Пошли в лес за грибами, а там кострище: вытягивали простыни новые, носки... Вредительство! Колбасу закапывают... Консервы... Продали такую страну! Обманули народ... А я лес валила, шпалы на себе тягала... Была и за мужика, и за коня. Покушать не всегда хватало, но красную грамоту дадут... Я гордая... Я стахановкой была и депутатом. Я думала, что когда-то буду хорошо жить. Верила. А вышло – обман... Великий обман...

О смерти он никогда, ни слова. Может, в один день решил? А я дозваться, допроситься ее не могу...

Старики раньше сидели на лавочке. Беззаботно. А сейчас на пенсию не проживешь. Кто бутылки по городу собирает. Кто возле церкви с шапкой стоит. А кто талоны продаст, купоны. Водку. У нас затоптали в винном отделе человека... Я чай без булочки попью, и ладно. В войну мечтала белого хлеба вволю поесть. И сейчас. Но я последнее со двора вынесу, отдам, только бы войны не было.

С мебельной фабрики гроб привезли, его товарищи. Красивый гроб, сосной пахло. Он любил дерево, сосну... Любил березу, липу, но сосну больше. На работу утром веселый бежит, шутит. Вернется, в дом не спешит. До огней на скамейке, как пережидает. Во дворе – люди, дети. Барак наш был веселый, дружный. Мы жили все вместе, одной семьей и в будний день, и в праздник. У тебя нет – я дам, а у меня не стало – ты принесешь. На демонстрации ходили, оденемся чисто, детям шарики красные купим...

Всю жизнь работали, строили социализм. А теперь говорят, что социализм кончился.

Поезда стучат, стучат. Чужие люди, что вам надо? Старость – печаль...

Принес он с работы большую коробку с красным бантом. Показал.

– На пенсию проводили. Торжественно. Часы подарили. На стену повешу: тик-так, тик-так...

– Отдохнешь, Саша. Нагорбатились мы. Хватит. – Говорю так и вижу, что невеселый он, нерадостный. Ой как невеселый! Утром теперь ему бежать некуда...

Два месяца посидел на лавочке. Скучный. Небритый.

Сидит и молчит. Последнюю неделю слова никому не сказал. Кота позовет. За-мо-о-олчал человек перед смертью... Только смотрел на все...

Хожу-хожу, оглянусь: кажется, он идет, за спиной стоит... Оглянусь – никого... На сорок первый день его дочка стала тут жить. Из Магадана приехала с детьми, без своего угла маялась. Старый барак, а все же свой дом. Молодая, думает, что временно. А может, как и мы, на всю жизнь...

Чужие люди, что вам надо? Не допрашивайте, не допытывайте... Одинаковой смерти нет... Слышите, как поезда стучат...»

---

## ИСТОРИЯ

### О ТОМ, ЧТО, ЕСЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ У СЕБЯ В ПОДУШКЕ КУСОК ГАЛСТУКА И КУРИНЫЕ КОСТИ, ГАЛСТУК НУЖНО ПОВЕСИТЬ НА КРЕСТЕ ПРИ ДОРОГЕ, А КОСТИ ОТДАТЬ ЧЕРНОЙ СОБАКЕ

*Тамара Суховой,  
официантка, 29 лет*

«...Маленькая, я пришла со школы, легла, а утром не поднялась с кровати. Повезли к врачу – нету диагноза. Тогда кинулись бабок искать, знахарку. Дали нам адрес, полетели по тому адресу. Бабка кинула на карты и говорит матери:

– Придете домой, распорите подушку, на которой дочка лежит, там найдете кусок галстука и куриные кости. Галстук повесьте на кресте при дороге, а кости отдайте черной собаке. Дочка встанет и пойдет. Свекруха заколдовала.

Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела, и травилась, и вешалась...

Я сама из деревни, приехала в город, всех боялась. Но все едут в город – и я. Старшая сестра тут жила, она меня забрала:

– Поступишь в училище, станешь официанткой. Ты красивая, Томка. Найдешь себе мужа военного. Летчика!

Первый муж у меня был хромой, маленький. Подруги отговаривали:

– Зачем он тебе? Он больной, скоро умрет. За тобой такие парни ухаживают!

А я с детства любила фильмы про войну, где женщины ждут своих мужей с фронта, хотя бы какой вернулся – без ног, без рук, но живой. К нам в деревню одного привезли без обеих ног, так жена его по двору на руках носила. А он пил, безобразничал. Повалится, она его подберет, в корытце помоем и посадит на чистую постель...

Я не понимала, что такое любовь, я и сейчас не знаю, что это, я его пожалела, приласкала. Мы прижили с ним троих детей, и он стал пить, гонялся за мной с молотком...

Уже вторым ребенком была беременна, когда из деревни пришла телеграмма: «Приезжай на похороны. Мать». Цыганка перед этим мне на вокзале гадала:

– Ждет тебя дальняя дорога. Похоронишь отца и будешь долго плакать.

Не поверила. Отец был здоровый, спокойный. Мать пьянствовала, с утра лежит, а он и корову подоит, и картошки наварит, все сам. Он сильно ее любил, она его приворожила, что-то она знала, какое-то зелье.

Сию у гроба, плачу, соседская девочка мне шепчет:

– Тетя Тома, баба деда чугуном убила, а мне сказала, чтобы я молчала, она купит килограмм шоколадных конфет.

Мне стало страшно, и, когда в хате никого не осталось, все ушли, раздела отца и искала на нем синяки. Синяков не было, только на голове – большая ссадина. Показала матери, она сказала, что это он дрова колот и палка отлетела, ударила. Сию возле него всю ночь и чувствую, что он хочет мне что-то рассказать... А мать не отходит от нас, трезвая сидит. Она нас одних не оставляла, пока мы его не закопали.

Родная мать, она меня родила... Продала она дом, сарай сожгла, чтобы страховку получить, и прикатила ко мне в город. Тут нашла себе другого, и он сына с невесткой прогнал, а ей квартиру отписал. Она их привороживала, она что-то знала, какое-то зелье. А мой за мной с молотком гонялся, пока голову два раза не проломил...

Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела...

Прихожу на работу побитая, утлаканная, а надо улыбаться, кланяться. Директор ресторана позвал в кабинет:

– Мне тут твоих слез не надо. У самого жена парализованная дома второй год лежит. – И лезет ко мне под юбку...



Мать с отчимом два года не прожила. Звонок:

– Тамара, умер Григорьевич. Приходи, помоги хоронить. Повезем в крематорий.

Мне стало так страшно, что я потеряла сознание.

Очнулась, надо идти. А в голове мысль стучит: вдруг это она его убила, чтобы одной в его квартире остаться, пить, гулять? А?! Она убила и хочет скорее отвезти в крематорий, сжечь? Пока его дети соберутся и старший сын, майор, из Германии приедет, жменька золы останется, сто грамм в белой вазочке. От всех этих потрясений у меня прекратились месячные, два года ничего не было. Когда они снова начались, я просила врачей:

– Вырежьте мне все женское, сделайте операцию. Я не хочу быть женщиной! И любовницей, и женой, и матерью!

Родная мать, она меня родила... Я хотела ее любить... У нее молодой косы были длинные, черные... Красивая...

Как она умирала, как она не хотела умирать... Ей было пятьдесят девять лет: удалили одну грудь, через полтора месяца – другую, а она завела себе молодого любовника. Вызвала нас с сестрой:

– Везите к знахарке... Спасайте!

Она не верила этим бабкам, никому не верила, как нам ее спасти? А ей хуже и хуже, молодой за ней ухаживает, из-под нее выносит, моет. Она не думала умирать.

– Но если, – говорит, – умру, все оставлю ему. И квартиру, и телевизор.

Сестра пригрозила:

– Убью, если ему оставишь. Убью!!

Я их мирила, плакала. Молодая мама была красивая...

Повезли мы с сестрой ее к бабке, на руках из машины вынесли. Бабка помолилась, открыла карты.

– Да? – спрашивает и поднимается из-за стола. – Увозите! Я ее лечить не буду...

Мать нам крикнула:

– Ступайте, я хочу одна остаться!

А бабка нас не пустила из хаты, на карты смотрит и пересказывает:

– Я ее лечить не буду, потому что она не одного в землю положила. А недавно, когда еще на ногах была, ходила, в церкви две свечи надломил... Твою и твою... – Показывает на нас с сестрой.

Мать:

– За здравие детей своих...

Бабка:

– За упокой ты их поставила. Смерти детям просила. Думала, что если их Богу отдашь, то сама останешься. В заклад.

После этого я боялась сидеть с матерью одна в квартире. Взяла с собой свою старшую девочку, а мать бесило, когда та просила есть: она умирает, а кто-то ест, кто-то будет жить. Порезала ножницами новое покрывало на кровати, скатерть со стола, чтобы никому не досталось, когда ее не будет. Я водила ее в туалет, выносила, мыла. Она не стеснялась, она на пол, в постель... чтобы я убирала. Не хотела умирать... Мстила...

Открыли окно... На первом этаже... Сирень пахнет... Она дышит-дышит ею, не надышится...

– Принеси, – попросила, – веточку.

Я принесла. Она взяла ее в руки, а та в одну минуту засохла, листья скрутились.

Тогда она ко мне:

– Дай за твою руку подержаться...

А меня та бабка предупредила, что человек, который творил зло, долго умирает, мучительно. Надо или потолок разбирать, или все окна в доме вынуть, по-другому душа его не уйдет, из тела не поднимется. А руку давать нельзя – болезнь перекинется.

– Зачем тебе моя рука?

Она молчит. Притаится.

Она до конца мне не показывала, где ее одежды лежат, в которых хоронить. Деньги. Я боялась, что ночью она нас с дочкой задушит подушками. Глаза прикрою, а сама подглядываю: как это душа из нее вылетит? Какая она? Куда поднимется?

День лежит, два, перестала разговаривать. Я побежала в магазин, попросила соседку посидеть с ней, посторожить. Та взяла ее за руку, и тогда она умерла... В последнюю минуту что-то крикнула, непонятное...

Я сама ее мыла, одевала. Пришли ее подруги, уворовали телефон, новые тарелки. Приехала моя средняя сестра из деревни. Мать лежит... Она ей, мертвой, глаза открывала...

– Зачем ты мать мертвую трогаешь?

- А помнишь, как она в детстве над нами издевалась? Я ее ненавижу.
- У нее волосы были длинные, черные...
- Дура! Ты все по звездам прыгаешь.

В детстве я видела сны, что по звездам прыгаю. С одной звезды на другую, как по камням в реке.

Делить вещи начали еще ночью, еще не похоронили, гроб не унесли. Старшая сестра плакала, а средняя паковала телевизор, швейную машинку, золотые сережки с мертвой сняла. Назавтра кремировали и отвезли урну в деревню, положили мать рядом с нашим отцом. Есть тот свет или нет? Где-то же они встретятся...

Старшая сестра вышла второй раз замуж и уехала в Казахстан. Я ее любила, я как чувствовала, мое сердце подсказывало:

– Не выходи за него замуж. – Почему-то второй ее муж мне не понравился.

– Он хороший, я его жалею.

Мы с ней на похоронах матери разговаривали. Сидели. И он с ней по-хорошему, ласково, я даже позавидовала. Через десять дней получаю телеграмму: «Тетья Тома, приезжайте. Умерла мама. Аня». Это девочка ее, одиннадцать лет, нам телеграмму прислала.

Он ее убил, он ее ногами, руками убил и изнасиловал мертвую. На работе сказал, что жена умерла, ему дали тысячу рублей, он их отдал дочке, а сам явился в милицию с повинной. Девочка сейчас у меня живет, учиться не хочет, она напуганная, и у нее что-то с головой: ничего не запоминает.

Ему присудили – десять лет. Он еще к дочке вернется...

...С первым мужем я развелась и думала, что никогда больше замуж не выйду. Я стала бояться мужчин... Когда сестру убил... Меня шутя кто-то обнимет, я вырываюсь. Кричу. Как я второй раз вышла замуж, сама не пойму. Он вернулся из армии контуженный, раненый. Десантура... Тельняшку не снимает... На Кавказе воевал, только не разобралась, с кем, там же все свои люди живут. Советские. Кто в него стрелял? В кого он стрелял? На минах подрывались... Со своей матерью он в соседнем подъезде жил... Выйдет вечером во двор с гармошкой, играет. Всегда что-нибудь жалобное.

Пришел ко мне. Стали мы жить. Поздоровуюсь с кем из соседей, постою во дворе.

– Ну что, уже договорились?

– Саша, ты что?

– Я тебя, сучку, знаю. Жалостливая! Все вы...

Выпьет, тогда ласковый, мягкий. Трезвый скрипит зубами, ему надо или ударить, или обидеть, чтобы кто-нибудь плакал, кричал. Тогда ему хорошо. Детей бьет, самый маленький его любит, лезет к нему, а он его подушкой. Так тот теперь, когда он заходит в дом, бежит скоренько в свою кровать и – спать, глаза закрывает, чтобы не били, или все подушки под диван прячет.

Выпьет, и один рассказ: как ехали на бэтээрах... Первая машина взорвалась... А он ехал на второй... Я его раньше слушала и плакала, а теперь... Гармонику его ножом проткнула, слышать не могу... Он наутро проснулся: кто? Я ему сочинила, что он сам, по пьянке... Не поверил – бутылкой из-под пива меня по голове...

Ночью лежу, он храпит. Думаю: он меня все равно убьет, лучше я сама себя убью. Днем одолжила у соседки уксусную эссенцию, огурцы на зиму закатывала, встала, открыла эту бутылку и выпила... Он проснулся. Я по полу ползаю, из меня дым идет... Дети закричали. Вызвали «скорую»...

Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела... Мне умирать не страшно... Навещал вчера в больнице, пьяный:

– Я ковер продал... Дети голодные...

Мой ковер! Я год на него деньги копила, по десяточке откладывала. В очереди за ним стояла. А он за три дня пропил... Девчата с моей работы прибегали:

– Ты смотри, Тома, чтобы он там пьяный детей не позадушивал, они плачут. А эту старшенькую, одиннадцать лет, от сестры, сама знаешь...

Если я вернусь домой, и он не принесет назад ковер... С голубыми цветами, как звездочками... Два на три... Он пришел ко мне с полотенцем и ложкой... В одной тельняшке... Раненый, контуженный... Я хотела его на руках носить... Как в кино... Если я вернусь, и он не принесет назад ковер...

Я никогда не думала, что могу человека убить...»

---

# История

## СТАЛИНСКОЙ ДЕВОЧКИ, ПРИ КОТОРОЙ БОЯЛИСЬ РАССКАЗЫВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ, И О ТОМ, КАК В ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ОНА ПЕРЕСТАЛА ВЕРИТЬ В КОММУНИЗМ В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ

*Наталья Пашкевич,  
преподаватель, 55 лет*

«Два года я носила с собой яд.. И мой муж.. В любой момент.. Мы условились: если нас загонят в тупик – жить не будем. Сломленными, униженными мы жить не будем. Подруга работает в аптеке... Я долго ее просила... Я не признавалась, зачем, для какой цели.. Она достала нам мышьяк..

Мне кажется, будто я прожила несколько жизней, по меньшей мере – три, и я – это три разных человека: первый, второй... Третий – это я сейчас. Совершенно разные люди, с одним именем, с одной биографией, но они бы друг друга не узнали, не поняли, больше того, они ненавидели бы один другого. О ком рассказывать, когда я как большая матрешка: вытащишь одну – ищи в ней другую.

Судим сегодня друг друга, торопимся: этот был правозерный коммунист, как он мог положить партбилет? А этот – стать верующим, ходить в церковь? Выбросить в мусоропровод собрание сочинений Ленина – обманул (встречала и таких)... Молится новым богам... Да, может! Я в это верю... Я это знаю... В другой раз кажется, что я про-

жила не свою, а чью-то жизнь... На художественной выставке как-то, иду – картина: сирень, скамейка и женщина в длинном платье... Стою и не могу отойти...

Была девочка... Девочка из далекого Петропавловска-на-Камчатке, теперь – большой город, а тогда – разбросанные военные поселки с одной русской школой в центре. Она любила книги Николая Островского и Жюль Верна. Мечтала жить в семнадцатом году, чтобы участвовать в революции, видеть живого Ленина, или в двадцать первом – двадцать втором веке, когда звездные корабли полетят к далеким мирам. Как и другие мальчишки и девочки. Мы все тогда были одинаковые, я могу сказать, что, пока жил Сталин, мы все были одинаковые. Мой шестнадцатилетний племянник недавно мне сказал:

– Надоел ваш Сталин! Об Иване Грозном читать буду, а о Сталине не хочу.

Скоро интерес к нему останется только у нас, у сталинского поколения. Жертва и палач взаимно обречены, как сиамские близнецы. Требуется хирургическое вмешательство... Чтобы отделить мою девочку от того мартовского дня, когда она вернулась из школы и увидела плачущих родителей: «Сталин умер!» (Да-да, опять и опять Сталин, о котором вы слышать уже не можете, а вынь его из нашей жизни – ничего не останется, никакого смысла, даже страшного.) На улице пурга, мороз (в такие дни обычно детей отпускали, закрывали школу), но она ставит в угол портфель и поворачивает назад, не пообедав. Как это хлебать суп, когда он умер!! Он!! Всю дорогу плачет – семь километров, уже два раза в этот день исхоженных. Никто не знал, никто не приказывал, все до единого ученика и учителя вернулись в школу. Люди шли туда, где они работали, в библиотеки, клубы, чтобы быть вместе. Цепочкой брели назад, держась за веревку, – в пургу собьешься со следа, потеряешься и замерзнешь. И на следующий день она запомнит длинные черные ленты людей на чистом снегу... И траурную музыку... И, как сигнал из космоса (так это далеко), голос московского диктора: «Говорит Москва! Говорит Москва!..»

Потом эта девочка поступит на философский факультет Ленинградского университета, в те времена самый вольнолюбивый. Но при ней будут бояться рассказывать политические анекдоты: однажды она заявит, что пойдет и донесет, так как смеяться над нашими недостатками могут только враги...

Слепая, почти безвинная готовность пойти, донести. Это было... Со мной было... Я боялась этой девочки... Я сама до сих пор боюсь этой сталинской девочки... Люди веры... Они и вправду слепы... Как влюбленные... Интеллектуалы и малограмотные... У моей бабушки вместо иконы висел в рамке портрет Ленина, и у отца, военного инженера, на столе стоял бюст Ленина... Разбирайтесь, судите их... Нас... Всех... Мистика! Повседневная мистика нашей жизни...

«Да, – спросите вы, – но кто-то же рассказывал политические анекдоты? Кто-то вообще плевал на все?» Всегда есть люди (их больше), живущие в стороне, и, конечно, их тоже затягивает общий поток, но не с той силой. И есть деятельные, сильные натуры, они страстно, беззаветно бросаются в самую глубь – новой веры, новой идеи. Лучшие! Эта девочка была из них, из лучших. Вы никогда не думали о том, что идея сожрала, растлила и изуродовала лучших? Вам открылось, вы увидели ее кровавое лицо, а мы смотрели, любили другое – трогательное, поэтическое... Какое мучительное освобождение... Пытка... Плечом к плечу, нас сплотили, сбили – мы не могли разлепиться. Монолит, блок! Боже мой! Ты там не в силах вырваться, как бабочка в цементе... Ты не можешь себя оторвать. Кто ты? Ты только монолит, без «я», со всеми. Когда я это осознала? В пятьдесят лет... В сумасшедшем доме... О! Это безумная история, советский детектив...

Но был еще XX съезд... Доклад Хрущева... Отец купил утром газету и закрылся с ней в своей комнате... через сутки вышел:

– Ленин осудил бы то, что произошло после его смерти. Если бы он не умер...

Через какое-то время, месяц-два прошло, застрелился сосед. Позавтракал, побрился... Старый чекист, его в нашем доме боялись... Все гадали: чего же испугался он сам? После я узнала, что тогда по стране прокатилась волна самоубийств бывших энкэвэдэшников, тех, кто струсил или судил себя сам...

Я забыла сказать, что родители мои уже жили в Ленинграде, я оканчивала университет... Это уже совершенно другое время, и мы другие. Мы пели песни Окуджавы, читали самиздат, захлебывались стихами Евтушенко, Вознесенского, Беллы Ахмадулиной... Поэты выступали на стадионах... Там, где сегодня – Кашпировский, Глоба; колдуны, хироманты и предсказатели заняли место поэтов. Я увлеклась

биографиями вождей, письмами, мемуарами, воспоминаниями. Меня волновала их жизнь. Дзержинский, Луначарский, Бухарин... Помню письма Дзержинского из тюрьмы, светлые, юношеские: как он отдал больному товарищу единственный свитер (эти детали тогда гипнотизировали, пронизывали). Отдать последнее, пожертвовать! Больной Ленин отправил в детский приют масло, присланное ему крестьянами... Голодный обморок Цюрупы, комиссара по продовольствию... Вот оно великое, чистое, оно же было, надо его только очистить, вернуться к истокам... К началу... А там все прекрасно, высоко. Это было второе наше рождение! Счастье от того, что мы снова что-то преодолели, победили. Как после исповеди, почти, сказала бы я сейчас, церковное чувство... Потом появились пьесы Михаила Шатрова о революции, их запрещали, за них воевали, о них спорили... *(Закуривает.)* Бросаю курить, сигареты от себя прячу... А за ночь сегодня – полпачки... Не могла дожидаться утра, когда вы придете... Мне важно самой в себе разобраться, накренилось что-то в душе, не восстанавливается. Беспощадное чувство поражения... И даже не обмана, а самообмана... Так о чем мы?

Дети апрельской оттепели! Наша смелость уже не смелость, наши истины уже не истины. Как мы были наивны! Ленин хороший, а Сталин плохой... Построим «коммунизм с человеческим лицом»... Сама идея не подвергалась сомнениям, она казалась незыблемой, вечной, как небосвод. Мы – авангард... Огромная пылающая домна... И каждый из нас – частица этой горящей, кипящей лавы... Сидеть дома в роскошной квартире?! Никогда! Счастливое самоотречение, одержимость... Отдать свою жизнь ради чего-то великопного, не личного, а общего. Ради всех! Уехала из Ленинграда под возгласы друзей:

– Дура, пожалеешь... Другие всеми правдами и неправдами, вплоть до фиктивных браков, распределились в Ленинград, а ты – куда?

В Минск, «самый социалистический город», как окрестил его мой профессор. Отнесла в жэк ключи от ленинградской квартиры (умер отец, через месяц похоронила мать, – она жила жизнью отца, без него ей этот мир был непонятен и не нужен). Я нравилась себе! Потребность жертвовать... Поклоняться... У нас это в крови... Надо быть Зигмундом Фрейдом, чтобы найти отражение... То ли это от любви нашей к рабству или к смерти, как высшему смыслу? К бедности, к аскезе...



О природе наших идеалов мы размышляем мало, а она нам до конца не ясна... Что там на глубине подсознания? Тютчев сказал: «Умом Россию не понять...», она за пределами разума, сознания... В других границах... До сих пор никто не может объяснить, что это со всеми случилось в семнадцатом году? Переворот? Вспышка массового бандитизма? Коллективное умопомешательство? Но ведь в то время многие люди (интеллигенция!) переживали это как счастье... Праздник! У нас в подсознании живет коммунизм... Нам ближе романтическое, героическое и скучно там, где реальность, прагматизм. Что делает любимый герой русских сказок Иванушка-дурачок? Мастерит, строит? Ничего подобного. Сидит на печи и ждет чуда: золотой рыбки, которая исполнит все его желания, или царевны прекрасной, чтобы на ней жениться... Мы все ждем чуда или справедливого царя... И сейчас...

Наш старый дом горит... Одни – холодные, спокойные свидетели, смотрят, как костер пожирает знакомое, привычное, но уже отлюбленное или никогда не любимое, ненавистную казарму; другие, любившие, гордившиеся своим домом, бросаются в огонь, в пламя и вытаскивают, что успевают ухватить, подобрать. На пепле каждый создает свой образ и будет доказывать, что дом таким и был. Мы все сжигаем раньше, чем поймем, поэтому всегда имеем дело с мифами и легендами, а не с реальностью.

Я думаю, что коммунизм и фашизм заложены в природе человеческой. Два искушения, они от человека никогда не отступят. Вглядитесь в себя бесстрастно и хладнокровно: вы и вправду рады, что вы, например, бедны, а кто-то богат? Чужое несчастье, чужая боль или смерть не приносит ли вам удовлетворения или хотя бы запрятанной радости: это не со мной! Человек – бездна и небо одновременно...

Я пытаюсь сегодня говорить об этом со своими студентами. Но они молчат...

В Минске я вышла замуж, я полюбила. Мой муж был ученый, экономист. Был... Он умер в сорок пять лет, у меня на руках... Мы жили в однокомнатной старой «хрущовке», негде спрятаться, закричать, поплакать. Я закрывалась в ванной и, чтобы не орать, чтобы у меня не остановилось сердце раньше, чем у него, раскачивалась изо всей си-

лы и билась головой о стенку или разбивала себе руки о ребра батареи. Голова закружится, кровь на руке, становится легче, выхожу, улыбаюсь, отвлекаю его. Когда он был здоров и нас унижали, преследовали, у него вырвалось:

– Хочу умереть!

Когда заболел, умирал, я слышала:

– Хочу жить!

В последние дни он больше всего хотел жить... До его болезни мы говорили о смерти, после стали обходить эту тему.

– Выбрось яд, – попросил он за день до смерти. – Поверь: глупо все. Глупо лежать в земле...

У него было два инфаркта...

Деревенский парень, из полесской глубинки... Детство – война, ему семь лет. Мать хлеб партизанам пекла, могли расстрелять и хату сжечь. А за ним всю жизнь как клеймо: жил на оккупированной территории, под немцами. В университет не допустили... Поступил в нархоз, окончил с отличием. На работу не берут, везде попадал под графу: был в оккупации. После страшной кровавой победы еще десятки лет воевали с собственным народом: с теми, кто вернулся из плена, кого насильно вывезли в Германию, кто не погиб в концлагере, не сгорел в крематории... Боже мой! А я преподавала марксистско-ленинскую философию в институте... Партия – это совесть, честь... И сомнения в голову не приходили... Каждая несправедливость виделась частным случаем, где был конкретный виновник. Скажи мне кто-нибудь в то время о вине идеи, об ответственности идеи? Сумасшедший! Я уже не побежала бы доносить, но назвала бы его сумасшедшим, предателем. Какое бы зло ни вершилось на моих глазах, я искала виновника: это он или он... А то, что он часть идеи, атом злой идеи, молекула и в других обстоятельствах был бы другим человеком, мы не понимали, никто. Вот откуда теперь не только у меня, а у многих чувство, что мы прожили не свою, а чью-то жизнь. Могли быть другими людьми, другой страной... Если бы не эта идея... Я людей не виню (даже своих недавних палачей), я виню идею... Мне доказывают, что идея рождается в человеческой голове. Но я все равно ненавижу идею, а людей, их поведение могу себе объяснить. Что может выбрать солдат в строю? Ничего. Шагай в ногу!

Мой муж был талантливый человек. Он все-таки защитил канди-

датскую, написал докторскую. Тут ему посоветовали: хочешь стать профессором, поставь рядом со своей фамилией еще одну... Тогда все секретари райкомов, обкомов писали и защищали ученые степени. Было модно: секретарь райкома – кандидат экономических наук... Раз намекнули, второй... Нет! Ну, раз нет, то ты докторскую не защитишь. Шагай в ногу! Не печатали, не давали читать лекции... Протаскивает буржуазные взгляды, антисоветчик... Экономика никогда не была у нас наукой, всегда – политика, вот и живем так, что трусов и носков не хватает, а хлеб, живя на черноземе, который немцы в войну отправляли домой в посылках, за золото покупаем. Муж уже был больной, мы с ним гуляем по парку, там фонтан и большая цветочная клумба... из красных, белых, желтых бегоний слова: «Наша цель – коммунизм»... Даже цветы не росли просто так... Для красоты, для радости...

Когда мужа не стало, я дала клятву, что пусть после смерти, но верну ему доброе имя, опубликую его статьи. Я еще верила: надо ехать в Москву, написать в ЦК партии. Там разберутся... Придут другие, умные люди...

Нет! Шагай в ногу!

...Это невозможно передать, это чувство, это унижение. Когда вам делают рентгеноскопию черепа под предлогом проверки гайморовых пазух...

– Странно, но я у вас ничего не нахожу, – говорит врач.

– А что вы должны найти? – наивно спрашиваю я.

Кладут в больницу:

– Надо поддержать ваше сердце.

Больные случайно подслушали и передали мне разговор медсестер:

– После обеда Пашкевич поведет к психиатру. Ради нее вызвали.

Закрадывается подозрение, чувствую что-то неладное. Быстро одеваюсь и пытаюсь бежать. Но на выходе уже караулят, пригрозили, что вызовут милицию и отвезут в психлечебницу. Под конвоем возвращаюсь в палату. Тут понимаю: меня заманили в ловушку...

Ночью все-таки бегу. В палате никто из больных не выдал, шепотом допытывались:

– Это правда, что вы пишете жалобы в ЦК КПСС? Говорят, что вы шизофреничка...

Дома проштудировала Уголовный кодекс: принудительная психиатрическая экспертиза на предмет «душевного заболевания» уголовно наказуема. Но это в стране, где правит закон. Я живу в другой... Что делать?! Бежать в Москву, идти в ЦК! Подкрался страх... Боялась, до животного ужаса боялась, что меня насильно схватят и увезут в психлечебницу. Несколько дней до отъезда страшно вспомнить: на звонки ни в дверь, ни по телефону не отвечаю, окна зашторены, заперлась на все замки, верхний свет не включаю, бра прикрыто тряпками... Радио, телевизор молчат... Был момент... Достала яд... Единственный выход – покончить с собой, и физический страх, что не выдержу – уйду сама... Спасение... Искус... Рядом, протяни руку...

Что человек испытывает после убийства? Перед этим сидела у зеркала... Зачем-то запоминала... После боялась зеркала, боялась посмотреть себе в глаза... Если бы в ту ночь не ночевала у меня подруга... *(Молчит.)* Больше не хочу об этом... Глупо лежать в земле... *(Молчит.)* Вы не знаете, какое счастье после этого... обыкновенный кусок хлеба и сыра... Утренний запах кофе...

Жребий брошен... Тайно, с предосторожностями друзья проводили меня в Москву. Прямо с поезда – в приемную ЦК КПСС: помогите устроиться в психиатрическую больницу на обследование, у меня должна быть на руках справка, что я психически нормальна, или дома меня объявят сумасшедшей. Никто не защитит! Признались, что есть у них уже такой опыт, но женщина обратилась впервые. Через несколько дней получаю направление в пятнадцатую Московскую психиатрическую больницу...

Там меня встретили словами:

- Какое отношение вы имеете к нам? Это-то сразу видно.
- Мне поставили диагноз: истерическая психопатия.
- У вас что, в Минске нет грамотных специалистов?
- Нет, доктор... Тут другой случай...

Вечер. Ищу, как включить свет. Не нахожу. Выглядываю в коридор. Идет медсестра:

- Почему в палате нет выключателя? Где свет?
- Вы забыли, куда попали? Свет здесь включаю я. Ждите. – И внимательно изучающий взгляд, точно такой же, когда я просила позвонить.

Нет, тут нельзя быть нормальным, задавать нормальные вопросы, те же правила игры, как и там, откуда я пришла. Приказала себе: притворишься, исчезни, замри, иначе никогда отсюда не выберешься...

Назавтра повели к психологу. Ряд тестов, на запоминание. Слова: стул, игла, мед, хлеб, окно... Из десяти слов два не запомнила. Надо признаться, что во мне в эти дни просыпался ужас и детство одновременно: с одной стороны – а вдруг что-нибудь не смогу, не получится, с другой – чувство детской игры, в которую играют странные взрослые. Потом задание – разложить картинки по общим признакам на три группы. Слава Богу, справилась. Еще одно – нарисовать: веселый праздник, тяжелую работу, смелый поступок, болезнь, справедливость, счастье, отчаяние... А я рисовать не умею... Но пробую: веселый праздник – шарики летят по воздуху, тяжелая работа – лопата... Получилось все, кроме отчаяния. Я не знала, как передать отчаяние... Мое отчаяние...

На следующий день – опять у психолога. Надо ответить на триста вопросов. Триста! Потратила полтора часа, а рассчитано на два с половиной. Испытала искреннюю радость. Еще бы! Передо мной неотвратно обозначилось, как хрупка грань между нормой и не нормой. Ее не уловить. Теперь машина должна все расшифровать, выдать заключение. Улыбнулась грустно сама себе: интересно, кто же все-таки более бесстрастен – машина, которую придумали люди, или сами люди? Всю ночь во сне отвечала кому-то еще раз на эти вопросы: «Бойтесь ли вы заразиться заразной болезнью?» – «Боюсь! Боюсь!» Видела себя со стороны – в казенной одежде... Бежала и бежала по безлюдному шоссе... Проснулась и не сразу сообразила: где я? Потом вспомнила – в сумасшедшем доме. На форточках – решетки. Постоянно кто-нибудь плачет, по-животному. Повышенная сексуальность. Девочки-подростки пострижены наголо. И мат, мат – в палате, туалете, столовой. Кажется, Грибоедов первым осознал, что ждет у нас тех, кто возмечтал взлететь? Часами просиживала у телевизора (спасалась!) и ничего в том мире не узнавала... Впервые со сцены я перешла в зрительный зал, отделилась...

Нас одели в одинаковые синие фуфайки и вывели на прогулку. Пытаюсь смотреть только на деревья, не замечать тех, кто рядом, только пейзаж. Но боковым зрением помимо своей воли фиксирую: к приемному покою подъехала «скорая помощь», из нее вышел нормальной походкой нормальный мужчина лет за сорок, скорее по виду деревенский, чем городской, с авоськой, из нее торчит батон. К нему подскочили двое санитаров... Он бросает авоську и делает по-

пытку бежать, но ему быстро заламывают руки, волокут к двери. Я до сих пор слышу, у меня в ушах стоит, как он кричит, оглядывается на нас и кричит:

– Помогите! Товарищи! Это злодейство!

Что это совершенно нормальный человек, могу и сейчас поклясться. Слово «злодейство» придет на ум не каждому, что-то далекое, чистое, народное. Наверное, один из тех, кто приехал в столицу за правдой. Растоптанный батон валяется в траве и разбитая бутылка кефира...

А как я в Минске бежала ночью из больницы?

Утром повели на биотоки мозга. Лучше бы не заглядывать в этот день в мою черепную коробку! Из головы не выходит тот мужчина, как он кричал, оглядывался... Не верил... Растоптанный батон... Разлитая бутылка кефира...

Но впереди еще много дней, не одно испытание. Месяц молчит Минск, не отвечает на московский запрос и не присылает документов о моей «болезни». Позвонят из института, где я работаю: она – сумасшедшая? Как может читать лекции по марксизму сумасшедшая?

Иногда я была уверена, что сошла с ума... Терялась, исчезала граница между нормальным и ненормальным, между реальностью и чудовищным ее подобием...

В одно из воскресений – день выборов в Верховный Совет СССР. После завтрака нас построили в колонну: впереди завотделением со списком, позади, по бокам – медсестры, санитарки, няни. Голосуют сумасшедшие! Шагаем строем... Девочка из соседней палаты заглядывает себе в трусики... Кому-то не хватило за завтраком каши, ругается матом... У моей соседки рука почему-то все время в заднем проходе (вчера и сегодня не работал душ, нет воды). Она гримасничает, что-то хочет сказать, не получается, мычит. Я не могу поймать ее остановившийся взгляд, ничей взгляд не могу поймать. Они все смотрят куда-то мимо... А у врачей серьезные, ответственные лица. Неужели они не понимают, в каком театре абсурда мы все участвуем? Может быть, мы все сумасшедшие?!

Избирательный участок в соседнем корпусе. Зашли. Нам выдали бюллетени. Кабин для голосования нет. Берем листки и тут же их сдаем, не читая. Остановиться нельзя, идём строем. Шагай в ногу! Только одна молодая женщина с красивым лицом не отдает листок,

выскочила из шеренги... Нарушила движение строя... За ней гонятся, она убегает, запихивает листок в рот и жует, давится. Я ее знаю, она из соседней палаты, у нее мания преследования, все прячет, даже использованную бумагу из туалета приносит в палату и складывает в сумку. Чтобы не оставить никаких следов... Говорили, что она работала на телевидении. Мы спускаемся по одной лестнице, по другой поднимается новая группа... Те же остановившиеся глаза и застывший в них испуг... Изумление... Сплошная вереница, непрерывный поток... Остановиться нельзя... Шагай в ногу! Может быть, мы все сумасшедшие?! Страна сумасшедших... Гигантская палата номер шесть...

Через пятьдесят два дня я выйду оттуда совсем другим человеком... Из болезней у меня найдут только остеохондроз... Но там я насовсем рассталась со своим прошлым... Взрыв внутри меня... Жуткая боль... Я могла бы прожить другую жизнь... Прошлое умерло... Если вы пробовали умереть, уже нельзя вернуться...

И сейчас просыпаюсь утром: где я? Потом вспоминаю...»

---

# ИСТОРИЯ ДРУГОЙ ДЕВОЧКИ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ЕЕ КТО-ТО ЛЮБИЛ, НУ ХОТЯ БЫ МАМА

*Инга С,  
студентка пятого курса мединститута, 25 лет*

## **Из рассказа близкой подруги**

«У меня было чувство, что даже в гробу лежала не она. Когда умер мой папа, мы еще год чувствовали, что он тоскует без нас. А тут я сразу поняла, что она ушла навсегда и не тоскует, не возвращается. Мы не нашли ее фотографий, ее документов, никаких ее вещей. Даже паспорта... Она все уничтожила, выбросила. Как будто ее никогда не было, она как бы случайно залетела в этот мир, открыла не ту дверь...

Мы с ней дружили с пятого класса, в музыкальную школу вместе ходили. Обычно пешком, тут нам рядом, она говорит, а я слушаю. И то, что она в ту минуту переживает, о чем задумывается, ко мне приходит намного позже. У меня затянулось детство, может, потому, что я часто болела, меня все жалели. Да, я во всем долго опаздывала. Удивительно! В восьмом классе в нее влюбился самый красивый в нашей школе мальчик. А за мной еще никто не ухаживал. Однажды на уроке она вытащила из своего портфеля банку варенья из лепестков розы с запиской: «Хотел принести тебе миллион роз...» От смеха банка выпала у нее из рук, и она сидела вся в розовом варенье... Теперь этот мальчик – мой муж. Удивительно! Он ее любит... До сих пор...



У нее был маленький брат, она его пеленала, катала в коляске, ей это очень нравилось.

– Ты знаешь, – говорила она, – я его так люблю! Когда смотрят на нас, то думают, что я его мама.

Она всегда себе что-то придумывала, какую-нибудь необычную роль.

У нее была бабушка, они очень дружили. Когда бабушка умерла, она долго плакала, тосковала. Прошло уже несколько недель, я позвала ее в кино, чтобы отвлечь.

– Бабуля – мой друг, – сказала она. – Как же я могу смеяться, развлекаться? Я хочу, чтобы она знала, как я ее люблю.

У нее были мать и отец, оба – конструкторы на большом заводе. Но о них она почти ничего не рассказывала. А я с тех пор помню только голос ее мамы, ее команды: «Инга, уроки! Инга, на музыку! Инга, у тебя – английский!» После смерти бабушки их дом совершенно изменился, из него исчез запах вкусных обедов, праздничных пирожков, везде теперь валялись старые газеты, журналы, лежала пыль. Еда покупалась на ходу, на бегу в кулинарии, чтобы скорее – на стол. Инга говорила, что яичница – любимое мамино блюдо – ее личный враг. Бабушка умерла от рака. Инга и характером, и внешностью была очень на нее похожа, и у нее на всю жизнь остался страх, что она тоже умрет от рака. Помню, мы с ней много размышляли: как это – люди летают в космос, ходят по Луне, а на Земле быстро умирают, не могут победить болезни? Дети много говорят о смерти, просто взрослые об этом не знают, а себя маленькими они обычно уже не помнят.

Я никогда не задумывалась: какая я? Такая, как все, или нет? Помню только, что маленькая просыпалась и скорее бежала к зеркалу: что там? Конечно же, разочарование – тот же нос и те же губы. Но это в детстве. А она, мне кажется, всегда относилась к себе, как к картине или скульптуре собственной работы, где можно еще что-то добавить, закрасить или даже перерисовать, выдолбить, отсечь лишнее. Один наш спор. Тогда в газетах много писали о смертной казни. И у нас был разговор, что никто не имеет права на чью-то жизнь, у человека над человеком этой власти нет. Она с этим соглашалась, но разрешала себе власть над собой, над своей жизнью. Бунтовала:

– Как это не мне решать? А кому?!

Кому? Подождите. Я поймала слово, которое больше всего к ней подходит. Вот оно – бунт! Всегда на ней какие-то невысказанные шлепки, какие-то невысказанные брюки или блузки экзотической длины – ее дразнили: «Десять лишних сантиметров». А у нее это называлось по-другому: «Десять сантиметров личности!» Спала на полу. Зачем?

– Я хочу знать, какая у меня власть над моим телом.

Принципиально не списывала и не слушала подсказок.

– Я не пою со второго голоса.

Правда, это на самом деле была нездешняя птица! И дело совсем не в том, что она умерла и я так теперь о ней думаю. Я всегда так о ней думала...

В седьмом классе умер один наш мальчик. Мы пошли на похороны всем классом, и я ничего не запомнила в тот день, кроме нее. Как будто это ее брат умер, кто-то очень-очень близкий. Она потом его никогда не забывала, вспоминала. Я после к этому еще вернусь, так вот о бунте. Когда все вокруг твердят: я люблю это, я люблю это – мы все любим это, а один отходит в сторонку и говорит: «Почему я должен любить это?» А гул стоит оглушительный: люблю – люблю, любим – любим... Это она называла «правом кирпича», а какое право у кирпича – лечь в слепой фундамент, на то место, куда положат. Не хочу!

Пожалуйста, пример. Урок истории:

– Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме... – Один отчеканил, второй. Мы повторяли эти слова вслед за учителем, не пытаясь и не подозревая, что можно вникнуть в клятвенный смысл привычно загнанных в наши головы слов: верит ли кто-нибудь в такое быстрое светлое будущее или нет?

– Я не верю, что буду жить при коммунизме, – сказала одна Инга и получила двойку, а была отличницей.

Все мы влюбились в Наташу Ростову, а она назвала ее плодовой самкой (я думаю, из-за протеста восхищаться тем, что восхищает всех), чем повергла в неопишущий ужас нашу Елизавету, учительницу русской литературы, а класс – в восторг. Ее не любили, ее обожали! В четырнадцать лет мы с ней размышляли о машине времени, куда бы мы попали, появившись у нас безумная возможность путешествовать по времени. Она выбрала – войну:

– Тогда я была бы нужна.

– Но ты погибла бы. Первая! Такие оттуда не возвращались.

– Но все равно я должна была быть там. Только там!

Удивительно! Она была красивая и совсем не как мальчишка, гранату на уроке физкультуры бросала, как бросают букет с цветами со сцены в зрительный зал.

Уже два месяца прошло, как ее нет, а я бесконечно о ней думаю. Ищу объяснений, которых нет, ищу логики, которой не может быть...

Умер Брежнев. Траурный митинг в школе. Стоит физрук и рассказывает анекдоты:

– Пасха. Леонид Ильич приехал в Кремль. Его встречает первый член Политбюро: «Христос воскрес, Леонид Ильич!» Второй член Политбюро: «Христос воскрес, Леонид Ильич!» Брежнев в ответ: «Спасибо. Мне уже доложили».

Мальчишки хохотали и плевались. А она задыхалась от слез:

– Как они могут! Он же умер!

Ее что-то всегда останавливало перед любой смертью.

Вот этот случай еще надо рассказать. Обязательно! Мы возвращаемся из школы, она всю дорогу молчит, что на нее совершенно не похоже, она – говорунья. Домой ей не хочется, и мы кружим по скверу, наверное, часа полтора.

– Ты знаешь, моя мама – убийца, – наконец вырвалось у нее, – оказывается, Олежка (это ее маленький брат) случайно родился. Она хотела его убить, это у взрослых называется «аборт», а врачи ей не дали.

Не успеваю ничего ответить, она торопится, торопится выговориться.

– Я слышала, как они с папой ругались. Она недавно опять кого-то убила. Может, еще одного моего братика или сестричку. Ты себе воображаешь – убить Олежку!!!

Начинаю сейчас подозревать, что ее необычайно волновала тема смерти, она боялась смерти. А что, если учиться в мединститут она пошла из-за бунта против самой себя, своего страха? Это ее поступок. Когда кто-то из мальчишек ей небрежно бросил: «Ты крови боишься!», она на другой день принесла в школу нож и при всех полоснула им себя по руке. Пошла кровь, она смотрела на нее, пока кто-то из девочек не заплакал.

Она мне не снится... Это мучает... Вдруг обиделась? Мой муж... Его она никогда не любила... Но он ее любит, я всегда знала, что он ее любит...

У нее были свои отношения с реальностью. Вот тут еще одна загадка, я так думаю.

– Лучше всего путешествовать мыслью, – убеждала она меня. – Когда я приезжаю туда, на то место, где уже была в мечтах, в фантазиях, мне не так интересно, как интересно в мыслях, в ожиданиях.

Свой дом, а по ее словам, у нее будет единственный муж и двое детей – мальчик и девочка, она воображала так:

– Из мебели – одни книжные шкафы, из остального книги – и больше ничего.

Книги для нее были второй реальностью, и она жила, осуществлялась именно в ней. Последний школьный звонок. Выпускной вечер. На ней – белое платье, она такая красивая! Он танцевал только с ней... Они кружились... Я это запомнила... Удивительно! У меня уже были мальчики, но другие, я о нем никогда не думала... Она первая сказала:

– Вы были бы счастливой парой. А мне надо, чтобы каждый день как после дождя... Чисто и наново...

Ей хотелось чудес, она жаждала чудес: вот она куда-то пойдет, звонит телефон, принесут письмо – и что-то произойдет неожиданное. Чей-то голос. И кто-то ее найдет. У нас была своя школьная компания, все держалось на ней. Она притягивала, соединяла нас своей фантазией, это было столько красок, такая живопись. Поток! Убедила меня поступить в консерваторию, стать скрипачкой:

– Тоненькая, в черном длинном платье будешь стоять на сцене...

Так мы себе представляли жизнь...

Первый год Инга в медицинститут не поступила, пошла работать санитаркой в больницу:

– Мне нравится принести больным свежее белье, кормить с ложечки. Я их всех люблю! Окончу институт и уеду в дикую глубинку, где буду лечить все – от кашля и бородавок до рака.

Она приучала себя к боли, к страданиям, да, приучала, потому что не выдерживала, не переносила вида мучений. Вдруг всплывает в памяти, как мы выходим после загородной прогулки из электрички: в руках – задохнувшиеся в жаре и толкотне бессильно поникшие васильки, а в банке из-под сока – остекленевший майский жук. И ее слова:

– Мы их убили...

У нее отсутствовал инстинкт самосохранения, защита от боли. Дети сожгли во дворе кошку, на проволоке болтался маленький обгоревший скелет, как детский, она там – увидеть! На улице авария, крик, толпа, она там – увидеть! Я ее отгаскивала:

– Пойдем, ну не надо. Я не хочу!

Она как вкопанная стоит, глаза сужены. Она толкала туда себя, заталкивала, чтобы стать сильной, выковать непробиваемый панцирь, соорудить прибежище из фантазии и мыслей, что когда-нибудь научится спасать, помогать. Наивно пыталась постигнуть то, что никто еще не постиг: почему человек должен так мучиться? Даже ребенок. У него ведь еще никаких грехов, никакой вины, пусть бы умер, как уснул. А он кричит, словно звереныш... Ему так больно... За что?

Так бояться боли и выбрать этот страшный способ?! Повеситься... На глазах своего ребенка...

Я бесконечно о ней думаю... Она была самая лучшая из нас. Как мы мечтали!!

– Инга, когда ты согласишься, что тебя любят?

– Когда меня возьмут на руки и пронесут через весь город!

Его звали Слава. Большой, сильный. Он нес ее через весь город. Привозил с юга первую сирень, когда у нас еще снег лежал в парках. Писал письма на бересте и присылал их в больших картонных коробках от кукол. Красиво... Празднично... Как в саду... Как она хотела... Сидеть в белом платье... И стол накрыт белой скатертью... Они поженились: ему – двадцать пять, ей – девятнадцать. Она первая из нашего класса вышла замуж. Все девочки ей завидовали. Еще до свадьбы мы были с ней на ипподроме, смотрели скачки, и в какой-то момент у нее вырвалось:

– Я хочу жить с таким напором, как они скачут! Иначе ничего не почувствуешь!

Все у нее было с восклицательным знаком: не люблю, а очень люблю, не просто хороший человек, а очень хороший человек, не просто любимый, а очень любимый. Очень-очень-очень!!!

Я помню ее счастливой:

– Утром из ванной иду на кухню. Обернулась – он целовал мои следы. Люблю его! Очень-очень-очень!!! Он большой, сильный ребенок. Все время хочу улыбаться.

Скоро у нее родился Сережка.

– Как ты? – звоню ей.

– Очень-очень-очень!!! Теперь у меня – два ребенка: один большой, второй – маленький. Ревнуют друг к другу. Человек живет на земле для неба – вот что я с ними чувствую, вот как я с ними живу!!!

Любила ли она? Вот этого я не знаю. У нее все по-другому. Если она любила, то кого? Того, кто был рядом, или его же придуманного? Боюсь, что она любила идеал, вымысел. Иначе у нее не получалось. А он? Он засыпал у телевизора, потому что днем учился на пятом курсе мединститута, а ночью подрабатывал на «скорой помощи». В воскресенье ему не хотелось никуда выходить из дома, а ей мечталось до утра бродить по городу, всю ночь разговаривать, пригласить друзей, чтобы всем было хорошо, радостно. Плескаться в счастье.

Она:

– Я хочу, чтобы каждый день как после дождя... Чисто, наново...

Он:

– Я ее не понимаю, то улыбнется, обнимет, и тут же: «Уходи! Я тебя никогда не любила!» Соберу чемодан. Не пускает: «Любимый, единственный». На коленях стоит... А на завтра все сначала. Фантазерки... Они опасные... Схватят и держат: ты – не такой, не такой! Задумают... И сами невинны, как дети.

Вдруг оказалось, что они совсем разные, смешно, но даже в этом: он – сова, она – жаворонок. Пойдут в кино – и там рассорятся.

Он:

– Сумасшедшая! На экране кто-то кого-то убил или разлюбил – она плачет. Взахлеб плачет. На нас оборачиваются, мне стыдно.

Она:

– После фильма мы вышли на улицу, лил дождь. Я сняла туфли и пошла босиком... По лужам... Было так хорошо, что никто не нужен...

Кончилось тем, что он уехал в другой город. Насовсем. Женился на ее подруге – тихой, серенькой. Маленький Сережка спал теперь с мамой, по утрам целовал ее заплаканное лицо, утешал:

– Мамуленька, не плачь. Я вырасту и женюсь на тебе.

Она металась, она всю жизнь металась между реальностью и придуманным. Хотела, чтобы ее кто-то любил, нуждался в ней, «как в хлебе, как в воде». Желала любви так сильно, страстно, что придумывала ее, бросалась к людям, как прыгают с высоты, распластывалась. В каждом из нас есть сосуд любви, если он не заполнится в детстве, то всю

жизнь будешь мучиться от жажды и неутоления. И не спасишься, не уберешься. В ее сосуде было только на донышке... Бабушкино...

Ну как же? Как же название этого фильма? Там главная героиня – старая большевичка. Ее навещает по воскресным дням сын, и она задает ему вопросы, как к стенке ставит:

– Почему самолеты сегодня не летают?

Сын объясняет: мол, погода нелетная.

– Безобразия! Куда смотрит наше министерство авиации?

Заканчивается их встреча всегда так:

– А где ваши голубые города? – говорит она. – Почему вы не продолжаете то, что мы начали? Мы же расчистили вам дорогу...

Из этой породы – мама Инги, ее любимое слово «блажь», а блажь все, что не касается дела, цели. Вместо диалога всегда монолог:

– У человека должна быть цель. Большая цель. Только лопух живет для себя, а человек живет для других. Я не понимаю вас, что это значит: «Я хочу просто жить», «Я хочу просто любить»... Вы уходите от жизненной борьбы, вы сдаете позиции. В мое время был спор физиков и лириков, я выбрала физиков. Мир принадлежит реалистам, а не мечтателям. Надо дело делать, все остальное – блажь!

Сильная, красивая женщина. Я не помню, чтобы она плакала или о чем-нибудь просила, нет – только воля и приказ. На улице такую встретишь – оглянешься. Ее всегда сажали в президиумы, выбирали депутатом, делегатом. Муж рядом с ней казался маленьким, незначительным. Таким он был.

После смерти бабушки Инга (это было при мне) спросила мать:

– Что такое смерть?

– Это когда тебя не будет, как бабушки.

– Я никогда не умру!

– Почему ты так думаешь? Просто ты еще маленькая...

– Я никогда не хочу умирать!!

– Как это ты не умрешь? Все умирают. Даже Ленин умер!

Они непонятны нам, наши родители, но они об этом никогда не задумывались. У них не хватало на нас времени, потому как они победили, восстановили... Строили, жертвовали... Ради нас! Ради нашего будущего! Где оно, то, о чем они твердили нам с детства, та счастливая жизнь, которая называлась будущим? Поглядите в окно: серые дома из дешевой панели, плохие дороги, некрасивые машины, усталые,

изношенные люди. А они все время куда-то бежали, торопились, не успевали и отмахивались от нас: некогда, некогда!! Где следы их жизни, прожитое ими время, куда оно протекло? Они уверены, что жили для нас. Как им сказать, что они никогда нам не принадлежали?

...В тот день... За печальным столом... Мы боялись поднять глаза друг на друга... Все друзья Инги, которые собрались, нас было много... Мы не могли уйти из ее дома, мы говорили до утра, помню отрывки наших разговоров:

– Три дня тому назад она позвонила мне: «Хожу по городу и прошу: «Господи, сделай так, чтобы меня убило машиной!» Но ты слышишь: Бога нет...»

– Когда у нас были практические в морге, ее тошнило. «Ну, это ничего, – уверяла она нас поначалу, – к пятому курсу привыкну. Как вы, буду булочки есть». На самом деле – когда голодные, тут труп лежит, а рядом наши портфели с бутербродами и конспектами. То, что на столе под белой простыней, для нас уже ничего общего с человеком не имеет, это уже неживое, как глобус. Жизнь перелилась в нежизнь без имени. Но Инга однажды спросила: «Может быть, этого звали Сережей... а ее – Анной...» После этих слов как взять в руки скальпель? Она помнила, не могла забыть никого, их лица, особенно детские...

– И в отместку себе пошла в патологоанатомы... В судебную экспертизу... Она слишком натянула свою струну...

Что заставляет не исчезать, цепляться за жизнь ту же бактерию или человека, независимо от уровня сознания? Какая-то неизвестная химическая или космическая пружина. Сломалась – и все. Как сломалась эта пружина у раненого князя Болконского... Толстой писал... Догадался... Помните? Весы качнулись... И он отказался жить, не захотел, а сколько биологических, физических сил в организме, на какой срок – то уже значения не имеет. Я смотрю на ее фотографию... «Когда человек умирает, изменяются его портреты...» Она смеется... Но уже такое чувство, что – как за стеклом... Не идет энергия, меньше света... Мы сидим на траве под яблоней... Это было всего год назад... У меня тогда только родилась дочка, мы жили с мужем на квартире на окраине города в частном доме с садом. Она мчалась ко мне через весь город – покупать ребенка, пеленать, притащить веселую игрушку. Она безудержно строила мир, в котором ее все любили, не могли бы обойтись без нее, а любили ее только дети.



Я слышала, как она разговаривала со своим маленьким Сережкой, ему было четыре года.

- Мама, – признался Сережка, – я боюсь темноты.
- Почему?
- В темноте маленькие злые человечки... Под диваном...
- Откуда они взялись?
- А люди как рождаются? Отчего?
- От любви...
- Мама, а эти от грустности...

В другой раз он влетел в комнату, где мы сидели:

- Мама, тучки на коленках в форточку ползут!

Они жили на девятом этаже, тучи у них ближе...

Со мной что-то случилось, когда я родила, словно меня втянуло, закрутило вихрем в огромные двери другой жизни, и я растворилась там. Я не спала ночами – девочка болела. У меня доставало сил лишь накормить, постирать, уложить ее опять, иногда поиграть и всегда – что-нибудь спеть. Перестала слышать и понимать все, кроме ее крохотного существования: спит, плачет, хочет есть, начала улыбаться. Меня будто не было...

Инга приходила, но уже редко. Выговаривалась:

- Отчего-то тоска напала. Скучно. Пусть бы кто-то пришел и присидел рядом всю ночь, держа за руку...

В другой раз забежала восторженная:

- Я встретила друга. Он – архитектор, строит красивые дома. Умный, веселый. Мне с ним хорошо и легко.

Потом они пришли вдвоем, и я была поражена, насколько нарисованный ею портрет не совпадал с реальностью. Нервный, злой, обиженный на весь мир. А где же тот веселый, умный?

Она боялась того дня, когда ей исполнится двадцать пять лет, как будто черту себе провела. До этой черты еще можно чего-то ждать – необычного, исключительного, а за ней – уже чужая территория, с чужими законами, обыденными и неподвижными, которых она не принимала. По-моему, за этой чертой ее настигла реальность.

Последний ее телефонный звонок:

- Я решила бросить мединститут...
- С ума сошла! Пятый курс...
- Ты как моя мама. Она грозит, что, как только я уйду из институ-

та, ее с инфарктом увезут в реанимацию. Как это, мол, у самой цели сойти с пути... Будто я поезд и способна двигаться только по рельсам... Ты знаешь, я все-таки не могу больше видеть мертвого человека! Больные, как и нищие, сводят меня с ума! Вчера ходила на базар... Сумасшедшая женщина танцевала посреди площади и пела... Молодой парень в инвалидной коляске играл на баяне... Ему бросали рубли в шапку... Он ни на кого не поднимал глаз... Папа говорит, что так было после войны...

– А ты кому-нибудь из наших сказала?

– Кому? Все разбежались, каждый теперь выживает в одиночку...

– Но мы же...

– Что? Сидели до утра, пели, стихи читали? Это было в какой-то другой жизни... Ты отошла от нас и потеряла следы... Сказать тебе, чем занимается наш Вадик, любивший Высоцкого и мечтавший о ВГИКе? Перепродает автомобили... Лешку видела в городе... Безработный инженер... Эмма уезжает с родителями в Америку... – И дальше что-то рваное, бессвязное. – Меня нет, как будто я исчезаю... Исчезла... Я растворилась... Пораженец... А я не люблю поражений... Я – как все, как масса... я жила в собственной оболочке, ее проткнули, как детский шарик... Нечем дышать... Меня стягивают и стягивают в реальный мир, на эту глину... А птичка привыкла сидеть на дереве, петь, закрыв глаза... У Сережки, маленького, даже уши такие, как у его отца... Он похож на него, а не на меня... Меня нигде нет... Я вас всех обманула... Я все время играла какую-то роль... Хочу убежать... Где-то начать другую жизнь... Красивую... Праздничную... Но не эту...

– Ин-нга!!

Она положила трубку. Я звонила ей несколько дней подряд, она не подходила к телефону.

Как это случилось?! Последнее...

Об этом я знаю только со слов ее мамы. У нас с ней было два разговора, и мне до сих пор кажется, что два разных человека рассказывали мне одну и ту же историю...

Первый разговор был в тот день.

– Помогите мне! – бросилась ее мать ко мне сразу у дверей, я впервые видела ее настоящее лицо. – Это я ее убила! Я?! Я воспитана на схемах, железяках, я не понимала свою дочь. Она говорила о какой-то другой жизни... Собиралась куда-нибудь далеко уехать... Хотела

бросить институт, не сдавать экзамены, я силой поднимала ее утром с постели. «Не хочу вставать. Не хочу даже чистить зубы». – «Выкинь из головы эту блажь! Есть долг! Ты видишь, как мы с отцом живем: что бы ни случилось, надо идти на работу. Помнишь, в прошлом году наш Олежка попал под машину... Его увезла «скорая», а я побежала на завод, потому что горел план, потому что есть чувство долга». Я ее одевала, заталкивала в нее силой творог или манную кашу, сажали с отцом в машину и везли в институт... На практические в морг... Так мы сдали четыре экзамена... Ради нее... Ради ее будущего! Я не отступала. Она мне показывала: «Мама, посмотри, как сходят с ума: первыми сходят с ума волосы, потрогай, какие они стали у меня жесткие, как из лески. А все люди мне кажутся похожими на животных: у этого – голова дикого кабана, а у этого – бобра...» А я запикивала ее в машину и везла в институт. Ее надо было, как маленькую, на руках качать... Я не понимала... После института я бежала к себе на завод... Брала чертежи домой... Сидела над ними ночами... Спала четыре часа в сутки... Ради нее... Ради ее будущего! Помоги мне! Может быть, я чего-то не знала? Этот ее муж... Уехал, забрал даже обручальное кольцо, которое ей подарил. И этот новый друг... Ты его видела? Она рвалась из дома, хотела свободы. А что она получала? А может, это все-таки случайность?! Помоги!!! Она вот в этой комнате... На поясе от моего халата... Сережка в углу играл... Домики из кубиков строил...

Через сорок дней мы сидели за тем же столом... Мать поднялась, снова красивая и сильная:

– Настало время энергичных, жизнеспособных людей. Инга не захотела бороться. Что же вы такие слабые? Мы для вас все сделали! Мы для вас жили! Хотя бы институт окончила... Не дошла до цели...

Мне хотелось бежать или кричать после ее слов. Я обняла Сережку:

– Сережка, мама уехала.

– Неправда, маму закопали. Она просила: «Ты не бойся, меня, как зернышко, закопают. Я взойду». Я теперь бабушку буду звать мамой.

Он пока не знает, что перед своим уходом мама увозила его из этого дома к отцу в чужой город. Навсегда. Но тот отказался: у него уже там, в другой семье, – мальчик и девочка. Она просила: «Я уезжаю очень далеко. Я не могу забрать его с собой. Он – мягкий. Моя мама что-нибудь такое из него вылепит... Я никогда его не узнаю...»

У меня теперь даже нет дома, где она была. Я не могу туда пойти...

Не печатайте ничего... Все равно мы не поймем этой тайны... Одни догадки. Жестокие и приблизительные. Если напечатаете, то без моего имени. Я не хочу быть свидетелем. Я – не свидетель, я – соучастник, как все. Если бы ее кто-то, хотя бы один из нас на самом деле любил... Каждый раз как после дождя... Чисто и наново... (*Долго молчит.*) Иногда я думаю по-другому, даже чаще именно так думаю: мне печально, но мне ее не жалко... Я ее понимаю... Смерть – это ее убежище...»

---

**ИСТОРИЯ  
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ В СОРОК ПЕРВОМ  
И НЕ ДУМАЛ, ЧТО КОГДА-НИБУДЬ УСЛЫШИТ:  
«ЗАЧЕМ ТЫ ПОБЕДИЛ? МЫ БЫ СЕЙЧАС  
БАВАРСКОЕ ПИВО ПИЛИ...»**

*Николай Севастьянович Кулаженко,  
бывший фронтовик, 70 лет*

«Что вы меня мучаете? Вам это нужно для литературного эксперимента, а из меня душу вынули. Душа плачет... *(Молчит.)* Если вспомнить, то за всю мою жизнь хорошо мне было только на войне... Кровь, вши, смерть... Но там все было понятно, у нас у всех – одна Родина и один враг. И никогда мы так не любили, не жалели друг друга, как в войну. Мы были вместе, как пальцы в кулаке. Это неправда, что социализма никогда не существовало. Он был один раз... В войну... Я – свидетель... *(Молчит.)* Никому не нужный свидетель... Старое чучело... Жизнь выкидывает наше поколение... Мы уже лишние... *(Молчит.)*

Мне это крикнули в лицо... Этот приговор... *(Молчит.)* Во-о-он там слева, за заводской трубой... *(Подходит к окну и показывает.)* Наш городской парк... Фонтан там, правда, без воды, недействующий, братская могила погибшим при освобождении города. Город небольшой, но все как положено у нас, как у всех. Возле памятника всегда проходили школьные линейки. Приглашали нас, ветеранов. Мы повязывали красные галстуки. Жена у меня тоже, как говорится, коренная фрото-

вичка. Девочкой на фронт ушла, в первый день войны. Миленькая моя, мы теперь как беженцы... На своей Родине... Я по телевизору видел: кран тащил памятник Дзержинскому... Лицом вниз... По асфальту... А молодые радовались и смеялись, ели мороженое... Это же были похороны! Хотя бы одну шапку снял! Нет, они не наши дети! Я не знаю, я не понимаю, откуда они пришли? Где родились? От кого? Вот в этом нашем парке (не называйте город, потому что мне стыдно, тут меня каждый знает), так вот здесь меня, как этот памятник, тащили лицом вниз... Так он мертвый, Железный Феликс... А я – живой. Трое мальчишек, по шестнадцать-семнадцать лет... Я иду по аллее, а они мне навстречу... С ними черная овчарка, молодые любят больших собак... Аллея узкая. И я сразу догадываюсь, что уступить дорогу им должен я, старый человек с орденскими колодками и значком «50 лет КПСС»... Конечно, я вышел в одиночку... С этим значком, который уже не носят, все сняли... А я от него не отказался. Это моя партия, я ей жизнь отдал. Нельзя отобрать веру у человека за один день. Раньше мальчишки смотрели на мой пиджак, и у них глаза загорались. Они мне завидовали. Нам завидовали, нашему поколению. А теперь у них так глаза горят при виде какого-нибудь иностранца... Идут, значит, они, говорят громко, шумно... Что-то внутри мне подсказывает – сойди! Тело стало невесомым, я его не слышу... как в рукопашной: только что каска обручем сжимала голову, поднимаешься в атаку с открытым штыком – каски на голове не слышишь... Тебя что-то несет...

– Взять! Джек, взять его! – слышу я веселую команду. На родном языке... Тихо, спокойно вокруг, никто не стреляет... – Взять! Джек, взять его!

Они кричали весело и озорно... Сорвали мой значок «50 лет КПСС»... Топтали его... Весело! Помню, что упали очки... Я не различал лиц... Только тени... Молодые, веселые тени... Они плясали вокруг меня... Как черти...

– Что ты нацепил, старая прирученная обезьяна? Старое чучело! В другой раз и колодки твои полетят. Победитель! Если бы ты не победил, мы бы сейчас баварское пиво пили...

...Я стоял возле своего дома и не узнавал его. Я забыл: кто я? Как меня зовут? Где я живу? Уже начало темнеть, а я не мог найти и вспомнить свой дом, пока дочь не увидела меня с балкона. Она побежала искать значок. Не нашла. Я лежал на диване с закрытыми глазами...

– Папа, – сказала утром дочь, – ты лучше не выходи на улицу. Почему ты плачешь? Я давно говорила: «Сними этот значок». Вечером отвезем тебя на дачу. Мама варенье варит, ты будешь огурцы поливать...

Старая прирученная обезьяна... Старое чучело... Ты слышишь? Тебе осталось только поливать огурцы...

Они все ушли: дочь и зять – на работу, внук – в училище, жена была на даче, – я открыл газ... Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком... *(Плачет.)* Соседи услышали запах газа... Взломали дверь... Они думали, что я уснул, а не хотел умереть... А я вижу тем, кто лежит в земле. От души...

Не надо вам Ленина, а кого вам надо? Взял бы бульжник и бил витрины магазинов с чужими названиями. С чужими вещами. С чужим шоколадом... Что вы меня мучаете? Вам это нужно для литературного эксперимента, а из меня душу вынули. *(Молчит.)* Миленькая моя, нет-нет, не вставайте... Не уходите... Я до конца скажу... Мы Родину защищали! Родина есть Родина, какая бы она ни была. Они бы баварское пили... А не скорее бы изо всех нас мыла наделали? Мы Родину защищали! Но что бы мы сейчас ни сказали, вы затыкаете нам рот Сталиным. Это наша трагедия. Нет больше Родины! А мы ее строили тачками и лопатами. Днепрогэс месили пятками. Была у нас великая страна... На развалинах живем, на обломках... Помощи ждем, чужих сухарей... К нам привозили... Красивые немецкие машины, полные больших пакетов с крупой, сахаром, мармеладом... В толпу бросали... Люди бежали за фургоном, давили друг друга... Заманили яркими обертками, цветными бумажками... Вместо великой страны я вижу дикие племена... Ненавижу!

Много лет мне снился один и тот же сон – день Победы. Как мы красиво победили! Показывают по телевизору их супермаркеты. Их колбасу. Как будто мы не видели, что такое Запад. «Мы пол-Европы прошагали...» – пел Марк Бернес... Дали мне в прошлом году бесплатную путевку в санаторий. Там этот телевизор не выключают...

– Выключите его к... Не был я рабом! Не был! Очернили прошлое, оплевали. Сволочи! Безумие! Это безумие! Я был солдатом...

В психиатричку хотели отвезти...

А я помню другое время... Я помню, какие люди были в войну. Таких людей у нас больше никогда не будет! Я их давно уже не вижу. Не

встречаю. Первое, что говорил солдат, когда выходил в операционной медсанбата из-под наркоза: а взяли ли ту высоту, под которой его ранило? *(Плачет.)* К Берлину шли... Через горы трупов, горы трупов лежали... По всей России... По всей Европе... Миленькая моя, рассказать нельзя... Три-четыре дня идет бой... Солнце печет, а его не видно, оно, как луна, из-за черных туч едва просвечивается... Техника горит, земля горит, люди горят... Целой земли нет... Убитых столько, что лошадиному копыту негде стать, а лошадь никогда не наступит на человека, даже мертвого. А тут они шли по трупам. Наши санитарные повозки... Услышишь, как зовут: «Братка, добей!», пока добежишь, он уже умер... Человек в одном месте лежит, а его оторванные ноги – в другом... Первые дни сидим в окопах, переговариваемся: «Я его никогда не видел, не знаю. Какой он мне враг, этот немец? Как мне в него стрелять? Это же такой же простой парень, как и я. Надо ему растолковать про социализм, про буржуев. Он повернет штыки...» А потом мы увидели наших солдат, повешенных на столбах... их повесили и подожгли, будто это деревья, а не люди... Убивать стало не страшно... Перед атакой я кричал, я сам кричал: «За Сталина – вперед! За Родину!»

Эти люди, что сейчас живут, никогда бы не победили. Никогда! В газете читаю: разрезали на четыре части бюст Пушкина и пытались вывезти за границу... В чемоданах... Они не Пушкина везли, а цветной металл... Все променяли на джинсы, на чужие тряпки... На магнитофон, на банку кофе...

А я помню другое... Другое время и других людей... Попали мы в окружение... Политрук приказал: «Всем застрелиться!» Был очень солнечный день... Но есть сталинский приказ – советский солдат в плен не сдается, только предатели сдаются в плен... Я выбрал место... Помню, старый дуб стоял и рядом маленький насеялся, я погладил его по верхушке, еще подумал: «Он вырастет, и никто не будет знать, что когда-то его гладили по голове». Политрук был немолодой, откуда-то с Украины... Поглядел он на нас – мальчишки... Фуражку снял... Сам застрелился, а нам приказал: «Живите, хлопцы!» Таких людей уже никогда не будет! Встретишь мать с дитенком... Бредут по снегу босыми ногами... В деревню свою возвращаются, а деревню каратели сожгли. У них ничего нет, одно: у матери – сын, а у сына – мать. Это все, что у них осталось. Обнимешь ребенка, за лязуху под шинель спрячешь: «Родной мой! Хороший!» Все, что у тебя в вещмешке есть, отдашь, крошки от



сухарей ему в ручонки вытряхнешь. Мы были вместе. Братья и сестры! Я думал, что так будет всегда... После моря крови, после моря слез...

Кончилась война... Я работал хирургом в районной больнице. Всех калек, всех тяжелораненых, которым некуда было возвращаться, которых никто из родных не забрал, распределили по разным городам. Домов инвалидов не хватало, новых еще не построили, они жили в больницах. Слепые, безногие, парализованные. Знаете, простыней нет, одеял нет. Покушать не всегда хватало... Нянечки, медсестры несли из дома все свое... И картошку, и простыню, и носки, и ложки... Все были вместе. Братья и сестры! А если человек умирает, то сидим с ним всю ночь. Чтобы ушел с чистой душой... Не в обиде, не в одиночку... Чтобы умер, как дома... Среди своих...

Я о своей жизни не сожалею. Хорошая была жизнь. Я тысячи людей спас. Сорок два года работал хирургом. А жена моя – акушер-гинеколог. Днем и ночью люди нас звали... И мы шли, ехали... На телеге, пешком... Не было у нас выходных, не было праздников... На Новый год пришли гости, их встречает наша пятилетняя дочь: «У папы – острый аппендицит, а у мамы – острое маточное кровотечение... Вернутся утром...»

А сегодня моя дочь мне говорит:

– Вы с мамой жили, как слепые. А я – свободный человек. Пусть в магазинах дорогая колбаса и я не всегда могу ее купить, но я могу все сказать.

– Ты просто при мне оскорбляешь Ленина. Вот и все. Вся твоя свобода.

Она – врач, и они бастуют, потому что им мало платят. Я не понимаю, как может бастовать врач? Люди лежат с инфарктом, с инсультом... Умирают... Мы всю жизнь, можно сказать, бесплатно работали. За копейки... Но никто не жил для себя, ничего для себя не требовал. Мы хотели, чтобы наша Родина была богатой. Сильной. Чтобы ее никто не победил.

Миленькая моя, мы еще живые... Мы все помним...

Нет, эти люди, что сейчас живут, никогда бы не победили. Разве можно воевать так, как мы воевали, за шесть дачных соток, за «Мерседес», за коммерческий киоск с чужим шоколадом? Так можно воевать только за Родину. У них нет Родины. Внук мой... В училище на повара учится. У него мечта – свое кафе открыть... С пирожками, с бутербро-

дами... Быть богатым, иметь много денег. Вы слышали? А я в его годы мечтал летчиком стать или танкистом. Моряком. Стать героем. А деньги мне нужны были только на то, чтобы купить хлеб. Все остальное, чего я желал, нельзя было купить за деньги. Даже за миллионы!

Теперь у меня тоже нет Родины. Мое прошлое – моя Родина...

Раньше в школу нас звали... Во время праздников – на трибуну, в президиумы... Я надену пиджак с наградами... Жена с войны свою гимнастерку сберегла... Сейчас мы никому не нужны. Вымирающее племя... Динозавры... Нас боятся... Как чумных... Я сам пошел в школу, где внук учился. Там был музей боевой славы. Я все самое дорогое туда отнес: гимнастерку жены, свой хирургический скальпель, ордена и медали... На дверях музея висела другая вывеска... Наваждение какое-то... Малое предприятие... Кооператив... Шкафы строгаля...

– Да, – развел руками директор школы, – сдаем в аренду. Нет денег, чтобы учебники купить.

– А где музей? Где экспонаты? Где гимнастерка моей жены? Она пятьдесят лет ее берегла...

– На складе.

Нет Родины. Нет прошлого. Сдали на вторсырье... Миленья моя, а мы еще живые... Все помним...

Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком. На своей Родине. Я закроюсь дома в своей комнате, и нам с женой кажется, что ничего не изменилось, все как прежде. Надо только закрыть двери и не подходить к телефону... И к телевизору...

В партию я на фронте вступил, в восемнадцать лет. Я билет свой не положу, не отдам, даже если меня поставят к стенке. Были у нас вожди... Командиры... Звали нас: вперед, вперед!!! А сами ушли, бросили. Как они спят по ночам? Что пишут в своих мемуарах? За границей рассказывают? Я хочу, чтобы они рассказали, как я колотил костылем телевизор и кричал: «Не был я рабом! Не был! Я был коммунистом! Я был солдатом!» Я кричал, пока мне не сделали укол и не унесли на носилках в палату...

Я хочу умереть коммунистом, я хочу умереть советским человеком! *(Плачет.)* Дайте уйти нашему поколению, которое один раз жило при социализме... В войну...»

---

# ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ВОЕВАЛ В ДЕВЯНОСТА ПЕРВОМ ТАМ, КУДА МОЖНО КУПИТЬ БИЛЕТ В ЛЮБОЙ КАССЕ АЭРОФЛОТА

*Павел Стукальский,  
наемник, 27 лет*

## Из рассказа друга Олега Бажко

«Вы хотите, чтобы я нормальными словами это рассказал? Я по эту сторону, а он? На смерть никто не хочет смотреть. Я видел ее сотни раз и все равно каждый раз отворачиваюсь. Там, на войне, я себе твердил, вбивал во все клетки своего тела и мозга, когда мы ползли в горы и язык вываливался изо рта, как у пристреленной собаки, затолкнуть назад его мог только страх... Страх от пули... Я себе твердил: не дай этой гнилозубой твари уговорить себя, не дай ей взять тебя сонным или отчаявшимся. Гони ее и не оглядывайся, никогда не зови.

Эх, Пашка! Что она ему нашептала, если он дал ей увести себя в ночь, в темноту! Он, который лучше всех в нашей роте мог перерезать горло от уха до уха, ударить точно под лопатку...

Да, я – наемник, я продаю свое умение убивать. Думали: буду скрывать? Не буду. Раньше у нас никогда не было наемников, мы гордились защитником Отечества... Бросьте эти сказки для старшеклассников! Мужчинам нравится война, только они в этом не признавались, таились. Мы все про себя прятали. Ни один не знает: кто он на

самом деле? А я не хотел такую же квартиру, как у соседа, такую же машину, такой же шкаф... И как самое большое развлечение – путевка в Сочи, к Черному морю, где считаешь каждый рубль. Я хотел познать мир, испытать себя. Я на самом деле хотел узнать: кто я? Это если откровенно... Начистоту... До дна... Тут – стопор! *(Закуривает. Молчит.)*

Сначала я попал в Афган. Мечтал, просился. Писал рапорт. Там, а Афгане, мы с ним встретились... С Пашкой... Сошлись... Все было похоже: школа, училище, работа на заводе, мечта об институте... И о девушке в белом...

Когда я вернулся из Афгана, моя сестренка училась в пятом классе. Я привез ей подарки: красивые игрушки (у нас таких нет), жвачку, джинсы. Но ей хотелось похвастаться другим.

– Ты герой? Сколько «духов» ты убил? – спросила она.

– Не знаю... – Я был застигнут врасплох, меня взяли безоружного дома.

– Я скажу подругам, что ты много «духов» убил. Сто!

Сидел рядом отец, ставила закуску на стол мать. Улыбались. Для них это был нормальный разговор. Я начал орать что-то сумасшедшее... О чужой стране, о том, как воняют вывалившиеся человеческие кишки на солнце... О том, как у нас погибло трое ребят-детдомовцев и их некуда было отправить... Гробы повезли в детдом...

Я испортил всем праздничный ужин. Тут – стопор! *(Замолкает.)* И вообще, если бы не Пашка, слова бы вам не произнес... Ни вам, ни друг другу правды мы не говорим. Караванчики брали, облеты... После первой рюмки вспоминали смешное, веселое. Как под Джелалабадом две недели спасали раненую обезьянку. Пашка ее выгасил изпод мертвого афганца. Перевязали лапу, на себе по очереди тащили. А про то, как расстреливали пленных, молчим. В стельку пьяные, ни один не обмолвится... Намека не даст, что помнит, как они в пыли валялись... С босыми ногами... А как пахнет чистая простыня дома! До головокружения. Но мужчине нравится война... Древний инстинкт охоты... Убивать люди научились раньше, чем сеять и пахать. Стреляешь, заманиваешь, выслеживаешь... Он зарывается в землю, уползает на четвереньках... Как зверь... В ползущего стрелять легче, чем когда он идет во весь рост, и ты различаешь лицо, одежду... Тогда заминка, на какой-то миг...

Сколько убил? Наивный вопрос. Может, двадцать, а может, и больше... Сначала считал, потом бросил. Это же моя работа – воевать, а значит – убивать. Мне за это деньги платят. Но не ради одних дензнаков я этим занимаюсь. Ради азарта... Как вам передать, что острота ощущений, когда не ты стреляешь, а в тебя стреляют?! Ты сразу существуешь в этом мире и в том, по обе стороны. Животная, безумная радость, когда бой окончится, а ты жив. Ты можешь выпить водки... выкурить сигарету... Ты можешь найти женщину... Мы проиграли в Афгане. Могли стереть эти горы с лица земли, а ушли ни с чем. И в подсознании, в подкорке сидит, что мы войну проиграли, но никто не хочет быть проигравшим. Мы не довоевали. После Афгана я стал рэкетиром... От полочки до полочки народ живет. Варенье варит. Огурцы, помидоры осенью закручивает. Пуп тресчит! А у этих миллионы... Приходишь, как Робин Гуд, и забираешь кусок...

Приехал знакомый из Нагорного Карабаха:

– Что там?

– Афган.

Ну, раз Афган, значит, мне туда. В кассе Аэрофлота взял билет. Как в гости, на курорт... Одни ехали загорать, другие воевать. Много войны на окраинах бывшей империи. Оказывается, везде нужны те, кто умеет стрелять. И платят лучше, чем нам платили в Афгане. За тарелку бобового супа меня уже не купишь. И не надо махать красным флажком! За идею я умирать не пойду. Что у нас изменилось? На баррикады в августе шли одни, к власти пришли другие. Коммунисты сказали, что они не любят коммунистов, и раз вам не нравится слово «коммунист», будем называться демократами. Я не устал воевать, я еще молодой. Я люблю автомат, это – друг. Но я устал быть обманутым. Убивать – тоже профессия. Я – профессионал. Я делаю это лучше, чем что-нибудь другое. За неделю любого пацана на боевика выучу или, как пишут в газетах, бойца отряда самообороны. Вчера он сидел на тракторе, пахал. Завтра будет стрелять. Попробуй его верни на трактор... В колхоз... Я ему такой гимн автомату спую! Чувство оружия... Оно тянет к себе...

Эх, Пашка! Мы вместе с ним два года в Карабахе... Ни царапинки... О чем невозможно думать? Что ты умер. Будешь думать, сойдешь с ума. Ах, ладно. Тут – стопор! *(Опять замолкает.)* Там и здесь отношение к смерти разное. Там она то мама, то любимая девушка, то

друг. Кричат: «Мама-мамочка!!», а приходит она. Гнилозубая тварь! Она вертится у ног, как собака.

Солнце. Горы. Лежит красивая женщина. Мертвая. Но убита так, что крови не видно. Спит. Острое желание... Мы повернули в село... Две девчонки собирали абрикосы... Как они кричали... Но все принадлежит человеку с ружьем... Видел я там и кандидатов наук, и спортсменов, и зков... Был парень из Нижнего Новгорода, раньше он воевал на стороне Азербайджана, потом прибил к нам – мы на стороне армян... Азербайджанцы его обидели, обещали пятнадцать тысяч «деревянных» в месяц, дали пять. Другой до этого «казачил» в Молдове. Зарабатывал на кооперативную квартиру в Москве. Не хватило, махнул на Кавказ... Был среди нас защитник Белого дома... Был поклонник стихов Есенина, читал нам: «Раньше мне нравилась девушка в белом, а сейчас я люблю в голубом». Этот, как на машину скопил, улетел в Ярославль. Были у нас женщины... Из Москвы, Санкт-Петербурга... Одну муж бросил с двумя маленькими детьми, на работе сократили. Ничем не брезговала, детские игрушки в разбитых домах собирала... Ну, Афган! Родной Афган! Война – бардак и похмелье, жуткое дно и мужской пир...

...Мы вернулись домой. Мы прилетели тем же рейсом Аэрофлота... Полный самолет фруктов и дынь. Никто не различал нас в толпе таких же загоревших и счастливых людей. В аэропорту купили по букету роз... Дома нас ждали... Любимые, чьи фотографии пожелтели в наших нагрудных карманах от чужого солнца. После мата и крови хотелось говорить тихие, нежные слова. Мы купили цветы и рванули домой на такси...

– Я, как пацан в первый раз, дрожу, когда она раздевается... От ее запаха... – сказал Пашка.

Теперь я знаю, что любовь и война похожи... Та же кровавая игра... Коррида... Поединок...

Эх, Пашка! Его никто не ждал дома. Дом был пустой, как брошенный окоп. Она ушла к другому... Он лег на диван и выстрелил себе в рот...

Такая сентиментальна история. Он был мой друг, мой лучший друг. Мы Афган прошли, Карабах... Мы насильовали чужих жен, убивали. Это же война – наш мужской мир. А тут? Жена бросила – и пуля в рот?! Эх, Пашка! Твои родители никому не признались, откуда ты

приехал и привез кучу денег. Они всем рассказывали, что ты строил дома в Степанакерте, разрушенном от землетрясения. А там уже давно не строят, только бомбят. Я пошел в кассу Аэрофлота и купил билет... Назад, на войну... И неважно, с кем и против кого. Мне важно почувствовать в руках оружие, как музыканту инструмент. Дураки! Сидят здесь, американские боевики крутят... Теперь любой может взять билет и слетать на настоящую войну. Поглазеть. Такая роскошь! Я могу жить только там...

Стопор! *(После молчания.)* Город наш не называйте... Из-за родителей... Пусть верят, что мы где-то дома строим...»

---

# ИСТОРИЯ

## О ТОМ, ЧТО ВСЕ РАВНО ЕСТЬ ЕЩЕ ПАРНИ, КОТОРЫМ ЛЕГЧЕ ЗАСТРЕЛИТЬ СЕБЯ, ЧЕМ СТРЕЛЯТЬ В ДРУГИХ

*Владимир И-в,  
водитель, 22 года*

### Из письма матери

«...Если бы мне сказали, что ты хочешь повторить – ничего не хочу повторить. Ощущение зря прожитой жизни. Но жизни ведь и не было, я ее не помню, была только работа. И что мы построили?! Нищая богатая страна, униженные удивительные люди. Сталин залил эту землю кровью, Хрущев сажал на ней кукурузу, а над Брежневым все смеялись, но у себя дома, на кухне. А вольно или невольно мы все в этом участвовали. Много размышляя, я дошла до самого конца и начала гордиться, что мой сын не захотел так жить, что у него хватило силы воли и достоинства уйти... А у меня – нет...

Вместе со своим письмом я посылаю его детские фотографии, у меня их – четыре альбома, сама печатала. Чтобы вы его просто увидели... Умершие дети почему-то всегда вспоминаются маленькими...

Села за письменный стол, взяла ручку... Надо опять пройти тот страшный путь к обрыву... Я – журналист, моя профессия – ручка и бумага. Если отойти, не глядяваться, то еще можно как-то дышать, но стоит приблизиться – в крови захлебнешься. Был у меня такой порыв,



когда привезли его одежду, хранившуюся во время следствия в прокуратуре. Опустила ее в ванну, и закружилась голова, будто не ванная, а вся квартира в крови, и так потянуло в этот алый родной омут... Не верьте, если говорят, что кончают с собой слабые. Уходят сильные, честные, светлые. Слабые могут спиться, могут сойти с ума. А с обрыва падают – неважно: пистолет, веревка, яд – только сильные. Я не смогла.

Мне нужно выжить. Сохранить разум, чтобы понять и рассказать эту обыкновенную страшную историю. Нашу, русскую. Пусть бросят меня в лагерь, запрут в тюрьму, раскаленными щипцами рвут мое тело – не делают больнее. Мне нельзя сделать больнее, чем болит. Нельзя – понимаете?! Когда на экранах мелькают знакомые лики вождей, «железной рукой загонявших человечество в счастье», их снова несут на красных полотнищах, я хочу кричать, как в ту ночь, в то утро...

Там, в прошлом, я люблю только его детство...

Сыну три с половиной года. Я сижу за столом, работаю, оборачиваюсь на тихий крик – и вижу его распластанным на полу.

– Я застрелился.

Смеюсь, беру на руки.

– Ничего смешного, когда человек застрелился, – выговаривает он мне с обидой.

Записывала за ним много забавного, целый блокнот «Юмор в коротких штанишках»: «Посоли мне сахаром лимон. Пускай тетя Нина бросает работу и приезжает на пенсию. Намордник – это такая авоська? Дай мне куриную ножку от петуха...» Я хотела продлить ему детство, этот сладкий, волшебный сон. У меня его не было, как не было юности. Иногда мне кажется, что вместо всей своей жизни я помню только войну. Я и песен никаких не знаю, кроме военных.

Ему девять лет. Умер наш папа.

– Мама, папа ушел так далеко, что я его никогда не увижу?

Долго боялся, когда видел меня спящей:

– Ты будто меня бросила, как папа.

После войны я тоже не любила смотреть на заснувших людей.

Взрослым я помню его таким, каким он лежал в гробу. Почти незнакомый мне человек, что-то в нем напоминало сына, но только напоминало. Эти светло-русые, чуть вьющиеся волосы, прикрытые белой косынкой, чтобы не была видна рана в правом виске... Через четыре с половиной месяца я увижу ее – на фотографии у следовате-

ля, – похожую на оборванную черную звезду. И мне стукнет в сердце война... Как идут наши солдаты и просят: «Девочка, ты туда не смотри... Тебе еще рожать надо будет...» А там – убитые в выгоревших гимнастерках, сложенные, как шпалы... По размеру, по росту... Порванное железом человеческое тело... Его унесли из дома, а я ищу с ним связь, где-то же его душа скитается возле тела, возле своих земных привязанностей. Утром побегу на кладбище, но тут же возвращаюсь... Дома еще везде он: его свитер, его любимая кружка для чая, недочитанная книжка с закладкой... А там передо мной сразу, только я войду в ворота, возникает видение: вот он поднимает пистолет к виску, вытягивается... Вот-вот!!! И лицом вниз, в раздевалке, на затоптанный пол губами... У меня мутился разум, в голове бил колокольный звон. А безумие – оно страшнее смерти. Я стала завидовать матерям, которые сидят у родных могил, падают на них, обнимают...

Как я не любила после войны смотреть на оружие! Оно никогда не было мне красивым. Маленького целую его, целую, чтобы он рос ласковым, нежным. Он не мог ни в кого стрелять, я его очень много в детстве целовала.

Даже не помню, когда, но рано, по-моему, в пятом классе, он решил:

– Буду испытателем машин. Нет ничего красивее, чем авторалли.

Но у него болели почки, он просыпался утром с глубокими подковами-отеками под глазами (могла ли я, пережившая войну, видевшая кровь и смерть, пьяневшая и засыпавшая от голода на ходу, родить здорового ребенка!). Врачи утешали, мол, парень слишком быстро растет, у него клетчатка рыхлая, вот слезы и застаиваются... Он уже поступил в училище, на отделение автослесарей, чтобы изучить машину до последнего болтика. Заканчивался второй год учебы, когда резкая боль в левой почке в один день уложила его в постель – гидронефроз. На рентгеновском снимке не просматривалось ни кусочка здоровой ткани. Я была в отчаянии, пока мы не попали к старому профессору, совершившему чудо: он оперировал несколько часов и спас почку. Через три-четыре года сын был бы совершенно здоров...

Жили мы на одну мою зарплату и его маленькую пенсию, едва хватало от получки до получки. Но тут, у кого-то переодолжив, в чем-то себе отказав, я сделала ему подарок – мотоцикл. Пусть самый дешевый, но мотоцикл – его мечта, его сон, его желание. Мчаться, двигаться, лететь!

– Мама, я так долго пролежал в постели и просидел в кресле, – говорил он, – что мне не семнадцать лет, а сто.

И вот тут первый звонок... Звонок... Знак беды...

Уехал, и нету, нету. Постою на балконе, поброжу по квартире: где он, что с ним? И зачем я купила ему эту страшную красивую игрушку? Может, попал под машину, врезался во что-нибудь. Мотоцикл легкий, как мячик, подбьют, сомнут в кулек. Где он? Что с ним? Поздно ночью слышу во дворе шум (у нас второй этаж – рядом). Выглядываю: мой сын что-то тяжелое тащит на себе, да это же его мотоцикл!

– Ты сам целый? – выбегаю навстречу.

– Мама, они бьют...

– Кто? Что?

– Мама, бьют... Я ничего не нарушил, и права у меня были с собой. Останавливает милиционер и приказывает ехать в отделение. Посадили в камеру, а сами кромсали, ломали мотоцикл. Волок его на себе через весь город. Зря волок – теперь ему место на свалке.

Утром пришли его друзья. Я слышала, как они просвещали, учили:

– Ты что, с луны свалился? Мент останавливает – даешь ему полтинник. Зарплата у них маленькая, понимаешь?

Через какое-то время еще звонок... Знак...

Пошел к товарищам в общежитие. Там сидел милиционер. Учинил допрос, обыск, заставил даже носки снять. Ничего не найдя, все равно записал имя, адрес: утром в таком-то часу явиться в отделение милиции... Для профилактики...

И опять я услышала:

– Там бьют, мама... Туда только попади... Ребята такое рассказывают...

День рождения. Восемнадцать лет. Радостный, веселый ужин.

– Договоримся сразу и навсегда, – был его тост с фужером лимонада, – я человек взрослый. Ищу работу. Никаких звонков и ходатайств. Теперь я все – сам.

Устроился водителем в таксопарк. В первые же дни украли магнитофон. Пообещали научить, как выпивать стакан водки одним духом и трехэтажному мату – посвящение в профессию. В субботу затемно побежал на черный рынок за запчастями, покупал их на собственные – на мамины – деньги.

Не выдержал, поделился со мной:

– Мама, как же можно так жить? Все воруют, обманывают!

Умная, идейно подкованная мама возмутилась:

– Потому что все молчат. Мы все всегда молчим. Ты должен выступить на собрании!

– Спасибо за совет, – сказал он через несколько дней. – Выступил. Аплодисментов не было. После собрания подошел начальник: «Ты у нас сильно грамотный, твою мать. Пиши «по собственному желанию», твою мать, или такую статью впаем, что в тюрьму сядешь, твою мать!» И через час рассчитали. Еще должен остался – тридцать четыре рубля «за пережог горючего».

Я в это время работала на областном радио, «воевала» за справедливость, писала книгу о детях войны. Я уже признавалась, что война была самым сильным впечатлением моей жизни. Не для меня одной, для всех. О войне много писали, говорили, ставились фильмы, спектакли, балеты. Она как бы все еще оставалась нормой, мерой вещей. Сотни, тысячи могил в лесах, у дороги, посреди городов и деревень напоминали и напоминали о ней. Воздвигались новые памятники, монументы, насыпались скифские курганы Славы. Постоянно поддерживалась высокая температура боли... Я думаю, что она делала нас нечувствительными, и мы никак не могли возвратиться назад, к норме. Теперь вспоминаю, как в рассказах бывших фронтовиков меня поражала одна, все время повторяющаяся деталь, то, как долго после войны не восстанавливалось естественное отношение к смерти – страх, недоумение перед ней. Представлялось странным, что люди так сильно плачут над телом и гробом одного человека. Подумаешь: один кто-то умер, одного кого-то не стало! Когда еще совсем недавно они жили, спали, ели, даже любили среди десятков трупов знакомых и незнакомых людей, вспухавших на солнце, как бочки, или превращавшихся под дождем и артиллерийским обстрелом в глину, в грязь, разъезженную дорогу. Я сама помню, как сразу после войны ехала в трамвае, и вдруг крик, кричала женщина, у нее срезали с плеча сумочку. Она настигла и схватила за рукав грязного, оборванного мальчишку: «Помогите! Держите! Вор! Вор!» Его стали все бить, пинать, еще пару минут – и растерзают. У меня подпрыгнуло от радости сердце, когда я увидела в этой вершащей дикий суд толпе молодого офицера, в форме, с орденами: спасет, защитит! То, чему я стала свидетелем, до сих пор бросает меня в дрожь. Он подтянул мальчиш-

ку к себе, взял его за руку и переломил ее, как палку... И вытолкнул из трамвая... Никто не закричал: ни толпа, ни мальчишка...

...Он лежал, прикрытый белой косынкой... И эта черная оборванная звезда... Я такие раны только на войне девочкой видела...

...Сколько было мальчишеской гордости, сияния в глазах, когда его взяли на работу инкассатором в Госбанк:

– Там такие ребята, мама. Бицепсы – во! А главное – теперь ни один гаишник не имеет права остановить мою машину! Понимаешь?! А то махнет палочкой – и гони полтинник. Унижайся.

Вдруг стало реальным наше самое желанное: он будет здоров, через три-четыре месяца врачи пообещали снять с диспансерного учета. Исчезли подковы-отеки, глаза стали большими и голубыми. Теперь он поступит в институт на заочное. Что за испытатель машин без образования, это не баранку обыкновенную крутить. Была у нас мечта недоступная – цветной телевизор. Повезло, взяли в кредит без предварительного взноса. Он смотрел свои любимые авторалли...

Мы были бы счастливы, если бы не один наш разговор...

– Ты всегда меня учила, – начал он этот разговор, – читай, думай. Вот я и думаю. Мои ребята вернулись из армии. Их не узнать. Они там такое видели, пережили, что готовы убивать всех подряд. У нас с тобой интересно получается: живем в одном доме, ты – на светлой стороне, а я – на темной. Ты пишешь очерки о славных тружениках. Тебе вручают почетные грамоты и цветы. Ты заходишь в жизнь с парадного входа, а я с самого нижнего этажа, с подвала...

– Сын, жизнь бывает жестокой, но в ней, как в природе, мрак сменяется светом. Мы победили страшного врага, немыслимого – фашизм. Ты вообразить себе не можешь, что такое был последний день войны! Люди вышли на улицы: плакали, обнимались, целовались, пели, танцевали. Они верили, что все зло исчезнет с земли, все станут добрыми, честными, светлыми... После моря крови, слез... Я это видела девочкой, не могу забыть...

– Честные и светлые в психушках сидели. Их по пальцам можно пересчитать. Ты что, мама, на самом деле верила, что Сахаров – предатель, сумасшедший? А Высоцкий умер, потому что пил... А не от тоски, от беспомощности, что эту китайскую кремлевскую стену не пробить, не взорвать? От этой безысходности можно сойти с ума. Человеческий мозг ее не выдерживает. А ты как с другой планеты на

землю спустилась. Сколько можно о войне?! За сорок с лишним лет пора бы что-нибудь другое сделать и восхитаться...

Был бы с ним рядом отец... Мужчина...

...За стеной раздался бой часов, я насчитала одиннадцать ударов... Где сын? Наш уговор – если он задерживается позже десяти, звонить – выполнялся неукоснительно. Двенадцать... Я металась из комнаты на балкон, с балкона – в комнату. Проверяла: работает ли телефон, исправен ли дверной звонок?

Звонок раздался... Открываю дверь.

– Мама, быстро таксисту два рубля, – с этими словами он вошел в дом, с разбитым багрово-синим лицом, с распухшими руками.

Отдал таксисту деньги. Не опустил, а осел, как непосильный для самого себя мешок, в кресло:

– Завтра приду на работу, получу оружие и перестреляю всю эту сволочь! Последнюю пулю оставлю себе!

Что случилось? Что произошло?

Побыл у приятеля, шел домой. Остановился на мосту – покурить, полюбоваться ночью, звездами (это я в детстве научила его смотреть на звезды в воде – мир в звездах, сын!). Проехала милицейская машина – хорошо, что мимо. Нет, развернулась и назад, к нему. Подбежали два милиционера:

– Ты чего тут стоишь?

– Курю.

– Иди в машину.

– На каком основании?

Они показали ему «основания» – вывернули руки, били по лицу, по голове, затолкали в машину, там топтали сапогами... По оперированной почке... Привезли в отделение милиции. Дежурил пожилой майор, мелькнула надежда: этот разберется, позвонит в инкассацию или домой. Услышал команду:

– В камеру!

В двенадцать часов вывели и приказали подписать одну бумагу, что в пьяном виде мешал отдыху трудящихся, вторую, что все вещи ему возвращены.

– Я не был пьяным и никому не мешал, – еще пробовал он что-то доказывать. – Кроме документов, которые вы мне вернули, в паспорте лежали деньги... Сорок рублей, четыре десятки...

– Посиди еще час в камере, подумай...

Через час он поставил свою подпись под обеими бумагами.

– Мама, но ты мне веришь – я не трус. Я подписал эти бумажки, чтобы вырваться оттуда. Мы ничего с тобой не докажем. Они защищены мундиром, а мы перед ними беззащитны. – И повторил: – Завтра приду на работу, получу оружие и перестреляю эту сволочь! Последнюю пулю оставляю себе. Я не смогу жить после этого унижения! Ты прости меня, мама, но я не смогу.

Всю ночь я стояла перед ним на коленях, умоляла. Он молчал.

До сих пор жалею, что не дала сыну выспаться в ту последнюю его ночь на земле...

Утром улыбнулся мне сквозь разбитое лицо:

– Хорошо, мама, не волнуйся. Я, наверное, и не смогу стрелять в людей...

Как я могла отпустить его?! Не кинулась следом, зная, что через час в его руках будет пистолет? Я ведь думала, что стреляют только на войне... Что война давно кончилась...

Он не вернулся... Ни ночью в половине второго, ни в два часа... Никогда.

В пять утра я добилась ответа:

– Несчастный случай... С оружием...

– Он жив?

– Нет...

В восемь утра я была в инкассации. Меня обступили со всех сторон:

– Мы спросили, кто его так разделал. Он махнул рукой: мужские дела... Подумали, может, из-за девчонки какой... Если бы знали... Он был очень хорошим парнем... Можно сказать – большой ребенок...

Спасибо, люди!

В девять утра я была у начальника городской милиции. Тот день я помню по часам, по минутам. Мозг работал точно и ясно. Я бежала по следу, как собака-ищейка, за убийцей... За теми, кто убил его до того, как он зашел в раздевалку и выстрелил себе в висок. Кто он? Кто они?

Начальник милиции прочел мое заявление:

– А может, у него и не было сорока рублей. А вы милицию обвиняете...

Я закричала впервые за всю ту невыносимую ночь, за осиротившее меня утро:

– Вы больше ничего не прочли в моём заявлении?! У меня сына убили!!...

Через несколько лет дело прекратили «за отсутствием состава преступления». Мой сын был прав: эту стену не прошибешь. Я искала убийц... Кто он? Кто они? Уничтожались документы, отказывались от своих первых показаний запуганные милицией свидетели... Менялись лишь следователи... Я искала убийцу... Боялась сойти с ума от этих слов, сожалений, упреков: что же он, как ребенок, подумаешь, стукнули в милиции... Из-за этого стреляться? Да мы все так живем... Псих...

Да, на войне стреляют в других... И очень редко в себя. На войне у людей другая психика, иначе не выжить, не уцелеть... Я не вернулась с войны... Мы все не вернулись с войны... И я стала гордиться тем, что он не захотел так жить... Фамилию мою не называйте. Назовете, мне будет снова страшно выйти на улицу. Не верю, что мы живем в новом мире...»



---

## ИСТОРИЯ

### О ТОМ, ЧТО В СМЕРТИ ЕСТЬ ЧТО-ТО ЖЕНСКОЕ...

*Светлана Бутрамеева,  
инженер, 36 лет*

«У меня сейчас мир как бы раздвинулся... Сначала, когда все причиняло боль, любое движение: глотнуть воздух, пошевелить рукой, открыть глаза, весь мир – это было мое тело. Потом мир раздвинулся до палаты, я увидела белый потолок, нянечку... Я ползла взглядом по вещам и узнавала их: тумбочка, таблетка, градусник... Потом, когда я стала пробовать ходить, мир раздвинулся до окна, до улицы, и там я узнавала все наново: дерево, трамвай, дети... Я очень долго возвращалась... Очень долго я могла думать только о том, что видела, о предметах, которые окружали меня, даже о людях, которые были рядом, я думала, как о предметах: синий... серый... высокий... Когда я стала способна думать не только о том, что вижу, но и о том, что помню, начались воспоминания. До этого я была в безвоздушном пространстве, вне времени, я ничего в себя не впускала – ни прошлое, ни будущее. Я вспомнила то, что со мной произошло... Это как припадок... Как молния... Я вспомнила, что у меня есть муж и сын... И что я их люблю... Но тут же мысль: лучше бы их никогда у меня не было... Ни свадьбы, ни моей беременности... Я ждала, я хотела девочку. Я любила кукол, у меня осталось много кукол. Мысль, что я их люблю, но без них мне лучше. Что я хотела бы отправиться в кругосветное путешествие, но в одиночку... Что я люблю жизнь, но не ту, которой живу...

Рядом со мной умирала девушка, она умирала несколько дней. Она лежала вся в этих трубках, даже кричать не могла: во рту – трубка. Она, как и я, выпила уксусной эссенции... Почему-то ее не могли спасти... Я смотрела на эти трубки и увидела, представила в подробностях: вот это я лежу, я умерла, но я не знаю, что я умерла, что меня больше нет. Я сходила туда... Я вернулась... Но побывала там в уме, в образе... Я хотела переселиться... В мыслях я уже жила там... Я вообразила себе, что тот мир совершеннее... Я уже не та, какая была до этого, я никогда не буду прежней. Как это выразиться? Я уже не совсем земная, я уже где-то побывала...

Но ни мужу, ни сыну я не могу этого рассказать. Я могу это рассказать только незнакомым людям... Если вы поменяете мою фамилию, я вам признаюсь... Какой странный сон я видела здесь, в больнице. Как будто я в больнице и одновременно – дома. Я лечу над всем... Я вижу мужа, он лежит на диване и читает газеты, как будто это мой муж. А я – это я, и в то же время я – это совсем не я... Я набрасываюсь на своего мужа, срываю с него одежды, я бесстыдно раздеваю его и насирую, но в то же время я понимаю, что этого не может быть. Но все это я проделываю со сладострастием, которого никогда не испытывала... Даже в близости с ним... *(Расстерянно и испуганно замалкает.)* Как вы думаете, у меня нормально с психикой? Я боюсь разговаривать с врачом, он не верит фантазиям... А знаете, как я вышла замуж? Я вышла замуж в двадцать лет. Он меня поцеловал, и я решила, раз он меня поцеловал, я позволила себя поцеловать, значит, я должна выйти за него замуж. *(Смеется.)* Я была еще девчонка, кроме детства, у меня никакого другого опыта жизни не было. *(Долго молчит.)* Мне нельзя больше быть здесь... Видеть это... Мне надо переместиться... Но и домой я не хочу... Муж вчера приходил:  
– Так нам самим стирать грязное белье или подождать тебя?  
– Носки постирайте, а остальное оставьте, – сказала я.

Как в пьесе (когда-то в институте я увлекалась театром): одно – то, что я думаю, второе – то, что я говорю, третье – то, что происходит. Им нужна домработница... У них кучи грязного белья и немойтой посуды, они жуют и перехватывают что-то всухомятку. Я их люблю... Я должна вернуться...

Умирать унизительно. Попадаешь во власть людей не только близких, но и чужих. Они умывают, одевают, отпевают... Если бы бесследно исчезнуть, а то остается тело, с которым продолжают возиться. Это со мной случилось... Как молния... Как припадок...

...Мои родители – рабочие на фарфоровом заводе. Я у них одна. Они меня любили, баловали. Когда я выходила замуж, они дали мне все: мебель, посуду, ковер, постельное белье, подушки. Всю жизнь они это собирали, копили, я не помню, чтобы они куда-нибудь съездили на курорт или отдохнуть, они все время работали и говорили, что живут для меня. Я действительно не могу вспомнить, чтобы они сделали что-то для себя, кроме необходимого. Конечно, тогда жизнь была проще, потому что все жили одинаково, пусть кто-то чуть беднее, кто-то чуть богаче, но в общем-то все были равны. И в той жизни я знала, как жить: я должна была хорошо учиться, чтобы поступить в институт, после института выйти замуж. Мне кажется, что я прожила бы свою жизнь так, как прожили ее мои родители. Но все вдруг поменялось... Нас кинули в капитализм... И дело даже не в идеологии... Сломали схему, по которой я умела жить. Мы все были роботы, нас запрограммировали... И в то же время, например, я была идеалистка. Я была идеалистка в том смысле, что не знала свое место в жизни, как теперь говорят, свою цену. Жизнь не требовала от меня таких усилий, какие нужны сейчас, я могла мечтать. Вы оглянитесь вокруг: сколько у нас идеалистов, нереальных людей! Я любила проснуться утром, лежать с открытыми глазами и мечтать о чем-то радостном, далеком, я даже не обрисую детали, но чувства свои помню... Мне было легко жить... Мне все было понятно... Вот скопим деньги и купим машину... Построим дачу... Вырастет сын...

Свобода. Что это такое? Не знаю.

– Мама, – спрашивает сын, – ты знаешь, что такое роскошь?

Не знаю. Сломали схему... Раньше была одна знаковая система, сейчас совершенно другая... Я неожиданно оказалась за бортом... Я работала в большом проектно-институте – полторы тысячи человек, его еще называли «женский институт», потому что инженер у нас уже давно женская профессия. Мы проектировали конезаводы, животноводческие фермы... И вот нас кинули в капитализм... Первый слух: готовят списки на сокращение... Во время обеда купили с девочками торт, пьем чай и гадаем, высчитываем: кого? Уже известно, что мужчин не сокращают, у нас их и так мало, сокращают одних женщин. Второй слух: матерей-одиночек, разведенных и тех, кому осталось несколько лет до пенсии, тоже не трогают. Все начинаем собирать справки, некоторые даже разводятся. Курим и плачем в туалете. Наконец вывесили приказ: я нахожу свою фамилию... Куда бежать? На кух-

ню, в постель? Каждый выбрал свое. Я не борец, меня учили жить по схеме, а не бороться за свое место под солнцем. Мне обещали, что места под солнцем хватит всем. А теперь мне говорят, что надо жить по законам Дарвина, тогда у нас будет изобилие. Изобилие для сильных... А я – из слабых... Пошла на биржу труда... А там тысячи таких женщин, как я, после института, в основном интеллигентные женщины: инженеры, архитекторы, учителя... А требуются штукатуры, маляры, каменщики, крановщики, разнорабочие... Стала читать объявления в газетах, на столбах, на стенах домов. Требуются... Требуются... Требуются... Опять: штукатуры, каменщики... И молодые женщины для работы в коммерческих магазинах, офисах. Несколько раз сходила по этим адресам: кто за плечи берет, кто за коленку...

– Вы женщина без комплексов? Нам нужны женщины без комплексов...

– Я инженер.

– Инженеры нам не нужны.

И тогда я себе сказала: у тебя есть муж, у тебя есть сын. У тебя есть дом. Им нравится, когда мама красивая. Я буду делать красивые прически. Они любят, когда в доме пахнет домашним печеньем. Я буду готовить им вкусные обеды. Муж всегда хотел, чтобы я не работала, сидела дома. У очага. А тут еще у него хорошо пошли дела: он – архитектор, у них много заказов. Его денег нам хватает... На ту обычную жизнь, к которой мы привыкли, а о роскоши, об излишествах я представления не имею. Когда я так решила, мне показалось, что на какой-то миг я обрела освобождение и снова поняла, как мне надо жить. Я даже себя уговорила, что я домашний человек, а не общественный. Но первые дни по привычке заводила будильник, вскакивала в шесть часов утра. В окно гляну: все куда-то бегут, торопятся, а я – дома, не вместе со всеми, не в этой толпе. Недоумение: почему? Я привыкла принадлежать толпе, давно заведенному кем-то порядку, ритму. Это так просто и удобно. Мне некогда было задумываться: какая я, что люблю, что со мной происходит, что со всеми происходит? Утром даже забывала свои сны, они ускользали, мне некогда было докапываться до чего-то тайного в себе. Тайного не было. Душевная жизнь, наверное, заменялась работой, и даже не самой работой, а временем, проведенным в институте. Поэтому мне больше всего не хватало девчонок из моего отдела, именно девчонок, нашего трепа.

Наш отдел – это отдел множительной техники, сюда приносили готовые чертежи. Мы их размножали и отдавали заказчикам. Сидишь и складываешь бумажки, я любила, чтобы аккуратно, стопочкой. Работа была на втором плане, а на первом – наше общение, и не общение это, а душевные посиделки, треп. Раза три за день мы пили чай, ну, и каждая рассказывала о своем. Привирали, выдумывали. Отмечали все дни рождения и праздники. Складывались по двадцатипятке на крестины, на родины, на свадьбу. А после работы бежишь домой, по дороге надо заскочить в магазины: в одном – постоять в очереди за мясом, в другом – яйца дают. Там геркулес выбросили. Два автобуса пропустишь, битком набитые, в третий наконец втиснешься. Домой приходишь уставшая, измученная. Не хочется думать ни о чем, отбрасываешь от себя все мысли, и у тебя полное право на то, чтобы отключиться. Ты полностью истратилась, ты чувствуешь себя мученицей, жертвой. Мне кажется, если бы сейчас все у нас было в магазинах, не стояли бы люди в этих очередях днем и ночью за молоком и мылом, хватало денег – самоубийств было бы еще больше. Появились бы вопросы, они всплыли бы тут же: почему мы так живем, кто мы? На них надо было бы отвечать. А сейчас спасает то, что надо бороться за выживание. Все надо достать, выбить, скопить, подождать, вытребовать... А я выпала из этой тележки...

Теперь я вязала свитера, варила обеды, мыла полы, чистила окна. И в один из дней обнаружила, что они меня не замечают. Муж приходил с работы, заваливался на диван и читал газеты. Сын возвращался из школы, обедал и закрывался в своей комнате. Включал музыку. Со мной никто не разговаривал. Подай... Принеси... Где чистая рубашка? Где чистые носки? Что у нас на обед? Я дома жила, а они возвращались сюда переночевать, перекусить, сменить рубашку, сменить ботинки, чтобы их обмыли, обстирали. Когда сын был в школе, я заходила и сидела в его комнате. Так как он со мной общался мало, не откровенничал, я хотела приблизиться к нему через его вещи. Там было все новое, с незнакомыми наклейками, начиная с зубной щетки. Чужие песни, майки, сигареты, значки, носки... Как будто рядом со мной жил какой-то иностранец...

– Сынуля, – спрашивала я, – есть у тебя мечта? Ведь тебе уже шестнадцать лет. Ты, конечно, поступишь в институт?

– Зачем? Я стану бизнесменом. У меня будет много денег.

– А зачем тебе много денег?

– Я хочу жить, хочу развлекаться. Деньги – это свобода. Это личная свобода. Ты, мама, знаешь, что это такое?

Не знаю. Для меня деньги всегда были материальны – это машина, дача, наконец, шуба или возможность купить парное мясо, фрукты с базара. О том, что деньги – это еще и свобода, я не предполагала. Я об этом не задумывалась, я вообще никогда не размышляла о свободе. Мне хотелось, чтобы у меня все было: дом, еда, одежда – все то, что сын сейчас называет «комфортом раба». Жизнь для него – праздник, он чувствует ее быстротечность, а мне она казалась прочнее. Он не хочет ждать, он хочет все сразу. Сейчас! Его поколение уже не убедить, не призовешь стать удобрением для будущего.. Я подслушала, о чем они говорят, его друзья. Каждый мечтает иметь свое дело: киоск, магазин.. От одной только девочки я услышала:

– У меня будет ателье. Я стану шить для бедных.

Кто-то тут же ее обескуражил:

– Ты разоришься.

И девочка замолчала. Все они хотят праздника...

Но растет же рядом соседский мальчик: запоем читает книги, мастерит корабли и хочет стать мореплавателем. Вот это мой мальчик, я его понимаю...

Но вдруг мой сын подойдет ко мне, обнимет, поцелует:

– Мама, я, может, завтра даже полы для тебя вымою.

Такого никогда не бывает, но все равно приятно. Я это помню.

Муж лежит на диване и читает газеты. Он принес в дом деньги... Остальное должна делать женщина, особенно если она дома. В воскресенье он любит пойти в парк и кататься на качелях. Раньше мы катались и целовались, теперь только катаемся.

Я убежала от них к подружкам. Еще недавно... Совсем недавно... Мы все были равны, жили одной жизнью... А теперь? Одна удивлялась:

– Деньги приносит? Что тебе еще надо? Главное – бабки. А ты еще каких-то отношений хочешь. Моя мечта – выйти замуж за иностранца или богатого кооператора.

У другой муж запил. Ей не до меня. В доме постоянно нет денег, сына голодного в школу отправляет и сама зимой ходит в старой осенней куртке и легких туфлях в мороз. У третьей муж стал миллионером. Что-то покупает, что-то продает. А она работает кочегаром, ну, разумеется, она уголь лопатой в топку не бросает, кнопки нажимает, но все равно им

за вредность там молоко дают. У мужа – миллионы, а жена кочегарит, как говорится, нашет. Ей все время кажется, что кончатся их миллионы тем, что его посадят. Кому это у нас нравится, что у другого есть миллионы, а у него нет?! Или сожгут, или посадят. А у нее двое детей. Увенчались мои походы тем, что я поняла: моя душа – моя территория, я должна ее защищать, никого сюда не впускать. Разломают, разнесут, то ли из любопытства, то ли из сострадания. Надо учиться жить одной. А как? Я оказалась неспособной к одиночеству. Все время надо выбирать. Самой. Я измучилась. Хотела пошить халат, ходить дома в красивом халате. Чтобы мои ахнули! Покрой никак не подберу. Привыкла: юбка, кофта, джинсы. Как и раньше, нажарю котлет на всю неделю. А дальше что? Я не люблю кухню, не люблю наряжаться, краситься... Вышло, что дома я тоже не «профессионал»... И тут мой удел – снимать копии и размножать: платье как у всех, котлеты как у всех... Со мной не было праздника...

Может, щенка завести? Откуда люди взяли, что они, люди, лучше зверей и птиц?

...Мне разонравилось все в себе: мои волосы, моя походка... Со мной что-то стало происходить... Не только в душе, но и в самом организме... Это как припадок... Как молния... Слышу, что открывается дверь, я уже по повороту ключа угадываю: муж или сын. Муж! На столе бутылка с уксусной эссенцией... Я успела выпить лишь половину... Быстренько глотаю то, что осталось... Выбрасываю в мусоропровод бутылку... Чтобы никаких следов... Чтобы он не уговорил меня не умирать... Когда я его не вижу, когда он мне ничего не говорит, я знаю, что его слова... Это не любовь... Ему просто удобно, чтобы я была... Как это? Комфорт раба... Я не хочу быть рабой... Рабыней... Я так и не поняла, кто я... Мне лучше переселиться... И начать все сначала. Но перед тем, как выпить уксус... Это просто смешно... Неужели я не понимала, что исчезаю насовсем? Перед этим я посмотрела очередную, сто какую-то... серию фильма «Богатые тоже плачут», этот мексиканский киносериял, который сейчас вся страна смотрит... Про любовь... Как это я умру, когда через полчаса кино? Я хотела на самом деле умереть... Я мечтала умереть... но мне все равно было интересно: они поженьтся или нет? Бывает ли кто-нибудь счастлив? Как быть счастливой?

От сына мы скрыли... Теперь я колеблюсь: признаться или не признаться? Как-то он мне сказал, что в смерти есть что-то женское... Что он хотел сказать?»

---

## ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ МОГ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ...

*Виктор Иванович Марутин,  
фотограф, 55 лет*

### Из рассказа дочери

«Он уехал на дачу... Это он нам сказал, что поедет на дачу. Сошел с электрички, его видели: с рюкзаком, с охотничьим ружьем и фотоаппаратом. И повернул в лес... По заячьему следу... Это нам тоже рассказывали. Было воскресенье. Хороший зимний день. Блестело чистое солнце. Много людей ехало на дачу...

Он был плохой охотник... Не любил убивать, не было в нем этого охотничьего азарта... Хотя всегда брал с собой ружье. Но привозил домой чаще всего не убитую дичь, а новые снимки. Птиц, зверей... Ему нравилось снимать зиму и осень. Лето почему-то не любил. Моя любимая фотография, однажды подаренная мне отцом на день рождения, – изумленный заяц... Он близко-близко наскочил на человека и не испугался, а изумился... Эта фотография была на нескольких выставках. Получила приз. Отец объездил всю страну. Снимал знаменитых ученых, космонавтов, передовых доярок, передовых пастухов и рыбаков, стройки и новостройки пятилетки. Но призы и дипломы получал за птиц и зверей. *(Пауза.)*

Стрелял он из своего охотничьего ружья... Прямо себе в сердце...



Мы нашли его через три дня... Мы искали его по заячьим следам. (Пауза.) Я убеждена... Никто не докажет... Он все унес с собой... Это личное... Тайное...

Может быть, это был страх перед уродливостью финала? Он хотел умереть сильным... (Молчит.)

Над его рабочим столом всегда висел портрет Хемингуэя...

Или была у него какая-то своя версия жизни. И она – бах! – и рухнула. А новая версия не придумана...

Мама? Чем жила мама? Она вставала в шесть часов утра, вымывала квартиру...

Можно многое вспомнить... Остались его записные книжки... Я их прочла. Я поняла, что не знала своего отца, я читала записи почти незнакомого мне человека. (Молчит.) Со мной он скорее... защищал свое время... А сам мучился... Метался... (Молчит.)

Наверное, главная причина там... В нем... (Молчит.)

Я знала о нем несколько вещей, которые для меня создавали образ моего отца. (Молчит.) Он родился в войну... Его преследовали какие-то видения оттуда... Но он никогда о них не рассказывал... (Молчит.) А мы любили с ним говорить о снах. О причудах ночной фантазии. Он ведь писал стихи... Для себя... Писал всю жизнь... Это вторая вещь, которую я о нем знала. Почему-то все свои стихи он сжег. Стихи не остались... (Молчит.)

Он любил другую женщину. Не мою маму. Когда-то он любил мою маму. Мама теперь вспоминает, как он заваливал ее цветами. И говорил: «Мне все в тебе нравится! Мне все в тебе нравится!»

Я нечаянно увидела его на улице... Два года назад... Он стоял с букетом цветов, кого-то ждал. Я увидела его спину... А я только что вышла замуж... И я уже знала... Узнала эту спину, это напряжение... Мальчишеское... Охотничье...

Навстречу ему шла молодая девушка... Бежала... (Молчит.)

Я не запомнила ее лица. Я запомнила только, что это лицо было очень радостное. Счастливое.

Я побежала в другую сторону... (Молчит.)

Когда я вспоминала ее лицо... Ее лицо много раз всплывало в моей памяти... Когда я его вспоминала, меня не покидало чувство, что эта история будет кому-то из них стоить жизни. (Молчит.)

Без состояния любви он жить не мог, может быть, даже не любви,

а влюбленности он всегда хотел. Он физически не мог иначе существовать. *(Молчит.)* Хотя казалось всегда, что он занят другим. Фотографиями. Командировками. Своей газетой. Очередной выставкой.

Мать знала, как ему может быть хорошо. Как им будет хорошо! Она его никогда бы не отпустила... *(Молчит.)*

Она любит его... Она сейчас его любит еще сильнее... После смерти... Она до сих пор не догадывается, я ей не призналась ни тогда, ни после, что я их видела. Вдвоем. Моя мама... Она писала письма в его редакцию, в ЦК партии. В институт, где училась эта девушка. Ее родителям. Она требовала, чтобы ей вернули мужа. Чтобы государство, чтобы партия (а отец был членом партии) вернули ей мужа и любовь. Безумное поколение! Но отец был лучше их всех, он был лучший из них... *(Молчит.)* Мы об этом сейчас с ней не вспоминаем. Иногда мама даже приснится мне и во сне начинает грубо, жестоко со мной говорить. Просит снова написать какие-то бумаги... А я не подписываю... *(Молчит.)* В жизни... При встречах мы об этом с ней не вспоминаем. Она сейчас всем рассказывает, как отец заваливал ее цветами... И говорил: «Мне все в тебе нравится! Мне все в тебе нравится!» И был в военной форме. Офицер. И все девочки на почте ей завидовали, она работала телефонисткой. *(Молчит.)*

Зачем он это сделал... Из охотничьего ружья... Я ему теперь все время куда-то звоню... Я ночами кручу телефон... Диск срывается... Прокручивается... Никак не наберу нужную цифру... Я набираю, набираю до бесконечности... Мне кажется, что утром у меня болят пальцы...

Я у него прочла... В записных книжках... Он писал: «Теперь мне больше всего хочется любить свою дочь».

Станный сон... Станный сон был... Мы бежим, бежим с отцом, убегаем... А потом куда-то падаем... Проваливаемся... Он то неожиданно мертвый, то неожиданно живой... *(Молчит.)*

Эта связанность наших жизней... Я хочу освободиться...

Я рассказала сон своему мужу. Я просила его помочь:

– Ты должен меня сильнее любить.

Мне кажется, я так чувствую, что мертвый отец меня очень любит. Он любит меня больше всех.

Я тоже его не хотела отдавать той девушке... Я не отдала бы... *(Молчит.)*

Это личное... Тайное... Не называйте его настоящей фамилии... Моя мама... Она всем рассказывает, как он ей дарил цветы... Мне ее жалко... Она как безумная... Снова пишет письма... Той девушке... Я не знаю,

что она ей сейчас пишет, даже предположить не могу. Ей хочется бесконечно с кем-нибудь говорить об отце... Вспоминать... *(Пауза.)*

Это личное... Тайное... Я о чем-то только догадываюсь... Мне кажется... *(Пауза.)* Я думаю, что ему надо было придумывать новую версию жизни... *(Молчит.)*

Детские воспоминания об отце у меня связаны всегда с высотой, полетом – к нему на плечи, к потолку. Я сижу у него «на загровке», эта игра у нас называлась «папа-лошадка»... Лечу в воздух, это мы играем «в самолет»... Первая его профессия – военный летчик... Он учился летать в планерной школе. Учили их списанные на гражданку военные летчики. Фанаты! Отец вспоминал, что, когда он, уже взрослый, увидев, на чем они летали, удивился, как они живы остались. Самодельные планеры... Деревянные реечки, обитые перкалью... марлей... Все управление – ручка и педаль...

– Но зато, когда летишь, – говорил он, – ты видишь птиц, ты видишь небо. Ты чувствуешь крылья...

Наверное, потом это становится мечтой? Необходимость? *(Молчит.)* Небо меняет психику людей... Высота... Я знакома с его друзьями, бывшими военными летчиками. Они всегда были чуть-чуть вышекоммерны ко всем остальным: они – летали!!

Я любила своего отца. Но я не любила его поколение. И я не боюсь этих слов. Отец был лучший из них. Но и его сломали: он стал как все. Мучился. Он мучился этим. *(Пауза.)* Собираясь вместе, они много говорили о войне. Победители! Победа в войне – это как бы найденный смысл их жизни. Пусть они сами не воевали, но они чувствовали себя детьми победы. Они победили... Они освоили целинные земли... Они полетели в космос... Они строили коммунизм... Они шутили на этот счет, сочиняли анекдоты. Но они верили в эти бумажные идеалы. Лицемерные и наивные идеалы. Я это для себя определяю как эмоциональный социализм. Все они были эмоциональными социалистами. Идеалисты! Слепцы! Но то было их жизнью, смыслом их жизни. Смысл жизни, как личная проблема, для них не существовал. Я помню, я хорошо помню, что даже за столом в праздники они говорили о России, а не о своей жизни... Такое это поколение... Такие люди... *(Молчит.)* Трагедия этого поколения в том, что оно жило в придуманном мире, и наконец реальность ворвалась в их жизнь... Из поезда, который мчался в социализм, в прекрасное далеко, им надо было пересест в поезд с курсом – на капи-

тализм. В опустошенную реальность... В конкуренцию... В другие человеческие отношения... Без иллюзий... На ходу вскочить в новый состав... Мгновенно... В моей жизни это могло вместиться, а в его – нет. Слишком стремительно все произошло, слишком неожиданно. Они ведь романтики!! А тут надо было придумывать новую версию жизни... Жесткую, рациональную. Жизнь взывала, кричала: «Меняй! Меняй!» А он к этой новой роли был не готов. *(Молчит.)* Они все не готовы... Они не готовы умом, сердцем... Они не готовы на физиологическом уровне... Им бы драться на баррикадах... Крепко дружить... Петь одни песни, мечтать о «голубых городах» и тосковать о несделанном, пить... А тут надо не воевать, а бороться. Бороться-то нужно с самим собой: со своим неумением, со своей ленью, со своей психологией... Они это не умкоут... *(Пауза.)*

У отца уже было две жизни: сначала он – военный летчик, потом – журналист. Это много для одного человека. Достаточно. *(Молчит.)* Это личное... Тайное...

Я недовольна собой... Сумбурно... Путанно... Я ничего не объяснила... Это же – жизнь... И смерть...

А что я знаю?!

Я любила отца. У нас разные профессии. Я – экономист, я всю жизнь считаю, а он наблюдал жизнь, мечтал... Он из того поколения, которое слишком много значения придавало словам. Слишком много смысла. *(Молчит.)*

Кто-то каждый день приносит на его могилу один цветок... Почему – белый? Или белую розу... Или ромашку...

Наверное, это она. *(Молчит.)* Он писал стихи. Он всю жизнь писал наивные, мальчишеские стихи... И любил фотографировать птиц и зверей... Мой отец...» *(Замолкает и дальше отказывается продолжать разговор.)*

### **Из записных книжек отца:**

«Где же ты, хладнокровный историк?

Вот мысль А. Платонова, что смерть не однажды нас посещает...

Русский человек не хочет просто жить, он хочет жить для чего-то... Он хочет участвовать в великом деле...

Идеализация будущего – это наше духовное состояние, форма нашего существования в истории. Оно и загубило нашу русскую жизнь.

В сегодняшних газетах вдруг прочтешь:

«До середины 80-х годов Союз представлял собой многомиллионное человеческое поголовье с хорошо обученным механизмом азиатских табунщиков, призванных надзирать за планомерной эксплуатацией скотопромышленного сырья» (газета «Московский комсомолец»).

«Многомиллионное человеческое поголовье», «скотопромышленное сырье»...

А это была твоя жизнь...

– Я люблю тебя, – сказала она.

– Может, ты любишь не меня, а саму любовь? – спросил я.

– Я люблю тебя, – опять сказала она.

Женщина – это что-то другое...

У В. Н. теперь свое дело. Продает куда-то за границу наши спички. Имеет капитал.

За бутылкой водки он мне вчера признался, что иногда ему хочется петь с кем-нибудь наши комсомольские песни.

Я шел домой и попробовал вспомнить:

*Дан приказ ему на запад,*

*Ей в другую сторону.*

*Уходили комсомолцы*

*На гражданскую войну.*

Что мы знаем о нашей ненависти и любви? А кто-то напишет: «многомиллионное человеческое поголовье», «скотопромышленное сырье»...

Лежал... Смотрел в потолок... И думал... А внутри уже работал, был запущен какой-то механизм.

В дороге.

Нам дай покопаться в звездах, а не сделать что-то на земле. Хотя бы – нормальные дороги. Хороший асфальт положить.

Ты жил в то время. И вдруг ты виноват, что жил в то время. Мучился. Страдал. Неважно. Ты все равно виноват.

О стариках.

Их лишили всего. Даже возможности жить прошлым...

Помню. Барабан крутится... Бросаешь копеечку... Белочка достает твою судьбу... Записочку в зубах тебе несет... То ли кто-то вернется... То ли тоскует в плену...

А я ждал папу... А папа уже лежал в земле под Смоленском. С сорок первого.

Из разговора в одной школе со старшеклассниками.

Они даже телевизор не смотрят. Политика их не интересует.

Но в дни августовского путча были на улицах с листовками. Сейчас, говорят, уже не пойдут к Белому дому. Они чувствуют себя обманутыми...

Я оделся, побрился. Осень. Ходил по городу, забредал в любимые книжные магазины...

Это мои воспоминания об августе 91-го, когда мы победили. Когда Горбачев вернулся из Фороса...

Еще я помню, как солдаты сидели на танках и ели мороженое...

Сажу у телевизора... Идет съезд.

Нет ни одного человека на земном шаре, в котором было бы столько общественного, как в нас. Живем событиями, а не жизнью. Что сказал Ельцин? Что ему ответил Хасбулатов?

Нет чтобы выпить. Или пойти к женщине. На лыжах покататься.

Идет съезд...

Идешь по знакомым улицам: французский магазин, немецкий, польский... Я подумал, что уже несколько лет не могу купить себе советские носки, советские трусы... Советские сигареты...

Что с нами произошло? Куда мы делись?

Я думал, что он принес статью или свои фотографии, а он зашел поговорить. Студент. Рассказал, что ходил на митинги демократов.

Потом был на собраниях национал-патриотов. Познакомился с фашистами. Теперь – к нам, в редакцию:

– Что делать?

Вечный русский вопрос. Вечный русский юноша.

– Мне обязательно кто-нибудь даст винтовку, – сказал, прощаясь.

– Мой ум протестует – не могу убивать. Но они не простят.

– Кто, они?

– Еще не знаю...

Сегодня разговаривал с убийцей. Красивая молодая женщина. Убила мужа... топором. Были моменты, когда я смотрел на нее, слушал, и она мне нравилась. Я ловил себя на мысли, что она мне нравится. Проникался ее словами, чувствами, я как бы с ней проживал ее жизнь. И не находил в себе ни отвращения, ни негодования.

По дороге в редакцию думал о том, что у нас грань между преступным миром и нормальным миром размыта.

Что-то главное ускользнуло из моих мыслей. Надо сразу записывать, не откладывая...

Приказ Сталина в 42-м году предписывал солдатам в случае угрозы плена – самоубийство.

Подвиг Гастелло, Александра Матросова? Сгореть вместе с самолетом, превратившись в горящую бомбу, и, упав на мишень, закрыть своим телом чужой дот... Что это, если не самоубийство?

Я только и слышу со всех сторон: жизнь – борьба. Сильный побеждает слабого. Естественный закон. Слабые никому не нужны.

Это – фашизм... Это – свастика...

Кто-то сказал о нашем народе – народ-большевик.

Вчера опять в нашей газете заметка о том, как подожгли усадьбу арендатора... Люди успели спастись... Сгорели животные...

– Мы ничего не имели, но мы были счастливы, – уверена моя мама.

Почему для счастья нам нужен винегрет и вши? А если искра или хотя бы сахар без талонов? Тогда – что?

Раньше о смысле жизни говорили больше, когда нельзя было. Теперь не говорят.

– Надо искать положительных героев, – сказал на планерке редактор. – Хватит плевать в прошлое...

Герой?! Он готов себя отдать во имя идеи. Если он готов отдать себя, свою жизнь, то что он способен с другим человеком сотворить?

Вчера опять с В.Н. пили водку. Он вернулся из Америки.

– Все ничего, – говорил. – Но когда я попал в детский магазин игрушек, мне стало плохо. Поют, играют, сверкают... Я понял, откуда я приехал. Напились.

Уехал бы далеко-далеко, где нет ни белых, ни красных, ни красно-коричневых...

А не прав ли Ницше, уверенный, что «вера» была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру?

Странно трогать вещи и думать, что они будут, а тебя не будет. Этот письменный стол, даже пластмассовая авторучка...

Хочу поехать в свою деревню. Это трудно поддается объяснению... Ты был мальчик, а она – девочка... Ты дергал ее за косичку. Проходит много лет, и тебе так хочется видеть эту девочку.

А у нее пятеро детей и муж – пьяница.

Из разговоров с В.Н. С человеком, у которого сотни миллионов в кармане.

Соседи пишут на него анонимки в милицию и кэбэбэ (а это наверняка уже по привычке): откуда, мол, у него эти миллионы? У нас нет, а у него есть, мы же вот только-только все были равны.

Коммунизм не построили, но коммунистическое сознание воспитали...

Не будет у нас дела! Не дадут! И В.Н. это чувствует...

Утопия... Нельзя ее превращать в жизнь. Но мы все равно любим и будем любить не эту реальную жизнь, а ту... Жизнь, которая впереди...



Умер друг. Что осталось? Дети и жена, перессорившиеся из-за дачи и новеньких «Жигулей»?

Осталась тень...

В. Маяковский: «Единица – вздор, единица – ноль». Я его боюсь. Я вынес его книги из своего кабинета...

Певец насилия. Я способен это сказать... Я, который вырос на Маяковском... Он был мой любимый поэт...

Кусочками сдираю с себя старую кожу... Пытка...

Никакого желания идти на улицу, делать что-то. Лучше ничего не делать. Ни добра, ни зла. То, что сегодня – добро, завтра окажется – зло.

Думал о наших наивных и счастливых 60-х годах. Мы – потерянное поколение. Надеялись на что-то. Не получилось. Мы это уже не догоним...

Что делать? Ничего. Потому что «этот замысел превышает человеческие силы».

Отец В.Н. отбыл пятнадцать лет в колымских лагерях. Я устал, а он хочет жить. По утрам делает физзарядку, вечером бегаёт вдоль реки. Зимой – на лыжах. Старик хочет жить! Как же после всего, что с ним было, он хочет жить? Да ещё с такой сверхъестественной силой хочет жить?!!

- Почему ты решила, что мы должны быть счастливы? – спросил я Н.
- Потому что я этого хочу, – ответила она.

Из газеты:

«...желание спрятаться в смерть, как в кокон, как в материнскую утробу (Фрейд), как в освобождение от мучительной необходимости решать проблему смысла своего человеческого существования».

Вчера опять у меня была мать, у которой единственный сын погиб в Афганистане. Той страны, которая их туда посылала, уже нет. Куда ей идти со своими бумажками? Со своими болезнями? Его орденами?..

Надежда похищена...

Я как будто все помню. Откуда? На коленях у матери... Передается это близко-близко, как будто видел...

Я сидел на аккордеоне... Бабушка посадила меня в корыто и крестила венником...

Дед Ефим водил травинкой по вывернутому плугом черепу и говорил: «Когда-то это человек был... Человек сгнил, а сапоги остались... Хорошие немецкие сапоги с подковами...»

Дед пас коров... И я зимой и летом встречал его в этих сапогах...

Люди любят фотографироваться. Любят, когда рисуют их портрет.

Человек сам для себя тайна. Загадка. Он больше всего интересен сам себе. Он хочет себя разгадать...

В детстве. В юности. Я думал, что никогда не умру. Хотя жил среди «царства смерти». Мы выкапывали из земли, собирали в лесу троны, снаряды, гранаты. Стрелять я научился раньше, чем писать.

Помню мертвых. Немецкие и наши солдаты. Они лежали, стояли, прислонившись к окопу, сидели... Целые, разорванные на части или пополам... Мы ползали вокруг... Снимали часы... Искали что-нибудь поесть...

А зимой я катался на мертвом немце... Он застекленел от мороза... Мы садились на него верхом и неслись вниз... Как на салазках... Испугались весной, когда он растаял... И стал мягкий... Как живой...

Но я все равно думал, что никогда не умру...

У И. Бунина нашел мысль о том, какое громадное место занимает смерть в и без того крохотном человеческом существовании.

У меня исчезла грань между животными и мною. Собакой. Лошадью.

Как страшно кричит раненый заяц...

Человек не может быть счастливым...

У Пушкина – «Пир во время чумы».

*Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья...*

Замечая: хожу в театр, хожу в кино. Хожу смотреть на смерть.  
Есть ли кто-нибудь из нас, кто хоть бы раз в своей жизни не подумал о самоубийстве?

Кириллов в «Бесах» Достоевского покончил с собой, недоумевая: «Почему не все люди кончают самоубийством?»

Сегодня я вышел – весь ночной, с ночными мыслями, а люди – утренние. Они спешили по своим делам в разные стороны...

Проходил мимо фотостудии. А что, если меня не будет и фотографии последней не останется? Сфотографировался.

Вечером забрал фотографии. Странно смотреть на свой портрет. Будто бы это я сам сфотографировал незнакомого человека...

Сталин. Какая-то загадка есть.

Что помню я?

Радио передает бюллетени – о состоянии здоровья товарища Сталина.

– Мама, как же так? Неужели он может умереть?

– Ну и что тут такого? – отвечает мама. – Он уже старый человек.

– Почему все живут, как будто ничего не случилось? Все должно остановиться. Молчать.

А завтра он умер. Нас послали за венком. За венком для Сталина...

Мы смеялись... Бежали... Мы уже забыли, что это Он умер...

Еще у Пушкина: «Без поэтических свобод жить очень можно». Очень! Да мы не умеем.

Ну, чем бы плохо: уехать на дачу, растопить печку... Смотреть в окно.

Не умею...

Я представляю, как я это... сделаю. Но то, что я сделаю, будет грубым повторением. Неудачным.

Разговаривал в поезде с женщиной. Бывшая фронтовичка. Снайпер. Ехала от дочери. Та с детства – в сумасшедшем доме:

– Бог покарал меня, – говорила мать. – Я убивала... А она сошла с ума...

Молодой лейтенант, приехавший в отпуск, служит на Кавказе. Там гуляет война. Рассказывает и все время повторяет:

– Или я сойду с ума, или буду спокойно убивать других.

Поразила одна деталь: собаки боятся людей, они поняли, что голодные люди начали за ними охотиться...

Ну и что? Сегодня тысячи, миллионы антивоенных книг, фильмов, песен, балетов... А через пятьдесят лет люди делают то же самое...

Что мы знаем о революции, о гражданской войне? Теперь начинаешь понимать, что знали мы нашу литературу, ее героев, но не реальности, подробности того времени. Чапаев, Щорс, Буденный, Ворошилов... Реального человека все время переделывали под идею. То, что выдавалось за реальность, имело к ней такое же отношение, как Кашей Бессмертный и Соловей Разбойник. Это было не искусство, не философия, не литература, а «фабрика реальности».

И я в этом тоже участвовал. И надо признаться, что долгое время – искренне. После этих размышлений полез в свои фотоархивы. Сотни портретов... Лиц... И они тоже – искренние...

А как с этим быть?

Ленин мечтал: «Вся страна, как одна большая фабрика».

Я не вижу свободных людей...

Она меня поцеловала, и я услышал ее запах... Запах молодого де-рева...

Как хоронили раньше у нас в деревне? Гроб умершего выносили во двор – он прощался со своим двором, затем ставили в саду – и стучали в каждое дерево, чтобы пробудилось... Скотину поднимали в хлеву, чтобы не лежала... «Одну яблоню обошли, забыли, не постучали, так она засохла», – рассказывала бабушка о смерти моего деда.

Наше русское... Жизнь на разрыв аорты... На краю... Как там у Высоцкого: «Хоть минуту еще постою на краю...» На краю!!

Зачем вечно стоять на краю? А потому, что остальное все скучно. Пострадать дай! Упоение страданием... Ничего другого не хочется. Скучно деньги зарабатывать, дороги мостить, носки штопать... Русскому человеку все время праздника хочется!! Отвертку в бок соседу пырнуть или революцию сделать. На баррикады, на войну... В революцию... И тут же после баррикад, после революций подавай счастливую жизнь...

Кто мы? Да послушайте наши песни. Что в них? Призыв к смерти... К самоуничтожению...

И не социализм в том виноват, не коммунисты, а люди мы такие. Эта степь... Ширина... Географическая бесконечность... Прав Достоевский, что широк русский человек, надо бы сузить...

Рылся сегодня в своих фотоархивах. Мелькнула мысль, что в человеке три человека: ребенок, юноша, старик...

– Никогда так не хочется умереть, чем тогда, когда любишь, – вдруг заплакала Н., когда нам было хорошо.

Она плакала, а я в этот миг подумал, что она сама не поняла, что она сказала...

Умом понимаешь, а тело сопротивляется...

А вдруг это всего лишь химическая реакция в моем организме? И только? И надо пойти к врачу...

Или взять ружье и фотоаппарат...

Почему-то я совсем не вспоминаю небо. Как будто я никогда не летал...

Слушаю кассету... Любимую... Я думал, что я это ненавижу, а оказывается, люблю:

– Хоть минуту еще постою на краю...»

---

# ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК ЗА ВСЕХ ВАС МОЛИЛСЯ

Ольга В.  
*топограф, 23 года*

«Я стояла на коленях и просила: «Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!» Несмотря на то, что утро, день начинается... Несмотря на то, что я умею петь, рисовать... Я захотела умереть. Это – избавление. Это – свобода...

Я из Абхазии... Я там живу... Я – русская... Я приехала с войны... Вы меня понимаете? Я с войны...

Мне так хотелось быть светлой, доброй... Откуда-то приходите...

А теперь я всегда думаю о смерти...

И я забыла, что за мыслями нужно следить... Они ведь материализуются, обретают формы, невидимые глазу... *(Затихает. А дальше – шепотом.)*

У меня все ногти были до крови сняты... Я царапалась, вливалась в стенку, в глину, в мел... В последнюю минуту я снова захотела жить...

И шнур оборвался... Не выдержал...

Как забыть... Как большой сон, в целую жизнь сон... Но в конце концов я живая, я могу себя потрогать...

Но теперь я всегда думаю о смерти... *(Долго молчит.)*

...Когда мне было шестнадцать лет, умер мой папа. С тех пор я ненавижу похороны. Эту музыку. Я не понимаю, почему люди играют этот спектакль? Я сидела у гроба, я уже тогда понимала, что это не

мой папа, моего папы здесь нет, было чье-то холодное тело... Оболочка... След...

Как забыть... Как большой сон, в целую жизнь сон...

Как будто меня кто-то позвал... Я стала думать о близких, которые ушли туда... Даже о тех, кого никогда не видела, кто ушел раньше, чем я появилась на свет. Я вдруг увидела свою бабушку... Как я могла увидеть свою бабушку, если у нас даже фотографии ее не осталось? Но я ее узнала во сне, кто-то мне сказал, что это моя бабушка... У них там все по-другому... Это все тот же сон... Они не прикрыты ничем (мы прикрыты телом), а они не защищены...

Я не могу из этого плена вырваться, меня теперь только это интересует...

А я другая была, еще недавно я совсем другая была. Как я танцевала утром у зеркала: я – красивая, я – молодая! Я буду радоваться! Я буду любить!

...Он лежал... Русский парень... Чуть-чуть песком присыпан... Он лежал в кроссовках и военной форме... Назавтра кто-то кроссовки снял...

Вот он убит... А дальше, дальше что – там, в земле? И на небе?

Мое тело... Моя оболочка... Иногда меня не устраивает мое тело, я слишком ограничена во всем этом. Есть несоответствие между тем, что я сейчас внутри, и моим прежним телом. У меня все то же тело, а я уже другая. Вот я говорю, сама слышу свои слова и думаю, что я этого сказать не могла, потому что не знаю, потому что глупая, потому что люблю булки с маслом... Потому что еще не любила... Не рожала... А я это говорю... Я не знаю: почему? Откуда?

Там на войне... Там в церквях нет людей... Люди не идут к Богу...

Я зашла. Никого не было. Я стала на колени и молилась за всех. Тогда я не понимала: что я говорю? С кем?

Я сейчас приму таблетки. Мне нельзя волноваться... Меня водили к психиатру... *(Пауза.)* Иногда мне кажется, что я могу закричать. Иду-иду по улице и вдруг хочу кричать. Люди бегут на работу, за покупками, кто-то целуется, кто-то собачку прогуливает, а я... я хочу кричать... Раньше я вообще молчала. Я была нема. Это счастье, что я могу уже плакать и вопить...

Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Например, о том, что я люблю смотреть фильмы... Западные фильмы... Почему? Там ничего не напоминает нашу жизнь...

Я тоже хочу вас спросить: вот вы ищете таких, как я, находите... Разговариваете... А вы не боитесь, что вам понравится эта логика? Она вас увлечет?

Где я хотела бы жить?

Я хотела бы жить в детстве... В детстве я была с мамой, как в гнездышке... *(Молчит.)*

Я могу вам рассказать, что такое – война. Я ее видела... *(Пауза.)* В школе я любила читать военные книжки. Они мне нравились. Я даже жалела, что я девочка, а не мальчик: вот, если будет война, меня на войну не возьмут. Глупая. Странная. Ненормальная.

Мама обнимет:

– Доченька, что ты читаешь?

– Про войну. «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова.

– Зачем ты читаешь эти книги? Они не из жизни, доченька. Жизнь – это что-то другое...

Мама любила книги про любовь.

Моя мама! Я даже не знаю сейчас: жива она или нет?

Я увидела войну, и у меня было чувство, что я это уже знаю... Что со мной это уже было... Правда?! Вот такое странное чувство. Ненормальное.

Я расскажу вам про войну...

...Мы с мамой пошли на рынок. С июня в Сухуми не продавали хлеб. Мы хотели купить муки. Сели в автобус, рядом села соседка с ребенком. Ребенок играл, а потом стал плакать, и так громко, будто его кто-то напугал. И соседка вдруг спрашивает:

– Стреляют? Вы слышите: стреляют?

Сумасшедший вопрос!

Подъехали к рынку: бегут и кричат люди. В ужасе. Будто они надели какие-то страшные маски. Летят курные перья... Козленок белый мечется... Кричит... Кричит страшнее, чем человек. Я не передам, не произнесу, как он кричит. Невообразимо страшно. Я когда об этом думаю, то появляется мысль: а вдруг животным умирать еще страшнее, чем людям? Никогда об этом не говорят. Правда, я ненормальная? Я слишком много думаю о смерти... Я только этим сейчас внутри занята... И вот: лежат растоптанные куры, размазанные на камнях... Сапогами, туфлями... Какие-то вооруженные люди... Без формы, с автоматами... Они хватают женщин, забирают у них сумочки, вещи...



– Это уголовники, – шепчет мне моя мама.

– Это война, – отвечаю я.

Мы вышли из автобуса и увидели русских солдат.

– Что это? – спросила у них мама.

– Вы что, не видите? – ответил ей лейтенант.

– Это война, мама, – повторила я.

Моя мама – большая трусиха, она упала в обморок. Я затащила ее во внутренний дворик. Из какой-то квартиры нам вынесли графин воды...

Где-то бомбят... Где-то рядом...

– Женщины! Женщины! Мука надо? – Я оборачиваюсь: молодой парень тащит на себе мешок муки, на нем синий халат, в которых у нас грузчики ходят, но он весь белый, он весь мукой обсыпан. И смешно, и страшно.

Я стала смеяться, а мама говорит:

– Давай возьмем.

Мы купили у него муки. Он насыпал нам десять килограммов. Отдали деньги.

С ума можно сойти! Но это правда. Вот эти безумные подробности. Это правда. Потом только до нас дошло, что мы купили ворованное... Потом...

А где-то бомбят... Где-то рядом...

Пробежала с криком раненая курица... Это так страшно...

Мама мне не подсказывала. Никто. Я сама сняла с себя золотой крестик и спрятала его в муку. И кошелек с деньгами тоже спрятала. Я вела себя, как старая бабушка, я все знала. Уже я видела каких-то людей, которые ходили и приказывали:

– Сними это... Отдай это...

Муку, десять килограммов, я несла до нашего села – шестнадцать километров. Не верите? Но это так. Это правда. Хотя я видите какая маленькая, балетный вес.

На дороге горел бронетранспортер... Цветы на клумбе горели... Олеандры, розы... Георгины, петунии... *(Малчит.)* И все это в неопишимо прекрасный летний день... *(Малчит.)* Все это казалось каким-то наваждением... Клумбы, перепаханные гусеницами танка, как трактором... После стройки... *(Малчит.)* После стройки?.. Если бы не слышать, что стреляют...

Я шла спокойная... Если бы меня в тот момент убили, я не успела бы испугаться...

Пробежала раненая беременная кошка... Черная... *(Молчит.)*

Все старалась зачем-то запомнить... *(Пауза.)* Я читала много военных книжек... Я уже знала, что это надо запоминать... *(Молчит.)*

Идет шоссе и рядом – железнодорожное полотно. На рельсах сидели молодые парни: у одних – черная лента на голове, у других – белая. И у всех – оружие. Они еще меня подразнили, посмеялись. Как будто ничего не случилось. Это правда.

Стоит грузовая машина. Пустая. За рулем сидит убитый водитель... В белой рубашке...

Мы обошли его... Без страха. В недоумении.

Бежали через мандариновый сад... Где-то стреляли... *(Молчит.)*

Я тащу муку...

– Оставь, – просит мама.

– Нет, мама, я не оставляю. Началась война...

Медленно, на малой скорости, движутся «Жигули». Поднимаем руки. Голосуем. Машина проходит мимо, и так медленно, как на похоронах. На первом сиденье – парень с девушкой, на втором – труп женщины. Она, как большая кукла... как манекен, качается...

Почему-то не страшно...

У самого моря – еще одни «Жигули»... Лобовое стекло разбито... Лужа крови... Женские туфли валяются... Мужская шляпа...

Почему-то не страшно... Только скорее хотелось домой... Это правда.

Откуда-то сверху пополз тяжелый гул. Мы поднимали головы к небу: что там? А навстречу нам двигались танки. Они шли не колонной, а поодиночке, в беспорядке... Наверху сидели солдаты с автоматами. Автоматы в упор на нас наставлены... Они шли в беспорядке, потому что одни танки быстро уходили вперед, другие останавливались у коммерческих ларьков. Солдаты соскакивали... Прикладами сбивали замки... Брели шампанское, конфеты, шоколад. Все смеялись, очень много смеялись... За танками шел автобус «Икарус», набитый матрацами. Почему – матрацами?

Война? Но разве это война? Какая-то война, не похожая на войну. В книжках она другая... Там приходят чужие... А тут все свои... На од-

ном языке говорят... Братья... Знакомые... *(Молчит.)* На одном языке говорят... *(Повторяет эти слова несколько раз.)*

Дома мать кинулась к телевизору. Включила. Играл симфонический оркестр...

Перед тем как идти на рынок, я заготовила помидоры, огурцы... Чтобы консервировать... Банки вымыла... *(Пауза.)*

И вот я стала кухарить. Закручивать банки. Мать смотрела на меня как на сумасшедшую. А я кипятила, варила... Пробовала, что получилось: хватает соли или не хватает – добавить... Я продлевала нашу прежнюю жизнь... Еще на час, два... На один вечер... На одну ночь... Я люблю свой дом... Я люблю свою маму...

Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?

Утром через наше село пошли танки. Один остановился возле нашего дома. Экипаж – русский. Я поняла: наемники. Хотела у них спросить:

– Куда вы едете?

Они позвали маму:

– Мать, дай воды.

Мама принесла им воды и яблок. Воду выпили, а яблоки не взяли. Сказали:

– У нас вчера одного отравили яблоками.

Я боюсь крови... Я больше всего боялась увидеть, как убивают...

На улице встречаю подругу:

– Что у тебя? Где твои?

Она прошла мимо. Я побежала за ней, схватила за плечи:

– Что с тобой?

– Я уже твою маму предупредила: вы ко мне не подходите: я – мингрелка, у меня муж – абхазец.

Я обняла ее изо всех сил!!

Ночью к ней приходил родной брат... И хотел ее мужа убить... Только за то, что он абхазец... Только за это...

Через несколько дней хоронили соседа... Грузина... Девятнадцать лет... Его мать идет за гробом: то плачет, то обернется – и смеется... Она сошла с ума... *(Молчит.)*

Они недавно в одном классе учились, а теперь стреляют друг в друга... *(Молчит.)*

Вы когда-нибудь случайно не подслушивали, о чем говорят старики возле дома на скамейке? О том, как они были солдатами. А старые

женщины вспоминают, какие они были молодые и красивые. (Пауза.) Мужчины воюют... Мальчишки...

Моя мама говорила... Она говорила: «Я никогда так не была счастлива, как в старости. И вдруг – война».

Сидит старая женщина над убитой собачкой... И плачет... Все смотрят и молчат...

Моя мама ужасная трусиха... Прибежит от соседей:

– Рассказывают, что в Гаграх сожгли целый стадион грузин.

– Мама!!

– А еще я слышала, что грузины кастрируют абхазцев.

– Мама!

– Вот ты не веришь... А в Сухуми разбомбили обезьянник... Ночью грузины за кем-то гонялись и думали, что это абхазец. Они его ранили, он кричал. А абхазцы на него наткнулись, думали: грузин. Догоняли, стреляли. А под утро все увидели, что это раненая обезьяна. И все кинулись ее жалеть.

А человека бы убили...

Мне нечего было сказать моей маме.

Я пошла в церковь. Людей не было. Я стала на колени и за всех молилась. Я не знаю, кому я говорила? С кем?

Я ему говорила:

– Они идут, как зомби. Идут и верят, что творят добро. Но разве можно автоматом и ножом творить добро? Вразуми их!

Они заходят в дом и, если не находят никого, стреляют в скотину... Я видела убитых поросят... Корову с простреленным выменем, из которого текло молоко... Даже убитого попугая в клетке... Они стреляют в банки с вареньем, в мешки с мукой... Они расстреливают из автоматов воробьев: одни по эту сторону, другие – по ту... Вразуми их!

Вчера я была свидетелем... Я сама видела, как молодой парень... Грузин... Он бросил автомат и кричал:

– Куда мы приехали!! Я могу погибнуть за Грузию! Я приехал погибнуть за Грузию, а не воровать чужой холодильник! Зачем вы идете в чужой дом и берете чужой холодильник? Чужой ковер? Я хочу умереть за Грузию...

Его под руки куда-то увели. Уговаривали.

Другой грузин поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял:

– Братья абхазцы! Я не хочу вас убивать, и вы в меня не стреляйте. Его застрелили свои в спину...

Об этом все друг другу рассказывают... Он поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял: «Братья абхазцы...»

А русский парень Соколов с гранатой бросился под танк... Он что-то кричал... Но никто не расслышал, что он кричал... (Пауза) В танке горели грузинские парни... Они тоже кричали...

Я говорила и говорила... Шептала и шептала... В детстве меня никто не учил молитвам. Я придумывала свои...

Я возвращалась домой.

Дома плакала мама:

– Я никогда не была такая счастливая, как в старости. И вдруг – война...

У мамы в доме все подоконники заставлены цветами. Подушки вышиты цветами, она сама вышила. Она мне признавалась, она не раз мне признавалась: «Я проснулась ранним-ранним утром, солнце пробивается сквозь листву, и я чувствую, что это солнце, что это радость струится, и у меня сразу мысль: «Вот я сейчас открою глаза – и сколько же мне лет?» У нее бессонница, у нее болят ноги, она тридцать лет на заводе проработала, но она утром не знает, сколько ей лет. А ей шестьдесят пять. Потом она встает, чистит зубы, видит себя в зеркале: на нее смотрит старая женщина...

Но потом она готовит завтрак и забывает об этом. И я слышу, как она поет...

Раненые старики... Это еще страшнее, чем раненые дети... Если дети ничего не понимают, то эти все понимают... Это правда.

Я слышу ночью, как меня окружают сны. У меня сны не страшные. Мне все время снится одно и то же... Как я ухожу из своего тела... Поднимаюсь высоко-высоко...

Первые дни грабители ходили в масках... Черные чулки на лицо натягивали... Потом без масок... Идет: в одной руке хрустальная ваза, в другой – автомат... Или: на спине – ковер, а на груди автомат болтается. Телевизоры тащат, стиральные машины... Женскую шубу несут... Мебель грузят... (Молчит.)

Девочка одна у нас повесилась. Мы пришли к ним в дом, пришли помочь. А ее бабушка говорит, что она любила парня, а он женился на другой. Ее хоронили в белом платье. Она из-за любви... Она люби-

ла... Никто не верил... Не мог понять. Как это из-за любви? Красивая девочка... Вот если бы ее изнасиловали...

Смерть не самое страшное из того, что я там видела... Не самое страшное... Как будто... Нет... Все можно вспомнить... Волнуюсь... Пугаюсь в словах... *(Молчит.)* Мамина подруга... Тетя Соня... Она насмотрелась на все это и заболела. Слегла.

– Девочка моя, зачем после этого жить? – говорила она.

Я кормила ее супом из ложечки. Она не могла глотать... *(Молчит.)*

Я еще не готова исповедоваться... Открываться незнакомому человеку... *(Молчит.)* Не готова...

Они с оружием... Но они – мальчишки... Они еще маленькие... Восемнадцать-девятнадцать лет... Они еще недавно вешали кошек в подвалах... Разрывали лягушек на части, чтобы узнать, как устроен мир. Им никто ничего не объяснил... Если бы у них был хороший учитель физики... Или русской литературы... Наивно? Но я так думала. Или если бы у них была мама такая, как у меня... *(Молчит.)* Больше всего я люблю думать о маме... Вспоминать...

Как моя мама долго по вечерам расчесывает волосы... Тихонько покачивается и улыбается сама себе... Мама часто рассказывала о папе, как они любили друг друга. Я слушала, как старую сказку... О том, как сначала у нее был другой муж... Однажды она гладила ему рубашки, а он ужинал... И вдруг (это только с моей мамой могло такое произойти) она сказала вслух: «Я больше рожать от тебя не буду». Забрала сына и ушла.

А мой папа бродил за ней по пятам. Ехал в автобусе. Ждал на улице. Отморозил зимой уши. Ходил и смотрел. И однажды он ее поцеловал... Он любил клятвы:

– Поклянись, что любишь меня! Хочешь, я поклянусь?!

Я родилась от любви... Вся тайна в том, что я родилась от любви...

...Мама продала все ценное, что было у нас в доме: телевизор, папин серебряный портсигар, который мы всегда берегли, мой золотой крестик... Чтобы уехать из Сухуми, надо было дать взятку. Люди неделями живут на вокзалах. На аэродромном поле. Под бомбежкой, под обстрелами... Взятки берут большие... Военные, милиция... наших денег едва хватило на один билет... *(Молчит.)*

А я хотела пойти в госпиталь... Ухаживать за ранеными... *(Молчит.)*

Мне не разрешили взять даже сумку с мамиными пирожками... А рядом... Это правда. Рядом мужчина в штатском... Но солдаты к нему обращались: «Товарищ майор...» Он грузил мотоцикл... Большие деревянные ящики... И тут же женщина... Эта женщина взяла двух мальчиков: один – свой, второй – соседский... Мальчики распухли от голода... *(Молчит.)*

Мама меня оторвала от себя... Затолкала в самолет...

Я не знаю сейчас: жива она или нет?

– Мама, а куда я еду? – спрашивала я. Плакала. Кричала.

– Ты едешь домой... В Россию... *(После долгой паузы.)*

Я хотела погибнуть на войне. На какой-то другой войне. Красивой... За Родину! Это правда.

В Москве я жила на вокзале... Две недели... Там беженцы отовсюду... На всех вокзалах – на Белорусском, на Киевском... С семьями... С детьми, со стариками... Из Армении, из Баку, из Таджикистана... Они спят на скамейках, на полу... Месяцами... Суп на вокзале варят, макароны... В туалетах... Там есть розетки – в туалетах... Или возле эскалатора, там тоже розетки... Воды в таз налил, туда – электрокипятник... Лапши набросать, мяса... Суп готов! Я ела... У меня быстро кончились деньги...

Можно все вспомнить... Но я еще не готова исповедоваться... Открыться незнакомому человеку...

Мне кажется, что все вокзалы в Москве пропахли консервами и супом харчо... Детской мочой... Старыми пеленками... Их сушат на батареях, на окнах...

– Мама, а куда я еду?

– Ты едешь домой, в Россию...

Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?

Я жила на вокзале две недели... Там тысячи людей... Они никому не нужны. Их никто не ждет. Вся Москва – это вокзал... Большой вокзал... Меня хотели изнасиловать... Два раза: один раз какой-то солдат, другой раз – милиционер...

Днем я убежала на Красную площадь. Или ходила по магазинам. Продуктовым. Очень хотела есть. Одна женщина купила мне пирожок с мясом. Я не просила. Она ела, а я смотрела, я даже не понимала, что я смотрю, как она ест. Как во сне... Куда-то идти, бежать, чтобы не сидеть на вокзале. Не думать о еде, о маме. Куда идти? На Крас-

ную площадь... Моя мама всю жизнь мечтала: поехать в Москву – увидеть Красную площадь и Ленина... Это правда.

Днем я жила на Красной площади. Ночью – на железнодорожном вокзале. Пока не приехала мамина сестра. Из Рязани. Две недели. Пока я написала письмо, пока оно дошло. Пока тетя насобираала по соседям и родственникам деньги на дорогу. Ей восемьдесят лет.

– Ольга... вас ожидает в комнате милиции ваша тетя из Рязани.

Все зашевелились, задвигались: кто? Кого? Как фамилия?

Мы прибежали вдвоем: там оказалась еще одна девочка с такой же фамилией, но с другим именем. Из Душанбе... Как она плакала! Это правда.

Как она плакала... *(Долго, очень долго молчит.)*...У меня тут уже есть друзья. Они – хорошие, они – нормальные. А я с войны...

Я говорю-говорю им, а они:

– Ну и что? Пойдем в кино.

Я говорю-говорю, а они:

– Ты что, чокнутая?

А я теперь только о смерти и думаю... Я не могу понять смерть...

По телевизору услышала... Священник говорил... Он говорил такие слова: таинственный и страшный смысл страдания... Таинственный и страшный... Я стала думать над этим... Над этими словами...

А моя тетя? Она ходит к Богу за утешением... И говорит, что смерть заслужить надо. Страданием.

Я стояла на коленях и просила: «Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!» *(Забывает, что не одна. И уже себе, для себя – все тот же вопрос.)* Я не знаю сейчас: жива моя мама или нет?

Вчера в парк пошла... Целовалась... Я целовалась?! Смеюсь... Хохо-чу... Живу...

Что, того всего со мной не было? Там... На войне... *(Молчит.)*

Я не могу пережить это... *(Молчит.)* Не могу пережить, что я это пережила... Как же так? Не сошла с ума... Не свихнулась...

Господи! Я хочу сейчас умереть!!»



---

## ИСТОРИЯ С КРАСНЫМ ФЛАЖКОМ – МЕЖДУ ВЗМАХОМ КРЫЛА И ЛОПАТЫ...

*Анна М-ая,  
архитектор, 55 лет*

«Сначала мне приснился сон, что я умерла... Этот сон был раньше, чем я захотела умереть, подумала о смерти. В детстве я много раз видела, как умирают, а потом я об этом забыла. Когда мне приснился этот сон, я уже не смогла оторваться от мысли о смерти. Я проснулась в то утро с чувством, что у моей головы, за мной кто-то стоит... Открыла глаза и чувствую, что кто-то там стоит, я хочу повернуться, чтобы увидеть, кто это, я хочу оглянуться... Но я лежу... Какой-то страх или предчувствие не пускает меня посмотреть назад, даже не предчувствие, а знание, что этого делать не надо, нельзя. Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить! Я не просто жила, я любовалась жизнью. У меня много сил уходило на любование жизнью: вот яблоня в белом, светится, вот чей-то голос за окном, как будто я первый раз слышу человеческий голос... Я какая-то доверчивая была! Мне было радостно жить, жизнь меня ошеломляла, завораживала. Я не выражусь... Я не объяснюсь...

Вот мы с вами разговариваем, а я слышу запах мать-и-мачехи... Горы вижу... Как будто началось какое-то возвращение... Я обратной дорогой пошла... Деревянную вышку вижу... Желтый пол... И железные кровати, очень много железных кроватей... Они одна возле другой,

маленькие железные клетки... Это все было во мне глубоко-глубоко запрятано. Мне раньше казалось, что, если я кому-нибудь расскажу, мне захочется убежать от этого человека, чтобы больше никогда его не видеть, не встречать. Если бы вдруг с меня сняли, содрали, стянули кожу... И я – одна... А я никогда не жила одна... Я жила в лагере в Казахстане, он назывался Карлаг... Сталинский лагерь... В детдоме, в общежитии... Свой дом у меня появился, когда мне было уже сорок лет. Нам дали с мужем двухкомнатную квартиру, у нас уже дети были большие. Я бегала к соседям по привычке, как в общежитии, одалживала то хлеб, то соль, то спички, то уют, и они меня за это не любили. А я никогда не жила одна...

Я шла пешком с работы через мост, я люблю мосты, в Ленинград на экскурсию ездила, чтобы посмотреть на мосты, остановилась у перил и глянула вниз: меня потянула высота... В той, другой жизни у меня, видно, что-то было связано с высотой, она меня всегда тянет... Мне захотелось опуститься вниз плавно, тихо, чтобы не слышно, чтобы не больно и чтобы никто не видел. И никто потом не нашел. Как будто меня никогда не было... Я не выражусь... Я не объяснюсь... *(Замолкает.)* Мне теперь стало страшно жить...

Я всего боюсь... Я боюсь человека... Раньше я всегда что-то ждала от каждого встреченного человека, что-то хорошее. Выйду в город – это наш город! Была большая, была непобедимая страна! Я живу прошлым... Как за колючей проволокой... Нет вышки, нет часовых, но уйти мне отсюда некуда... Из прошлого... Я никому здесь... Сейчас не нужна... И дома, на работе. Вокруг меня живут совершенно другие люди, они все не такие, как я. У меня с детства это чувство, с лагеря... Помню, как в «Новом мире» напечатали и все читали «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Были потрясены! А я не понимала, почему такой интерес, такое удивление? Все было знакомое, абсолютно для меня нормальное: эски, лагерь, параша... И – зона...

...В тридцать седьмом арестовали моего папу, папа работал на железной дороге. А через полгода я родилась. Мама бегала, хлопотала, доказывала, что папа не виноват, что это ошибка... Обо мне она заботилась... Родился недоношенный ребенок... Но я выжила... Я зачем-то выживала много раз...

Потом маму тоже арестовали и меня вместе с ней, так как меня нельзя было оставить одну в квартире, мне было четыре месяца. Двух

старших сестричек мама успела отправить к палиной сестре в деревню. Но из НКВД пришла бумага: привезти детей назад в Смоленск. Их забрали прямо на вокзале:

– Дети будут в детдоме.

Они рассказали нам об этом через много лет...

Я помню, что сначала в лагере я жила с мамой. Все маленькие дети жили с мамами. Потом нас поместили в отдельный детский дом. Утром через проволоку мы видели, как наших мам строят, считают: один, два... И уводят на работу. Уводят за зону, куда нам ходить было нельзя. Когда меня спрашивали: «Откуда ты, девочка?» – я отвечала: «Из зоны». «Зона» – это был другой мир, что-то непонятное, пугающее, для нас не существующее. То ли это была сказка, то ли ужас. Не знаю. За зоной – пустыня, песок, сухой ковыль... Мне казалось, что пустыня там до самого края, дальше горизонта. Что другой жизни, кроме нашей, нигде нет. Нас охраняли наши солдаты...

Был у меня дружок Рубик Циринский, кучерявый, с профилем Пушкина. Он водил меня к мамам через лаз под проволокой. Всех построят идти в столовую, а мы спрячемся за дверью.

– Ты же не любишь пирожок с капустой? – говорит Рубик.

Я всегда хотела есть и очень любила пирожки с капустой, но ради того, чтобы увидеть маму, я согласна была на все.

– Нет, я не люблю пирожок с капустой. Я люблю маму.

И мы ползли в барак к мамам. А барак был пустой, мамы все на работе. Мы знали, но все равно ползли и, как щенки, обнюхивали там каждый угол: железные кровати, железный бачок для питьевой воды, кружка на цепочке, – все пахло мамами. Иногда мы там находили чьих-то мам, они лежали на кроватях и кашляли. Чья-то мама кашляла кровью... Рубик сказал, что это мама Томочки, которая у нас самая маленькая. Эта мама скоро умерла. А когда умерла сама Томочка, я долго думала, кому сказать, что Томочка умерла. Ведь ее мамы нет, ее мама тоже умерла...

Когда я своей маме об этом рассказывала... через много лет... она не верила, она говорила:

– Тебе тогда было всего четыре годика.

Я вспоминала, как из каких-то маленьких кусочков она шила большие фуфайки. Она снова мне не верила:

– Тебе было только четыре годика.

– Мама, я еще спрашивала: почему они черные? А ты отвечала: «Зато теплые».

– Правда? – удивлялась мама. – А я хочу все забыть. Я однажды даже забыла лицо нашего папы...

Мне кажется, я помню все: аромат кусочка дыни, который мама мне однажды принесла. Размером с пуговицу... В какой-то тряпочке... Я запомнила его навсегда. Помню, как мальчики позвали меня играть с кошкой, а я не знала, что такое кошка. Ее принесли из-за зоны, в зоне кошек не было, потому что не оставалось никаких остатков еды, мы все подбирали, съедали, как зверьки. Ели какую-то траву, корешки. Нам очень хотелось угостить чем-то кошку, но у нас ничего не было, и мы кормили ее своей слюной после обеда. Она ела.

Помню, как мама хотела дать мне конфету.

– Анечка, возьми конфету! – кричала она.

Охранники ее не пускали, они оттаскивали ее от меня за длинные черные волосы. Лаяли собаки, большие серые овчарки. А она оглядывалась и звала:

– Анечка, возьми конфету!

Мне было страшно, я не знала, что такое конфета. Никто из детей не знал, что такое конфета. Все испугались и поняли, что меня надо спрятать, и затолкали в серединку. Меня всегда дети ставили в серединку: «Потому что Анечка у нас падает». Я ничего не видела, я только слышала, как моя мама кричала:

– Анечка, возьми конфету!

*(Закрывает лицо руками и молчит.)*

Давайте не будем больше вспоминать... Я ничего не помню... Может, мне кто-то все это рассказал... Или я в книге прочла... *(Опять молчит.)* А вдруг я схожу с ума?

...В пять лет нас вывезли из лагеря, как сейчас помню, в детдом номер восемь поселка номер пять. Все было под номерами. Нас погрузили в грузовик и повезли. Мамы бежали, цеплялись за борта, плакали. Помню, что мамы всегда плакали, а дети не плакали никогда. Мы никогда не были капризными, не баловались, не смеялись. Плакать я научилась в детдоме. В детдоме нас очень сильно били. Нам говорили:

– Вас можно бить и даже убить, потому что ваши матери – враги. Отцов мы не знали.

– Твоя мама плохая. – Не помню лицо женщины, которая мне это повторяла и повторяла.

– Моя мама – хорошая. Моя мама – красивая, – плакала я.

– Твоя мама – плохая. Она – наш враг.

Я не помню, говорила ли она само это слово «убить», но помню, что наших мам не должно быть. Мы знали, что нас охраняют наши солдаты. Наши! Позже мы понимали, что солдаты нас охраняют от мам. У нас не было воспитателей, учителей... Таких слов мы не слышали... У нас были командиры... Мне хотелось, чтобы меня били так, чтобы остались дырки, и тогда перестанут бить. Дырок у меня не было, зато гнойные свищи покрыли все тело. Тогда я поняла, что если что-то очень хочешь, оно сбывается. У моей подружки Олечки были металлические скобочки на позвоночнике, ее нельзя было бить. Я ей завидовала и тоже хотела иметь скобочки... А еще я ждала, чтобы скорее была ночь. Ночью к нам приходила тетя Фрося, ночной сторож. Она была добрая, она нам рассказывала сказки. Про Аленушку... Приносила в кармане пшеничку и давала по несколько зернышек тому, кто плакал. Больше всех у нас плакала Лилечка, она плакала утром, вечером плакала... Плакала, когда мы кушали, плакала, когда мы учились... У нас у всех была чесотка, толстые красные чирьи на животе... А у Лилечки под мышками были еще волдыри, они лопались гноем... Помню, что дети доносили друг на друга. Это поощрялось. Больше всех доносила Лилечка... Мы ждали весну, чтобы нарвать цветов и съесть их. Мы ели подснежники... Лилечка умерла зимой... Если бы она дожила до подснежников, она бы не умерла... *(Пауза.)*

В классе мы пели счастливые песни о Сталине. Первое мое письмо я написала товарищу Сталину. До этого у нас бумаги не было. Когда мы выучили буквы, нам раздали чистые листки бумаги, и под диктовку мы писали письмо самому доброму, самому любимому товарищу Сталину. Мы его очень любили, верили, что получим ответ. Что он нам пришлет подарки... *(Пауза.)* На Первое Мая нам выдавали красные флажки... Мы радостно ими махали... Я всегда боялась, что мне не достанется флажок... Что у меня не будет красного флажка... *(Долго молча смотрит в окно. После снова торопится выговориться.)*

Нас все время учили, нам говорили:

– Родина – это ваша мать... Родина – это ваша мама...

Маленькие, мы у всех взрослых, которых встречали, спрашивали:

– Где моя мама? Какая моя мама?

Никто не знал наших мам...

Первая мама приехала к Рите Мельниковой. У нее был изумительный голос. Она нам пела колыбельную:

*Спи, моя радость, усни.*

*В доме погасли огни...*

*Дверь ни одна не скрипит,*

*Мышка за печкою спит...*

Мы такой песни не знали, мы эту песню запомнили. Просили: еще, еще. Я не помню, когда она кончила петь. Мы заснули. Она нам всем говорила, что наши мамы хорошие, что наши мамы красивые. Что наши мамы все поют эту песню. Мы ждали...

Потом было страшное огорчение. Она нам сказала неправду. Приезжали другие мамы. Они были некрасивые, больные. Они не умели петь. С тех пор я не люблю неправду. Нас нельзя было утешать неправдой. Нас нельзя было обманывать: твоя мама жива, а не умерла. Ребенок начинал верить, а потом оказывалось, что мамы нет. Я не люблю сказки. Долго не читала сказки. Я начала читать сказки, когда у меня родилась дочка, когда ей исполнилось пять лет, и она просила:

– Сказку, мама. Расскажи страшную сказку.

Я читала ей сказки и всегда удивлялась: почему в наших детских сказках так много убивают и почему детям это нравится? И сейчас не понимаю.

В детдоме мы были очень молчаливые. Мы не говорили. Не помню наших разговоров. Помню прикосновения. Моя подружка Валя Кнорина до меня дотронется, а я знаю, о чем она думает, потому что мы все думали об одном и том же. Мы знали друг о друге интимные вещи: кто писается ночью, кто кричит во сне, кто какую букву картавит. Я все время ложкой зуб себе исправляла. Что-то на нас падало. Наверное, свет ангелов. Не может столько детей быть без ангелов. В одной комнате – сорок железных кроватей... Вечером – команда: сложить ладошки вместе и – под щеку! И всем – на правый бочок! Мы должны были делать это вместе, все сорок человек. Это была общность, пусть животная, пусть тараканья, но меня так воспитали... Лежим-лежим ночью и начинаем плакать, все вместе:

– Хорошие мамы уже приехали...

Одна девочка сказала:

– Не люблю маму. Почему она так долго не едет?

Но я вспомнила, как моя мама звала меня: «Анечка, возьми конфету...» Как ее не пускали... Тянули за красивые черные волосы... Я прощала ей все... Я любила ее...

Утром мы хором пели (*тихо напевает*):

*Утро красит нежным светом*

*Стены древнего Кремля.*

*Просыпается с рассветом*

*Вся советская земля...*

Больше всех праздников на свете мы любили Первое Мая. Нам выдавали новые пальто и новые платья. Все пальто одинаковые и все платья одинаковые. Ты начинаешь их обживать. Нам выдавали мальчишеские трусы – девочкам и мальчикам. Нам говорили, что это Родина о нас думает, о нас заботится. Нам говорили, что Родина – наша мама. Перед первомайской линейкой выносили во двор большое красное знамя... Стучал барабан... Мы строились... Нам раздавали маленькие красные флажки... Помню, как приезжал какой-то генерал, поздравлял нас. Всех мужчин мы делили на солдат и офицеров, а это был генерал. Мы лезли на высокий подоконник, карабкались на него, чтобы увидеть, как он садился в машину и махал нам рукой.

– Ты не знаешь, что такое – папа? – спросила меня Валя Кнорина. Я не знала...

А потом у меня тоже появились волдыри под мышкой. Они лопались, было так больно, что я плакала. Игорь Королев поцеловал меня в шкаф... Мы учились в пятом классе... Я начала выздоравливать... (*Смеется.*)

Был у нас Степка... Руки сложит, как будто он с кем-то вдвоем, и кружится по коридору, как в вальсе. Сам с собой танцует... Какую-то свою музыку слушает... Нам смешно... Он ни на кого не обращает внимания, словно он один живет... Нам непонятно... Чудно... Его даже к врачу водили...

Не могу больше... На сегодня хватит... В другой раз... Я живая осталась... Меня спасли... Врачи спасли мое тело... Но я с собой покончила... Я не выражусь... Я не объяснюсь... В тот вечер, когда пустила в

квартиру газ... Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить... *(Мал-чип.)* Интересно, вот те люди, что работают на кладбище, как они относятся к смерти? Ведь они каждый день – на кладбище... Они никому не признаются, что работают на кладбище... Никому не рассказывают... Им стыдно, неловко или страшно?

Мой сын говорит, что я жила на кладбище... Что я – ненормальная... Нормальный бы человек это не выдержал...

Они мне говорят... Мои дети... Что я – испорченный, что я – уродливый человек... Я выросла на кладбище... Что мне нужна зона... Эти рамки... Я в них родилась... *(Замолкает.)*

Что вспоминать? Что, собственно, у меня было? Игорь Королев поцеловал меня первый раз в шкафу, и я выжила...

...Я жила в детдоме до шестого класса. Когда я пошла в шестой класс, ко мне приехала моя мама. В лагере мама отсидела двенадцать лет. Мне двенадцать лет, и двенадцать лет мама была в лагере. Мы с ней так и подсчитывали: сколько мне лет, столько у нее прошло срока.

Я помню, как она приехала за мной. Ей разрешили забрать меня. Чтобы нам жить вместе. Под осень. Меня кто-то окликнул:

– Анечка! Анюточка!

Никто меня так не звал. Я увидела женщину с черными волосами и закричала:

– Мама!!!

Она обняла меня с таким же ужасным криком:

– Папочка!

Маленькая я была очень похожа на отца.

Но оказалось, что мы с мамой не понимаем друг друга. Я искренне верила, что у нас счастливое детство. Хотела скорее вступить в комсомол, чтобы бороться с какими-то невидимыми врагами. Чтобы они не разрушили нашу самую лучшую жизнь... А мама плакала и болела. Мы поехали за документами в Караганду, оттуда нас направили в ссылку... В Сибирь... Город Белово... Где-то за Омском...

По пути отменялись в НКВД, нам все время предписывали: ехать дальше. До сих пор я не могу видеть вечерних огней в домах. Нас выгоняли с вокзалов, мы шли на улицу. Горели огни в домах, там были люди, они жили в тепле, они грели чай. Нам надо было постучать в



дверь и попроситься. Это было самое страшное... Никто не хотел пускать ночевать...

В Белове мы стали жить на квартире – в землянке. Потом опять жили в землянке, и она уже была наша. Я заболела туберкулезом, не могла стоять на ногах... Сентябрь, надо идти в школу, а я не могу ходить. Умирать было не страшно... В больнице все время кто-нибудь умирал... Умер Ванечка... Умер Славик... Мертвых я не боялась... Но я не хотела умирать... Я очень красиво рисовала, вышивала. Так красиво, что все удивлялись. И я не понимала, почему я тогда должна умереть?

Каким-то чудом я выжила; однажды открыла глаза: на тумбочке стоял букет черемухи. Поняла, что буду жить... Я выживала много раз...

Вернулась домой, в землянку. У мамы очередной инсульт. Увидела старую женщину, еле передвигающуюся по землянке. Ее увезли в больницу... В доме я не нашла никакой еды... А выходить на улицу стеснялась, чтобы меня такой не увидели, не спрашивали, не давали кусочек хлеба... Пока соседка не обнаружила...

Меня посадили на поезд... Билет купил Красный Крест... Я возвращалась в Смоленск... В свой родной горд... В детдом...

И снова выжила... *(Задумывается. Молчит.)*

Мне исполнилось шестнадцать лет. У меня появились друзья. Но была у меня такая странность: если я кому-нибудь начинала нравиться, становилось страшно. Страшно, что кто-то обратил внимание, выделил меня. Хорошо чувствовала себя только незамеченной, неузнанной. В толпе... В группе... За мной невозможно было ухаживать... На свидание я брала с собой подругу, если меня приглашали в кино, я тоже являлась не одна... Вдвоем... втроем... Когда я пришла на свидание к своему будущему мужу с подругой, он отвел меня в сторону и показал на голову:

– Ты что, с ума сошла? В этом деле коллективизация еще не объявлена.

*(Неожиданно плачет.)*

Умер Сталин. Нас вывели на линейку... Построили. Вынесли красное знамя... Сколько длились похороны, столько мы стояли по стойке «смирно». Часов шесть или восемь... Кто-то падал в обморок... Я плакала... Как жить без мамы, я уже знала. Но как жить без Сталина?

...Когда я уже училась в архитектурном техникуме, насовсем вернулась из ссылки мама. Она приехала с деревянным чемоданчиком, в нем – цинковая утятница (она до сих пор у меня, не могу выбросить), две железные ложки и куча драных чулок.

– Ты – плохая хозяйка, – говорила мама, – не умеешь штопать.

Штопать я умела. Но я понимала, что эти дыры никогда не заштопать. У меня стипендия – восемнадцать рублей, у мамы пенсия – четырнадцать рублей. Это был для нас рай – хлеба ешь, сколько хочешь. Еще хватало на чай. У меня был один спортивный костюм и оно ситцевое платье, которое я сама сшила. В техникум зимой и осенью ходила в спортивном костюме. Маму помню только больную. Она не могла меня пожалеть, у нее не было для этого сил. Мы ни разу не обнялись друг друга, не поцеловали. Это страшно вымолвить: мы были два чужих человека. Наши матери теряли нас дважды: когда нас забирали у них маленькими и когда они старые возвращались к нам, уже взрослым, незнакомым. *(Пауза)* Родина – наша мать... Родина – наша мама... *(Долгая тяжелая пауза)*

Кто-то придумал ужасную шутку:

– Мальчик, где твой папа?

– Еще в тюрьме.

– А где твоя мама?

– Уже в тюрьме.

Своих родителей мы представляли только в тюрьме. Мы с мамой были такие чужие, что, когда она вернулась, я хотела убежать от нее в детдом... *(Останавливается. Молчит.)* И я это никогда не поправлю... Мамы давно нет... Об отце мама не могла говорить, было впечатление, что она его не знает... *(Молчит.)* Я ласкала, гладила ее только мертвую... Когда она лежала в гробу... Во мне проснулась такая нежность, такая любовь... Она лежала в старых валенках, потому что ни туфель... ни домашних тапочек у нее не было... А мои – маленькие...

Я целовала ее... Я так хотела заплакать... Но я не плакала...

Знаете, когда я по-настоящему научилась плакать? Когда вышла замуж, когда у меня родился сын... Когда я была счастливая...

Вот и все... Вся жизнь... То, что вмещается между взмахом крыла и лопаты... У какого-то поэта прочла... Запомнила... Между взмахом крыла и лопаты...

...Купила красивые туфли. Разорилась. Я хотела, чтобы меня похоронили в красивых туфлях... У меня никогда их не было. Покупала всегда или подешевле, или поношенные, в комиссионке. У меня никогда не было красивых вещей. Дорогих. Хотела еще кофту хорошую кушить, да денег не хватило. Я уже присмотрела. Мохеровую. Теплую. Все же зима... Но зимой не так жалко умирать... Нет, все равно жалко. Даже старики... Они жалеют... Никто не уходит легко и радостно... А я? Я любовалась этим миром... Не налюбовалась... Мне нравится жить... В окно утром смотреть...

Написала записку: скажите Анечке (это моя внучка), что бабушка уехала далеко в гости...

В тот день встала рано и все время искала себе работу, чтобы быть занятой. Утром жарила котлеты. Хотела сильных запахов. Услышать еще раз, как пахнет жареное мясо... После затеяла большую стирку. Штопала. Что-то делать, делать. Но не думать. Мои любимые духи «Может быть»... Достала. Я хотела, чтобы после меня в доме жил запах жизни, а не смерти...

Из вещей, из предметов ничего не хотела оставлять. Ни моих фотографий, ни моих писем, ни моего почерка. Уходила, как из гостиницы, все вынесла, выбросила. Даже свой кусочек мыла, зубную щетку. Я помнила, как умерла соседка. Как торопились сгрести и вынести из квартиры то, что после нее осталось. А она прожила долгую жизнь, когда-то была известная балерина: фотографии, письма в больших картонных коробках... Какие-то сувениры, камешки, засушенные листочки... Скомканые записочки: «Любимая...», «Принцесса...», «Божественная...» Все это ее сын паковал в большие целлофановые мешки и жег за нашим домом на пустыре. Человек столько мусора после себя оставляет...

Если бы я была влюблена в свою дочь... Или в своего сына... Я им чужая... Я им такая не нужна... А муж ушел... Он ушел к другой женщине... А я его люблю... До сих пор... Я – однолюб... *(Вдруг улыбнулась.)*

Поставила букет цветов, чтобы, когда войдут в мою комнату, не так испугались смерти... *(Пауза.)*

Я знаю, как надо жить в зоне... Я знаю, как можно выжить в зоне... Я выживала там много раз...

У меня психология зэка... Мои дети со мной обращаются, как будто я больна, больна какой-то неизлечимой болезнью. Я не выражусь... Я не объяснюсь... Был мой день рождения... Я что-то вспомнила о лагере... Мы

радоваться не умеем, даже когда нам хорошо, что-то тянет душу. Я вспомнила, как мы любили праздник Первого Мая... В руке – красный флажок... Нам выдавали новые пальто и новые платья... Все одинаковые... Как нас поздравлял генерал... Мы ползли, карабкались на высокий подоконник...

– Зачем ты нам это рассказываешь? Признаешься зачем? Ведь стыдно! – оборвал меня сын.

*(Молчит, а потом продолжает, вдруг заикаясь, бессвязно.)*

Они друг-гие... Они не б-были там, в зоне... Они к-красивые... На улице я люблю с-смотреть на м-молодых, а дома я... их... я... их б-боюсь... *(Останавливается.)* В детстве... В детдоме заикалась... Потом прошло... Вылечилась... Ин-ногда теп-перь возвращается... Скоро про...пройдет... По-п-п-ьем чай... Чайку... Сейчас заварю... *(Уходит на кухню.)*

Через полчаса мы кончаем наш разговор.

Он мне сказал, крикнул:

– Зачем ты нам это рассказываешь? Признаешься зачем? Ведь стыдно! На вас, как на лягушках, поставили бесчеловечный опыт. Унизительный. Понимаешь, унизительный! А вы гордитесь, что выдержали?! Остались живы?! Лучше бы умереть! А теперь ждете сострадания. Благодарности. За что? Как там древние говорили? Человек – это мыслящий тростник... Удобрение, навоз, а не мыслящий тростник. Песок... Строительный материал для коммунизма... Меня родили в рабстве и учили жить в рабстве... В зоне... Вокруг шумел праздник жизни, а вы в нем не участвовали. Твое поколение... Вас держали то ли в клетке, то ли в контейнере. А ты хочешь, чтобы я это помнил?! Ты никогда не будешь свободным человеком. Я слышу, как и во мне течет твоя рабская кровь... Я сделал бы себе переливание крови!!! Клетки все поменял бы! Даже если бы у меня была возможность отсюда уехать, я все равно такого бы себя увез с собой... С твоим составом крови... С твоими клетками... Ненавижу!!!

...Я пустила газ в квартиру... Включила радио...

Я была свободна... Я никогда не думала, что смогу это сделать...

Вы думаете, я не хочу жить? Я очень хочу жить! Я жизнью не любовалась...»

---

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

### Из сегодняшних газет:

«В России растет число самоубийств. «В 1991 году 60 000 людей покончили с собой, это на 20 000 больше, чем год тому назад», – сообщил руководитель Российского института общественно-политических исследований Геннадий Осипов, по информации агентства «Интерфакс». «Россия стоит у пропасти, – заявил далее Осипов в разговоре за «круглым столом», – миллион людей совершали попытку самоубийства, двадцать процентов населения, то есть пятая часть огромной страны, мечтают об эмиграции...»

Он сравнил нынешнюю ситуацию в России с XIII веком – перед татарским нашествием...»

*«Франкфуртер Рундschau», 28 марта 1992 г.*

«Горькая весть: Юлия Друнина покончила с собой. Она могла тысячу раз погибнуть на той войне, на которую ушла в семнадцать лет. А умерла по своей воле в гараже на даче... приняв снотворное и включив в машине выхлопной газ.

Самоубийство поэта... Мы помним Есенина, Маяковского, Марину Цветаеву. Когда поэт сам решает уйти из жизни, значит, в ней что-то

очень неблагополучно. Вот и Юлия Друнина... Осталась предсмертная записка. Вот строки из нее: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл...»

Когда-то этим тылом был Алексей Каппер – талантливый кинодраматург и любимый, любящий муж. Но его она похоронила в Старом Крыму, где и себя завещала похоронить. Другой же такой любви в мире для нее не оказалось. И получилось, что оказалась она с ужасным, передравшимся миром один на один...»

*«Правда», 7 апреля 1992 г.*

«Прошел почти год со дня смерти Маршала Советского Союза С. Ахромеева.

Вот в кратком изложении следственная версия.

24 августа 1991 года маршал Ахромеев прибыл в свой рабочий кабинет в Кремле и, будучи в состоянии депрессии после разгрома ГКЧП, принял решение о самоубийстве. В 9 часов 40 минут утра он совершил первую попытку повеситься, о чем оставил записку такого содержания: «Я плохой мастер готовить орудия самоубийства. Первая попытка (в 9.40) не удалась. Порвался тросик. Очнулся в 10.00. Собираюсь с силами все повторить вновь. *Ахромеев*».

Вечером того же дня комендант здания обнаружил маршала повесившимся в его собственном кабинете. Следственная бригада прибыла на место в 2...27 и зафиксировала на видеопленку следующее: Ахромеев сидел у окна на полу, прислонившись спиной к стене. Синтетический шпагат, на котором он повесился, был привязан к ручке оконной рамы. В кабинете был идеальный порядок и никаких следов борьбы. На рабочем столе лежали предсмертные записки и письма к семье...

В одной из его записок есть такие строки: «Пусть в истории хоть останется след – против гибели такого великого государства протестовали. А уж история оценит – кто прав, а кто виноват...»

*«Советская Россия», 18 июля 1992 г.*

«Город Минусинск содрогнулся, узнав о том, что молодая женщина Нина Черненко собственными руками задушила двух своих детей, а затем убила себя, выпив флакон уксусной эссенции. Дети сопротивления не оказали, хотя и были достаточно взрослыми: Ване исполнилось одиннадцать лет, Наде – десять. Предположительно, что мать, готовясь к этому страшному шагу, дала им снотворное.

Следствие пока не располагает данными, что Нина Черненко страдала психическими расстройствами. Наоборот, все допрошенные по делу соседи и сослуживцы вспоминают ее как человека глубоко порядочного. Но жилось ей очень трудно, порой невыносимо, не под силу было в одиночку справиться с материальными тяготами сегодняшней нашей жизни. Постоянное безденежье, постоянное чувство унижения толкнули ее на преступление против себя и своих детей. «Больше так жить не могу, – написала она в предсмертной записке. – Знаю, что дети мои после моей смерти никому не нужны, поэтому забираю их с собой».

В тоненькой школьной тетрадке мать-убийца хладнокровно нацерила план своей будущей могилы, указав, с какой стороны положить рядом с ней сына и доченьку. И тут же аккуратно написала список всех своих долгов, которые следовало отдать из начисленных ей накануне отпускных денег...»

*«Советская Россия», 18 июня 1992 г.*

«Попытку самоожжения подполковника Вячеслава Чекалина удалось предотвратить у штаба российских войск в Клайпеде. Прослужив двадцать семь лет, офицер оказался без крыши над головой, с нищенской пенсией, на которую невозможно прожить. Несколько днями раньше он пытался продать себя для медицинских опытов, чтобы приобрести квартиру...»

*Газета «7 дней», 21 – 27 сентября 1992 г.*

«Если бы тогда, в войну, умер от ран, я бы знал: погиб за Родину. А вот теперь – от собачьей жизни. Пусть так и напишут на могиле... Не считайте меня сумасшедшим...»

Это строки из предсмертного письма защитника Брестской кре-

пости Тимерена Зинатова. В очередной раз приехав в Брест из родного Усть-Кута, он долго бродил по священным для него улицам города, по пустующей легендарной цитадели, а потом... потом старик бросился под поезд.

Приехавшие на похороны родные (он попросил похоронить себя на брестской земле) свидетельствовали, что вел он скромную жизнь, отказывался пользоваться льготами даже простого участника войны, не говоря уже о каких-то «спецпривилегиях». В отличие от других героев – защитников Брестской крепости, Зинатов никогда не просил помочь ему с покупкой автомобиля, телевизора, холодильника. Когда его семья, зная крутой характер деда, втайне все-таки записала его на дефицитную мебель, старик устроил дома скандал. «Я Родину защищал, а не привилегии», – говорил он.

Вместе с предсмертным письмом в кармане у ветерана-самоубийцы нашли семь тысяч рублей, которые он привез для собственных похорон. Но местные городские власти взяли расходы на себя. Похоронили героя за счет статьи «текущее содержание объектов благоустройства».

А одна из газет рассказала, как после войны в казематах Брестской крепости была найдена надпись, нацарапанная на стене штыком: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 22/VII-41 года». Чуть ли не по решению ЦК эта строчка стала символом мужества советского народа и преданности делу КПСС. Оставшиеся в живых защитники Брестской крепости утверждали, что автор этой надписи – курсант пулеметной школы, беспартийный, татарин Тимерен Зинатов, но коммунистических идеологов больше устраивало, чтобы она принадлежала неизвестному, погибшему солдату... И тут Зинатов особо не настаивал: «Я ради Родины умирал, я ради Родины выживал».

Что скажешь, Родина? Почему молчишь?

Кому кричим...»

*«Народная газета». ... октября 1992 г.*

1993.



# ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА



**ХРОНИКА БУДУЩЕГО**

---

*Мы воздух, мы не земля...*

М. Мамардашвили

## ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«...Надо прежде всего прорвать завесу неизвестности, окружающей Беларусь. Ведь для мира мы *terra incognita* – неизвестная, неизведанная земля. О Чернобыле все знают, но только в связи с Украиной и Россией. «Белая Россия» – так примерно звучит название нашей страны на английском языке».

*«Народная газета», 27 апреля 1996 г.*

«На территории Беларуси нет ни одной атомной станции. Из действующих АЭС на пространстве бывшего СССР географически к белорусской границе ближе всех размещены АЭС с реакторами типа РБМК: с севера – Игналинская, с востока – Смоленская, с юга – Чернобыльская...»

26 апреля 1986 г. в 1 ч. 23 м. 58 с. серия взрывов разрушила реактор и здание 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Чернобыльская катастрофа стала самой крупной технологической катастрофой XX века.

Для маленькой Беларуси (население 10 млн. человек) она явилась

национальным бедствием. В годы Великой Отечественной войны немецкие фашисты уничтожили на белорусской земле 619 деревень вместе с их жителями. После Чернобыля страна потеряла 485 деревень и поселков: 70 из них уже навечно захоронены в земле. В войну погиб каждый четвертый белорус, сегодня каждый пятый живет на зараженной территории. Это 2,1 млн. человек, из них – 700 тыс. детей. Среди факторов демографического угасания радиация занимает главное место. В Гомельской и Могилевской областях (наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы) смертность превысила рождаемость на 20%.

В результате катастрофы в атмосферу выброшено  $50 \times 10^6$  Ки радионуклидов, из них 70% выпало на Беларусь: 23% ее территории заражено радионуклидами с плотностью больше 1 Ки/км<sup>2</sup> по цезию-137. Для сравнения: на Украине заражено 4,8% территории, в России – 0,5%. Площадь сельхозугодий с плотностью загрязнения от 1 и больше Ки/км<sup>2</sup> составляет свыше 1,8 млн. гектаров, стронцием-90 с плотностью 0,3 и больше Ки/км<sup>2</sup> – около 0,5 млн. гектаров. Из сельхозоборота выведено 264 тыс. гектаров земли. Беларусь – страна лесов. Но 26% лесов и большая половина лугов в поймах рек Припять, Днепр, Сож относятся к зоне радиоактивного загрязнения...

Как следствие постоянного воздействия малых доз радиации, с каждым годом в стране увеличивается число больных с раковыми заболеваниями, умственной отсталостью, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями...»

*Сб. «Чернобыль». «Беларуская энциклопедыя»,  
1996, с. 7, 24, 49, 101, 149.*

«По данным наблюдений, 29 апреля 1986 года высокий радиационный фон был зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии, 30 апреля – в Швейцарии и Северной Италии, 1–2 мая – во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Северной Греции. 3 мая – в Израиле, Кувейте, Турции...

Заброшенные на большую высоту газообразные и летучие вещества распространялись глобально: 2 мая они зарегистрированы в Японии, 4 мая – в Китае, 5-го – в Индии, 5 и 6 мая – в США и Канаде.

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира...»

*Сб. «Последствия чернобыльской аварии в Беларуси».  
Минск. Международный высший Сахаровский  
колледж по радиоэкологии. 1992 г., с. 82.*

«Четвертый реактор, именуемый объектом «Укрытие», по-прежнему хранит в своем свинцово-железобетонном чреве около 20 тонн ядерного топлива. Что с ними происходит сегодня, не знает никто.

Саркофаг сооружали наспех, конструкция уникальная, наверное, инженеры-разработчики из Питера могут ею гордиться. Однако монтировали его «дистанционно», плиты стыковывали с помощью роботов и вертолетов – отсюда и щели. Сегодня, согласно некоторым данным, общая площадь зазоров и трещин превышает 200 квадратных метров, из них продолжают вырываться радиоактивные аэрозоли...

Может ли саркофаг разрушиться? На это тоже никто не ответит, до сих пор невозможно подобраться ко многим узлам и конструкциям, чтобы узнать, каков у них запас прочности. Зато все понимают: разрушение «Укрытия» привело бы к последствиям даже пострашнее, чем в 1986-м...»

*Журнал «Огонек», № 17, апрель 1996 г.*

## ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

«Я не знаю, о чем рассказывать... О смерти или о любви? Или это одно и то же... О чем?»

...Мы недавно поженились. Еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли... Я говорила ему: «Я тебя люблю». Но я еще не знала, как я его любила... Не представляла... Жили мы в общежитии пожарной части, где он служил. На втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня. А внизу, на первом этаже стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба. Всегда я в курсе: где он, что с ним? Среди ночи слышу какой-то

шум. Выглянула в окно. Он увидел меня: «Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду».

Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все словно светилось... Все небо... Высокое пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. Копоть от того, что битум горел, крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал, как по смоле. Сбивали пламя. Сбрасывали горящий графит ногами... Уехали они без брезентовых костюмов, как были в одних рубашках, так и уехали. Их не предупредили, их вызвали на обыкновенный пожар...

Четыре часа... Пять часов... Шесть... В шесть мы с ним собирались ехать к его родителям. Сажать картошку. От города Припять до деревни Сперижье, где жили его родители, сорок километров. Сеять, пахать... Его любимые работы... Мать часто вспоминала, как не хотели они с отцом отпускать его в город, даже новый дом построили. Забрали в армию. Служил в Москве в пожарных войсках, и когда вернулся: только в пожарники! Ничего другого не признавал. (*Молчит.*)

Иногда будто слышу его голос... Живой... Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но он никогда меня не зовет... И во сне... Это я его зову...

Семь часов... В семь часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояла кольцом милиция, никого не пускали. Одни машины «Скорой помощи» заезжали. Милиционеры кричали: машины зашкаливают, не приближайтесь. Не одна я, все жены прибежали, все, у кого мужа в эту ночь оказались на станции. Я бросилась искать свою знакомую, она работала врачом в этой больнице. Схватила ее за халат, когда она выходила из машины: «Пропусти меня!» – «Не могу! С ним плохо. С ними со всеми плохо». Держу ее: «Только посмотреть». – «Ладно, – говорит, – тогда бежим. На пятнадцать–двадцать минут». Я увидела его... Отекший весь, опухший... Глаз почти нет... «Надо молока. Много молока! – сказала мне знакомая. – Чтобы они выпили хотя бы по три литра». – «Но он не пьет молоко». – «Сейчас будет пить». Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы через какое-то время заболеют... Умрут... Но никто тогда этого не знал...

В десять утра умер оператор Шишенок... Он умер первым... В первый день... Мы узнали, что под развалинами остался второй – Валера Ходемчук. Так его и не достали. Забетонировали. Но мы еще не знали, что они все – первые...

Спрашиваю: «Васенька, что делать?» – «Уезжай отсюда! Уезжай! У тебя будет ребенок». А я – беременная. Но как я его оставлю? Просит: «Уезжай! Спасай ребенка!» – «Сначала я должна принести тебе молоко, а потом решим».

Прибегает моя подруга Таня Кибенок.. Ее муж в этой же палате.. С ней ее отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком. Где-то три километра за городом... Покупаем много трехлитровых банок с молоком... Шесть – чтобы хватило на всех... Но от молока их страшно рвало... Все время теряли сознание, им ставили капельницы. Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации. А город заполнился военной техникой, перекрыли все дороги... Перестали ходить электрички, поезда... Мыли улицы каким-то белым порошком... Я волновалась, как же мне завтра добраться в деревню, чтобы купить ему парного молока? Никто не говорил о радиации... Только военные ходили в респираторах... Горожане несли хлеб из магазинов, открытые кульки с булочками... Пирожные лежали на лотках...

Вечером в больницу не пропустили... Море людей вокруг... Я стояла напротив его окна, он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно! В толпе кто-то расслышал: их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили: поедem с ними. Пустите нас к нашим мужьям! Не имете права! Бились, царапались. Солдаты, уже стояли солдаты, нас отгалкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву, но нам нужно принести им одежду, – та, в которой они были на станции, сторела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом через весь город. Прибежали с сумками, а самолет уже улетел... Нас специально обманули... Чтобы мы не кричали, не плакали...

Ночь... По одну сторону улицы автобусы, сотни автобусов (уже готовили город к эвакуации), а по другую сторону – сотни пожарных машин. Пригнали отовсюду. Вся улица в белой пене... Мы по ней идем... Ругаемся и плачем...

По радио объявили, что, возможно, город эвакуируют на три-пять дней, возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы, будете жить в лесах. В палатках. Люди даже обрадовались: на природу! Встретим там Первое мая. Необычно. Готовили в дорогу шашлыки... Брли с собой гитары, магнитофоны... Плакали только те, чьи мужья пострадали.

Не помню дороги... Будто очнулась, когда увидела его мать: «Мама, Вася в Москве! Увезли специальным самолетом!» Но мы досадили огород (а через неделю деревню эвакуируют!) Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылась рвота. Я – на шестом месяце беременности. Мне так плохо... Ночью сню, что он меня зовет, пока он был жив, звал меня во сне: «Люся! Люсенька!» А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу... *(Плачет.)* Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву. Сама... «Куда ты такая?» – плачет мать. Собрали в дорогу и отца. Он снял со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги.

Дороги не помню... Дорога опять выпала из памяти... В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат черныбыльские пожарники, и он нам сказал...

Шестая больница – на «Щукинской»...

В эту больницу, специальная радиологическая больница, без пропусков не пускали. Я дала деньги вахтеру, и тогда она говорит: «Иди. Кого-то опять просила, молила... И вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением – Ангелины Васильевны Гуськовой. Тогда я еще не знала, как ее зовут, ничего не запоминала... Я знала только, что должна увидеть его...

Она сразу меня спросила:

– У вас есть дети?

Как я признаюсь?! И уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустит к нему! Хорошо, что я худенькая, ничего по мне незаметно.

– Есть, – отвечаю.

– Сколько?

Думаю: «Надо сказать, что двое. Если один – все равно не пустит».

– Мальчик и девочка.

– Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай: центральная нервная система поражена полностью, костный мозг поражен полностью...

«Ну, ладно, – думаю, – станет немножко нервным».

– Еще слушай: если заплачешь – я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Близко не подходить. Даю полчаса.

Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе!

Захожу... Они сидят на кровати, играют в карты и смеются.

– Вася! – кричат ему.

Поворачивается:

– О, братцы, я пропал! И здесь нашла!

Смешной такой, пижама на нем сорок восьмого размера, а у него – пятьдесят второй. Короткие рукава, короткие штанишки. Но опухоль с лица уже сошла... Им вливали какой-то раствор...

– А чего это ты вдруг пропал? – спрашиваю.

И он хочет меня обнять.

– Сиди-сиди, – не пускает его ко мне врач. – Нечего тут обниматься.

Как-то мы это в шутку превратили. И тут уже все сбежались, и из других палат тоже. Все наши. Из Припяти. Их же двадцать восемь человек самолетом привезли. Что там? Что там у нас в городе? Я отвечаю, что началась эвакуация, весь город увозят на три или пять дней. Ребята молчат, а было там две женщины, одна из них, на проходной в день аварии дежурила, и она заплакала:

– Боже мой! Там мои дети. Что с ними?

Мне хотелось побыть с ним вдвоем, ну, пусть бы одну минуточку. Ребята это почувствовали, и каждый придумал какую-то причину, и они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся:

– Не садись рядом. Возьми стульчик.

– Да глупости все это, – махнула я рукой. – А ты видел, где произошел взрыв? Что там? Вы ведь первые туда попали...

– Скорее всего это вредительство. Кто-то специально устроил. Все наши ребята такого мнения.

Тогда так говорили. Думали.

На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор. Общаться друг с другом. Перестукивались через стенку... Точка–тире, точка–тире... Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения, и то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, зашкаливали даже стены. Слева, справа и этаж под ними... Там всех выселили, ни одного больного... Под ними и над ними никого...

Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили: бери кастрюлю, бери миску, бери все, что надо... Я варила бульон из индюшки, на шесть человек. Шесть наших ребят... Пожарников... Из



одной смены... Они все дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила... Я удивляюсь теперь своим знакомым, они, конечно, боялись, не могли не бояться, уже ходили всякие слухи, но все равно сами мне предлагали: бери все, что надо. Бери! Как он? Как они все? Они будут жить? Жить... (*Молчит*). Встретила тогда много хороших людей, я не всех запомнила... Мир сузился до одной точки... Укоротился... Он... Только он... Помню пожилую санитарку, которая меня учила: «Есть болезни, которые не излечиваются. Надо сидеть и гладить руки».

Рано утром еду на базар, оттуда к своим знакомым, варю бульон. Все протереть, покрошить... Кто-то просил: «Привези яблочко». С шестью поллитровыми баночками... Всегда на шестерых! В больницу... Сижу до вечера. А вечером – опять в другой конец города. Насколько бы меня такхватило? Но через три дня предложили, что можно жить в гостинице для медработников, на территории самой больницы. Боже, какое счастье!!

– Но там нет кухни. Как я буду им готовить?

– Вам уже не надо готовить. Их желудки перестают воспринимать еду.

Он стал меняться – каждый день я встречала другого человека... Ожоги выходили наверх... Во рту, на языке, щеках – сначала появились маленькие язвочки, потом они разрослись... Пластами отходила слизистая... Пленочками белыми... Цвет лица... Цвет тела... Синий... Красный... Серо-бурый... А оно такое все мое, такое любимое! Это нельзя рассказать! Это нельзя написать!

Я любила его! Я еще не знала, как я его любила! Мы только пожегались... Идем по улице. Схватит меня на руки и закружится. И целует, целует. Люди идут мимо, и все улыбаются...

Клиника острой лучевой болезни – четырнадцать дней... За четырнадцать дней человек умирает...

В гостинице в первый же день дозиметристы меня замеряли. Одежда, сумка, кошелек, туфли, – все «горело». И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат пятьдесят шестого размера, а тапочки сорок третьего. Одежду, сказали, может, привезем, а, может, и нет, навряд ли она поддастся «чистке». В таком виде я и появилась перед

ним. Испугался: «Батюшки, что с тобой?» А я все-таки ухитрялась варить бульон. Ставила кипяtilьник в стеклянную банку... Туда бросала кусочки курицы... Маленькие-маленькие... Потом кто-то отдал мне свою кастрюлю, кажется, уборщица или дежурная гостиницы. Кто-то – досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара, кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно, он не мог даже пить... Проглотить сырое яйцо... А мне хотелось достать что-нибудь вкусенькое! Будто это могло помочь. Добежала до почты: «Девочки, – прошу, – мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж». Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж, моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мои вещи. Деньги.

Девятое мая... Он всегда мне говорил: «Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела». Сажу возле него в палате, открыл глаза:

– Сейчас день или вечер?

– Девять вечера.

– Открывай окно! Начинается салют!

Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.

– Вот это да!

– Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы...

Оглянулась – достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги – и она купила.

Подбежала и целую:

– Мой единственный! Любовь моя!

Разворчался:

– Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать! Нельзя целовать!

Мне не разрешали его обнимать... Но я... Я поднимала и сажала его... Перестилала постель... Ставила градусник и вынимала... Приносила и уносила судно... Об этом никто ничего не говорил...

Хорошо, что не в палате, а в коридоре... У меня закружилась голова, я ухватилась за падаконник... Мимо шел врач, он взял меня за руку. И неожиданно:

– Вы беременная?

– Нет-нет! – Я так испугалась, чтобы нас кто-нибудь не услышал.

– Не обманывайте, – вздохнул он.

Я так растерялась, что не успела его ни о чем попросить.

Назавтра меня вызывают к заведующей:

– Почему вы меня обманули? – спросила она.

– Не было выхода. Скажи я правду – отправили бы домой. Святая ложь!

– Что вы наделали!!

– Но я с ним...

Всю жизнь я буду благодарна Ангелине Васильевне Гуськовой.

Всю жизнь!

Другие жены тоже приезжали, но их уже не пустили. Были со мной их мамы... Мама Володи Правика все время просила Бога: «Возьми лучше меня».

Американский профессор, доктор Гейл... Это он делал операцию по пересадке костного мозга... Утешал меня: надежда есть, маленькая, но есть. Такой могучий организм, такой сильный парень! Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Беларуси, брат из Ленинграда, там служил. Младшая Наташа, ей было четырнадцать лет, очень плакала и боялась. Но ее костный мозг подошел лучше всех... *(Замолкает.)* Я уже могу об этом рассказывать... Раньше не могла... Я десять лет молчала... Десять лет. *(Замолкает.)*

Когда он узнал, что костный мозг берут у его младшей сестрички, наотрез отказался: «Я лучше умру. Не трогайте ее, она маленькая». Старшей сестре Люде было двадцать восемь лет, она сама медсестра, понимала, на что идет. «Только бы он жил», – говорила она. Я видела операцию. Они лежали рядышком на столах... Там большое окно в операционном зале. Операция длилась два часа... Когда кончили, хуже было Люде, чем ему, у нее на груди восемнадцать проколов, тяжело выходила из-под наркоза. И сейчас боится, на инвалидности... Была красивая, сильная девушка. Замуж не вышла... А я тогда металась из одной палаты в другую, от него – к ней. Он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере, за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. Там такие специальные приспособления есть, чтобы, не заходя под пленку, вводить уколы, ставить катетор... Но все на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться...

Отсовывать... И пробираться к нему... Возле его кровати стоял маленький стульчик... Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти ни на минуту. Звал меня постоянно: «Люся, где ты? Люсенька!» Звал и звал... Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судна. Протирали полы, меняли постельное белье... Все делали... Откуда там появились солдаты? Не спрашивала... Только он... Он... А каждый день слышу: умер, умер... Умер Тищура. Умер Титенок. Умер... Как молотком по темечку...

Стул двадцать пять – тридцать раз в сутки... С кровью и слизью... Кожа начала трескаться на руках, ногах... Все покрылось волдырями... Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос... Я пыгалась шутить: «Даже удобно. Не надо носить расческу». Скоро их всех постригли. Его я стригла сама. Я все хотела ему делать сама. Если бы я могла выдержать физически, то я все двадцать четыре часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко... Минутку, и то жалко... *(Долго молчит.)* Приехал мой брат и испугался: «Я тебя туда не пущу!» А отец говорит ему: «Такую разве непустишь? Да она в окно влезет! По пожарной лестнице!»

Отлучилась... Возвращаюсь – на столике у него апельсин... Большой, не желтый, а розовый. Улыбается: «Меня угостили. Возьми себе». Медсестра через пленочку машет, что нельзя этот апельсин есть. Раз возле него уже какое-то время полежал, его не то, что есть, к нему прикасаться страшно. «Ну, съешь, – просит. – Ты же любишь апельсины». Я беру апельсин в руки. А он в это время закрывает глаза и засыпает. Ему все время давали уколы, чтобы он спал. Наркотики. Медсестра смотрит на меня в ужасе... А я? Я готова сделать все, чтобы он только не думал о смерти... И о том, что болезнь его ужасная, что я его боюсь... Обрывок какого-то разговора... У меня в памяти... Кто-то уверещивает: «Вы должны не забывать: перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца. Возьмите себя в руки». А я как умалишенная: «Я его люблю! Я его люблю!» Он спал, я шептала: «Я тебя люблю!» Шла по больничному двору: «Я тебя люблю!» Несла судно: «Я тебя люблю!» Вспоминала, как мы с ним раньше жили... В нашем общежитии... Он засыпал ночью только тогда, когда возьмет меня за руку. У него была такая привычка: во сне держать меня за руку... Всю ночь...

А в больнице я возьму его за руку и не отпускаю...

Ночь. Тишина. Мы одни. Посмотрел на меня внимательно-внимательно и вдруг говорит:

– Так хочу увидеть нашего ребенка. Какой он?

– А как мы его назовем?

– Ну, это ты уже сама придумаешь...

– Почему я сама, если нас двое?

– Тогда, если родится мальчик, пусть будет Вася, а если девочка – Наташка.

– Как это Вася? У меня уже есть один Вася. Ты! Мне другого не надо.

Я еще не знала, как я его любила! Он... Только он... Как слепая! Даже не чувствовала толчков под сердцем... Хотя была уже на шестом месяце... Я думала, что он внутри меня мой маленький, и он защищен...

О том, что ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал. Не догадывался... Пускали меня медсестры. Первое время тоже уговаривали: «Ты – молодая. Что ты надумала? Это уже не человек, а реактор. Сгорите вместе». Я, как собачка, бегала за ними... Стояла часами под дверью. Просила-умоляла... И тогда они: «Черт с тобой! Ты – ненормальная». Утром перед восемью часами, когда начинался врачебный обход, показывают через пленку: «Беги!». На час сбегая в гостиницу. А с девяти утра до девяти вечера у меня пропуск. Ноги у меня до колен посинели, распухли, настолько я уставала...

Пока я с ним... Этого не делали... Но, когда уходила, его фотографировали... Одежды никакой. Голый. Одна легкая простыночка поверх. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови. Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки его кожи, прилипают. Прошу: «Миленький! Помоги мне! Обопрись на руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила, не покинула наверху шва, складочки». Любой шовчик – это уже рана на нем. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить. Никто из медсестер не мог подойти, прикоснуться, если что-нибудь нужно, зовут меня. И они фотографировали... Говорили, для науки. А я бы их всех вытолкнула оттуда! Кричала бы! Била! Как они могут! Все мое... Все любимое... Если бы я могла их туда не пустить! Если бы...

Выйду из палаты в коридор... И иду на стенку, на диван, потому что

я их не вижу. Говорю дежурной медсестре: «Он умирает». – Она мне отвечает: «А что ты хочешь? Он получил тысячу шестьсот рентген, а смертельная доза – четыреста. Ты сидишь возле реактора». Все мое... Все любимое.

Когда они все умерли, в больнице сделали ремонт... Стены скоблили, взорвали паркет и вынесли... Столярку.

Дальше... Последнее... Помню вспышками... Обрыв...

Ночь сижу возле него на стульчике... В восемь утра: «Васенька, я пойду. Я немножко отдохну». Откроет и закроет глаза – отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать не могла, так все болело, как уже стучит санитарка: «Иди! Беги к нему! Зовет беспощадно!» А в то утро Таня Кибенок так меня просила, молила: «Поедем со мной на кладбище. Я без тебя не смогу». В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика... С Витей они были друзья... Мы дружили семьями... За день до взрыва вместе сфотографировались у нас в общежитии. Такие они наши мужья там красивые! Веселые! Последний день нашей той жизни... Такие мы счастливые!

Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре: «Как он там?» – «Пятнадцать минут назад умер». Как? Я всю ночь у него. Только на три часа отлучилась! Стала у окна и кричала: «Почему? За что?» Смотрела на небо и кричала... На всю гостиницу... Ко мне боялись подойти... Опомнилась: напоследок его увижу! Увижу! Скатилась с лестницы... Он лежал еще в барокамере, не увезли... Последние слова его: «Люся! Люсенька!» – «Только отошла. Сейчас прибежит», – успокоила медсестра. Вздохнул и затих...

Уже я от него не оторвалась... Шла с ним до гроба... Хотя запомнила не сам гроб, а большой полиэтиленовый пакет... Этот пакет... В морге спросили: «Хотите, мы покажем вам, во что его оденем». Хочу! Одели в парадную форму, фуражку наверх на грудь положили. Обувь не обули, не подобрали обувь, потому что ноги распухли... Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли, целого тела уже не было... Все – рана... В больнице последние два дня... Подниму его руку, а кость шатается, болтается кость, тело от нее отошло... Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот... Захлебывался своими внутренностями... Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот, все это из него выгребая... Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! Это все такое

родное... Такое любимое... Ни один размер обуви невозможно было натянуть... Положили в гроб босого...

На моих глазах... В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали... И этот мешок уже положили в деревянный гроб... А гроб еще одним мешком обвязали... Целлофан прозрачный, но толстый, как клеенка... И уже все это поместили в цинковый гроб... Втиснули... Одна фуражка наверху осталась...

Съехались все... Его родители, мои родители... Купили в Москве черные платки... Нас принимала чрезвычайная комиссия. И всем говорила одно и то же, что отдать вам тела ваших мужей, ваших сыновей мы не можем, они очень радиоактивные и будут похоронены на московском кладбище особым способом. В запаянных цинковых гробах, под бетонными плитками. И вы должны этот документ подписать... Если кто-то возмущался, хотел увезти гроб на родину, его убеждали, что они, мол, герои и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди... Принадлежат государству.

Сели в автобус... Родственники и какие-то военные люди. Полковник с рацией... По рации передают: «Ждите наших приказаний! Ждите!» Два или три часа колесили по Москве, по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся... По рации: «На кладбище въезд не разрешаем. Кладбище атакуют иностранные корреспонденты. Еще подождите». Родители молчат... Платок у мамы черный... Я чувствую, что теряю сознание. Со мной истерика: «Почему моего мужа надо прятать? Он – кто? Убийца? Преступник? Уголовник? Кого мы хороним?» Мама: «Тихо, тихо, дочечка». Гладит меня по голове... Полковник передает: «Разрешите следовать на кладбище. С женой истерика». На кладбище нас окружили солдаты... Шли под конвоем... И гроб несли... Никого не пустили... Одни мы были... Засыпали моментально. «Быстро! Быстро!» – командовал офицер. Даже не дали гроб обнять... И – сразу в автобусы... Все крадком...

Мгновенно купили и принесли обратные билеты... На следующий день. Все время с нами был какой-то человек в штатском, с военной выправкой, не дал даже выйти из гостиницы и купить еду в дорогу. Не дай Бог, чтобы мы с кем-нибудь заговорили, особенно я. Как будто я тогда могла говорить, я уже даже плакать не могла. Дежурная, когда мы уходили, пересчитала все полотенца, все простыни... Тут же

их складывала в полиэтиленовый мешок. Наверное, сожгли... За гостиницу мы сами заплатили... За четырнадцать суток...

Клиника лучевой болезни – четырнадцать суток... За четырнадцать суток человек умирает...

Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я спала трое суток... Приехала «Скорая помощь». «Нет, – сказал врач, – она не умерла. Она проснется. Это такой страшный сон».

Мне было двадцать три года...

Я помню сон... Приходит ко мне моя умершая бабушка, в той одежде, в которой мы ее похоронили. И наряжает елку. «Бабушка, почему у нас елка? Ведь сейчас лето?» – «Так надо. Скоро твой Васенька ко мне придет. А он вырос среди леса». Я помню сон. – Вася приходит в белом и зовет Наташу. Нашу девочку, которую я еще не родила. Уже она большая. Подросла. Он подбрасывает ее под потолок, и они смеются... А я смотрю на них и думаю, что счастье – это так просто. Я сню... Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идем... Просил, наверное, чтобы я не плакала... Давал знак. Оттуда... Сверху... *(Затихает надолго.)*

Через два месяца я приехала в Москву. С вокзала – на кладбище. К нему! И там на кладбище у меня начались схватки... Только я с ним заговорила... Вызвали «Скорую»... Рожала я у той же Ангелины Васильевны Луськовой. Она меня еще тогда предупредила: «Рожать приезжай к нам». На две недели раньше срока родила...

Мне показали... Девочка... «Наташенька, – позвала я. – Папа назвал тебя Наташенькой». На вид здоровый ребенок. Ручки, ножки... А у нее был цирроз печени... В печени – двадцать восемь рентген... Врожденный порок сердца... Через четыре часа сказали, что девочка умерла... И опять, что мы ее вам не отдадим! Как это не отдадите?! Это я ее вам не отдам! Вы хотите ее забрать для науки, а я ненавижу вашу науку! Ненавижу! Она забрала у меня сначала его, а теперь еще хочет... Не отдам! Я похороню ее сама. Рядом с ним... *(Молчит.)*

Все не те слова вам говорю... Не такие... Нельзя мне кричать после инсульта. И плакать нельзя. Потому и слова не такие... Но скажу... Еще никто не знает... Когда я не отдала им мою девочку... Нашу девочку... Тогда они принесли мне деревянную коробочку: «Она – там». Я посмотрела... Ее запеленали... Она в пеленочках... И тогда я заплакала: «Положите ее у его ног. Скажите, что это наша Наташенька».



Там, на могилке не написано: Наташа Игнатенко... Там только его имя... Она же была без имени, без ничего...

Я прихожу к ним всегда с двумя букетами: один – ему, второй – на уголок кладу ей. Ползаю у могилы на коленках... Всегда на коленках...

...В Киеве мне дали квартиру. В большом доме, где теперь живут все, кто с атомной станции. Квартира большая, двухкомнатная, о какой мы с Васей мечтали. А я сходила в ней с ума! В каждом углу, куда ни гляну – везде он... Начала ремонт, лишь бы не сидеть, лишь бы забиться. И так два года... Сню сон... Мы идем с ним, а он идет босиком... «Почему ты всегда необутый?» – «Да потому, что у меня ничего нет». Пошла в церковь... Батюшка меня научил: «Надо купить тапочки большого размера и положить кому-нибудь в гроб. Написать записку – что это ему». Я так и сделала... Приехала в Москву и сразу – в церковь. В Москве я к нему ближе... Он там лежит, на Митинском кладбище... Рассказываю служителю, что так и так, мне надо тапочки передать. Спрашивает: «А ведомо тебе, как это делать надо?» Объяснил... Как раз внесли отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. «А записку ты написала?» – «Да, написала, но не указала, на каком кладбище он лежит». – «Там они все в одном мире. Найдут его».

У меня никакого желания к жизни не было. Ночью стою у окна, смотрю на небо: «Васенька, что мне делать? Я не хочу без тебя жить». Днем иду мимо детского садика, стану и стою... Глядела бы и глядела на детей... Я сходила с ума! И стала ночью просить: «Васенька, я рожу ребенка. Я уже боюсь быть одна. Не выдержу дальше. Васенька!!» А в другой раз так попрошу: «Васенька, мне не надо мужчины. Лучше тебя для меня нет. Я хочу ребеночка».

Мне было двадцать пять лет...

Я нашла мужчину... Я все ему открыла. Всю правду. Мы встречались, но я никогда его в дом к себе не звала. В дом не могла. Там – Вася...

Работала я кондитером... Леплю торт, а слезы катятся... Я не плачу, а слезы катятся... Единственное, о чем девочек просила: «Не жалейте меня. Будете жалеть, я уйду». Я хотела быть, как все...

Принесли мне Васин орден... Красного цвета... Я смотреть на него долго не могла... Слезы катятся...

...Родила мальчика. Теперь у меня есть кто-то, кем я дышу и живу.

Он прекрасно все понимает: «Мамочка, если я уеду к бабушке, на два дня, ты дышать сможешь?» Не смогу! Боюсь на день с ним разлучиться. Мы шли по улице... И я, чувствую, падаю... Тогда меня разбил инсульт... Там, на улице... «Мамочка, тебе водички дать?» – «Нет, ты стой возле меня. Никуда не уходи». И хватанула его за руку. Дальше не помню... Открыла глаза в больнице... Но так его хватанула, что врачи еле разжали мои пальцы. У него рука долго была синяя. Теперь выходим из дома: «Мамочка, только не хватай меня за руку. Я никуда от тебя не уйду». Он тоже болеет: две недели в школе, две дома с врачом. Вот так и живем. Боимся друг за друга. А в каждом улуу Вася. Его фототрафии... Ночью с ним говорю и говорю...

Живут рядом со мной все станционники, как мы говорим, вахтовики. Всю жизнь на атомной станции проработали. До сих пор ездят туда на вахту. У многих страшные заболевания, инвалидности, но станцию не бросают. Где и кому они сегодня нужны? Много умирает. Мгновенно. Сидел на скамеечке – и упал. Вышел, ждал автобуса – и упал. Они умирают, но их никто по-настоящему не расспросил. О том, что мы пережили... О смерти люди не хотят слушать. О страшном...

Но я вам рассказывала о любви... Как я любила»

*Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарника Василия Игнатенко*

## ИНТЕРВЬЮ АВТОРА С САМИМ СОБОЙ О ПРОПУЩЕННОЙ ИСТОРИИ

– Прошло десять лет... Чернобыль уже стал метафорой, символом. И даже историей. Написаны десятки книг, сняты тысячи метров видеопленки. Нам кажется, что мы знаем о Чернобыле все: факты, имена, цифры. Что можно к этому добавить? К тому же это так естественно, что люди хотят забыть Чернобыль, убедив себя, что он уже позади...

О чем эта книга? Почему я ее написала?

– Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. Как раз о том, о чем нам мало известно. Почти ничего. Пропущенная история, – я

бы так ее назвала. Меня интересовало не само событие: что случилось в ту ночь на станции и кто виноват, какие принимались решения, сколько тонн песка и бетона понадобилось, чтобы соорудить саркофаг над дьявольской дырой, а ощущения, чувства людей, прикоснувшихся к неведомому. К тайне. Чернобыль – тайна, которую нам еще предстоит разгадать. Может быть, это задача на двадцать первый век. Вызов ему. Что же человек там узнал, угадал, открыл в самом себе? В своем отношении к миру? Реконструкция чувства, а не события.

Если раньше, когда писала свои книги, я вглядывалась в страдания других, то сейчас сама такой же свидетель, как и все. Моя жизнь – часть события, я здесь живу. На чернобыльской земле. В маленькой Беларуси, о которой раньше мир почти не слышал. В стране, о которой теперь говорят, что это уже не земля, а чернобыльская лаборатория. Беларусы – чернобыльский народ. Чернобыль стал нашим домом, нашей национальной судьбой. Я не могла не написать эту книгу...

– Так что же такое – Чернобыль? Некий знак? Или все-таки гигантская технологическая катастрофа, несоизмеримая ни с чем из того, что случилось раньше?

– Это больше, чем катастрофа... Как раз попытка поставить Чернобыль в ряд самых известных катастроф и мешает нам его осмыслить. Мы как бы все время идем в ложном направлении. Старый опыт тут очевидно недостаточен. После Чернобыля живем в другом мире, прежнего мира нет. Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался над этим никогда. Застигнут врасплох.

Не раз я слышала от своих собеседников одинаковые признания: «Таких слов не подберу, чтобы передать то, что видела и пережила», «ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел», «никто раньше мне ничего подобного не рассказывал». Признания повторялись, и я сознательно не убирала эти повторы в книге. И вообще, повторов встретится много. Оставляла, не вычеркивала не только ради достоверности, «неискусственной правды», мне казалось, что они еще и отражают необычность происходящего. Все впервые обозначается, произносится вслух. Случилось нечто, для чего мы еще не имеем ни системы представлений, ни аналогов, ни опыта, к чему не приспособлено ни наше зрение, ни наше ухо, даже наш словарь не

годится. Весь внутренний инструмент. Он настроен, чтобы увидеть, услышать или потрогать. Ничего из этого невозможно. Чтобы что-то понять, человеку надо выйти за пределы самого себя.

Началась новая история чувств...

– Но человек и событие не всегда равны? Чаше всего не равны...

– Я искала человека потрясенного. Ощутившего себя один на один с этим. Задумавшегося.

Три года ездила и расспрашивала: работников станции, ученых, бывших партийных чиновников, медиков, солдат, переселенцев, самоселов... Люди разных профессий, судеб, поколений и темпераментов. Верующие и атеисты. Крестьяне и интеллектуалы. Чернобыль – основное содержание их мира. Все внутри и вокруг отравлено им, а не только земля и вода. Все их время.

Событие, рассказанное одним человеком, – его судьба, многими людьми – уже история. Это самое трудное: совместить две правды – личную и общую. А сегодняшний человек на разломе эпох...

Сошлось две катастрофы: социальная – на наших глазах уходит под воду огромный социалистический материк, и космическая – Чернобыль. Два глобальных взрыва. И первый – ближе, понятнее. Люди озабочены днем и бытом: на что купить, куда поехать? Во что верить? Под какие знамена снова встать? Это переживают все и каждый. А о Чернобыле хотели бы забыть. Первое время надеялись его победить, но, поняв тщетность попыток, замолчали. Трудно защититься от того, чего мы не знаем. Чего человечество не знает. Чернобыль переместил нас из одного времени в другое.

Перед нами реальность новая для всех...

Но о чем бы человек ни говорил, он попутно обнажает и себя. Что мы за люди?

Наша история – это история страдания. Страдание – наше убежище. Наш культ. Мы загипнотизированы им. Но мне хотелось спросить и о другом – о смысле человеческой жизни, нашего существования на земле.

Ездила, разговаривала, записывала. Эти люди первыми... увидели то, о чем мы только подозреваем. Что для всех – еще тайна. Но об этом они сами расскажут...

Не раз мне казалось, что я записываю будущее...

---

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ

#### Монолог о том, зачем люди вспоминают

«Вы взялись об этом писать? Об этом! А я не хотел бы, чтобы обо мне это знали... Что я там испытал... С одной стороны, есть желание открыться, выговориться, а с другой – чувствую, как я обнажаюсь, а мне бы этого не хотелось...

Помните, у Толстого? Пьер Безухов так потрясен после войны, что ему кажется – он и весь мир изменились навсегда. Но проходит какое-то время, и он говорит себе: «Так же буду ругать кучера, так же буду брюзжать». Зачем тогда люди вспоминают? Чтобы восстановить истину? Справедливость? Освободиться и забыть? Понимают, что они – участники грандиозного события? Или ищут в прошлом защиты? И это при том, что воспоминания – хрупкая вещь, эфемерная, это не точные знания, а догадка человека о самом себе. Это еще не знания, это только чувства.

Мое чувство... Я мучался, рылся в памяти и вспомнил...

Самое страшное со мной было в детстве... Это – война...

Помню, как мы, пацаны, играли в «папы и мамы»: раздевали малышей и клали их друг на дружку... Это были первые дети, родившиеся после войны. Вся деревня знала, какие слова они уже говорят, когда начали ходить, потому что за войну детей забыли. Мы ждали появления жизни. «В папы и мамы» – так называлась наша игра. Мы хотели увидеть появление жизни... А нам самим было по восемь–десять лет...

Я видел, как женщина сама себя убивала. В кустах у реки. Брала кирпич и била себя по голове. Она была беременная от полицая, которого вся деревня ненавидела. Еще будучи ребенком, я видел, как рождаются котятка. Помогал матери тянуть теленка из коровы, водил на случку к кабану нашу свинью... Помню... Помню, как привезли убитого отца, на нем свитер, мама сама его вязала, отец, видимо, был расстрелян из пулемета или автомата и что-то кровавое прямо кусками вылезало из этого свитера. Он лежал на нашей единственной кровати, больше положить было некуда. Потом его похоронили перед домом. И земля не пух, а тяжелая глина. Из-под грядки для буряков. Кругом шли бои... На улице лежали убитые кони и люди...

Для меня это настолько запретные воспоминания, что я не говорю о них вслух...

Тогда я воспринимал смерть так же, как и рождение... У меня примерно было одинаковое чувство, когда появился теленок из коровы... Появлялись котятка... И когда женщина в кустах убивала себя... Почему-то это казалось мне одним и тем же, одинаковым... Рождение и смерть...

Я помню с детства, как пахнет в доме, когда режут кабана... Вы только тронули меня, и я уже падаю, падаю туда... В кошмар... В ужас... Лечу...

Еще помню, как нас, маленьких, женщины брали с собой в баню. И у всех женщин, и у моей матери, выпадали матки, (мы это уже понимали), они подвязывали их тряпками. Я это видел... Матки выходили от тяжелой работы. Мужчин не было, их на фронте, в партизанах перебили, коней не было тоже, женщины тягали плуги на себе. Перепахивали свои огороды, колхозные поля. Когда я вырос и у меня случалась близость с женщиной, я это вспоминал... То, что видел в бане...

Хотел забыть. Все забыть... Забывал... Я думал, что самое страшное со мной уже было... Война...

Но вот я поехал в чернобыльскую зону... Много раз уже был там...

И там понял, что я не защищен. Я разрушаюсь... Прошлое меня уже не защищает...»

*Петр С., психолог*

### **Монолог о том, что можно поговорить и с живыми, и с мертвыми**

«Ночью волк во двор вошел. В окно глянула – стоит и светит глазами. Фарами...

Я ко всему привыкла. Семь лет живу одна, семь лет, как люди уехали... Ночью, бывает, сижу, пока не высветлит, и думаю, думаю. И сегодня всю ночь на кровати крючком сидела, а потом вышла поглядеть, какое солнышко. Что я вам скажу? Самая справедливая вещь на свете – смерть. Никто еще не откупился. Земля всех принимает: и добрых, и злых, и грешников. А больше справедливости на этом свете нет. Я тяжело и честно всю жизнь трудилась. По совести жила. А мне справедливость не выпадала. Бог где-то делил, пока до меня очередь дошла – у него уже ничего не осталось, чтобы мне дать. Молодой может умереть, а старый должен... Сначала я людей ждала, думала – все вернутся. Никто на век не уезжал, уезжали на время. А теперь смерти жду... Помереть не трудно, а страшно. Церкви нету... Батюшка не приезжает... Некому мне отнести свои грехи...

...Первый раз сказали, что у нас радиация, так мы думали: это болезнь какая-то, кто заболит – сразу умирает. Нет, говорят, что-то такое, что на земле лежит и в землю лезет, а увидеть нельзя. Зверь, может, видит и слышит, а человек нет. А это неправда! Я видела... Этот цезий у меня на огороде валялся, пока дождь его не намочил. Цвет у него такой чернильный... Лежит и переливается куточками... Прибежала с колхозного поля и пошла на свой огород... И такой кусочек синий... А через двести метров еще один... Величиной с платочек, что у меня на голове. Крикнула я соседке, другим бабам, мы все обегали. Все огороды, поле вокруг... Гектара два... Может, четыре больших кусочка нашли... А один был красного цвета... Назавтра посыпал дождь. С самого утра. И к обеду их не стало. Приехала милиция, а уже не было чего показать. Только рассказы-

вали. Кусочки вот такие... *(Показывает руками.)* Как мой платочек. Синие и красные...

Мы не сильно боялись этой радиации... Когда б мы ее не видели, не знали, может, и боялись, а когда посмотрели, то уже не так страшно. Милиция с солдатами трафаретки поставила. У кого возле дома, где на улице – написали: семьдесят юри, шестьдесят юри... Век жили на своей картошке, на бульбочке, а тут сказали – нельзя! Кому беда, кому смех... Работать на огороде советовали в марлевых повязках и резиновых перчатках... А тогда еще один важный ученый приехал и выступил в клубе, что дрова надо мыть... Диво! Отсохни мои уши! Приказали перестирать пододеяльники, простыни, занавески... Так они ж в хате! В шкафах и сундуках. А какая в хате радиация? За стеклом? За дверями? Диво! Ты найди ее в лесу, в поле... Колодцы позакрывали на замок, обернули целлофановой пленкой... Вода «грязная»... Какая она грязная, она такая чистая! Наговорили мешок. Вы все умрете... Надо уезжать... Эвакуироваться...

Напугались люди... Набрались страху... Некоторые давай по ночам свое добро закапывать. И я свою одежду сложила... Красные грамоты за мой честный труд и копейку, какая у меня была, хранилась. Такая печаль! Такая печаль переедала сердце! Чтобы я так умерла, как я правду вам говорю! А тут слышу, что в одной деревне солдаты людей эвакуировали, а дед с бабкой остались. Перед тем днем, когда людей поднимали, вели в автобусы, они взяли коровку и подались в лес. Переждали там. Откуда та беда берется? *(Плачет.)* Непрочна наша жизнь... Рада не плакать, так слезы текут...

О! Поглядите в окно: сорока прилетела... Я их не гоню... Хотя, бывает, что сороки у меня яйца из сарая тягают. Все равно не гоню. Никого не гоню! Вчера заяц прибежал...

Вот если бы каждый день в хате были люди. Тут недалеко, в другой деревне. Тоже баба одна живет, я говорила, чтобы ко мне переходила. Что поможет, а что нет, но хотя бы заговорить до кого. Позвать... Ночью все у меня болит. Ноги крутит, как мурашки бегают, это нерв по мне ходит. Так я возьму что в руки. Жменьку зерна... И хруп, хруп. Нерв тогда успокаивается... Что я уже наработалась за свою жизнь, нагоревалась. Всего хватило и ничего не хочу. Если б померла, то и отдохнула. Как там душа, а телу спокойно будет. И дочки у меня есть, и сыны... Все в городе... А я никуда отсюда не хочу! Дал Бог годы, а не



дал доли. Я знаю, что докучает старый человек, дети потерпят, потерпят и обидят. Радость от детей, пока малые. Наши женщины, которые поехали в город, все плачут. То невестка обижает, то дочка. Вернуться хотят. Мой хозяин тут... Лежит на могилах... На кладбище. Если бы не лежал тут, то жил бы в другом месте. И я с ним. *(Вдруг весело.)* А что ехать? Тут хорошо! Все растет, все цветет. Начиная от мошки до зверя, все живет.

Я все вам вспомню... Летят самолеты и летят. Каждый день. Низко-низко над головами. Летят на реактор. На станцию. Один за одним. А у нас – эвакуация. Переселение. Штурмуют хаты. Люди позакрывались, попрятались. Скот ревет, дети плачут. Война! А солнышко светит... Я села и не выхожу из хаты, правда, на ключ не закрывала. Постучали солдаты: «Что, хозяйка, собралась?» Спрашиваю: «Силой будете мне руки и ноги связывать?» Помолчали, помолчали и пошли. Молоденькие-молоденькие. Дети! Бабы на коленях перед хатами ползали... Молились... Солдаты под руки одну, другую – и в машину. А я пригрозила, который ко мне дотронется, хоть зацепит, тот кием получит. Ругалась! Крепко ругалась! Не плакала. Тогда я не плакала.

Сижу в хате. То крик. Крик! А то стало тихо... Затихло. Я в первый день не вышла из хаты...

Рассказывали: шла колонна людей... И шла колонна скота. Война!

Мой хозяин любил сказать, что человек стреляет, а Бог пули носит. Кому какая судьба! Молодые, что поужезжали, уже есть что поумирали. На новом месте. А я с киечком – хожу. Тупаю. Скучно станет, поплачу. Деревня пустая... А птицы тут всякие... Летают... И лось идет хоть бы что... *(Плачет.)*

Я все вспомню... Люди поужезжали, а кошек и собак оставили. Первые дни я ходила и разливала всем молоко, а каждой собаке давала кусок хлеба. Они стояли у своих дворов и ждали хозяев. Ждали людей долго. Голодные кошки ели огурцы... Ели помидоры... До осени я у соседки косила траву перед калиткой. Забор упал, забор ей прибила. Ждала людей... Жила у соседки собачка, звали Жучок. «Жучок, – прошу, – если первый людей встретишь, – то крикни мне».

Ночью сню, как я эвакуируюсь... Офицер кричит: «Хозяйка, мы скоро все будем сжигать и закапывать. Выходи!» И везут меня куда-то, в какое-то незнакомое место. Непонятное. Это и не город, и не деревня. И не земля...

Случилась история... Был у меня хороший котик. Васька. Зимой голодные крысы напали, нет спасения... Под одеяло лезли... Зерно в бочке – дырку прогрызли. Так Васька спас... Без Васьки бы погибла... Мы с ним поговорим, пообедаем. А тогда пропал Васька... Может, голодные собаки где напали и съели? Они все бегали голодные, пока не поумирали, кошки были такие голодные, что котят ели, летом не ели, а зимой. Прости, Господи! А одну бабу крысы загрызли... Сожрали. Рыжие крысы... Правда или нет, а бают. Рыскают тут бомжи... Первые годы добра хватало... Сорочки, кофты, шубы... Бери и вези на базахолку... Вот они напьются, песни поют. Мать-перемать. Один свалился с велосипеда и уснул на улице. Утром две косточки нашли и велосипед. Правда или нет? Не скажу. Бают.

Тут все живет. Ну, все-все! Ящерица живет, лягушка живет. И червяк живет. И мыши есть. Все есть. Особенно весной хорошо. Я люблю, когда сирень цветет. Черемуха пахнет. Пока ноги крепко держали, сама за хлебом ходила, в одну только сторону пятнадцать километров. Молодая бегом бы проскакала. Привычная. После войны мы ходили за семенами на Украину. За тридцать, за пятьдесят километров. Люди по пуду носили, а я три. А теперь по хате, бывает, не перейду. Старой бабе и летом на печи холодно. Милиционеры едут сюда, проверяют деревню, так мне хлеба везут. Только что они тут проверяют? Живу я и котик. Это уже другой котик у меня. Милиция посигналил, мы с ним обрадуемся. Бежим. Ему привезут косточек. А меня будут спрашивать: «А если наскочат бандиты?» – «Так чем они у меня разживутся? Что возьмут? Душу? У меня только душа». Хорошие хлопчики... Смеются... Батарейки к приемнику привезли, я теперь радио слушаю. Людмилу Зыкину люблю, но что-то она редко сейчас поет. Видно, состарела, как и я... Мой хозяин любил сказать... Так еще говорил: кончен бал – и скрипки в торбу!

Расскажу я, как котика себе нашла. Не стало моего Васьки... И день жду, и два... И месяц... Ну, совсем, было, я одна осталась. Не к кому и заговорить. Пошла по деревне, по чужим садкам зову: Васька, Мурка... Васька! Мурка! Первое время много их бегало, а потом где-то пропали. Уничтожились. Смерть не разбирает... Всех принимает земляка... И хожу я, и хожу. Два дня звала. На третий день – сидит под магазином... Мы переглянулись... Он рад, и я рада. Только что он слово не скажет. «Ну, пошли, – прошу, – пошли домой». Сидит... Мая... Я давай его упрашивать: «Что ты будешь тут один? Волки съедят. Разорвут.

Пошли. У меня яйца есть, сало». Вот как объяснить? Кот человеческого языка не понимает, а как он тогда меня уразумел? Я иду впереди, а он бежит сзади. Мяу... «Отрежу тебе сала»... Мяу... «Будем жить вдвоём»... Мяу... «Назову тебя Васькой»... Мяу... И вот мы с ним уже две зимы перезимовали...

Ночью приснится – кто-то позвал... Голос соседки: «Зина!» Помолчит... И опять: «Зина!»

Скучно мне станет, я заплачу...

Зайду на могилки. Мама там лежит... Дочушка малая... В войну от тифа сгорела... Только мы занесли ее на могилки, закопали, как вышло из-за туч солнышко. И светит-светит. Хоть ты вернись и откопай. Хозяин мой там... Федя... Посижу возле всех. Повздыхаю. А поговорить можно и с живыми, и с мертвыми. Мне никакой разницы. Я и тех, и других слышу. Когда ты одна... И когда печаль... Сильная печаль...

Возле самых могилочек учитель Иван Прохорович Гавриленко жил, он к сыну в Крым уехал. За ним – Петр Иванович Миусский... Тракторист... Стахановец, когда-то все в стахановцы выбивались. А там дальше Миша Михалев, он котлы топил на ферме. Миша помер быстро. Уехал – и сразу помер. За ним – дом зоотехника Степана Быхова стоял... Сгорел! Ночью злые люди подожгли. Пришлые. Степан долго не пожил. Где-то в Могилевском районе похоронен. Вторая война... Столько мы людей потеряли! Ковалев Василий Макарович, Максим Никифоренко... Я, бывает, закрою глаза и хожу по деревне... Ну, какая, говорю им, тут радиация, когда и бабочка летает, и шмель жужжит. И мой Васька мышей ловит. *(Плачет.)*

А моя ты любочка, поняла ли ты мою печаль? Понесешь людям, а меня, может, уже и не будет. Найдут в земельке... Под корнями...»

*Зинаида Евдокимовна Коваленко, самосел*

## **Монолог о целой жизни, написанный на дверях**

«Я хочу засвидетельствовать...

Это было тогда, десять лет назад, и каждый день происходит со мной сейчас. Это всегда со мной.

Мы жили в городе Припять. В самом этом городе.

Я не писатель. Не опишу. Моего ума не хватает, чтобы понять. И моего высшего образования. Вот ты живешь... Обыкновенный человек. Маленький. Такой, как все вокруг, – идешь на работу и приходишь с работы. Получаешь среднюю зарплату. Раз в год едешь в отпуск. Нормальный человек! И в один день ты внезапно превращаешься в чернобыльского человека. В диковинку! Во что-то такое, что всех интересует и никому неизвестно. Ты хочешь быть как все, а уже нельзя. Ты не можешь. На тебя смотрят другими глазами. Тебе задают вопросы: там было страшно? Как горела станция? Что ты видел? И, вообще, могли ли у тебя быть дети? Жена от тебя не ушла? На первых порах мы все превратились в диковинку... Само слово «чернобылец» до сих пор как звуковой сигнал... Все поворачивают голову в твою сторону... Оттуда!

Это были чувства первых дней... Мы потеряли не город, а целую жизнь...

Уехали из дома на третий день... Реактор горел... Запомнилось, что кто-то из знакомых сказал: «Пахнет реактором». Неописуемый запах. Но об этом уже было в газетах. Превратили Чернобыль в фабрику ужасов, а на самом деле – в мультик. Я расскажу только свое... Свою правду...

Было так... Объявили по радио: кошек брать нельзя! Кошку в чемодан! А она в чемодан не хочет, вырывается. Обцарапала всех. Вещи брать нельзя! Я все вещи не возьму, я возьму одну вещь. Только одну! Я должен снять дверь с квартиры и увезти, дверь оставить не могу... А вход забью досками...

Наша дверь... Наш талисман! Семейная реликвия. На этой двери лежал мой отец. Не знаю, по какому обычаю, не везде так, но у нас, сказала мне мама, покойника надо положить на дверь от его дома. Он так лежит, пока не привезут гроб. Я сидел около отца всю ночь, он лежал на этой двери... Дом открыт... Всю ночь... И на этой же двери до самого верха зазубрины... Как я рос... Отмечено: первый класс, второй. Седьмой. Перед армией... А рядом – как рос уже мой сын... Моя дочь... На этой двери вся наша жизнь записана. Как я ее оставлю?

Попросил соседа, у него была машина: «Помоги!» Показал мне на голову: мол, ты, друг, не в себе. Но я ее вывез... Дверь... Ночью... На мотоцикле... Лесом... Вывез через два года, когда наша квартира уже была разграблена. Очищена. За мной гналась милиция: «Будем стрелять! Будем стрелять!» Конечно, они приняли меня за мародера. Дверь из собственного дома я как украл...

...Отправил дочку с женой в больницу. У них по телу расплозились черные пятна. То появятся, то исчезнут. Величиной с пятак... А ничего не болит... Их обследовали. Я спросил: «Скажите, какой результат?» – «Не для вас». – «А для кого же?»

Вокруг тогда все говорили: умрем-умрем... К двухтысячному году белорусы исчезнут. Дочке было шесть лет. Укладываю ее спать, она мне шепчет на ухо: «Папа, я хочу жить, я еще маленькая». А я думал, она ничего не понимает...

Вы способны себе представить сразу семь лысых девочек? Их в палате было семь... Нет, достаточно! Я кончаю! Когда я рассказываю, у меня чувство, вот сердце подсказывает – ты совершаешь предательство. Потому что я должен описывать её, как чужую... Её мучения... Жена пришла из больницы... Не выдержала: «Лучше бы она умерла, чем так мучиться. Или мне умереть, чтобы больше не смотреть». Нет, достаточно! Я кончаю! Не в состоянии. Нет!

Положили её на дверь... На дверь, на которой когда-то лежал мой отец. Пока не привезли маленький гроб... Он был маленький, как коробка из-под большой куклы.

Я хочу засвидетельствовать – моя дочь умерла от Чернобыля. А от нас хотят, чтобы мы этого не помнили».

*Николай Фомич Калугин, отец*

## **Монолог одной деревни о том, как зовут души с неба, чтобы с ними поплакать и пообедать**

*Деревня Белый Берег Наровлянского района Гомельской области.  
Говорят: Анна Павловна Артюшенко, Ева Адамовна Артюшенко, Василий Николаевич Артюшенко, Софья Николаевна Мороз, Надежда Борисовна Николаенко, Александр Федорович Николаенко, Михаил Мартынович Лис.*

– Гостейки к нам... Добрые люди... Не ворожилось на встречу... Никакого знака... Бывает, ладонь чешется – поздоровкаешься. А сегодня, ани, не ворожилось. Одно соловейка всю ночь пел – на солнечный день. Ой! Наши бабы в момент сбегутся. Вон Надя уже летит...

– И пережили все, перетерпели...

– Ой, не хочу вспоминать. Страшно. Выгоняли нас, солдаты выгоняли. Военная техника понаехала. Самоходки. Один дед старый... Уже лежал. Помирал. Куда ехать? «Я вот встану, – плакал, – и пойду на могилки. Своими ногами». Что нам за хаты заплатили? Что? Поглядите, какая тут красота! Кто нам за эту красоту заплатит? Курортная зона!

– Самолеты, вертолеты – гул стоял. КамаЗы с прицепами... Солдаты. Ну, думаю, началась война. С китайцами или американцами.

– Хозяин пришел с колхозного собрания и говорит: «Завтра нас эвакуируют». А я: «Как же картошка? Не выкопали. Не успели». Стучит в дверь сосед, и сели они с моим выпивать. Выпили и давай ругать председателя: «Не поедем, и точка. Войну пережили, а тут радиация». Хоть залезай в эту землю. Не поедем!

– Сначала думали, что все умрем через два-три месяца. Так нам говорили. Агитировали. Пугали. Слава Богу – живы!

– Слава Богу! Слава Богу!

– Никто не знает, что на том свете. Тут лучше... Знакомее. Как моя мама приговаривала: красуешься, радуешься и самовольничаешь.

– Пойдем в церковь, помолимся.

– Уезжали... Взяла землю с маминой могилки в мешочек. Постояла на коленках: «Прости, что мы тебя оставляем». Ночью пошла к ней и не боялась. Люди свои фамилии писали на хатах. На бревнах. На заборе. На асфальте.

– Собак солдаты убивали. Стреляли. Бах-бах! После этого я не могу слышать, как кричит живое.

– Я тут бригадирствовал. Сорок пять лет... Жалел людей... В Москву на выставку мы свой лен возили, колхоз посылал. Значок оттуда привез и красную грамоту. Тут ко мне с уважением: «Василий Николаевич. Николаевич...» А кто я там, на новом месте? Старый дед в капелюше. Тут буду помирать, женщины мне воды принесут, в хате на теплят. Жалел я людей... Вечером идут бабы с поля и поют, а я знаю, что они ничего не получают. Одни палочки на трудодни. А поют...

– В деревне люди живут вместе... Одним миром...

– Снится мне сон, это я уже в городе у сына жила. Сон... Что жду смерти, поджидаю. И сыновьям наказываю: «Повезете меня на наши могилки, хоть пять минут постоит со мной возле родной хаты». И сверху вижу, как сыны меня туда везут...

– Пусть она отравленная, с радиацией, но это моя родина. Нигде мы больше не нужны. Даже птице своё гнездо мило...

– Доскажу... Жила у сына на седьмом этаже, подойду к окну, гляну вниз и крещусь. Кажется, что коня слышу. Петуха... И такая жаль... А то сосню свой двор: корову привязываю и дою, дою... Просыпаюсь. Не хочу вставать. Я еще там. Я то здесь, то там.

– Днём мы жили на новом месте, а ночью на родине. Во сне.

– Зимой у нас тут ночи длинные, сидим, бывает, и считаем: кто уже помер?

– Мой хозяин два месяца лежал... Молчал, не отвечал мне. Как обиделся. Хожу по двору, вернусь: «Батька, как ты?» Глаза только на голос поднимет, а мне уже легче. Пусть бы лежал, молчал, а был в хате. Когда человек умирает, плакать нельзя. Перебьешь ему смерть, будет долго трудиться. Я в шкафу свечку взяла и в руки ему вставила. Он взял и дышит... Глаза, вижу, мутные... Не плакала... Об одном просила: «Передай там привет нашей дочушке и моей любимой мамочке». Молилась, чтобы нам вместе... Некоторые Бога и упроят, а мне он смерти не дал. Живу...

– А я помирать не боюсь. Никто два раза не живет. И лист отлетает, и дерево падает.

– Бабоньки! Не плачьте. В передовиках все годы ходили. Стахановки. Сталина пережили. Войну! Если бы не смеялись и не тешились, то давно б повесились. Значит, разговаривают две чернобыльские женщины. Одна: «Слыхала, у нас у всех теперь белокровие?» Другая: «Ерунда! Я вчера палец порезала, кровь текла красная».

– В родном краю, как в раю. А на чужине и солнце не так светит.

– А моя мама когда-то меня научила, что возьми иконку и переверни ее, и чтобы она так три дня повисела. Где б ты ни была, обязательно домой возвратишься. У меня было две коровы и две телки, пять свиней, гуси, куры. Собака. Руками голову обхвачу и хожу по саду. А яблок, яблок-то сколько! Пропало все, тьфу, пропало!

– Помыла хату, печь побелила... Надо оставить хлеб на столе и соль, миску и три ложечки... Ложек столько, сколько душ в хате... Все, чтоб вернуться...

– А гребешки у кур были черные, а не красные. Радиация.

– Эта радиация у меня на огороде была. Огород весь побелел, беленький-беленький, как чем-то посыпанный. Кусочками какими-то... Я думала, может, что-то из лесу такое принесло...

– Не хотели мы уезжать. Ой, не хотели! Мужики выпившие. Под колеса бросались. Начальство ходило по хатам и каждого уговаривало. Наказ: «Имущество не брать!»

– Скот три дня не поенный. Не кормленный. На убой! Приехал корреспондент из газеты. Пьяные доярки чуть его не убили.

– Председатель с солдатами кружится вокруг моей хаты... Страшают: «Выходи или будем поджигать! А ну, сюда канистру с бензином». Забегала – то рушник схвачу, то подушку...

– А в войну целую ночь орудия стучают-стучают, секут-секут. Мы земляночку в лесу выдолбили. Бомбят и бомбят. Все сожгли, сказать бы хаты, а то и огород, и вишенки погорели.

Только б не было войны... Как я её боюсь!

– У армянского радио спрашивают: «Можно ли есть чернобыльские яблоки?» Ответ: «Можно, только огрызки надо глубоко в землю закапывать».

– Дали нам новый домик. Каменный. Так, знаете, за семь лет не забрили ни одного гвоздя. Чужина. Все чужое. Мой хозяин плакал и плакал. Неделю работает в колхозе на тракторе, ждет воскресенье, а в воскресенье ляжет у стенки и голосит...

– Больше нас никто не обманет, никуда мы со своего места не двинемся. Магазины нет, больницы нет. Света нет. Сидим при керосиновой лампе и при лучине. А нам хорошо! Потому что дома...

– В городе невестка ходила за мной по квартире с тряпкой и вытирала дверную ручку, стул... А все за мои деньги куплено, вся мебель и «Жигули». За те, что мне отдали за дом, за коровку. Деньги кончились, и мама не нужна.

– Деньги наши дети забрали... А что осталось, инфляция съела. Может, килограмм хороших конфет на них теперь купишь, а может, и не хватит, то, что нам отдали за хозяйство, за хаты...

– Две недели я шла пешком... И коровку свою вела... Люди не пускали в хату... В лесу ночевала...

– Боятся нас. Заразные, говорят. За что Бог наказал? Рассердился на нас? Живем не по-людски, не по Божьим законам. Казним один одного. За это.

– Мои внуки летом приезжали... Первые годы не ехали. Тоже боялись... А теперь навещают, продукты уже берут, все пакуют, что дашь. «Бабушка, – спрашивали, – а читала ты книгу о Робинзоне?» Жил



один так, как и мы. Без людей. Я с собой полмешка спичек привезла... Топор и лопату... А теперь у меня сало, яйца, молоко, – все свое. Одно что – сахар не посеешь. Земли тут сколько хочешь! Хоть сто гектаров запахивай. А власти никакой. Тут человеку никто не мешает... Ни начальство, никто...

– С нами и коты вернулись. И собаки. Возвращались вместе. Солдаты нас не пускали. Омоновцы. Так мы ночью... Лесными дорогами... Партизанскими...

– Ничего от государства нам не надо. Ничего не просим. Не трогайте только нас! Ни магазина не надо, ни автобуса. За хлебом ходим пенком... Двадцать километров. Не трогайте только нас! Мы сами себе.

– Табором вернулись. Три семьи... А здесь все разграблено: печь разбили, окна, двери сняли. Полы. Лампочки, выключатели, розетки – все выкрутили. Ничего живого. Вот этими руками все заново, вот этими руками. А как же!

– Дикие гуси кричат – весна наступила. Сеять пора. А мы в пустых хатах... Одно – крыши целые...

– Милиция кричала. Приедут на машинах, а мы – в лес. Как от немцев. Один раз напали на нас с прокурором, так он грозился, что будут судить по десятой статье... Я говорю: «Пускай мне дадут год тюрьмы, я отбуду и сюда вернусь». Их дело покричать, а наше – помолчать. Я орден имею, как передовой комбайнер, а он мне грозит – по десятой статье пойдешь...

– Каждый день мне моя хата снилась. Я возвращалась: то копаю огород, то постель прибираю... И всегда что-нибудь найду: то туфлю, то цыплят... К добру всё, к радости. На возвращение...

– Ночью Бога просим, а днем милиционеров. Спросите вы у меня: «Что ты плачешь?» А я не знаю, чего я плачу. Я рада, что я в своем дворе живу.

– И пережили все, перетерпели...

– Добилась я к доктору: «Миленький, ножки не ходят. Суставчики болят». – «Коровку надо сдать, бабка. Молоко отравленное». – «Ой, нет, – причитаю, – ножки болят, коленки болят, а коровку не отдам. Моя кормилица».

– У меня семеро детей. Все в городах живут. Я тут одна. Затоскую, сяду под их фотографиями... Разговариваю. Сама себе. Все, все одна. Дом одна покрасила, шесть банок краски уложила. Так вот и живу. Вырастила четыре сына и три дочки. А муж рано умер. Одна.

– Я с волком встречался вот так: он стоит, и я стою. Посмотрели один на одного... Он в сторону отскочил... Помчался. Так у меня шапка поднялась от страха.

– Любой зверь боится человека. Ты зверя не трогай, и он тебя обойдет. Раньше ходишь по лесу, услышишь голоса, бежишь к людям, а сейчас человек от человека прячется. Не дай Бог встретить в лесу человека!

– Все, что в Библии написано, все исполняется. Там и про наш колхоз написано... И про Горбачева... Что будет большой начальник с клеймом и великая держава рассыпется. А потом наступит Божий суд... Кто в городах живет, все погибнут, а в деревне один человек останется. Человек будет рад человеческому следу! Не человеку, а только следу его...

– А свет у нас – лампа. Керосинка. А-а... Бабы уже доложили вам. Убьем кабана, так в погреб несем или в землю закапываем. В земле мясо три дня лежит. Водка у нас из своего жита.

– У меня два мешка соли... Не пропадем без государства! Дров полно – кругом лес. Хата теплая. Лампа горит. Хорошо! Козу держу, козлика, трое свиней, четырнадцать кур. Земли – вдосталь, травы – вдосталь. Вода есть в колодце. Воля! Нам хорошо! У нас тут не колхоз, а коммуна. Еще одного коника купим. И тогда никто нам больше не нужен. Одного коника...

– Мы не домой вернулись, как один корреспондент тут был и удивлялся, а на сто лет назад. Серпом жнем, косой косим. Молотим цепями зерно прямо на асфальте.

– В войну нас сожгли, жили в земле. В землянках. Моего брата убили и два племянника. Всего в роду погибло семнадцать человек. Мама плачет и плачет. А ходила старушка по деревням, побиралась. «Скорбишь?» – говорит маме. – Не скорби. Кто отдал жизнь за других, тот святой человек». И я все за Родину могу... Только убивать не могу... Я – учительница, я учила – любите человека. Только так учила: «Всегда побеждает добро». Дети, они маленькие, душой чистые.

– Чернобыль... Над войнами война. Нет человеку нигде спасения. Ни на земле, ни в воде, ни на небе.

– Телевизора у нас нет и радио. Никаких новостей не знаем, зато нам спокойней жить. Не расстраиваемся. Приезжают люди, пересказывают: везде война. И будто социализм кончился, живем при капи-

тализме. Царь вернется. Правда?!

– То кабан из лесу в сад зайдет, то лосиха... Люди редко. Одни милиционеры...

– А вы и в мою хату зайдите.

– И в мою. Так давно у меня в хате гость не сидел.

– И крещусь, и молюсь... Господи! Два раза милиция мне печку рубила... На тракторе вывозили... А я – назад! Пустили бы людей – они все на коленках домой бы поползли. Разнесли по свету нашей горе. Только мертвые назад возвращаются. Мертвым разрешают вернуться. А живые – ночью. Лесом...

– На радунницу все сюда рвутся. До одного. Каждый хочет своего помянуть. Милиция по спискам пропускает, а детям до восемнадцати лет нельзя. Приедут и так рады возле своей хаты постоять... В своем саду возле яблони... Сначала на могилках плачут, потом расходятся по своим дворам. И там тоже плачут и молятся. Ставят свечки. Висят на своих заборах... Что на оградах у могил... Бывает, что и веночек положат возле дома... Повесят белый рушник на калитке... Батюшка молитву читает: «Братья и сестры! Будьте терпеливыми!»

– На кладбище берут и яйца, и булки... У кого что есть... Каждый садится возле своей родни. Зовут: «Сестра, пришла тебя проведать. Иди к нам обедать». Или: «Мамочка ты наша. Папочка ты наш. Татуля». Зовут души с неба... У кого в этот год умерли, те плачут, а у кого раньше, те не плачут. Поговорят, вспомнят. Все молятся. Кто не умеет, тоже молится.

– Только ночью не плачу. Ночью по мертвому плакать нельзя. Солнце зайдет – уже не плачу. Помяни, Боже, душечку их. И царство им небесное!

– Кто не скачет, тот плачет. Вот хохлушка продает на базаре большие красные яблоки. Зазывает: «Покупайте яблочки! Яблочки чернобыльские!» Кто-то ей советует: «Не признавайся, тетка, что они чернобыльские. Никто не купит». – «Не скажите! Берут! Кому надо для тещи, кому для начальника!»

– Тут один из тюрьмы вернулся. По амнистии. В соседней деревне жил. Мать умерла, дом закопали. Прибился к нам. «Тетка, дайте кусок хлеба и сала. Я вам дров наколю». Побирается.

– Бардак в стране – и сюда бегут люди. От людей бегут. От зако-

на. И живут одни. Чужие люди... Суровые, нет приветствия в глазах. Напьются – подожгут. Ночью спим, а под кроватью – вилы, топоры. На кухне у дверей – молоток.

– Весной бешеная лиса бегала, когда она бешеная, то ласковая-ласковая. Не может смотреть на воду. Поставь во дворе ведро воды – и не бойся! Уйдет.

– Мы – люди заслуженные. Я – партизан, год был в партизанах. А когда наши немцев отбили, на фронт попал. На рейхстаге свою фамилию написал: Артюшенко. Снял шинельку, коммунизм строил. А где тот коммунизм?

– У нас тут коммунизм... Живем – братья и сестры...

– Как война началась, не было в тот год ни грибов, ни ягод. Поверите? Сама земля беду чужая... Сорок первый год... Ой, вспоминаю! Я войну не забыла. Пролетел слух, что пригнали наших пленных, кто признает своего, может забрать. Поднялись, побежали наши бабы! Вечером кто своего, а кто чужого привел. Но нашелся такой гад... Жил, как все, женатый, двое детей... Заявил в комендатуру, что мы украинцев взяли. Васько, Сашко... Назавтра немцы на мотоциклах приезжают... Просим, на колени падаем... А они вывели их за деревню и положили из автоматов. Девять человек. Они ж молодые-молодые, хорошие! Васько, Сашко...

Только б не было войны. Как я ее боюсь!

– Начальство приедет, покричит-покричит, а мы глухие и немые. И пережили все, перетерпели...

– А я про свое... Про своё думаю и думаю... На могилках... Кто причитает громко, а кто тихо. Другие, бывает, прискажут: «Распахнись, желтый песочек. Распахнись, темная ночка». Из лесу дождешься, а из песка – никогда. Буду обращаться ласково: «Иван... Иван, как мне жить?» А он ничего не ответит мне, ни хорошего, ни плохого.

– Нет своих, чтобы по ним плакать, так я по всех плачу. По чужих. Пойду на могилки, поговорю с ними...

Никого не боюсь: ни покойников, ни зверей, никого. Сын приедет из города и ругается: «Что сидишь одна? А как кто задушит?» А что он возьмет у меня? Одни подушки... В простой хате все уборы – подушки. Как станет бандит лезть, он же голову всунет в окно, а я ее топориком прочь. По-нашему, секеркой... Может, и нет Бога, может, другой кто, но там, высоко, кто-то есть. И я живу...

– Зимой дед повесил во дворе разделанного теленка. И иностранцев как раз привезли: «Дедушка, что ты делаешь?» – «Радиацию выгоняю».

– Было же... Люди рассказывали... Похоронил муж жену, а хлопчик маленький у него остался. Мужчина один... Запил с горя... Снимет с дитенка все мокрое и под подушку. А жена – то ли она сама, то ли только душа ее – явится ночью, помоеет, посушит и сложит в одном месте. Раз он ее увидел... Позвал, она сразу как растаяла... Воздухом стала... Тогда соседи ему посоветовали: как тень мелькнет – двери на ключ, то, может, скоро не убежит. А она и совсем не пришла. Что там такое было? Кто там такой приходил?

Не верите? А тогда отвечайте, откуда сказки взялись? Это же, может, когда-то правда была? Вот вы грамотные...

– Отчего тот Чернобыль сорвался? Одни бают – ученые виновны. Хватают Бога за бороду, а он смеется. А нам тут терпи!..

Спокойно мы никогда не жили. Всегда боялись. Перед самой войной людей хватили... У нас троих мужчин приехали на черных машинах и с поля забрали, и до сих пор они не вернулись. Всегда мы боялись...

– Одно, что у меня есть, коровка. Я пошла б и отдала, только б не было войны. Как я ее боюсь!

– А тут над всеми войнами война... Чернобыль...

– И кукушка кукует, сороки трещат... Косули бегают. А будут ли они дальше вестись, никто не скажет. Утром глянула в сад – кабаны порыли. Дикие. Людей можно переселить, а лося и кабана – нет.

Дом не может без человека. И зверю человек нужен. Все ищут человека. Аист прилетел... Жучок вылез. Всему рада.

– Болит, бабоньки... Ой как мне болит! Надо тихо... Гроб несут тихо... Осторожно... Не стукнуть о дверь или кровать, ни до чего не дотронуться и не ударить. А то беда – жди второго покойника. Помяни, Боже, душечку их. И царство им небесное! А где хоронят, там и причитают. Тут у нас всё – могилки... Кругом могилки... Самосвалы гудят... Бульдозеры... Хаты падают... Похоронщики работают и работают... Закопали школу, сельсовет, баню... Этот самый свет, да люди уже не те. Одно не знаю, если ли у человека душа? Говорит батюшка, обещает, что мы – бессмертные. Какая она, душа? И где они все на том свете вмещаются?

Два дня дед помирал, за печкой притаюсь и сторожу: как она из

него вылетать будет? Пошла корову доить... Вскочила в хату... Зову... Лежит с открытыми глазами... Душа улетела... Или ничего не было? Как же тогда свидимся...

### **Монолог о том, что найдешь дождевого червяка, и курица радуется**

«Первый страх? Первый страх с неба упал... Водой плыл... А некоторые люди и много кто были спокойные, как камни. Крестом побожусь! Мужчины, которые постарше, выпьют: «Мы до Берлина дошли и победили». Скажут, как приклеют к стене ...

Первый страх был... Утром в саду и на огороде мы находили удуренных кротов. Кто их душил? Обычно они на свет не вылазят изпод земли. Что-то их гнало. Крестом побожусь!

Сын звонит из Гомеля:

– А майские жуки летают?

– Жуков нет, даже личинок где-то не видно. Попрыгались.

– А дождевые черви есть?

– Найдешь дождевого червяка, курица радуется. И их нет.

– Первая примета: где майских жуков и дождевиков нет – там сильная радиация.

– Что такое радиация?

– Мама, это смерть такая. Уговаривайте тату уезжать. У нас перебудете.

– Так мы ж огород не посадили...

Были бы все умные, так кто бы остался дурнем. Горит, ну горит. Пожар – временное явление, никто по тем временам не боялся. Атома не знали. Крестом побожусь! А жили под боком у атомной станции, напрямую – тридцать километров, а если по шоссе – сорок. Довольны были очень. Купил билет и поехал. Снабжение у них московское... Колбаса дешевая, всегда мясо в магазинах. На выбор. Хорошее было время!

А теперь один страх... Мелют, что лягушки и мошки останутся, а люди – нет. Жизнь останется без людей. Мелют сказку с присказкой. А, дурак, кто их любит! Но не бывает байки без правды... Старая это уже песня...

Радио включу. Пугают и пугают нас радиацией. А нам при радиации стало лучше жить. Крестом побожусь! Ты погляди: завезли апель-

сины, три сорта колбасы, пожалуйста... В деревне! Мои внуки полсвета объехали. Меньшая девочка вернулась из Франции, это же когда-то Наполеон оттуда наступал... «Бабушка, я видела ананас!» Второго внука... Братика ее в Берлин на лечение брали... Это туда, откуда на нас Гитлер пёр... На танках... Новый свет теперь... Все по-другому... Радиация эта виновата или кто? А какая она? Может, в кино где показывали? Вы видели? Белая, или какая она? Какого цвета? Одни говорят, что без цвета и запаха, а другие, что она черная. Как земля! А если без цвета, то, как Бог. Бог всюду, а никто не видит. Пугают! А яблоки в саду висят и лист на деревьях, картошка в поле... Я думаю, что никакого Чернобыля нет, придумали... Обманули людей... Сестра моя со своим мужиком уехали... Недалеко тут, за двадцать километров. Два месяца там пожили, бежит к ним соседка: «От вашей коровы радиация перелезла к моей. Корова падает». – «А как она перелезет?» – «Она по воздуху летает, как пыль. Летучая». Сказки! Сказки с приколкой...

Но как подумаю – в каждой хате кто-то помер...

А что я вам добавлю? Надо жить... Больше ничего...

А то еще... Раньше мы сами били масло, сметану, ставили творог, сыр. Варили молочную затирку. Едят ли такое в городе? Заливаешь муку водой и мешаешь, получаются рваные кусочки теста, тогда ты их в кастрюлю с кипячёной водой. Поваришь и забеливаешь молоком. Мама моя показывала и учила: «И вы, дети, научитесь так. А я научилась от своей мамы». Пили мы березовый и кленовый сок. Березовик и кленовик. Фасоль в стручках парили в чугунках в печи. Варили кисель из клюквы... А в войну крапиву собирали, лебеду... С голоду пухли, но не помирали... Ягоды в лесу, грибы... А сейчас такая жизнь, что все это по рушилось. Думалось нам, что это нерушимое, что то, что в чугунке кипит, вечное. Никогда бы я не поверила, что оно поменяется. Но оно ж так... Молоко нельзя... Бобовые – нельзя... Грибы, ягоды запрещают... Мясо наказывают вымачивать три часа... И с картошки два раза воду сливать, когда варишь. Но с Богом биться не будешь... Надо жить... Пугают, что и воду нашу нельзя пить. Но как ты без воды? В каждом человеке вода есть. Никого нет без воды. Воду и в камне найдешь. Ну, то ж вода, может, она вечная? Вся жизнь из нее... У кого спросишь? Никто не скажет. А Богу молятся, у него не спрашивают. То надо жить...»

*Анна Петровна Бадаева, самосел*

## Монолог о песне без слов

«Я вам в ножки поклонюсь... Попрошу... Найдите нам Анну Сушко... Она жила в нашей деревне... В деревне Кожушки... Фамилия – Анна Сушко... Я вам назову все приметы, а вы напечатайте. У нее горб, с детства немая... Жила одна... Шестьдесят лет... Во время переселения ее забрали на машине «Скорой помощи» и вывезли в неизвестном направлении. Грамоте она не училась, поэтому никакого письма мы от нее не получили. Одиноких и больных сселяли в приюты. Прятали. Но никто не знает адреса... Напечатайте...

Жалели мы ее всей деревней. Выхаживали, как малое дитя. Кто дров наколет, кто молока принесет. Кто посидит вечером в хате... Печь растопит... Два года, как мы, помыкавшись по чужим углам, вернулись в родные хаты. И ей передайте, что хата ее целая. Крыша есть, окна. Что побито и разграблено, вместе восстановим. Дайте нам только адрес, где она живет и страдает, поедем и заберем. Привезем назад. Чтобы она не умерла от тоски... Я вам в ножки поклонюсь... Невинная душа мучается в чужом свете...

Есть еще одна примета... Я забыла... Когда ей что-нибудь болит, она тянет песню... Без слов... Один голос... А разговаривать она не может... Когда болит, тянет голосом: а-а-а... Жалится...»

*Мария Волчок, соседка*

## Три монолога о древнем страхе

*Семья К-вых. Мать и дочь. И не сказавший ни слова мужчина (муж дочери).*

*Дочь:*

– Я первое время день и ночь плакала. Хотелось плакать и говорить... Мы из Таджикистана, из Душанбе... Там – война...

Мне про это нельзя... Я ребеночка жду, я – беременная. Но я вам расскажу... Заходят днем в автобус с проверкой паспортов... Обычные люди, только с автоматами. Посмотрят документы и выгалкивают из автобуса мужчин... И тут же, возле дверей... Стреляют... Даже не отводят в сторону... Я никогда бы сама не поверила. А я это видела... Виде-



ла, как вывели двух мужчин, один совсем молодой, красивый, он им что-то кричал. По-таджикски, по-русски... Кричал, что у него жена недавно родила, что трое маленьких детей дома. А они только смеялись, тоже молодые, совсем молодые. Обычные люди, только с автоматами. Он упал... Он им кроссовки целовал... Все молчали, весь автобус. Только отъехали: та-та-та... Боялась оглянуться... (Плачет.)

Мне про это нельзя... Я ребеночка жду... Но я вам расскажу... Об одном прошу: не называйте мою фамилию, а имя – Светлана. У нас там родственники остались... Их убьют... Я раньше думала, что у нас никогда уже войны не будет. Большая страна, любимая. Самая сильная! Раньше нам говорили, в советской стране, что мы бедно живем, скромно, потому что прошла большая война, народ пострадал, зато теперь у нас могучая армия, нас никто не тронет. Не победит! А мы стали стрелять друг в друга... Сейчас не такая война, как раньше, как дед вспоминал, он до Германии дошел, сейчас сосед стреляет в соседа, мальчики вместе в школе учились, и они убивают один одного, насилуют девочек, с которыми в школе рядом сидели. Все сошли с ума...

Наши мужья молчат. Мужчины здесь молчат. Они вам ничего не скажут. Им кричали вслед, что они, как женщины, бегут. Труссы! Родину предают. А где их вина? Разве это вина, что не можешь стрелять? У меня муж – таджик, ему надо было идти на войну и убивать. А он: «Уедем, уедем. Я не хочу на войну. Мне не нужен автомат». Там его земля, а он уехал, потому что не хочет убивать другого таджика, такого, как и он сам. Но ему здесь одиноко, там родные братья воюют, одного уже убили. Там его мать живет. Сестры. Ехали мы сюда в душанбинском поезде, стекол нет, холодина, не топят, стрелять не стреляли, но по дороге в окна камни кидали, стекла били: «Русские, убирайтесь! Оккупанты! Хватит нас грабить!» А он же таджик, и он это все слышал. И дети наши слышали. Девочка у нас училась в первом классе, она была влюблена в мальчика. Таджика. Приходит из школы: «Мама, а кто я – таджичка или русская?» Ей не объяснить...

Мне про это нельзя... Но я вам расскажу... У них памирские таджики воюют с кулябскими таджиками. Они – все таджики, у них один Коран, одна вера, но кулябцы убивают памирцев, а памирцы убивают кулябцев. Сначала они на площади собирались, кричали, молились. Я хотела понять, я тоже туда пошла. Спросила у стариков: «Против кого вы выступаете?» Они ответили: «Против парламента. Нам

сказали, что это очень плохой человек – Парламент». Потом площадь опустела и стали стрелять. Как-то сразу стала другая страна, незнакомая. Восток! А до этого нам казалось, что живем на своей земле. По советским законам. Там столько русских могил осталось, а на них некому плакать... Скот пасут на русских кладбищах... Коз... Русские старики по помойкам бродят, подбирают...

Работала я в роддоме, медсестрой. Ночное дежурство. Женщина рождает, тяжело рождает, кричит... Вбегает санитарка... В нестерильных перчатках, в нестерильном халате... Что случилось? Что!! Чтобы в таком виде в родильный зал?! «Девочки, бандиты!» А они в черных масках, с оружием. И сразу к нам: «Дай наркотики! Дай спирт!» – «Нет наркотиков, нет спирта!» Врача к стенке – давай! И тут женщина, которая рожала, с облегчением закричала. Радостно. И ребеночек заплакал, он только-только появился... Я над ним наклонилась, я даже не запомнила – кто это был: мальчик или девочка? У него еще ни имени, ничего. И эти бандиты к нам: кто она – кулябка или памирка? Не мальчик или девочка, а кулябка или памирка? Мы – молчим... А эти орут: «Кто она?!» Мы – молчим. Тогда они хватают этого ребеночка, он, может быть, минут пять–десять всего и побыл на этом свете, и выбрасывают в окно... Я медсестра, я не раз видела, как умирают дети... А тут... Мне это нельзя вспоминать... *(Плачет)*. Как жить? Как после этого рожать? *(Плачет)*.

После этого случая, в роддоме, у меня экзема на руках высыпала. Вены вздулись... И такое равнодушие... Не хотелось вставать с постели... *(Плачет)*. Подойду к больнице и назад поворачиваю. А я уже сама ребеночка ждала... Не могла там рожать... Приехали сюда... В Беларусь... В Наровлю... Тихий городок, маленький... И больше не спрашивайте... Я вам все рассказала... *(Плачет)*. Подождите... Хочу, чтобы вы знали... Я Бога не боюсь... Я человека боюсь... Первое время мы здесь спрашивали: «Где у вас радиация?» – «Где стоите, там радиация». Так это же вся земля?! *(Плачет)*. Полно домов пустых... Люди уехали... Им страшно...

А мне тут не так страшно, как там. Мы остались без родины, мы – ничьи. Немцы все уехали в Германию, татары, когда им разрешили, в Крым, а русские никому не нужны. На что надеяться? Чего ждать? Россия никогда не спасала своих людей, потому что большая, бесконечная. Честно говоря, я и не чувствую, что моя родина – Россия, мы воспитывались по-другому: наша Родина – Советский Союз. Вот и не

знаешь теперь, как душу спасти? Никто не щелкает здесь затвором, – уже хорошо. Нам тут дом дали, мужу – работу. Написала письмо своим знакомым, они вчера тоже приехали. Насовсем. Приехали вечером и боялись выйти из здания вокзала, детей не пускали, сидели на своих чемоданах. Ждали утра. А потом видят: люди ходят по улицам, смеются, курят... Им показали нашу улицу, провели до самого нашего дома. Они не могли прийти в себя, потому что мы там отвыкли от нормальной жизни, от обыкновенной. А утром они сходили в гастроном, увидели масло, сливки, и там же, в магазине – это все они сами нам рассказывали – купили пять бутылок сливок и тут же их выпили. На них смотрели, как на ненормальных... А они ни сливок, ни масла два года не видели. Там хлеба не купишь. Там – война... Это нельзя объяснить человеку, который сегодня войны не видел...

У меня там душа была мертвая... Кого бы я там родила с мертвой душой? Здесь людей мало... Дома пустые... Живем под лесом... Я боюсь, когда много людей. Как на вокзале... Как на войне... *(Заплакала навзрыд и замолчала).*

*Мать:*

– Только о войне... Только о войне могу говорить... Почему сюда приехали? На чернобыльскую землю? Потому что отсюда нас уже не выгонят. С этой земли. Она уже ничейная, Бог ее забрал... Люди ее оставили...

В Душанбе работала я заместителем начальника вокзала, и был еще один заместитель, таджик. Наши дети вместе росли, учились, мы сидели за одним праздничным столом: Новый год, Первоймай... Вместе пили вино, плов ели. Он ко мне обращался: «Сестра. Сестренка. Моя русская сестра». И вот он приходит, а мы сидели в одном кабинете, останавливается перед моим столом и кричит:

– Когда ты, наконец, в свою Россию укачишь? Это – наша земля!

В ту минуту я думала, что мой разум не выдержит. Подскочила к нему:

– Куртка на тебе откуда?

– Ленинградская, – ответил от неожиданности.

– Снимай русскую куртку, гад! – Сдираю с него куртку. – Откуда шапка? Хвалился, что из Сибири прислали! Снимай шапку, гад! Рубашку давай! Штаны! Их на московской фабрике шили! Они тоже русские!

До трусов бы раздела. Здоровенный мужчина, я ему по плечо, а тут откуда сила взялась, все бы с него содрала. Вокруг уже люди собрались. Он вопит:

– Иди от меня, бешеная!

– Нет, отдавай все мое, русское! Я все свое заберу! – Я чуть разума не лишилась. – Носки снимай! Туфли!!

Работали мы днем и ночью... Составы идут переполненные – бегут люди... Много русских людей тронулось с места...Тысячи! Десятки тысяч! Сотни! Еще одна Россия. Отправила я в два часа ночи московский поезд, остались в зале дети из города Курган-Тюбе, не успели на московский. Я их закрыла, я их спрятала. Подходят ко мне двое. С автоматами.

– Ой, ребята, что вы тут делаете? – А у самой сердце задрожало.

– Сама виновата, у тебя все двери нараспашку.

– Я поезд отправляла. Не успела закрыть.

– Что там за дети?

– Это наши, душанбинские.

– А может, они из Кургана? Кулябские?

– Нет-нет. Наши.

Ушли. А если бы открыли зал? Они бы всех.. И мне заодно – пулю в лоб! Там одна власть – человек с ружьем. Посадила я детей утром на Астрахань, приказала, чтобы их везли, как арбузы, двери не открывали. *(Сначала молчит. Потом долго плачет.)* Разве есть что-нибудь страшнее человека? *(Опять замолкает.)*

Уже, когда здесь шла по улице, через минуту оглядывалась, мне казалось, что кто-то за спиной наготове... Ждет. Дня там не проходило, чтобы я о смерти не думала... Всегда из дома во всем чистом выходила – в свежевystиранной блузке, юбке, в чистом белье. А вдруг убьют. Сейчас по лесу хожу одна и никого не боюсь. Людей в лесу нет, ни одного человека. Иду, вспоминаю: то ли было все это со мной, то ли нет? Другой раз охотников встретишь: с ружьем, собакой и дозиметром. Это тоже люди с ружьем, но не такие, они за человеком не гоняются. Стрельбу услышу, знаю, что по воронам стреляют или зайца гонят. *(Молчит.)* Поэтому мне здесь не страшно... Я не могу бояться земли, воды... Я человека боюсь... За сто долларов на базаре он там покупает автомат...

Я вспоминаю парня. Таджики... Он гнался за другим парнем... За человеком гнался!! Как он бежал, как дышал, я сразу поняла, что он хо-

чет убить... Но тот спрятался... Убежал... И вот этот возвращается, идет мимо меня и говорит: «Мать, где у вас тут можно воды попить?» Обычно так спрашивает, как ни в чем не бывало. У нас на вокзале бачок с водой стоял, я ему показала. И вот смотрю ему в глаза и говорю, говорю: «Зачем вы друг за другом гоняетесь? Зачем убиваете?» И ему будто даже стыдно стало. «Ну, мать, ты давай тише». А когда они вместе, они другие. Будь их трое или хотя бы они вдвоем, поставили бы меня к стенке. С одним человеком еще можно говорить...

Из Душанбе приехали в Ташкент, а дальше надо – в Минск. Нет билетов – и все! У них хитро устроено, пока взятку не дашь, в самолет не сядешь, бесконечные придирки – то к весу, то к объему: это нельзя, то убери. Два раза на весы гоняли, еле сообразила, деньги всунула... «Вот так бы давно, а то спорит тут». Как все просто! Контейнер у нас – две тонны, заставили разгрузить. «Вы едете с горячей точки, может, оружие везете? Анашу?» Двое суток мучили. Я пошла к начальнику и у него в приемной познакомилась с хорошей женщиной, она меня вздумила: «Ничего вы тут не добьетесь, а будете требовать справедливости, ваш контейнер выбросят в поле и разграбят то, что вы привезли». Ну, что делать? Ночь не спали, разгрузились, что у нас там: шмотки, матрасы, старый холодильник, два мешка книг. «Вы, наверное, ценные книги везете?» Посмотрели – «Что делать?» Чернышевского, «Поднятая целина» Шолохова... Посмеялись. «А сколько у вас холодильников?» – «Один, да и тот нам разбили». – «Почему не взяли декларации?» – «Ну откуда нам было знать? Мы первый раз с войны едем...»

Хожу по лесу, думаю. Наши все у телевизора сидят: как там? Что там? А я не хочу.

Была жизнь... Другая жизнь... Я там считалась большим человеком, есть у меня воинское звание – подполковник железнодорожных войск. Тут сидела безработная, пока не устроилась уборщицей в горсовете. Полы мою... Прошла жизнь... А на вторую у меня уже нет сил... Одни нас тут жалеют, другие недовольны: «Беженцы картошку воруют. По ночам выкапывают». В ту войну, моя мама вспоминала, люди больше друг дружку жалели. Недавно под лесом коня одичавшего нашли. Мертвого. В другом месте – зайца. Они были не убитые, а мертвые. Об этом все беспокоились. А нашли мертвого бомжа, как-то незаметно прошло. Почему-то к мертвому человеку люди везде привыкли...

*Лена М. – из Киргизии. На пороге дама, как для фотографии, рядом с ней сидели ее пятеро детей и кот Метелица, которого они с собой привезли.*

«Мы ехали, как с войны... Схватили вещи, кот за нами до вокзала шел след в след, кота забрали. Ехали поездом двенадцать суток, последние два дня оставались у нас только капуста квашеная в банках и кипяток. Кто с ломом, кто с топором, кто с молотком, дежурили у дверей. Скажу вам как ... Одной ночью напали на нас бандиты. Чуть не убили. За телевизор, за холодильник теперь могут убить. Мы ехали, как с войны, хотя в Киргизии, где мы жили, пока не стреляют. Была резня, дикая, еще при Горбачеве в городе Ош... Киргизов с узбеками... Как-то оно затихло... Но что-то еще в воздухе слышится... На улицах... Скажу вам, как страшно... Ну, мы русские, понятно, но и сами киргизы этого боятся... У них очереди за хлебом, вот они и кричат: «Русские, убирайтесь домой! Киргизия – для киргизов!» – и выгалкивают из очереди. И еще что-то по-киргизски, ну, такое, что, мол, им самим хлеба не хватает, а надо нас кормить. Я их язык плохо понимаю, выучила несколько слов, чтобы на базаре поторговаться, купить что-нибудь.

У нас была Родина, теперь ее нет. Кто я? Мама – украинка, папа русский. Родилась и выросла в Киргизии, вышла замуж за татарина. Кто – мои дети? Какая у них национальность? Мы все перемешались, наша кровь перемешалась. В паспорте у меня и у детей записано – русские, а мы – не русские. Мы – советские! Но той страны, где я родилась, нет. Нет ни того места, что мы называли родиной, ни того времени, которое тоже было нашей родиной. Мы теперь, как летучие мыши. У меня пятеро детей: старший сын – в восьмом классе, младшая девочка – в детском садике. Я их сюда привезла. Нашей страны нет, а мы – есть.

Я там родилась, выросла. Строила завод, работала на заводе. «Поезжай туда, где твоя земля, а тут все наше». Ничего не давали взять, кроме детей. «Тут все наше». А где мое? Бегут люди. Едут. Все русские люди. Советские. Они нигде не нужны... Их никто не ждет...

А я когда-то счастливая была. Все мои дети из любви... Я их так рожала: мальчик, мальчик, мальчик, потом – девочка, девочка. Больше говорить не буду... Плакать начну... *(Но добавляет еще несколько*

слов.) Мы будем жить в Чернобыле. Теперь тут – наш дом... Чернобыль – наш дом, наша родина... *(Вдруг улыбается.)* Птицы здесь такие, как и везде. И памятник Ленину стоит... *(И у калитки, уже прощаясь.)* Рано утром в соседнем доме стучат молотками, доски с окон снимают. Встречаю женщину: «Откуда вы?» – «Из Чечни». Ничего не говорит, только плачет...

Меня люди спрашивают... Удивляются... Один в упор задал вопрос: привезла бы я детей туда, где чума или холера? Так то ж чума и холера... А этого страха, о котором здесь говорят, я не знаю. Нет его в моей памяти...

### **Монолог о том, что только во зле человек изощрен и как он прост и доступен в нехитрых словах любви**

«Бежал я... Бежал от мира... Первое время на вокзалах отирался, вокзалы нравились, что людей много, а ты один. Потом сюда. Тут вольно...

Собственную жизнь забыл... Не спрашивайте... Что читал в книжках – помню, и о чем другие люди рассказывали – помню, а свою жизнь забыл. Дело было молодое... Грех на мне... Нет такого греха, который бы Господь не простил за искренность принесенного покаяния...

Человек не может быть счастливым. Не должен. Увидел Господь одинокого Адама и дал ему Еву. Для счастья, а не для греха. А у человека не получается быть счастливым... Я вот не люблю сумерки... Темноту... Вот этот переход, как сейчас... От света к ночи... Я до сих пор не могу понять, где я был... Так-то... Мне безразлично: могу жить и могу не жить. Жизнь человека, яко трава, расцветает, иссушается и вметается в огонь. Я полюбил мыслить... Тут можно одинаково погибнуть и от зверя, и от холода. На десятки километров ни одного человека. Беса изгоняю постом и молитвой. Пост – для плоти, молитва – для души. Но я никогда не бываю одинок, верующий человек не может быть одинок. Езжу по деревням... Раньше находил макароны, муку... Постное масло. Консервы... Теперь на могилах побираюсь. Мертвым оставляют поесть, попить. А оно им не нужно. Они на меня не обижаются... На поле – дикое жито. В лесу – грибы, ягоды. Тут вольно...

В книжках читал... У отца Сергея Булгакова... «Бог создал мир на-верняка, то мир не может вовсе не удался» и нужно «мужественно и до конца претерпеть историю». Так-то... И у другого... Имя не помню... Помню мысль: «Зло собственно не есть субстанция, но лишение добра, подобно тому, как мрак не другое что есть, как отсутствие света». Книжки тут найти просто, легко найдешь. Пустого глиняного кувшина уже не подберешь, ложки или вилки, а книжки лежат. Недавно нашел Пушкина... Томик... «И смерти мысль мила душе моей». Это запомнил. Так-то... «И смерти мысль»... Я тут один. О смерти думаю. Полюбил мыслить... Тишина способствует приготовлению... Человек живет среди смерти, но не понимает, что такое смерть. А я тут один... Вчера волчицу с волчатами выгнал из школы, жили они там.

Вопрос: истин ли мир, запечатленный в слове? Слово, оно стоит между человеком и душой... Так-то...

А то еще скажу: птицы, деревья, муравьи, – они мне сейчас ближе, чем раньше. Я тоже о них думаю. Человек страшен... И необычен... Но тут убивать никого не хочется... Рыбу ужу, есть удочка. Так-то... А в зверя не стреляю... И капканов не ставлю... Тут никого убивать не хочется...

Князь Мышкин говорил: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым». Так-то... Я люблю мыслить. А человек чаще всего жалуется, а не мыслит...

Что разглядывать зло? Оно, конечно, волнует... Грех – это тоже не физика... Необходимо признать несуществующее. Сказано в Библии: «Для посвященного – иначе, для остальных – притча». Взять птицу... Или другое живое... Нам их понять невозможно, потому как они живут для себя, а не для других. Так-то... Вокруг все текущее, одним словом сказать...

Все живое – на четырех ногах, смотрит в землю, к земле тянется. Один человек на земле стоит, а руками и головой к небу поднимается. К молитве... К Богу... Старушка в церкви молится: «Все нам по грехам нашим». Но ни ученый, ни инженер и ни военный в том не признаются. Они думают: «Мне не в чем каяться. Почему я должен каяться?» Так-то...

Молюсь я просто... Читаю про себя... Господи, возвах меня! Услыши! Только во зле человек изошрен. Но как он прост и доступен в нехитрых словах любви. Слово даже у философов приблизительно по от-



ношению к той мысли, которую они прочувствовали. Слово абсолютно соответствует тому, что в душе, только в молитве, в молитвенной мысли. Я физически это ощущаю. Господи, возвах меня! Услыши!

И человек тоже...

Я боюсь человека. И всегда хочу его встретить. Хорошего человека. Так-то... Тут или бандиты живут, прячутся, или такой человек, как я... Мученик...

Какая фамилия? Паспорта у меня нету. Забрала милиция... Била: «Чего шляешься?» – «Я не шляюсь – я каюсь». Еще крепче били. Били по голове... Так что напишите: раб Божий Николай... Теперь свободный человек...»

## СОЛДАТСКИЙ ХОР

*Артем Бахтияров, рядовой, Олег Леонтьевич Воробей, ликвидатор, Василий Иосифович Гусинович, водитель-разведчик, Геннадий Викторович Деменев, милиционер, Виталий Борисович Карбалевич, ликвидатор, Валентин Колков, водитель, рядовой, Эдуард Борисович Коротков, вертолетчик, Игорь Литвин, ликвидатор, Иван Александрович Лукашук, рядовой, Александр Иванович Михалевич, дозиметрист, Олег Леонидович Павлов, майор, вертолетчик, Анатолий Борисович Рыбак, командир взвода охраны, Виктор Санько, рядовой, Григорий Николаевич Хворост, ликвидатор, Александр Васильевич Шинкевич, милиционер, Владимир Петрович Швед, капитан, Александр Михайлович Ясинский, милиционер*

«Наш полк подняли по тревоге. Только в Москве на Белорусском вокзале объявили, куда нас везут. Один парень, кажется, из Ленинграда, запротестовал. Ему пригрозили трибуналом. Командир так и сказал перед строем: «В тюрьму или под расстрел пойдешь». У меня были другие чувства. Все наоборот. Хотелось чего-то героического. Может быть, детский порыв? Но таких, как я, оказалось больше, у нас служили ребята со всего Советского Союза. Русские, украинцы, казаки, армяне... Было тревожно и почему-то весело.

Ну, привезли нас... Привезли на самую станцию. Дали белый халат и белую шапочку. Марлевую повязку. Чистили территорию. День вы-

гребали, скоблили внизу, день – наверху, на крыше реактора. Всюду с лопатой. Тех, кто поднимался наверх, «аистами» звали. Роботы не выдерживали, техника сходила с ума. А мы работали. И очень этим гордились...»

«Мы въехали... Стоял знак «Запретная зона». Я не был на войне, но ощущение чего-то знакомого... Откуда-то из памяти... Откуда? Что-то связанное со смертью...

На дорогах встречали одичавших собак, котов. Иногда они вели себя странно, не узнавали людей, бежали от нас. Я не понимал, что с ними, пока нам не приказали их отстреливать... Дома опечатаны, колхозная техника брошена... Интересно посмотреть. Никого нет, только мы, милиция, патрулируем. Заходишь в дом – фотографии висят, а людей нет. Документы валяются: комсомольские билеты, удостоверения, похвальные грамоты... В одном доме взяли телевизор на время, напрокат, но чтобы кто-то что-то брал домой, я не замечал. Во-первых, было ощущение, что люди вот-вот вернуться... Во-вторых, это... что-то связанное со смертью...

Ездили к блоку, к самому реактору. Фотографироваться... Хотелось дома похвастаться... Страх был и в то же время интерес непреодолимый: что же это такое? Я, например, отказался, у меня жена молодая, не рискнул, а ребята выпивали по двести граммов и ехали...»

«Брошенный дом. Закрытый. Котенок на окне. Думал, что он – глиняный. Подхожу: живой. Объел все цветы в горшках. Герани. Как он туда попал? Или его забыли?

На дверях записка: «Милый дорогой человек, не ищи дорогих вещей. Их у нас не было. Пользуйся всем, но не мародерствуй. Мы вернемся». На других домах видел надписи разной краской: «Прости нас, наш дом!» С домом прощались, как с человеком. Писали: «Уезжаем утром» или «уезжаем вечером», ставили число и даже часы и минуты. Записки на листках из ученических тетрадок... «Не бей кошку. Крысы поедят все». Детским почерком: «Не убивай нашу Жульку. Она – хорошая...»

«Призвали. Служба такая: не пропускать в выселенные деревни местных жителей. Стояли заслонами вблизи дорог, строили землян-

ки, наблюдательные вышки. Звали нас почему-то «партизанами». Мирная жизнь... А мы стоим... Одеты по-военному... Крестьяне не понимали, почему, например, нельзя забрать со своего двора ведро, кувшин, пилу или топор. Прополоть грядки. Как им объяснить? В самом деле: по одну сторону дороги солдаты стоят, не пускают, а по другую коров пасут, гудят комбайны и возят зерно. Соберутся бабы и плачут: «Хлопчики, пустите... То ж наша земля... Наши хаты...» Яйца, сало несут, самогонку...»

«Я – военный человек, мне прикажут – я должен... Но и героический порыв, он тоже был. Он внушался. Политработники выступали. Радио, телевидение. Разные люди реагировали по-разному: одни хотели, чтобы у них взяли интервью, напечатали в газете, другие смотрели на все, как на работу, третьи... Я их встречал, они жили с чувством, что совершают героический поступок. Нам хорошо платили, но вопрос денег как бы не стоял. Зарплата моя – четыреста рублей, а там я получал тысячу (в тех, советских рублях). Нас потом упрекали: «Деньжища лопатой гребли, а вернулись – подавай им машины, мебельные гарнитуры без очереди». Обидно, конечно. Потому что был и героический порыв...

Перед тем как ехать туда, страх появился. На короткое время. А там страх исчезал. Если бы я мог увидеть – этот страх... Приказ. Работа. Задание. У меня был интерес посмотреть на реактор сверху, с вертолета: что там случилось на самом деле, как это выглядит? Но это делать запрещалось. В карточку мне записали двадцать один рентген, но я не уверен, что это на самом деле так. Принцип был самый простой: прилетаешь в райцентр Чернобыль (это, кстати, маленький районный городишко, а не что-то такое грандиозное, как я себе представлял), там сидит дозиметрист, в десяти–пятнадцати километрах от станции, он производил замеры фона. Эти замеры потом умножались на количество часов, которые мы налетали за день. Но я оттуда поднялся на вертолете и полетел на реактор: туда – назад, проход в двух направлениях, сегодня там – восемьдесят рентген, завтра – сто двадцать... Ночью кружусь над реактором – два часа... Производили съемку в инфракрасных лучах, куски разбросанного графита на пленке как бы «засвечивались»... Днем их нельзя было увидеть...

Разговаривал с учеными. Один: «Я могу вот этот ваш вертолет языком вылизать, и со мной ничего не случится». А другой: «Ребята, вы

что без защиты летаете? Жизнь себе укорачиваете? Обшивайтесь! Обклепывайтесь!» Выложили сиденья свинцовыми листами, вырезали нагрудные жилеты из свинца, но, оказывается, от одних лучей они защищают, а от других – нет. Летали с утра до ночи. Фантастического ничего не было. Работа... Тяжелая работа... Ночью сидели у телевизора, как раз в то время проходил чемпионат мира по футболу. Разговоры, конечно, и о футболе...

Задумываться мы стали... Как бы не соврать... Наверное, года через три... Когда один заболел, второй... Кто-то умер... Сошел с ума... Покончил с собой... Тогда начали задумываться... А пойдем что-нибудь, я думаю, через двадцать–тридцать лет. У меня Афган (я там был два года) и Чернобыль (я там был три месяца) – самые яркие моменты в жизни...

Родителям не сообщал, что направили в Чернобыль. Брат случайно купил газету «Известия» и нашел там мой портрет, приносит матери: «На, смотри – герой!» Мать заплакала...

«Ехали, я, знаете, что увидел? По обочинам дороги... Под солнечными лучами... Тончайший блеск... Что-то кристаллическое блестящее... Мельчайшие частички... Ехали в сторону Калинковичей, через Мозырь. Что-то переливалось... Переговорили между собой. В деревнях, где работали, на листьях сразу заметили прожженные дырочки, особенно на вишне. Рвали огурцы, помидоры – и там на листьях черные дырочки... Ругались и ели.

Поехал... Хотя мог не ехать. Добровольцем попросился. В первые дни равнодушных там не встречал, это потом вакуум в глазах, когда пообвыкли. Орденок урвать? Льготы? Чепуха! Мне лично ничего не надо было. Квартира, машина... Что еще? А, дача... Все имел. Срабатывал мужской азарт... Едут настоящие мужики на настоящее дело. А остальные? Пускай сидят под бабьими юбками... У одного жена рожает, у другого маленький ребенок... У третьего изжога... Ругались и ехали.

Возвратились домой. Все с себя снял, всю одежду, в которой там был, и выбросил в мусоропровод. А пилотку подарил маленькому сыну. Очень он просил. Носил, не снимая. Через два года ему поставили диагноз: опухоль мозга... Дальше допишите сами... Я не хочу дальше говорить...»

«Я только вернулся из Афганистана. Жить хотел. Жениться. Сразу хотел жениться. А тут – повестка с красной полосой «Спецборцы» –

в течение часа явиться по указанному адресу. Мать сразу плакать. Она решила, что меня опять забирают на войну.

Куда везут? Зачем? Неизвестность полная. В Слуцке переодели, обмундировали и тут приоткрылось, что едем в райцентр Хойники. Прибыли в Хойники, там люди еще ничего не знали. Повезли дальше, в деревню и там играют свадьбу: молодые целуются, музыка, пьют самогон. Свадьба как свадьба. А нам приказ: срезать грунт на штык...

Девятого мая – на День Победы приехал генерал. Построили нас, поздравили с праздником. Один из строя осмелился и спросил: «Почему скрывают, какой радифон? Какие получаем дозы?» Один такой нашелся. Так его, когда генерал отбыл, вызвал командир части и дал нахлобучку: «Провокации устраивашь! Паникер!!» Через пару дней какие-то противогазы выдали, но никто ими не пользовался. Дозиметры два раза показывали, но в руки никому не дали. Раз в три месяца отпускали домой на пару дней. Наказ один: купить водки. Я пригнул на себе два рюкзаки с бутылками. На руках качали.

Перед отправкой домой всех вызывал «кэзгэбешник» и убедительно советовал: нигде и никому не рассказывать о том, что мы видели. Из Афгана я вернулся, я знал – буду жить! А в Чернобыле все наоборот: убьет именно тогда, когда вернулся...»

«Что запомнил? Врезалось в память?»

Целый день мотаюсь по деревням на машине... С дозиметристами... И ни одна из женщин не предложит мне яблоко...»

«Десять лет прошло... Уже как будто этого и не было, если бы не заболел, забыл...»

Надо Родине служить! Родине служить – святое дело. Получил: нательное белье, портянки, сапоги, погоны, пилотку, брюки, гимнастерку, ремень, вещмешок. В путь! Дали самосвал. Возил бетон. Была не была... Пронесет... Молодые ребята. Неженатые. Респираторы с собой не брали... Нет, одного помню... Пожилой водитель... Вот он всегда – в маске... А мы – нет. Гаишники стояли без масок. Мы – в кабине, а они – в радиоактивной пыли стояли по восемь часов. Всем хорошо платили: три зарплаты плюс командировочные. Употребляли... Водка, знали, помогает... Снимает стресс. Не случайно в войну давали знаменитые наркомовские сто граммов. Обычная картина: пьяный милиционер штрафует пьяного водителя...

Не пишите о чудесах советского героизма. Они были... Чудеса! Но сначала – халатность, безалаберность, а потом чудеса. Закрыть амбразуру... Грудью на пулемет... А что в принципе не должно быть такого приказа, об этом никто не пишет. Швыряли нас туда, как песок на реактор... Каждый день вывешивался новый «боевой листок»: «Работают мужественно и самоотверженно», «выстоим и победим...»

Дали мне за подвиг грамоту и тысячу рублей...»

«Поначалу недоумение... Ощущение, что игра... Но это была настоящая война... Атомная война... Нам неизвестная: что страшно и что не страшно, чего опасаться и чего не опасаться? Никто не знал... Настоящая эвакуация... На вокзалах... Что творилось на вокзалах? Мы помогали заталкивать детей в окна вагонов... Наводили порядок в очередях... Очереди за билетами в кассах, за йодом у аптек. В очередях ругались матом и дрались. Ломали двери в винных ларьках и магазинах. Разбивали, выламывали в окнах железные решетки. Переселенцы... Они жили в клубах, школах, детских садах. Ходили полуголодные. Деньги у всех быстро кончались. В магазинах все скупили...

Я не забуду женщин, которые стирали наше белье. Стиральных машин не было, о них не подумали, не завезли. Стирали вручную. Все женщины – пожилые. Руки у них – в волдырях, струпьях... Белье не просто грязное, там десятки рентген... «Хлопчики, поешьте...», «Хлопчики, поспите...», «Хлопчики, вы ж молодые... Берегитесь...» Жалели нас и плакали...

Живы ли они сейчас?

Двадцать шестого апреля каждый год мы собираемся, те, кто там был. Вспоминаем то время. Ты был солдатом на войне, ты был нужен. Плохое забылось, а это осталось. Осталось то, что без тебя не могли обойтись... Наша система, военная в общем-то, она отлично срабатывает в чрезвычайных обстоятельствах. Ты, наконец, там свободен и необходим. Свобода! И русский человек в такие моменты показывает, как он велик! Уникален! Голландцами или немцами никогда не станем. И не будет у нас долговечного асфальта и ухоженных газонов. А герои всегда найдутся!..»

«Сказали – я пошел. Надо! Был членом партии. Коммунисты, вперед! Такая обстановка. Я в милиции работал. Старший сержант. По-

обещали мне новую «звездочку». Это был июнь восемьдесят седьмого года... Надо медкомиссию обязательно пройти, но меня отправили без проверки. Кто-то там, как говорится, отмазался, принес справку, что у него язва желудка, и меня вместо него. Срочно.

Ехали, как военные люди, а из нас на первое время организовали бригаду каменщиков. Строили аптеку. У меня сразу слабость, сонливость какая-то. Я – к врачу: «Все нормально. Жара». В столовую привозили из колхоза мясо, молоко, сметану, мы ели. Врач ни к чему не притрагивался. Сготовят еду, он в журнале отметит, что все в норме, но пробу сам не снимал. Мы это замечали. Такая обстановка. Отчаянные были. Началась клубника. Полные ульи меда...

Уже начинали лазить мародеры. Мы заколачивали окна, двери. Магазины разграблены, решетки на окнах выломаны, мука, сахар под ногами, конфеты... Разбросанные банки... Из одной деревни людей выселили, а через пять–десять километров люди живут. Вещи из брошенной деревни перекочевали к ним. Такая обстановка. Мы охраняем, приезжает бывший председатель колхоза с местными людьми, их уже где-то поселили, дали дома, но они возвращаются сюда убирать жито, сеять. Вывозили сено в тюках. В тюках мы находили спрятанные швейные машинки, мотоциклы. Бартер: они тебе бутылку самогона – ты им разрешение на провоз телевизора. Продавали, выменивали трактора, сеялки. Одна бутылка... Десять бутылок... Деньги никого не интересовали... (Смеется.) Как при коммунизме... На все существовала такса: канистра бензина – пол-литра самогона, каракулевая шуба – два литра, мотоцикл – как сторгуешься... Я через полгода отбыл, согласно штатному расписанию, срок был полгода. Потом присылали замену. Нас чуток задержали, потому что из Прибалтики отказались ехать. Такая обстановка. Но я знаю, что разворовали, вывезли все, что можно было поднять и увезти. Зону перевезли сюда... Ищите на рынках, в комиссионных магазинах, на дачах... Осталась за проволокой только земля... И могилы...»

«Прибыли на место. Переобмундировались. «Авария, – успокаивает нас капитан, – случилась давно. Три месяца назад. Уже не страшно». Сержант: «Все хорошо, только мойте руки перед едой».

Служил дозиметристом. Как стемнеет, к нашему вахтовому вагончику подъезжают ребята на машинах. Деньги, сигареты, водка... Дай

только в конфискованном барахле порыться. Паковали сумки. Куда везли? Наверное, в Киев... В Минск... На барахолки... То, что оставалось, мы хоронили. Платья, сапоги, стулья, гармошки, швейные машинки... Закапывали в ямы, которые называли «братскими могилами».

Домой приехал. Иду на танцы. Понравилась девчонка:

– Давай познакомимся.

– Зачем? Ты теперь чернобыльский. От тебя родить страшно!!»

«У меня своя память... Официальная моя должность там – командир взвода охраны... Что-то вроде директора зоны апокалипсиса. (Смеется.) Так и напишите.

Задерживаем машину из Припяти. Город уже эвакуирован, людей нет. «Предъявите документы». Документов нет. Кузов накрыт брезентом. Поднимаем брезент: двадцать чайных сервизов, как сейчас помню, мебельная стенка, мягкий уголок, телевизор, ковры, велосипеды...

Составляю протокол.

Привозят мясо для захоронения в могильниках. В говяжьих тушах отсутствуют стегна. Вырезка.

Составляю протокол.

В пустых деревнях бегали одичавшие свиньи. На колхозных конторах и сельских клубах висели плакаты: «Дадим Родине хлеба!», «Слава советскому сельскому труженику!», «Подвиг народа бессмертен».

Заброшенные братские могилы. Треснутый камень с фамилиями: капитан Бородин, старший лейтенант... Рядовые.. Репейник, крапива, лопухи.

Досмотренный огород. За плугом ступает хозяин, увидел нас:

– Хлопцы, не кричите. Мы уже подписку дали: весной уедем.

– А зачем тогда огород перепахиваете?

– Так это ж осенние работы...

Я понимаю, но я должен составить протокол...»

«Жена забрала ребенка и ушла. Сука! Но я не повешусь, как Ванька Котов... И не брошусь с седьмого этажа! Сука! Когда я оттуда прикатил с чемоданом денег... Машину купили. Она – сука, жила со мной. Не боялась. (Неожиданно поет.)

*Даже тысяча рентген*

*Не положит русский член..*



Хорошая частушка. Оттуда. Хотите анекдот? (*Тут же начинается рассказывать.*) Муж возвращается домой... Из-под реактора... Жена спрашивает у врача: «Что делать с мужем?» – «Помыть, обнять, дезактивировать». Сука! Она меня боится... Забрала ребенка... (*Неожиданно серьезно.*) Солдаты работали... Возле реактора... Я их водил на смену и со смены. У меня, как и у всех, висел на шею счетчик-накопитель. После смены я их собирал и сдавал в первый отдел... Секретный... Там снимали показания, записывали вроде бы что-то в наши карточки, но сколько рентген каждому попало – военная тайна. Суки! Проходит какое-то время, тебе говорят: «Стоп! Больше нельзя!» Вся медицинская информация... Даже при отъезде не сказали – сколько! Суки! Теперь они дерутся за власть... За портфели... У них – выборы.

Как нас лечить? Никаких документов мы не привезли. Их до сих пор прячут или уничтожили ввиду особой секретности. Чем помочь нашим врачам? Мне бы сейчас справочку: сколько? Чего я там набрал? Я бы своей суке показал... Я еще ей докажу, что мы выживем в любых условиях и будем жениться и рожать. Пошли вы все в ж..!»

«С нас взяли подписку о неразглашении... Я молчал... Сразу после армии стал инвалидом второй группы. В двадцать два года. Хватанул свое... Таскали ведрами графит... Десять тысяч рентген... Гребли обыкновенными лопатами, шуфлями, меняя за смену до тридцати «лепестков Истриякова», в народе их звали «намордниками». Насыпали саркофаг. Гигантскую могилу, в которой похоронен один человек – старший оператор Валерий Ходемчук, оставшийся под развалинами в первые минуты взрыва. Пирамида двадцатого века...

Нам оставалось служить еще три месяца. Вернулись в часть, даже не переодели. Ходили в тех же гимнастерках, в сапогах, в каких были на реакторе. До самого дембеля...

А если бы дали говорить, кому я мог рассказать? Работал на заводе. Начальник цеха: «Прекрати болеть, а то сократим». Сократили. Пошел к директору: «Не имеете права. Я – чернобылец. Я вас спасал. Защищал!» – «Мы тебя туда не посылали».

По ночам просыпаюсь от маминого голоса: «Сыночек, почему ты молчишь? Ты же не спишь, ты лежишь с открытыми глазами... И свет у тебя горит...» Я молчу. Со мной никто не может заговорить так, что-

бы я ответил. На моем языке... Никто не понимает, откуда я вернулся... И я рассказать не могу...»

«Уже не боюсь смерти... Самой смерти... Но непонятно, как буду умирать... Друг умирал... Увеличился, надулся... С бочку... А сосед... Тот же там был, крановщик. Он стал черный, как уголь, высох до детского размера. Непонятно, как буду умирать... Одно мне точно известно: с моим диагнозом долго не протянешь. Почувствовать бы момент... Пулю – в лоб... Я был и в Афгане... Там с этим легче... С пулей...

Храню газетную вырезку... Об операторе Леониде Толпунове, это он в ту ночь дежурил на станции и нажал на красную кнопку аварийной защиты за несколько минут до взрыва. Она не сработала... Его лечили в Москве. «Чтобы спасти, нужно тело», – говорили врачи. Осталось одно-единственное чистое, необлученное пятнышко на спине. Похоронили, как и других, на Митинском кладбище. Гроб выложили внутри фольгой... Над ним полтора метра бетонных плит, со свинцовой прокладкой. Приедет отец... Стоит, плачет... Идут мимо люди: «Твой сукин сын взорвал!»

Мы – одинокие. Чужие. Даже хоронят отдельно, не так, как всех. Как пришельцев откуда-то из космоса... Лучше бы я погиб в Афгане! Честно скажу, наваливаются такие мысли. Там смерть была делом обыкновенным... Понятным...»

«Сверху... С вертолета... Когда шел низко возле реактора, наблюдал... Косули, дикие кабаны... Худые, сонные... Как на замедленной съемке двигаются... Они питались травой, что тут росла, не понимали... Не понимали, что надо уйти... Уйти вместе с людьми...

Ехать – не ехать? Лететь – не лететь? Я – коммунист, как я мог не лететь? Двое штурманов отказались, что, мол, жены молодые у них, детей еще нет, их стыдили, наказали. Карьера кончилась! Был еще мужской суд. Суд чести! Это, понимаете, азарт – он не смог, а я пойду. Теперь я думаю иначе... После девяти операций и двух инфарктов... Я их не сужу, я их понимаю. Молодые ребята. Но сам все равно бы полетел... Это точно. Он – не смог, а я – пойду. Мужское!

С высоты поражало количество техники: тяжелые вертолеты, средние вертолеты... МИ-24 – это боевой вертолет... Что можно было делать на боевом вертолете в Чернобыле? Или на военном истреби-

теле МИ-2? Летчики... Молодые ребята... Все после Афгана... Настроение такое, что хватило бы с них одного Афгана, навоевались. Стоят в лесу возле реактора, хватают рентгены. Приказ! Туда не нужно было посылать такое количество людей, облучать. Зачем? Требовались специалисты, а не человеческий материал. Разрушенное здание, груды обвалившегося хлама... и гигантское количество маленьких человеческих фигурок. Стоял какой-то фээргэсовский кран, но мертвый, туда дошел и помер. Роботы умирали... Наши роботы, академика Лукачева, созданные им для исследований на Марсе... Японские роботы... У них, видно, сгорала вся начинка от высокой радиации. А солдатики в резиновых костюмах, в резиновых перчатках бегали...

Перед отъездом нас предупредили, что в государственных интересах – не распространяться об увиденном. Но, кроме нас, никто не знает, что там происходило. Мы не все понимали, но все видели...»

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ

#### Монолог о старых пророчествах

«Моя девочка... Она не такая, как все... Вот она подрастет, и она меня спросит: «Почему я не такая?»»

Когда она родилась... Это был не ребенок, а живой мешочек, зашитый со всех сторон, ни одной щелочки, только глазки открыты. В медицинской карточке записано: «Девочка, рожденная с множественной комплексной патологией: аплазия ануса, аплазия влагалища, аплазия левой почки»... Так это звучит на научном языке, а на обыкновенном: ни писи, ни попки, одна почка... Я несла ее на второй день на операцию, на второй день ее жизни... Она открыла глазки, словно и улыбнулась, а я сначала подумала, что хочет заплакать... О, Господи, она улыбнулась! Такие, как она, не живут, такие сразу умирают. Она не умерла, потому что я ее люблю. За четыре года – четыре операции. Это единственный ребенок в Беларуси, выживший с такой комплексной патологией. Я ее очень люблю. *(Останавливается.)* Я никого больше не смогу родить. Не осмелюсь. Вернулась из роддо-

ма: муж поцелует ночью, я вся дрожу – нам нельзя... Грех... Страх... Слышала, как врачи между собой говорили: «Девочка не в рубашке родилась, а в панцире. Показать по телевизору, ни одна мать не рожала бы». Это они о нашей девочке... Как нам после этого любить друг друга?!

Ходила в церковь. Рассказала батюшке. Он говорит, что надо отмаливать грехи свои. Но в нашем роду никто никого не убил... В чем я виновата? Сначала наш поселок хотели эвакуировать, а потом вычеркнули из списков: не хватило у государства денег. А я в это время полюбила. Вышла замуж. Я не знала, что нам здесь нельзя любить... Много лет назад моя бабушка читала в Библии, что наступит на земле время, когда всего будет в избытке, все будет цвести и плодоносить, в реках станет полно рыбы, а в лесах зверя, но воспользоваться этим человек не сможет. Он не сможет и породить себе подобного, продлить бессмертие. Я слушала старые пророчества, как страшную сказку. Не верила. Расскажите всем о моей девочке. Напишите. В четыре года она поет, танцует, читает наизусть стихи. У нее нормальное умственное развитие, она ничем не отличается от других детей, у нее только другие игры. Она не играет в «магазин», «в школу», она играет с куклами «в больницу»: делает им уколы, ставит градусник, назначает капельницу, кукла умирает – накрывает ее белой простыней. Четыре года мы с ней живем в больнице, ее нельзя оставить там одну, и она не знает, что жить надо дома. Когда забираю ее на месяц-два домой, спрашивает: «А мы скоро вернемся в больницу?» Там у нее друзья, они там живут, растут. Ей сделали попку... Формируют влагалище... После последней операции полностью прекратилось мочеиспускание, катетор вставить не удалось – нужно еще несколько операций. Но дальше советуют оперироваться за границей. А где нам взять десятки тысяч долларов, если муж получает сто двадцать долларов в месяц? Один профессор, по секрету, посоветовал: «С такой патологией ваш ребенок представляет большой интерес для науки. Пишите в зарубежные клиники. Их должно это заинтересовать». И я пишу... *(Старается не заплакать)*. Я пишу, что каждые полчаса приходится выдавливать мочу руками, моча исходит через точечные отверстия в области влагалища. Если это не делать, откажет единственная почка. Где еще в мире есть ребенок, которому каждые полчаса надо вы-

давливать мочу руками? И сколько это можно выдержать? Никто не знает воздействия малых доз радиации на человека, на детский организм. Возьмите мою девочку, пусть для опытов... Я не хочу, чтобы она умерла... Я согласна, чтобы моя девочка стала подопытным лягушонком, подопытным кроликом, только бы она выжила. *(Плачет.)* Десятки писем написала... О, Господи!

Пока она не понимает, но когда-нибудь нас спросит: почему она не такая, как все? Почему ее не сможет полюбить мужчина? Почему ей нельзя родить ребенка? Почему у нее никогда не произойдет то, что происходит у бабочки... у птицы... у всех, но только не у нее... Я хотела... Я должна была доказать... Чтобы... Я хотела получить документы... Чтобы она выросла и узнала: это не мы с мужем виноваты... Не наша любовь... *(Снова старается не заплакать.)* Четыре года воевала... С врачами, с чиновниками... Стучалась в высокие кабинеты... Только через четыре года мне выдали медицинскую справку, подтверждающую связь ионизирующей радиации (малых доз) с ее страшной патологией. Мне отказывали четыре года, мне твердили: «Ваша девочка – инвалид с детства». Какой же она инвалид с детства? Она – инвалид Чернобыля. Я изучила свое родословное древо: не случилось у нас в роду такого, до восьмидесяти–девяноста лет все жили, мой дедушка – до девяносто четырех. Врачи оправдывались: «У нас – инструкция. Подобные случаи мы пока должны оценивать как общее заболевание. Вот через двадцать – тридцать лет, когда накопится банк чернобыльских данных, начнем связывать болезни с ионизирующей радиацией. А пока медицине и науке об этом мало что известно». Но я не могу ждать двадцать – тридцать лет. Хотела подать на них в суд... На государство... Меня называли сумасшедшей, смеялись, мол, такие дети рождались и в Древней Греции. Один чиновник кричал: «Чернобыльских льгот захотела! Чернобыльских денег!» Как я не потеряла сознание в его кабинете...

Они не могли понять одного... Не хотели... Мне надо было знать, что это не мы с мужем виноваты... Не наша любовь... *(Не выдерживает. Плачет.)*

Эта девочка растет... Все равно девочка... Не хочу, чтобы называли фамилию... Даже соседи наши... На одной лестничной площадке всего не знают. Надену ей платице, заплету косичку: «Катенька ваша та-

кая красивая», – говорят они мне. А сама я так странно смотрю на беременных женщин... Как будто издали... Из-за угла... Не смотрю, а подсматриваю... Во мне смесь разных чувств: удивления и ужаса, зависти и радости, какой-то даже мстительности. Как-то словила себя на мысли, что с тем же чувством смотрю на беременную соседскую собаку... На аистиху в гнезде...»

Моя девочка...»

*Лариса З., мать*

## **Монолог о лунном пейзаже**

«Я вдруг стал сомневаться, что лучше: помнить или забыть? Расспросил знакомых. Одни забыли, другие не хотят вспоминать, потому что ничего не можем изменить, даже уехать отсюда...

Что я запомнил... В первые же дни после аварии из библиотек исчезли книги о радиации, о Хиросиме и Нагасаки, даже о рентгене. Пронесся слух, что это приказ начальства, чтобы не было паники. Была даже шутка, что если бы Чернобыль взорвался у папуасов, весь мир испугался бы, кроме самих папуасов. Никаких медицинских рекомендаций, никакой информации. Кто мог, доставал таблетки йодистого калия (в аптеках нашего города в продаже их не было, доставали по великому благу). Случалось, что съедали горсть этих таблеток и запивали стаканом спирта. «Скорая помощь» отказывала.

Потом появилась примета, все за ней следили: пока в городе или деревне есть воробьи и голуби, там можно жить и человеку. Ехал в такси, водитель недоумевал, почему птицы, как слепые, падают на стекла, разбиваются. Как ненормальные... Что-то похожее на самоубийство...

Запомнил, как возвращался из командировки. Настоящий лунный пейзаж... По обе стороны дороги до самого горизонта тянулись засыпанные белым доломитом поля. Верхний зараженный слой земли снят и захоронен, вместо него насыпали доломитового песка. Как не земля... Долго мучился этим видением и попробовал написать рассказ. Представил, что здесь произойдет, будет через сто лет: то ли человек, то ли еще что-то скачет на четвереньках, выбрасывая длинные

задние ноги коленками назад, ночью он видит все третьим глазом, а единственное ухо на макушке даже слышит бег муравья. Остались только муравьи, все остальное на земле и в небе погибло...

Отправил рассказ в журнал. Прислали ответ, что это не литературное произведение, а пересказ ужаса. Конечно, у меня не хватило таланта. Но тут, подозреваю, еще одна причина. Я задумался, почему о Чернобыле молчат, мало пишут наши писатели, продолжают писать о войне, о лагерях, а тут молчат? Думаете, случайность? Если бы мы победили Чернобыль, о нем говорили и писали бы больше. Или если бы мы его поняли. Мы не знаем, как добыть из этого ужаса смысл. Не способны. Так как его нельзя примерить ни к нашему человеческому опыту, ни к нашему человеческому времени...

Так что же лучше: помнить или забыть?»

*Евгений Александрович Бровкин, преподаватель  
Гомельского государственного университета*

### **Монолог свидетеля, у которого болел зуб, когда он видел, как упал Христос и начал кричать**

«Тогда я думал о другом... Вам покажется странным... Как раз в это время я разводился с женой.

Вдруг приходят, вручают повестку и говорят, что внизу уже ждет машина. Такой «воронок» специальный. Как в тридцать седьмом году... Брала по ночам. С постели, тепленьких. Потом эта схема перестала работать: жены не открывали двери или ввали, что мужья в командировке, на курорте, в деревне у родителей. Им пытались вручить повестки, они не брали. Начали хватать людей на работе, на улице, во время обеденного перерыва в заводских столовых. Как в тридцать седьмом... А я был тогда почти сумасшедший... Мне изменила жена, все остальное казалось ерундой. Сел в этот «воронок»... Вели меня двое в штатском, но с военной выправкой, шли по бокам, видно, боялись, чтобы не сбежал. Когда сел в машину, почему-то вспомнил американских космонавтов, которые летали на Луну, и один из них впоследствии стал священником, а второй будто бы со-



шел с ума. Читал, что им показалось, будто там есть города, какие-то человеческие следы. Мелькнули в памяти отрывки из газет: наши атомные станции абсолютно безопасны, можно строить на Красной площади. Безопаснее самовара. Но от меня ушла жена... Я способен был думать только об этом... Несколько раз пытался покончить с собой... Мы ходили в один детский сад, учились в одной школе... В одном институте... (*Молчит. Закуривает.*)

Я вас предупреждал... Ничего героического для писательского пера. Были мысли, что, вроде бы, не военное время, почему я должен рисковать, когда кто-то будет спать с моей женой! Почему опять я, а не он? Честно говоря, не видел я там героев. Сумасшедших видел, которым наплевать на собственную жизнь, и лихачества хватало, но нужды в нем не было. У меня тоже есть грамоты и благодарности... Но это потому, что мне не страшно было умирать. Наплевать! Это был даже выход. Похоронили бы с почестями... И за казенный счет...

...Там ты сразу попал в фантастический мир, где соединились конец света и каменный век. А во мне все еще обострено... Обнажено... Жили в лесу. В палатках. В двадцати километрах от реактора. «Партизанили». «Партизаны» – это те, кого берут на учебные военные сборы. Возраст – от двадцати пяти до сорока лет, многие – с высшим образованием, среднетехническим, я, к слову, учитель истории. Вместо автоматов выдали нам лопаты. Перекапывали мусорные свалки, огороды. Женщины в деревнях смотрели и крестились. Мы в перчатках, респираторах, масках халатах... Жарит солнце... Появляемся на их огородах, как черти. Они не понимали, почему мы перекапываем их грядки, вырываем их чеснок, капусту, когда чеснок, как чеснок, капуста, как капуста. Бабки крестятся и голосят: «Солдатики, это что – конец света?»

В хате печка топится, сало жарится. Дозиметр приставишь: не печка, а маленький реактор. «Садитесь, хлопчики, к столу», – зовут. Привечают. Отказываемся. Просят: «Сто грамм найдем. Садитесь. Расскажите». А что рассказывать? На самом реакторе пожарники топтали мягкое топливо, оно светилось, а они не знали, что это такое. Где уж нам знать?

Идем отделением. На всех – один дозиметр. А в разных местах – разный уровень: один из нас работает, где два рентгена, а второй

там, где десять рентген. С одной стороны, бесправие, как у зков, с другой – страх. Но у меня страха не было. Смотрел на все со стороны...

На вертолете прилетела группа ученых. В резиновой спецодежде, высоких сапогах, защитных очках... Как на Луну... Подходит к одному бабка: «Ты кто?» – «Я – ученый». – «Ах, ты ученый, поглядите на него, как разоделся. Замаскировался. А мы?» И за ним – с палкой. У меня не раз мелькало, что когда-нибудь ученых будут вылавливать, как в средние века ловили врачей и топили.

Я видел человека, на глазах у которого хоронили его дом... (*Остатки наливается.*) Хоронили хаты, колодцы, деревья... Хоронили землю... Срезали, скатывали ее большими пластами... Я вас предупреждал... Ничего героического...

Возвращаемся поздно вечером, потому что работали по двенадцать часов в сутки. Без выходных. На отдых только ночь. Значит, едем на бэтээр. Идет по пустой деревне человек. Ближе: молодой парень с ковром на плечах... Невдалеке «Жигули»... Тормозим. Багажник забит телевизорами и обрезанными телефонами. Бэтээр разворачивается и тараном: «Жигули» в гармошку, как консервная банка. Никто слова не проронил...

Хоронили лес. Деревья пилили по полтора метра, упаковывали в целлофан и заваливали в могильник. Ночью не мог заснуть. Закрою глаза: что-то черное шевелится, переворачивается... Как живое... Живые пласты земли... С жуками, пауками, червяками... Я никого из них не знал, не знал, как их зовут... Просто жуки, пауки. Муравьи. А они маленькие и большие, желтые и черные. Такие разноцветные. У кого-то из поэтов читал, что животные – это отдельный народ. Я убивал их десятками, сотнями, тысячами, не зная даже, как их зовут. Рушил их дома. Их тайны. Хоронил... Хоронил...

У Леонида Андреева, которого я очень люблю, есть притча о Лазаре, который заглянул за черту запретного. Он уже чужой, он уже никогда не будет своим среди людей, хотя его Христос и воскресил...

Может, хватит? Вам, понимаю, любопытно, тем, кто там не побывал, всегда любопытно. А это был все тот же человеческий мир. Нельзя все время жить в страхе, человек не может, проходит немного времени, и начинается обыкновенная человеческая жизнь.

*(Увлекается и продолжает дальше.)* Мужчины пили водку. Играли в карты. Ухаживали за женщинами. Зачинали детей. Много говорили о деньгах. Но не за деньги там работали. Мало кто только за деньги. Работали потому, что надо работать. Сказали – работать. И не задавали вопросов. Мечтали о повышении по службе. Хитрили, воровали. Надеялись на обещанные льготы: получить квартиру вне очереди и выехать из барака, устроить ребенка в детский сад, купить машину. Один у нас струсил, боялся вылезать из палатки, в резиновом костюме спал. Трус! Его исключили из партии. Он кричал: «Я хочу жить!» Все вперемешку... Встречал там женщин, которые добровольно приехали. Рвались. Им отказывали, объясняли, что нужны шоферы, слесари, пожарники, но они приехали. Все вперемешку... Тысячи добровольцев и специальный «воронок», по ночам карауливший запасников... Студенческие отряды, денежные переводы в фонд пострадавших... Сотни людей, безвозмездно предлагающих кровь и костный мозг... И в тот же момент все можно было купить за бутылку водки. Почетную грамоту, отпуск домой... Один председатель колхоза привезет в отряд дозиметристов ящик водки, чтобы его деревню не записали в список на эвакуацию, другой отдаст тот же ящик водки, чтобы его колхоз выселили. Ему уже трехкомнатную квартиру в Минске пообещали. Радиозамеры никто не проверял. Нормальный русский хаос. Мы так живем... Что-то списывали, продавали... С одной стороны, противно, с другой – идите вы все к чертовой матери!

Прислали студентов. Они вырывали на полях лебеду. Гребли сено. Несколько пар было совсем молоденьких. Муж и жена. Они еще за руку ходили. Это было невозможно видеть.

Каждый день привозили газеты. Я читал только заголовки: «Чернобыль – место подвига», «Реактор побежден», «А жизнь продолжается». Были у нас замполиты, проводились политбеседы. Нам говорили, что мы должны победить. Кого? Атом? Физику? Космос? Победа у нас не событие, а процесс. Жизнь – борьба. Преодоление. Отсюда такая любовь к наводнениям, пожарам, стихиям. Нужно место действия, чтобы «проявить мужество и героизм». И водрузить знамя. Замполит читал заметки в газетах о «высокой сознательности и четкой организованности», о том, что через несколько дней после катастрофы над четвертым реактором уже развевался красный флаг. Полыхал. Через месяц

его сожрала высокая радиация. Флаг снова подняли. Через месяц новый... Я мысленно пытался представить, как солдаты поднимаются на крышу... Смертники... Скажете: советское язычество? Жертвоприношение? Но дело в том, что дали бы мне тогда в руки знамя, я тоже бы туда полез. Почему? Не отвечу. Мне тогда не страшно было умереть... Жена даже письма не прислала... За полгода ни одного письма... *(Остонавливается.)*

Хотите анекдот? Бежал из тюрьмы заключенный. Спрятался в тридцатикилометровой зоне. Словили. Отвели к дозиметристам. Так «светится», что его ни в тюрьму, ни в больницу, ни к людям. Почему вы не смеетесь? *(Смеется.)*

Прибыл я туда, когда птицы сидели в гнездах, уезжал – яблоки лежали на снегу... Не все мы успели захоронить... Хоронили землю в земле... С жуками, пауками, личинками... С этим отдельным народом... Миром... Самое сильное мое впечатление оттуда... О них...

Ничего я вам не рассказал... Обрывки... У того же Леонида Андреева есть рассказ: один житель Иерусалима, мимо дома которого вели Христа, все видел и все слышал, но у него в это время болел зуб. На его глазах Христос упал, когда нес крест, упал и начал кричать, он все это видел, но у него болел зуб, и он не выбежал на улицу. Через два дня, когда зуб перестал болеть, ему рассказали, как Христос воскрес, тогда он подумал: «Ведь я мог быть этому свидетелем, но у меня болел зуб».

Неужели так всегда? Мой отец защищал Москву в сорок втором. То, что участвовал в великом событии, он понял через десятки лет. Из книг, из фильмов. А сам вспоминал: «Сидел в окопе. Стрелял. Взрывом засыпало. Полумертвого санитары выволокли». И все...

А меня тогда бросила жена...»

*Аркадий Филин, ликвидатор*

### Три монолога о «прахе ходящем» и «земле говорящей»

*Председатель Хойникского добровольного общества охотников и рыбаловов Виктор Иосифович Вержиковский и два охотника – Андрей и Владимир, не захотевших назвать фамилии.*

– Первый раз я убил лису... В детстве... Второй – раз лосиху... Лосих поклялся никогда не убивать. У них такие выразительные глаза...

– Это мы, люди, что-то понимаем, а животные просто живут. И птицы.

– Осенью косуля очень чуткая. Если еще ветер дует от человека, то уже все – не подпустит... А лиса хитрая...

– Тут бродил один, говорят... Выьет, лекции всем читает. Учился на философском факультете, потом в тюрьме сидел. В зоне встретишь человека, он никогда правду о себе не расскажет. Редко. Этот был разумный мужик... «Чернобыль, – говорил, – для того, чтобы дать философам». Животных называл «прах ходящий», а человека – «землей говорящей». А «земля говорящая» потому, что мы кушаем землю, то есть из земли строимся...

– Зона тянет... Притягивает, скажу я вам. Кто там побывал... Будет тянуть...

– Ну, хлопцы, надо по порядку...

– Давай-давай, председатель. А мы покурим.

– Значит, такое дело... Вызывают меня в райисполком: «Слушай, главный охотник: в зоне осталось много домашних животных – кошки, собаки, – во избежание эпидемии их требуется отстрелять. Действуй!» На следующий день я всех созвал, всех охотников. Объявляю, что так и так... Никто не хочет ехать, потому что не выдали никаких защитных средств. Я обратился в гражданскую оборону – у них ничего нет. Ни одного респиратора. Пришлось ехать на цементный завод и брать там маски. Такая тоненькая пленочка... От цементной пыли... А респираторов не дали.

– Там солдат встречали. В масках, в перчатках, на бронетранспортерах, а мы в рубашках, повязочка на носу. В этих рубашках и сапогах домой возвращались. В семью.

– Сколотил две бригады... Две бригады... По двадцать человек... К каждой прикрепили ветврача и человека с санэпидстанции. Был еще трактор с ковшом и самосвал. Обидно, что не дали защитных средств, о людях не подумали...

– Зато премии давали – по тридцать рублей. А бутылка водки в те времена стоила три рубля. Дезактивировались... Откуда-то рецепты появились: ложку гусиного помета на бутылку водки. Два дня настоять и пить. Чтобы это дело... Ну, мужское... Частушки были, помните?

Уйма. «Запорожец» – не машина, украинец – не мужчина. Если хочешь быть отцом, оберни яйцо свинцом». Ха-ха...

– Ездили мы по зоне два месяца, в нашем районе половину деревень эвакуировали. Десятки деревень: Бабчин, Тульговичи... Первый раз приехали – собаки бегают возле своих домов. Сторожат. Людей ждут. Обрадовались нам, бегут на человеческий голос... Стреляли в доме, в сарае, на огороде. Вытаскивали на улицу и грузили в самосвалы. Оно, конечно, неприятно. Они не могли понять: почему мы их убиваем? Убивать было легко... Домашние животные... У них нет страха оружия, страха человека... Бегут на человеческий голос...

– Ползла черепаха... Господи! Мимо пустого дома. Аквариумы в квартирах стояли... С рыбками...

– Черепах не убивали. Передним колесом «уазика» наезжаешь на черепаху, панцирь выдерживает. Не лопается. По пьянке, конечно, передним колесом. Во дворах клетки настезь... Кролики бегают... Нутрии были закрыты, их мы выпускали, если рядом какая вода: озеро, речка, – они уплывали. Все кинуту наспех... На время... Ведь как было? Приказ: «На три дня». Маленьких детей обманывали: «Едем в цирк». Они плакали. А люди думали возвращаться... Скажу я вам, военная обстановка. Кошки заглядывали в глаза, собаки выли, прорывались в автобусы. Дворняжки, овчарки... Солдаты их выталкивали. Пинали. Они долго бежали за машинами... Эвакуация... Не дай Бог!

– Значит, такое дело... Вон у японцев была Хиросима, так они сейчас впереди всех. На первом месте в мире. Значит...

– Есть возможность пострелять, да еще в бегущее, живое. Инстинкт. Азарт. Выпили – и поехали. На работе мне засчитывался рабочий день. Начисляли зарплату. Могли, конечно, за такую работу надбавить. Премия – тридцать рублей... На те деньги... На те, что при коммунистах...

– Дело такое... Сначала дома стояли опечатанные, с пломбами. Пломбы мы не срывали. Сидит за окном кошка, как ты ее достанешь? Не трогали. Пока мародеры не полезли – двери повыбивали, окна разбили, форточки. Разграбили. Первым делом исчезли магнитофоны, телевизоры... меховые изделия... А потом подчистили все... Валяются на полу одни алюминиевые ложки... И уцелевшие собаки

переселились в дом... Заходишь – она на тебя бросается... Они уже перестали людям верить... Я зашел – сука посреди комнаты лежит, и щенята вокруг. Жалко? Оно, конечно, неприятно... Я сравнивал... По сути дела, как в войну, мы действовали, как каратели. По той же схеме... Военная операция... Мы тоже приезжаем, берем в кольцо деревню, и собаки, как услышат первый выстрел, уже бегут. В лес бегут. Кошки хитрее, и им легче спрятаться. Котенок в глиняный горшок залез... Я его вытряхивал... Из-под печки вытаскивали... Неприятное чувство... Ты в дом, а кошка мимо сапог пулей, бегаешь за ней с ружьем. Худые они, грязные. Шерсть клочьями. На первых порах было много яиц, куры пооставались. Собаки и кошки ели яйца, закончились яйца, съели кур. И лисы кур ели, лисы уже жили в деревне вместе с собаками. Значит, кур не стало, собаки поели кошек. Бывали случаи, что мы свиней в сараях находили... Выпускали... В погребах закаты всяких: огурцы, помидоры... Мы пооткрываем и в корыто им бросаем. Свиней не убивали...

– Старушка того... Одна в деревне... Закрылась в хате: пять котов у нее и три собаки... Не давала... Кляла. Мы силой забрали. Одного кота и одну собаку оставили. Кляла. Обзывала: «Бандиты! Тюремщики!»

– Пустые деревни... Одни печи стоят. Хатыни! Среди Хатыни сидят две старухи. Им не страшно. А другой бы сошел с ума!

– Ха-ха... «Под горою пашет трактор, на горе стоит реактор. Если б шведы не сказали, до сих пор еще б не знали». Ха-ха...

– Значит, такое дело... Запахи... Я все не мог понять, откуда такой запах в деревне? Шесть километров от реактора... Деревня Масалы... Как в рентген-кабинете. Пахло йодом... Какой-то кислотой... Стрелять приходилось в упор... Сука лежит посреди комнаты, и щенята кругом... Набросилась на меня – пулю сразу... Щенята лижут руки, лапчатся. Дурачатся. Стрелять приходилось в упор... Одну собачку... Пуделек черненький... Мне его до сих пор жалко. Нагрузили их полный самосвал, с верхом. Везем к «могильнику»... По правде сказать, обыкновенная глубокая яма, хотя положено копать так, чтобы не доставать грунтовые воды и застилать дно целлофаном. Найти высокое место... Но это дело, сами понимаете, повсеместно нарушалось: целлофана не было, место долго не искали. Они, если недобитые, а только раненные, пищат... Плачут... Высыпали их из самосвала в яму, а этот пуде-

лек карабкается. Вылазит. Ни у кого патрона не осталось. Нечем до-  
бить... Ни одного патрона... Его назад в яму спихнули и так землей за-  
валили. До сих пор жалко.

А кошек было намного меньше, чем собак. Может, они за людьми  
ушли? Или попрятались? Пуделек домашний... Балованный...

– Убивать лучше издалека, чтобы не встретиться глазами.

– Ты учись метко стрелять, чтобы не добивать.

– Это мы, люди, что-то понимаем, а они просто живут. «Прах хо-  
дящий»...

– Неправда, что у животных нет сознания, и они не думают. Косу-  
ля раненая... Лежит... Она хочет, чтобы ее пожалели, а ты добиваешь.  
В последнюю минуту у нее вполне осознанный, почти человеческий  
взгляд. Она тебя ненавидит. Или мольба: я тоже хочу жить! Хочу  
жить!

– Учись! Скажу я вам, добивать неприятнее, чем убивать. Охота –  
это спорт, вид спорта. Почему-то никто не ругает рыбаков, а охотни-  
ков все ругают. Несправедливо!

– Охота и война – главные занятия для мужчины. Для настояще-  
го мужчины...

– Я не мог признаться сыну... Ребенок. Где я был? Что делал? Он до  
сих пор думает, что папа там кого-то защищал. Стоял на боевом по-  
сту! По телевизору показывали: военная техника, солдаты. Много  
солдат. Сын спрашивает: «Папа, ты был, как солдат?»

– С нами поехал оператор с телевидения... Помните? С камерой.  
Плакал. Мужик... А плакал... Все хотел увидеть трехголового кабана...

– Ха-ха... Лиса видит: катится по лесу Колобок. «Колобок, куда ты  
катишься?» – «Я не Колобок, я ежик чернобыльский». Ха-ха... Как го-  
ворится, мирный атом – в каждый дом!

– Человек, скажу я вам, умирает, как животное. Я видел... Много  
раз... В Афганистане... Меня ранило в живот, лежу на солнце. Жара не-  
выносимая. Пить!! «Ну, – думаю, – сдохну, как скотина». Скажу я вам,  
и кровь одинаково течет... Как и у них... И болит...

– Милиционер, что с нами был, того... Сошел с ума. Сиамских ко-  
шек жалел, дорогие, мол, они на базаре. Красивые. Того парень...

– Идет корова с телянком. Не стреляли. И лошадей не стреляли. Они  
боялись волков, человека не боялись. Но лошадь лучше может себя за-  
щитить. Первыми погибли от волков коровы. По закону джунглей.



– Из Беларуси скот везли и продавали в Россию. А телки лейкозные. Но зато сбывали их по дешевке.

– Больше всего жалко стариков... Они подходят к нашим машинам: «Погляди ты там, хлопчик, на мою хату». Ключ в руки суют: «Забери костюм. Шапку». Гроши дают... «Как там моя собака?» Собаку пристрелили, дом разграбили. А они никогда туда не вернуться. Как это сказать? Я ключи не брал. Не хотел обманывать. Другие брали: «Где самогонку сховал? В каком месте?» Дед и скажет... Находили целые бидоны, большие бидоны из-под молока.

– Попросили на свадьбу убить дикого кабана. Заказ! Печень в руках расплзается... Все равно заказывают... На свадьбу... На крестины...

– Стреляем и для науки. Один раз в квартал: два зайца, две лисы, две косули. Все зараженные. Но все равно и себе бьем, едим. Поначалу боялись, а теперь пообвыкли. Что-то есть надо, на Луну все не переселимся. На другую планету.

– Кто-то шапку из лисы купил на базаре – облысел. Армянин купил по дешевке автомат из «могильника» – умер. Пугали один одного.

– А у меня там ничего ни в душе, ни в голове не происходило... Мурки и Шарики... Стрелял... Работа...

– Я разговаривал с водителем, который вывозил дома оттуда. Вывозят. Хотя это уже не школа, не дом и не детский садик, а номерные объекты дезактивации. Вывозят! Мы встретились с ним то ли в бане, то ли возле пивного ларька. Не помню точно. Так вот он рассказывал: подъезжают на КамАЗе, за три часа дом разбирают и их возле города перехватывают. Рвут на части. Зону раскупили на дачи. Они деньги получают, и еще их накормят и напоят.

– Среди нашего брата есть хищники... Охотники-хищники... А другие любят просто походить по лесу. На мелкого зверя. На птицу...

– Скажу я вам... Столько людей пострадало, а никто за это не ответил. Посадили директора атомной станции и скоро выпустили. В той системе, кто был виноват – очень трудно сказать. Если вам приказали сверху, что вы должны были делать? Они что-то там испытывали. Читал в газетах, что военные плутоний нарабатывали... Для атомных бомб... Поэтому и громыхнуло... Если грубо, то вопрос стоит так: почему – Чернобыль? Почему – у нас? А не у французов или у немцев?

– Застряло в памяти... Такое дело... Жалко, что ни у кого не оста-

лось тогда ни одного патрона, нечем было пристрелить. Того пуделька... Двадцать человек... Ни одного патрона к концу дня... Ни одного патрона...»

### Монолог о том, что мы не умеем жить без Чехова и Толстого

«О чем я молюсь? Спросите меня: о чем я молюсь? Я не в церкви молюсь. Про себя... Я хочу любить! Я люблю! Я молюсь за свою любовь! А мне... *(Обрывает фразу. Видно, что говорить не хочет.)* Вспоминать? Может, надо на всякий случай оттолкнуть от себя... Отодвинуть... Я таких книг не читала... В кино не видела... В кино я видела войну. Мои бабушка и дедушка вспоминают, что у них не было детства, была война. Их детство – война, а мое – Чернобыль. Я оттуда... Вот вы пишете, но ни одна книга не помогла мне, не объяснила. Ни театр, ни кино. Я разбираюсь в этом без них. Сама. Мы все переживаем сами, мы не знаем, что с этим делать. Умом я это понять не могу. Особенно растерялась моя мама, она преподает в школе русский язык и литературу, всегда учила меня жить по книжкам. И вдруг таких книжек нет... Мама растерялась... Без книжек жить она не умеет... Без Чехова и Толстого.

Вспоминать? Я хочу и не хочу вспоминать... *(То ли прислушивается к себе, то ли спорит сама с собой.)* Если ученые ничего не знают, если писатели ничего не знают, тогда мы им поможем своей жизнью и смертью. Так считает моя мама... А я хотела бы об этом не думать, я хочу быть счастливой. Почему я не могу быть счастливой?

Жили мы в Припяти, рядом с атомной станцией, я там родилась и выросла. В большом панельном доме, на пятом этаже. Окна – на станцию. Двадцать шестого апреля... Их было два дня – последних два дня в нашем городе. Его уже нет. То, что осталось, уже не наш город. В тот день сосед с биноклем сидел на балконе, наблюдал за пожаром. А мы... Девчонки и мальчишки... Мы на велосипедах гоняли на станцию, у кого велосипедов не было, те нам завидовали. Никто не ругал. Никто! Ни родители, ни учителя. К обеду на берегу реки не стало рыбаков, они возвратились черные, так за месяц в Сочи не загорись. Ядерный загар! Дым над станцией стоял не черный, не желтый, а голубой. Но нас никто не ругал... Воспитание, на-

верное, такое, что опасность могла быть только военная: взрыв слева, взрыв справа... А тут – обыкновенный пожар, тушат его обыкновенные пожарники... Мальчишки хохмили: «Выстраивайтесь длинными рядами на кладбище. Кто выше – тот умрет первый». Я – маленькая. Я не помню страха, я помню много странных вещей. Подружка рассказывала, как они со своей мамой ночью закапывали во дворе деньги и золотые вещи, боялись забыть это место. Моей бабушке, когда ее провожали на пенсию, подарили тульский самовар, она почему-то больше всего беспокоилась об этом самоваре и дедушкиных медалях. И о старой швейной машинке «Зингер». Нас эвакуировали... Это слово «эвакуация» принес с работы папа: «Мы уезжаем в эвакуацию». Как в военных книжках... Уже сели в автобус, папа вспоминает, что он что-то забыл. Бежит домой. Возвращается с двумя своими новыми рубашками... На вешалке... Это было странно. У солдат неземной вид, они ходили по улицам в белых маскировочных халатах и масках. «Что с нами будет?» – шли к ним люди. «Почему вы у нас спрашиваете, – злились они, – вон белые «Волги» стоят, там начальство».

Едем на автобусах, небо голубое-голубое. Куда мы едем? В сумках и сетках – пасхальные куличи, крашеные яйца. Если это война, то я ее по книжкам представляла иначе. Взрыв слева, взрыв справа... Бомбежка... Двигались мы медленно, мешал скот. По дорогам гнали коров, лошадей... Пахло пылью и молоком... Водители матерились, кричали на пастухов: «Что по дороге гоните, такую мать?! Пыль радиоактивную поднимаете! Шли бы по полю, по лугу». Те в ответ тоже матом, оправдывались, что жалко топтать зеленое жито, траву. Никто не верил, что назад мы уже не вернемся. Такого же никогда не было. Немного кружилась голова и першило в горле. Старые женщины не плакали, плакали молодые. Плакала моя мама...

Приехали в Минск... Но место в поезде мы купили у проводницы за тройную цену. Она всем принесла чай, а нам сказала: «Давайте свои кружки или стаканы». До нас сразу не дошло... Стаканов, что ли, не хватает? Нет! Нас боятся... «Откуда?» – «Из Чернобыля». И человек боком-боком от нашего купе, детей не пускают, чтобы бежали мимо. Приехали в Минск, к маминной подруге. Маме моей до сих пор стыдно, что мы в своей «грязной» одежде, обуви ночью ввалились в чужую квартиру. Но нас приняли, накормили. Жалели. А за-

шли соседи: «У вас гости? Откуда?» – «Из Чернобыля». И они тоже боком-боком...

Через месяц родителям разрешили съездить и посмотреть квартиру. Забрали они теплое одеяло, мое осеннее пальто и полное собрание писем Чехова, мамино самое любимое. Бабушка... Наша бабушка... Понять не могла, почему не взяли пару банок клубничного варенья, которое я любила, оно же в банках, закрыто крышками... На одеяле обнаружили «пятно»... Мама стирала, чистила пылесосом, ничего не помогло. Сдали в химчистку... Оно «светилось»... Это «пятно»... Пока не вырезали ножницами. Все знакомое, привычное: одеяло, пальто... А я не могла уже спать под этим одеялом... Надеть это пальто... У нас не было денег купить мне новое, а я не могла... Я ненавидела эти вещи! Это пальто! Не боялась, а поймите, ненавидела! Все это может меня убить! Чувство вражды... Не могу понять это умом... Везде говорили об аварии: дома, в школе, в автобусе, на улице. Сравнивали с Хиросимой. Но никто не верил. Как поверить в то, что непонятно? Как ты ни старайся, ни силишься понять, все равно непонятно. Я помню: мы уезжаем – небо голубое-голубое...

Бабушка... На новом месте она не прижилась. Тосковала. Перед смертью просила: «Хочу щавеля!» Щавель несколько лет есть не разрешали, он больше всего набирает радиацию. Хоронить мы повезли ее в родную деревню Дубровники... Там уже была зона, огороженная проволокой. Стояли солдаты с автоматами. За проволоку пустили только взрослых... Папу, маму... Родственников... А мне не разрешили: «Детям нельзя». Я поняла, что никогда не смогу навестить бабушку... Поняла... Где об этом можно прочитать? Где это когда-нибудь было? Мама призналась: «Ты знаешь, я ненавижу цветы и деревья». Она испугалась самой себя... На кладбище... На траве... Постелили скатерть, поставили закуску, водку... А солдаты померяли дозиметром, и все выбросили... Трава, цветы – все «шелкало». Куда мы отвезли нашу бабушку?

Я боюсь... Я боюсь любить... У меня есть жених, мы отнесли заявление в загс. Вы слышали что-нибудь о хиросимских «хибакуси»? Тех, кто выжил после Хиросимы... Они могут рассчитывать только на браки друг с другом. У нас об этом не пишут, об этом не говорят. А мы есть... Чернобыльские «хибакуси...» Он привел меня в дом, позна-

комил со своей мамой... Его хорошая мама... Работает на заводе экономистом. Общественница. Ходит на все антикоммунистические митинги. Вот эта хорошая мама, когда узнала, что я из чернобыльской семьи, из переселенцев, удивилась: «Милочка, разве вы сможете родить?» У нас – заявление в загсе... Он умоляет: «Я уйду из дома. Снимем квартиру», – а у меня в ушах: «Милочка, для некоторых существует грех деторождения». Грех любить...

А до него у меня был другой мальчик. Художник. Мы тоже хотели пожениться. Все было хорошо до одного случая. Я зашла к нему в мастерскую и услышала, как он кричал по телефону: «Как тебе повезло! Ты не представляешь, как тебе повезло!» Обычно такой спокойный, даже флегматичный, ни одного восклицательного знака в речи. И вдруг!! Что оказывается? Его друг живет в студенческом общежитии. Заглянул в соседнюю комнату, а там девчонка висит. Зацепилась за форточку. И на чулке. Его друг вытаскивал ее... Снимал... А этот захлебывался, дрожал: «Ты вообразить себе не можешь, что он увидел! Что пережил! Он ее на руках нес... Трогал лицо... У нее белая пена на губах... Едем, может, успеем...» О мертвой девочке он не говорил, даже ни разу не пожалел ее. Ему бы только увидеть и запомнить... А потом нарисовать... Я тут же вспомнила, как он меня расспрашивал, какого цвета был пожар на станции, видела ли я расстрелянных кошек и собак, как они лежали на улицах? Как плакали люди? Видела ли я, как они умирают?

После того случая... Я не могла больше с ним быть... Отвечать... *(После молчания.)* Не знаю, захотела бы я с вами еще раз встретиться. Мне кажется, вы рассматриваете меня, как и он. Просто наблюдаете. Запоминаете. Идет какой-то эксперимент... Не могу освободиться от этого чувства... Мне уже не освободиться...

А вы не знаете, на кого падает этот грех? Грех деторождения... Раньше я даже таких слов не слышала...»

*Катя П.*

## Монолог о том, что святой Франциск проповедовал птицам

«Это – моя тайна. Об этом никто больше не знает. Я говорил об этом только со своим другом..»

Я – кинооператор. Ехал туда, помня, что нас учили: настоящим писателем становятся на войне, и все такое прочее. Любимый писатель – Хэмингуэй, любимая книга – «Прощай, оружие!» Приехал. Люди копаются на огородах, на полях – трактора, сеялки. Что снимать – непонятно. Нигде ничего не взрывается..»

Первая съемка. В сельском клубе. На сцене поставили телевизор, собрали народ. Слушали Горбачева: все хорошо, все управляемо. В этой деревне, где мы снимали, шла дезактивация. Мыли крыши. А как помыть крышу, если она у бабки протекает? Землю надо было срезать на штык лопаты, срезать весь плодородный слой. Дальше – у нас желтый песочек. Вот бабка, выполняя указания сельсовета, лопатой землю отбрасывает, а навоз с нее сгребает. Жаль, я не снял этого.. Куда ни приедешь: «А, киношники. Сейчас найдем вам героев». Герои – старик с внуком, два дня гнали из-под самого Чернобыля колхозных коров. После съемки зоотехник завел меня к гигантской траншее, там бульдозером этих коров закапывали. Но в голову не пришло это снять. Я стал спиной к траншее и снял эпизод в лучших традициях отечественной кинодокументалистики: бульдозеристы читают газету «Правда», заголовок – аршинными буквами: «Страна в беде не бросит». Да еще повезло: гляжу – аист на поле садится. Символ! Какая бы беда ни пришла, – мы победим! Жизнь продолжается..»

Дороги сельские. Пыль. Я уже понимал, что это не просто пыль, а радиоактивная пыль. Кинокамеру прятал, чтобы не пылилась, все же оптика. Был сухой-сухой май. Сколько сами наглопались, не знаю. Через неделю воспалились лимфоузлы. Но пленку экономили, как патроны, потому что должен был сюда приехать первый секретарь цеха Слюньков. В каком именно месте он появится, никто заранее не говорил, но мы сами догадались. Вчера, например, ехали по дороге, пыль столбом, а сегодня кладут асфальт, да какой – в два-три слоя! Ну, ясно: вот где высокое начальство ждут! Потом я это начальство снимал, ходили они ровненько-ровненько по свежему асфальту. Ни

сантиметра в сторону! У меня это тоже было в кадре, но в сюжет не вставил...

Никто ничего не понимал, это было самое страшное. Дозиметристы называют одни цифры, а в газетах печатаются другие. Ага, тут начинает медленно что-то доходить. У меня остался дома маленький ребенок, любимая жена... Каким же я должен быть глупцом, чтобы оказаться здесь! Ну, наградят медалью... А жена уйдет... Спасение – в юморе. Травили анекдоты. В брошенной деревне поселился бомж, и четыре бабки там остались. Спрашивают: «Каков ваш мужик-то?» – «Этот кобель еще в другую деревню бегаёт». Если попробовать быть искренним до конца... Чернобыль... Но стелется дорога... Бежит ручей, просто бежит ручей. А это случилось... Я что-то подобное чувствовал, когда умер близкий мне человек. Солнце... Птицы летают... Ласточки... Пошел дождь... А он умер... Понимаете? Я хочу уловить словом другое измерение, передать, как это все во мне было тогда...

Увидел и начал снимать цветущую яблоню... гудят шмели, белый, свадебный цвет... Опять же – люди работают, сады цветут... Держу в руках камеру, но не могу понять... Что-то не так! Экспозиция нормальная, картинка красивая, а что-то не то. И вдруг пронзает: не слышу запаха. Сад цветет, а нет запаха! Это только потом я узнал, что существует такая реакция организма при высокой радиации, блокируются некоторые органы. Маме моей семьдесят четыре года, и она, вспоминая я, жалуется, что не слышит запахов. Ну, думаю, теперь это со мной случилось. Спрашиваю у своих в группе, а нас было трое: «Как пахнет яблоня?» – «Да никак не пахнет». Что-то с нами происходило... Сирень не пахла... Сирень!.. И у меня появилось чувство, что все, что вокруг, неправда. Что я – среди декораций... И что я это понять не могу, не способен. Я даже нигде об этом не читал...

Из детства... Соседка, бывшая партизанка, рассказывала, как во время войны их отряд выбирался из окружения. У нее на руках маленький ребенок, месячный, шли по болоту, кругом каратели... Ребенок плакал... Он мог их выдать, их обнаружили бы, весь отряд. И она его задушила. Говорила об этом отстраненно, как будто это не она, а другая какая-то женщина сделала, и ребенок был чужой. Почему она об этом вспомнила, я уже забыл. Помню отчетливо дру-

гое, свой ужас: что же это она такое сотворила? Как смогла? Мне казалось, что весь партизанский отряд выходил из окружения ради этого ребенка, чтобы его спасти. А тут, чтобы остались живы здоровые сильные мужчины, задушили дитя. В чем смысл жизни тогда? Мне не хотелось после этого жить. Мне, мальчишке, неловко было смотреть на эту женщину, потому что я узнал про нее такое... А каково ей видеть меня? *(Какое-то время молчит.)* Вот почему я не хочу вспоминать... О тех днях в зоне... Придумываю для себя разные объяснения... Мне не хочется открывать ту дверь... Я там хотел понять, где я настоящий и где ненастоящий. У меня уже были дети. Сын. Когда у меня родился сын, я перестал бояться смерти. Смысл моей жизни открылся...

Ночью в гостинице. Просыпаюсь – монотонный шум за окном, непонятные синие сполохи. Отдергиваю шторы: по улице идут десятки узиков с красными крестами и мигалками. В полной тишине. Испытал что-то наподобие шока. Всплыли в памяти кадры из фильма... Из детства... Послевоенные дети, мы любили военные фильмы... Ну, и такие кадры... Ощущение... Из города ушли все свои, и ты остался один, и должен принимать решение. А что самое правильное? Притвориться, что ты не живой? Или как? А если что-то должен совершить, то что?

В Хойниках в центре города висела Доска почета. Лучшие люди района. Но поехал в зараженную зону и вывез детей из детского сада шофер-пьяница, а не тот, с Доски почета. Все стали сами собой. А вот еще – эвакуация. Первыми увозят детей. Погрузили в большие автобусы «Икарусы». Я ловлю себя на том, что снимаю, как это видел в военных фильмах. И тут же замечаю, что не я один, но и люди, которые участвуют во всем этом действии, ведут себя подобным образом. Они держатся так, как когда-то, помните, в любимом всеми нами фильме «Летят журавли»: редкая слеза на глазах, короткие слова прощания... Выходило, что мы все пытались найти форму поведения, которая нам уже была знакома. Старались чему-то соответствовать. Это осталось в памяти. Девочка машет маме рукой, что, мол, все в порядке, она мужественная. Мы победим!..

Я подумал, что приеду в Минск, а там тоже эвакуация. Как я буду прощаться со своими – женой, сыном? Представлял себе в том числе и этот жест: мы победим! Мы – ратники. Мой отец, сколько



я помню, носил военные одежды, хотя не был военным. Думать о деньгах – мешанство, о своей жизни – непатриотично. Нормальное состояние – голодное. Они, наши родители, пережили разруху, и мы должны ее пережить. Иначе настоящим человеком не станешь. Нас учили воевать и выживать в любых условиях. Мне самому после срочной службы в армии гражданская жизнь показалась пресной. Ночью ходили по улицам в поисках острых ощущений. В детстве читал великолепную книгу «Чистильщики», автора забыл, там ловили диверсантов, шпионов. Азарт! Охота! Так мы устроены. Если каждый день работа и хорошая еда, – невыносимо, некомфортно!

Жили мы в общежитии какого-то пэтэу вместе с ликвидаторами. Молодые ребята. Водки выдали чемодан. Выводить радиацию. Вдруг выясняется, что в этом же общежитии расположился отряд медслужбы. Одни девчонки. «Ну, сейчас гульнем!» – говорят мужики. Пошли двое и тут же возвращаются во-о-т с такими глазами... Картинка: идут по коридору девчонки... Под гимнастерку выдают штаны и кальсоны с завязочками, они у них по полу тянутся, болтаются, никто не стесняется. Все старое, бэу (бывшее в употреблении), не по росту. Висит, как на вешалках. Кто в тапочках, кто в сапогах расхлябанных. А поверх гимнастерки еще прорезиненная спецодежда натянута, каким-то химическим составом пропитанная... Некоторые и на ночь не снимают. Жутко смотреть... И никакие они не медсестры, взяли их с института, с военной кафедры. Пообещали, что на два дня, а когда мы приехали туда, они уже месяц там были. Рассказывали, что их возили на реактор, они там насмотрелись на ожоги, но про ожоги я только от них слышал. Сейчас еще вижу – бродят по общежитию, как во сне...

В газетах писали, что, к счастью, ветер дул не в ту сторону... Не на город... Не на Киев... Еще никто не знал... Не догадывался, что он дул на Беларусь... На меня и на моего Юрика. Мы с ним в этот день гуляли в лесу, щипали заячью капусту. Господи, как же меня никто не предупредил!

Вернулся из экспедиции в Минск. Еду в троллейбусе на работу. Доносятся обрывки разговора: снимали фильм в Чернобыле, и один оператор прямо там умер. Сгорел. Ну, думаю: «Кто же такой?» Дальше слушаю: молодой, двое детей. Имя называют: Витя Гуревич. Есть у нас такой опе-

ратор, совсем молодой парень. Двое детей? Что ж он скрывал? Подъезжаем к киностудии, кто-то уточняет: не Гуревич, а Гурин, и зовут Сергей. Господи, да это же я! Смешно сейчас, но тогда я шел от метро к киностудии и боялся, что открою дверь и... Нелепая мысль: «А где они фотографию мою взяли? В отделе кадров?» Откуда этот слух родился? Несовпадение масштабов происходящего с количеством жертв. Например, Курская битва. Тысячи погибших... Это понятно. А тут – в первые дни вроде бы всего семь пожарников... Потом – еще несколько человек... А дальше слишком абстрактные определения для нашего сознания: «через несколько поколений», «вечность», «ничто». Начались слухи: летают трехголовые птицы, куры заклеивают лис, лысые ежики...

Ну, а дальше... Дальше надо снова кому-то в зону ехать. Один оператор принес справку, что у него язва желудка, второй – в отпуск съехал... Вызывают меня: «Надо!» – «Так я же только вернулся». – «Понимаешь, ты уже там был. Тебе все равно. И потом: у тебя уже есть дети. А они – молодые». Елки-палки, я, может, тоже хочу, чтобы у меня было пятеро-шестеро детей!! Ну, начинают давить, мол, скоро тарификация, у тебя козырь появится. Зарплату повысят... Грустная и смешная история. Загнал на край сознания...

Как-то снимал людей, которые были в концлагере. Они избегают встречаться. Я с ними согласен. Что-то есть противоестественное в том, чтобы собираться и вспоминать войну. Люди, пережившие вместе унижение, или познавшие, какой бывает человек, там, на глубине подсознания, бегут друг от друга. Что-то там, в Чернобыле, я узнал, почувствовал, о чем не хочется говорить. О том, например, что все наши гуманистические представления относительно... В экстремальной ситуации человек по сути совсем не тот человек, о котором пишут книги. Такого человека, какой он в книгах, я не нашел. Не встретил. Все наоборот. Человек – не герой. Все мы – продавцы апокалипсиса. Большие и маленькие. Мелькают в памяти обрывки... Картинки... Председатель колхоза хочет на двух машинах вывезти свою семью с вещами, мебелью, а парторг просит одну машину для себя. Требуется справедливости. А уже несколько дней, я свидетель, не могут вывезти детей, ясельную группу. Не хватает транспорта. А тут двух машин мало, чтобы упаковать все вплоть до трехлитровых банок с вареньями и соленьями. Я видел, как их назавтра грузили. Тоже не снял. *(Неожиданно засмеялся.)* Купили там в магазине колбасу, консервы, а есть страшно. Возили эти сетки с

собой. Тоже было жалко выбросить. (*И уже серьезно.*) Механизм зла будет работать и при апокалипсисе. Я это понял. Так же будут сплетничать, заискивать перед начальством, спасать свой телевизор и каракулевую шубу. И перед концом света человек останется тот же, какой он сейчас. Всегда.

Мне как-то неловко, что я не пробил своей киногруппе никаких льгот. Одному нашему парню нужна была квартира, иду в профком: «Помогите, мы полгода просидели в зоне. Положены льготы». – «Хорошо, – сказали, – несите справочки. Справочки нужны с печатями». А мы там приезжали в райком, а по коридорам ходит одна тетка Настя со шваброй. Все разбежались. Есть у нас режиссер, у него стопка справок: где был, что снимал. Герой!

У меня в памяти большой, длинный фильм, который я не снял. Много серий... (*Молчит.*) Все мы – продавцы апокалипсиса...

Заходим с солдатами в хату. Живет одна бабка.

– Ну, бабка, поедем.

– Поедем, детки.

– Тогда собирайся, бабка.

Ждем на улице. Курим. И вот эта бабка выходит: у нее на руках – икона, котик и узелок. Это все, что она берет с собой.

– Бабка, кота нельзя. Не положено. У него шерстка радиоактивная.

– Нет, детки, без котика не поеду. Как я его кину? Одного оставлю.

Это – моя семья.

Вот с этой бабки... И с той цветущей яблони... С них все началось... Я снимаю теперь только зверей... Я вам говорил: смысл моей жизни открыт...

Однажды показал свои чернобыльские сюжеты детям. Меня упрекали: зачем? Нельзя. Не надо. И так они живут в этом страхе, среди этих разговоров, у них изменения в крови, нарушена иммунная система. Надеялся, что придут пять–десять человек. Набился полный зал. Вопросы задавали самые разные, но один прямо врзался мне в память. Мальчик, запинаясь и краснея, видно, из тихих, неразговорчивых, спросил: «А почему было нельзя помочь животным, которые там остались?» Я не смог ему ответить... Искусство наше только о страдании и любви человека, а не всего живого. Только человека! Мы не спускаемся к ним: животным, растениям... В этот другой мир... А Чернобылем человек на все замахнулся...

Хочу снять фильм... «Заложники»... О животных. Помните песню «Плыл по океану рыжий остров»? Тонет корабль, люди сели в шлюпки. А лошади не знали, что в шлюпках нет места для лошадей...

Современная притча. Действие происходит на далекой планете. Космонавт в скафандре. Слышит через наушники шум. Видит, что на него надвигается что-то огромное. Необъятное. Динозавр?! Еще не понимая, кто это, он стреляет. Через мгновение – снова что-то к нему приближается. Он и его уничтожает. Еще через миг – стадо. И он устраивает бойню. А оказывается, начался пожар, и животные спасались, бежали по тропе, на которой стоял космонавт. Человек! Со мной там произошла необычная вещь. Я приблизился к животным... Деревьям... Птицам... Они мне теперь ближе, чем раньше... Расстояние между нами сузилось... Я езжу в зону... Все эти годы... Из брошенного, разоренного человеческого дома выскакивает дикий кабан... Выходит лосиха... Вот это я снял. Я хочу сделать кино... И увидеть все глазами зверя... «О чем ты снимаешь? – говорят мне. – Посмотри вокруг... В Чечне – война...». А святой Франциск проповедовал птицам. С птицами говорил, как с равными. А что если это птицы говорили с ним на птичьем языке, а не он снизошел до них? Ему был понятен их тайный язык. У Достоевского, помните, как человек хлестал лошадь по кротким глазам. Безумный человек! Не по крупу, а по кротким глазам...»

*Сергей Гурин, кинооператор*

### **Монолог без названия – крик...**

«Отстаньте, люди добрые! Нам тут жить! Вы поговорили и поехали, а нам тут жить!

Вот лежат медицинские карточки... Передо мной... Каждый день... Я беру их в руки... Каждый день!

Аня Будай – 1985 года рождения – 380 бэр.

Витя Гринкевич – 1986 года рождения – 785 бэр.

Настя Шабловская – 1986 года рождения – 570 бэр.

Алеша Пленин – 1985 года рождения – 570 бэр.

Андрей Котченко – 1987 года рождения – 450 бэр...

Говорят, что этого не может быть? И как они живут с такой щитовидкой? Но разве был где-то подобный эксперимент? Я читаю... Вижу... Каждый день... Помочь можете? Нет! Зачем тогда приезжаете? Расспрашиваете? Трогаете нас? Я не хочу торговать их несчастьем. Философствовать! Отстаньте, люди добрые! Нам тут жить...»

*Аркадий Павлович Богданкевич,  
сельский фельдшер*

## **Монолог на два голоса – мужской и женский**

*Учителя Нина Константиновна и Николай Прохорович Жарковы. Он преподает уроки труда, она – филолог.*

*Она:*

– Я так часто слышу о смерти, что не хожу на нее смотреть. А вы никогда не знали детских разговоров о смерти? В седьмом классе у меня спорят и обсуждают: это страшно или не страшно? Если маленьких детей недавно интересовало: откуда они? Откуда дети берутся? То сейчас их волнует, что будет после атомной войны? Они перестали любить классику, я читаю наизусть Пушкина – у них холодные, отстраненные глаза... Вокруг них уже другой мир... Читают фантастику, это их увлекает, там, где человек отрывается от Земли, орудует космическим временем, разными мирами. Они не могут бояться смерти, так как ее боятся взрослые люди, я, например, она волнует их, как нечто фантастическое...

Размышляю... Думаю над этим... Смерть вокруг заставляет много думать. Я преподаю русскую литературу детям, которые не похожи на тех детей, что были десять лет назад. У этих на глазах все время что-то или кого-то хоронят... Зарывают в землю... Дома и деревья... Все хоронят... На линейке эти дети падают в обморок, когда постоят пятнадцать–двадцать минут, у них кровь течет из носа. Их ничем не удивишь и ничем не порадует. Всегда сонливые, усталые. Лица бледные, серые. Не играют и не дурачатся. А подерутся, нечаянно побьют окно – учителя даже рады. Не ругают, потому что они на детей не похожи. И так медленно растут. Просишь на уроке что-нибудь по-

вторить – ребенок не может, доходит до того, что скажешь предложение, чтобы повторил вслед – не запоминает. «Ну где же ты? Где?» – тормозишь его. Думаю... Много думаю... Как будто водой рисую на стекле, только я знаю, что я рисую, никто не видит, никто не догадывается, никто не представляет...

Наша жизнь вертится вокруг... Вокруг Чернобыля... Где тогда был, как далеко от реактора жил? Что видел? Кто умер? Кто уехал? Куда? В первые месяцы, помню, опять загудели рестораны, зашумели вечеринки... «Живем один раз...» «Помирать, так с музыкой...» Наехали солдаты, офицеры... Чернобыль теперь с нами каждый день... Неожиданно умерла молодая беременная женщина. Без диагноза, патологоанатом не поставил диагноза. Маленькая девочка повесилась. Пятиклассница. Ни с того, ни с сего. Маленькая девочка... На все один диагноз – Чернобыль, что бы ни случилось, все говорят – Чернобыль. Нас упрекают: «Вы болеете, потому что боитесь. Из страха. Радиофобия». Но почему маленькие дети болеют и умирают? Они страха не знают, еще не понимают.

Я помню те дни... Мне жгло горло, тяжесть, какая-то тяжесть во всем теле. «Вы мнительная, – сказала врач. – Все сейчас стали мнительны, потому что Чернобыль случился». – «Какая мнительность? Болит, у меня нет сил». Стеснялись с мужем признаваться друг другу, но у нас начали отниматься ноги. Все вокруг жаловались, наши друзья, все люди, что идешь по дороге и, кажется, тут бы лег. Ученики ложились на парты, во время уроков теряли сознание. И ужасно все стали невеселые, мрачные, за целый день ни одного доброго лица не встретишь, чтобы кто-то другому улыбнулся. С восьми утра до девяти вечера дети находились в школе, строго запрещалось играть на улице, бегать. Им выдали одежду: девчонкам – юбки и кофты, мальчикам – костюмы; но они в этой одежде шли домой, где они там в ней были, мы не знали. По инструкции, мамы должны были дома каждый день эту одежду стирать, чтобы в школу дети являлись во всем чистом. Во-первых, дали только одну, например, кофточку и одну юбку, а смены не дали, а, во-вторых, мамы загружены домашним хозяйством – куры, корова, поросенок, да и не понимают они, что эти вещи надо стирать каждый день. Грязь для них – это чернила, земля, жирные пятна, а не воздействие каких-то короткоживущих изотопов. Когда я пыталась что-нибудь объяснить родителям

своих учеников, по-моему, они понимали меня не больше, чем если бы вдруг к ним заявился шаман из африканского племени. «А что это такое – радиация? Не слышно и не видно... А-а... У меня вон денег от полочки до полочки не хватает. Последних три дня всегда на молоке и картошке сидим. А-а-а...» – И мать махнет рукой. А молоко нельзя... И картошку нельзя. В магазин завезли китайскую тушенку и гречку, а на что им купить? Инструкции рассчитаны на грамотного человека, на определенную бытовую культуру. Но ее нет! Нет у нас того народа, на которого рассчитаны эти инструкции. Кроме того, что не очень просто объяснить, чем отличаются бэры от рентгенов... С моей точки зрения... Я бы говорила о фатализме, этаким легким фатализмом. Например, с огородов в первый год ничего нельзя было употреблять, все равно ели, заготавливали впрок. Еще так славно все уродило! Ты попробуй скажи, что огурцы есть нельзя и помидоры... Что значит – нельзя? По вкусу нормальные... И он их ест, и живот у него не болит... И в темноте никто не «светится»... Соседи наши положили в тот год новый пол из местного леса, померяли – фон в сто раз выше допустимого. Никто тот пол не разобрал, они так и жили. Все, мол, как-то образуется, как-то оно будет, но образуется само по себе, без них, без их участия. Первое время кой-какие продукты носили к дозиметристам, проверяли – в десятки раз выше нормы, но потом бросили. «Не слышно, не видно. А придумают эти ученые!» Все шло своим чередом: вспахали, посеяли, собрали... Случилось немислимое, а люди жили, как жили. И отказ от огурцов со своего огорода был важнее Чернобыля. Детей все лето держали в школе, солдаты помыли ее стиральным порошком, сняли вокруг слой земли... А осенью? Осенью послали учеников убирать бураки. И студентов на поле привезли, пэтэушников. Всех согнали. Чернобыль – это не так страшно, как оставить в поле невыкопанную картошку...

Кто виноват? Ну кто виноват, кроме нас самих!

Раньше мы не замечали этот мир вокруг себя, он был, как небо, как воздух, как будто кто-то его дал нам навечно, и он от нас не зависит. Будет всегда. Раньше я любила лечь в лесу на траву и любоваться небом, мне было так хорошо, что я забывала, как меня зовут. А сейчас? Лес красивый, полно черники, но ее никто не собирает. В осеннем лесу редко услышишь человеческий голос. Страх в ощуще-

ниях, на подсознательном уровне... У нас остались телевизор и книги... Воображение... Дети растут в домах... Без леса и реки... Могут только на них смотреть. Это совсем другие дети. А я прихожу к ним: «Унылая пора. Очей очарованье...» Все с тем же Пушкиным, который казался мне вечным. Иногда появляется кощунственная мысль: а вдруг вся наша культура – сундук со старыми рукописями. Все то, что я люблю...

Он:

– Знаете, у нас было военное воспитание... Нас ориентировали на отражение и ликвидацию атомного нападения. Мы должны были противостоять химическим, биологическим и атомным войнам. А не выводить из организма радионуклиды... С войной сравнивать нельзя, неточно, а все сравнивают. Я ребенком пережил ленинградскую блокаду. Сравнивать это нельзя. Там мы жили, как на фронте, под бесконечными обстрелами. И голод, несколько лет голод, когда человек опускался до звериных инстинктов. А тут, пожалуйста, вышел – и в огороде все растет! Это несравнимо. Но я другое хотел сказать... Потерял нить... Ускользнула... А-а... Когда начинается обстрел, не дай Бог! Ты можешь умереть не когда-то, а сейчас, сию минуту. Зимой – голод. Жгли мебель, мы все деревянное в своей квартире сожгли, все книги, по-моему, даже какими-то старыми тряпками топили. Человек идет по улице и сел, на следующий день идешь, он сидит, то есть он замерз, он сидит так неделю или до весны сидит. До тепла. Ни у кого нет сил его изо льда вырубить, в редких случаях, если кто-нибудь на улице падал, к нему подходили, помогали. Мимо. Все ползут мимо. Я помню, что люди не ходили, а ползали, так они медленно ходили. Это ни с чем не сравнить!

...С нами, когда взорвался реактор, еще жила мама, моя мама, она повторяла: «Самое страшное, сынок, мы с тобой пережили. Мы пережили блокаду. Ничего страшнее не может быть».

Мы готовились к войне, атомной войне, строили ядерные убежища. От атома хотели спрятаться, как от осколков снаряда. А он всюду... В хлебе, в соли... Дышим радиацией, едим радиацию... То, что может не быть хлеба и соли, и можно съесть все, вплоть до того, что сварить в воде кожаный ремень, ради запаха, наестся запахом – я



мог понять. А это нет... Все отравлено? Сейчас важно уяснить, как же нам жить? В первые месяцы был страх, особенно врачи, учителя, короче, интеллигенция, более грамотные люди, они бросали все и уезжали. Мчались отсюда. Но военная дисциплина... Партбилет на стол... Никого не выпускали... Кто виноват? Чтобы ответить на вопрос, как нам жить, надо знать: кто виноват? Кто же? Ученые или персонал станции? Директор? Дежурные операторы? Но почему, ответьте мне, мы не боремся с автомобилем, как творением ума человеческого, а с реактором боремся? Требуем закрыть все атомные станции, а атомщиков отдать под суд! Проклинаем! Знание, само знание не бывает преступным. Ученые сегодня – тоже жертвы Чернобыля. Я хочу жить после Чернобыля, а не умирать после Чернобыля. Хочу понять...

Реакции сейчас у людей разные, все-таки десять лет прошло, а они меряют войной. Война четыре года длилась... Уже, считайте – две войны... Я перечислю вам, какие есть реакции: «Все уже позади», «Как-нибудь обойдется», «Десять лет прошло. Уже не страшно», «Мы все умрем! Все скоро умрем!» «Хочу уехать за границу». «Нам должны помочь», «А, плевать! Надо жить». Кажется, все перебрал? Вот это мы каждый день слышим... С моей точки зрения, мы – материал для научных исследований... Международная лаборатория... Нас, белорусов, десять миллионов, больше двух миллионов живет на зараженной земле. Гигантская дьявольская лаборатория... Записывай данные, экспериментировать. Едут к нам отовсюду... Защищают диссертации... Из Москвы и Петербурга... Из Японии, Германии, Австрии... Они готовятся к будущему... *(Длинный перерыв в разговоре.)*

Что я подумал? Я опять сравнил... Я подумал, что о Чернобыле могу говорить, а о блокаде не могу. Прислали приглашение из Ленинграда, приглашение на встречу «Дети блокадного Ленинграда», я поехал, но не смог там слова из себя выдавить. Просто рассказать о страхе? Мало... Просто о страхе... Дома о блокаде мы никогда не вспоминали, мама не хотела, чтобы мы вспоминали блокаду. А о Чернобыле мы говорим... Нет... *(Остонавливается.)* Между собой мы не говорим, этот разговор возникает, когда кто-нибудь к нам приезжает: иностранцы, журналисты, родственники, которые здесь не живут. Почему мы не говорим о Чернобыле? В школе? С учениками? Об этом с ними говорят в Австрии, Франции, Германии, куда они ездят на лече-

ние. Спрашиваю детей, о чем там с ними беседуют, чем интересуются? А они часто не помнят ни города, ни деревню, ни фамилии людей, у которых были, перечисляют подарки, что вкусное ели. Кому-то подарили магнитофон, а кому-то – нет. Приезжают в одеждах, которые сами не заработали и не заработали их родители. Вот как будто они где-то на выставке побывали. В большом магазине... Все время ждут, что их еще раз туда повезут. Покажут, одарят. Они к этому привыкают. Привыкли. Это уже способ их жизни, представление о ней. После этого большого магазина, который называется за границей, после этой дорогой выставки надо идти к ним в класс. На урок. Я иду и вижу, что это уже наблюдатели... Наблюдают, а не живут. Я веду их в свою мастерскую, там стоят мои деревянные скульптуры. Они им нравятся. Говорю: «Это все можно сотворить из обыкновенного куска дерева. Попробуй сам». Пробудись! Мне это помогло выйти из блокады, я выходил годами...

### **Монолог о том, как совершенно неведомая вещь вползает, влезает в тебя**

«Муравьи ползут по стволу... Вокруг гремит военная техника. Солдаты. Крики, ругань. Мат. Трещат вертолеты. А они ползут... Я возвращался из зоны и от всего увиденного за день ясной в памяти оставалась одна эта картина... Мы остановились в лесу, я стал покурить возле березы. Стал близко, оперся. Прямо перед моим лицом муравьи ползли по стволу, не слыша нас, не обращая никакого внимания... Мы исчезнем, а они и не заметят. А я? Я никогда раньше их так близко не замечал...

Сначала все говорили «катастрофа», потом – «ядерная война». Я читал о Хиросиме и Нагасаки, видел документальные кадры. Страшно, но понятно: атомная война, радиус взрыва... Это я даже мог себе представить. Но то, что случилось с нами, не вмещалось в сознание. Мы уходим... Ты чувствуешь, как какая-то совершенно неведомая вещь разрушает весь прежний мир, вползает, влезает в тебя. Помню разговор с одним ученым: «Это на тысячи лет, – объяснял он. – Распад урана – это двести тридцать восемь полураспадов. Переведем на время: один миллиард лет. А у торрия – это четырнадцать миллиардов лет». Пятьдесят... Сто... Двести лет... Но дальше? Дальше мое сознание не двигалось. Я уже не понимал, что такое – время? Где я?

Писать об этом сейчас, всего десять лет прошло... Писать? Думаю, бессмысленно! Не уяснить, не постичь. Все равно будем придумывать что-нибудь похожее на нашу жизнь... Я пробовал... Ничего не получилось... После Чернобыля осталась мифология о Чернобыле. Газеты и журналы соревнуются, кто напишет страшнее, особенно любит страхи человек, который там не был. Все читали о грибах с человеческую голову, но никто их не находил. Поэтому надо не писать, а записывать. Документировать. Дайте мне фантастический роман о Чернобыле... Нет его! Реальность фантастичнее!

У меня отдельный блокнот... Записываю разговоры, слухи, анекдоты. Это самое интересное, и оно вне времени. Что осталось от Древней Греции? Мифы Древней Греции...

Вот мой блокнот...

*Из разговоров:*

«По радио уже третий месяц: обстановка стабилизируется... Обстановка стабилизируется... Обстановка стаб...»

«Приехали инструкторы из цека. Их маршрут: на машине из гостиницы – в обком партии, назад – тоже на машине. Обстановку изучают по подшивкам местных газет. Полные саквояжи минских бутербродов. Чай заваривают на минеральной воде. Тоже привезенной. Рассказывала об этом дежурная гостиницы, где они жили. Люди не верят газетам, телевидению и радио, ищут информацию в поведении начальства. Она наиболее достоверная.»

«Самая популярная сказка зоны: лучше всего помогает от стронция и цезия – «Столичная».

«Что делать с ребенком? Хочется схватить в охапку и бежать. Но у меня партбилет в кармане. Не могу!»

«В деревенских магазинах неожиданно появились дефицитные товары. Слышал, как выступал секретарь обкома: «Мы создадим вам райскую жизнь. Только оставайтесь и работайте. Завалим колбасой и гречкой. У вас будет все то, что есть в лучших спецмагазинах». То есть в их обкомовских буфетах. Отношение к народу такое: ему достаточно водки и колбасы.»

Но черт возьми! Никогда не видел, чтобы в сельском магазине было три сорта колбасы. Сам купил там жене импортные колготки...»

«Дозиметры побыли в продаже месяц и исчезли. Об этом писать нельзя. Сколько и каких радионуклидов выпало – тоже нельзя. Нельзя и о том, что в деревнях остались одни мужчины. Женщин и детей вывезли. Целое лето мужчины сами стирали, доили коров, копали огороды. Конечно, пили. Дрались. Мир без женщин... Это у меня вычеркнули. «Не забывайте, у нас враги. У нас много врагов за океаном», – пригрозил редактор. И поэтому у нас есть только хорошее, а плохого нет. Но где-то специальные составы подаются, кто-то видел начальство с чемоданами...»

«Возле милицейского поста меня остановила старая бабка: «Погляди ты там на мою хату. Пора бульбу копать, а солдаты не пускают». Их переселили. Человек в вакууме, человек без ничего. Они пробираются в свои деревни через военные заслоны... Лесными стежками... По болотам... Ночью... За ними гоняются, ловят. На машинах и вертолетах. «Как при немцах», – сравнивают старые люди».

«Видел первого мародера. Молодой парень, одетый в две меховые куртки. Доказывал военному патрулю, что лечится таким способом от радикулита. Когда раскололи, признался: «Первый раз страшновато, а потом привычное дело. Выпил чарку – и пошел». Переступив инстинкт самосохранения. В нормальном состоянии это невозможно. Так наш человек идет на подвиг. И так же – на преступление».

«Можно ли нам помочь? И как? Переселить народ в Австралию или Канаду? Якобы такие разговоры где-то на самых верхах циркулируют время от времени».

«Для церквей выбирали место буквально с неба. Были явления церковным людям. Совершались таинства, предшествовавшие строительству. А атомную строили, как завод. Как свинарник. Крышу залили асфальтом. И она плавилась...»

«Читал? Под Чернобылем выловили беглого солдата. Выкопал

землянку и год жил возле реактора. Питался тем, что ходил по брошенным домам, где сало найдет, где банку с маринованными огурцами. Ставил капканы на зверей. Бежал, потому что «деды» били «на-смерть». Спасался – в Чернобыле...»

«Мы – фаталисты. Мы ничего не предпринимаем, потому что верим: все будет так, как будет. Наша история? На каждое поколение выпадала война... Откуда нам быть другими? Мы – фаталисты...»

«Появились первые волкособаки, родившиеся у волчиц от собак, убежавших в лес. Они крупнее волков, не обращают внимание на флажки, не боятся света и человека, не идут на «вабу» (подражательный призывный клич охотников). И одичавшие кошки уже сбиваются в стаи и нападают на людей. Они все мстят нам. Память о том, как подчинялись человеку, служили ему, исчезла. А у нас стирается граница между реальным и нереальным...»

*Из слухов:*

За Чернобылем строят лагерь, в которых будут держать тех, кто попал под радиацию. Подержат, понаблюдают и похоронят.

Из близлежащих к станции деревень мертвых вывозят автобусами и прямо на кладбище, тысячами закапывают в братские могилы. Как в ленинградскую блокаду...

Несколько человек якобы видели накануне взрыва непонятное свечение в небе над станцией. Кто-то даже его сфотографировал. На пленке обнаружилось, что это парит какое-то неземное тело...

В Минске помыли поезда и товарные составы. Будут всю столицу вывозить в Сибирь. Там уже ремонтируют бараки, оставшиеся от сталинских лагерей. Начнут с женщин и детей. А украинцев уже вывозят...

Рыбаки все чаще встречают рыб-амфибий, которые могут жить и в воде, и на земле. По земле они ходят на плавниках – лапах.

Это была не авария, а землетрясение. В подземной коре что-то произошло. Геологический взрыв. Участвовали геофизические и космофизические силы. Военным об этом было известно заранее, могли предупредить, но у них все строго засекречено.

В реках и озерах стали вылавливать шук без головы и плавников. Плавают одно брюхо...

Что-то подобное скоро начнет происходить и с людьми. Белорусы превратятся в гуманоидов.

У лесных зверей – лучевая болезнь. Они бродят грустные, у них грустные глаза. Охотникам страшно и жалко в них стрелять. И звери перестают бояться человека. Лисы и волки заходят в деревни и ластятся к детям.

От чернобыльцев рождаются дети, но вместо крови у них течет неизвестная желтая жидкость. Есть ученые, которые доказывают: обезьяна потому стала такой умной, что в радиации жила. Дети, родившиеся через три-четыре поколения, все будут Эйнштейнами. Это космический эксперимент над нами...

*Анатолий Шиманский, журналист*

## **Монолог о тоске по роли и сюжету**

«Написали уже десятки книг. Толстых томов. Откомментировали. А событие все равно выше любого философского комментария. Как-то я услышал или прочел, что проблема Чернобыля стоит перед нами прежде всего как проблема самопознания. С этим согласился, это совпало с моими чувствами. Я все время жду, что кто-то умный мне все объяснит... Как объясняют, просвещают меня насчет Сталина, Ленина, большевизма. Или без конца долдонят: «Рынок! Рынок! Свободный рынок!» А мы... Люди, воспитанные в мире без Чернобыля, живем с Чернобылем.

Собственно, я – профессиональный ракетчик, специалист по ракетному топливу. Служил в Байконуре. Программы: «Космос», «Интеркосмос» – это большой кусок моей жизни. Чудесное время! Дашь небо! Дашь Арктику! Дашь целину! Дашь космос! Вместе с Гагариным весь советский мир полетел в космос, оторвался от Земли... Все мы! Я до сих пор влюблен в него! Прекрасный русский человек! С прекрасной улыбкой! Даже смерть его как-то отрежиссирована. Мечты о парении, полете, свободе... Это было чудесное время! По семейным обстоятельствам я перевелся в Беларусь, тут дослуживал. Когда я приехал... Погрузился в это чернобыльское пространство, оно от-

корректировало мои чувства. Невозможно что-нибудь подобное было бы вообразить, хотя я всегда имел дело с самой современной техникой, с космической техникой... Трудно пока произнести... Не поддается воображению... Нечто... (*Задумывается.*) А секунду назад казалось, что поймал смысл... Секунду назад... Тянет философствовать. С кем ни заговори о Чернобыле, всех тянет философствовать.

Но лучше я расскажу вам о своей работе. Чем мы только ни занимаемся! Строим церковь... Чернобыльскую церковь, в честь Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Собираем пожертвования, навещаем больных и умирающих. Пишем летопись. Создаем музей. Одно время думал, что я не смогу, не с моим сердцем работать на таком месте. Дали первое поручение: «Вот деньги и раздели их на тридцать пять семей. На тридцать пять вдов, у кого мужья умерли». Все они были ликвидаторы. Надо справедливо. А как? У одной вдовы – маленькая девочка, больная, у другой вдовы – двое детей, третья женщина сама больная, а та снимает квартиру, а еще у одной – четверо детей. Ночью я просыпался с мыслью: «Как мне никого не обделить?» Думал и считал, считал и думал. И не смог. Мы раздали деньги все поровну, по списку. Но мое детище – музей. Музей Чернобыля (*Молчит.*) А иногда мне кажется, что здесь будет не музей, а похоронное бюро. Я служу в похоронной команде! Сегодня утром не успел пальто снять, открывается дверь, женщина с порога рыдает, не рыдает, а кричит: «Заберите его медаль и все грамоты! Заберите все льготы! Отдайте мужа!» Долго кричала. Оставила его медаль, оставила грамоты. Ну, будут они лежать в музее, под стеклом... Будут на них смотреть... Но крика, ее крика никто, кроме меня, не слышал, только я, когда буду раскладывать эти грамоты, буду помнить.

Сейчас умирает полковник Ярошук... Химик-дозиметрист. Здоровенный был мужик, лежит парализованный. Жена ворочает его, как подушку... Кормит из ложечки... У него и камни в почках, надо раздробить камни, а у нас нет денег, чтобы оплатить операцию. Мы – нищие, существуем на то, что кто подаст. А государство ведет себя как мошенник, оно бросило этих людей. Умрет – назовут его именем улицу, школу или воинскую часть, но это, когда он умрет... Полковник Ярошук... Ходил пешком по зоне и определял границы максимальных точек заражения, то есть человека в полном смысле ис-

пользовали как биоробота. И он это понимал, но он шел, начиная от самой атомной станции и по расходящемуся радиусу, по секторам. Пешком. С дозиметрическими приборами в руках. Нашупал «пятно» и движется вдоль границы этого «пятна», чтобы точно нанести на карту...

А солдаты, которые работали на самой крыше реактора? Всего на ликвидацию последствий аварии было брошено двести десять воинских частей, около трехсот сорока тысяч военнослужащих. Самое пекло досталось тем, кто чистил крышу... Им выдавали свинцовые фартуки, но фон шел снизу, а там человек был неприкрыт. Они – в обыкновенных кирзовых сапогах... В день по полторы-две минуты на крыше... А потом их увольняли из армии, давали грамоту и премию – сто рублей. И они исчезали на бескрайних просторах нашей родины. На крыше гребли топливо и реакторный графит, осколки бетона и арматуры... Двадцать–тридцать секунд, чтобы нагрузить носилки, и столько же, чтобы сбросить «мусор» с крыши. Одни эти специальные носилки весили сорок килограммов. Так что представьте себе: свинцовый фартук, маски, эти носилки и бешеную скорость... В музее в Киеве лежит муляж графита, величиной с фуражку, говорят, будь он настоящим, весил бы шестнадцать килограммов, такой он плотный, тяжелый. Радиоуправляемые манипуляторы часто отказывались выполнять команды или делали совершенно не то, так как их электронные схемы в высоких полях разрушались. Самыми надежными «роботами» были солдаты. Их окрестили «зелеными роботами» (по цвету военной формы). Через крышу разрушенного реактора прошло три тысячи шестьсот солдат. Спали на земле, они все рассказывают, как первое время в палатках бросали на землю солому. Брали ее тут же, со скирд возле реактора.

Молодые ребята... Они сейчас тоже умирают, но они понимают, что если бы они не сделали этого...

Был момент, когда существовала опасность термоядерного взрыва, и потребовалось спустить из-под реактора тяжелую воду, чтобы он не рухнул туда, а тяжелая вода – это прямой компонент ядерного топлива. Представляете?! Поставили задачу: кто нырнет в эту тяжелую воду и откроет там задвижку спускного клапана? Обещали машину, квартиру, дачу и содержание родных до конца дней. Искали



добровольцев. И они нашлись! Ребята ныряли, много раз ныряли и открыли эту задвижку, и им дали на команду семь тысяч рублей. А обещанных машинах и квартирах забыли. Да не из-за них они ныряли! Не из-за материального, меньше всего из-за материального. *(Разволновался.)*

Этих людей уже нет... Только документы в нашем музее... Фамилии... Но если бы они не сделали этого? Наша готовность к самопожертвованию... Нам нет равных...

Я тут спорил с одним... Он мне доказывал, что это связано с тем, что у нас очень низкая цена на жизнь. Азиатский такой фатализм. Человек, который жертвует собой, не ощущает себя как уникальную, неповторимую личность, которой больше никогда не будет. Тоска по роли. Раньше он был человеком без текста, статистом. Не было у него сюжета, он служил фоном. А тут вдруг стал главным действующим лицом. Тоска по смыслу. Что такое наша пропаганда? Наша идеология? Вам предлагают умереть, но обрести смысл. Возвышают. Дают роль! Большая ценность смерти, потому что за смертью вечность. Он доказывал мне. Но я не согласен! Категорически! Да, мы воспитаны быть солдатами. Так нас учили. Всегда мобилизованы, всегда готовы на что-нибудь невозможное. Мой отец, когда я после школы хотел пойти в гражданский вуз, был потрясен: «Я – кадровый военный, а ты будешь носить пиджак? Отечество надо защищать!» Несколько месяцев со мной не разговаривал, пока я не подал документы в военное училище. Отец – участник войны, он уже умер. Ну, практически никакого материального состояния не имел, как и все его поколение. После него ничего не осталось: дома, машины, земли... Что я имею? Полевую офицерскую сумку, он ее получил перед финской кампанией, а в ней его боевые ордена. Еще в полиэтиленовом пакете у меня лежат триста писем отца с фронта, начиная с сорок первого года, мать их сохранила. Все, что осталось после отца... Но я считаю, что это бесценный капитал!

Теперь вы понимаете, каким я вижу наш музей? Вон там в баночке земля чернобыльская... Горстка... Вон шахтерская каска... Тоже от туда... Крестьянская утварь из зоны... Сюда нельзя дозиметристов пускать. Фонит! Но тут все должно быть всамделишным! Без муляжей! Нам должны поверить. А поверят только настоящему, потому что

слишком много лжи вокруг Чернобыля. Было и есть. Обросли фондами, коммерческими структурами...

Раз вы пишете такую книгу, должны посмотреть наш уникальный видеоматериал. По крохам собираем. Чернобыльской хроники, считайте, нет! Ее не дали снять, все засекретили. Если кому-то что-то удавалось запечатлеть, то соответствующие органы тут же забирали этот материал и возвращали размагниченные ленты. У нас нет хроники, как эвакуировали людей, вывозили скот... Трагедию снимать запрещалось, снимали – героизм! Чернобыльские альбомы все-таки сейчас изданы, но сколько раз кино-и телеоператорам разбивали камеры. Таскали по инстанциям... Чтобы честно рассказать о Чернобыле, нужно было мужество, оно и сейчас требуется. Поверьте мне! Но вы должны увидеть... Эти кадры... Черные, как графит, лица первых пожарников. А их глаза? Это уже глаза людей, которые знают, что уходят от нас. На одном фрагменте – ноги женщины, которая утром после катастрофы шла обрабатывать огородак возле атомной станции. Шла по траве, на которой лежала роса... Ноги напоминают решето, все в дырочках до самых колен... Это надо увидеть, раз вы пишете такую книгу...

Я прихожу домой и не могу взять на руки своего маленького сына. Мне надо выпить пятьдесят–сто граммов водки, чтобы взять на руки ребенка...

Целый отдел в музее – вертолетчики... Полковник Водолажский... Герой России, похороненный на белорусской земле, в деревне Жуков Луг. Когда он получил запредельную дозу, должен был уйти, немедленно эвакуироваться, но остался и обучил еще тридцать три экипажа. Сам сделал сто двадцать вылетов, сбросил двести–триста тонн груза. Четыре-пять вылетов в течение суток, при высоте триста метров над реактором, температура в кабине – до шестидесяти градусов. Вообразите, что творилось внизу, когда мешки с песком сбрасывались... Активность достигала тысячи восьмьсот рентген в час. Пилотам становилось плохо в воздухе. Чтобы метнуть прицельно, попасть в цель – в огненное жерло, – они высовывали головы из кабины и примеривались глазом. Иного способа не было... На заседаниях правительственной комиссии... Просто, буднично докладывалось: «На это надо положить две-три жизни. А на это – одну жизнь». Просто и буднично...

Полковник Водолажский умер. В карточке учета доз, набранных над реактором, врачи ему записали... семь бэр. На самом деле их было шестьсот!

А четыреста шахтеров, которые день и ночь долбили тоннель под реактором? Нужно было прорыть тоннель, чтобы залить туда жидкий азот и заморозить земельную подушку, так это обозначается на инженерном языке. Иначе бы реактор ушел в грунтовые воды... Шахтеры Москвы, Киева, Днепропетровска... Я нигде о них не читал. А они голые, при температуре за пятьдесят градусов катили перед собой вагонетки на четвереньках. Там было сотни рентген...

Сейчас они умирают... Но если бы они не сделали этого? Я считаю, что они – герои, а не жертвы войны, которой вроде бы и не было. Называют ее аварией, катастрофой. А была война... Чернобыльские памятники похожи на военные.

Есть вещи, которые у нас не принято обсуждать, славянская стыдливость. Вы же должны знать... Такую книгу пишете... У тех, кто работал на реакторе или в непосредственной близости к нему, как правило, поражается... сходный симптом у ракетчиков, это знакомые дела... как правило, поражается мочеполовая система. Но об этом у нас вслух не говорят... Не принято... Я однажды сопровождал английского журналиста, он подготовил очень интересные вопросы. Как раз на эту тему, его интересовала человеческая сторона проблемы. Что после всего с человеком – дома, в быту, в интимном? Только ни одного откровенного разговора не получилось. Попросил он собрать, к примеру, вертолетчиков... Поговорить в мужской компании... Они приехали, некоторые уже пенсионеры в тридцать пять–сорок лет, одного привезли со сломанной ногой, у него старушечий перелом, то есть под воздействием радиации кости размягчаются. Его привезли... Англичанин задает им вопросы: как вы теперь в семье, со своими молодыми женами? Вертолетчики молчат, они пришли рассказывать, как совершали по пять вылетов в сутки. А тут... О женах? О таком... Давай он их по одному выгаскивать... Отвечают дружно: здоровье нормальное, государство ценит, а в семье любовь... Ни один... Ни один из них не открылся... Они ушли, а я чувствую, он подавленный: «Теперь ты понимаешь, – говорит, – почему вам никто не верит? Вы обманываете самих себя». А встреча эта происходила в кафе, обслуживали две хорошенькие официантки, они уже все убирают со столов, и он у них спрашивает: «А вы можете

мне ответить на несколько вопросов?» И эти две девчонки ему все выложили. Он: «Вы хотите выйти замуж?» – «Да, но только не здесь. Каждая из нас мечтает выйти замуж за иностранца, чтобы родить здорового ребенка». Тогда посмелее: «Ну, а у вас есть партнеры? Как они? Они вас удовлетворяют? Вы сами понимаете, что я имею в виду?» – «Вот тут сидели с вами ребята, – смеются, – вертолетчики. Под два метра. Бряцали медалями. Они для президиумов хороши, но не для постели». Сфотографировал он этих девчонок, а мне повторил ту же фразу: «Теперь ты понимаешь, почему вам никто не верит? Вы обманываете самих себя».

Поехали мы с ним в зону. Известна статистика: вокруг Чернобыля – восемьсот могильников. Он ждал каких-то фантастических инженерных сооружений, а это – обычные ямы. Лежит в них «рыжий лес», вырубленный вокруг реактора на ста пятидесяти гектарах (в первые два дня после аварии сосны и елки стали красными, а затем рыжими). Лежат тысячи тонн металла и стали, мелкие трубы, спецодежда, бетонные конструкции... Он показал мне снимок из английского журнала. Панорамный. Сверху... Тысячи единиц автотракторной и авиационной техники... Пожарные машины и машины «Скорой помощи»... Самый крупный могильник возле реактора. Он хотел его снять – уже сейчас, – спустя десять лет. Ему обещали за этот снимок большие деньги. И вот мы кружим с ним, кружим, и один начальник нас отсылает к другому – то карты нет, то разрешения. Мотались, пока до меня не дошло: нет этого могильника, он уже не существует в реальности, а только в отчетах, давно растащили по рынкам, на запчасти по колхозам и своим дворам. Разговорали, вывезли. Англичанин это понять не мог. Не поверил! Когда я сказал ему всю правду, он не поверил! И я теперь, читая даже самую смелую статью, не верю, всегда в подсознании крутится мысль: «А вдруг это тоже ложь? Или какие-то побасенки». Помянуть трагедию стало общим местом... Расхожим штампом! Страшилкой! *(Заканчивает с отчаянием. Молчит.)*

Ташу все в музей... Стаскиваю... Но, бывает, думаю: «Бросить! Убедать!» Ну, как выдержать?!

Был у меня разговор с молодым священником...

Мы стояли у свежей могилы старшины Саши Гончарова... Из тех, кто был на крыше реактора... Снег. Ветер. Погода лютая. Священник

служит панихиду. Читает молитву. С непокрытой головой. «Вы будто и не ощущали холода?» – спросил я после. «Нет, – ответил он, – в такие минуты я всеислен. Ни один церковный обряд не дает мне такую энергию, как панихида». Я это запомнил – слова человека, который всегда возле смерти. Не раз спрашивал у иностранных журналистов, которые приезжают к нам, многие уже по нескольку раз, почему они едут, просят в зону? Глупо было бы думать, что из-за одних только денег или карьеры. «Нам нравится у вас, – признавались, – получаем здесь мощный энергетический заряд». Неожиданный ответ, правда? Для них, наверное, наш человек, его чувства, его мир, – неизведанное, гипнотизирующее... Но я не уяснил, что им больше нравится: мы – сами? Или то, что о нас можно написать? Через нас – понять?

Что же мы все вертимся вокруг смерти?

Чернобыль... У нас другого мира уже не будет... Сначала, когда вырвали почву из-под ног, выплескивали эту боль откровенно, а сейчас пришло сознание, что другого мира нет и податься некуда. Ощущение трагической оседлости на этой чернобыльской земле, совсем иное мироощущение. С войны возвращается «потерянное» поколение... Вспомним Ремарка? А с Чернобылем живет «растерянное» поколение... Мы растерялись... Неизменным осталось только человеческое страдание... Наш единственный капитал. Бесценный!

...Я прихожу домой... После всего... Жена слушает меня... А потом тихо говорит: «Я люблю тебя, но сына тебе не отдам. Никому его не отдам. Ни Чернобылю, ни Чечне... Никому!» В ней уже поселился этот страх...»

*Сергей Васильевич Соболев, заместитель  
председателя правления Республиканской  
ассоциации «Щит Чернобылю»*

## **НАРОДНЫЙ ХОР**

*Клавдия Григорьевна Барсук, жена ликвидатора, Тамара Васильевна Белоокая, врач, Екатерина Федоровна Боброва, переселенка из города Припяти, Андрей Буртыс, журналист, Иван Наумович Вер-*

*гейчик, педиатр, Елена Ильинична Воронько, жительница городского поселка Брагин, Светлана Говор, жена ликвидатора, Наталья Максимовна Гончаренко, переселенка, Тамара Ильинична Дубиковская, жительница городского поселка Наровля, Альберт Николаевич Зарицкий, врач, Александра Ивановна Кравцова, врач, Элеонора Ивановна Ладутенко, радиолог, Ирина Юрьевна Лукашевич, акушерка, Антонина Максимовна Ларивончик, переселенка, Анатолий Иванович Полищук, гидрометеоролог, Мария Яковлевна Савельева, мать, Нина Ханцевич, жена ликвидатора.*

«Давно не вижу счастливых беременных женщин... Счастливых мам...

Вот она только родила. Пришла в себя... Зовет: «Доктор, покажите мне! Принесите!» Трогает головку, лобик, тельце. Пальчики считает... На ногах, на ручках... Хочет удостовериться: «Доктор, у меня нормальный ребенок родился? Все хорошо?» Принесут его кормить. Боятся: «Я недалеко от Чернобыля живу... Я туда к маме ездила... Я под тот черный дождь попала...»

Сны рассказывают: то теленочка родила с восемью ножками, то щенка с головой ежика... Такие странные сны. Раньше таких снов у женщин не было. Я не слышала. У меня тридцать лет акушерского стажа...»

«Я преподаю в школе русский язык и литературу. Это, кажется, было в начале июня, шли экзамены. Вдруг директор школы собирает нас и объявляет: «Завтра всем прийти с лопатами». Выяснилось: мы должны снять верхний зараженный слой земли вокруг школьных зданий, а потом приедут солдаты и заасфальтируют. Вопрос: «Какие выдадут защитные средства? Привезут ли специальные костюмы, респираторы?» Ответили, что нет. «Возьмите лопаты и будете копать». Только двое молодых учителей отказались, остальные пошли и копали. Подавленность и в то же время чувство исполненного долга, живет это в нас: быть там, где трудно, опасно, защищать родину. Разве я чему-то другому учила своих учеников, только этому: пойти, броситься в огонь, защищать, жертвовать. Литература, которую я преподавала, она не о жизни, она о войне. Шолохов, Серафимович, Фурманов, Фадеев, Борис Полевой... Только двое моло-

дых учителей отказались. Но они из нового поколения... Это уже другие люди...

Рыли землю с утра до вечера. Когда возвращались домой, казалось странным, что работают городские магазины, женщины покупают чулки, духи. В нас уже жили военные ощущения. И было куда понятнее, когда вдруг стали очереди за хлебом, солью, спичками... Все кинулись сушить сухари... Это поведение показалось мне знакомым, хотя я родилась после войны. Пыталась анализировать свои чувства и поразилась тому, насколько быстро перестроилась моя психика, каким-то непостижимым образом мне оказался знаком военный опыт. Могла себе представить, как брону дом, как мы с детьми уедем, какие вещи возьмем, что напишу маме. Хотя вокруг текла еще обычная мирная жизнь, по телевизору показывали кинокомедии. Но мы всегда жили в ужасе, мы умеем жить в ужасе, это – наша среда обитания. Тут нашему народу нет равных...»

«Солдаты заходили в деревни и эвакуировали людей. Деревенские улицы были забиты военной техникой: бронетранспортеры, грузовые машины под зеленым брезентом, даже танки. Люди покидали свои дома в присутствии солдат, действовало это угнетающе, особенно на тех, кто пережил войну.

Все время сравниваем с войной. Но это больше... Войну можно понять... А тут?»

«Я никуда будто и не уезжала... Я каждый день хожу по своим воспоминаниям. По тем же улицам, мимо тех же домов. Такой тихий городок был..

Воскресенье... Лежу, загораю. Бежит мама: «Деточка, Чернобыль взорвался, люди по домам прячутся, а ты под этим солнцем». Я посмеялась – до Чернобыля от Наровли сорок километров.

Вечером возле нашего дома остановились «Жигули», заходит моя знакомая с мужем: она – в домашнем халате, он – в спортивном трико и в каких-то старых тапочках. Через лес, проселочными дорогами они удирали из Припяти... На дорогах дежурила милиция, военные посты, никого не выпускали. Первое, что она мне закричала: «Нужно срочно искать молоко и водку! Срочно!» Кричала и кричала: «Только новую мебель купила, новый холодильник. Я се-

бе шубу сшила. Все оставила, обвязала целлофаном... Ночь не спали... Что будет? Что будет?» Муж ее успокаивал. Днями сидели у телевизора и ждали, когда Горбачев выступит. Власти молчали... Только когда отгремели праздники Горбачев сказал: не волнуйтесь, товарищи, ситуация на контроле... Ничего страшного... Люди там живут, работают...»

«Весь скот из выселенных деревень гнали к нам в райцентр на приемные пункты. Обезумевшие коровы, овечки, поросята бегали по улицам... Кто хотел, тот ловил. С мясокомбината машины с тушами шли на станцию Калиновичи, оттуда грузили на Москву. Москва не принимала. И эти вагоны, уже могильники, возвращались назад к нам. Целые эшелоны. Тут их хоронили. Запах гнилого мяса преследовал по ночам... «Неужели так пахнет атомная война?» – думала я. Война, которую помнила, пахла дымом...»

В первые дни наших детей вывозили ночью, чтобы меньше людей видело. Прятали беду, скрывали. А народ все равно узнавал. Выносили на дорогу к нашим автобусам бидончики с молоком, пекли булочки. Как в войну... С чем еще сравнить?

«Совещание в облисполкоме. Военная обстановка. Все ждут выступления начальника гражданской обороны, потому что если кто-то что-то и вспомнил о радиации, то только какие-то обрывки из учебника физики за десятый класс. Он выходит на трибуну и начинает рассказывать то, что написано в книгах и учебниках об атомной войне: получив пятьдесят рентген, солдат должен выйти из боя, как строить укрытия, как пользоваться противогазом, о радиусе взрыва...»

В зараженную зону вылетели на вертолете. Экипировка по инструкции: нижнего белья нет, комбинезон из хэбэ, как у повара, на нем защитная пленка, рукавицы, марлевая повязка. Обвешаны все приборами. Спускаемся с неба возле деревни, а там ребятишки купаются в песке, как воробьи... Во рту камушек, веточка... Без штанов... С голыми попами... А у нас приказ: с народом не общаться, панику не поднимать...»

И вот теперь живу с этим...»



«По телевизору вдруг замелькали передачи... Один из сюжетов: бабка подоила молоко, налила в банку, репортер подходит с военным дозиметром, водит по банке... Идет комментарий, что, мол, видите, совершенная норма, а до реактора десять километров. Показывают реку Припять...купаются, загорают... Вдалеке виден реактор и клубы дыма над ним... Комментарий: западные голоса, дескать, сеют панику, распространяют заведомую клевету об аварии. И снова с этим дозиметром – то к тарелке ухи его прикладывают, то к шоколадке, то к пончикам у открытого киоска. Это был обман. Военные дозиметры, которые находились в то время на вооружении нашей армии, не рассчитаны на проверку продуктов, они только измеряют фон...

Такое количество лжи, невероятное, с которым связан в нашем сознании Чернобыль, было разве только в войну...»

«Мы ждали первенца. Муж хотел мальчика, а я – девочку. Врачи уговаривали меня: «Надо решиться на аборт. Ваш муж был в Чернобыле». Он – шофер, и его в первые дни туда призвали. Возил песок. Я никому не верила.

Ребенок родился мертвый. И без двух пальчиков. Девочка. Я плакала: «Ну, пусть бы у нее хотя бы пальчики были. Она же – девочка».

«Никто не понимал, что произошло. Позвонила в военкомат, мы, медики, все военнообязанные, предложила свою помощь. Не помню фамилию, но звание было майор, ответил мне: «Нам нужны молодые». Я попробовала убеждать: «Молодые врачи, во-первых, не готовы, а во-вторых, они подвергаются большей опасности, молодой организм чувствительнее к воздействию радиации». Отвечает: «У нас приказ – брать молодых».

У больных стали плохо заживать раны. Помню тот первый радиоактивный дождь. «Черный дождь» станут его потом называть... С одной стороны, сознание ни к чему подобному не готово, а с другой – мы ведь самые лучшие, самые необыкновенные, у нас самая великая страна. Мой муж, человек с высшим образованием, инженер, он серьезно меня уверял, что это террористический акт. Вражеская диверсия. Так думали тогда многие. А я вспоминала, как ехала в поезде с одним хозяйственником, и он мне рассказывал о строительстве

Смоленской атомной станции: сколько цемента, досок, гвоздей, песка уплывало с объекта в близлежащие деревни. За деньги, за бутылку водки...

В деревнях, на заводах выступали работники райкомов партии, ездили, общались с народом. Но ни один из них не способен был ответить на вопросы, что такое дезактивация, как защитить детей, какие коэффициенты перехода радионуклидов в пищевые цепочки. Об альфа-, бета- и гамма-частицах, о радиобиологии, ионизирующих излучениях, не говоря об изотопах. Для них это были вещи из иного мира. Они читали лекции о героизме советских людей, символах военного мужества, происках западных спецслужб... Когда я, было, заикнулась об этом на партсобрании, засомневалась, мне сказали, что заберут партбилет...»

«Много было необъяснимых смертей. Неожиданных... У моей сестры болело сердце... Когда она услышала о Чернобыле, почувствовала: «Вы это переживете, а я – нет». Она умерла через несколько месяцев... Врачи ничего не смогли объяснить. С ее диагнозом еще долго можно было жить...»

«Я боюсь жить на этой земле. Дали мне дозиметр, а зачем он мне? Постираю белье, оно у меня белосенское – дозиметр звенит. Приготовлю еду, спеку пирог – звенит. Постелю постель – звенит. Зачем он мне? Я кормлю детей – и плачу. «Чего ты, мамка, плачешь?»

Двое детей, двое мальчиков. Не в ясельках, не в садике они – все время по больницам. Старшенький: то ли девочка, то ли мальчик. Лысенский. Я – и к врачам с ним, и к бабкам. Шептухам, знахаркам. Самый маленький в классе. Ему нельзя бегать, играть, если кто нечаянно ударит, потечет кровь, он может умереть. Болезнь крови, я ее даже не выговорю. Лежу с ним в больнице и думаю: «Умрет». Потом поняла, что так думать нельзя. Плакала в туалете. Все мамы в палатах не плачут. В туалетах, в ванной. Вернусь веселая:

- У тебя уже щечки порозовели. Выздоровливаешь.
- Мамочка, заведи меня из больницы. Я тут умру. Тут все умирают. Где мне плакать? В туалете? А там очередь... Там все такие, как я...»

«На радуницу... В день поминовения... Нас пустили на кладбище. На могилки, а заходить в свои дворы, милиция приказывала, нельзя. Так мы хоть издали поглядели на наши хаты... Перекрестили их...»

«Расскажу вам, что такое наш человек. Один пример. В «грязных» районах... В первые годы магазины завалили гречкой, китайской тушенкой, и люди радовались, похвалялись, что, мол, нас теперь откуда не выгонишь. Нам тут хорошо! Загрязнялась почва неравномерно, в одном колхозе и «чистые», и «грязные» поля. Тем, кто работает на «грязных», платят больше, и все просят туда... На «чистые» ехать отказываются...»

Недавно был у меня в гостях брат с Дальнего Востока. «Вы, – говорит, – тут как «черные ящики»... Люди-ящики...» «Черные ящики» есть на каждом самолете, в них записывается вся информация о полете... Мы думаем, что мы живем, разговариваем, ходим, едим... Любим... А мы записываем информацию!..»

«Я – детский врач. У детей все иначе, чем у взрослых. У них, например, нет понятия, что рак – это смерть. Этот образ у них не возникает. Они все о себе знают: диагноз, название всех процедур, лекарств. Знают больше, чем их мамы. Мне кажется, что, когда они умирают, у них такие удивленные лица... Лежат с такими удивленными лицами...»

«Врачи меня предупредили, что мой муж умрет. У него лейкоз. Рак крови.

Он заболел, когда вернулся из чернобыльской зоны. Через два месяца. Его с завода туда послали. Пришел с ночной смены:

– Утром уезжаю.

– Что ты там будешь делать?

– Работать в колхозе.

Сгребали сено в пятнадцатикилометровой зоне, убирали свеклу, копали картошку.

Вернулся. Поехали к его родителям. Помогал отцу штукатурить печь. И там упал. Вызвали «скорую», отвезли в больницу – смертельная доза лейкоцитов. Отправили в Москву.

Приехал оттуда с одной мыслью: «Я умру». Стал больше молчать. Убеждала. Просила. Словам моим не верит. Тогда я родила ему дочь, чтобы поверил. Я сны свои тогда не разгадывала. То меня ведут на

эшафот, то я вся в белом... Проснусь утром, посмотрю на него: как же я останусь одна? Нельзя много думать о смерти... Гоню эти мысли... Если бы я знала, что он заболел, закрыла бы все двери, стала бы на пороге. Заперла бы на десять замков...»

«Уже два года скитаемся мы с моим мальчиком по больницам. Ни читать, ни слушать о Чернобыле не хочу. Я все видела...

Маленькие девочки в больничных палатах играют в «куклы». Куклы у них закрывают глаза, куклы умирают.

– Почему куклы умирают?

– Потому что это наши дети, а наши дети жить не будут. Они родятся и умрут.

Моему Артемке семь лет, а на вид ему дают пять.

Закроет глаза, и я думаю, что уснул. Заплачу: он же не видит.

А он – отзывается:

– Мама, я уже умираю?

Заснет, и почти не дышит. Я стану перед ним на колени... Перед кроватью...

– Артемка, открой глаза... Скажи что-нибудь...

«Ты еще тепленький...» – думаю про себя.

Откроет глаза. Опять заснет. И так тихо. Как умер.

– Артемка, открой глазки...

Я не даю ему умереть...»

«Недавно праздновали мы Новый год. Накрыли хороший стол. Все свое: копчености, сало, мясо, огурчики маринованные, только хлеб из магазина. Даже водка своя, самодельная. Свое, как у нас смеются, чернобыльское. С цезием, стронцием вприкуску. А где что взять? Магазины в деревнях с пустыми прилавками, а если что и появится, то с нашими зарплатами и пенсиями не подступишься.

Пришли к нам гости. Наши хорошие соседи. Молодые. Один учитель, второй – колхозный механик с женой. Выпили. Закусили. И начались песни. Не сговариваясь, запели революционные песни. Песни о войне. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», – мою любимую. И получился хороший вечер. Такой, как раньше.

Написала про это сыну. Он у нас учится в столице. Студент. Полу-

чаю ответ: «Мама, я представил себе эту картину... Безумную... Чернобыльская земля... Наша хата... Блестит новогодняя елка... А люди за столом поют революционные и военные песни... Как будто нет у них позади ни ГУЛАГа, ни Чернобыля...»

Мне стало страшно не за себя. За сына. Ему некуда вернуться...»

### ВОСХИЩЕНИЕ ПЕЧАЛЬЮ

#### **Монолог о том, чего мы не знали: смерть может быть такой красивой**

«В первые дни главным был вопрос: кто виноват? Потом, когда мы больше узнали, стали думать: что делать? Как спастись? Теперь, смирившись с мыслью, что это не на год и не на два, а на много поколений, стали в мыслях возвращаться назад, переворачивать страничку за страничкой...

Это случилось в ночь с пятницы на субботу... Утром никто ничего не подозревал. Отправила в школу сына, муж ушел в парикмахерскую. Готовлю обед. Муж скоро вернулся... Со словами: «На атомной какой-то пожар. Приказ: не выключать радио». Я забыла сказать, что мы жили в Припяти, рядом с реактором. До сих пор перед глазами – яркомалиновое зарево, реактор как-то изнутри светился. Это был не обыкновенный пожар, а какое-то свечение. Красиво. Ничего подоб-

ного я в кино не видела. Вечером люди высыпали на балконы, у кого не было, – шли к друзьям, знакомым. У нас девятый этаж, прекрасная видимость. Выносили детей, поднимали на руках: «Посмотри! Запомни!» И это люди, которые на реакторе работали... Инженеры, рабочие... Учителя физики... Стояли в черной пыли... Разговаривали... Дышали... Любовались... Некоторые за десятки километров приезжали на машинах, велосипедах, чтобы посмотреть. Мы не знали, что смерть может быть такой красивой. Но я бы не сказала, что у нее отсутствовал запах. Не весенний и не осенний запах, а что-то совсем другое, и не запах земли... Першило в горле, в глазах – слезы сами по себе. Я не спала всю ночь и слышала, как топали наверху соседи, тоже без сна. Что-то они там перетаскивали, стучали, может быть, вещи паковали. Глушила головную боль цитрамоном. Утром, когда рассвело, огляделась вокруг, это я не сейчас придумала, не потом, а тогда почувствовала: что-то не так, что-то поменялось. Насовсем. В восемь часов утра по улицам уже ходили военные в противогазах. Когда мы увидели на улицах города солдат и военную технику, мы не испугались, а, наоборот, успокоились. Раз армия пришла на помощь, все будет нормально. В наше сознание еще не укладывалось, что мирный атом может убивать... Что человек бессилён перед законами физики...

По радио весь день объявляли, чтобы готовились к эвакуации: увезут на три дня, помогут, проверят. Детям сказали обязательно взять с собой учебники. Муж все-таки положил в портфель документы и наши свадебные фотографии. А я единственное, что прихватила, это газовый платочек на случай плохой погоды...

С первых дней почувствовали, что мы – чернобыльцы, теперь уже отдельный народ. Автобус, в котором нас везли, остановился на ночь в какой-то деревне. Люди спали на полу в школе, в клубе. Негде приткнуться. И одна женщина пригласила нас к себе: «Идемте, я постелю на кровати. Жалко вашего мальчика». А другая, которая стояла рядом, оттащивала ее от нас: «Ты с ума сошла! Они – заразные». Когда мы уже переселились в Могилев, и сын пошел в школу, в первый же день он влетел в дом с плачем... Его посадили вместе с девочкой, а та не хочет, потому что он радиационный, будто бы если с ним сидеть, то можно умереть. Сын учился в четвертом классе, и так получилось, что он один, чернобыльский, был в этом классе. Они все его боялись, называли «светлячком»... Я испугалась, что у него так быстро кончилось детство...

Мы уезжали из Припяти, а навстречу нам шли военные колонны... Бронетехника... Тут стало страшно. Но меня не покидало странное ощущение, что все это происходит не со мной, с другими. Сама плакала, искала еду, ночлег, обнимала, успокаивала сына, а внутри – даже не мысль, постоянное ощущение: я – зритель. Только в Киеве нам выдали первые деньги, а купить на них ничего нельзя: сотни тысяч людей подняли с места, все скупилено, съедено. У многих – инфаркты, инсульты, прямо там – на вокзалах, в автобусах. Меня спасла моя мама. За свою долгую жизнь она не раз лишалась дома, нажитого имущества. Первый раз ее репрессировали в тридцатые годы, забрали все: корову, лошадь, хату. Второй раз – пожар, только меня из огня выхватила: «Надо пережить, – утешала она. – Мы ведь живы».

Вспомнила... Сидим в автобусе. Плачем. Мужчина на первом сиденье громко ругает жену: «Какая же ты дура! Все хоть какие-то вещи взяли, а мы с тобой трехлитровыми банками загрузились». Жена его решила, что раз на автобусе, то по дороге передаст своей матери пустые банки для маринадов. Возле них лежали огромные пузатые сетки, мы всю дорогу о них спотыкались. Так они с этими банками и приехали в Киев.

...Я пою в церковном хоре. Евангелие читаю. Хожу в церковь, потому что только там говорят о вечной жизни. Утешают человека. Больше нигде этих слов не услышишь, а так хочется услышать.

Мне часто снится сон, как мы идем с сыном по солнечной Припяти. Сейчас – это уже город-призрак. Идем и разглядываем розы, в Припяти было много роз, большие клумбы с розами... Я была такая молодая. Сын маленький... Любила...

А весь страх забыла... Будто была только зритель...»

*Надежда Петровна Выговская,  
переселенка из города Припяти*

## Монолог о том, как легко стать землей

«Я старался запомнить те дни... Было много новых ощущений... Страх... Вырвался в неизведанное, как на Марс... Я родом из Курска, в шестьдесят девятом году у нас построили атомную станцию. В горо-



де Курчатове. Из Курска туда ездили за продуктами. За колбасой. Атомщиков обеспечивали по высшей категории. Я запомнил большой пруд, в нем удили рыбу. Недалеко от реактора. После Чернобыля я это часто вспоминал...

Значит, так: мне вручают повестку, и я, как человек дисциплинированный, в тот же день являюсь в военкомат. Военком листает мое «дело»: «Ты, – говорит, – ни разу у нас на сборах не был. А тут химик нужны. Не хочешь в лагерь под Минск на двадцать пять дней?» Я подумал: «Почему бы мне не отдохнуть от семьи, от работы? Помарширую по свежему воздуху». Двадцать второго июня тысяча девятьсот восемьдесят шестого года с вещами, котелком и зубной щеткой в одиннадцать часов я прибыл на сборный пункт. Удивило, что нас слишком много для мирного времени. Мелькнули какие-то воспоминания. Из военных фильмов. И день-то какой выпал: двадцать второе июня... Начало войны... То объявят строиться, то разойтись, и так до вечера. В автобусы погрузились, когда темнеть начало. Команда: «Кто спиртное взял, выпивайте. Ночью сядем в поезд, а утром будем в части. Чтобы вышли свежие, как огурчики, и без лишнего багажа». Помятое дело. Гудели всю ночь.

Утром нашли в лесу свою часть. Снова построили и вызывают по алфавиту. Получение спецодежды. Дали один комплект, второй, третий, ну, думаю, серьезные дела. Еще выдают шинель, шапку, матрац, подушку, – все зимнее. А на улице – лето, и обещали, что отпустят через двадцать пять дней. «Да вы что, ребята, – смеется капитан, который нас вез. – Двадцать пять дней?! На полгода в Чернобыль прогремите». Недоумение. Агрессия. Тут нас давай уговаривать: кто за двадцать километров попадет – двойной оклад, кто за десять – тройной, кто к самому реактору – множь на шесть. Один начинает считать, что он за шесть месяцев на своей машине домой приедет, другой хотел бы убежать, но военная дисциплина. Что такое радиация? Никто не слышал. А я как раз перед этим прошел курсы по гражданской обороне, нам выдавали информацию тридцатилетней давности: пятьдесят рентген – смертельная доза. Учили, как падать, чтобы ударная волна над тобой прошла, не задела. Облучение, тепловой нагрев... А о том, что радиоактивное заражение местности – самый поражающий фактор, – ни слова. И те кадровые офицеры, которые везли нас в Чернобыль, не больно соображали, одно знали: водки надо

побольше, от радиации помогает. Шесть дней стояли под Минском, шесть дней пили. Я коллекционировал этикетки спиртных бутылок. Сначала водку пили, потом, смотрю, пошли какие-то странные напитки: нитхинол и разные другие стеклоочистители. Как химику, мне это было интересно. После нитхинола – ноги ватные, а голова трезвая, даешь себе команду «Встать!». А сам падаешь.

Значит, так: я – инженер-химик, кандидат наук, призвали меня с должности заведующего лабораторией крупного производственного объединения. Как меня использовали? Дали в руки лопату, практически это был мой единственный инструмент. Тут же родился афоризм: на атом – с лопатой. Защитные средства: респираторы, противогазы, но никто ими не пользовался, потому что жара до тридцати градусов, напялишь – умрешь сразу. Расписались, как за дополнительную амуницию, и забыли. Еще один штрих... Из автобусов пересели в поезд, посадочных мест в вагоне – сорок пять, а нас – семьдесят. Спали по очереди. Что-то вдруг вспомнилось... Что такое – Чернобыль? Боевая техника и солдаты. Моечные посты. Военная обстановка. Разместили в палатках, по десять человек. У кого-то остались дома дети, у кого-то жена рожает, у кого-то нет квартиры. Никто не ныл. Надо, значит, надо. Родина призвала, родина велела. Такой у нас народ.

Вокруг палаток гигантские горы пустых консервных банок. Монбланы. Где-то хранившийся на военных складах неприкосновенный запас. На случай войны. Банки из-под тушенки, перловой каши... Из-под кильки... Стаи кошек... Их, как мух... Деревни выселены... От ветра калитка скрипнет, мгновенно оборачиваешься: ждешь человека. Вместо человека – кошка выходит...

Снимали зараженный верхний слой земли, грузили в автомашины и вывозили в могильники. Я считал, что могильник – какое-то сложное инженерное сооружение, а это обычный курган. Землю мы поднимали и сворачивали большими рулонами... Как ковер... Зеленый дерн с травой, цветами, корнями... С жучками... Пауками, червяками... Работа для сумасшедших. Нельзя же ободрать всю землю, снять с нее все живое. Если бы не пили по-черному, каждую ночь, сомневаюсь, что можно выдержать. Психика не устояла бы. Сотни километров ободранной земли, бесплодной. Дома, сараи, деревья, шоссе, детские садики, колодцы, – оставались, как голые... Утром надо побриться, боишься заглянуть в зеркало, увидеть свое

лицо. Потому что мысли появлялись всякие... Трудно представить, чтобы туда вернулись жить люди... Но мы меняли шифер, мыли крыши. То, что делаем бесполезную работу, понимали все. Тысячи людей. Но каждое утро вставали и снова ее делали. Неграмотный дед встретит: «Кидайте, сынки, дурную работу. Садитесь за стол. Пообедайте с нами». Ветер дует. Тучи плывут. Реактор не закрыт... Сняли слой, через неделю вернулись, можно наново начинать. А снимать уже нечего. Песок сыплется... Смысл понял один раз, когда с вертолетов разбрызгивали специальный раствор, чтобы получилась полимерная пленочка, не позволяющая легкоподвижному грунту перемещаться. Это мне было понятно. Но мы копали, копали...

Деревни выселены, но в некоторых оставались старики... Зайти в обычную хату и сесть пообедать... Сам ритуал... Полчаса нормальной человеческой жизни... Хотя есть там ничего нельзя. Запрещалось. Но так хотелось посидеть за столом... В старой хате...

После нас оставались только курганы. Потом вроде бы их должны обкладывать бетонными плитами, огородить колючей проволокой. Там оставляли самосвалы, уазики, краны, на которых работали, так как металлы имеет свойство радиацию накапливать, поглощать. Рассказывают, что все это потом куда-то исчезло. Разворовали. Я верю, потому что у нас может быть все. Один раз тревога: дозиметристы проверили, и оказалось, что столовая построена на месте, где радиация выше, чем там, куда мы ездили работать. А мы уже жили тут два месяца. Такой у нас народ. Столбы и на них доски набиты на уровне груди. Это называлось столовой... Стоя ели. Мылись из бочки... Туалет – длинная траншея в чистом поле... В руках – лопата... И рядом реактор...

Через два месяца мы уже начали что-то понимать. Давай спрашивать: «Мы же не смертники. Побыли два месяца, хватит. Пора нас поменять». Генерал-майор Антошкин проводил с нами беседу, откровенничал: «Нам невыгодно вас менять. Мы вам дали один комплект одежды. Второй, третий. Вы навыки приобрели. Менять вас – дорогое дело, хлопотное». И упор на то, что мы – герои. Раз в неделю тем, кто хорошо землю копал, перед строем вручали похвальную грамоту. Лучший похоронщик Советского Союза. Какое-то безумие...

Пустые деревни... Живут куры и кошки. Зайдешь в сарай, полно яиц. Жарили. Солдаты – brave ребята. Курицу словят. Костер. Бутыль самогона. Каждый день в палатке выпивали хором трехлитро-

вую бутылку самогона. Кто-то в шахматы играет, кто-то на гитаре. Человек ко всему привыкает. Один напнется – и в кровать, другому кричать охота. Драться. Двое сели пьяные за руль. Разбились. Автогеном их вырезали, доставали из расплющенного железа. Я спасался тем, что писал домой длинные письма и вел дневник. Засек меня начальник политотдела, стал за мной охотиться: где храню, что пишу? Подговорил соседа шпионить за мной. Тот предупредил: «Что строишь?» – «Кандидатскую защитил. Докторскую пишу». Смеется: «Я так полковнику и передам. А ты это дело спрячь». Хорошие были ребята. Я уже говорил, ни одного нытика. Труса. Поверьте: нас никто никогда не победит. Никогда! Офицеры не вылазили из палаток. Валялись в домашних тапочках. Пили. Плеваты! Мы копали. Пусть получают на погоны новые звездочки. Плеваты! Такой у нас народ.

Дозиметристы – боги. Все к ним проталкиваются: «Ну, сынок, какая у меня радиация?» Один предприимчивый солдат сообразил: взял обыкновенную палку, намотал на нее проволоку. Постучался в одну хату и по стене этой палкой водит. Бабка за ним: «Сынок, что там у меня?» – «Военная тайна, бабка». – «А ты мне скажи, сынок. Я тебе стакан самогонки налью». – «Ну, давай! – Выпил. – Все нормально у тебя, бабка». И пошел дальше...

В середине срока нам наконец выдали всем дозиметры, такие маленькие коробочки, внутри кристалл. Некоторые стали обрабатывать: надо его утром отвезти к могильнику и оставить, а к концу дня забрать. Чем больше радиации, тем скорее отпуск дадут. Либо больше заплатят. Кто на сапог, там лялочка есть, повесил, чтобы ближе к земле. Театр абсурда. Эти датчики были не заряжены, для того чтобы они начали отсчет, их надо было зарядить первичной дозой радиации. То есть эти финтифлюшки, цапки эти дали для отвода глаз. Психотерапия. На самом деле оказалось кремниевое устройство, на складах лет пятьдесят валялось. В военный билет в конце каждому вписали одинаковую цифру: среднюю дозу радиации умножили на число дней пребывания. Замерили среднюю дозу в палатках, где мы жили.

То ли анекдот, то ли боль. Звонит солдат любимой девушке. Она волнуется: «Что ты там делаешь?» Он решил прихвастнуть: «Только что из-под реактора вылез, помыл руки». И тут – гудки. Разговор оборвался. Кэзэбэ слушает...

Два часа – на отдых. Ляжешь под кустик, а созрела уже вишня, такая крупная, сладкая, оботрешь и в рот. Шелковица, я первый раз видел шелковицу..

Когда работы не было, водили маршировать. Фильмы смотрели. Индийские. Про любовь. До трех-четырёх часов утра. Кашевар проспал, каша сырая. Привозили газеты. Там писали, что мы – герои! Добровольцы. Печатались фотографии. Встретить бы нам того фотографа...

Неподалеку стояли интернациональные части. Татары из Казани. Видел их самосуд. Гонят перед строем солдата, остановится или убежит в сторону, бьют. Ногами. Лазил по хатам, чистил. Сумку барахла у него нашли. Были литовцы. Через месяц взбунтовались и потребовали отправки домой.

Был однажды спецзаказ: срочно помыть дом в пустой деревне. Фантастика! «Зачем?» – «Завтра там будут играть свадьбу». Облили из шлангов крышу, деревья, соскребли землю. Скосили картофельную ботву, весь огород, траву во дворе. Пустырь вокруг. Назавтра привезли жениха и невесту. Приехал автобус с гостями. С музыкой... Настоящие, а не киношные жених и невеста. Они уже жили в другом месте, переселились, но их уговорили приехать сюда, чтобы заснять для истории. Работала пропаганда. Фабрика грез... Даже тут защищала наши мифы: мы везде выживем, даже на мертвой земле...

Перед самым отъездом меня вызвал командир: «Что ты писал?» – «Письма молодой жене», – ответил я. – «Ты там смотри...» – последовал приказ.

Что осталось в памяти о тех днях? Тень безумия... Как мы копали... Копали... Где-то в дневнике записано, что я там понял. В первые же дни... Я понял, как легко стать землей...»

*Иван Николаевич Жмыхов, инженер-химик*

## **Монолог о символах великой страны**

«Уже к концу мая, где-то через месяц после аварии, к нам начали поступать на проверку продукты из тридцатикилометровой зоны. Институт работал круглосуточно. Как военный. В республике только

у нас на тот момент имелись профессионалы и специальная аппаратура. Привозили внутренности домашних и диких животных. Проверили молоко. После первых проб стало ясно, что к нам поступает не мясо, а радиоактивные отходы. Вахтовым методом в зоне пасли стада. Пастухи приезжали и уезжали, доярок привозили только на дойку. Выполняли планы молокозаводы. Проверили. Не молоко, а радиоактивные отходы. Сухой молочный порошок и банки сгущенного и концентрированного молока Рогачевского молокозавода мы долго использовали на лекциях как эталонный источник. А в это время их продавали в магазинах... Когда люди читали на этикетках, что молоко из Рогачева и не брали его, оно затоваривалось, и вдруг появились банки без этикеток. Думаю, причина не в том, что не хватало бумаги, – людей обманывали. Обманывало государство.

Первая поездка в зону: в лесу фон в пять-шесть раз выше, чем в поле, на дороге. Везде высокие дозы. Работают трактора... Крестьяне копают свои огороды... В нескольких деревнях измерили щитовидку взрослым и детям: в сто, в тысячу раз выше допустимой дозы. Была у нас в группе женщина. Радиолог. С ней случилась истерика, когда увидела, что дети сидят в песке, играют. Проверили грудное молоко – радиоактивное... Работают магазины и, как обычно у нас в деревнях, мануфактура и продукты по соседству: костюмы, платья, а рядом колбаса, маргарин. Лежат открыто, даже не накрытые целлофаном. Берем колбасу, яйцо... Делаем рентгеновский снимок: не продукты, а радиоактивные отходы...

Мы спрашивали – как быть, что делать? Нам отвечали: «Проводите замеры. Смотрите телевизор». По телевизору Горбачев успокаивал: «Приняты неотложные меры»... Я верил. Инженер с двадцатилетним стажем, хорошо знакомый с законами физики. Знал же я, что из этих мест надо уйти всему живому. Хотя бы на время. Но мы добросовестно проводили замеры и смотрели телевизор. Мы привыкли верить. Я – из послевоенного поколения, которое выросло в этой вере. Откуда вера? Мы победили в такой страшной войне. Перед нами тогда весь мир преклонялся. Это же было! В Кордильерах на скалах было высечено имя – Сталин!! Что это? Символ. Символ великой страны.

Вот ответ на ваш вопрос: почему мы знали и молчали? Почему не вышли на площадь, не кричали? Мы докладывали, составляли объяснительные записки. А молчали и беспрекословно подчинялись при-

казам, потому что партийная дисциплина, я – коммунист. Не помню, чтобы кто-нибудь из наших сотрудников отказался от командировки в зону. Не из-за страха положить партбилет, а из-за веры. Прежде всего, вера, что мы живем красиво и справедливо, и человек у нас выше всего, мера всех вещей. Крушение этой веры потом для многих кончалось инфарктом или самоубийством. Пулей в сердце, как у академика Легасова... Потому что, когда теряешь веру, остаешься без веры, ты уже не участник, а соучастник, у тебя нет оправдания. Я так его понимаю.

Некий знак... На каждой атомной станции в бывшем Союзе в сейфе лежал план ликвидации аварии. Типовой план. Секретный. Без такого плана нельзя было получить разрешение на пуск станции. За много лет до аварии его разработали именно на примере чернобыльской станции: что делать и как? Кто отвечает? Где находиться? До мельчайших подробностей... И вдруг там, на этой станции происходит катастрофа... Что это – совпадение? Мистика? Если бы я был верующим... Когда хочешь найти смысл, чувствуешь себя религиозным человеком. А я – инженер. Я – человек другой веры. У меня другие символы...»

*Марат Филиппович Коханов,  
бывший главный инженер Института  
ядерной энергетики Академии наук Беларуси*

## **Монолог о том, что в жизни страшное происходит тихо и естественно**

«С самого начала... Где-то что-то случилось. Я даже название не расслышала, где-то далеко от нашего Могилева... Прибежал из школы брат: всем детям раздают какие-то таблетки. Видно, действительно что-то случилось. Ай-яй-яй. И все Первого мая мы замечательно провели день. Вернулись домой поздно вечером, в моей комнате окно распахнуто ветром... Это вспомнилось позже...

Работала я в инспекции по охране природы. Там ждали каких-либо указаний, но они не поступали... В штате инспекции профессионалов почти не было, особенно среди руководства: полковники

в отставке, бывшие партработники, пенсионеры или неугодные. В другом месте проштрафился, его к нам. Сидит, шуршит бумажками. Зашумели, заговорили они после выступления в Москве нашего белорусского писателя Алеся Адамовича, который стал бить во все колокола. Как они его ненавидели! Что-то ирреальное. Здесь живут их дети, их внуки, не они, – а писатель кричит миру: спасите!! Казалось бы, должен сработать инстинкт самосохранения. На партсобраниях, в курилках – все о писаках. Что лезут не в свое дело? Распустились! Существует инструкция! Субординация! Что он понимает? Он не физик! Есть цека, есть генеральный секретарь! Я тогда, может быть, впервые поняла, что такое – тридцать седьмой год. Как это было...

В то время мое представление об атомной станции было совершенно идиллическое. В школе, в институте нас учили, что это сказочные «фабрики энергии из ничего», где люди в белых халатах сидят и нажимают кнопки. Чернобыль взорвался на фоне неподготовленного сознания. Вдобавок никакой информации. Горы бумаг с грифом «совершенно секретно»: «Засекретить сведения об аварии», «засекретить сведения о результатах лечения», «засекретить сведения о степени радиоактивного поражения персонала, участвовавшего в ликвидации...» Гуляли слухи: кто-то в газетах прочел, кто-то слышал, кому-то сказали... Кто-то слушал западные голоса, только они в то время передавали, какие таблетки пить, как их употреблять. Но реакция чаще всего была такая: враги злорадствуют, а у нас все хорошо. Девятого мая ветераны пойдут на парад... Даже те, кто тушил реактор, как потом выяснилось, тоже жили среди слухов. Кажется, опасно руками брать графит... Кажется...

Откуда-то появилась в городе сумасшедшая. Ходила по базару и говорила: «Я видела эту радиацию. Она синяя-синяя, переливается...» Люди перестали покупать на рынке молоко, творог. Стоит бабка с молоком, никто его у нее не берет. «Не бойтесь, – уговаривает, – я корову в поле не вывожу, я траву ей сама ношу». Выедешь за город, какие-то чучела вдоль дороги маячат: пасется корова, целлофаном обвязанная, и рядом бабка, тоже вся в целлофане. Хоть плачь, хоть смейся. И нас уже стали посылать на проверки. Меня направили в лесхоз. Лесникам поставки древесины не уменьшили, как был план, так и остался. На складе включили прибор, а он черт-те что показывает.



Возле досок вроде бы нормально, а рядом с заготовленными метлами зашкаливает. «Откуда метлы?» – «Из Краснополя (как потом выяснилось, самый зараженный район в нашей Могилевской области). Последняя партия осталась. Все отправили». Как ты их по разным городам найдешь?

Что-то я еще боялась забыть? Приметное... А! Вспомнила. Чернобыль... И вдруг новое, непривычное чувство, что у каждого из нас есть своя жизнь, до этого она как бы не нужна была. А тут люди стали задумываться: что они едят, чем кормят детей? Что опасно для здоровья, а что нет? Переезжать в другое место или не переезжать? Каждому надо было принять решение. А привыкли жить – как? Всея деревней, общиной. Заводом, колхозом. Мы были советские люди. Соборные. Я, например, была советским человеком. Очень. Училась в институте, каждое лето ездила с комотрядом. Было такое молодежное движение – студенческие коммунистические отряды. Мы там работали, а деньги перечисляли какой-нибудь латиноамериканской компартии. Наш отряд, в частности, Уругваю...

Мы поменялись. Все поменялось. Очень большие усилия нужны, чтобы понять. Еще эта неспособность высказаться...

Я – биолог. Моя дипломная работа – поведение ос. Два месяца сидела на необитаемом острове. У меня было там свое осиное гнездо. Они приняли меня в свою семью после того, как неделю присматривались. Ближе чем на три метра никого не подпускали, а меня на десять сантиметров уже через неделю. Я подкармливала их со спички вареньем прямо на гнезде. «Не разрушай муравейник, это хорошая форма чужой жизни», – любимая поговорка нашего преподавателя. Осиное гнездо связано со всем лесом, и я постепенно тоже становлюсь частью ландшафта. Подбегает мышонок и садится на край моих кроссовок, дикий, лесной, но он уже воспринимает меня как часть пейзажа: вчера сидела, сегодня сижу, завтра буду сидеть...

После Чернобыля... На выставке детских рисунков: ходит по черному весеннему полю аист... И подпись: «Аисту никто ничего не сказал». Это – мои чувства. А была работа. Мы ездили по области, отбирали пробы воды, пробы земли – и отвозили в Минск. Девочки наши ворчали: «Горячие пирожки возим». Ни защиты, ни спецодежды. Сидишь на переднем сиденье, а за спиной образцы – «светятся». Составляли акты для захоронения радиоактивного грунта. Хоронили

землю в земле... Такое странное человеческое занятие... По инструкции, захоронение положено производить с геологической разведкой, чтобы глубина залегания грунтовых вод была не ближе четырех–шести метров, а глубина захоронения – небольшая, стены и дно котлована выстелить полиэтиленовой пленкой. Но это в инструкции. А в жизни, естественно, по-другому. Как всегда. Никакой геологоразведки. Ткнул пальцем: «Тут копай». Экскаваторщик копает. «Так на какую глубину копали?» – «А черт его знает! Вода появилась, я бросил». Бухали прямо в грунтовые воды...

Вот говорят: святой народ, преступное правительство... Я потом вам скажу, что об этом думаю... О народе нашем и о себе...

Самая большая командировка у меня была в Краснопольский район, я уже говорила, самый-самый. Чтобы предотвратить смывание радионуклидов с полей в реки, следовало опять же действовать по инструкции: пропахать двойные бороздки, перерыв – и еще раз двойные бороздки, и дальше в таких же интервалах. Надо проехать вдоль всех малых рек. До райцентра добираюсь рейсовым автобусом, а дальше, естественно, требуется машина. Иду к председателю райисполкома. Председатель сидит в своем кабинете, обхватил голову руками: план никто не снимал, структуры севооборота никто не менял, как сеяли горох, так и сеют, хотя знают, что горох больше всего берет радиацию, как и все бобовые. А там местами сорок кюри и выше. Ему не до меня. В детских садах разбежались повара и медсестры. Дети голодные. Сделать операцию аппендицита, надо везти человека на «скорой» в соседний район, шестьдесят километров по дороге, как стиральная доска. Все хирурги уехали. Какая машина?! Тогда я ткнулась к военным. Молодые ребята, они отработали там по полгода. Сейчас отчаянно болеют. Дали в мое распоряжение бэтээр с экипажем, даже нет, не бэтээр, а бээрэдэмку, как они ее звали (БРДМ) – разведывательная машина с пулеметом. Я очень жалела, что не сфотографировалась на ней. На броне. Опять – романтика. Прапорщик, который командовал на этой машине, все время зывался с базой: «Сокол! Сокол! Продолжаем работу». Едем, дороги наши, леса наши, а мы – на боевой машине. Стоят у заборов женщины. Стоят и плачут. Последний раз они видели эту технику во время Отечественной войны. И у них страх, что началась война.

По инструкции, у тракторов для пропашки этих борозд кабина должна быть защищена, герметизирована. Я видела такой трактор,

кабина действительно герметична. Трактор стоял, а тракторист лежал на траве, отдыхал. «Вы с ума сошли? Разве вас не предупредили?» – «Так я же голову телогрейкой накрыл», – отвечает. Люди не понимали. Их все время пугали, готовили к атомной войне. А не к Чернобылю...

Места там красивые необычайно. Лес сохранился не саженым, а настоящий. Древний. Петлистые речушки, в них вода цвета чая и прозрачная-прозрачная. Зеленая трава. Люди перекликаются в лесу... Для них это естественно, как выйти утром в свой сад... А ты уже знаешь, что все это отравлено.

Встретилась нам бабка:

– Детки, а молочко от своей коровки можно пить?

Мы глаза в землю, у нас приказ – данные собирать, но с населением тесно не общаться.

Первым нашелся прапорщик:

– Бабуля, а сколько вам годков?

– Да уже за восемьдесят, а может, и больше. Документы в войну сгорели.

– Ну тогда пейте.

Деревенских людей больше всех жалко, они безвинно пострадали, как дети. Потому что Чернобыль не крестьянин придумал, у него с природой свои отношения – доверчивые, не захватнические, как и сто лет назад и тысячу. Как в божественном замысле... И они не понимали, что произошло, они хотели верить ученым, любому грамотному человеку, как священнику. А им твердили: «Все хорошо. Ничего страшного. Только мойте руки перед едой». Поняла, не сразу, а через несколько лет, что мы все участвовали... В преступлении... В заговоре... *(Молчит.)*

Вы не можете представить, в каких количествах на машинах из зоны вывозилось все, что туда направлялось в виде помощи, льгот ес жителям: кофе, тушенка, ветчина, апельсины. Ящиками, фургонами. Тогда же таких продуктов нигде не было. Живились местные продавцы, каждый проверяющий, все это мелкое и среднее чиновничество. Человек оказался хуже, чем я думала. И я сама... Тоже хуже... Я теперь это о себе знаю... *(Останавливается.)* Я, конечно, признаюсь... Для меня самой это уже важно... Ну, опять же пример... В одном колхозе, допустим, пять деревень. Три «чистые», две «грязные», от одной до

другой – два-три километра. Двум платят «гробовые», трем – нет. В «чистой» деревне строят животноводческий комплекс. Мол, завезем чистые корма. А где их взять? Ветер несет пыль с одного поля на другое. Одна земля. Чтобы построить комплекс, нужны бумаги. Комиссия их подписывает, я – в этой комиссии, хотя каждый знает, что подписывать нельзя. Преступление. В конце концов, находила я себе оправдание, проблема чистых кормов не дело инспектора по охране природы.

Каждый находил какое-то оправдание. Объяснение. Я проводила такой опыт с собой... И вообще я поняла, в жизни страшное происходит тихо и естественно...»

*Зоя Даниловна Брук,  
инспектор охраны природы*

### **Монолог о том, что русский человек всегда хочет во что-нибудь верить**

«А вы разве не замечали, что между собой мы даже не говорим об этом? Через десятки лет, через столетия – это будут мифологические годы...

Я боюсь дождя – вот что такое Чернобыль. Боюсь снега... Леса... Это не абстракция, не умозаключение, а личное чувство. Чернобыль... Он в моем доме... В самом дорогом для меня существе, в моем сыне, который родился весной восемьдесят шестого... Он болен. Животные, даже тараканы, они знают, сколько и когда рожать. Люди так не могут, творец не дал им дара предчувствия. Недавно в газетах опубликовали, что в девяносто третьем году только у нас, в Белоруссии, женщины сделали двести тысяч аборт. Основная причина – Чернобыль. Мы уже везде живем с этим страхом... Природа как бы свернулась, ожидая. Выжидая. «Горе мне! Куда девалось время?» – воскликнул бы Заратустра.

Я много размышлял. Искал смысл... Чернобыль – это катастрофа русской ментальности. Вы об этом не задумывались? Конечно, я согласен, когда пишут, что это не реактор взорвался, а вся прежняя система ценностей. Но в этом объяснении мне чего-то не хватает...

Я бы говорил о том, о чем первым сказал Чаадаев, – о нашей враждебности прогрессу. О нашей антитехнологичности, о нашей антиинструментальности. Вглядитесь в Европу. Начиная с эпохи Возрождения, она живет под знаком инструментального отношения к миру. Разумного, рационального. Это уважение к мастерскому человеку, к инструменту в его руках. Есть замечательный рассказ у Лескова – «Железная воля». Что это такое? Русский характер – авось да небось. Лейтмотив русской темы. Немецкий характер – ставка на инструмент, на машину. С одной стороны, попытка преодолеть, обуздать хаос, с другой – наша родная стихийность. Поезжайте куда угодно, ну, например, в Кизи, и что вы услышите, о чем с гордостью воскликнет любой экскурсовод? Что этот храм построен топором, да еще без единого гвоздя! Вместо того чтобы построить хорошую дорогу, подкуем блоху. Колеса телеги утопают в грязи, зато держим жар-птицу в руках. Второе. Это расплата за быструю индустриализацию. За скачок. Опять же на Западе – прядильный, мануфактурный век... Машина и человек двигались, менялись вместе. Формировалось технологическое сознание, мышление. А у нас? Что у нашего мужика, кроме рук? До сих пор! Топор, коса, нож – и все. На этом весь его мир держится. Ну, еще лопата. Как русский человек разговаривает с машиной? Только матом. Или кувалдой, пинком. Он ее не любит, машину, ненавидит, презирает на самом деле, он до конца не понимает, что в его руках. Я где-то читал, что рабочий персонал атомных станций часто называет реактор – кастрюлей, самоваром, керогазом. Конфоркой. Здесь уже есть гордыня: на солнце пожарим яичницу! Среди тех, кто работал на Чернобыльской станции, много деревенских людей. Днем они на реакторе, а вечером – на своих огородах или у родителей в соседней деревне, где картошку еще сажают лопатой, навоз разбрасывают вилами... Их сознание существовало в этих двух перепадах, в двух временах – каменном и атомном. В двух эпохах. Человек постоянно как маятник качался. Представьте себе железную дорогу, проложенную блистательными инженерами-путейцами, мчится поезд, но на месте машинистов – вчерашние извозчики. Кучера. Это судьба России путешествовать в двух культурах. Между атомом и лопатой. А технологическая дисциплина? Для нашего народа она – часть насилия, колодки, цепи. Народ стихийный, вольный. Всегда мечтал не о свободе – о вольнице. Для нас дисциплина

лина – это репрессивный инструмент. Что-то есть особенное в нашем невежестве, что-то близкое к невежеству восточному...

Я – историк... Раньше много занимался лингвистикой, философией языка. Не только мы думаем языком, но и язык думает нами. В семнадцать лет, а может, и чуть раньше, когда я стал читать самиздат, открыл для себя Шаламова, Солженицына, я вдруг понял, что все мое детство, детство моей улицы, а рос я в интеллигентной семье (прадед – священник, отец – профессор Петербургского университета), пронизано лагерным сознанием. И весь словарь моего детства – язык зэков. Для нас, подростков, это было вполне естественно: отца называли пахан, мать – махана. «На хитрую жопу есть х... с винтом» – это я в девять лет усвоил. Ни одного гражданского слова. Даже игры, поговорки, загадки были зэчные. Потому что зэки – это не отдельный мир, который существовал где-то в тюрьмах, далеко. Это все было рядом. Как писала Ахматова, «полстраны сажало, полстраны сидело». Думаю, что вот это наше лагерное сознание неминуемо должно было столкнуться с культурой. С цивилизацией, с синхрофазотроном...

Ну и, конечно, мы были воспитаны в особом советском язычестве: человек – властелин, венец творения. И его право делать с миром все, что он захочет. Мичуринская формула: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». Попытка привить народу те качества, те свойства, которых у него нет. Психология насильника. Вызов истории, вызов природе. Сейчас все вдруг заговорили о Боге. Почему его не искали в ГУЛАГе, в камерах тридцать седьмого, на партсобраниях сорок восьмого, когда громили космополитизм, при Хрущеве, когда рушили храмы? Современный подтекст русского богоискательства и лжив. Бомбим мирные дома в Чечне... Обгоревших русских танкистов сгребают лопатами и вилами... То, что от них осталось... И тут же со свечкой идем в храм... На Рождество...

Что нужно? Ответить на вопрос: способна ли русская нация на такой глобальный пересмотр всей своей истории, как оказались на это способны после второй мировой войны японцы? Немцы? Хватит ли у нас интеллектуального мужества? Об этом почти не говорят. Говорят о рынке, о ваучерах, чеках... Мы в очередной раз выживаем. Вся энергия уходит на это. А душа брошена... Тогда зачем это все? Ваша книга? Мои бессонные ночи? Если жизнь наша, как чирк спичкой?

Здесь может быть несколько ответов. Примитивный фатализм. И могут быть великие ответы. Русский человек всегда хочет во что-нибудь верить: в железную дорогу, в лягушку (нигилист Базаров), в византийство, в атом... А теперь вот – в рынок...

Булгаков в «Кабале святош»: «Всю жизнь грешила. Актрисой была». Сознание греховности искусства. Безнравственности его природы. Заглядывание в чужую жизнь. Но оно, как сыворotka зараженного, может стать прививкой чужого опыта. Чернобыль – это тема Достоевского. Попытка оправдания человека. А, может быть, все очень просто: войти в мир на цыпочках и остановиться у порога?!»

*Александр Ревальский, историк*

### **Монолог о физике, в которую все мы были влюблены**

«С юности я имел привычку все записывать. Когда Сталин умер – что происходило на улицах, о чем говорили. И Чернобыль я записывал с первого дня, знал, что пройдет время, и многое забудется, безвозвратно исчезнет. Так это и случилось. Мои друзья, они были в центре событий, физики-ядерщики забыли, что тогда чувствовали, о чем говорили со мной. А у меня все записано...

В тот день... Я, заведующий лабораторией Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси, приехал на работу, институт наш за городом, в лесу. Чудесная погода! Весна. Открыл окно. Воздух чист, свеж. Удивился: почему-то сегодня не залетают синички, которых я прикормил за зиму, вывесивая за окном кусочки колбасы. Нашли поживу повкуснее?

А в это время на нашем институтском реакторе паника: дозиметрические приборы показывали рост активности, на воздухоочистительных фильтрах она поднялась в двести раз. Мощность дозыazole проходной – около трех миллирентген в час. Это очень серьезно. Такая мощность допускается как предельная в радиационно опасных помещениях при работе не более шести часов. Первое предположение – в активной зоне разгерметизировалась оболочка одного из тепловыделяющих элементов. Проверили – норма. А может, перевозили контейнер из радиохимической лаборатории и так трягнули

но дороге, что повредили внутреннюю оболочку, загрязнили территорию? Попробуй теперь отмой пятно на асфальте! Что же случилось? А тут еще по внутреннему радио объявили: сотрудникам не рекомендуется выходить из здания. Между корпусами стало пустынно. Ни одного человека. Жутковато. Необычно.

Дозиметристы проверили мой кабинет: «светит» стол, «светит» одежда, стены... Я встаю, у меня нет желания даже садиться на стул. Вымыл голову над раковиной. Посмотрел на дозиметр – эффект налицо. Неужели это все-таки у нас, ЧП в нашем институте! Утечка? Как теперь дезактивировать автобусы, которые развозят нас по городу? Сотрудников? Придется поломать голову... Я очень гордился нашим реактором, я изучил его до миллиметра...

Звоним на Игналинскую атомную, она рядом. У них приборы тоже орут. Тоже паника. Звоним на Чернобыль... На станции не отвечает ни один телефон... К обеду выясняется. Над всем Минском радиоактивное облако. Мы определили – активность йодная. Авария на каком-то реакторе...

Первая реакция: позвонить домой жене, предупредить. Но все наши телефоны в институте прослушивают. О, этот вечный, десятилетиями вдалбливаемый страх! Но они же там ничего не знают... Дочь после занятий в консерватории гуляет с подружками по городу. Ест мороженое. Позвонить?! Но могут быть неприятности. Не допустят секретным работам... Все равно не выдерживаю, поднимаю трубку:

– Слушай меня внимательно.

– О чем ты? – Громко переспросила жена.

– Тише. Закрой форточки, все продукты – в полиэтиленовые пакеты. Надень резиновые перчатки и протри мокрой тряпкой все, что можно. Тряпку – тоже в пакет и спрячь подальше. Сохнувшее на балконе белье – опять в стирку.

– Что у вас произошло?

– Тише. Разведи две капли йода в стакане воды. Вымой голову...

– Что... – Но я не даю жене договорить, кладу трубку. Она должна понять, сама работник нашего института.

В пятнадцать часов тридцать минут выяснили – авария на чернобыльском реакторе...

Вечером возвращаемся в Минск на служебном автобусе. Полчаса, которые едем, молчим или переговариваемся о постороннем. Боим-



ся заговорить вслух друг с другом о том, что случилось. У каждого – партбилет в кармане...

Перед дверью квартиры лежала мокрая тряпка. Значит, жена все поняла. Захожу, в прихожей сбрасываю с себя костюм, рубашку, раздеваюсь до трусов. Неожиданно подступает ярость... К черту эту секретность! Этот страх! Беру городской телефонный справочник... Телефонные книжки дочери, жены... Начинаю всем подряд звонить, что я – сотрудник Института ядерной энергетики, над Минском радиоактивное облако... И дальше перечисляю, что надо предпринимать: вымыть голову, закрыть форточки... Мокрое белье с балкона – опять в стирку... Выпить йод. Как его правильно принимать... Реакция людей: спасибо. Ни расспросов, ни испуга. Я думаю, что они мне не верили или не в силах были охватить грандиозность события. Никто не испугался. Реакция удивительная.

Вечером звонит мой друг. Физик-ядерщик, доктор наук... Как беспечно! С какой верой мы жили! Только теперь это понимаешь... Он звонит и говорит между прочим, что хочет поехать на майские праздники к родителям жены на Гомельщину. Оттуда же рукой подать до Чернобыля! Едет с маленькими детьми. «Замечательное решение! – я кричал. – Ты с ума сошел!» Это о профессионализме. И о нашей вере. Я орал. Он, наверное, не помнит, что я спас его детей... *(После передышки.)*

Мы... Я говорю о всех нас... Мы Чернобыль не забыли, мы его не поняли. Что дикари могли понять в молнии?

В книге Алеся Адамовича... Его разговор с Андреем Сахаровым об атомной бомбе... «А вы знаете, как хорошо пахнет озоном после ядерного взрыва?» – спрашивал академик, «отец» водородной бомбы. В этих словах – романтика. Для меня... Моего поколения... Извините, по лицу вижу реакцию... Вам кажется это восторгом перед вселенским кошмаром... А не перед человеческим гением... Но это нынче ядерная энергетика унижена, опозорена. А мое поколение... В сорок пятом, когда взорвали атомную бомбу, мне было семнадцать лет. Я любил фантастику, мечтал полететь на другие планеты, решил, что ядерная энергия поднимет нас в космос. Поступил в Московский энергетический институт и там узнал, что есть сверхсекретный факультет – физико-энергетический. Пятидесятые–шестидесятые годы... Физики-ядерщики... Элита... восторг: Гуманитарии оттеснены... В

трех копейках, говорил наш школьный учитель, столько энергии, что может работать электростанция. Дух захватывало! Я зачитывался американцем Смиттом, он писал, как изобрели атомную бомбу, проводили испытания, подробности взрыва. У нас все держалось в секрете. Я читал... Воображал... Фильм о советских атомщиках «Девять дней одного года» вся страна смотрела. Высокие зарплаты, секретность прибавляли романтизма. Культ физики! Время физики! Даже когда уже в Чернобыле рвануло... Вызвали ученых... Они прилетели на реактор спецрейсом, но многие ведь не взяли с собой бритвенные приборы, думали, что летят на несколько часов. Время физики в Чернобыле кончилось...

Вы уже иначе смотрите на мир... У Константина Леонтьева недавно вычитал мысль о том, что результаты физико-химического разврата заставят когда-нибудь космический разум вмешаться в наши земные дела. А мы, воспитанные в сталинские времена, мы не могли в своих мыслях допустить существования каких-то сверхъестественных сил. Библию я прочел потом... И женился на одной и той же женщине два раза. Ушел и вернулся. Еще раз встретились в этом мире. Жизнь – удивительная штука! Загадочная! Теперь я верю... Во что я верю? Что трехмерный мир уже тесен для современного человека... Почему сегодня такой интерес к фантастике? Человек отрывается от Земли... Он орудует другими категориями времени, не одной землей, а разными мирами. Апокалипсис... Ядерная зима... В западной литературе все это уже написали, как бы отретировали. Они готовились к будущему. Взрыв большого количества ядерного оружия приведет к громадным пожарам. Атмосфера насытится дымом. Солнечные лучи не смогут пробиваться к земле, а там цепная реакция пошла – холодно, холоднее, холоднее. Эту мирскую версию о «конце света» внедряют со времен промышленной революции восемнадцатого века. Но атомные бомбы не исчезнут даже тогда, когда уничтожат последнюю боеголовку. Останутся знания...

Вы только спрашиваете, но я с вами все время спорю. У нас спор между поколениями... Вы замечаете? История атома – это не только военный секрет, тайна, проклятие. Это – наша молодость, наше время... Наша религия...

Пятьдесят лет прошло, всего пятьдесят лет. Теперь мне тоже иногда кажется, что миром правит кто-то другой, что мы со своими пуш-

ками и космическими кораблями – как дети. Но я в этом еще не утвердился... Удивительная штука жизнь! Я любил физику и думал: ничем, кроме физики, заниматься никогда не буду, а теперь хочу писать. Уходит все, исчезает, наши чувства меняются...

...Перед операцией... Я уже знал, что у меня рак... Я думал, что мне осталось жить дни, и страшно не хотелось умирать. Вдруг я вижу каждый листок, яркие цветы, яркое небо, ярчайше-серый асфальт, трещины на нем, а в них муравьи снуют. Нет, думаю, их надо обходить. Жалко их. Зачем, чтобы они умирали? От запаха леса у меня кружилась голова... Запах воспринимался сильнее цвета. Легкие березы... Тяжелые ели... И все это я не увижу? На секунду, на минуту больше прожить! Зачем я столько времени, часов, дней просидел у телевизора, среди вороха газет? Главное – жизнь и смерть...»

*Валентин Алексеевич Борисевич, бывший  
заведующий лабораторией Института ядерной  
энергетики Академии наук Беларуси*

## **Монолог о том, что дальше Колымы, Освенцима и Холокоста**

«В первые дни... Ощущения были смешанные... Помню два самых сильных чувства – чувство страха и чувство обиды. Все произошло, и никакой информации: власть молчит, медики ничего не говорят. В районе ждали указаний из области, в области – из Минска, а в Минске – из Москвы. Длинная-длинная цепочка, а в конце ее все решало несколько человек. Мы оказались беззащитными. Вот это было самое главное чувство в те дни. Всего несколько человек решало нашу судьбу. Судьбу миллионов людей. Так же, как и всего несколько человек могли нас убить... Не маньяки, и не преступники. Обычные дежурные операторы на атомной станции. Когда я это поняла, я испытала сильное потрясение. Чернобыль открыл бездну, что-то такое, что дальше Колымы, Освенцима и Холокоста. Человек с топором и луком или человек с гранатометом и газовыми камерами не мог убить всех. Но человек с атомом...

Я – не философ, не стану философствовать. Лучше еще раз о том, что помню...

Паника первых дней: кто-то рванул в аптеки и накупил йода, кто-то перестал ходить на рынок, покупать там молоко, мясо, особенно говядину. В нашей семье в это время старались не экономить, брали дорогую колбасу, надеясь, что она из хорошего мяса. Но скоро узнали, что именно в дорогую колбасу подмешивали зараженное мясо. дескать, раз она дорогая, ее покупают понемногу, употребляют меньше. Мы оказались беззащитными. Но это все уже вам, конечно, известно. Хочу написать о другом. О том, что мы были генерацией советской.

Мои друзья – врачи, учителя. Местная интеллигенция. У нас был свой кружок. Собрались у меня дома. Пьем кофе. Сидят две закадычные подруги, одна из них врач. У обеих маленькие дети.

Первая:

– Завтра еду к родителям. Увезу детей. Вдруг заболеют, потом никогда себе не прощу.

Вторая:

– В газетах пишут, что через несколько дней обстановка станет нормальной. Там – наши войска. Вертолеты, бронетехника. По радио сообщали.

Первая:

– Тебе тоже советую: забери детей! Увези! Спрячь! Это не война. Мы даже не можем себе представить, что произошло.

Неожиданно они перешли на высокие тона и кончилось ссорой. Взаимными обвинениями:

– Ты – предательница! Где твой материнский инстинкт? Фанатичка!

– Что бы с нами было, если бы каждый поступал так, как ты? Победили бы мы в войну?

Спорили две молодые красивые женщины, безумно любящие своих детей. Что-то повторялось, какой-то знакомый текст...

И у всех, кто там был, мое, в частности, ощущение: она вносит тревогу. Надо дождаться, пока скажут. Объявят. Она – врач, знала больше: «Собственных детей не способны защитить! Вам никто не угрожает? А вы все равно боитесь!»

Как мы ее в те минуты ненавидели, она испортила нам вечер.

На следующий день она уехала, а мы нарядили своих детей и поехали на Первомайскую демонстрацию. Могли идти, а могли и не ид-

ти. У нас был выбор. Нас никто не заставлял, не требовал. Но мы считали это своим долгом. Как же! В такое время, в такой день... Все должны быть вместе... Бежали на улицу, в толпу...

На трибуне стояли все секретари райкома, рядом с первым секретарем – его маленькая дочка, она стояла так, чтобы ее видели. На ней – плащ и шапочка, хотя светило солнце, а на нем – военная плащ-палатка. Но они стояли... Это я помню...

Я написала письмо, чтобы осталась правда тех дней и тех чувств. Ту первомайскую демонстрацию я не забуду...

Что с нами произошло? Что нам открылось? Повторюсь: с нами случилось что-то такое, что дальше Колымы, Освенцима и Холокоста. Но где наши интеллектуалы? Писатели? Философы? Почему они молчат?»

*Из письма Людмилы Дмитриевны Поленской,  
сельской учительницы, переселенки  
из черновыльской зоны*

## **Монолог о свободе и мечте об обыкновенной смерти**

«Это была свобода... Там я чувствовал себя свободным человеком... Вам этого не понять, понять это может только тот, кто был на войне. Они выпьют, воевавшие мужики, и говорят, я их слышал, до сих пор тоскуют... По той свободе, по тому взлету... Ни шагу назад! – сталинский приказ. Заградотряды. Но ты стреляешь, выживаешь, получаешь положенные сто граммов, махорку... Тысячу раз можешь умереть, разлететься на куски, но если постараться, перехитришь, – черта, дьявола, старшину, комбата, того, кто в чужой каске и с чужим штыком, самого Всевышнего, – ты можешь выжить! Одиночество свободы. Я его знаю, мы его знаем, те, кто был на реакторе. Как в окопе на переднем крае... Страх и свобода! Живешь на полную катушку... Вам этого не понять, в обычной жизни...Помните, нас все время готовили: будет война. А сознание оказалось не готовым. Я был не готов. Пришли на завод двое военных. Вызвали меня: «Солярку от бензина отличишь?» Спрашиваю: «Куда пошлете?» – «Куда-куда? Добровольцем в Чернобыль». Моя военная профессия – специалист по ракетному топливу. Секретная специальность. Забрали прямо с завода, в одной майке и

футболке, домой не дали заскочить. Просил: «Жену надо предупредить». – «Мы сами сообщим». В автобусе нас собралось человек пятнадцать, офицеры запаса. Люди мне понравились. Надо – поехали, надо – работаем, погнали на реактор – лезли на крышу реактора.

Возле выселенных деревень стояли вышки, солдаты на вышках с оружием. Шлагбаумы. Таблички: «Обочина заражена. Въезд и остановка строго запрещены». Серые деревья, облитые дезактивационной жидкостью. Мозги сразу набекрень! В первые дни боялись сесть на землю, на траву, не ходили, а бегали, чуть машина пройдет – натягивали респираторы. После смены сидели в палатках. Ха-ха! Через пару месяцев... Это уже что-то нормальное, – это уже твоя жизнь. Рвали сливы, бреднем рыбу ловили, там шуки ого-го! И лещи. Лещей сушили к пиву. Вам об этом уже, наверное, рассказывали? В футбол играли. Купались! Ха-ха... *(Снова смеется.)* Верили в судьбу, в глубине души мы все фаталисты, а не аптекари. Не рационалисты. Менталитет славянский... Я верил в свою звезду! Ха-ха! Инвалид второй группы... Заболел сразу. «Лучевка» проклятая... А у меня даже медицинской карточки в поликлинике не было до этого. Черт с ним! Не я один... Менталитет...

Я – солдат, я закрывал чужой дом, входил в чужое жильё. Это такое чувство... Земля, на которой нельзя сеять... Корова тычется в калитку, а она закрыта и на доме замок. Молоко капает на землю... Это такое чувство! В деревнях, которые еще не выселили, крестьяне занимались самогонварением, их заработок. Продавали нам. А у нас денег завались: тройные оклады на работе и суточные шли тройные. Потом вышел приказ: того, кто будет пить, оставят на второй срок. Так водка помогает или нет? Ну, хотя бы психологически... Там в это дело свято верили... Крестьянская жизнь текла просто: что-то посадил, вырастил, убрал, а все остальное идет без них. Им дела нет до царя, до власти... До космических кораблей и атомных станций, митингов в столице. И они не могли поверить, что живут в Чернобыле, они же никуда не уезжали? Люди умирали от потрясения... Дрова с собой забирали тайком, зеленые помидоры срывали, закручивали. Банки взрывались, еще раз кипятили. Как это уничтожить, закопать, превратить в мусор? То, чем занимались мы. Мы для них были враги...Рвался на реактор. «Не торопись, – говорят, – в последний месяц перед дембелем всех на крышу погонят». Служили мы шесть месяцев. И точно, через пять месяцев передислокация, теперь уже под самый реактор. Шуточки разные и серьезные раз-

говоры, что вот через крышу пропустят. Ну, пусть пять лет после этого протянем... Семь... Десять... Чаще называлась цифра «пять» почему-то. Откуда она взялась? Без шума, без паники. «Добровольцы, шаг вперед!» Вся рота – шаг вперед. Перед командиром – монитор, включает – на экране крыша реактора: куски графита, расплавленный битум. «Вон, ребята, видите, обломки лежат. Почистите. А вот тут, в этом квадрате, тут пробьете отверстие». Время – сорок-пятьдесят секунд. Туда – назад, забег – бросок. Кто-то нагрузил носилки, другие сбросили. Туда, в реактор. Сбросил, но вниз не смотри, нельзя. Заглядывали. Газеты писали: «Воздух над реактором чистый». Читали, смеялись, матюгались. Воздух чистый, а мы дозы вон какие хватаем. Выдали дозиметры. Один – на пять рентген, его с первой минуты зашкаливало, второй, как авторучка, на двести рентген, тоже зашкаливало. Пять лет, сказали, детей нельзя будет иметь... Если за пять лет не умрем... Ха-ха!.. (Смеется.) Шуточки разные... Но без шума, без паники. Пять лет... Я уже десять прожил... Ха-ха!.. (Смеется.) Вручали нам грамоты. Их у меня две... Со всеми этими картинками: Маркс, Энгельс, Ленин... Красные флаги... Один парень исчез, думали, что сбежал. Через два дня нашли в кустах. Повесился. Чувство у всех такое, сами понимаете... Тогда выступил замполит, что, мол, он письмо из дома получил – жена ему изменила. Кто его знает? Через неделю у нас дембель. А его нашли в кустах... Был у нас повар, он так боялся, что жил не в палатке, а на складе, где вырыл себе нишу под ящиками с маслом и тушенкой. Перенес туда матрац, подушку... Жил под землей... Присылают разрядку: набрать новую команду и всех на крышу. А все уже там были. Найти людей! Ну, и его зачистили. Один только раз залез... Вторая группа инвалидности... Звонит часто мне. Связи не теряем, держимся друг за друга, за свою память, она будет жить столько, сколько мы проживем. Так и напишите...

В газетах вранье... Нигде не читал, как шили мы себе кольчуги... Рубашки свинцовые... Трусики... Нам выдавали резиновые халаты, напыленные свинцом. Но плавочки варганили себе свинцовые... За этим делом следили. В одной деревне нам показали два тайных дома свидания... Мужчины, оторванные от дома, шесть месяцев без женщин, экстремальная ситуация. Все наезжали. А девчонки местные гуляли, все равно, плакали, скоро умрем. Плавочки свинцовые... Одевались поверх штанов... Напишите... Анекдоты травили. Вот, пожалуйста. Американский робот отправили на крышу, пять минут поработал –

стоп. Японский робот пять минут поработал – стоп. Русский робот два часа работает. Команда по рации: «Рядовой Иванов, через два часа можете спуститься вниз на перекур». Ха-ха!.. (Смеется.)

Перед тем как нам выходить на реактор, командир инструктирует... Строй стоит... Несколько ребят взбунтовались: «Мы уже там были, нас домой должны отправить». Мое, например, дело – топливо, бензин, а меня тоже на крышу посылали. Но я молчал. Я сам хотел. А эти взбунтовались. Командир: «У нас на крышу пойдут добровольцы, остальные шаг из строя, с вами проведет беседу прокурор». Ну, эти ребята постояли, посоветовались и согласились. Присягу принимал, значит, должен, знамя целовал... Мне кажется, никто из нас не сомневался, что могут посадить и дать срок. Слух просочился, что два-три года дают. Если солдат получал больше двадцати пяти рентген, то командира могли посадить за то, что облучил личный состав. Ни у кого больше двадцати пяти рентген... У всех меньше... Понимаете? Но люди мне нравились. Двое заболели, нашелся один, сам сказал: «Давайте я». А он уже один раз на крыше был в этот день. Зауважали. Премия – пятьсот рублей. Другой яму наверху долбил, пора уходить – долбит. Мы ему машем: «Вниз!» А он на колени упал и добывает. Крышу надо было пробить в этом месте, чтобы желоб вставить, мусор спускать. Пока не пробил – не встал. Премия – тысяча рублей. За эти деньги тогда можно было купить два мотоцикла. У него сейчас первая группа инвалидности... Но за страх платили сразу...

Дембель. Погрузились в машины. Сколько ехали по зоне, столько сигналили. Я оглядываюсь на те дни... Я был рядом с чем-то... С чем-то фантастическим. Слов не хватает... А вот эти слова: «гигантский», «фантастический», – они всего не передают. Было такое чувство... Какое? Такое чувство я не испытывал даже в любви...»

*Александр Кудрягин, ликвидатор*

### **Монолог о том, что к обыденной жизни надо нечто прибавить для того, чтобы ее понять**

«Вам нужны факты, подробности тех дней? Или моя история? Например, я никогда не занимался фотографией, а там вдруг начал



снимать, со мной случайно оказался фотоаппарат. Так, думал, для себя. А теперь это – моя профессия. Я не смог освободиться от новых чувств, которые испытал, это были не краткие переживания, а целая душевная история. Понимаете?

*(Говорит и раскладывает на столе, стульях, подоконнике фотографии: гигантский, величиной с колесо телеги, подсолнух; аистиное гнездо в пустой деревне, одинокое деревенское кладбище с табличкой у ворот: «Высокая радиация. Вход и взезд запрещен», детская коляска во дворе дома с забитыми окнами, на ней сидит ворона, как над своим гнездом, древний клин журавлей над одичавшими полями...)*

Спрашивают: «Почему не снимаешь на цветной пленке? В цвете!» Но ведь Чернобыль... Черная быль... Остальные краски не существуют... Моя история? Комментарий к этому... *(Показывает на фотографии.)* Хорошо. Попробую. Понимаете, все это есть здесь... *(Снова показывает на фотографии.)* В то время я работал на заводе, а заочно учился в университете на историческом. Слесарь второго разряда. Нас набрали группу и срочным порядком отправили. Как на фронт.

- Куда едем?
- Куда прикажут.
- Что будем делать?
- Что прикажут.
- Но мы – строители.
- Вот и будете строить. Отстраивать.

Строили подсобные помещения: прачечные, склады, навесы. Меня поставили на разгрузку цемента. Какой цемент, откуда, – никто не проверял. Загружали, выгружали. День гребешь лопатой, к вечеру одни зубы блестят. Человек из цемента. Серый. И сам, и спецовка насквозь. Вечером ее вытряхнул, понимаете, а утром снова надел. Проводили с нами политбеседы. Герои, подвиг, на переднем крае... Военная лексика... Что такое бэр? Кюри? Что такое миллирентген? Задаем вопросы, командир объяснить не может, в военном училище его этому не учили. Милли, микро... Китайская грамота. «Зачем вам знать? Выполняйте, что прикажут. Тут вы – солдаты». Мы – солдаты, но не эки.

Прибыла комиссия. «Ну, – успокаивают, – у вас все нормально. Фон нормальный. Вот километра четыре отсюда, там жить нельзя,

людей будут выселять. А у вас спокойно». С ними дозиметрист, он возьми и включи ящик, который висел у него на плече, и длинным этим шестом – по нашим сапогам. И как отпрыгнет в сторону, – произвольная реакция...

Вот тут начинается самое интересное, для вас, как писателя, особенно. Как долго, вы думаете, мы вспоминали об этом моменте? От силы несколько дней. Ну, не способен наш человек думать только о себе, о собственной жизни, быть замкнутой такой системой. Политики наши не способны думать о ценности жизни, но и сам человек тоже. Понимаете? Не так мы устроены. Из другого теста. Конечно, все мы там пили, и притом здорово пили. К ночи трезвых не оставалось. После первых двух рюмок кто-то затоскует, вспомнит о жене, о детях, о своей работе расскажет. Начальство выматерит. Но потом, после одной-двух бутылок... Разговоры только о судьбе страны и об устройстве Вселенной. Споры о Горбачеве и Лигачеве. О Сталине. Великая мы держава или нет, победим или не победим американцев? Восемьдесят шестой год... Чьи самолеты лучше, а космические корабли надежнее? Ну, Чернобыль взорвался, но наш человек первым вырвался в космос! Понимаете, до хрипоты, до утра. О том, почему у нас нет дозиметров и не дают каких-нибудь порошков на всякий случай? Нет стиральных машин, чтобы спецовки стирать каждый день, а не два раза в месяц? – это обсуждалось в последнюю очередь. Вскользь. Ну, так мы, понимаете, устроены. Черт возьми!

Водка ценилась дороже золота. Купить невозможно. В деревнях вокруг выпили все: водку, самогон, лосьон, добрались до лаков, аэрозолей... На столе – трехлитровая банка с самогоном или сетка с одеколоном «Шипр»... И разговоры, разговоры. Среди нас были учителя, инженеры... Полный интернационал: русские, белорусы, казахи, украинцы. Философские разговоры... О том, что мы – пленники материализма, а материализм ограничивает нас предметным миром. Чернобыль – выход в бесконечность. Я помню, как дискутировали о судьбах русской культуры, о ее тяге к трагическому. Без тени смерти ничего нельзя понять. Только на почве русской культуры и можно будет осмыслить катастрофу... Только она к этому готова... Боялись бомбы, атомного гриба, а вон как обернулось... Знаем, как горит дом от спички или снаряда... Ну, а это ни на что было не похоже... Доходили слухи, что огонь неземной, даже не огонь, а свет. Мерцание. Си-

яние. Не синь, а голубизна. И не дым. Ученые раньше восседали на месте богов, а теперь – падшие ангелы. Демоны! Человеческая природа как была, так и осталась для них тайной. Я – русский, с Брянщины. У нас сидит, понимаете, старик на пороге, дом покосился, скоро развалится, а он философствует, мир переустраивает. А мы – под самым реактором...

К нам залетали газетные репортеры. Снимали. Сюжеты надуманные. Снимают окно оставленного дома, кладут перед ним скрипку... И называют – чернобыльская симфония. А там ничего не надо было придумывать. Хотелось оставить в памяти все: раздавленный трактором глобус в школьном дворе, почерневшее выстиранное белье, которое висит уже который месяц на балконе, брошенные братские могилы... Трава на них в рост с гипсовыми солдатами – памятниками, а на гипсовых автоматах – птичьи гнезда. Двери дома выбиты, уже его общарили мародеры, а занавески на окнах задернуты. Люди ушли, остались жить их фотографии в хатах. Как их души. Не было ничего неважного, мелкого. Все хотелось запомнить точно и подробно: время дня, когда это увидел, цвет неба, свои ощущения. Понимаете? Человек уехал из этих мест навсегда. Мы – первые люди, пережившие это «навсегда». Нельзя упустить ни одной мелочи... Лица старых крестьян, похожие на иконы... Им меньше всего понятно то, что случилось. Они никогда не покидали свой двор, свою землю. Появлялись на свет, любили, добывали хлеб насущный в поте лица своего, продлевали род... Дожидались внуков... И, прожив жизнь, покидали эту землю, уходя в нее, становясь ею. Белорусская хата! Это для нас, горожан, дом – машина для жизни. А для них – целый мир. Космос. Едешь через пустые деревни... И так хочется встретить человека... Разграбленная церковь... Мы зашли: пахло воском. Захотелось помолиться...

Я хотел все это запомнить. Я стал фотографировать... Это – моя история...

Недавно похоронил друга, с которым был там. Он умер от рака крови. Поминки. По славянскому обычаю выпили, закусили, понимаете. И начались разговоры, до полуночи. Сначала о нем, об ушедшем. А потом? А потом опять о судьбах страны и об устройстве Вселенной. Уйдут русские войска из Чечни или не уйдут? Начнется вторая кавказская война или она уже идет? Какие шансы у Жириновского стать президентом? Какие у Ельцина? Об английской короне и прин-

цессе Диане. О русской монархии. О Чернобыле. Теперь уже разные догадки... Одна из них, что инопланетяне знали о катастрофе и помогли нам, другая – это был космический эксперимент, и через какое-то время начнут рождаться дети с гениальными способностями. А может, белорусы исчезнут, как некогда исчезли другие народы: скифы, хазары, сарматы, киммерийцы, хуастеки? Мы – метафизики... Живем не на земле, а в мечтах, в разговорах. К обыденной жизни нам надо нечто прибавить, чтобы ее понять. Даже рядом со смертью...»

*Виктор Латун, фотограф*

### **Монолог об уродце, которого все равно будут любить**

«Моя дочка недавно сказала: «Мама, если я рожу уродца, я все равно буду его любить». Вообразите себе?! Она учится в десятом классе, а у нее уже такие мысли. Ее подружки... Они все об этом думают... У наших знакомых родился мальчик... Ждали его, первый ребенок. Красивая молодая пара. А у мальчика рот до ушей, а ушек нет... Я не хожу к ним, не навещаю, как раньше, не могу, а дочка нет-нет, да и забежит. Ей хочется туда, она то ли приглядывается, то ли примеряется...

Могли бы уехать отсюда, но поразмыслили с мужем и отказались. Боимся. Мы все тут – чернобыльцы. Не пугаемся друг друга, если кто-то угощает яблоками или огурцами со своего сада и огорода, берем их и едим, не прячем стыдливо в карман. В сумочку, чтобы потом выбросить. Мы – с одной памятью... С одинаковой судьбой... А везде, в любом другом месте мы – чужие. Прокаженные. Все привыкли к словам: «чернобыльцы», «чернобыльские дети», «чернобыльские переселенцы»... Но вы ничего о нас не знаете. Вы боитесь нас... Наверное, если бы нас не выпускали отсюда, поставили милицейские кордоны, многие бы из вас успокоились. *(Останавливается.)* Не доказывайте обратное. Не убеждайте. Я это пережила... В первые дни... Схватила дочку и ринулась в Минск, к сестре... Моя родная сестра нас не пустила в дом, потому что у нее был маленький ребенок, кормила грудью. Вообразите себе? И мы ночевали на вокзале. Сумасшедшие мысли приходили в голову... Куда нам бежать? Может, лучше покончить с

собой, чтобы не мучиться... Это же первые дни... Все представляли себе какие-то страшные болезни. Невообразимые. А я ведь врач. Можно только догадываться, что творилось с другими... Я смотрю на наших детей: куда бы они ни поехали, они чувствуют себя чужими среди своих сверстников... В пионерском лагере, где моя дочь один год отдыхала, к ней боялись прикоснуться: «Чернобыльский ежик. Светлячок. Она в темноте светится». Звали вечером во двор, чтобы проверить, светится или не светится...

Вот говорят – война... Военное поколение... Сравнивают... Военное поколение? Да оно же счастливое! У них была победа. Они победили! Это дало им мощную энергию жизни, если пользоваться сегодняшними терминами, сильнейшую установку на выживание. Они ничего не боялись. Хотели жить, учиться, рожать детей. А мы? Мы всего боимся... Боимся за детей... За внуков, которых еще нет... Их нет, а нам уже страшно... Люди меньше улыбаются, не поют, как раньше пели на праздники. Не только ландшафт меняется, когда вместо полей опять поднимаются леса, кустарники, но и национальный характер. У всех депрессия... Чувство обреченности. Чернобыль – метафора. Символ. И наш быт, образ мышления...

В другой раз думаю, что лучше бы вы о нас не писали. Тогда бы нас меньше боялись. Не говорят же в доме ракового больного о его страшной болезни. А в камере пожизненного заключения никто не вспоминает о сроке...»

*Надежда Афанасьевна Буракова,  
жительница городского поселка Хойники*

## **Монолог о немом солдате**

«В самую зону я больше не поеду, а раньше меня тянуло... Если я буду это видеть, думать об этом, я заболела и умру. Помните, был фильм «Иди и смотри». Я не смогла его досмотреть, я потеряла сознание. Там убивали корову. У нее зрачок на весь экран. Как убивали людей, я уже не видела... Нет!! Искусство – это любовь, абсолютно в этом убеждена! Не хочу включать телевизор, читать сегодняшние газеты. Там убивают, убивают... В Чечне, в Боснии... Теряю рассудок, у меня

портится зрение. Банальность ужаса... Сегодняшний ужас на экране страшнее вчерашнего. Иначе уже не страшно. Мы перешли черту...

Вчера еду в троллейбусе. Сценка: мальчик не уступил место старику. Тот его увещевает:

- Будешь старый, тебе тоже не уступят.
- А я никогда старым не буду, – отвечает мальчик.
- Почему?
- Мы все скоро умрем.

Вокруг разговоры о смерти. Дети думают о смерти. Но это то, над чем в конце жизни задумываются, а не в начале.

Я вижу мир в сценках... Улица для меня – театр, дом – театр. Никогда не запоминаю событие целиком. А в деталях, жестах...

Все перепуталось в моей памяти, перемешалось. То ли из кино, из газет... То ли я это где-то видела, слышала, подсмотрела?

Вижу: бредет по заброшенной деревенской улице сумасшедшая лиса. Тихая, ласковая. Как ребенок... Ластится к одичавшим котам, курам...

Тихо. И вдруг среди этой тишины странная человеческая речь: «Гоша хороший. Гоша хороший». Качается на старой яблоне поржавевшая клетка с открытой дверцей. Домашний попугай сам с собой разговаривает.

Зачем я это собираю, коплю? Я никогда не поставлю спектакль о Чернобыле, как не поставила ни одного спектакля о войне. У меня никогда не будет на сцене мертвого человека. Даже мертвого ежика или птицы. В лесу подошла к сосне, что-то белое... Думала: грибы, а это мертвые воробьи грудками вверх. Там, в зоне... Я не понимаю – смерть. Я перед ней останавливаюсь, чтобы не сойти с ума. Войну надо показывать так страшно, чтобы человека вырвало. Чтобы он заболел... Это не зрелище...

В те первые дни... Еще не было показано ни одного снимка, а я себе уже представляла: обвалившиеся перекрытия, разрушенные стены, дым, битые стекла. Куда-то увозят притихших детей. Вереницы машин. Взрослые плачут, а дети нет. Еще ни одной фотографии не напечатали... Наверное, если расспросить людей, другого образа апокалипсиса у нас нет: взрыв, пожар, трупы, паника. Как то, что я помню из детства... *(Замалкает.)* Но об этом потом... Отдельно... Произошло что-то другое... Это другой страх... Его не слышно, не видно,

ни запаха, ни цвета, а физически и психически мы меняемся. Меняется формула крови, меняется генетический код, меняется ландшафт... И что бы мы ни думали, ни делали... Вот я утром встаю, пью чай... Иду на репетицию... К студентам... А это надо мной висит. Как знак. Как вопрос. Мне не с чем это сравнить. Из детства я помню что-то совсем непохожее...

Я видела всего лишь один хороший фильм о войне. Забыла название. Фильм о немом солдате. Он молчал весь фильм. Вез беременную немку, беременную от русского солдата. И родился ребенок, он родился в дороге, на телеге. Он его поднял на руках и держит, и ребенок писает на его автомат... Мужчина смеется... Это у него как речь, этот его смех. Он смотрит на ребенка, на свой автомат и смеется...  
Конец фильма.

В фильме нет русских, нет немцев. Есть чудовище – война. Но теперь, после Чернобыля, все изменилось. И это тоже. Изменился мир, он теперь не кажется вечным, каким был еще недавно. Земля вдруг стала маленькая. Мы лишились бессмертия, – вот что с нами случилось. А по телевизору я вижу, как каждый день убивают. Стреляют. Сегодня стреляют люди без бессмертия... Один человек убивает другого человека... После Чернобыля...

Что-то очень смутно, как бы издали... Мне было три года, когда нас с мамой вывезли в Германию... В концлагерь... Я помню все – красивое... Может быть, мое зрение так устроено. Высокая гора... Пал то ли дождь, то ли снег. Огромным черным полукругом стояли люди, у всех номера. Номера на ботинках... Так четко, ярко-белой краской на ботинках... На спинах... Везде номера, номера... Колочая проволока. На вышке стоит человек в каске, бегают собаки, лают громко-громко. И никакого страха. Два немца, один большой, толстый в черном, а второй маленький – в коричневом костюме. Тот, который в черном, показывает куда-то рукой... Из темного полукруга выходит черная тень и становится человеком. Немец в черном начинает его бить...

Помню высокого красивого итальянца... Он все время пел...

У меня были этюды о войне. Я пробовала. Ничего не получилось. Я никогда не поставлю спектакль о войне, Он у меня не получится.

В чернобыльскую зону мы повезли веселый спектакль «Дай воды, колодец». Сказку. Приехали в райцентр Хотимск. Там есть сиротский

дом, для детей-сирот. Их никуда не вывезли.

Антракт: Они не хлопают. Не встают. Молчат. Второе отделение. Кончился спектакль. Опять не хлопают. Не встают. Молчат.

Мои студенты в слезы. Собрались за кулисами: что с ними? Потом мы поняли: они верили во все, что происходило на сцене. Там весь спектакль ждуг чуда. Обычные дети, домашние дети, понимали, что это – театр. А эти ждали чуда...

У нас, у белорусов, никогда не было вечного. Мы не имели даже вечной земли, все время ее кто-то забирал, сметал наши следы. И мы не могли жить вечным, как в Ветхом завете написано: этот породил того-то, тот того-то. Мы не знаем, что с этим вечным делать, мы не умеем с ним жить. Не способны его осмыслить. А оно, наконец, даровано нам. Наше вечное – это Чернобыль. Вот оно у нас появилось... И мы? Мы смеемся... Люди сочувствуют человеку, у которого сгорел дом, сарай... Все сгорело... А он в ответ: «Ну, а зато, сколько мышей ляснуло!» – и шапку об пол. В этом весь он – белорус!

А наши боги не смеются. Наши боги – мученики. Это у древних греков были смеющиеся боги, веселые. А что, если фантазии, сновидения, анекдоты, – это тоже тексты? О том, кто мы? Но мы не умеем их читать... Я везде слышу одну мелодию... Она тянется, тянется... Не мелодия, не песня, а голошение. Это запрограммированность нашего народа на любую беду. Неуходящее ожидание беды. А счастье? Счастье – вещь временная, нечаянная. Народ говорит: «Одна беда – не беда», «от беды кием не оборонишься», «что ни мах, то все беда на зубах», «не до коляды, когда полна хата беды». Кроме страдания, у нас ничего другого нет. Нет другой истории, нет другой культуры...

А мои студенты влюбляются, рожают детей. Но они у них тихие, слабые. После войны я вернулась из концлагеря... Выжила... Тогда надо было только выжить. Я могла вместо воды есть снег, летом не вылезать из речки, нырять по сто раз. Их дети не могут есть снег. Даже самый чистый, самый белый снег...»

*Лилия Михайловна Кузменкова,  
преподаватель Могилевского  
культурно-просветучилища, режиссер*



## Монолог о вечном и проклятом: что делать и кто виноват?

«Я – человек своего времени. Модно... Безопасно нас нынче ругать... Все коммунисты – преступники. Сейчас мы отвечаем за все, даже за законы физики. Я был тогда первым секретарем райкома партии. В газетах пишут. Это они, мол, коммунисты, виноваты: строили плохие, дешевые атомные станции: сэкономили, а человеческие жизни не считали. Человек для них – песок, навоз истории. Ату их! Ату! Проклятые вопросы: что делать и кто виноват? Вечные. Неизменные. Все в нетерпении, в жажде мщения, крови. Ату их! Ату!

Другие молчат, а я скажу... Вы пишете... Ну, не конкретно вы, а в газетах пишут – коммунисты обманывали народ, скрывали от него правду. Но мы должны были... Телеграммы из цеха, из обкома партии... Перед нами поставили задачу: не допустить паники. Паника, действительно, страшная вещь. Только во время войны так следили за сводками с фронта, как тогда за сообщениями из Чернобыля. Страх. Слухи. Люди были убиты не радиацией, а событием. Мы должны были... Нельзя сказать, что сразу все скрывали, никто не понимал масштабов происходящего. Руководствовались высшими политическими соображениями. Но если отбросить эмоции, политику отбросить... Надо признать, что никто не верил в то, что случилось. Ученые, и те не могли поверить! Ни одного похожего примера... Не только у нас, но и во всем мире... Ученые там, на месте, на самой станции изучали обстановку, и тут же принимали решения. Я недавно смотрел передачу «Момент истины» с Александром Яковлевым, член Политбюро, главный идеолог партии в те времена. Рядом с Горбачевым... Что он вспоминает? Они там, наверху, тоже не представляли всей картины... На заседании Политбюро кто-то из генералов объяснял: «А что радиация? На полигоне... После атомного взрыва... Вечером выпили по бутылке красного вина. И нам ничего». Говорили о Чернобыле как об аварии, обыкновенной аварии...

Заяви я тогда, что людей нельзя выводить на улицу. «Вы что, хотите сорвать Первомай?» Политическое дело. Партбилет на стол... *(Немного успокаивается.)* Не анекдот, я думаю, а правда. Быль. Рассказывают, что председатель Правительственной комиссии Щербина, прибывший на станцию в первые дни после взрыва, потребовал сра-

зу же отвезти его к месту происшествия. Ему объясняют: графитные завалы, бешеные радиационные поля, высокая температура – туда нельзя. «Я должен увидеть все собственными глазами, – кричал он на подчиненных. – Мне вечером докладывать на Политбюро». Военный стереотип поведения. Другого не знали... Не понимали, что есть физика... Цепная реакция... И никакие приказы и правительственные постановления ее не изменят. Но заяви я тогда? Попробуй отменить первомайскую демонстрацию? *(Вновь начинает горячиться.)* В газетах пишут... Как будто народ был на улицах, а мы в подземных бункерах сидели?! Я стоял на трибуне два часа под этим солнцем... Без головного убора, без плаща... И на Девятое мая... В день Победы... Шел с ветеранами... Играла гармошка. Плясали. Выпивали. Мы все были частью этой системы. Верили! Верили в высокие идеалы. В победу! Победим и Чернобыль! Взахлеб читали о героической борьбе по укрощению реактора, который вышел из-под власти людей. Человек без идеалов? Это тоже страшно... Что сейчас творится... Развал. Безвластие. Нужны идеалы... Только тогда будет сильное государство. Высокие идеалы! Они у нас были.

В газетах... На радио и телевидении кричали: правду, правду!! На митингах требовали: правду! Плохо, очень плохо... Очень плохо! Мы скоро все умрем! Кому она нужна, такая правда? Когда в Конвент ворвались толпы и требовали казни Робеспьера, они разве были правы? Подчиниться толпе, стать толпой... Оглянитесь вокруг... Посмотрите, что сейчас происходит? *(Молчит.)* Если я – преступник, то почему моя внучка... Мое дитя... Она тоже больна... Дочь родила ее в ту весну, привезла к нам в Славгород в пеленочках. В коляске. Они приехали через несколько недель после взрыва на станции... Вертолеты летают, военные машины на дорогах... Жена просила: «Надо их отправить к родственникам. Увезти отсюда». Я был первым секретарем райкома партии... Я категорически запретил: «Что люди подумают, если я свою дочь с маленьким ребенком увезу? Их же дети здесь остаются». Тех, кто удирал, спасал свою шкуру... Я вызывал их в райком, на бюро: «Ты коммунист или не коммунист?» Люди проверялись. Если я преступник, то почему я убивал собственного ребенка? *(Дальше бессвязно.)*

Вы просили рассказать о первых днях... На Украине – тревога, а у нас в Беларуси все спокойно. Посевная в разгаре. Я не прятался, не отсиживался в кабинетах, а мотался по полям, лугам. Пахали, сеяли.

Вы забыли, что до Чернобыля атом называли мирным тружеником, гордились: живем в атомной эре. Атомного страха не помню... Ну, что такое – первый секретарь райкома партии? Обычный человек с обычным институтским дипломом, чаще всего инженера или агронома. Кто-то окончил еще высшую партийную школу. Я знал о радиации то, что нам успели рассказать на курсах гражданской обороны. Там я не слышал ни слова о цезии в молоке, о стронции... Мы везли молоко с цезием на молокозаводы. Сдавали мясо. Косили сорокакюриевую траву. Выполняли планы... Я их выколачивал. Планы с нас никто не снимал...

Один штрих... О том, какие мы были тогда... В те первые дни люди испытывали не только страх, но и подъем. Я – человек, у которого отсутствует инстинкт самосохранения. *(Подумав.)* Сильно развито чувство долга... У меня на столе лежали десятки заявлений с просьбой: «Прошу направить в Чернобыль». Добровольцы. Чтобы вы там ни писали, но был он, советский характер. И был он, советский человек. Что бы вы ни писали...

Приезжали к нам ученые, они спорили до крика. До хрипоты. Подхожу к одному: «Наши дети в радиационном песке копаются?» А он мне в ответ: «Паникеры! Дилетанты! Что вам о радиации известно? Я – ядерщик. Вот произошел атомный взрыв. Через двадцать минут я ехал к эпицентру на узике. По плавленной земле. Что вы панику поднимаете?» Я им верил. Я вызывал к себе в кабинет людей: «Братцы! Я убегу, вы убежите. Что люди о нас подумают? Скажут, что коммунисты дезертировали?» Если не убеждал словами, чувствами, действовал иначе: «Ты патриот или не патриот? Если нет – клади на стол партбилет. Бросай!» Некоторые бросали...

Что-то стал подозревать... Заключили мы договор с Институтом ядерной физики на обследование наших земель. Они берут траву, берут пласты чернозема и везут туда, к себе в Минск. Проводят там анализы. А потом звонят мне: «Организуйте, пожалуйста, транспорт, чтобы забрать вашу почву назад». – «Вы что, шутите? До Минска четыреста километров... – У меня трубка из рук чуть не выпала. – Везти землю назад?» – «Нет, не шутим, – отвечают мне. – У нас эти пробы по инструкции подлежат захоронению в могильнике, в подземном железобетонном бункере. Со всей Беларуси к нам везут. За месяц имеющуюся емкость до отказа заполнили». Вы слышали? А мы на

этой земле пашем, сеем. На ней наши дети играют... С нас требуют пшаны по молоку и мясу. Из зерна гнали спирт. Яблоки, груши, вишни шли на соки...

Эвакуация... Если бы кто-нибудь посмотрел сверху, подумал бы, что началась третья мировая война... Одну деревню вывозят, а другую предупреждают: эвакуация через неделю! И всю эту неделю там скирдуют солому, косят траву, копаются на огородах, дрова колют... Жизнь как жизнь. Люди не понимают, что происходит. А через неделю их увозят на военных машинах... Совещания, командировки, качки, бессонные ночи. Столько всего было. Возле горкома партии в Минске, помню, стоит человек с плакатом: «Дайте народу йода». Жарко. Он в плаще...

*(Возвращается к началу нашего разговора.)*

Вы забыли... Тогда... Атомные станции – это будущее... Я не раз выступал... Пропагандировал... Я был на одной атомной станции: тихо, торжественно. Чисто. В углу – красные знамена и вымпелы «Победитель социалистического соревнования». Наше будущее...

Я – человек своего времени... Я – не преступник...»

*Владимир Матвеевич Иванов,  
бывший первый секретарь  
Славгородского райкома партии*

## **Монолог защитника советской власти**

«Что вы тут записываете? Кто вам разрешение дал? Фотографируете... Уберите свою цацку... Схуйте. А то разобью. Понимаешь ты, приехали... Мы живем. Страдаем. А вы людей с толку сбиваете... Бунтуете... Выпытываете не то, что надо. Нет сейчас порядка! Порядка нет! Понимаешь ты, приехали... С магнитофоном...

Да, я защищаю! Я советскую власть защищаю. Нашу власть. Народную! При советской власти мы были сильными, нас все боялись. Весь мир на нас глядел! Кого трясло от страха, кто завидовал. Б..ь! А что теперь? Сейчас? При демократии... «Сникерс» и маргарин залежалый к нам везут, ношенные джинсы, как туземцам, которые недавно с дерева слезли. С пальмы. За державу обидно! Понимаешь ты, приеха-

ли... Такая была держава! Б...ь! Пока Горбачев не взлетел... На царство... Черт с метиной! Горби... Горби действовал по их планам, по планам цээр-у... Что вы мне тут доказываете? Понимаешь ты... Они Чернобыль взорвали... Цэрэушники и демократы... Я в газетах читал... Не взорвался бы Чернобыль, держава бы не рухнула. Великая держава! Б...ь! Понимаешь ты... Булка хлеба при коммунистах стоила двадцать копеек, а сейчас – две тысячи. Я за три рубля покупал бутылку... Еще на закуску хватало... А при демократах? Распродали все! Заложили! Наши внуки не рассчитаются...

Я – не пьяный, я – за коммунистов! Они были за нас, за простых людей. Сказок мне не надо! Демократия... Свободный человек... Б...ь! А помри этот свободный человек, его похоронить не на что. У нас померла бабка. Одинокая, без детей. Два дня, бедная, в хате лежала... В старой фуфайке... Под образами... Гроб не могли купить... Стахановка когда-то, звеньевая. Мы два дня не выходили в поле. Митинговали. Б...ь! Пока председатель колхоза не выступил... Перед народом... И не пообещал, что теперь, когда помрет человек, колхоз выделяет бесплатно: деревянный гроб, труну, по-нашему, теленка или поросенка и два ящика водки на поминки. При демократах... Два ящика водки... Бесплатно! Бутылка на одного мужика – пьянка, полбутылки – лечение... Нам от радиации...

Почему вы это не записываете? Мои слова. А записываете только то, что вам выгодно. Людей с толку сбиваете... Бунтуете... Политический капитал нужен? Карманы долларами набить? Мы тут живем... Страдаем... А виноватых нету! Назовите мне виноватых! Я за коммунистов! Они вернуться и тут же найдут виноватых... Б...ь! Понимаешь ты, приезжают... Записывают...»

*(Фамилию не назвал.)*

### **Монолог о том, как два ангела встретили маленькую Оленьку**

«У меня есть материал... Семь лет собирала – газетные вырезки, свои заметки. У меня есть цифры. Я вам все отдам... Я никогда уже не отойду от этой темы, но сама написать не смогу. Я могу бороться: организовываю...»

вать демонстрации, пикеты, добывать лекарства, навещать больных детей, – но не писать. Возьмитесь... А у меня самой столько чувств, что я с ними не справлюсь, они меня парализуют. Чернобыль имеет уже своих сталкеров... Своих писателей... Но я не хочу войти в круг тех, кто эксплуатирует эту тему. Если писать честно? *(Задумывается.)*

Тот апрельский теплый дождь... Семь лет я помню этот дождь... Дождинки скатывались, как ртуть. Говорят, что радиация бесцветная? Но лужи стояли зеленые или ярко-желтые. Соседка шепотом сообщила, что по радио «Свобода» передали об аварии на Чернобыльской атомной станции. Я не придала этому никакого значения. Абсолютная уверенность, что если бы что-то серьезное, нас бы оповестили. Есть специальная техника, специальная сигнализация, бомбоубежища. Нас предупредят. Мы были в этом уверены! Все учились на курсах гражданской обороны. Я сама там проводила занятия... Но вечером того же дня соседка принесла какие-то порошочки. Дал их ее родственник, объяснил, как принимать (он работал в Институте ядерной физики), но взял слово, что она будет молчать. Как рыба! Как камень! Особенно он боялся разговоров и вопросов по телефону...

У меня в это время жил маленький внук... А я? Я все равно не поверила. По-моему, никто из нас эти порошочки непил... Мы были очень доверчивы... Не только старшее поколение, но и молодые...

Вспоминаю первые впечатления, первые слухи... Перехожу из одного времени в другое, из одного состояния в другое... Отсюда – туда... Как пишущий человек, я задумывалась над этими переходами, они меня интересовали. Во мне словно бы два человека – дочернобыльский и чернобыльский. Но вот это «до» сейчас трудно восстановить с полной достоверностью. Мое зрение поменялось...

Я ездила в зону с первых дней... Помню, остановились в какой-то деревне, что меня поразило – тишина! Ни птиц, ничего... Идешь по улице... Тишина. Ну, ладно, хаты вымерли, людей нет, уехали, но все вокруг смолкло, ни одной птицы...

Приехали мы в деревню Чудяны – сто сорок девять гектары... В деревне Малиновка – пятьдесят девять гектары... Население получало дозы в десятки тысяч раз больше тех, что получают солдаты, охраняющие районы испытаний ядерных бомб. Ядерные полигоны. В десятки тысяч раз! Дозиметр трещит, его зашкаливает... А в колхозных конторах

висят объявления, подписанные районными радиологами, что лук, салаты, помидоры, огурцы, – все можно есть. Все растет, все едят.

Что они сейчас говорят, эти районные радиологи? Секретари райкомов партии? Как оправдываются?

Во всех деревнях мы встречали много пьяных людей. Ходили под хмельком даже женщины, особенно доярки, телятницы.

В той же деревне Малиновка (Чериковский район) зашли в детский садик. Дети бегают по двору... Копаются в песочнице... Заведующая объясняет, что песок меняют каждый месяц. Откуда-то привозят. Можно представить, откуда его могли привезти! Дети печальные... Мы шутим, они не улыбаются... Воспитательница заплакала: «Не старайтесь. Наши дети не улыбаются. А во сне они плачут». Встретили на улице женщину с новорожденным. «Кто вам разрешил здесь рожать? Пятьдесят девять кюри...» – «Врач-радиолог приезжала. Советовала только не сушить пеленки на улице». Людей уговаривали не уезжать, оставаться. Планы выполнять... Даже когда деревню отселили... Эвакуировали... Все равно привозили людей на сельхозработы. Убивать картошку...

Что они сейчас говорят? Секретари райкомов и обкомов? Как оправдываются?

Я сохранила много инструкций... Совершенно секретных... Я все их вам отдам... Напишите честную книгу... Инструкция по обработке зараженных куриных тушек... В цехе по их обработке требовалось быть одетым, как на загрязненной территории при контакте с радиоактивными элементами: в резиновых перчатках и резиновых халатах, сапогах и прочее. Если там столько-то кюри, надо поварить в соленой воде, слить воду в канализацию, а мясо добавить в паштеты, колбасы. Если столько-то кюри – в костную муку, для корма скоту... Так выполнялись планы по мясу. Из зараженных районов телят по дешевке продавали в другие места. В чистые. Водители, которые возили таких телят, рассказывали, что телята были смешные – шерсть до самой земли, и такие голодные, что ели все – и тряпки, и бумагу. Их кормить было легко! Продавали в колхозы, но если кто хотел – мог взять себе. В свое хозяйство. Уголовные дела! Уголовные!!

Встретили на дороге машину... Грузовая машина шла медленно, как на похоронах... С покойником... Остановили. За рулем – молодой парень. Спрашиваю: «Тебе, наверное, плохо, что так медленно

едешь?» – «Нет, я везу радиоактивную землю». А жара! Пыль! «Ты с ума сошел! Тебе еще жениться, детей растить». – «А где я еще заработаю пятьдесят рублей за одну езду?» За пятьдесят рублей по тем ценам можно было купить хороший костюм. И о доплатах говорили больше, чем о радиации. О доплатах и каких-то мизерных надбавках... Мизерных с точки зрения цены жизни...

Трагическое и смешное рядом...

Сидят бабки на скамейках возле дома. Дети бегают. Мы замеряли – семьдесят кюри...

– Откуда дети?

– Из Минска на лето приехали.

– Так у вас же большая радиация!

– Что ты нам расписываешь етую радиацию! Мы ее бачили.

– Так ее увидеть нельзя!

– Вон, глянь: хата недостроенная стоит, люди кинули и поехали. Страх набралась. А мы вечером пошли и глядим... В окно глядим... А она под балкой сидит, етая радиация. Злая-злая, и глаза блестят... Черная-черная...

– Быть не может!

– Вот мы тебе поклянемся. Перекрестимся!

Крестятся. Весело крестятся. Смеются то ли над собой, то ли над нами?

Соберемся после поездок в редакции. «Ну, как дела?» – спрашиваем друг у друга. «Все нормально!» – «Все нормально? Посмотри на себя в зеркало, ты седой приехал!» Анекдоты появились. Чернобыльские анекдоты. Самый короткий: «Хороший был народ – белорусы».

А вам кто-нибудь рассказывал, что фотографировать возле реактора было строго запрещено. Только по спецразрешению. Забирали фотоаппараты. Перед отъездом солдат, служивших там, обыскивали, как в Афганистане, чтобы, не дай Бог, никакого снимка. Никакой улики. У телевизионщиков забирали пленки в кэгэбэ. Возвращали засвеченными. Сколько документов уничтожено. Свидетельств. Они потеряны для науки. Для истории. Найти бы тех, кто приказывал это делать... Чтобы они сейчас придумывали? Как оправдывались?

Я никогда их не оправдаю... Никогда!!! Только из-за одной той девочки... Она танцевала в больнице... Танцевала «полечку»... Ей лет девять. Так красиво танцевала... Через два месяца позвонила ее мама:



«Оленька умирает!» И у меня не хватило сил пойти в тот день в больницу. А потом уже было поздно. У Оленьки была младшая сестренка. Она проснулась утром и говорит: «Мамочка, я во сне видела, как прилетели два ангела и забрали нашу Оленьку. Они сказали, что Оленьке будет там хорошо. У нее ничего не будет болеть. Мамочка, нашу Оленьку забрали два ангела...»

Я никого не могу оправдать».

*Ирина Киселева, журналистка*

### **Монолог о безмерной власти одного человека над другим человеком**

«Я – не гуманитарий, я – физик. Поэтому факты, только факты...

За Чернобыль когда-нибудь придется отвечать... Наступит такое время, что придется отвечать, как за тридцать седьмой год. Пусть через пятьдесят лет! Пусть старые... Пусть мертвые... Они – преступники! (*Помолчав.*) Надо оставлять факты... Факты! Их востребуют...

...В тот день, двадцать шестого апреля, я был в Москве. В командировке. Там узнал об аварии.

Звоню в Минск первому секретарю цеха Беларуси Слюнькову, один, два, три раза звоню, но меня не соединяют. Нахожу его помощника (тот меня хорошо знает):

– Я звоню из Москвы. Свяжите меня со Слюньковым, у меня срочная информация. Аварийная!

Звоню по правительственной связи, но тем не менее уже все засекретили. Как только начинаешь говорить об аварии, телефон тут же разъединяется. Наблюдают, естественно! Прослушивают. Понятно, кто? Соответствующие органы. Государство в государстве. И это при том, что я звоню первому секретарю цеха... А я? Я – директор Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси. Профессор, членкорр... Но и от меня засекретили.

Часа два мне понадобилось, чтобы трубку все-таки взял сам Слюньков. Докладываю:

– Авария серьезная. По моим подсчетам (а я уже кое с кем в Москве переговорил, обсчитал), радиоактивный столб движется к нам. На

Беларусь. Нужно немедленно провести йодную профилактику населения и отселить всех, кто проживает вблизи станции. До ста километров надо убрать людей и животных.

– Мне уже докладывали, – говорит Слюньков, – там был пожар, но его погасили.

Я не выдерживаю:

– Это – обман! Очевидный обман! Вам любой физик скажет, что графит горит где-то пять тонн в час. Представляете, сколько он будет гореть!

Первым же поездом уезжаю в Минск. Бессонная ночь. Утром – дома. Меряю у сына питовидку – сто восемьдесят микрорентген в час! Тогда щитовидка была идеальным дозиметром. Нужен был йод калия. Это обычный йод. На полстакана киселя две-три капли детям, а для взрослого – три-четыре капли. Реактор горел десять дней, десять дней надо было так делать. Но нас никто не слушал! Ученых, медиков. Науку втянули в политику, медицину втянули в политику. Еще бы! Не надо забывать, на каком фоне сознания все это происходило, какие мы были на тот момент, десять лет назад. Работал кэзэбэ, тайный сыск. Глушились «западные голоса». Тысячи табу, партийных и военных тайн... Вдобавок все воспитаны на том, что мирный советский атом так же не опасен, как торф и уголь. Мы были людьми, скованными страхом и предрассудками. Суеверием веры... Но факты, только факты...

В тот же день... Двадцать седьмого апреля я решаю выехать в Гомельскую область, граничащую с Украиной. В райцентры Брагин, Хойники, Наровля, от них до станции всего несколько десятков километров. Мне нужна полная информация. Взять приборы, замерять фон. А фон был следующий: в Брагине – тридцать тысяч микрорентген в час, в Наровле – двадцать восемь тысяч... Сеют, пашут. Готовятся к Пасхе... Красят яйца, пекут куличи... Какая радиация? Что это такое? Никакой команды не поступало. Сверху запрашивают сводки: как идет сев, какими темпами? На меня глазят, как на сумасшедшего: «О чем вы, профессор?» Рентгены, микрорентгены... Язык инопланетянина...

Возвращаемся в Минск. На проспекте торгуют всюю пирожками, мороженым, мясным фаршем, булочками. Под радиоактивным облаком...

Двадцать девятого апреля. Все помню точно... По датам... В восемь часов утра я уже сидел в приемной Слюнькова. Пробиваюсь, проби-

ваюсь. Меня не принимают. И так до половины шестого вечера. В половине шестого из кабинета Слюнькова выходит один наш известный поэт. Мы с ним знакомы:

– С товарищем Слюньковым обсуждали проблемы белорусской культуры.

– Скоро некому будет развивать эту культуру! – взрываюсь я. – Читать ваши книжки, если мы сейчас не отселим людей из-под Чернобыля. Не спасем!

– Да что вы?! Мне сказали, что там уже все погасили.

Прорываюсь-таки к Слюнькову. Обрисовываю картину, которую вчера видел. Надо спасать людей! На Украине (я туда уже звонил) началась эвакуация...

– Что это ваши дозиметристы (из моего института) по городу бегут, панику сеют! Я советовался с Москвой, с академиком Ильиным. У нас все нормально... А там работает Правительственная комиссия. Прокуратура. На прорыв брошена армия, военная техника.

На нашей земле уже лежали тысячи тонн цезия, йода, свинца, циркония, кадмия, бериллия, бора, неизвестное количество плутония (в ураново-графитовых РБМК чернобыльского варианта нарабатывался оружейный плутоний, из которого изготавливались атомные бомбы), – всего четыреста пятьдесят типов радионуклидов. Их количество было равно тремстам пятидесяти бомбам, сброшенным на Хиросиму. Надо было говорить о физике. О законах физики. А говорили о врагах. Искали врагов. ●

Рано или поздно, но отвечать за это придется. «Вы начнете оправдываться, – говорил я Слюнькову, – что вы – тракторостроитель (бывший директор тракторного завода), и в радиации не разбирались, я-то физик, имею представление о последствиях». Но как это? Какой-то профессор, какие-то физики осмеливаются учить цека? Нет, они не были шайкой бандитов. Скорее всего – заговор невежества и корпоративности. Принцип их жизни, аппаратная выучка: не высовываться. Потрафлять. Слюнькова как раз забирали в Москву на повышение. Вот-вот!! Думаю, был звонок из Кремля... От Горбачева... Мол, вы там, белорусы, не поднимайте паники, Запад и так шумит. А правила игры таковы, что если не угодите вышестоящему начальству, вас не повысят в должности, выделят не ту путевку, дадут не ту дачу... Будь мы по-прежнему закрытой системой, за железным занаве-

сом, люди до сих пор бы жили возле самой станции. Засекретили бы!! Вспомните: Кыштым, Семипалатинск.. Сталинская страна. Все еще сталинская страна...

В инструкциях на случай ядерной войны предписывается, что при угрозах ядерной аварии, ядерного нападения немедленно проводить йодную профилактику населения. При угрозе? А тут... Три тысячи микрорентген в час... Но боятся не за людей, а за власть. Страна власти, а не страна людей. Приоритет государства бесспорен. А ценность жизни человеческой сведена к нулю. Находились же способы! Без объявлений, без паники... Просто вводить йодные препараты в водоемы, из которых берут питьевую воду, добавлять в молоко. Ну, почувствовали бы, не тот вкус воды, не тот вкус молока... В городе держали наготове семьсот килограммов препаратов. Они так и остались на складах... Пневма сверху боялись больше, чем атома. Каждый ждал звонка, приказа, но ничего не предпринимал сам. В портфеле я носил дозиметр... Зачем? Меня не пропускали, я им надоел... В больших кабинетах... Я брал с собой дозиметр и прикладывал его к щитовидкам секретарш, личных водителей, сидевших в приемной. Они пугались, и это иногда помогало – меня пропускали. «Ну, что это вы истерики, профессор, устраиваете? Вы один, что ли, о белорусском народе печетесь? Человек ведь все равно от чего-то умирает: от курения, в автомобильных катастрофах, кончает с собой». Смеялись над украинцами. Те на коленях в Кремле ползают, выпрашивают деньги, медикаменты, дозиметрическую аппаратуру (ее не хватало), а наш (это Слюньков) за пятнадцать минут доложил обстановку: «Все нормально. Справимся своими силами». Похвалили: «Молодцы, братцы-белорусы!»

Сколько жизней стоила эта похвала?!

У меня есть информация, что сами они (начальство) йод принимали. Когда их обследовали сотрудники нашего института, – у всех чистая щитовидка. Без йода это невозможно. Своих детей они тоже втихую вывезли, от греха подальше. Сами, когда отправлялись в командировки, имели респираторы, спецробы. Все то, чего у других не было. И уже давно не секрет, что под Минском держалось специальное стадо. Каждая корова с номерком и прикрепена индивидуально. Персонально. Специальные земли, специальные парники... Спецконтроль... Самое отвратительное... *(Помалчав.)* За это никто еще не ответил...

Перестали меня принимать. Выслушивать. Я забросал их письмами. Докладными записками. Рассылал карты, цифры. Во все инстанции. Четыре папки по двести пятьдесят листов. Факты, только факты... На всякий случай скопировал два экземпляра, один находился в моем служебном кабинете, а второй спрятал дома. Жена спрятала. Почему я сделал копии? Мы живем в такой стране... Кабинет я всегда сам закрывал. Приезжаю из одной командировки – папки исчезли... Но я вырос на Украине, у меня деды – казаки. Казацкий характер. Я продолжал писать. Выступать. Надо спасать людей! Срочно отселять! Мы не вылезали из командировок. Наш институт составил первую карту «загрязненных» районов... Весь юг в красном...

Это уже история. История преступления...

Из института забрали всю аппаратуру для радиационного контроля. Конфисковали. Без объяснений. Звонки ко мне домой с угрозой: «Перестань, профессор, пугать людей! Сошлем туда, где Макар телят не пас. Не догадываешься? Забыли? Быстро забыли!» Давление на сотрудников института. Запугивание.

Я написал в Москву...

Вызывает меня президент нашей Академии Платонов:

– Белорусский народ когда-нибудь вспомнит тебя, ты много для него сделал, но плохо, что написал в Москву. Очень плохо! Требуют, чтобы я снял тебя с должности. Зачем ты написал? Разве не понимаешь, на кого замахнулся?

У меня – карты, цифры. А у них? Могли посадить в психичку. Грозилась. Мог попасть в автомобильную катастрофу. Предупреждали. Могли завести уголовное дело. За антисоветчину. Или за ящик гвоздей, не учтенных институтским завхозом...

Уголовное дело завели...

Они своего добились. Я слег с инфарктом... (*Молчит.*)

Я все записывал... Все есть в папке... Факты, только факты...

Проверяем детей в деревнях... Мальчиков, девочек... Тысяча пятьсот, две тысячи, три тысячи микрорентген... Свыше трех тысяч... Эти девочки... Они уже никого не родят... На них генные метки... Пашет трактор. Спрашиваю у работника райкома партии, сопровождающего нас:

– Тракторист защищен хотя бы респиратором?

– Нет, они без респираторов работают.

– Что, вам их не завезли?

– Да что вы! Завезли столько, что до двухтысячного года хватит. Но мы не выдаем. Начнется паника. Все разбегутся! Разъедутся!

– Что вы творите?

– Вам легко, профессор, рассуждать! Вас выгонят с работы, вы другую найдете. А куда я денусь?

Какая власть! Безмерная власть одного человека над другим человеком. Это уже не обман, это война с невинными...

Вот едем мы вдоль Припяти. Стоят палатки, люди отдыхают семьями.купаются, загорают. Они не знают, что уже несколько недель купаются и загорают под радиоактивным облаком. Строго запрещалось с ними общаться. Но я вижу детей... Подхожу и начинаю объяснять. Неудоумение: «А почему радио и телевидение об этом молчат?» Сопровождающий... С нами обычно ездил кто-нибудь из местной власти, из райкома – таков порядок... Он молчит... Я могу проследить по его лицу, какие чувства в нем борются: доложить или не доложить? В то же время жалко людей! Он же нормальный человек... Но я не знаю, что победит, когда мы вернемся. Донесет или не донесет? Каждый делал свой выбор... *(Какое-то время молчит.)*

Что нам сегодня делать с этой правдой? Сейчас? Как с ней поступить? Если еще раз рванет, повторится то же самое... Мы все еще сталинская страна... И живет сталинский человек...»

*Василий Борисович Нестеренко, бывший  
директор Института ядерной энергетики  
Академии наук Беларуси*

## Монолог о жертвах и жрецах

«Человек встает рано утром... И он не думает о вечном, его мысли о хлебе насущном. А вы хотите заставить людей думать о вечном. Ошибка всех гуманистов...

Что такое – Чернобыль?

Приезжаем в деревню... У нас маленький немецкий автобус (подарили нашему фонду), дети окружают нас: «Тетья! Дядя! Мы – чернобыльцы. Что вы привезли? Дайте нам что-нибудь. Дайте!!»

Вот он – Чернобыль...

По дороге в зону встречаем бабуку в вышитой юбке, переднике, узелок за спиной.

– Куда, бабука? В гости?

– Иду в Марки... В свой двор...

А там сто сорок кюри! Идти ей километров двадцать пять. Она день идет туда и день назад. Принесет трехлитровую банку, которая два года висела у нее на заборе. Но она побывала на своем дворе...

Вот он – Чернобыль...

Что я помню из первых дней? Как это было? Все-таки надо отгу-да... Чтобы рассказать свою жизнь, надо начать с детства. Так и тут... У меня своя точка отсчета. Я вспоминаю вроде бы другое. Вспоминаю сорокалетие Победы. Тогда был первый фейерверк в нашем Могилеве. После официального торжества люди не разошлись, как обычно, а стали петь песни. Совсем неожиданно. Я помню это общее чувство. Через сорок лет о войне заговорили все, пришло осмысление. А до этого выживали, восстанавливали, рожали детей. Так и с Чернобылем... Еще вернемся к нему, он откроется нам глубже. Станет святыней. Стеной плача. А пока формулы нет. Нет формулы! Идей нет. Кюри, бэры, зиверты – это не осмысление. Это – не философия. Не мировоззрение. У нас человек – или с ружьем, или с крестом. Через всю историю... А другого человека не было... Пока нет...

...Моя мама работала в штабе гражданской обороны города, она одна из первых узнала. Сработали все приборы. По инструкции, которая висела у них в каждом кабинете, требовалось сразу оповестить население, выдать респираторы, противогазы и прочее. Открыли они свои секретные склады, опечатанные, засургученные, но все там оказалось в ужасном состоянии, негодное, применить нельзя. В школах противогазы были довоенных образцов, и даже размеры детям не подходили. Приборы зашкаливало, но никто ничего не мог понять, такого никогда не было. Приборы просто выключили. Мама рассказывала: «Вот если бы грянула война, мы знали бы, что делать. Есть инструкция. А тут?» Кто у нас возглавлял гражданскую оборону? Отставные генералы, полковники, для которых война начинается так: по радио передают правительственные заявления, воздушная тревога, фугасы, зажигалки... До них не доходило, что сменился век. Нужен был психологический перелом... И он произошел... Теперь мы знаем: будем сидеть, пить чай

за праздничным столом... Будем разговаривать, смеяться, а война уже будет идти... Мы даже не заметим, как исчезнем...

А гражданская оборона – это такая игра, в которую играли взрослые дяди. Они отвечали за парады, за учения... Нас срывали с работы на три дня. Без всяких объяснений – на военные учения. Называлась эта игра «На случай атомной войны». Мужчины – солдаты и пожарники, женщины – сандружинницы. Выдавали комбинезоны, сапоги, санитарные сумки, пакет бинтов, каких-то лекарств. А как же! Советский народ должен встретить врага достойно. Секретные карты, планы эвакуации, – все это хранилось в негоряемых сейфах под сургучными печатями. По этим планам за считанные минуты по тревоге должны были поднять людей и увезти в лес, в безопасную зону... Вост сирена... Внимание! Война...

Присуждали кубки, знамена. И, конечно, походный банкет. Мужчины пьют за нашу будущую победу! И, конечно, за женщин!

А недавно... Уже сейчас... Объявили в городе тревогу. Внимание! Гражданская оборона! Это было неделю назад... У людей – страх, но страх другой. Уже не американцы напали, не немцы, а что там – в Чернобыле? Неужели снова?

Восемьдесят шестой год... Кто мы? Какими нас застала эта технологическая версия светопреставления? Я? Мы? Это местная интеллигенция, у нас был свой кружок. Мы жили своей жизнью, отстраняясь от всего, что вокруг. Форма нашего протеста. У нас были свои законы: не читали газету «Правда», но журнал «Огонек» передавали из рук в руки. Только-только поводья ослабили, мы этим упивались. Читали самиздат, наконец он попал к нам, в нашу глубинку. Читали Солженицына, Шаламова. Ходили друг к другу в гости, бесконечные разговоры на кухне. О чем-то тосковали. О чем? Где-то живут актеры, кинозвезды... Вот я буду Катрин Денев... Надену на себя дурацкую хламиду, уложу волосы... Тоска по свободе... Тот, другой мир... Чужой мир... Как форма свободы... Но и это была игра... Бегство от реальности. Кто-то из нашего кружка сломался, спился, кто-то вступил в партию, сделал карьеру. Никто не верил, что эту кремлевскую стену можно проломить... Что она развалится... Раз так, то плевать, что у вас там происходит, будем жить тут... В нашем иллюзорном мире...

Чернобыль... И поначалу та же самая реакция. А какое нам дело? Пусть власти волнуются... Это у них – Чернобыль... И это далеко. Да-



же на карту не посмотрели. Неинтересно. Нам уже не нужна была правда... Вот когда на бутылках с молоком появились этикетки: «Молоко для детей» и «Молоко для взрослых»... Вот тогда уже ого! Что-то приближается... Да, я не член партии, но все равно советский человек. Появился страх: «Что-то у редиски листья в этом году, как у свеклы?», но тут же вечером включишь телевизор: «Не поддавайтесь на провокации». И все сомнения рассеиваются... А первомайская демонстрация? Нас никто не заставлял на нее идти, меня, например, никто не обзывал. У нас был выбор. Но мы его не сделали. Я не помню такой многолюдной, такой радостной первомайской демонстрации, как в тот год. Было тревожно, хотелось, конечно, в стадо... Чтобы вместе со всеми. Хотелось кого-то ругать... Начальство... Правительство... Коммунистов... Теперь я думаю... Ищу, ищу обрыв... Где оборвалось? А обрыв в самом начале... Наша несвобода... Нам уже и не нужна была правда... Верх вольнодумства: «Можно есть редиску или нет?» Наша несвобода... Несвобода внутри нас...

Работала я инженером на заводе «Химволокно», и у нас там была группа немецких специалистов. Налаживали новое оборудование. Я увидела, как ведут себя другие люди, другой народ... Когда они узнали об аварии, тут же потребовали, чтобы были врачи, были дозиметры, контролировалась еда. Они слушали свое радио, они знали, что надо делать. Им, конечно, ничего не дали. Тогда они уложили чемоданы и собрались уезжать. Покупайте нам билеты! Отправляйте домой! Мы уезжаем, раз вы не можете обеспечить нашу безопасность. Бастовали, слали телеграммы своему правительству... Они дрались за своих жен, детей (они жили у нас с семьями). За свою жизнь! А мы? Как вели себя мы? Ах, вот какие эти немцы, всегда наглаженные, накрахмаленные, – истерики! Трусы! Меряют радиацию в борще, в котлетах... Потеха! Вот наши мужчины – это мужчины! Русские мужики! Отчаянные! Борются с реактором! Не дрожат за свою жизнь! Поднимаются на расплавленную крышу с голыми руками, в брезентовых рукавицах (мы это уже наблюдали по телевизору)! А наши дети с флажками идут на демонстрацию! И ветераны войны... Старая гвардия! *(Обдумывает.)* Но это тоже вид варварства – отсутствие страха за себя... Мы всегда говорим «мы», а не «я»: «мы продемонстрируем советский героизм», «мы покажем советский характер». Всему миру! Но это – я! Я не хочу умирать... Я боюсь...

Интересно сегодня проследить за собой. За своими чувствами. Как они развивались. Менялись. Проанализировать. Давно словила себя на том, что приучаюсь быть внимательнее к миру вокруг. Вокруг себя. После Чернобыля это само собой получается. Мы стали учиться говорить «я»... Я не хочу умирать! Я боюсь... А тогда? Я включаю телевизор громче: красное знамя вручают дояркам, победившим в социалистическом соревновании. Но это же у нас? Под Могилевом? В деревне, которая оказалась в центре цезиевого пятна? Ее вот-вот переселят... Голос диктора: «Люди самоотверженно трудятся, несмотря ни на что», «чудеса мужества и героизма». Хоть потоп! Революционным шагом! Да, я не член партии, но все равно советский человек. «Товарищи, не поддавайтесь на провокации!» – день и ночь гремит телевизор. Сомнения рассеиваются... (*Молчит.*)

Еще кофе? Надо передохнуть... Собраться с мыслями...

Впереди нас ждет понимание Чернобыля как философии. Два государства, разделенных колючей проволокой: одно – сама зона, второе – все остальное. На подгнивших столбах вокруг зоны, как на крестах, висят белые рушники... Люди идут сюда, как на кладбище... Тут похоронен не только их дом, а целая эпоха. Эпоха веры! В науку! В справедливую социальную идею! Великая империя расплзлась по швам. Развалилась. Сначала – Афганистан, затем – Чернобыль. Когда империя рассыпалась, мы остались одни. Я боюсь вымолвить, но мы любим Чернобыль. Это опять найденный смысл нашей жизни... Смысл нашего страдания. Как война. О нас, белорусах, мир узнал после Чернобыля. Это было окно в Европу. Мы одновременно и его жертвы, и его жрецы. Страшно вымолвить...

В зоне... В самой зоне... Заходишь в дом... Ощущение, как от спящей красавицы. Если еще не разграблено: фотографии, куклы, мебель... Они должны быть где-то здесь, рядом, люди. Иногда мы находим их... А они не говорят о Чернобыле, они говорят о том, что их обманули. Их волнует: получают ли они все, что им положено, и не получают ли другие больше? У нашего народа все время чувство, что его обманывают. На всех этапах большого пути. С одной стороны, нигилизм, отрицание, а с другой – фатализм. Властям не верят, ученым, врачам не верят, но и сами ничего не предпринимают. Невинные и безучастные. В самом страдании найден смысл и оправдание, все остальное вроде бы и неважно. Вдоль полей – таблички «Высокая ра-

диация»... Поля пахутся... Тридцать кюри... Пятьдесят... Трактористы сидят в открытых кабинах (десять лет минуло, но до сих пор нет тракторов с герметичными кабинами), дышат радиоактивной пылью... Десять лет прошло! Кто же мы? Живем на зараженной земле, пашем, сеем. Рожаем детей. Каков тогда смысл нашего страдания? Зачем оно? Зачем его столько? Мы об этом сейчас много спорим. С моими друзьями. Потому что зона – это не бэры и кюри, микрорентгены. Это – народ. Наш народ... Чернобыль «помог» нашей, было, погибающей системе... Опять чрезвычайщина... Распределение. Паек. Как раньше вбивали в мозги «если б не было войны», так сейчас появилась возможность все списывать на Чернобыль. «Если б не было Чернобыля». «Сразу глаза с поволокой – скорбим. Дайте! Дайте нам! Что бы было что делить. Кормушка! Громоотвод!

Чернобыль – уже символ. Образ. Но это еще и моя работа... Так сказать, быт... Я езжу... Вижу... Была патриархальная белорусская деревня. Белорусская хатка. Без туалета и теплой воды, но с иконой, деревянным колодцем, вышитыми рушниками, постилками. С гостеприимством. Зашли мы в одну такую хату попить воды, а хозяйка достает из старого кофра, старого, как она сама, рушник и протягивает мне: «Это тебе на память о моем дворе». Был лес, поле. Сохранялась община и осколки свободы: земля возле дома, усадьба, своя коровка. Из Чернобыля их стали переселять в «Европу» – в европейского типа поселки. Можно построить дом – лучший, комфортный, но нельзя же построить на новом месте весь этот огромный мир, с которым они были связаны. Пуповиной! Колоссальный удар по психике человека. Разрыв традиций, всей вековой культуры. Когда к этим новым поселкам подъезжаешь, они, как миражи на горизонте. Раскрашены. Голубые, синие. И сразу представляешь их как чудо, и назвали их – Майский, Солнечный. Европейские коттеджи гораздо более удобные, чем хатки. Это уже готовое будущее. Но в будущее нельзя спуститься на парашюте... Людей превратили в эфиопов... Они сидят на земле и ждут, когда прилетит самолет, прибудет автобус и привезут гуманитарную помощь. Нет, чтобы обрадоваться шансу: я вырвался из пекла, имею дом, чистую землю и должен спасти своих детей, у которых Чернобыль уже в крови, в генах. Я буду свободным...

Живут в этих коттеджах, как в вольерах. Они рушатся, рассыпаются. Живет там несвободный человек. Обреченный. Он живет в обиде

и в страхе. Он хочет коммунизма. Ждет... Зоне нужен коммунизм... На всех выборах там голосуют за твердую руку, тоскуют по сталинскому порядку, военному. Он для них синоним справедливости. Там и живут по-военному: милицейские посты, люди в военной форме, пропускная система, пайки. Чиновники, распределяющие гуманитарную помощь. На коробках по-немецки, по-русски написано: «Нельзя обменивать. Нельзя продавать». Сплошь и рядом продается. В любом коммерческом киоске...

И снова как игра... Рекламное шоу... Я везу караван с гуманитарной помощью. Чужие люди... Иностранцы... Во имя Христа, во имя еще чего-то едут к нам. А в лужах, в грязи, в фуфайках и ватниках стоит мое племя... В кирзовых сапогах... «Нам ничего не надо! Все равно разворуют!» – Я встречаю в их глазах и такой текст. Но рядом тут же... Желание ухватить коробку, ящик, чего-то заграничного. Уже знаем, где какая бабка живет... Как в заповеднике... И противное, безумное желание... Вдруг говорю: «А мы вам сейчас покажем! Найдем такое! Что вы и в Африке не встретите. Нигде в мире такого нет! Двести кюри – триста кюри...» Замечаю, как меняются и сами бабки, некоторые ну просто стали «кинозвезды». У них уже заучены монологи, и слеза пробивает в тех местах, где нужно. Когда приезжали первые иностранцы, они молчали, только плакали. Сейчас уже научились говорить. Может, детям жвачка, коробка одежек лишняя перепадет... И это рядом с глубокой философией, с тем, что у них здесь свои отношения со смертью, со временем. И не покидают они своих хат, родных погостов не из-за немецкого шоколада... Жвачек...

Возвращаемся... Я показываю: «Какая красивая земля!» Солнце опустилось низко-низко. Осветило лес, поле. Нам на прощание. «Да, – отвечает кто-то из немецкой группы, говорящий по-русски, – красивая, но отравленная». У него в руках – дозиметр. И я понимаю, что этот закат дорог только мне. Это – моя земля.

*Наталья Арсеньевна Рослова,  
председатель Могилевского женского  
комитета «Дети Чернобыля»*

## ДЕТСКИЙ ХОР

*Алеша Бельский – 9 лет, Аня Богуш – 10 лет, Наташа Дворецкая – 16 лет, Лена Жудро – 15 лет, Юра Жук – 15 лет, Оля Звонак – 10 лет, Снежана Зиневич – 16 лет, Ира Кудрячева – 14 лет, Юля Каско – 11 лет, Ваня Коваров – 12 лет, Вадим Красносолнышко – 9 лет, Вася Микулич – 15 лет, Антон Нашиванкин – 14 лет, Марат Татарцев – 16 лет, Юля Тараскина – 15 лет, Катя Шевчук – 14 лет, Борис Шкирманков – 16 лет.*

«Я лежала в больнице. Мне было так больно... Я просила маму: «Мамочка, я не могу терпеть. Лучше убей меня!»

«Такая черная туча... Такой ливень... Лужи стали желтые... Зеленые... Будто в них налили краски... Говорили, что это пыльца от цветов... Мы не бегали по лужам, только смотрели на них. Бабушка закрывала нас в погребе. А сама становилась на колени и молилась. И нас учила: «Молитесь!! Это – конец света. Наказание Божье за наши грехи». Братiku было восемь лет, а мне шесть. Мы стали вспоминать свои грехи: он разбил банку с малиновым вареньем... А я не призналась маме, что зацепилась за забор и порвала новое платье... Спрятала в шкафу...

Мама часто надевает черное. Черный платок. На нашей улице все время кого-то хоронят... Услышу музыку – бегу домой и молюсь, читаю «Отче наш». Молюсь за маму и папу...»

«За нами приехали солдаты на машинах. Я подумал, что началась война. Они говорили непонятные слова: «дезактивация», «изотопы»... В дороге приснился сон: произошел взрыв! А я живой! Нет дома, нет родителей, нет даже воробьев и ворон. В ужасе просыпался, вскакивал... Смотрел в окно: нет ли в небе этого гриба кошмарного?

Помню, как солдат гонялся за кошкой... На кошке дозиметр работал, как автомат: щелк, щелк... За ней – мальчик и девочка... Это их кошка... Мальчик ничего, а девочка кричала: «Не отдам!!» Бегала и кричала: «Миленькая, удирай! Удирай, миленькая!» А солдат – с большим целлофановым мешком...»

«В доме мы оставили, закрыли моего хомячка. Беленького. На два дня ему еды оставили. А уехали насовсем».

«Загрузили нас в эшелон. Маленькие режут, выпачкались. Одна воспитательница на двадцать человек, а все плачут: «Мама! Где мама? Хочу домой!» Мне – десять лет, такие девочки, как я, помогали успокаивать маленьких. Женщины встречали нас на перронах и крестили поезд. Несли домашнее печенье, молоко, теплую картошку...

Нас везли в Ленинградскую область. Там уже, когда подъезжали к станциям, люди крестились и смотрели издали. Боялись нашего поезда, на каждой станции его долго мыли. Когда на одной остановке мы выскочили из вагона и забежали в буфет, никого туда больше не пустили: «Тут черновильские дети едят мороженое». Буфетчица кому-то по телефону говорила: «Они уедут, мы помоем пол с хлоркой и прокипятим стаканы». Мы слышали...

Встречали нас врачи. Они были в противогазах и резиновых перчатках... Забрали у нас одежду, все вещи, даже конверты, карандаши и ручки, сложили в целлофановые пакеты и закопали в лесу.

Мы так напугались... Долго потом ждали, как начнем умирать...»

«Мама с папой поцеловались, и я родилась.

Раньше я думала, что никогда не умру. А теперь знаю, что умру. Мальчик лежал вместе со мной в больнице... Вадик Коринков... Птичек мне рисовал. Домики. Он умер. Умирать не страшно... Будешь долго-долго спать, никогда не проснешься...

Мне снился сон, как я умерла. Я слышала во сне, как плакала моя мама. И проснулась...»

«Хочу рассказать, как прощалась с нашим домом моя бабушка. Она попросила отца вынести из кладовой мешок пшена и разбросала его по саду: «Божьим птичкам». Собрала в решето яйца и высыпала во дворе: «Нашему коту и собаке». Нарезала им сала. Вытряхнула из всех своих мешочков семена: морковки, тыквы, огурцов, лука-чернушки... Разных цветков... Рассыпала по огороду: «Пускай в земле живут». А потом поклонилась дому... Поклонилась сараю... Обошла и поклонилась каждой яблоньке...»

«Я был маленький... Шесть, нет, восемь лет, кажется. Точно, восемь. Посчитал сейчас.

Помню много страхов. Боялся бегать босиком по траве. Мама

напугала, что умру. Купаться, нырять – всего боялся. В лесу рвать орехи. Взять в руки жука... Он же по земле ползает, а она зараженная. Муравьи, бабочки, шмели – все зараженные. Сад белый... Стекланный...

Мы ждали весну: неужели снова вырастет ромашка? Как раньше? Все у нас говорили, что мир поменяется... И по радио, по телевизору... Ромашка превратится... Во что она превратится? Во что-то другое... А у лисы вырастет второй... хвост, ежики родятся без иголок, розы без лепестков. Появятся люди, похожие на гуманоидов... Без волос, без ресниц... Одни глаза...

Я был маленький... Восемь лет...

Весна... Весной из почек, как всегда, раскрутились листья. Зеленые. Зацвели яблони. Белье. Запахла черемуха. Раскрылись ромашки. Они были такие же. Тогда мы побежали на речку к рыбакам: у плоток по-прежнему голова и хвост? И у щуки? Проверяли скворечни: прилетели скворцы? А появятся ли у них дети?»

«Я слышал... Взрослые шептались... Бабушка плакала... С моего года рождения (с восемьдесят шестого) – ни мальчиков, ни девочек в нашей деревне нет. Я – один. Врачи не разрешали меня рожать. А моя мама сбежала из больницы и спряталась у бабушки... И я дома у бабушки родился... Я все это подслушал...

Братика и сестрички у меня нет. А я очень хочу.

Тетя, вы писательница? Скажите, как это меня могло не быть? А где бы я был? Где-то высоко, на небе? На другой планете?»

«В наш город привезли художественную выставку. Картины о Чернобыле... Бежит по лесу жеребенок, он из одних ног, их восемь–десять, теленок с тремя головами, сидят в клетке лысые кролики, ну как пластмассовые... Люди гуляют по лугу в скафандрах... Деревья выше церковей, а цветы, как деревья... Я до конца не досмотрела. Наткнулась на картину: мальчик тянет руки, может, к одуванчику, может, к солнцу, а у этого мальчика вместо носа... хобот. Захотелось плакать, кричать: «Не надо нам таких выставок! Не возите! И так вокруг все говорят о смерти. О мутантах. Не хочу!!» Первый день на выставке были люди, пришли, а потом ни одного человека. В Москве, Петербурге, писали в газетах, на нее ходили толпами. А у нас – пустой зал.

Я ездила в Австрию на лечение, там есть люди, которые могут повесить такую фотографию у себя дома. Мальчика с хоботом... И каждый день на нее смотреть, чтобы не забывать о тех, кому плохо. Но когда живешь тут... Среди этого... Я лучше повешу в своей комнате красивый пейзаж... Не хочу думать о смерти...»

«У нас в поселке исчезли воробьи... В первый год после аварии... Они валялись всюду: в садах, на асфальте. Их сгребали и вывозили в контейнерах с листьями. В тот год листья не разрешали жечь, они были радиоактивные. Листья хоронили.

Через два года воробьи появились. Мы радовались, кричали друг другу: «Я вчера видела воробья... Они вернулись...»

Пропали майские жуки. Их до сих пор у нас нет. Может, они вернутся через сто или тысячу лет, как говорит наш учитель. Я это не увижу...»

«Первое сентября... Школьная линейка... И ни одного букета. В цветах, мы уже знали, много радиации. Перед началом учебного года в школе работали не столяры и маляры, как раньше, а солдаты. Они косили цветы, снимали и увозили куда-то землю на машинах с прицепами. Вырубили большой старый парк. Старые липы. Баба Надя... Ее всегда звали в дом, когда кто-нибудь умирал. Поголосить. Почитать молитвы. «Молния не ударила... Сушь не напала... Море не залило... Лежат черные гробы...» – Она плакала над деревьями, как над людьми.

А через год нас всех эвакуировали, деревню закопали. Мой папа – шофер, он ездил туда и рассказывал. Сначала вырывают большую яму... На пять метров... Подъезжают пожарники... Из брандспойтов моют дом с конька до фундамента, чтобы не поднять радиоактивную пыль. Окна, крышу, порог... Все моют... А потом кран стягивает дом с места и ставит в яму... Валяются куклы, книжки, банки... Эскаватор подгребают... Все засыпают песком, глиной, утрамбовывают. Вместо деревни – ровное поле. У нас засеяли его житом. Там лежит наш дом. И школа и сельсовет... Там мой гербарий и два альбома с марками, я мечтала их забрать. Был у меня велосипед...»



«Мне – двенадцать лет, я – инвалид. В нашем доме почтальон приносит пенсию мне и бабушке. Девочки в классе, когда узнали, что у меня рак крови, боятся со мной сидеть... Дотронуться...

Врачи сказали: я заболела, потому что мой папа работал в Чернобыле. А я после этого родилась.

Я люблю папу...»

«Солдаты мыли деревья, дома, крыши... Мыли колхозных коров... Я думала: «Бедные звери в лесу!» Их никто не моет. Они все умрут. И лес никто не моет. Он тоже умрет».

Учительница сказала: «Нарисуйте радиацию». Я нарисовал, как идет желтый дождь... И течет красная река...»

«За папой пришли ночью. Я не слышал, как он собирался. Я спал. Утром увидел, как мама плачет: «Наш папа – в Чернобыле».

Ждали папу, как с войны...

Он вернулся и снова стал ходить на завод. Ничего не рассказывал. А в школе я всем хвастался, что мой папа приехал из Чернобыля, он – ликвидатор, а ликвидаторы – это те, кто помогал ликвидировать аварию. Герои! Мальчишки мне завидовали.

Через год папа заболел...

Мы ходили по больничному скверу... Это было после второй операции... И он первый раз заговорил о Чернобыле...

Работали они недалеко от реактора. Тихо-мирно, вспоминал, красиво. А в это время что-то происходит. Сады цветут. А для кого? Люди из деревень ушли. Ехали через город Припять: на балконе висит белье, горшки с цветами. Стоит под кустом велосипед с брезентовой сумкой почтальона, набитый газетами и письмами. И на ней птичье гнездо. Как в кино, я видел...

Они «чистили» то, что надо было бросить. Снимали грунт, загрязненный цезием и стронцием. Мыли крыши. Назавтра – все снова «щелкало».

«На прощание нам пожали руки и вручили справки с благодарностью за самоотверженность... Отец вспоминал и вспоминал. В последний раз, когда вернулся из больницы: «Если останусь жив, никакой химии, никакой физики. Уйду с завода... Только в пастухи...»

---

Мы с мамой остались вдвоем. Я не пойду в технический институт, как мечтает моя мама. В тот, где папа учился...»

«У меня есть маленький брат. Он любит играть в «Чернобыль». Строит бомбоубежище, засыпает песком реактор...

Его еще не было, когда это случилось».

«По ночам я летаю... Летаю среди яркого света... Это не реальность, и не потустороннее. Это и то, и другое, и третье. Во сне я знаю, что могу войти внутрь этого мира, побыть в нем... Или остаться? Мой язык неповоротлив, дыхание неправильное, но мне не надо там ни с кем разговаривать. Что-то похожее со мной случилось в детстве. Меня распирает желание слиться, но я никого не вижу... Только свет... Ощущение такое, что я могу его потрогать... Какой я – огромный! Я со всеми, но уже в стороне, отдельно, один. В детстве я видел некоторые цветные изображения так, как вижу сейчас. В этом сне...

Он не раз возвращался ко мне, наступает момент, когда я ни о чем другом уже не могу думать. Только об этом сне. Вдруг откроется окно... Неожиданный порыв ветра. Что это? Откуда? Куда? Между мной и кем-то устанавливается связь... Общение... Но как мне мешают эти серые, больничные стены... Как я слаб еще... Свет я закрываю головой, потому что он мешает видеть... Я тянулся, тянулся... Попробовал увидеть... Стал смотреть выше...

И пришла мама. Вчера она повесила в палате икону. Что-то шепчет там в углу, становится на колени. Они все молчат: профессор, врачи, медсестры. Думают, что я не подозреваю... Не догадываюсь, что скоро умру... Они не знают, что по ночам я учусь летать...

Кто сказал, что летать легко?

Когда-то я писал стихи... Я влюбился в девочку... В пятом классе... В седьмом я открыл, что есть смерть...

Вычитал у Гарсия Лорки: «Темный корень крика». Начал учиться летать... Мне не нравится эта игра, но что делать?

У меня был друг. Его звали Андрей. Ему сделали две операции и отправили домой. Через полгода ждала третья операция... Он повесился на своем ремешке... В пустом классе, когда все сорвались на урок физкультуры. Врачи запретили ему бегать, прыгать...

Юля, Катя, Вадим, Оксана, Олег... Теперь – Андрей... «Мы умрем, и станем наукой», – говорил Андрей. «Мы умрем и нас забудут», – так думала Катя. «Мы умрем...» – плакала Юля. Для меня теперь небо живое, когда я на него смотрю... Они там...»

## ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС

«Я недавно была такая счастливая. Почему? Забыла... Все это осталось в какой-то другой жизни... Я не понимаю... Не знаю, как снова смогла жить. Захотела жить. Вот – смеюсь, разговариваю. Я так тосковала... Я была как парализованная. Хотелось с кем-нибудь говорить, но с кем-нибудь не из людей. Зайду в церковь, там тихо-тихо, как в горах бывает. Тихо-тихо. Там можно забыть свою жизнь. А утром проснусь... Ищу рукой... Где он? Его подушка, его запах... Маленькая незнакомая птичка бежит по подоконнику с маленьким колокольчиком и будит, никогда раньше такого звука, такого голоса не слышала. Где он? Я не все могу передать, не все проговаривается. Не понимаю, как я осталась жить. Вечером дочка подойдет: «Мам, я уроки уже выучила». Тут я вспомню, что у меня есть дети. А где же он? «Мам, а у меня пуговичка оторвалась. Пришей». Как мне уйти за ним? Встретиться. Закрою глаза и думаю о нем, пока не усну. Во сне он приходит, но только мельком, быстро. Сразу исчезает. Я даже слышу его шаги... Вот куда он исчезает? Где? А ему так не хотелось умирать. Смотрит в окно и смотрит. На небо... Я ему одну подушку подложу, вторую, третью... Чтобы было высо-

ко. Он умирал долго... Целый год... Мы не могли расстаться... (*Долго молчит.*)

Нет-нет, не бойтесь, я разучилась плакать. Хочу говорить... Я не могу, как другие, сказать себе, что я ничего не помню. Как говорит это себе моя подруга. Наши мужья умерли в один год, они вместе были в Чернобыле. Она уже замуж собирается. Нет-нет, я не осуждаю. Это – жизнь... Надо выжить... У нее дети... Но меня не оставляет странная мысль, мучает, она, как не моя, как будто я ее где-то прочла: я видела то, что другие еще не видели. Что-то страшное открылось нам раньше других...

...Он уехал в Чернобыль в мой день рождения. Гости еще сидели за столом, перед ними извинился. Поцеловал. А машина уже ждала под окном. Девятнадцатого октября тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Мой день рождения... Он – монтажник, ездил по всему Советскому Союзу, а я его ждала. Так повелось годами. Мы жили, как живут влюбленные – прощались и встречались. И тогда... Страх овладел только нашими мамами, его мамой и моей, а у нас с ним страха не было. Теперь думаю: почему? Мы же знали, куда он едет? Ну, взять бы у соседского мальчика учебник физики за десятый класс и хотя бы его пролистать. Он там без шапки ходил. У других его ребят через год все волосы осыпались, а у него, наоборот, шевелюра погуще стала. Никого из них уже нет. Его бригада, семь человек, все умерли. Молодые... Один за одним... Первый умер через три года... Ну, думали: случайность. Судьба. За ним второй, третий, четвертый... Теперь каждый стал ждать, когда он... Вот как они жили! Мой муж умер последним... Монтажники-верхолазы... Они отключали свет в выселенных деревнях, лазили по столбам... По мертвым домам, улицам... Все время на высоте, наверху... Рост у него под два метра, вес – девяносто килограммов, – кто мог его такого убить? Страх у нас долго не было... (*Неожиданно улыбается.*)

Ах, какая я была счастливая! Вернулся... В доме – праздник, всегда, когда он возвращался, был праздник. Ночная сорочка у меня есть длинная-длинная, красивая-красивая, я ее надевала. Любила дорогое белье, оно все у меня хорошее, но эта сорочка особенная. Праздничная. Для первого нашего дня... Ночи... Я все его тело знала, назубок, я все целовала. Мне, бывало, даже приснится сон, что

я какая-то часть его тела, – так мы неразделимы. Без него очень скучала, мне физически без него было больно. Когда мы с ним расставались, я на какое-то время теряла ориентир, – где я, на какой улице, какой час... Он приехал сразу с лимфоузлами на шее, я их губами услышала, они небольшие, но я спросила: «Покажешься врачу?» Успокоил: «Пройдет». – «Как там, в Чернобыле?» – «Обычная работа». Ни бравады, ни паники. Одно выпытала: «Там так же, как и здесь». В столовой, где их кормили, на первом этаже обслуживали рядовых – лапша, консервы, а на втором, у начальства, военных генералов – фрукты, красное вино, минеральная вода. Чистые скатерти. У каждого – дозиметр. А им на всю бригаду ни одного не дали.

Ах, какая я была счастливая! Мы еще ездили с ним к морю, я запомнила, что моря так много, как и неба, оно было везде. Подруга с мужем тоже ездила, она вспоминает: «Море грязное. Все боялись холерой заразиться». Что-то такое газеты писали... Я помню иначе... В ярком цвете... Я помню, что море было везде, как и небо. Синее-синее. И он рядом. Я родилась для любви... В школе девочки мечтали: кто поступить в институт, кто уехать на комсомольскую стройку, а я хотела выйти замуж. Любить сильно-сильно, как Наташа Ростова. Только любить. Но никому в этом не могла признаться, потому что в то время, вы должны помнить, велено было мечтать только о комсомольской стройке. Нам это внушали. Рвались в Сибирь, в непроходимую тайгу, пели, помните: «За туманом и за запахом тайги». В институт в первый год не попала, не добрала баллов, пошла работать на телефонную станцию. Там мы с ним познакомились... И я сама его на себе женила, я его попросила: «Женись на мне. Я тебя так люблю!» Влюбилась по уши. Такой красивый парень... Я на небесах летала. Я сама его попросила: «Женись на мне». *(Улыбается.)*

В другой раз задумуюсь и ищу себе разные утешения: а может, смерть – это не конец, он всего лишь изменился и живет где-то в другом мире. Я работаю в библиотеке, много книг читаю, с разными людьми встречаюсь. Мне хочется говорить о смерти. Понять. Я ищу утешение. В газетах, в книгах вычитываю... В театр иду, если там об этом, о смерти... Мне физически без него больно, я не могу одна...

Он не хотел идти к врачу: «Я ничего не слышу. Мне не болит». А лимфоузлы уже стали величиной с куриное яйцо. Силой затолкала в машину и отвезла в поликлинику. Направили к онкологу. Один врач посмотрел, позвал второго: «Тут еще один чернобылец». И они уже его не отпустили. Через неделю сделали операцию: удалили полностью щитовидную железу, гортань и заменили их какими-то трубочками. Да... *(Замолкает.)* Да... Теперь я знаю, что это тоже было еще счастливое время. Господи! Какой ерундой я занималась: бегала по магазинам, покупала подарки врачам – коробки конфет, импортные ликеры. Нянечкам шоколадки. И они брали. А он надо мной посмеивался: «Пойми, они – не боги. А химии и облучения тут всем хватает. Дадут и без конфет». Но я мчалась на конец города за тортом «Птичье молоко» или за французскими духами – все это в те времена только по знакомству, из-под полы. Перед отправкой домой... Мы едем домой! Мне дали специальный шприц, показали, как им пользоваться. Я должна была кормить его через этот шприц. Всему научилась. Четыре раза на день варила что-нибудь свежее, обязательно свежее, перемалывала это на мясорубке, перетирала на ситечке и потом набирала в шприц. Прокалывала одну из трубок, самую большую, а она шла в желудок... Но он перестал чувствовать запахи, различать. Спрошу: «Вкусно?» Не знает.

Но мы все равно несколько раз еще бегали в кино. И там целовались. Зависли на такой то-о-ненькой ниточке, а нам представлялось, что снова зацепились за жизнь. О Чернобыле старались не говорить. Не вспоминать. Запретная тема. К телефону его не подпускаю. Перехватываю. Ребята его один за одним умирают... Запретная тема... Но как-то утром бужу его, подаю халат, а он не может встать. И сказать ничего не может... Перестал говорить... Глаза большие-большие... Вот когда он испугался... Да... *(Снова замолкает.)* Оставался у нас еще год... Весь этот год он умирал... С каждым днем ему хуже и хуже, и он уже знает, что его ребята умирают... Мы ведь еще с этим жили... С этой мыслью... Невыносимо так жить еще и потому, что никто не знает, что это такое. Говорят – Чернобыль, пишут – Чернобыль. Но никто не знает, что это... Что-то страшное нам открылось первым... Все теперь у нас иначе, чем у других: рождаемся не так, умираем не так, как все. Вы у меня спросите, как

умирают после Чернобыля? Человек, которого я любила, любила так, что не могла бы любить его больше, если бы я его сама родила, на моих глазах превращался... В чудовище... Удалили лимфоузлы, их нет, и нарушилось кровообращение, и нос уже как-то сдвинулся, увеличился раза в три, и глаза уже какие-то другие – разошлись в разные стороны, в них незнакомый свет появился и выражение, как будто не он, а кто-то еще оттуда выглядывает. Потом один глаз совсем закрылся... А я чего боюсь? Мне бы только, чтобы он себя не увидел... Не запомнил таким. Но он начал меня просить, показывать руками, что, мол, принеси зеркало. Я то на кухню убегу, будто забыла, не слышала, то еще что-нибудь придумаю. Два дня его так обманывала, на третий день пишет мне в тетрадочку большими буквами и с тремя восклицательными знаками: «Дай зеркало!!!» У нас уже была тетрадочка, ручка, карандаш, мы уже таким образом общались, потому что даже шепотом он не мог говорить, даже шепот у него не получался. Полная немота. Я бегом на кухню, стучу кастрюлями. Не читала, не слышала. Опять мне пишет: «Дай зеркало!!!» – и с этими знаками... Принесла ему зеркало, самое маленькое. Плянул, схватился за голову и качается, качается на кровати... Я – к нему, давай уговаривать... «Вот немного поправишься, и мы поедem с тобой куда-нибудь в заброшенную деревню. Купим дом и будем там жить, если ты не захочешь в городе, где много людей. Будем жить одни». Я его не обманывала, я поехала бы с ним куда угодно, только бы он был, а какой – неважно. Он – и все. Я его не обманывала...

Не вспомню ничего, о чем хотелось бы промолчать. А было все... Я так далеко заглянула, может быть, дальше смерти... *(Остонавливается.)*

Мне было шестнадцать лет, когда мы познакомились, он старше меня на семь лет. Два года встречались. Я очень люблю у нас в Минске район возле главпочтамта, улицу Володарского, там под часами он назначал мне свидание. А жила я возле камвольного комбината и ездила на пятом троллейбусе, который не останавливался возле главпочтамта, а немного проезжал вперед, к магазину «Детская одежда». Чуть-чуть всегда припоздаю, чтобы промчатся мимо и увидеть, ахнуть: какой красивый парень меня ждет! Ничего не замечала два года, ни зимы, ни лета. Водил на концерты... На мою любимую Эдиту Пьеху... На танцы не бегали, на танцплощадку, он не



умел танцевать. Целовались, только целовались... Называл меня: «Маленькая моя». День рождения, опять мой день рождения... Странно, но все самое главное у меня происходило именно в этот день, вот и не верь после этого в судьбу. Стою под часами: в пять – свидание, а его нет. В шесть – расстроенная, в слезах бреду на свою остановку, перехожу улицу, оглянулась, как почувствовала, – бежит за мной, на красный свет, в рабочей спецовке, в салогах... С работы раньше не отпустили... Таким я его больше всего и любила: в охотничьем костюме, в телогрейке, – ему все шло. Поехали к нему домой, он переоделся, и решили отметить мой день рождения в ресторане. Но в ресторан мы уже не попали, так как был вечер, свободных мест нет, а сунуть пятерку или десятку (это еще те деньги) швейцару, как другие, ни он, ни я не умели. «Давай, – засиял весь, – купим в магазине шампанское, набор пирожных и пойдем в парк, там отпразднуем». Под звездами, под небом! Вот он был такой... На скамейке в парке Горького мы просидели до утра. Другого такого дня рождения у меня в жизни не было, вот тогда я ему и сказала: «Женись на мне. Я тебя так люблю!» Засмеялся: «Ты еще маленькая». А назавтра отнесли заявление в загс...

Какая я была счастливая! Ничего бы не поменяла в своей жизни, даже предупреди кто-нибудь сверху, со звезд... В день свадьбы он не нашел свой паспорт, мы весь дом перерыли, искали. Нас записали в загсе на какой-то бумажке. «Доченька, это плохой знак», – плакала моя мама. Потом паспорт отыскался в его старых брюках, на чердаке. Любовь! Это даже была не любовь, а долгое влюбление. Как я танцевала утром у зеркала: я красивая, я молодая, он меня любит! Теперь я забываю свое лицо, то лицо, что было у меня с ним... Я не вижу этого лица в зеркале...

Можно ли об этом говорить? Называть словами... Есть тайны... Я до сих пор не понимаю, что это было. До самого последнего нашего месяца... Он звал меня ночью... У него были желания... Любил сильнее, чем раньше... Днем, когда я смотрела на него, не верила в то, что происходило ночью... Мы не хотели с ним расставаться. Я его ласкала, гладила. В те минуты я вспоминала самое радостное... Счастливое... Как он приехал с Камчатки с бородой, отрастил там бороду. Мой день рождения в парке на скамейке... «Женись на мне...» Надо ли говорить? Можно ли? Я сама к нему шла, как идет

мужчина к женщине... Что я могла ему дать, кроме лекарств? Какую надежду? Он так не хотел умирать... Только маме своей ничего не рассказывала. Она бы меня не поняла. Осудила. Прокляла. Это же не обычный рак, которого тоже все боятся, а черновобильский, он еще страшнее. Врачи мне объяснили: порази метастазы внутри организм, он быстро бы умер, а они поползли верхом... По телу... По лицу... Что-то черное на немросло. Куда-то подевался подбородок, исчезла шея, язык вывалился наружу. Лопались сосуды, началось кровотечение. «Ой, – кричу, – опять кровь». С шеи, со щек, с ушей... Во все стороны... Несу холодную воду, кладу примочки – не спасают. Что-то жуткое. Вся подушка зальется... Тазик подставлю, из ванной... Струйки ударяются... Как в подойник... Этот звук... Такой мирный и деревенский... Я его и сейчас по ночам слышу... Пока он в сознании, хлопает в ладоши – это у нас условный знак: зови! Вызывай «скорую». Он не хотел умирать... Ему сорок пять лет... Звоню на станцию «скорой помощи», а они уже нас знают, ехать не хотят: «Мы ничем не можем помочь вашему мужу». Ну, хотя бы укол! Наркотик. Сама уколю, научилась, а укол – синяком под кожей, не расходитя. Один раз дозвалась, прибыла «скорая»... Молодой врач... Приблизился к нему и тут же назад пятится, пятится: «Скажите, а он случайно у вас не черновобильский? Не из тех, кто побывал там?» Я отвечаю: «Да». И он, я не преувеличиваю, вскрикнул: «Миленькая моя, скорей бы это кончилось! Скорей! Я видел, как умирают черновобильцы». А мой же в сознании, он это слышит... Хорошо еще, что не знает, не догадывается: он уже один из своей бригады остался... Последний... В другой раз медсестру из поликлиники прислали, так она в коридоре постояла, даже в квартиру не зашла: «Ой, я не могу!» А я могу? Я все могу. Что мне придумать? Где спасение? Он кричит... Ему больно... Весь день кричит... Тогда я нашла выход: вливала в него через шприц бутылку водки. Отключится. Забудется. Не сама догадалась, другие женщины подсказали... С такой же бедой... Придет его мама: «Почему ты отпустила его в Чернобыль? Как ты могла?» А мне и в голову тогда не могло прийти, что надо было не отпустить, а ему, наверное, – что он мог не поехать. Это же было другое время, как военное. Как-то я у него спросила: «А сейчас не жалеешь, что туда поехал?» Головой крутит – нет. В тетрадочке пишет: «Умру, продашь машину, запасные

колеса, а за Толика (это его брат) замуж не выходи». Толику я нравилась...

Есть тайны... Сижу возле него... Он спит... У него такой красивый волос... Я взяла и тихонько отрезала прядь... Открыл глаза, посмотрел, что у меня в руках, улыбнулся... У меня остались его часы, военный билет и чернобыльская медаль... *(После молчания.)* Я такая счастливая была! В роддоме, помню, днями сижу у окошка, его жду, выглядываю. Ничего толком не понимала: что со мной, когда? Мне бы на него посмотреть... Не могла наглядеться, как чувствовала, что это должно когда-нибудь кончиться. Утром кормлю и люблю, как он ест. Как он брется. Как идет по улице. Я – хороший библиотекарь, но я не понимаю, как это можно любить работу. Я любила только его. Одного. И я не могу без него. Я кричу ночами... В подушку кричу, чтобы дети не услышали...

Ни на минуту не представляла, что его нет в доме, что мы не вместе. Моя мама... Его брат... Они меня готовят, намекают, что врачи, мол, советуют, дают направление, одним словом, под Минском есть специальная больница, где раньше умирали вот такие обреченные... «Афганцы»... Без рук, без ног... А теперь туда чернобыльцев везут. Уговаривают: там ему будет лучше, врачи всегда рядом. Не хотела, я слышать об этом не хотела. Тогда они его убедили, и он начал меня умолять: «Отвези туда. Не мучайся». А я то бюллетень прошу, то на работе отпуск за свой счет выпрашиваю, потому что не положено. По закону бюллетень дают только для ухода за больным ребенком, а отпуск за свой счет не больше месяца. Но он всю нашу тетрадку исписал. Взял с меня слово, что я его туда отвезу. Я поехала на машине с его братом. На краю деревни, называлась она Гребенка, стоял большой деревянный дом, колодец развалившийся. Туалет на улице. Старушки какие-то в черном... Богомольные... Даже из машины не двинулась. Не поднялась. Ночью целую его: «Как ты мог меня об этом просить? Никогда этого не будет! Никогда этого не будет! Никогда!!» Я его всего целовала...

Самые страшные последние недели... Полчаса писали в поллитровую баночку. Глаз не поднимает. Ему стыдно. «Ну, как ты можешь так думать?!» – целую его. В последний день случилась такая минута: он открыл глаза, сел, улыбнулся и сказал: «Валюшка!..»

Умирал один... Человек умирает один... С работы позвонили: «Мы

красную грамоту принесем». Спрашиваю у него: «Хотят твои ребята прийти. Грамоту вручат». Головой крутит: нет-нет! Но они навестили... Деньги какие-то принесли, грамоту в красной папке с фотографией Ленина. Взяла ее и думаю: «За что же он умирает? В газетах пишут, что это не только Чернобыль, что это коммунизм взорвался. А профиль на красной папке тот же...» Хотели ребята ему какие-то слова хорошие сказать, но он накрылся одеялом, только волосы торчали. Постояли над ним и ушли. Он уже боялся людей. Только меня не боялся. Когда хоронили, прикрыла ему лицо двумя носовыми платочками. Если кто просил показать, я открывала... Одна женщина упала... А когда-то она его любила, я его к ней ревновала... «Дай последний раз посмотрю». – «Смотри». Я не рассказала, что, когда он умер, никто не мог к нему подойти, все боялись. А родственникам самим у нас нельзя мыть, одевать. По нашим славянским обычаям. Привезли из морга двух санитаров, они попросили водки: «Мы видели, – признались, – все: разбитых, порезанных, трупы детей после пожара... Но такое впервые... Страшнее всего умирают чернобыльцы...» (*Затихает.*) Он умер и лежал горячий-горячий. К нему нельзя было притронуться... Я остановила в доме часы... Семь утра... И часы наши по сегодняшний день стоят, не заводятся... Мастера вызывали, руками разводит: «Тут не механика и не физика, а метафизика».

Первые дни... Без него... Спала два дня, не могли добудиться, встала, поью воды, даже не ела, и опять на подушку упаду. Сейчас мне странно, необъяснимо: как это я могла уснуть? У подруги муж умирал, он швырял в нее посудой. Почему она такая молодая, красивая? А мой только смотрел на меня и смотрел... В нашу тетрадку записал: «Умру, сожги мой прах. Я хочу, чтобы ты не боялась». Почему он так решил? Ну, разные слухи: чернобыльцы и после смерти «светятся»... Я сама читала, что могилы чернобыльских пожарников, умерших в московских госпиталях и похороненных под Москвой в Митино, люди обходят стороной, своих мертвых возле них не кладут. Мертвые мертвых боятся, не говоря о живых. Потому что никто не знает, что такое – Чернобыль. Одни догадки. Предчувствия. Он привез из Чернобыля белый костюм, в котором там работал. Брюки, спецовка... Так этот костюм лежал у нас на антресолях до его смерти. Потом мама решила: «Надо выбросить все его вещи». У нее был

страх... А я даже тот его костюм берегла. Преступница. У меня же в доме дети. Дочка и сын... Отвезли за город и закопали... Я много книг прочла, я живу среди книг, но ничего не могут объяснить. Привезли урночку... Не страшно, я рукой там потрогала и что-то мелкое, как ракушки на берегу моря, в песке, это тазобедренные косточки. До этого к вещам его прикасаюсь, не слышу, не чувствую, а тут как обняла. Ночью, помню, он – мертвый, сижу возле него. И вдруг какой-то дымок... Второй раз увидела этот дымок над ним в крематории... Его душа... Никто ее не видел, а я видела... У меня чувство: еще раз свиделись...

Какая же я была счастливая! Он уедет в командировку, я дни, часы считаю до нашей встречи. Я физически без него не могу... Мы поедem с ним к его сестре в деревню, вечером она показывает: «Тебе в этой комнате постелила, а ему в той». Посмотрим друг на друга и рассмеemся. Не представляли, что можно спать раздельно, в разных комнатах. Только вместе. Я не могу без него... Сватались... Брат его сватался... Они так похожи... Но мне кажется, если кто-то другой ко мне дотронется, я буду плакать и плакать...

Кто его у меня забрал? По какому праву? Принесли повестку с красной полосой девятнадцатого октября тысяча девятьсот восемьдесят шестого года... Как на войну...

*(Мы пьем чай. Я разглядываю семейные фотографии. Свадебные. И когда уже хочу попрощаться, она меня останавливает.)*

Как я буду дальше жить? Я вам не все... Не до конца... Я была счастливая... До безумия... Может, не надо моего имени... Есть тайны... Молитвы читают в тайне... Шепотом, про себя... *(Замолкает.)* Нет, назовите имя... Богу назовите... Я хочу понять... Я тоже хочу понять, зачем нам даются страдания? Зачем они? Первое время казалось, что после всего у меня во взгляде что-то темное появится... Чужое... Что меня спасло? Выголкуло к жизни? Вернуло... Мой сын... У меня есть еще один сын... Наш с ним сын... Он давно болен... Он вырос, но видит мир детскими глазами... Глазами пятилетнего мальчика... Я хочу быть с ним... Мечтаю поменять квартиру поближе к Новинкам, там у нас психиатрическая больница. Он там... Это приговор врачей: чтобы он жил, он должен быть там. Я езжу туда по выходным. Встречает меня: «А где пала Миша? Когда приедет?» Кто еще у меня об этом спросит? Он его ждет...

Мы будем ждать с ним вместе. Я буду читать шепотом свою чер-  
нобыльскую молитву... Он – смотреть на мир детскими глазами...»

*Валентина Тимофеевна Панасевич,  
жена ликвидатора*

## **ВМЕСТО ЭПИЛОГА**

«...Киевское бюро путешествий предлагает поездки в город Черно-  
быль и мертвые деревни... Разумеется, за деньги. Посетите ядерную  
Мекку...»

*Газета «Набат», февраль, 1996 г.*

---

## В ПОИСКАХ ВЕЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

(ИЗ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ)

— Ваша книга появилась через десять лет после чернобыльской катастрофы. Мы прочли ее тогда, когда уже привыкли жить с Чернобылем, когда многие даже забыли о нем. Скажите, почему вы не написали свою книгу раньше?

— Хочу повторить то, о чем многие говорят в книге: мы Чернобыль не забыли, мы его не поняли.

Была мысль тогда, еще десять лет назад написать. Я даже сделала попытку: ездила несколько раз в зону, встречалась с учеными, военными... Смотрела, расспрашивала, но очень быстро поняла, что нет у меня идей, нет инструмента, чтобы охватить, осмыслить происходящее. Если я напишу сейчас книгу, то это будет быстрый репортаж о событии, а суть для меня еще скрыта, ускользает. Таких книг и кино-репортажей потом появилось сотни. А я отступила, почувствовав: я бессильна. Никто ничего тогда не мог сказать, все признавались, что застигнуты врасплох. Кто-то ругал начальство, там, наверху и искал виноватых, кто-то жаловался, а большинство, особенно деревенские люди, безропотно и привычно приняли страдания. Страдания затмевали все, в том числе и способность думать, во время страданий плохо думается. Обычно, что бы ни случилось, мы обращаемся к прошлому, ищем там ответы и находим. Архив человечества универса-

лен и безотказен, в нем есть все. Так мы думали. Так было. А тут прошлое вдруг бессильно, не помогает. Не защищает. Прошлое как бы отменилось, не нужно. Да, мир знал Хиросиму и Нагасаки, что-то все-таки слышали об аварии в Челябинске, хотя ее наглухо запрятали. Но то, что случилось в Чернобыле, случилось впервые. Впервые в мире. Как понять то, что никто не знает, что человечество не знает?

Вспомним, какие мы были, когда это произошло...

*«Я так верила... Я могла грибы собирать у стен реактора. Там люди сажали вишни, кусты смородины, там были грядки. Огурчики, редис...»*

*«Помню первую ночь... Это был не обыкновенный пожар, а какое-то чудо. Малиновое свечение... Голубое свечение... Неземное... Всю ночь мы простояли на балконе. Некоторые выносили на руках маленьких детей: «Посмотри! Запомни!» Мы не знали, что смерть может быть такой красивой.»*

*«Началось переселение... Из поселков люди уходили организованно и быстро, а в деревнях стоял плач, крики. Солдатам приходилось силой вытаскивать людей из своих хат. Как сейчас вижу: подвезжаем на бэтээре, стоим во дворе бабка на коленях, в руках икона. Увидела нас и заголосила: «Сонейко светит, птички поют. Ни бомб, ни снарядов... На огороде у меня все взошло... Куда вы нас гоните со своей земли?»*

Самое страшное, что они знали, – война, с чем могли сравнить, – война. А война – это когда стреляют, бомбят, хата горит. А тут: трава, земля, птицы, бабочки – все, как всегда. Знакомый, обычный мир их жизни. С вечными приметам. А, оказывается, сменился век. Третья мировая война началась, а они и не заметили. Они не понимали: войны теперь начинаются иначе, они живут уже после такой войны...

Помню, как книга началась... Я встретила с молодой женщиной – женой пожарника, одного из тех, кто в первую ночь взрыва полез на горящую крышу реактора. Их вызвали туда, как на заурядный пожар: что-то горит на станции. Они поехали в обычной одежде, без специальных костюмов. Всю ночь тушили пламя, ходили по кипящему графиту (к утру расплзлись ноги), но трусили бы они тогда и не потушили, не только Украина и Беларусь, а вся



Европа навряд ли бы осталась пригодной для жизни. Утром на носилках их унесли к самолету... Через четыре дня эта женщина приехала в Москву и там в специальной клинике нашла своего мужа. Врачи сказали: забудь, что это любимый человек, хотя ты еще несколько дней будешь видеть то же лицо, глаза, волосы, они пока не разрушены, но это уже не человек, а «радиоактивный объект», подлежащий дезактивации. Он получил дозу, в несколько тысяч раз превышающую норму. Целовать нельзя, обнимать нельзя, дотрагиваться нельзя... Сидеть рядом нельзя... А еще через несколько дней, когда он лежал в отдельном стеклянном боксе, к которому боялись лишний раз подойти медсестры, нянечки, а если приближались, то в спецодежде, она подкупала ночью дежурных, прокрадывалась и ухаживала за ним. Обкручивала руку бинтами и выгребала из любимого внутренности, которыми он захлебывался. Потом она родит мёртвую девочку, потом станет инвалидом... А у меня по-детски, удивленно спросит: «Раньше я нигде об этом не читала? И в кино не видела?»

Что Шекспир рядом с этим! В истории нет текстов, которые сейчас пишутся на чернобыльской земле. Тогда я услышала звук... Звук, с которого начинается для меня книга, всё ранее услышанное, увиденное вдруг собралось в один пучок и ударило точным светом: так вот о чем должна быть моя книга. Чернобыль не просто катастрофа, это – граница из одного мира в другой, это уже новая философия, новое мироощущение. Новое знание. Белорусы сегодня называют себя «черными ящиками». «Черные ящики» записывают в самолетах информацию о полете, если самолет терпит аварию – ищут «черные ящики». Белорусы записывают эту информацию, информацию для всех. Для всего человечества.

Вот почему я пишу о том, что меня не покидает чувство: я записывала не прошлое, а будущее. Мир после технологии...

Но беда в том, что никакие технологические катастрофы не меняют сознания людей. Чума в средневековой Европе могла опустошить страну полнее Чернобыля («черная смерть» в XIV веке выкосила в иных местах до двух третей населения), города оставались пустыми, трупы хоронить было некому, и чудом выживший монах предрекал, что теперь-то наконец человек изменится. А он все не меняется. И после ГУЛАГа, Освенцима... Польская поэтесса Вислава Шимборская

пишет: «Где Хиросима, там вновь Хиросима и производство предметов ширпотреба». И это – самое страшное.

Я не имела ответов, и те, с кем встречалась и кого записывала, не имели ответов. Мы вместе пытались найти слова, уследить за возникающими чувствами. Рано или поздно мы осознаем, что развитие идей и чувств будет сейчас двигаться под знаком Чернобыля. Случилось нечто, для чего человек еще не приспособлен – не годится ни наше зрение, ни наше ухо, ни наше обоняние, даже наше-го словаря не хватает. Весь внутренний инструмент требуется устроить иначе. Нам надо увидеть, потрогать, ощутить. Ничего из этого невозможно. Радиация неслышима, невидима. Таинственна. Мы переместились в другое время, во время новых вызовов, космических. Это то, перед чем остановилась сегодня культура. Молчат философы. Молчит искусство. Новые вопросы ждут новых ответов. Старые формулировки, сравнения – уже ловушки. Но человек устроен так, что в знакомом мире ему жить удобнее и комфортнее, ему неохота оттуда уходить.

А мир меняется... И я бы уточнила, что меняется не природа человека, а его мироощущение: кто он, зачем, его место на земле и в космосе, его пределы и возможности. Вот это меняется, и на это мы должны надеяться. Чума могла убить пол-Европы, но не всех, в газовых камерах можно было сжечь сотни тысяч людей, но не всех. А Чернобылем человек замахнулся на все, на все живое. Если он не перестанет царствовать в природе, воевать с ней, смотреть свысока на букашек-таракашек, то он обречен. Когда-то это были всего лишь благие намерения, мысли чудаков. А теперь?

*«Хоронили лес... Деревья упаковывали в целлофан и заваливали в могильник. Ночью не мог заснуть. Закрою глаза: что-то черное шевелится, переворачивается... Как живое... Живые пласты земли... С жуками, пауками, червяками... Они маленькие и большие, желтые и черные. Такие разноцветные. Я убивал их десятками, сотнями, тысячами, не зная даже, как их зовут. Просыпался от нелепого сна: на земле больше никого нет, я остался один?..»*

*«Когда мы уезжали, то оставляли не только свои дома, но и животных. Собаки и кошки собирались возле автобусов и*

*смотрели на людей. На своих хозяев. Я помню, как плакала моя кошка...»*

*«Мы проезжали мимо необычного кладбища, на научном языке оно называется биомогильником. Кладбище для животных. Десятки их остались в зоне. Под землей в железобетонных контейнерах лежат тысячи расстрелянных собак, кошек, коров, лошадей... Современные катица. И ни одного имени. Лишь однажды на деревенском заборе прочитал: «Прости, Шарик!» Они-то ни в чем не повинны? Звери, птицы. Впервые человек замахнулся на всю жизнь. В этом смысле Чернобыль дальше Холокоста».*

Я помню свои ощущения в Чернобыле. Там даже звуки другие. Все без человека. Дома без человека. И пейзажи. Пространство вместо жизни. Мелькнет в сознании: а где-то сейчас люди убивают друг друга – в Боснии, Чечне, Алжире. Убивают после Чернобыля... А там никого убивать не хочется. Даже муху или мошку. Пусть мухи летают, осы жалят, тараканы ползают. Это – жизнь! Чувство жизни обострено, а как иначе среди стольких ликов смерти, когда тебя может убить вода, земля, трава... Только там постигаешь: в таком прекрасном мире мы еще недавно жили. Его больше нет.

– Существует мода на Апокалипсис. Сколько человек живет, столько его пугают концом света.

– Да, репетировали, воображали, пугали. Но такого представить не могли...

*«Я вышла замуж, но я боюсь любить. Я из Чернобыля, он – ликвидатор. Я не знаю: можем ли мы любить? Имеем ли право? От нас рождаются только уроды...»*

*«Так страшно иногда бывает, что я готов сойти с ума. Как сошел с ума главный инженер чернобыльской станции Николай Фоменко...».*

*«Задумываться мы стали... года через три. Когда один заболел, второй... Кто-то умер... Сошел с ума... Покончил с собой... Тогда начали задумываться...» А пойдем что-нибудь... через двадцать—тридцать лет. Если выживем...»*

Как добыть из этого ужаса смысл? И где границы ужаса, которые, может, способен человек понять?

— Мне запомнилась ваша мысль о том, что искусство наше — о страдании и любви человека. А почему только человека, а не всего живого?

— Помните, у Канта: «Мы никого в мире не уважаем, кроме человека». А у меня после Чернобыля жизнь растений уравнилась с человеческой жизнью. С жизнью цветка. Сейчас такое странно слышать, но когда-нибудь так будут жить. Нам, людям эпохи войн и революций, этого сразу не принять. Но во время встреч с учеными меня поразили один факт: в первые дни и недели после катастрофы, когда обсуждалась идея переселения людей из зараженных мест, существовал проект вместе с людьми переселить и животных. Тогда возник вопрос: как переселить всех? Может быть, как-то можно переселить тех, кто на земле, а тех, кто в земле — жучков, червячков? А тех, кто наверху? В небе? Как эвакуировать майского жука или синичку? Как поступить с ними? У нас нет средств передать им нужную информацию. Эти подробности и разговоры ученых меня волновали. Значит, уже сегодня, сейчас наши отношения с этим вторым миром (я бы так его назвала) обсуждаются как философская проблема. Этот мир к нам приближается, прежней непроходимой бездны между нами нет. Я опять повторю: это — все жизнь. Единая жизнь. Происходит перестройка наших чувств. Их преображение.

Я писала книгу и все время об этом думала. Я это обрела в работе... Увидела мир другими глазами... Мы ведь ищем себя всюду.

— Читая вашу книгу, думаешь: никакие прогрессы, никакие демократии не решат всех проблем бытия. Мы скоро забудем, какие мы недавно были? Откуда мы? А Чернобыль с нами останется, Чернобыль останется вместо истории.

— Погружаешься в материал и вытягиваешь вереницу смыслов...

Первое, так это то, что после Чернобыля осталась мифология о Чернобыле. Там, где сознание беспомощно, не движется, вступает в свои права подсознание. Страхи, сны, предсказания, даже анекдоты, — все меня интересовало. Иррациональное — это заглядывание за

край, за предел, куда обычным способом не заглянешь. Вопрос не праздный: за что пытается удержаться человек? Какие ищет объяснения? Что любопытно, упоминают религию, философию и искусство, а не физику и математику. Мир физики кончился, отсюда появившийся вкус к метафизике. Реальность, похоже, ускользает.

*«Чтобы понять то, что случилось, существуют два пути – философия и религия, а искусство это не может пережить, оно способно только представить».*

*«Так хотелось выразиться... Так был потрясен, что неожиданно начал писать стихи, хотя далеко не мальчик».*

*«Я стала ходить в церковь, только у религии есть ответы на эти вопросы».*

Событие как бы находится еще вне культуры. Человеку нечего поставить внутри себя для точки опоры. Мир покачнулся... Политики никак не отреагировали, но мгновенно потеряли свои прежние измерения такие слова, как «далеко» и «близко», «свои» и «чужие», «военный атом» и «мирный атом». Мир стал теснее. Сразу изменились и наши отношения со временем, с этой таинственной материей бытия и небытия. Слова «всегда» и «никогда» вдруг наполнились смыслом, некой вещественностью. Кто нынче воскликнул бы вслед за Пушкиным, что и у «гробового входа младая будет жизнь играть»?

И в то же время люди смотрели на горящий реактор и сажали картошку... Рыбаки ловили рыбу...

Опять-таки повторю: совпало две катастрофы: социальная – на наших глазах ушел под воду гигантский социалистический материк – и космическая: Чернобыль... Первая – близка и понятна: вдруг захлопнувшая границы и новые государства, двуглавый орел вместо серпа и молота, остановившиеся военные заводы, безработица и высокие цены, незнакомое слово «рынок» вместо кроваво обжитого «социализм», а вторая – зиверты и юри, военные посты и колючая проволока, странные, еще даже не названные болезни и мертвая земля с оставленными домами, в которых вместо людей поселились звери. Я не забуду эти сюрреалистические картины: едешь по уже заросшему кустами асфальту, а из деревенской хаты то выпрыгнет прямо из окна испуганный заяц, то выскочит из тем-

ного дверного проема стадо диких кабанов. Мирно пасутся косули в центре деревни: возле братской могилы и памятника Ленину. Заходят олени...

Время там остановилось, время стало там тем, что оно и есть – вечностью. А мы онемели...

– Для одних эта земля – конец света, а для других – полная свобода. Или убежище. Есть такие, которые сами едут туда, или те, что жили там раньше, назад вернулись. А многие не стали и не могут уехать, потому что их нигде никто не ждет. Их забыли. У государства новые проблемы. Как они все-таки там живут? Как справляется их психика с этим кошмаром?

– Я пишу, что Чернобыль – уже метафора, символ. Но для всех разный. В Киеве или Минске – один Чернобыль, в самой зоне – другой. Где-то в Европе – третий. В самой зоне поражает равнодушие, с которым чаще всего говорят о нем. Для людей здесь – это обыкновенная жизнь. В мертвой деревне живет старик. Один. Спрашивают у него: «Вам не страшно?» А он: «Чего страшно?»

Одни хотят забыть и жить, как будто ничего не произошло, другие считают, что в доме повешенного не говорят о веревке и лучший способ забыть – это не говорить, третьи ощущают себя жертвами, это уже способ их существования, утешиться они могут только своим страданием. Но во всех живет страх. Явный страх, подпольный страх. Много самоубийств... Пьют... Политики отыграли «чернобыльскую карту» и вспоминают о ней все реже. Неожиданно хлынули тысячи беженцев (от знакомого страха в страх неведомый): из Душанбе, Фрунзе, Грозного... Бегут от войны или из бывшего СССР – самые слабые, ненужные и неприкаемые, выброшенные на обочину перемен и передела, из тех двадцати пяти миллионов русских, что остались за пределами России. А теперь их отовсюду гонят: еще одна Россия! Целая страна – двадцать пять миллионов. Чернобыльская страна. Десятки национальностей. Снова оживают пустые города и деревни. Там рождается новый дух...

*«Здесь не страшно... Здесь не стреляют... Я больше всего человека боюсь... Человека с автоматом...»*

*«Мы – не русские, мы – советские. Той страны, что была нашей родиной, нет. Нет у нас домов, нет у нас земли – все забрали. А здесь не заберут, тут остались только мы и Бог. Ходили по пустым улицам, жили в пустую хату – икона лежит на белой скатерти. Стали жить...»*

*«Здесь чувствуешь себя свободным человеком... Здесь ты не коммунист, не демократ, не националист, не фашист... Здесь ты – свободный человек».*

На чернобыльской земле живет дочернобыльский человек. Обживает и вживается в новую реальность.

В голову не приходит что-нибудь придумывать. Собираешь детали... Доверяешь деталям... Ищешь детали... Однажды пришла в дом к умирающему вертолетчику. Встретил словами: «Как хорошо, что вы успели! Застали меня... И есть кому рассказать... Мы мало поняли, но все видели, запоминали. Напишите...»

— Как вы считаете, надо закрыть все атомные станции? Или мы должны с ними жить?

— Я не знаю, как поступить с атомными станциями. Я — не физик. Но я бы их закрыла. Хотя это не дело искусства...

— Мне в книге не хватает «злых» героев. Таких, как Василий Борисович Нестеренко, бывший директор Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси. Это человек, который борется: «За Чернобыль когда-нибудь придется отвечать... Наступит такое время, что придется отвечать, как за тридцать седьмой год... Надо оставлять факты...» Он рассказывает историю Чернобыля, как историю преступления. Другие же только страдают и философствуют.

*(Голос из зала.)*

*— Я вам отвечу вместо автора. «Злых» героев и «злых» книг у нас достаточно. Хватает! А вот такой книги еще не было, где человек бы думал... Остановился... В себе остановился... Именно такая книга сейчас нужна. Десять лет только и делаем, что кого-то ругаем, а ничего не понимаем.*

А я хочу поговорить с человеком... С вечным человеком...

— Я — жена ликвидатора. Мой муж умер. Знаете, как умирают наши мужья? Они умирают на ходу — шел и упал, уснул и не проснулся. Нес медсестре цветы — и остановилось сердце.

Как им жить? От одной памяти можно умереть...

Он приехал... Несколько лет был, как во сне, как в бреду. Рассказывал и рассказывал...

Мальчишки-солдаты разутые-раздетые... Лежат в траве. Загорают. Чуть не сапогами поднимал. Они: га-га!

«Нина, как хорошо, что у нас с тобой уже двое детей. Они останутся...»

Из деревень многие уезжали на своих машинах. Машины — зараженные. Команда: «Выгружайся!», а машину закатывают. Стоят, плачут. А ночью ее выкапывают.

Голуби, воробьи... Аисты... Бежит-бежит по полю, хочет взлететь. А взлететь не может...

«Нина, как хорошо, что у нас с тобой уже двое детей. Они останутся...»

Врачи мне сказали: сердце увеличено в полтора раза, почки увеличены в полтора раза, печень увеличена в полтора раза...

Однажды ночью спросил: «Ты не боишься меня?» Он стал уже бояться близости...

Я старалась и не знать, я не спрашивала. Это же где-то глубже их самих. Это носят в себе.

Как я смотрю на детей?.. Как я теперь смотрю на маленьких детей...

Простите. Я хотела спросить... Я хотела сказать, что я боюсь искусства об этом... Я боюсь читать вашу книгу... Мне кажется, я все знаю... Но я знать этого не хочу...

Не все... Не все... Один мне рассказывал, что там безумно интересно было, весело. Стихи читали, пели под гитару. Туда поехали лучшие инженеры, ученые. Московская элита. Они читали стихи... Пугачева в поле выступил



*пала. «Если вы не уснете, я буду петь, мальчики, вам до утра». Она называла их героями...*

*Мне кажется, я все знаю...*

— Разве я могу что-нибудь добавить? Что искусство может добавить к самой жизни? Спасибо!

— Вы все время пишете о катастрофах – война, самоубийство, Чернобыль. Вас можно назвать писателем катастроф?

— Нет, хотя я – отражение того, что вокруг. Той жизни, что вокруг. Это – мы. Но какая тоска. Все время тоска. Тоска по человеку, с которым можно говорить о другом...

А вдруг он уже где-то есть?

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### **ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ**

Из дневниковых записей для книги .....	7
День первый	
«...Ибо многие придут под именем Моим...» .....	18
День второй	
«А другой умирает с душою огорченною» .....	65
День третий	
«Не обращайтесь к вызывающим мертвых. И к волшебникам не ходите...» .....	119
Из дневниковых записей после книги .....	165
Еще один рассказ вместо эпилога, он же пролог .....	180
Суд над «Цинковыми мальчиками» (история в документах) .....	186
И еще один эпилог, он же пролог .....	237

### **ЗАЧАРОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ**

От автора, или о бессилии слова и о той прежней жизни, которая называлась социализмом .....	245
История с обмотками, красными звездочками и четвертым сном Веры Павловны .....	251

История с мальчиком, который писал стихи через сто лет после четвертого сна Веры Павловны .....	264
История о том, как невозможно разлюбить марши, Сталина и кубинскую революцию .....	278
История, рассказанная молодым человеком, который понял, что жизнь больше Феллини, чем Бергман .....	286
История коммуниста последнего поколения и некоторые размышления об обаянии красного идеала .....	293
История человека, который летел, как птица .....	302
История человеческой жизни, после которой остались две комнаты в бараке, одна грядка и медаль «Победитель социалистического соревнования» .....	308
История о том, что, если вы найдете у себя в подушке кусок галстука и куриные кости, галстук нужно повесить на кресте при дороге, а кости отдать черной собаке .....	313
История сталинской девочки, при которой боялись рассказывать политические анекдоты, и о том, как в пятьдесят лет она перестала верить в коммунизм в сумасшедшем доме .....	319
История другой девочки, которая хотела, чтобы ее кто-то любил, ну хотя бы мама .....	330
История человека, который воевал в сорок первом и не думал, что когда-нибудь услышит: «Зачем ты победил? Мы бы сейчас баварское пиво пили...» .....	343
История человека, который воевал в девяносто первом там, куда можно купить билет в любой кассе Аэрофлота .....	349
История о том, что все равно есть еще парни, которым легче застрелить себя, чем стрелять в других .....	354
История о том, что в смерти есть что-то женское .....	363

История человека, который не мог быть счастливым .....	370
История о том, как один человек за всех нас молился .....	384
История с красным флажком – между взмахом крыла и лопаты... ..	394
Вместо эпилога .....	407

**ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА (ХРОНИКА БУДУЩЕГО)**

Историческая справка .....	413
Одинокий человеческий голос .....	415
Интервью автора с самим собой о пропущенной истории .....	429
Глава первая	
Земля мертвых .....	432
Солдатский хор .....	460
Глава вторая	
Венец творения .....	471
Народный хор .....	512
Глава третья	
Восхищение печалью .....	521
Детский хор .....	576
Одинокий человеческий голос .....	582
Вместо эпилога .....	593
В поисках вечного человека (из ответов на вопросы читателей после публикации) .....	594

**Светлана Алексиевич**  
**ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ**  
**ЗАЧАРОВАННЫЕ СМЕРТЬЮ**  
**ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА**

Ответственный за выпуск А. Рыбакова  
Редактор Т. Смолянская  
Компьютерная верстка А. Гайс  
Технический редактор М. Столярова  
Корректоры Л. Гордеева, И. Обьедкова

Издательская лицензия 070512 от 09.06.97

Подписано в печать 27.04.98. Формат 84х108/32.  
Бумага офсетная. Печать офсет. Усл. печ. л. 31.92.  
Тираж 2000 экз. Заказ 176.  
Издательство «Остожье».  
107005, Москва, Лефортовский пер., 8

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в тип. ИПО «Полигран»  
125438, Москва, Паггауное шоссе, 1